С. М. СОЛОВЬЕВ

Избранные труды
Записки

*Министерство
высшего и среднего
специального образования
СССР*

*Совет
университетских
издательств*



Взгляд на историю
установления
государственного порядка
в России
до Петра Великого

Публичные чтения
о Петре Великом

Исторические письма

Мои записки для детей моих,
а если возможно, и для других

С. М. СОЛОВЬЕВ
Избранные труды
Записки

Издание подготовили
А. А. Левандовский,
Н. И. Цимбаев



*Издательство
Московского
университета
1983*

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Московского университета

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор *Н. С. Киняпина*
доктор исторических наук *Н. М. Пирумова*

Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. — М., Изд-во Моск. ун-та, 1983, 440 с.

Представленные в издании «Исторические письма» и «Публичные чтения» С. М. Соловьева, ставшие важной вехой в развитии русской историографии, в сжатом виде выражают его концепцию социально-политического развития России. «Записки» содержат богатейший материал по истории общественной мысли и идейной жизни России 30—40-х годов XIX в., а также блестящие портреты Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцева, М. П. Погодина и других ученых Московского университета. «Записки» помогают понять характер научных и идейных исканий замечательного историка.

Книга снабжена статьей о жизни и творчестве С. М. Соловьева и научным комментарием.

Для специалистов-историков и читателей, интересующихся отечественной историей.

С $\frac{0505020000—126}{077(02)—83}$ 32—83

Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

Чтение первое

Если к каждому частному человеку можно обратиться с вопросом: «Скажи нам, с кем ты знаком, и мы скажем тебе, кто ты таков», — то к целому народу можно обратиться со следующими словами: «Расскажи нам свою историю, и мы скажем тебе, кто ты таков». В настоящее время, когда у нас обнаружилась такая сильная потребность познать свое прошедшее, познать, кто мы таковы, я не решился занять ваше внимание изложением событий внешней отечественной истории, но счел более приличным представить в сжатом очерке важнейшую сторону нашей внутренней истории, именно постепенное установление государственного порядка, или, как выражались наши предки, наряда в русской земле.

Где, при каких природных влияниях действовал народ и с какими чужими народами и государствами изначала и преимущественно должен был иметь дело — вот первые вопросы в истории каждого народа.

Задолго до начала нашего летосчисления знаменитый грек, которого зовут отцом истории, посетил нынешнюю южную Россию: верным взглядом взглянул он на нашу страну, на племена, в ней живущие, и записал в своей бессмертной книге, что племена эти ведут образ жизни, какой указала им природа страны. Прошло много веков, несколько раз племена сменились одни другими, образовалось могущественное государство; но явление, замеченное Геродотом, остается по-прежнему в силе: ход событий постоянно подчиняется природным условиям [1].

Перед нами обширная равнина: на огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественник не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заметит резких переходов. Однообразие природных форм ослабляет областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинакие потребности указывают одинакие средства к их

удовлетворению, — и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было в начале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства: отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними[2].

Однообразна природа великой восточной равнины, не поразит она путешественника чудесами; одно только поразило в ней наблюдательного Геродота: «В Скифии, — говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек, ее орошающих: они велики и многочисленны». В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою, и составляют таким образом по всей стране водную сеть, из которой народонаселению трудно было высвободиться для особной жизни. Как везде, так и у нас, реки служили проводницами первому народонаселению, по ним сели племена, на них явились первые города; так как самые большие из них текут на восток или юго-восток, то этим условилось и преимущественное распространение русской государственной области в означенную сторону; реки много содействовали единству народному и государственному, и при всем том особые речные системы определяли вначале особые системы областей, княжеств. Так, по четырем главным речным системам русская земля разделялась в древности на четыре главные части: первую составляла озерная область Новгородская, вторую — область Западной Двины, т. е. область Кривская, или Полоцкая, третью — область Днепра, т. е. область древней собственной Руси, четвертую — область верхней Волги, область Ростовская.

Великая равнина открыта на юго-восток, соприкасается непосредственно с степями Средней Азии: толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра; древняя история видит их здесь постоянно господствующими. Как на ясной памяти истории в нынешней южной России господство одного кочевого народа сменялось господством другого, жившего далее на восток, так и в древние времена господство скифов сменилось господством сарматов; но от этой перемены история столь же мало выиграла, как от смены печенегов половцами; переменились имена, отношения остались прежние, потому что быт народов, сменявших друг друга, был одинакий. Ясное понятие об этом быте, противоположности его с бытом исторических народов может дать нам предание о походе персидского царя Дария Истаспа в Скифию. Скифы не встретили полчищ персидских; но стали удаляться в глубь страны, засыпая на пути колодцы, источники, истребляя всякое произрастение; персы начали кружить за ними. Утомленный бесплодною погонею, Дарий, наконец, послал сказать скифскому царю: «Странный человек! Зачем ты бежишь все дальше и дальше? Если чувствуешь себя в силах сопротивляться мне,

то стой и бейся; если же нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду и вступи с ним в разговор». Скиф отвечал: «Никогда еще ни перед одним человеком не бегал я из страха; не побегу и перед тобою: что делаю я теперь, то привык делать и во время мира; а почему не бьюсь с тобою, тому вот причины: у нас нет ни городов, ни хлебных полей, и потому нам нечего биться с вами из страха, что вы их завоюете, или истребите. Но у нас есть отцовские могилы; попробуйте их разорить, так узнаете, будем ли мы с вами биться или нет». Одни кости мертвецов привязывали скифа к стране, и ничего, кроме могил, не оставил он в историческое наследие племенам грядущим[3].

У берегов Понта, при устьях больших рек греческие города построили свои колонии для выгодной торговли с варварами. Можно видеть любопытную картину быта греческих колонистов в рассказе Диона Хризостома, который в одной из колоний, именно в Ольвии, искал убежище от преследований Домициана[4]. Когда жители Ольвии увидали заморского оратора, то с греческою жадностию бросились послушать его речей: старики, начальники уселись на ступенях Юпитерова храма, толпа стояла с напряженным вниманием. Дион восхищался античным видом своих слушателей, которые все, подобно грекам Гомера, были с длинными волосами и длинными бородами; но все они были также вооружены: накануне толпа варваров показалась перед городом; и в то время, когда Дион произносил свою речь, городские ворота были заперты, и на укреплениях развевалось военное знамя; когда же нужно было выступать против варваров, то в рядах колонистов раздавались стихи «Илиады», которую почти все ольвиополиты знали наизусть. Быть может спросят: не производили ли эти греческие колонии, хотя медленного, но заметного в истории влияния на быт окружных варваров? Известия древних показывают между скифами людей царского происхождения, обольщенных красотою греческих женщин и прелестями греческой цивилизации: они строят себе великолепные мраморные дворцы в колониях, даже ездят учиться в Грецию, но гибнут от рук единородцев своих, как отступники отеческого обычая. Вторжение персов в Скифию не произвело ничего, кроме ускоренного движения ее обитателей; попытки Митридата возбудить восток, мир варваров против Рима остались также тщетными[5]. Движения из Азии не могли возбудить исторической жизни в странах Понтийских. Но вот слышится предание о противоположном движении, с запада, из Европы, о движении племен, давших стране историю, племен славянских.

Славянское племя не помнит о своем приходе из Азии, о вожде, который вывел его оттуда; но оно сохранило предание о своем первоначальном пребывании на берегах Дуная[6], о движении оттуда на север, и потом о вторичном движении на север и восток вследствие натиска от какого-то сильного врага. Это предание заключает в себе факт, не подлежащий сомнению: древнее пре-



Сергей Михайлович Соловьев
(с гравюры 1870-х годов)

бывание славян в придунайских странах оставило ясные следы в местных названиях; сильных врагов у славян на Дунае было много: с запада кельты, с севера германцы, с юга римляне, с востока — азиатские орды; только на северо-восток открыт был свободный путь, только на северо-востоке славянское племя могло найти себе убежище, где, хотя не без сильных препятствий, успело основать государство и укрепить его в уединении, вдалеке от сильных влияний и натисков запада, до тех пор пока оно, собравши силы, могло уже без опасения за свою независимость выступить на поприще и обнаружить, с своей стороны, влияние и на восток, и на запад.

Краткие, но ясные указания на быт славян впервые встречаем у Тацита: сравнивая славян с народами европейскими и азиатскими, оседлыми и кочевыми, среди которых они жили, Тацит говорит, что их должно отнести к первым, потому что они строят домы, носят щиты и сражаются пеши; все это, продолжает Тацит, совершенно отлично от сарматов, живущих в кибитке и на лошади[7]. Таким образом, первое достоверное известие о быте славян представляет их нам народом оседлым, резко отличным от кочевников; в первый раз славянин выводится на историческую сцену в виде европейского воина, пеш и со щитом. Такое-то племя явилось в областях нынешней России и расселилось на огромных пространствах, преимущественно по берегам больших рек. Славяне жили особыми родами: «Каждый жил с родом своим, на своем месте и владел родом своим», — говорит наш древний летописец. Когда умирал князь, старшина, глава рода, то место его заступал старший сын, который был для младших братьев вместо отца; по смерти последнего старшиною рода становился следующий за ним брат и так далее; всегда старший в целом роде; таким образом, старшинство не переходило от отца прямо к сыну, не было исключительным достоянием одной линии, но каждый член рода имел право, в свою очередь, получить его. Легко понять, что при таком порядке вещей тишина и согласие внутри родов не могли долго сохраняться. Связь между членами общества была только чисто родовая и слабела тем более, отношения становились тем неопределеннее, чем в отдаленнейших степенях родства находился старшина к остальным членам рода; чем более размножались и расходились родовые линии, тем запутаннее и спорнее становились права на старшинство: отсюда необходимо проистекали несогласия, усобицы; при столкновениях отдельных родов дела также с трудом могли решаться миролюбиво, потому что каждый род, старшина каждого рода должен был блюсти честь и выгоды последнего и не уступать другим: отсюда необходимо также восстание рода на род, о чем свидетельствует летописец. Чтоб восстановить согласие, единство, наряд между родами единственным средством было отдать решение родовых споров судье беспристрастному, призвать князя-нарядника из чужа, из чужого рода: так и сделали несколько северных племен —

славянских и финских, чем положили начало Русскому государству в половине IX века[8].

Прежде, нежели обратиться к следствиям этого великого события, бросим взгляд на состояние других европейских народов в означенное время. В других странах Европы в половине IX века происходили явления также великой важности. Знаменитая роль франкского племени и вождей его кончилась в начале IX века, когда оружием Карла Великого политические идеи Рима и римская церковь покорили себе окончательно варварский мир, и вождь франков был провозглашен императором римским[9]. Духовное единство Западной Европы было скреплено окончательно, с помощью Рима; теперь выступало на сцену другое, новое начало, принесенное варварами, германцами на почву империи, теперь начинается материальное распадение Карловой монархии, начинают вырабатываться отдельные государства, члены западноевропейских конфедераций; IX век был веком образования государств как для Восточной, так и для Западной Европы, веком великих исторических определений, которые действуют во все продолжение новой европейской истории, действуют до сих пор. В то время, когда на западе совершается трудный, болезненный процесс разложения Карловой монархии и образования новых государств, новых национальностей, Скандинавия, эта старинная колыбель народов, высылает многочисленные толпы своих пиратов, которым нет места на родной земле; но континент уже занят, скандинавам нет более возможности двигаться к югу сухим путем, как двигались их предшественники, им открыто только море, они должны довольствоваться грабежами, опустошением морских и речных берегов. В Византии происходит также важное явление: богословские споры, волновавшие ее до сих пор, прекращаются; в 842 году, в год восшествия на престол императора Михаила[10], с которого наш летописец начинает свое летосчисление, созван был последний, седьмой вселенский собор для окончательного утверждения догмата, как будто бы для того, чтоб этот окончательно установленный догмат передать славянским народам, среди которых в то же самое время начинает распространяться христианство; тогда же, в помощь этому распространению, является перевод св[ященного] писания на славянский язык, благодаря святой ревности Кирилла и Мефодия[11].

По следам знаменитых братьев обратимся к нашим западным и южным соплеменникам, судьбы которых должны обратить на себя наше особенное внимание. По своему положению западные славяне должны были с самого начала войти во враждебные столкновения с германцами, сперва с турингами, а потом с франками. У последних Каролинги сменили Меровингов[12]. Германские племена соединились в одну массу; дух единства, принятый германскими вождями на старинной почве Римской империи, не переставал одушевлять их, руководить их поступками; потомок Геристаля[13] принял титул римского императора; располагая си-

лами Западной Европы, Карл Великий двинулся на Восточную с проповедию римских начал, единства политического и религиозного. Что же могла противопоставить ему Восточная Европа? Народы, жившие в простоте первоначального быта, разрозненные и враждебные друг другу. Легко было предвидеть, что новый Цезарь получит такие же успехи над младенствующими народами Восточной Европы, какие старый Цезарь получил некогда при покорении варварского народонаселения Европы Западной. По смерти Карла Великого преемники его уже не могли с таким постоянством и силою действовать против славян, и между последними видим стремление к самостоятельности, чем особенно отличаются князья моравские. Но эти князья должны были понимать, что для независимого состояния славянского государства прежде всего была необходима независимая славянская церковь; что с немецким духовенством нельзя было думать о народной и государственной независимости славян; что с латинским богослужением христианство не могло принести пользы народу, который понимал новую веру только с внешней, обрядовой стороны и, разумеется, не мог не чуждаться ее. Вот почему князья моравские должны были обратиться к Византийскому двору, который мог прислать в Моравию славянских проповедников, учивших на славянском языке, могших устроить славянское богослужение и основать независимую славянскую церковь; близкий и недавний пример Болгарии должен был указать моравским князьям на этот путь. Со стороны Византии нечего было опасаться притязаний, подобно германским: она была слишком слаба для этого, и вот из Моравии отправляется в Константинополь посольство с просьбою о славянских учителях; просьба исполнена: знаменитые братья Кирилл и Мефодий распространяют славянское богослужение в Моравии и Паннонии.

Но не западным славянам суждено было основать среди себя независимую славянскую церковь: в последние десятилетия IX века на границах славянского мира явились венгры. Политика дворов — византийского и немецкого — с самого начала обратила этот народ в орудие против славян, греки обратили их против болгар, немцы — против моравской державы. К несчастию для последней в 894 году умер знаменитый князь ее Святополк[14], в то время, когда западным славянам нужно было сосредоточить все свои силы для отпора двум могущественным врагам — немцам и венграм; моравские владения разделились на части между сыновьями Святополка; вражда последних погубила страну, которая стала добычею венгров. Разрушение Моравской державы и основание Венгерского государства в Паннонии имели важные следствия для славянского мира, славяне южные были отделены от северных; уничтожено было центральное владение, которое начало было соединять их, где произошло столкновение, загорелась сильная борьба между Востоком и Западом, между германским и славянским племенем, где, с помощью Византии, основа-

лась славянская церковь; теперь Моравия пала, и связь славян с югом, с Грециею рушилась; венгры стали между ними. Славянская церковь не могла утвердиться еще, как была постигнута бурею, отторгнута от Византии, которая одна могла дать ей питание и укрепление. Таким образом, с уничтожением самой крепкой связи с Востоком западные славяне должны были по необходимости примкнуть к западному римско-германскому миру и в церковном и в политическом отношении. Самостоятельное славянское государство могло образоваться и окрепнуть только на отдаленном востоке, куда не достигали западные влияния, ни материальные, ни духовные. К судьбе этого-то государства мы теперь и обратимся.

Мы видели, как среди северных племен явился князь, призванный для установления наряда в земле, взволнованной родовыми усобицами. Установление наряда среди племен, сосредоточение их около одного правительственного начала, дало им силу; этою силою северных объединенных племен князья пользуются для того, чтоб подчинить себе, сосредоточить под своею властью и остальные племена, обитавшие в нынешней средней и южной России. Теперь предстоит нам вопрос: в каких же отношениях нашелся князь к племенам, призвавшим его и к подчинившимся впоследствии? Для решения этого вопроса должно обратиться к понятиям племен, призвавших власть. Летописец прямо дает знать, что несколько отдельных родов, поселившись вместе, не имели возможности жить общею жизнию вследствие усобиц; нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вместе; племена знали по опыту, что мир, наряд возможен только тогда, когда все живущие вместе составляют один род, с одним общим родоначальником; и вот они хотят восстановить это прежнее единство, хотят, чтоб все роды соединились под одним общим старшиною, князем, который ко всем родам был бы одинаков, чего можно было достичь только тогда, когда этот старшина, князь, не принадлежал ни к одному роду, был из чужого рода. Они призвали князя, не имея возможности с этим племенем соединять какое-либо другое новое значение, кроме значения родоначальника, старшего в роде.

Из этого значения князя уяснится нам круг его власти, его отношения к призвавшим племенам. Князь должен был княжить и владеть по буквальному смыслу летописи; он думал и гадал о своем владении, как старшина о своем роде, думал о строе земском, о ратях, об уставе земском; вождь на войне, он был судьею во время мира; он наказывал преступников; его двор — место суда, его слуги — исполнители судебных приговоров; всякая перемена, всякий новый устав проистекал от него. Но если круг власти призванного князя был такой же, какой был круг власти прежнего родоначальника, то в первое время на отношениях князя к племенам отражалась еще вся неопределенность

прежних родовых отношений, которой следствия и постепенное исчезновение мы увидим после; теперь же мы должны обратиться к вопросу первой важности, а именно, что стало с прежними родоначальниками, прежними старшинами, князьями племен? Удержали ли они прежнее значение относительно своих родов и, окружив нового князя из чужого рода, составили высшее сословие, боярство с важным земским значением, с могущественным влиянием на остальное народонаселение? Соединение многих родов в одно тело, с одним общим князем во главе, необходимо должно было поколебать значение прежних старшин, родоначальников; прежняя тесная связь всех родичей под властию одного старшины не была уже теперь более необходима в присутствии другой высшей, общей власти. Само собою разумеется, что это понижение власти прежних родоначальников происходило постепенно: мы еще видим некоторое время старцев, участвующих в советах князя, прежде нежели явились всеобщие советы или веча; но общественная жизнь, получая все большее и большее развитие, условливала распадение родов на отдельные семьи, причем прежнее представительное значение старшин в целом роде должно было мало-помалу исчезать.

Те исследователи, которые предполагают долговременное существование прежних славянских князей или родоначальников, и те, которые предполагают переход этих старшин в бояр с земским значением, забывают, что родовой быт славянских племен сохранился при своих первоначальных формах, не переходя в быт кланов, где старшинство было уже наследственно в одной линии, переходило от отца к сыну; тогда как у наших славян князь долженствовал быть старшим в целом роде, все линии рода были равны относительно старшинства, каждый член каждой линии мог быть старшим в целом роде, смотря по своему физическому старшинству: следовательно, одна какая-нибудь линия не могла выдвинуться вперед пред другими, как скоро родовая связь между ними рушилась; никогда линия не могла получить бóльшего значения по своему богатству, потому что при родовой связи имение было общее; как же скоро эта связь рушилась, то имущество разделялось поровну между равными в правах своих линиями; ясно, следовательно, что боярские роды не могли произойти от прежних славянских старшин, родоначальников, по ненаследственности этого значения в одной линии. Из этого ясно видно, что бояре наших первых князей не происходили от старинных родоначальников, но имели происхождение дружинное.

Таково было значение князя, таковы были отношения его к подчиненному народонаселению. Само собою разумеется, что эти отношения устанавливались не вдруг, но постепенно, у одних племен прежде, у других после: прежде у племен, участвовавших в призвании князя, после у племен, подчинившихся позднее преемникам Рюрика, и более отдаленных от главного места действия, т. е. от водного пути между Новгородом и Киевом. Не вдруг, но

мало-помалу обнаруживались и перемены в быту племен вследствие подчинения их одной общей власти: дань, за которою сам князь ходил, была первоначальным видом этого подчинения, связи с другими соподчиненными племенами. Но при таком виде подчиненности сознание об этой связи, разумеется, было еще очень слабо. Гораздо важнее для общей связи племен и для скрепления связи каждого племени с общим средоточием была обязанность, вследствие которой сами племена должны были доставлять дань в определенное князем место, потому что с этим участие племен в общей жизни принимало более деятельный характер. Но еще более способствовала сознанию о единстве та обязанность племен, по которой они должны были участвовать в походах княжеских на другие племена, на чужие народы: здесь члены различных племен, находившихся до того времени в весьма слабом соприкосновении друг с другом, участвовали в одной общей деятельности, составляли одну дружину под знаменами русского князя; здесь наглядным образом приобретали они понятие о своем единстве и, возвратясь домой, передавали это понятие своим родичам, рассказывая им о том, что они сделали вместе с другими племенами под предводительством русского князя. Наконец, выходу племен из особного, родового быта, сосредоточению каждого из них около известных центров и более крепкой связи всех их с единым, общим для всей земли средоточием, способствовало построение городов князьями, умножение народонаселения, перевод его с севера на юг.

Мы коснулись непосредственного влияния княжеской власти на образование юного общества; но это влияние сильно обнаружилось еще посредством дружины, явившейся вместе с князьями. С самого начала мы видим около князя людей, которые сопровождают его на войну, во время мира составляют его совет, исполняют его приказания, в виде посадников заступают его место в областях. Эти приближенные к князю люди, эта дружина княжеская могущественно действует на образование нового общества тем, что вносит в среду его новое начало, сословное, в противоположность прежнему родовому. Является общество, члены которого связаны между собою не родовою связью, но товариществом; дружина, пришедшая с первыми князьями, состоит преимущественно из варягов, но в нее открыт доступ храбрым людям из всех стран и народов, преимущественно, разумеется по самой близости, туземцам; с появлением дружины среди славянских племен, для их членов открылся свободный и почетный выход из родового быта в быт, основанный на других, новых началах; они получили возможность развивать свои силы, обнаруживать свои личные достоинства, получали возможность личною доблестию приобретать значение, тогда как в роде значение давалось известною степенью по родовой лестнице; в дружине члены родов получали возможность ценить себя и других по степени личной доблести, по степени той пользы, какую они доставля-

ли князю и земле; с появлением дружины должно было явиться понятие о лучших, храбрейших людях, которые выделились из толпы людей темных, неизвестных, черных; явилось новое жизненное начало, средство к возбуждению сил в народе и к выходу их; темный, безразличный мир был встревожен, начали обозначаться формы, отдельные образы, разграничительные линии [15].

Обозначив влияние дружины вообще, мы должны обратиться к вопросу: в каком отношении находилась она к князю и земле. Для легчайшего решения этого вопроса сравним отношения дружины к князю и земле в Западной Европе и те же самые отношения у нас на Руси. На Западе около доблестного вождя собиралась толпа отважных людей с целию завоевания какой-нибудь страны, приобретения земель во владение. Здесь вождь зависел более от дружины, чем дружина от него; дружина не находилась к вождю в служебных отношениях; вождь был только первый между равными: «Мы избираем тебя в вожди, — говорила ему дружина, — и куда поведет тебя твоя судьба, туда пойдем и мы за тобою; но что будет приобретено общими нашими силами, то должно быть разделено между всеми нами, смотря по достоинству каждого». И действительно, когда дружина овладевала какою-нибудь страною, то каждый член варварского ополчения приобретал участок земли и нужное количество рабов для его обработки. Но подобные отношения могли ли иметь место у нас на Руси с призванием князей? Мы видели, что князь был призван северными племенами как *нарядник* земли; в значении князя этих племен, в значении князя известной страны он расширяет свои владения; около него видим дружину, которая постоянно наполняется новыми членами, пришлецами и туземцами, но ясно, что эти дружинники не могут иметь значения дружинников западных: они не могли явиться для того, чтоб делить землю, ими незавоеванную, они могли явиться только для того, чтоб служить князю известных племен, известной страны. С другой стороны, если князь с дружиною покорил новые племена, то это покорение было особого рода: во-первых, князь покорял их не с одною дружиною, но соединенными силами всех, прежде подчинившихся племен; во-вторых, покоренные племена были рассеяны на огромном пустынном пространстве; на них налагалась дань — и только; но их не делили между членами дружины. Земли было много у русского князя; он мог, если хотел, раздавать ее своим дружинникам; но дело в том, выгодно ли было дружинникам брать ее без народонаселения; им гораздо выгоднее было оставаться при князе, ходить с ним за добычею на войну к народам еще непокоренным, за данью к племенам подчиненным, продавать эту дань чужим народам, одним словом, получать от князя содержание непосредственно.

Замечено было, что князья принимали в свою дружину всякого витязя, из какого бы народа он ни был; каждый пришлец получал место смотря по своей известности; в древних песнях на-

ших читаем, что князь встречал неизвестных витязей следующими словами:

Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитесь, как вас по имени зовут:
А по имени вам мочно место дать,
По изотчеству можно пожаловати.

Так было везде, так было и у нас. В скандинавских сагах читаем, что при Владимире княгиня, жена его, имела такую же многочисленную дружину, как и сам князь; муж и жена соперничали, у кого будет больше знаменитых витязей; если являлся храбрый пришлец, то каждый из них старался привлечь его в свою дружину. Подтверждение этому известию находим также в наших старинных песнях: так Владимир, посылая богатыря на подвиг, обращается к нему со следующими словами:

Гой еси, Иван Годинович!
Возьми ты у меня князя сто человек
Русских могучих богатырей,
У княгини ты бери другое сто.

Чем знаменитее был князь, тем храбрее и многочисленнее были его сподвижники; каков был князь, такова была и дружина: дружина Игорева говорила: «Кто с морем советен», и шла домой без боя; сподвижники Святослава были все похожи на него: «Где ляжет твоя голова, там и все мы головы свои сложим», — говорили они ему, потому что оставить поле битвы, потерявши князя, считалось страшным позором для доброго дружинника; и хороший вождь считал постыдным покинуть войско в опасности: так, Святослав не принял вызова Цимисхиева на поединок [16], конечно, не из трусости, но из того, чтоб не отделиться от дружины, не покинуть ее на жертву врагам в случае своей смерти; так, во время похода Владимира Ярославича на греков тысяцкий Вышата сошел на берег к брошенным бурею воинам и сказал: «Если буду жив, то с ними; если погибну, то с дружиною» [17]. Было уже замечено, что дружина получала содержание от князя — пищу, одежду, коней и оружие; дружина говорит Игорю: «Отроки Свенельдовы [18] богаты оружием и платьем, а мы босы и наги; пойдем с нами в дань». Хороший князь не жалел ничего для дружины: он знал, что с многочисленными и храбрыми сподвижниками мог всегда приобрести богатую добычу; так говорил Владимир и давал частые, обильные пиры дружине; так, о сыне его Мстиславе говорится, что он очень любил дружину, имения не щадил, в питье и пище ей не отказывал. При такой жизни вместе, в братском кружку, когда князь не жалел ничего для дружины, ясно, что он не скрывал от нее своих дум, что члены дружины были главными его советниками во всех делах; так, о Владимире говорится, что он любил дружину, и думал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском. Святослав не хочет принимать христианства, потому что дружина станет смеяться.

Бояре, вместе с городскими старцами решают, что должно принести человеческую жертву; Владимир созывает бояр и старцев советоваться о перемене веры.

Кроме дружины, войско составляли особые полки, избиравшиеся из народонаселения городского и сельского, к состоянию которого теперь и обратимся. Прежние города славянских племен были не иное что, как огороженные села, жители которых занимались земледелием. Это занятие всего более способствует сохранению родового быта: по смерти общего родоначальника сыновьям его и внукам выгодно поддерживать родовую связь, чтоб соединенными силами обрабатывать землю. Как же скоро среди народонаселения являются другие промыслы, мена, торговля, как скоро для членов рода является возможность избирать то или другое занятие по своим склонностям, является возможность посредством собственной самостоятельной деятельности приобресть более других членов рода, то с тем вместе необходимо должно являться стремление выделиться из рода для самостоятельной жизни, самостоятельной деятельности. Различие занятий и мена условливались тем, что среди городов явился новый элемент народонаселения — воинские отряды, дружины князей; в некоторых городах поселились князья, в других — мужи княжие с воинскими отрядами; этот приплыв народонаселения с средствами к жизни, но не промышленного само по себе, необходимо должен был породить торговлю и промышленность, которые, в свою очередь, должны были действовать на ослабление прежнего родового быта. Ослаблению родового быта в новых городах, построенных князьями, содействовало и то, что эти города обыкновенно наполнялись народонаселением, собранным из разных мест, преимущественно с севера; переселенцы эти были вообще доступнее для принятия новых форм быта, новых условий общественной жизни, чем живущее рассеянно, отдельными родами сельское народонаселение; в городах сталкивались чужеродцы, для которых необходимы были новые правительственные отношения, новая гражданская связь.

Наконец, ослаблению и падению родового быта в городах должно было много содействовать новое военное деление на десятки и сотни, над которыми поставлялись независимые от родовых старшин начальники — десятские, сотские; что эти начальники сохраняли свое влияние и во время мира, доказательством служит важное влияние, гражданское значение тысяцкого: эти новые формы соединения, новые чисто гражданские отношения необходимо должны были наносить удар старым формам быта. Появление города пробуждало жизнь и в ближайшем к нему сельском народонаселении: в городе образовывался правительственный центр, к которому должно было тянуть окружное сельское народонаселение; сельчане, которые прежде раз в год входили в сношения с княжескою властию при платеже дани, теперь входили в сношения с нею гораздо чаще, потому что в ближайшем горо-

де сидел муж княж, посадник; потом, как скоро городское народонаселение получило другой характер, чем прежде, то между ним и сельским народонаселением необходимо должна была возникнуть торговля, вследствие различия занятий. С другой стороны, подле городов начали появляться села с народонаселением особого рода; князья, их дружинники и вообще горожане стали выводить деревни, населяя их рабами, купленными или взятыми в плен, также наемными работниками. Так, посредством городов, этих правительственных колоний, наносился удар родовой особности, в какой прежде жили племена, и вместо племенных названий встречаем уже областные, заимствованные от главных городов. Так были положены основы русскому обществу; таковы были перемены, произведенные новыми началами в быте восточных племен славянских. Но легко заметить, что в начертанной картине образования юного русского общества чего-то недостает, и недостает самого главного, недостает духовного начала. Как в дивном видении ветхозаветного пророка мы видим, что кости складываются с костями, связываются жилами, облекаются плотию, — но духа еще нет в новом теле: этот дух принесен был христианством.

Чтение второе

В прошедшую беседу мы видели, как положены были основы русского общества, мы видели, как сложились его части; но мы заметили, что не было еще духовного начала, которое бы дало этим частям духовную связь, духовное единство: это духовное начало явилось вместе с христианством, принесенным в Россию из Византии. Прежде, нежели приступим к рассказу о принятии христианства, его распространении и влиянии на новорожденное общество, считаем нужным сказать несколько слов о том князе, которому суждено было сделаться просветителем русского народа. Мы видели, какими способами и путями начало, призванное для установления наряда, исполнило свое назначение в первое время существования русского общества; мы видели, как правительственное начало собирало племена, рассеянные на безмерном пространстве, сосредоточивало их около правительственных центров — около городов; каким образом переводило оно народонаселение из быта племенного в быт областной. С другой стороны, правительственное начало должно было стоять на стороже русской земли, должно было постоянно защищать это юное общество, эти первые основы общества от непрестанных вторжений степных варваров, — потому что русское государство, передовое государство европейское, основалось на границе степей, на границах Европы с Азиею[19]. Из князей, которые всего более старались об этом внутреннем наряде, предание выставляет нам два лица, соединенные в нем одним именем, одним прозванием, одинаковым характером деятельности, хотя эти два ли-

ца и разных полов: это князь Олег, второй по призвании, и княгиня Ольга, жена Игоря, третьего князя[20]. Предание выставляет одинаковую деятельность этих двух лиц относительно устроения наряда в земле, указывая, как эти лица старались определить отношения племен к главному центру, к сосредоточивающему началу, как, собирая эти племена, населяли пустынные страны, строили города. Мы сказали, что предание дает обоим этим лицам одно прозванье — мудрых: мы знаем, кого обыкновенно народное предание называет мудрыми, кому приписывает это свойство, — оно приписывается тем правительственным лицам, которые преимущественно заботятся о внутреннем наряде, о внутреннем благосостоянии общества.

Иначе рассказывает предание о сыне Ольги: Святослав в предании выставляется героем, вождем дружины по преимуществу, но не нарядником; в предании сохранилась жалоба, что он оставил родную страну для чужой, заботился о чужой стороне, а между тем родную землю без него едва было не взяли печенеги. С другим характером является сын Святослава — Владимир[21]. Это лицо есть любимый герой древней Руси. Конечно, его великое значение как апостола, просветителя русской земли, дает ему право быть главным героем древней русской истории. Не удивительно потому в народных поэтических сказаниях видеть это лицо совопросником царя Давида, вместе с ним решающим важный вопрос о начале и конце мира. Но с Владимиром соединены еще другие предания, которые не могут быть объяснены одним его религиозным значением: к княжению Владимира относится цикл богатырских наших песен и сказаний. Витязи богатыри, главные герои этих преданий, суть сподвижники, дружинники Владимира; Владимир тот князь, который распоряжается их подвигами.

Отчего же в этих сказаниях о геройских подвигах богатырей играет главную роль Владимир, а не отец его Святослав, герой по преимуществу? Если мы обратимся к летописи, то она точно укажет нам, что Владимир совершил много походов, преимущественно с той целию, чтобы скрепить окончательно между племенами связь, ослабевшую во время удаления отца его в Болгарию и во время междуусобий братьев. Но преимущественная деятельность Владимира состояла в том, что он отражал степных варваров, сдерживал их стремления против новорожденного общества; около Киева, около центра русского общества в то время, с целию защиты от нападений варваров построил ряд городов; все его княжение проходит большею частию в битвах с варварами. Здесь, в этих битвах, идет дело о самых главных интересах общества, народа, здесь совершается борьба за имущество, свободу, жизнь. Не удивительно после этого, что подвиги Святослава не могли служить содержанием народных песен и сказаний: они были совершаемы вдали от родной страны и не для родной страны; тогда как подвиги Владимира были совершаемы в виду всей

русской земли и с целию ее защиты от степных варваров; вот почему благодарный народ так удержал в своей памяти подвиги Владимира и сделал его героем целого цикла богатырских преданий, а между тем сам Владимир не был богатырь из богатырей, как был отец его Святослав. Но Владимир кроме этого заслужил еще народную добрую память другими чертами своего характера: из сличения всех преданий, записанных в летописи и существующих в народных сказаниях, мы видим, что этот князь имел широкую, любящую душу и потому не любил жить одиноко, но любил жить с другими вместе; а известно, как это качество способно приобретать любовь народа и добрую память.

Таков был князь, которому суждено было быть апостолом России. Знакомство с христианством начинается очень рано в нашем отечестве вследствие ранних походов русских князей и племен на Константинополь: уже во время похода Игоря, третьего русского князя, летопись говорит о христианах, бывших в его войске, и о церкви христианской, находившейся в Киеве. Раннее распространение и усиление христианства в Руси доказывается и тем, что после Игоря жена его Ольга, управлявшая делами нового общества за малолетством сына своего Святослава, принимает христианство: это явление было и следствием распространения христианства, и причиною дальнейшего его распространения. Но когда христианство начало усиливаться на Руси, в тогдашнем центре ее — Киеве, как скоро оно обратило на себя внимание, тогда необходимо было ожидать враждебного столкновения его с древней языческой религией. Когда Ольга увещевала сына своего принять христианство, он отказался: в характере Святослава лежало неодолимое препятствие к тому. Но, как сказано, самый пример Ольги должен был способствовать к усилению христианства, а вместе с успехами последнего должно было возникнуть и сопротивление со стороны язычества; это сопротивление обозначается в летописи тем, что христиан, хотя не притесняли, но смеялись над ними; борьба, таким образом, начиналась насмешками. Есть некоторые известия, что в конце княжения Святослава эта борьба приняла уже другой характер, — насмешки превратились в притеснения: но Святослав, преследуя христианство (если верить этим известиям), оставил, однако, по своем удалении малолетних сыновей своих при бабке их христианке, и есть также известие, что старший сын его Ярополк[22] был привержен к христианству, хотя явно и не принимал его из страха пред сильной языческой стороною.

Есть еще, далее, известие, что Владимир, князь новгородский, в борьбе с Ярополком был обязан успехом своим стараниям языческой стороны, которая не хотела Ярополка, но хотела князя вполне язычника. Верность этого известия подтверждается тем, что как скоро Владимир осилил брата и занял Киев, тогда мы видим язычество в полном разгаре. Никогда еще, по свидетельству летописи, язычество не выказывалось так резко на Руси, как

в начале княжения Владимира, никогда не было приносимо так много жертв, требовались даже человеческие жертвы. Владимир, обязанный торжеством своим языческой стороне, спешит удовлетворить ей, спешит украсить язычество и языческий быт: он ставит изукрашенных идолов, приносит им частые жертвы. Но в самом этом торжестве язычества, в этом старании поднять, украсить его, в этом самом мы видим уже признак его скорого падения: стараясь поднять язычество, стараясь украсить его, Владимир и те, которые содействовали ему в этом, истощали все средства язычества и тем резче обнаруживали всю его ничтожность, всю его несостоятельность пред другими религиями, особенно пред христианской. Что бывает иногда в жизни частных людей, то же замечается и в жизни целых обществ: мы видим иногда, что самые ревностные поклонники какого-нибудь начала, оставляя прежний предмет своего поклонения, вдруг переходят на другую сторону и действуют с удвоенною ревностию в ее пользу, — это значит, что они в своем сознании истощили все средства своего прежнего поклонения. У нас на Руси, в Киеве, в малых размерах случилось то же самое, что некогда имело место в Риме при императоре Юлиане[23]: его ревность всего более способствовала падению язычества; он истощил все средства, которые могло дать язычество для умственной и нравственной жизни общества, и тем показал его ничтожность и несостоятельность пред христианством: так и наше языческое общество при Владимире, истощив все средства язычества, приготовило тем самым торжество христианства.

Под 983 годом летописец помещает следующий любопытный рассказ: пришел Владимир из похода против ятвягов[24], и начали приносить жертвы кумирам; собралась толпа и потребовала человеческой жертвы; кинули жребий, — жребий пал на одного из варягов, который исповедывал христианскую веру вместе с отцом своим, принесшим ее из Константинополя; толпа послала сказать старику, чтобы он отдал сына своего на жертву богам; варяг отвечал: «Ваши боги суть дерево, — ныне есть оно, завтра сгниет; один тот бог, которому кланяются греки, который сотворил небо и землю; а что сделали ваши боги? — Они сами сделаны: не отдам сына своего бесам». Разъяренная толпа убила проповедника; — ярость прошла, но проповедь осталась: «Ваши боги дерево!» — и безответны стояли кумиры Владимира пред этим грозным вызовом. И в самом деле, что могла древняя наша языческая религия дать обществу, что могла она выставить, что могла ответить на все те важные вопросы, которые задавали ей проповедники других религий, особенно религии христианской?

Одним из главных вопросов, которые беспокоили все северные народы и которые так сильно способствовали распространению между ними христианства, был вопрос о начале мира и о будущей жизни. Болгарское предание о принятии христианства говорит, что болгарский князь всего более был поражен картиною

страшного суда; то же самое повторяет предание и о нашем Владимире. В предании Владимир созывает старцев и бояр, чтоб посоветоваться о вере; он говорит им: «Приходили ко мне проповедники разных вер, каждый хвалил свою веру; пришли и греки, они рассказали мне много о начале и конце мира; хитро говорят они, любо их слушать». Что этот вопрос о начале и конце мира сильно занимал северные народы и много способствовал к распространению между ними христианства, это доказывается тем, что подобное же предание находим мы и на противуположном конце Западной Европы — знак, что это предание верно, верно духу времени и духу народов: христианские проповедники приходят к одному англо-саксонскому королю; король, подобно Владимиру, созывает дружину и старшин для совещания, принять ли им новую веру или нет; и вот один из вождей говорит: «Ты верно припомнишь, князь, что случается иногда в зимнее время, когда ты с дружиною своей сидишь в теплой комнате, камин пылает, всем так хорошо, а на дворе вьюга, метель, дождь, снег; и вот иногда в это время случится, что маленькая птичка влетит в одну дверь и вылетит в другую: мгновение этого перелета так приятно ей, но это мгновение кратко, и она снова погружается в бурю, и снова бьет ее ненастье: такова и жизнь наша, если сравнить ее с тем временем, которое ей предшествует и последует, — это время беспокоит и страшит нас своею неизвестностью. И так, если новое учение даст известие о том, что было и что будет, то стоит принять его» [25]. Так говорят предания, являющиеся совершенно независимо одно от другого в разных концах Европы. На верность их указывает их согласие.

Но есть еще другое предание, также несомненно верное: это предание о выборе вер. Оно говорит, что Владимир должен был выбирать из разных вер; язычество показало свою несостоятельность, нужно было переменить его на другую веру, и вот Владимир избирает из многих вер христианскую. Это предание также согласно с обстоятельствами времени и тогдашнего общества. Выбор из многих вер есть особенность русской истории: другим, западным народам нельзя было выбирать из многих вер, им можно было только переменить язычество на христианство. Но русское общество находилось на границах Европы и Азии; здесь, на этих границах, сталкивались не только разные народы, но и разные религии; следовательно, обществу в таких обстоятельствах должно было выбирать из разных вер. Далее на Востоке, еще прежде основания русского государства основалось казарское царство, которое представляет нам несколько различных народов, соединенных вместе, и несколько различных религий: и вот у казар существовало предание, что их кагану нужно было также выбирать из разных вер, что к нему приходили проповедники от разных народов, — азиатский народ выбирает веру иудейскую [26]. Теперь, далее к Западу, на границах Европы и Азии, основывается другое общество с европейским населением

и характером; но обстоятельства те же, и то же предание повторяется; на этот раз европейское общество выбирает христианство.

Христианство было уже давно знакомо в Киеве, вследствие связей с Константинополем: русские люди часто бывали в Константинополе и приносили оттуда рассказы о чудесах греческой религии и гражданственности. Эти бывальцы в Византии, которые вместе с тем бывали и в других странах и имели случай сравнить различные религии, эти бывалые люди имели полное право сказать Владимиру то, что в предании говорят ему бояре, отправленные им для испытания различных вер: «Лучше греческого богослужения, лучше греческой религии найти нельзя; всякой, отведав раз сладкого, не захочет горького; если ты не примешь христианской веры, то мы уедем назад в Константинополь». Митрополит Илларион [27], современник Владимирова сына Ярослава, Илларион, авторитет которого для нас беспрекословен, говорит, что Владимир беспрестанно слышал о греческой вере, богослужении, о чудесах христианства. Но и для тех, которые не бывали в Константинополе, было свое туземное доказательство в пользу христианства: «Если бы христианство не было лучшею из религий, — говорили они Владимиру, — то твоя бабка Ольга не приняла бы его, а Ольга была мудрейшая из людей». Таким образом, все было готово к принятию христианства.

Прибавим еще и другое обстоятельство: Владимир был взят малюткой из Киева и отвезен в Новгород, где и воспитан; на севере христианство было мало знакомо, язычество господствовало здесь вполне; в борьбе с Ярополком Владимир явился с северными полками, набранными из скандинавов, новгородцев, кривичей, финнов — все ревностных язычников; этот приплыв языческого элемента и был причиною торжества язычества в начале княжения Владимира. Но потом время и место взяли свое, язычество не могло долее противиться; языческая религия, которая удовлетворяла потребностям племен, рассеянных, живших особно в родовом быте, не могла уже теперь удовлетворить киевлянам, познакомившимся с христианством. В совете Владимира было решено, что христианство есть лучшая вера [28].

Не станем повторять дальнейших подробностей о том, как Владимир, не смея прямо приступить к такому великому делу, говорит: «Подожду еще немного» и предпринимает поход на Корсунь; заметим, что это предание так верно и естественно, что мы имеем право принять его; оно показывает нам, как Владимир дает обет принять христианство, если бог христианский поможет ему: мы знаем, что это не первый вождь языческого народа, который принимает христианство вследствие подобных обетов. И вот Владимир возвращается в Киев христианином, сокрушает идолов; духовенство, приведенное им, проповедует христианство по улицам города. Многие, давно знакомые с христианством, с радостию принимают его, другие колеблются, как прежде колебался Владимир, некоторые же упорно стоят за старую веру. Тогда Вла-

димир употребляет средство сильнее: он объявляет, чтобы на другой день весь народ явился к реке, и кто не явится, тот будет врагом князю. Те, которые колебались, ждали чего-нибудь решительного, с радостью пошли теперь к реке, руководствуясь примером князя и бояр, говоря, что если бы христианство не было лучшею религией, то князь и бояре не приняли бы его; некоторые, по словам митрополита Иллариона, шли неохотно, из страха пред повелевшим; некоторые же, закоренелые язычники, удаляются из Киева, скрываются в лесах и степях. Это известие об удалении некоторых язычников в леса и степи можно принимать в связи с известием об умножении разбоев: закоренелые язычники, удалившись от общества, разумеется, должны были враждебно против него действовать.

Любопытно, что богатыри Владимира, по преданиям, вооружаются против разбойников: все это может вести ко мнению, что эта борьба хотя отчасти носила характер религиозный; приводят разбойника, — его отдают митрополиту; разбойник кается в доме последнего. Как бы то ни было, в Киеве христианство принялось без больших затруднений. Но не так было там, где оно не было еще знакомо, у племен северных и восточных, которые жили еще в простоте первоначального быта, для которых старая языческая религия была еще удовлетворительна. Любопытно видеть, что христианство распространялось у нас тем же путем, каким вначале распространялась и государственная область; проповедники, митрополиты и другие духовные лица идут по великому водному пути — из Киева в Новгород, потом белозерским путем до Ростова. Но христианство встречает здесь на севере сильные препятствия; язычество, не удовлетворяясь страдательным противоборством христианству, осмеливается иногда прямо и явно наступать на него; являются иногда волхвы и явно возмущают народ против христианства. Большие смуты произвели они в ростовской области, так что князь Ярослав должен был сам отправляться на север для усмирения волнений; в Новгороде один волхв возмутил народ до того, что когда епископ вышел с крестом в руке, то на стороне волхва стало все народонаселение; на стороне епископа остался один князь с дружиною, и только особенная смелость князя помешала исполниться намерениям волхва.

Для окончательного торжества христианства и низложения язычества греческое духовенство присоветовало Владимиру меру самую действительную: христианство не могло с надлежащим успехом распространяться среди старого поколения, которое было воспитано в язычестве и потому жило прежними, языческими понятиями; с другой стороны, родители, пропитанные языческими понятиями, не могли воспитать новое поколение в понятиях христианских: и вот, по совету греческих епископов, Владимир отбирает у лучших граждан детей и отдает их по церквам духовенству учиться грамоте и вместе догматам христианским, воспитываться в христианском духе; сын его, Ярослав, то же самое дела-

ет в Новгороде. Св. Леонтий[29] подобным же образом поступает в Ростове: не имея возможности сладить с упорным язычеством, св. Леонтий обращается к молодому поколению, собирает около себя детей и воспитывает их в христианстве, за что и терпит страдальческую кончину от родителей этих детей. Но в Киеве и Новгороде эта мера удалась как нельзя лучше: новое, молодое поколение, воспитанное христиански и выученное грамоте, имело средства узнать догматы новой религии и действовать гораздо сильнее против прежней.

Теперь рассмотрим, каковы были подвиги этого нового, молодого поколения, поколения грамотного, наученного догматам своей религии. Представителями его являются в семействе княжеском уже дети Владимира и, во-первых, любимые его сыновья — Борис и Глеб[30]. Легко понять, что христианство, по самому характеру своему, должно было прежде всего подействовать на самые нежные отношения, на отношения семейные, родственные, должно было скрепить их и дать им большую мягкость и нежность: это и видим мы в Борисе и Глебе, в этих образцах братской любви и благоговения к началам семейным; они падают жертвою этих новых понятий, новых чувств; они являются первыми гражданами нового мира, первыми борцами нового христианского общества против языческого. Потом, представителем нового поколения является третий сын Владимира — Ярослав, который был великим князем. Ярослав, говорит летопись, был христианин и умел читать книги: это два сопоставления чрезвычайно важны; именно по понятиям тогдашнего общества, христианство и грамотность были нерасторжимы; следовательно, Ярослав был полным представителем нового поколения. Умея сам читать книги, будучи настоящим христианином, зная догматы своей веры, Ярослав заботился, чтоб и другие имели те же знания: он собирает писцов, которых заставляет переводить, переписывать книги; в Новгороде, как сказано выше, отбирает у лучших граждан детей и отдает их учиться, строит церкви, дает от себя содержание приставленным к ним священникам, которым поручает учить народ. Потом, после семьи княжеской, представителем нового поколения является митрополит Илларион, который, понимая различие и превосходство нового порядка вещей пред старым, старался и другим показать это превосходство.

Но этого было еще мало; новое поколение грамотных христиан должно было выставить проповедников не слова только, но и дела, — и оно выставило целый ряд подвижников, которые жизнию, на самом деле, доказали явно превосходство нового порядка вещей и дали окончательное торжество христианству. Мы говорим об этих великих подвижниках христианства, о древних наших иноках, преимущественно иноках Киево-Печерского монастыря, который имеет такое важное значение в нашей древней истории. Как прежде русские люди из Киева ходили в Грецию за добычей, за славой, так теперь новое поколение, воспитавшееся

в христианстве, путешествует в Грецию, но не за добычею, не за славою, а за тем, чтобы получить там окончательное просвещение, окончить свое христианское духовное воспитание. Таков был святой Антоний[31], который отправился с этими целями в Грецию, возвратился иноком и положил основание Киево-Печерской обители. Кроме Антония, мы видим еще другого представителя нового поколения: это был св. Феодосий[32]. В жизни Феодосия всего легче можно видеть эту борьбу старого поколения с новым и торжество последнего. Предание говорит, что когда Владимир велел у лучших людей отбирать детей для учения, то матери полу-язычницы плакали по своих детях как по мертвых: такова была мать и св. Феодосия; в самой ее любви представитель нового поколения встретил сильное препятствие своим намерениям; она не хотела, чтобы он посвятил себя исключительно религии. Но Феодосий преодолел все препятствия, ушел в Киев, явился к Антонию, вступил в монастырь и был после его игуменом. Но кроме Антония и Феодосия, Печерский монастырь выставил целый ряд подвижников христианства, которые своим примером, своими делами так много способствовали распространению христианства в областях русских. Показав средства, какими христианство распространялось и утверждалось на Руси, обратимся к влиянию этого нового могущественного начала на гражданский быт юного русского общества. Немедленно после принятия новой веры мы видим уже епископов советниками князя, истолкователями воли божией; но христианство принято от Византии; Русь составляет одну из епархий, подведомственных Константинопольскому патриарху; для русского духовенства единственным образцом всякого строя служит устройство византийское: отсюда понятно будет гражданское влияние греко-римского мира на юное русское общество. Церковь, по главной задачей своей — действовать на нравственность, должна была прежде всего обратить внимание на отношения семейные, которые поэтому самому и подчинились церковному суду. Легко понять, какое влияние должна была оказать церковь, подчинив своему суду отношения семейные, оскорбление чистоты нравственной и преступления, совершавшиеся по языческим преданиям. Духовенство своим судом вооружилось против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против многоженства, против браков в близких степенях родства, против насильственных браков. Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностию, возвысила ее значение, постановивши обязанности детей к матери наравне с обязанностями к отцу. Семья, до сих пор замкнутая и независимая, подчиняется надзору чуждой власти; христианство отнимает у отцов семейств жреческий характер, который они имели во времена языческие; подле отцов плотских являются отцы духовные; что прежде подлежало суду семейному, теперь подлежит суду церковному. Нужно ли прибавлять, что такое влияние церкви на семейный быт могущественно содействовало к перево-

ду народонаселения от старых форм родового быта к новым, гражданским.

Чтение третье

В прошедших беседах мы видели, как образовалось русское общество, и как духовное, религиозное начало действовало при этом образовании. Мы видели, что пред призванием князей племена, обитавшие в областях нынешней России, жили в формах родового быта. При содействии правительственного начала, дружины и церкви эти формы быта начали уступать место другим гражданским формам; но родовой быт оставался еще столько могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшие его начала, и когда семья княжеская, семья Рюриковичей, стала многочисленна, то между членами ее начинают господствовать чисто родовые отношения, тем более, что род Рюрика, как род правительственный, не мог подчиняться влиянию никакого другого начала. Князья считают всю Русскую землю в общем нераздельном владении целого рода своего, причем старший в роде, великий князь сидит на старшем столе, другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные; когда умрет старший, или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском, который и перемещается на главный стол, а вместе с этим перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Связь между старшими и младшими членами рода была чисто родовая, а не государственная: когда великим князем был отец, дед, то отношения его к младшим членам рода, сыновьям, внукам были прочны, определенны, ясны; но когда с умножением членов рода великим князем бывал троюродный или четвероюродный дядя или брат, то родственные отношения необходимо ослабевали, а с тем вместе ослабевало уважение, повиновение младших старшему, особенно, когда замечали стремление старшего блюсти более выгоды ближайших родичей, ослабевала общая связь рода, увеличивались случаи к враждебным столкновениям между его членами. Завязались споры между различными линиями о старшинстве, одна линия начала исключать другую. Народонаселение волостей вмешалось в эти споры, стало выбирать князей, которые были ему любы, не обращая внимания на родовые счеты Рюриковичей: отсюда новые смуты, новая запутанность, новые усобицы. Мы упоминали, что в отношениях между князем и подчиненным народонаселением оставались еще неопределенности; но князья не имели возможности определить точнее своих отношений к народонаселению волостей, потому что все внимание их было поглощено собственными их родовыми счетами и борьбою, вследствие этих счетов происходившею; доискиваясь старшинства, они

переходили из одной волости в другую, не занимаясь установлением прочного порядка вещей, оставляя все по-прежнему.

Таким образом, мы видим, что причиною усобиц, нестроений, характеризующих эпоху от смерти Ярослава 1-го был тот же родовой быт, для выхода из которого северные племена призвали первых князей. Теперь, следовательно, для прекращения беспорядков, усобиц в самом роде княжеском нужно было, чтоб в нем самом повторилось то же явление, чтоб в нем самом родовые отношения упразднились, уступили место государственным, чтоб старший в роде князь явился государем относительно младших, а последние подчинились его власти как подданные. Для этого, во-первых, нужно было, чтоб великий князь начал иметь не одно родовое значение, как только старший, но чтоб он стал смотреть на остальных родичей, как на подданных и при этом имел бы довольно материальной силы, чтоб заставить родичей смотреть на себя, как на государя. Во-вторых, нужно было, чтоб князья перестали считать всю землю общим достоянием целого рода, но чтоб каждый утвердился навсегда в своей волости, начал заботиться об увеличении своих материальных сил, расширять свои владения на счет других, чтоб сильнейшие князья начали собирать Русскую землю, присоединяя к одной большой области другие меньшие. Это явление, перемена в характере великих князей и перемена во взгляде на собственность произошло на севере, в области верхней Волги, в княжестве Ростовском; первый князь, который решился изменить родовые отношения, начал поступать не так, как старший в роде, но как государь, был Андрей Боголюбский[33]. Что же за причина этой перемены? Каким образом Андрей Боголюбский получил мысль о ее возможности и необходимости? Так как перемена эта произошла на севере, то там должно искать и причину ее.

В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство, при расширении своих владений, занимает обширные пустынные пространства и населяет их, государственная область расширяется преимущественно посредством *колонизации*; господствующее племя славянское выводит поселения свои все далее и далее вглубь востока[34]. Всем племенам Европы завещано историею высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено совершать это дело морским, восточному племени — славянскому, сухим путем. Мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о населении пустынных пространств, о построении городов; сперва населялись страны юго-западные, потом колонизация шла далее на северо-восток; честь населения северо-востока, пустынной области верхней Волги, преимущественно принадлежит Юрию Владимировичу Долгорукому, построившему здесь целый ряд городов, куда он сводил народонаселение из разных мест, из разных племен: эта новонаселенная область, эти новые города обязаны были князю своим поли-

тическим существованием, были его собственностью, князь был здесь хозяином полновластным, здесь не было места никакой неопределенности в отношениях.

Среди этого-то нового мира, на этой-то новой почве родился, вырос и возмужал сын Юрия Долгорукого, знаменитый Андрей Боголюбский. Слишком тридцать лет прожил он на севере, принял на себя впечатления окружавшей среды, воспитался в иных отношениях, чем какие существовали между князем и городами на юге, воспитался в отдалении от остальных линий княжеского рода, в отчуждении от их привычных интересов и тем способнее, следовательно, был он для того, чтоб выделиться из рода, порвать с ним связь. И вот когда в зрелом мужестве явился он на юг, то чужд и враждебен показался он ему; он спешил удалиться на свой родной север, и когда досталось ему старшинство в целом роде, когда все князья признали его великим князем, Андрей обнаруживает попытку к перемене существующего порядка вещей, имея, по отношениям своим к северному народонаселению, полную свободу действовать и привыкнув пользоваться этою свободою, что давало ему и силу материальную, и сообщало единство и постоянство его стремлениям. Андрей переменяет обращение с младшими князьями-родичами; последние изумились этой перемене, поняли всю опасность для себя от нее и вооружились против новизны: «Мы признали тебя старшим, — говорили они Андрею, — а ты поступаешь с нами не как с родственниками, но как с *подручниками*». Роковое слово было произнесено, слово новое для выражения понятия нового, понятия подручника, подданного вместо родича. Но этого мало: ставши великим князем, старшим в роде, Андрей не поехал на юг, в Киев, стольный город всех прежних великих князей, он остался на севере в своей прежней волости, и оттуда распоряжался делами юга.

Пример подан, почва приготовлена для нового порядка вещей; и северные князья, преемники Андрея, следуют его примеру, пользуются приготовленными им средствами: они не обращают внимания на родовые отношения, родовые счеты, смотрят на себя как на владельцев отдельных областей; не переходят из одной волости в другую, но постоянно живут в одной; великие князья, пользуясь старшинством, заботятся о том, как бы усилить свои материальные средства, удержать власть и силу в своей семье, дать первенство своему княжеству, увеличить его на счет других; младшие князья хорошо понимают стремления великих князей, противуборствуют им всеми средствами; но когда один из младших достигнет старшинства, то начинает действовать точно так же, как его предшественник, против которого он сам прежде вооружался. Понятно, что такой великий переворот не мог совершиться скоро; для этого нужны были века борьбы постоянной и кровавой. Наконец, княжество Московское вследствие разных благоприятных обстоятельств пересиливает все остальные; московские князья начинают собирать русскую землю: постепенно

подчиняют и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества, постепенно в собственном роде их родовые отношения уступают место государственным, удельные князья теряют права свои одно за другим.

Характер явлений, которые мы видели на севере, условливался также самим характером народонаселения северного. Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека, усыпляет деятельность последнего как телесную, так и умственную; пробужденный раз вспышкою страсти, он может оказать чудеса, но такое напряжение сил не бывает продолжительно. Природа более скупая на свои дары, требующая постоянного и не легкого труда со стороны человека, держит последнего всегда в возбужденном состоянии: его деятельность не порывиста, но постоянна; постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели; понятно, что народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию народы окружные, отличающиеся другим характером: таково народонаселение северной Руси, как оно является в истории. Несмотря на то, что юго-западная Русь, преимущественно Киевская область, была главною сценою древней нашей истории, пограничность ее, близость к *полю*, или степи, жилищу варварских кочевых народов, делала ее неспособною стать государственным ядром для России; отсюда Киевская область в начале и после носит характер пограничного военного поселения до полного государственного развития, начавшегося в северной Руси. В южной Руси, в области Днепровской, зачалась и развилась древняя русская жизнь во всей широте, при всей неопределенности отношений, характеризующей обыкновенное общество юное, только что начавшее жить самостоятельною жизнию. Вследствие родовых отношений князья со своими дружинами переходили из одного города в другой; подле, в степях, кочевали азиатские хищники, грабившие Русь; на границах степей жили разноименные народцы, составлявшие переход от степняков, или половцев, к оседлому народонаселению. Не могши по слабости своей быть самостоятельными между половцами и Русью, все эти народцы примкнули к последней, стали служить князьям ее и в войнах с половцами, и в распрях междуусобных, выбирая вместе с гражданами князей, которые были им любы или которые были сильны.

Таковы были составные части народонаселения в древней Руси; но все это было, выражаясь словами поэта, только еще *несогласные начала вещей* в общественном хаосе (discordia semina rerum): князья с дружинами жили сами по себе, города сами по себе, пограничные народцы сами по себе. Князья были, большей частью, необыкновенно храбры, умели и у себя дома, и в чужих странах честь свою взять; дружины уподоблялись своим вождям: но что значила вся эта храбрость при таком беспорядке? Легко было пересорить князей-родичей, ничего не стоило разрознить

интересы князей с интересами граждан и пограничных народцев: вот почему древняя южная Русь, несмотря на внешний блеск своего быта, не могла устоять ни против стремлений северных князей, потомков Долгорукого, ни против натиска азиатской орды. Войска Боголюбского опустошили Киев, который принял князя от руки завоевателя; при брате Боголюбского киевские князья признавались, что не могут обойтись без могущественного северного собственника, и когда явились монголы в первый раз, то южная Русь, хотя выслала против них сонм своих князей — витязей, но эти князья завели распрю и погубили рать[35]; когда же явились монголы во второй раз, то враждебные друг другу князья умели соединиться только в общем бегстве в чужие страны; граждане старых городов не могли и представить себе возможности соединения, и по одиночке полегли в развалинах. Такова была судьба южной, старой Руси.

Различие в характере северного и южного народонаселения обозначается приметно в источниках нашей истории: иностранцы современники хвалят храбрость дружин южной Руси: они отличались стремительностию в нападениях, но не отличались стойкостию. Противоположные отзывы встречаем о населении северной Руси: оно не любит вообще войны, не отличается стремительностию натиска; но где нужно стать крепко и защищаться, там оно неодолимо; здесь на севере образовался тот русский воин, которого, по известному выражению, можно убить, но не сдвинуть с места. Северное русское народонаселение, как сказано, не отличается в истории порывистыми движениями; в поведении его мы замечаем преимущественно медленность, осторожность, постоянство в достижении цели; обдуманность, медленность, осторожность в приобретении, стойкость в защищении приобретенного. Соответственно характеру народонаселения все на севере принимает характер прочности. О дружинах южных летописец говорит, что они храбро бились с врагами и *расплодили* русскую землю. Таково точно назначение старой, южной Руси: расплодить, распространить русскую землю, наметить границы. Но Руси северной выпал удел — закрепить приобретенное, связать, сплотить части, дать им внутреннее единство, собрать русскую землю. И вот князья северной Руси являются полными представителями своего народа превосходно выполнить назначение северной Руси. В их поведении мы не замечаем того блеска, какой видим в поведении князей — витязей юга, смотревших на битву, как на суд божий, и при всяком споре прибегавших к этому суду: северные князья — собственники, не любят решать споров своих оружием, прибегают к нему только в крайности или тогда, когда успех несомненен, но от неверной битвы не любят ставить в зависимость того, что приобретено, примышлено долгими трудами; южные князья прежде всего думают, как бы в битве *взять свою честь*, северные князья прежде всего думают, как бы без неверной битвы получить пользу для своего владения. Все они похожи друг

на друга; в их бесстрастных ликах трудно уловить историку характеристические черты каждого; все они заняты одною думою, все идут по одному пути, идут медленно, осторожно, но постоянно, неуклонно; каждый ступает шаг вперед пред своим предшественником, каждый приготовляет для своего преемника возможность ступить еще шаг вперед.

Благодаря этой неуклонности, постоянству в стремлениях северных князей, великая цель была достигнута: родовые княжеские отношения рушились, сменялись государственными; в княжеских договорах, завещаниях мы видим ясно постепенность этой смены, пока, наконец, в завещании Иоанна IV удельный князь становится совершенно подданным великого князя, старшего брата, который носит уже титул царя. Это главное, основное явление — переход родовых отношений между князьями в государственные — условливает ряд других явлений. Господство родовых отношений между князьями имело, как необходимо следует ожидать, могущественное влияние на весь общественный состав Руси, имело могущественное влияние на быт городов, на положение дружины: когда родовые отношения между князьями начали сменяться государственными, то эта смена должна была отозваться на всем общественном организме, должна была повлечь изменения и в быте городов, и в положении дружины. Отсюда ясно, что в[еликие] князья московские в своих государственных стремлениях должны были встретить сопротивление не со стороны одних князей-родичей, но со стороны всего того, что получило свое бытие или, по крайней мере, поддерживалось родовыми княжескими отношениями. Здесь первое место занимает привычка дружинников переходить от одного князя к другому, которую они приобрели в то время, когда землею владел нераздельно целый род княжеский, и которую они должны были потерять, когда явилось единовластие; не имея теперь возможности переходить от одного князя к другому в русской земле, многие из дружинников считали себя в праве отъезжать к чужим государям; к этим противугосударственным стремлениям дружинников присоединялись еще противугосударственные стремления потомков прежних князей, которые продолжали питать вражду к новому порядку.

Борьба со всеми этими стремлениями и была причиною тех печальных явлений, которые имели место в царствование Иоанна IV. Во время этой борьбы Иоанн IV задал вопрос одному из самых ревностных приверженцев старины, князю Курбскому[36]: «Что лучше — настоящий ли порядок вещей, когда государство успокоилось, пришедши в порядок при едином государе, или прежнее время, когда усобицы терзали землю?» На этот вопрос отвечал не Курбский; на него отвечала вся земля, все Московское государство. Но прежде, нежели обратимся к этому ответу, скажем несколько слов о тех обстоятельствах, при которых произошла великая перемена в жизни русского общества, и о следствиях этой перемены во внешних отношениях.

Мы видели, что русское государство, основанное на границе Европы с Азиею, должно было вести постоянную борьбу с степными варварами. От половины IX века до сороковых годов XIII века в этой борьбе не было перевеса ни на стороне кочевых орд, ни на стороне славянских племен, объединенных под именем Руси. Печенеги и за ними половцы наносят иногда сильные опустошения Приднепровью; но за то иногда и русские князья входят вглубь степей их, за Дон и пленят их вежи. Но от сороковых годов XIII века до исхода XIV берут перевес азиатцы в лице монголов. Не имея тех прочных основ государственного быта, какими обладала северная Русь, южная Русь после монгольского опустошения подпала под власть князей литовских. Это обстоятельство не было гибельно для народности южнорусских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык, все оставалось по-старому; но гибельно было для русской жизни на юго-западе соединение всех литовских владений с Польшею, вследствие восшествия на польский престол литовского князя Ягайла[37]. С этих пор юго-западная Русь должна была вступить в борьбу с Польшею за свою народность, основою которой была вера; успех этой борьбы, возможность для юго-западной Руси сохранить свою народность условливались ходом дел в северной Руси, ее самостоятельностию и могуществом. Монголы опустошили значительную часть северной Руси, наложили дань на жителей, заставили князей брать от своих ханов ярлыки на княжения.

Так как для нас предметом первой важности была смена старого порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, от чего зависело единство, могущество Руси и перемена всего внутреннего порядка, и так как начало нового порядка вещей на севере мы замечаем прежде монголов, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали или препятствовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние монголов не было здесь главным и решительным[38]. Монголы остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все как было, след[овательно], оставляя в полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на севере прежде них. Ярлык ханский не утверждал неприкосновенным на столе ни великого, ни удельного князя, только обеспечивал волости их от татарского нашествия; в своих борьбах князья не обращали внимания на ярлыки: они знали, что всякий, кто свезет больше денег в Орду, получит ярлык преимущественно пред другими и войско на помощь. Независимо от монголов обнаруживаются на севере явления, знаменующие новый порядок, именно ослабление родовой связи, восстание сильнейших князей на слабейших мимо всех родовых прав и счетов, старание приобрести средства к усилению своего княжества на счет других; монголы в этой борьбе являются для

князей только орудиями. Когда борьба кончилась усилением одного княжества на счет всех других, то новое государство пользуется всем единством и силою для того, чтобы победить монголов и начать наступательное движение на Азию. С другой стороны, усиление северной Руси вследствие нового порядка вещей условливает успешную борьбу ее с Королевством Польским, постоянною целию которой становится соединение обеих половин Руси под одною державою; наконец, соединение частей, единовластие, окончание внутренней борьбы дает северной Руси, или Московскому государству, возможность войти в сношения с европейскими государствами, приготовлять себе место среди них. В таком положении находилась Русь в конце XVI века, когда пресеклась Рюрикова династия.

Чтение четвертое

В прошлых беседах я упоминал о том главном явлении нашей истории, что племена славянские, поселившиеся изначала на западе, выселялись постепенно на восток; следовательно, историку русскому при объяснении явлений отечественной истории никак не должно упускать из виду этого важного обстоятельства, этого постепенного заселения диких, пустынных стран. Но обыкновенное явление, сопровождающее всегда колонизацию, есть борьба, которую должны выдерживать колонисты с прежним варварским населением: отсюда и в нашей истории эта постоянная борьба с жителями степей. Но мало того: для государства, которое образовалось с помощью колонизации населений, необходимо предстояла борьба с другим элементом, полуварварским, ибо некоторые передовые отряды населения, вдававшегося все глубже и глубже в пустыни, дичают уже по тому самому, что, оторвавшись от государства, находятся в ближайших сношениях с дикарями. Отсюда Русскому обществу, которое образовалось посредством колонизации, необходимо было выдержать сильную борьбу, с одной стороны, с азиатскими кочевыми ордами, с другой, — с теми одичалыми передовыми отрядами, которые, хотя иногда сами оказывали большую помощь государству, ратуя против степных кочевников, но вместе с тем, будучи полудикарями, враждебно смотрели на установление государственного порядка и, с своей стороны, не менее азиатских орд причинили бедствий юному государству. Вредная деятельность этого пограничного народонаселения сказалась преимущественно в начале XVII века, когда на государство русское послано было страшное испытание. Династия Рюрикова, давшая столько нарядников русской земле, пресеклась; крамолою свергнут был Годунов, крамолою возведен и свергнут Шуйский; нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточием, части разрознились в противуположных стремлениях, земля замутилась [39]. Тогда-то открылось свободное поприще действовать тем, которые

не хотели установления наряда, тем полудиким толпам, которые основали свое пребывание на границах государства; они кинулись с разных сторон на последнее[40]; к ним пристали внутри государства те, которым хотелось также жить на счет государства. Польша выслала в Московское государство толпы своих отверженников общества. Началась страшная борьба, в которой новорожденному Московскому государству надлежало, по-видимому, погибнуть; ибо со всех сторон сыпались на него страшные удары, которые трудно было выдержать, а между тем общественные основы, на которые оно могло опереться, час от часу слабели более и более. Негде было искать спасения. Лучшие, энергические люди, около которых можно было сосредоточиться, погибли жертвами безнарядья; люди, разрознившие свои интересы с интересами государства, брали явно верх. Но в это-то страшное время сказалась вся сила, все действие того порядка вещей, который окончательно утвердился при московских государях. Единство религиозное и государственное было так сильно, что, несмотря на все удары, на все бедствия, общество умело соединиться, по-видимому, без всяких внешних средств, соединиться духовно, внутренне, руководствуясь привычным стремлением к единству религиозному и государственному. Земля собралась и очистила государство; народ, по современному выражению, встал как один человек для этого очищения. Тогда-то дан был ответ на вопрос Иоанна IV Курбскому: что лучше — прежнее время, когда земля гибла в междоусобиях, или настоящее, когда она успокоилась единовластием? После страшного испытания земля дает торжественный ответ на этот вопрос: Земский совет объявляет, чтобы все было так, как было при прежних великих государях, и выбирает новую династию.

Бедственно было, однако, состояние государства после этого великого испытания; силы его были истощены. Молодой царь, которого избрала земля, спрашивал у послов Земского совета: где же средства для управления государством? Где ручательство, что прежние смуты не повторятся. Послы выставили ручательством то, что все люди Московского государства уже *наказались*, т. е. узнали по опыту пользу прежних государственных стремлений, узнали, для кого нужны были смуты, самозванцы, кто их поддерживал. И точно, по вступлении на престол царя из новой династии Московское государство показало явно, что его жители *наказались* уже. Несмотря на страшное расстройство сил государственных, несмотря на то, что при таком расстройстве государство должно было еще бороться с сильными врагами внутренними и внешними, первому государю из новой династии удалось успокоить землю. Во всех затруднительных обстоятельствах он созывает Соборы и всегда находит здесь нужный совет и средства для установления порядка.

Царствование первого государя из новой династии протекло в этом установлении наряда. Но кроме установления наряда, мы

должны обратить внимание на те новые стремления и новые потребности, которые высказались при этом. Еще гораздо прежде, и особенно во время смут, Московское государство узнало, что для успешной борьбы со внешними и внутренними врагами необходимо было переменить военный строй, потому что при старом строе русские войска оставались почти всегда побежденными. И вот в царствование первого государя из новой династии начинаются преобразования: при Михаиле Федоровиче уже видим полки, набранные из иностранцев. Но этого мало: при нем же видим и русские полки, выученные иностранному строю; образовались конные — рейтарские, драгунские полки, пехотные солдатские. Окончательное преобразование войска совершилось в XVIII веке. Но это преобразование военного строя вело необходимо к более важным преобразованиям; оно должно было переменить отношения прежнего разряда ратных людей, носивших название *дворян и детей боярских*, должно было переменить и отношения тех родов, которые вследствие местничества выдвинулись на первые места в государстве. Западные европейские государства образовались посредством того, что варвары завоеватели вступили на римскую почву, вследствие чего начало, принесенное германцами, пришло в столкновение с государственным началом, завещанным Римскою империею. У нас также видим дружину, но она вступила на почву девственную, где никакое государство не оставило следов своих. У нас дружина должна была войти в столкновение с племенами, которые жили под формами родового быта; отсюда необходимое столкновение начала дружинного, начала служебного с началом родовым, от чего произошло известное явление — *местничество*. Мы видели, как сильно было родовое начало; если оно так долго господствовало в междукняжеских отношениях, то должно было господствовать и в отношениях дружинных. Но теперь упадок родовых отношений вообще, смена их государственными и необходимость нового военного устройства должны были привести к уничтожению местничества, и вот при царе Федоре Алексеевиче, на Соборе оно было проклято *как богу ненавистное дело*[41]. За уничтожением местничества должно было последовать то явление, что все разряды служилых людей, без исключения известных родов, которые только вследствие местничества составили из себя что-то замкнутое, недоступное для других, все разряды служилых людей должны были составить одно сословие, одно тело с равными правами для всех его членов. Должно было явиться дворянское сословие. Но преобразование военного строя должно было вести к другой перемене в быте ратных людей. До сих пор только при объявлении войны они должны были являться в полки, но в мирное время, живя в своих поместьях, они участвовали наравне с остальным народонаселением во всех явлениях областной жизни. Теперь же, когда оказалась нужда изменить военный строй, учредить постоянное войско, то служивые люди не могли уже оставаться в своих

поместьях; они должны были выделиться из общей областной жизни, составить особенное сословие, особое тело.

В это же время, при первых государях новой династии, подтверждено было и то учреждение, которое также имело место по отношению к потребностям служилых людей. Здесь опять мы должны обратить внимание на то явление, которое имеет такое важное значение в нашей истории, на эту обширность и малонаселенность областей России и на постоянное стремление населить их. Мы заметили это стремление с самого начала русской истории. На севере оно продолжалось. Князья дают своим подданным большие участки земли, дают большие льготы тем из них, которые привлекут на эти участки население из чужих областей. Но когда отдельные области вошли в состав одного государства, то стремление землевладельцев увеличить население своих участков в ущерб другим явилось в противуположности с интересами государства: владельцы больших земельных участков разными льготами перезывали к себе крестьян с малых участков, розданных в поместья ратным людям, которые за это обязаны были по первому зову правительства являться в полки в полном вооружении, на конях, и приводить с собою известное число вооруженных людей, смотря по величине поместья. Но ясно, что если это поместье не имело надлежащего числа крестьян, перезываемых постоянно на участки богатых вотчинников, то помещик, не получая доходов, не мог исполнить своих обязанностей, не мог являться на войну в исправности. Это заставляло правительство принимать меры к воспрепятствованию перехода крестьян от одного землевладельца к другому. Указания на эти меры мы видим ясно в конце XVI века; в XVII веке государи из новой династии подтверждают их вследствие жалоб мелких помещиков на то, что богатые вотчинники перезывают их крестьян на свои земли. Если жалобы мелких владельцев продолжаются и имеют своим следствием меры правительства к удержанию крестьян на постоянных местах жительства, то мы имеем полное право заключать, что и в XVI веке эти меры являются вследствие тех же жалоб.

Но одним начальным преобразованием военного строя не ограничились первые государи новой династии. Были и другие, столь же важные, нудящие потребности. Мало было завести постоянное войско, нужно было содержать его; нужно было умножить доходы государства. Главным источником доходов должна быть промышленность, торговля; и вот уже при первом государе новой династии видим вызов из-за границы ремесленников, людей способных завести разные промыслы. Правительство требует от них, чтобы они выучили и русских своим мастерствам, утвердили их в России. Так, при Михаиле Федоровиче видим, что правительство дает 10, 15, 20-летние привилегии тем из иностранцев, которые захотят завести в России фабрики и заводы; при Михаиле Федоровиче были заведены кожевенные, стеклянные, ка-

нительные, железные заводы. Около Астрахани и на Тереке заведено виноделие и шелководство.

Но не одних ремесленников и фабрикантов вызывало правительство. Были другие потребности, которым можно было удовлетворить только утверждением науки, и вот Михаил призывает известного ученого Олеария[42] и пишет к нему: «Мы знаем, что ты человек ученый, что ты географ, астроном, землемер; а нам такие люди нужны». Если деду понадобился географ, астроном и землемер, то неудивительно, что внуку понадобилась Академия наук. Но просвещение необходимо было не для удовлетворения одним только материальным потребностям государства; оно было необходимо для очищения нравов: выборные, явившиеся в Собор по случаю взятия Азова казаками, в своих ответах или сказках показали ясно необходимость главного улучшения, улучшения нравственности, указали ясно на главное зло, от которого страдало общество и которое препятствовало утверждению государственного порядка, — на своекорыстное стремление отдельных интересов против интереса государственного. Против этого зла сильно ратовал внук Михаила, и вот в век Екатерины II было найдено, что его можно устранить только просвещением, только просвещенным, нравственным воспитанием; век Екатерины откликнулся на требования, высказанные при первом государе новой династии. Но при этой потребности очищения нравственности народной не могло молчать то сословие, которое было поставлено хранителем чистоты нравственной, не могла молчать церковь, и вот в царствование трех первых государей новой династии церковь требует просвещения для улучшения народной нравственности. Прочтем окружное послание ростовского митрополита Ионы, деяния и правила Соборов 1647 и 1681 гг., и мы удивимся тождественности этих правил с теми правилами, которые являются при Петре и его преемниках. Здесь и там указывается на одно зло, указывается и одно средство для его уничтожения.

Но церковь имела и другие причины требовать просвещения: явились расколы — следствие невежества и грубости нравов, мало того: вследствие ближайшей связи с Польшею и другими соседними государствами явилось стремление других вероисповеданий — католицизма и протестантизма — войти в Московское государство. Православной церкви нужно было бороться, с одной стороны, с своими раскольниками, с другой — с католиками и протестантами. Единственным средством к сохранению чистоты православного учения было просвещение, и вот и свои пастыри, и восточные патриархи, приезжавшие в Россию, громко требуют заведения школ. Восточные патриархи, явившиеся по делу Никона[43], увещевают народ полюбить науку, увещевают пастырей церкви содействовать всеми силами к ее распространению, вследствие чего уже в царствование Михаила Федоровича заведено было при патриархе Филарете[44] первое училище, а в царствование

третьего государя из новой династии, Федора Алексеевича[45], при более сильных потребностях, заведена была Славяно-греко-латинская академия[46], и академии церковь поручила блюсти за чистотою православного учения. Так, при трех первых государях новой династии, в течение XVII века, обозначились явно новые потребности государства, и призваны были те же средства для их удовлетворения, которые были употреблены в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразования.

Но, говоря об этой деятельности, мы не можем не упомянуть имен трех главных деятелей, содействовавших означенному направлению, имен Никона, Ордина-Нащокина и Матвеева[47]. Никон по своей энергии и ясному взгляду мог лучше других понимать потребности церкви и удовлетворять им. При нем были исправлены книги. Нас приверженцы невежества называют никонианцами, и это название требует, чтобы мы с благодарностью вспоминали о Никоне. Кроме того, он отличался неусыпными стараниями о чистоте нравственности, об утверждении благочиния в церквах, монастырях, вследствие чего должна была улучшиться и нравственность самого народа. Что касается до двух поименованных нами светских лиц, то сын бедного псковского дворянина Ордин-Нащокин достиг личными достоинствами до высших государственных степеней: он был хранителем государственной печати, что соответствует настоящему званию министра иностранных дел. На этом важном посту Нащокин понимал новые потребности Московского государства, понимал ясно, что Посольский приказ, находившийся под его ведением, должен был переменить свой характер вследствие более тесного сближения с государствами европейскими. Понимая необходимость преобразования, он вооружался против тех лиц, которые, служа в Посольском приказе, не имели понятия о внешних сношениях и развлекались другими, несовместными с их положением занятиями; понимая важное значение Посольского приказа, Нащокин называл его оком России, которым она должна смотреть на другие государства, и требовал, чтоб око это было чисто; потребность преобразования Посольского приказа была дознана еще при царе Михаиле, когда важное дело при датском дворе было поручено иностранцу Марселису[48], по неспособности русских послов. Об образованности самого Нащокина свидетельствуют иностранцы; они говорят, что он не уступал в нем ни одному из современных иностранных министров. О широте планов Нащокина свидетельствуют его намерения относительно торговли с Востоком; он хотел, чтоб Россия была средоточием торговли между Европою и Азиею, — желание, которое хотел потом исполнить Петр Великий. Нащокин заключил договор с Армянскою компаниею, вследствие которого армяне, жившие в Персии, обязывались весь шелк, собираемый в персидских областях, доставлять исключительно на русские рынки. Нащокин заботился также и о заведении русского флота. Неблагоприятные обстоятельства помешали русским овладеть прибал-

тийскими провинциями в царствование Алексея Михайловича, первый русский корабль назначен был для Востока, для Каспийского моря, для Волги. Знаменитый «Орел» был сожжен казаками Разина, но мысли о заведении флота нельзя было истребить: она приведена в исполнение Петром.

Скажем и о Матвееве. Матвеев подобно Нащокину понимал ясно новые потребности государства и стремился удовлетворить им. Что было всего важнее в обоих этих людях, так это то, что они умели показать превосходство просвещения на самих себе. Ордин-Нащокин был человек высокой нравственности; до нас дошла грамота, в которой царь жалует его местом, и при этом после подвигов гражданских вычисляет его высокие христианские подвиги; с службою государственною он умел соединить служение страждущей меньшей братии. Окончив государственную деятельность, Ордин-Нащокин постригся в монахи, но и здесь показал он, как понимал обязанности инока христианского: он завел больницу, приставил к ней монахов и сам служил больным. О Матвееве отзываются иностранцы, что человек, которого народ называет своим отцом, выше всякой похвалы. Матвеев показал свой ясный взгляд, свою энергию в военной и гражданской службе; он пользовался неограниченною доверенностью царя Алексея Михайловича, участвовал с пользою почти во всех важнейших делах его царствования, а известно, что это царствование было обильно важными явлениями. Матвееву Московское государство обязано было устроением отношений между Великороссиею и Малороссиею; он часто бывал в Малороссии, знал природу страны и был способен определить ее отношения к Великой России. Столь же велики его заслуги и на поприще дипломатическом; занимаясь отношениями европейскими, он, подобно Нащокину, не спускал глаз с Востока, завел сношения с Китаем, пославши туда переводчика Спафари[49]; наказ, данный Спафари Матвеевым, показывает всего лучше ясный взгляд этого государственного человека. Но кроме того, деятельность Матвеева важна и в других отношениях. По отзыву иностранцев, он был образованнейший человек из своих современников, старался, чтоб и сын его был также образован, он первый украсил свой дом произведениями искусств; у Матвеева у первого рушилась преграда, отделявшая дотоле семейство хозяина от гостей; к нему собирались не для одних только пиров, но и для умной, трезвой беседы, и в этих беседах принимала участие хозяйка дома, жена Матвеева; девушка, воспитанная в доме Матвеева, перешла отсюда на престол. Легко понять, как она могла действовать на быт при дворе. Но этот быт долженствовал измениться еще и прежде, вследствие сильного влияния, которое имел Матвеев как друг царя. До нас дошло письмо Алексея Михайловича к Матвееву: «Приезжай поскорее, — пишет царь, — мои дети осиротели без тебя, мне не с кем посоветоваться». И мы не можем не заметить плодов этого влияния — мы видим большую перемену в быте дво-

ра, которая объясняет нам воспитание и деятельность Петра. Явление сестры его Софии[50] также объясняется отсюда: София воспитана уже совершенно иначе, нежели прежние царевны, затворницы в своих теремах; след[овательно], явление Софии объясняется из тех же причин, как и явление Петра, и оба явления объясняют друг друга. Все уже носит характер новый, все показывает важные преобразования, которые явились прежде преобразований Петровых и которые объясняют их.

Такова была деятельность трех первых государей новой династии, имевшая место в продолжение XVII века. Здесь на границе двух эпох, двух столетий, нам должно остановиться. Но мы не можем не сказать несколько слов о том отношении, которое имеет настоящий порядок вещей к этим двум эпохам. Мы видели, как в продолжение XVII века являлись громкие требования преобразования, требования просвещения, науки, для обороны веры, для улучшения нравственности. В XVIII веке этим требованиям старались удовлетворить. Наука, просвещение были утверждены и в наш век принесли свой необходимый плод — народное самопознание. Теперь, бесспорно, самопознание является для нас одною из первых потребностей. Теперь признано, что интерес отечественной истории стал главным интересом нашей ученой литературы; мы видим, как постоянно новые таланты посвящают себя занятию отечественною историею, видим, как со всех сторон обширного отечества собираются памятники, которые должны уяснить наше прошедшее. Вот плоды деятельности XVII и XVIII веков. Но самопознание по природе своей не исключительно, не односторонне, требует всех знаний, утверждается на них, питается ими. Теперь при этом стремлении к самопознанию не может быть спора об отношениях XVII и XVIII веков к векам предшествовавшим, XIX век показал отношение их, плод науки, просвещения — самопознание народное примиряет, соединяет древнюю и новую Россию.

Но стремление к просвещению явилось не в XVII только веке; оно явилось гораздо прежде. Священное предание о необходимости просвещения звучит из глубины XII века; оно пришло не из чужа, оно пришло вместе с светом божественной истины и из века в век передавалось оно как завет от предков к потомкам. Когда только еще образовалось русское общество, когда части его находились еще в брожении и борьбе, тогда в тесной келье монастыря началась наша летопись, и вот летописец, начав рассказ о том, как пошла русская земля, как образовалось русское общество, на первых страницах своего труда написал эти простые, но бессмертные слова: «Велика бывает польза от ученья книжного». Вот священный завет, полученный нами от предков, и историк русский XIX века, если хочет быть верен своему народу, своей истории, должен повторить слова летописца XII века: велика бывает польза от ученья книжного и велика бывает польза от народного самопознания!

Публичные чтения о Петре Великом

Чтение первое

Проходит 200 лет с того дня, как родился великий человек. Отовсюду слышатся слова: надобно праздновать двухсотлетний юбилей великого человека; это наша обязанность, священная, патриотическая обязанность, потому что этот великий человек наш, русский человек. Наука, ученое общество при университете хлопочет о воздвигнутии памятника небывалого, достойного деятельности великого человека. Священная патриотическая обязанность! Сильные слова, способные возбудить сильное чувство; но чем сильнее чувство, чем священнее предмет, на который оно направлено, тем более предосторожности должно быть употреблено для его разумного направления. Что праздновать и как — первый вопрос, который здесь задает человек, способный разумно относиться к каждому явлению, способный допрашивать это явление о его смысле, а не подчиняться ему безотчетно. Таким образом, первая обязанность общества образованного разъяснить для себя значение деятельности великого человека, сознать свое отношение к этой деятельности, к ее результатам, узнать, во сколько эти результаты вошли в нашу жизнь, что они произвели в ней, какое их значение для настоящего, для будущего: иначе праздник будет праздным. И мы собрались здесь накануне праздника, чтоб приготовиться к нему; накануне праздника усиливается работа для человека, который хочет светло, достойно праздновать; во имя величайшего из тружеников русской земли приглашаю вас, господа, к труду — обозреть труд его, подумать над ним.

Двухсотлетний юбилей великого человека — это значит, что мы обладаем материалами, средствами оценивать его величие, накопившимися в продолжении 200 лет. Каждое историческое явление объясняется рядом предшествовавших явлений и потом всем последующим. 200 лет думал русский человек о Петре, и, говоря это, мы не подвергаемся обвинению в большой неточно-

сти, потому что великий человек, о котором идет речь, является в истории очень рано, 10 лет, и является на самом видном месте, следовательно, вычет не велик. 200 лет без чего-нибудь русский человек думал о Петре, думал постоянно: что же он надумал?

Думая о Петре, думая о том, за что называют его великим человеком, разумеется, русский человек должен был думать и о том, что такое великий человек вообще[1]. Бывают в жизни народов времена, по-видимому, относительно тихие, спокойные: живется, как жилось издавна, и вдруг обнаруживается необыкновенное движение, и дело не ограничивается движением внутри известного народа, оно обхватывает и другие народы, которые претерпевают на себе следствия движения известного народа. Человека, начавшего это движение, совершавшего его, человека, по имени которого знают его народ современники, по имени которого знают его потомки, — такого человека называют великим. В то время, когда народы живут в первый возраст своего бытия, возраст юный, для большинства народного очень продолжительный, когда люди поддаются господству чувства и воображения, тогда великие люди являются существами сверхъестественными, полубогами. Понятно, что при таком представлении великий человек является силою, не имеющею никакого отношения к своему веку и своему народу, силою, действующею с полным произволом, народ относится к ней совершенно страдательно, бессознательно, безусловно подчиняется ей, страдательно носит на себе все следствия ее деятельности, великому человеку принадлежит почин во всем, он создает, творит все средствами своей сверхъестественной природы.

Христианство и наука дают нам возможность освободиться от такого представления о великих людях. Христианство запрещает нам верить в богов и полубогов; наука указывает нам, что народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные люди, как все живое, все органическое; что в известные времена они требуют известных движений, перемен, более или менее сильных, иногда отзывающихся болезненно на организме, смотря по ходу развития, по причинам, коренящимся во всей предшествовавшей истории народа. При таких движениях и переменах, при таком переходе народа от одного порядка жизни своей к другому, из одного возраста в другой, люди, одаренные наибольшими способностями, оказывают народу наибольшую помощь, наибольшую услугу: они яснее других сознают потребность времени, необходимость известных перемен, движения, перехода, и силою своей воли, своей неутомимой деятельности побуждают и влекут меньшую братию, тяжелое на подъем большинство, робкое перед новым и трудным делом. Как люди, они должны и ошибаться в своей деятельности, и ошибки эти тем виднее, чем виднее эта деятельность; иногда по силе природы своей и силе движения, в котором они участвуют на

первом плане, они ведут движение за пределы, назначенные народною потребностию и народными средствами; это производит известную неправильность, остановку в движении, часто заставляет делать шаг назад, что мы называем реакциею; но эта неправильность временная, а заслуга вечная, и признательные народы величают таких людей великими и благодетелями своими.

Таким образом, великий человек является сыном своего времени, своего народа; он теряет свое сверхъестественное значение, его деятельность теряет характер случайности, произвола, он высоко поднимается как представитель своего народа в известное время, носитель и выразитель народной мысли; деятельность его получает великое значение, как удовлетворяющая сильной потребности народной, выводящая народ на новую дорогу, необходимую для продолжения его исторической жизни. При таком взгляде на значение великого человека и его деятельности высоко поднимается народ: его жизнь, история является цельною, органическою, неподверженною произволу, капризу одного сильного средствами человека, который может остановить известный ход развития и толкнуть народ на другую дорогу, вопреки воле народной. История народа становится достойною изучения, представляет уже не отрывочный ряд биографий, занимательных для воображения людей, остановившихся на детском возрасте, но дает связное и стройное представление народной жизни, питающее мысль зрелого человека, который углубляется в историю как науку народного самопознания.

В двести без чего-нибудь лет, пережитых Россиею со дня рождения Петра, русская мысль относилась различно к этому великому человеку и его деятельности. Различие взглядов происходило, во-первых, от громадности дела, совершенного Петром, и продолжительности влияния этого дела; чем значительнее какое-нибудь явление, тем более разноречивых взглядов и мнений порождает оно, и тем долее толкуют о нем, чем долее ощущают на себе его влияние; во-вторых, от того, что русская жизнь не остановилась после Петра, и при каждой новой обстановке ее мыслящий русский человек должен был обращаться к деятельности Петра, результаты которой оставались присущими при дальнейшем движении, и обсуждать ее, применять к новым условиям, новой обстановке жизни; в-третьих, разность взглядов на деятельность Петра зависела от незрелости у нас исторической науки, от неустановленности основных начал при изучении жизни народов: то применяли к русской истории неподходящую мерку истории чужих народов, от чего происходили странные выводы, то, наоборот, изучали русскую историю совершенно особняком, не подозревая, что при всем различии своем она подчиняется общим основным законам, действующим в жизни каждого исторического народа[2]. Я говорю о разноречиях серьезных, высказывавшихся людьми серьезными, людьми, честно относившимися к вопросам настоящего, и по их связи с прошедшим за-

трагивавшими и последнее. Но нельзя не упомянуть о печальном явлении, о выходках против Петра, происходивших от детской привычки увлекаться каким-нибудь движением до такой степени, что, не разбирая, начинают считать враждебным этому движению то, что вовсе ему не враждебно, от детской привычки говорить не подумавши, не изучивши, от дурного детского поползновения бросить в кого-нибудь камнем, грязью, не посмотревши внимательно, можно ли с этим кем-нибудь так обращаться безнаказанно, т. е. без умаления собственного человеческого и народного достоинства.

Долго относились у нас к делу Петра не исторически, как в благоговейном уважении к этому делу, так и в порицании его. Поэты позволяли себе воспевать: «Он бог твой, бог твой был, Россия»[3]. Но и в речи более спокойной, не поэтической, подобный взгляд господствовал; приведение Петром России от небытия к бытию было общеупотребительным выражением. Я назвал такой взгляд неисторическим, потому что здесь деятельность одного исторического лица отрывалась от исторической деятельности целого народа; в жизнь народа вводилась сверхъестественная сила, действовавшая по своему произволу, причем народ был осужден на совершенно страдательное отношение к ней; многовековая жизнь и деятельность народа до Петра объявлялась несуществующею; России, народа русского не было до Петра, он сотворил Россию, он привел ее из небытия в бытие. Люди, которые обнаружили несочувствие к делу Петра, вместо противодействия крайности приведенного взгляда, перегнули в противоположную сторону; крайности сошлись, и опять надобно было проститься с историею. Россия, по новому взгляду, не только не находилась в небытии до Петра, но наслаждалась бытием правильным и высоким, все было хорошо, нравственно, чисто и свято; но вот явился Петр, который нарушил правильное течение русской жизни, уничтожил ее народный, свободный строй, попрал народные нравы и обычаи, произвел рознь между высшими и низшими слоями народонаселения, заразил общество иноземными обычаями, устроил государство по чуждому образу и подобию, заставил русских людей потерять сознание о своем, о своей народности. Опять божество, опять сверхъестественная сила, опять исчезает история народа, развивающаяся сама из себя по известным законам, при влиянии особенных условий, которые и отличают жизнь одного народа от жизни другого.

Понятно, что оба взгляда, по-видимому, противоположные, но в сущности одинаково не исторические, не могут удержаться при возмужалости науки, когда более внимательные наблюдения над историческою жизнию народов должны были повести к отрицанию таких сверхъестественных явлений в этой жизни, когда убедились, что всякое явление, как бы оно ни было громко, как бы ни изменяло, по-видимому, народный строй и образ, есть необходимо результат предшествовавшего развития народной жизни.

Действительно, возьмем народ, находящийся на первоначальной ступени развития, какой-нибудь кочевой народ в Средней Азии, каких-нибудь монголов. Такие народы, по простоте своего быта, особенно бывают подвержены сильному влиянию внешних случайных явлений, произволу отдельных лиц. Мы видим, что среди этих народов являются иногда владельцы, ханы, одаренные необыкновенною энергиею, честолюбием, которые в более или менее продолжительное время успевают одолеть, уничтожить других ханов, сплотить мелкие, до тех пор разделенные орды в одну громадную массу и двинуть ее на опустошение, завоевание отдельных стран, вследствие чего образуются обширные владения. Здесь, действительно, мы видим, что народы страдательно подчиняются влиянию своих великих людей, Чингис-ханов и Тамерланов. О народе не слышно до появления этого Чингис-хана или Тамерлана, он ничто для истории, находится в небытии; одною волею знаменитого хана он приводится в бытие, делается известным, сильным, господствующим. Но и здесь мы видим, что великие люди степей — Чингис-ханы и Тамерланы — суть дети своего народа, не делают ничего, чтобы выходило из границ его быта, его потребностей, не изменяют ничего в этом быте. Народ и до них был хищный, и до них обнаруживал свое существование чисто физическими движениями, грабежами, опустошениями, только в малых размерах; благодаря способностям, сильной воле одного человека, они делают это теперь в бо́льших размерах, и в этом заключается вся разница. Умирает великий человек, и основанное им громадное владение начинает распадаться, и народ, всколыханный им, приходит в прежнее состояние, к прежнему историческому небытию. Что же делает здесь великий человек? Только то, на что способен его народ, на что дает ему средства; народ может внешним механическим образом соединиться волею, силою одного лица; при отсутствии этой воли и силы распадается: только-то мы и видим в степной истории; внутренних перемен, перемен в быте великий человек произвести не может; если бы захотел, то ничего бы не сделал, погиб в бесплодных попытках; но в том-то и дело, что он и не хочет этого, не чувствует и не сознает потребности в этом, ибо он, сын своего народа, не может чувствовать и сознавать того, чего не чувствует и не сознает сам народ, к чему не приготовлен предшествовавшим развитием, предшествовавшею историею. Великий человек дает свой труд, но величина успеха труда зависит от народного капитала, от того, что скопил народ от своей предшествовавшей жизни, предшествовавшей работы; от соединения труда и способности знаменитых деятелей с этим народным капиталом идет производство народной исторической жизни.

Но если произвол одного лица, как бы сильно это лицо не было, не может переменить течение народной жизни, выбить народ из его колеи при самых простых, первоначальных формах быта, не может сделать этого с народом-младенцем, народом неисто-

рическим, то тем менее это возможно в народе, который уже прожил много веков историческою жизнию, который развил свои силы в многотрудной деятельности внутренней, и каким был русский народ до Петра. Допустить в великом движении этого народа перерыв, уклонение, допустить в перемене известных бытовых форм измену началам народной жизни, и все это по воле одного человека, значит низвести великий исторический народ ниже кочевых народов Средней Азии. Наука не позволяет этого, господа! Не спрашиваю, может ли позволить ваше чувство, ваш патриотизм. Народ, живший долгою и славною историческою жизнию и чувствующий в себе способность к продолжению этой жизни, радуется великою радостию, вспоминая о великом человеке и его деле, наполняется праведным самодовольством, ибо в великом человеке видит «плоть от плоти своей и кость от костей своих». Народ не отречется от своего великого человека, ибо такое отречение для народа есть самоотречение.

Если великий человек есть сын своего времени и своего народа, если его деятельность есть результат всей предшествовавшей истории народа, если эта деятельность дает уразумевать прошедшее, а изучение всего прошедшего необходимо для ее уяснения, если великие люди суть светила, поставленные в известном расстоянии друг от друга, чтоб освещать народу исторический путь, им пройденный, уяснять связь, непрерывную, тесно сомкнутую цепь явлений, а не разрывать эту связь, не спутывать кольца цепи, не вносить смуту в сознание народа о самом себе, — то из этого ясно, как трудна становится биографическая задача, задача изображения деятельности одного исторического лица. Успех выполнения этой задачи, удовлетворительное представление характера и деятельности великого человека зависит от того, как ясно представляется для биографа целостный образ народа, возникший перед ним из внимательного рассмотрения всего исторического пути, совершенного народом. Отсюда понятно, почему у нас так долго не было истории Петра Великого, несмотря на попытки писать или заставлять писать эту историю. Были похвальные слова Петру, сборники материалов, расположенных по годам и перемешанных восторженными восклицаниями, были стихи в честь ему и хульные выходки в стихах и прозе, но не было истории[4]; нельзя было воздвигать здания, когда не было почвы для него; почва для истории великого человека есть история народа.

Из сказанного ясно, что для уяснения значения Петра В[еликого] мы должны обратиться к предшествовавшей ему истории русского народа, допроситься у нее, что это был за переворот, для чего понадобился. Для получения удовлетворительного ответа не должно мудрствовать, надобно смотреть как можно проще. Все органическое подлежит развитию, подлежит ему отдельный человек, подлежат ему и живые тела, составленные из людей, народы: развитие происходит более или менее правильно,

быстро или медленно, достигает высоких степеней или останавливается на низших — все это зависит от причин внутренних, коренящихся в самом организме или от влияния внешних. Органическое тело, народ, растет, растет внутри себя, обнаруживая скрытые в нем изначала условия здоровья или болезни, силы или слабости и в то же время подчиняясь благоприятным или неблагоприятным внешним условиям, из которых главное как для отдельного человека, так и для целого народа — это условие живого окружения, общества, ибо могущественные побуждения к развитию и формы этого развития даются обществом для отдельного человека, для народа — другими народами, с которыми он находится в постоянной связи, в постоянном общении.

Органическое тело, народное тело растет, значит, проходит известные возрасты, разнящиеся друг от друга, легко отличаемые[5]. Легко отличаются два возраста народной жизни: в первом возрасте народ живет преимущественно под влиянием чувства; это время его юности, время сильных страстей, сильного движения, обыкновенно имеющего следствием зиждительность, творчество политических форм. Здесь, благодаря сильному огню куются памятники народной жизни в разных ее сферах или закладываются основания этих памятников. Наступает вторая половина народной жизни: народ мужает, и господствовавшее до сих пор чувство уступает мало-помалу свое господство мысли. Сомнение, стремление поверить то, во что прежде верилось, задать вопрос — разумно или неразумно существующее, потрясти, пошатать то, что считалось до сих пор непоколебимым, знаменует вступление народа во второй возраст или период, период господства мысли.

Историк не должен отдавать преимущества одному из этих возрастов перед другим, пристрастно относиться к тому или другому. О вкусах не спорят; пусть один говорит, что ему нравится растение особенно тогда, когда оно одевается первою свежею зеленью, другой приходит в восторг от цветка; третий скажет: «Что́ цвет? Поскорее бы он увядал, поскорее бы завязывался и созревал плод!» Но все это не научное дело. Историк знает, что при этом движении, которое называется развитием, с приобретением или усилением одного начала, одних способностей утрачиваются и ослабляются другие. Человек возмужал, окреп, чрез упражнение мысли, чрез науку и опыт жизни приобрел бесспорные преимущества и между тем горько сожалеет о невозвратно минувшей юности, о ее порывах и страстях, мудрец жалеет о заблуждениях: значит, в этом пережитом возрасте было что-то очень хорошее, что утратилось при переходе в другой возраст. В тот возраст народной жизни, когда господствует чувство, возраст сильных и страстных движений, возраст подвигов, народ страстно относится к предметам своих привязанностей, он сильно любит и сильно ненавидит, не давая себе отчета о причинах своей привязанности и вражды; стоит только сказать ему, что предмет его привязанности в опасности, стоит подняться священному

для него знамени, он собирается, несмотря на все препятствия, он жертвует всем, чувство дает ему силу, способность совершать громадные работы, воздвигать здания не материальные только, но и политические; сильные государства, крепкие народности, твердые конституции выковываются в этот возраст, в этот период господства чувства. Но этот же период знаменуется явлениями вовсе непривлекательными: чувство не сдерживается мыслию, знание слишком слабо, суеверие и фанатизм ведут к самым печальным явлениям, неопределенность отношений очищает произволу, силе сильного обширное поле, и что кажется так прекрасно, так поэтично издали на картине или на театральной сцене, то, приближенное к нашим глазам научными средствами, изученное подробно, является в отталкивающей обстановке.

Но точно так же односторонне признавать за вторым периодом безусловное превосходство над первым. Период господства мысли, который красится процветанием науки, просвещением, имеет свои темные стороны. Усиленная умственная деятельность может скоро обнаружить свое разлагающее действие и свою слабость в деле созидания. Чувство считает известные предметы священными, неприкосновенными; оно раз определило к ним отношение человека, общества, народа и требует постоянного сохранения этих отношений. Мысль начинает считать такие постоянные отношения суеверием, предрассудком; она свободно относится ко всем предметам, одинаково все подчиняет себе, делает предметом исследования, допрашивает каждое явление о причине и праве его бытия, причем необходимо ставит человека в холодное отношение к каждому явлению. Чувство, например, определяет отношение к своему и чужому таким образом, что свое имеет право на постоянное предпочтение пред чужим; народы, живущие в период господства чувства, остаются верны этому определению; но постоянная верность ему ведет к неподвижности. Если народ способен к развитию, способен вступить во второй период или второй возраст своей жизни, то движение обыкновенно начинается знакомством с чужим; мысль начинает свободно относиться к своему и чужому, отдавать преимущество жизни народов чужих, опередивших в развитии, находящихся уже во втором периоде. Выведши народ в широкую сферу наблюдений над множеством явлений в разных странах, у разных народов, в широкую сферу сравнений, соображений и выводов, покинув вопрос о своем и чужом, мысль стремится переставить отношения на новых общих началах; но ее определение отношений не имеет уже той прочности, ибо каждое определение подлежит, в свою очередь, критике, подкапывается, является новое определение, по-видимому, более разумное, но и то, в свою очередь, подвергается той же участи. Старые верования, старые отношения разрушены; в новое, беспрестанно изменяющееся, в много различные, борющиеся друг с другом, противоречивые толки и системы верить нельзя. Раздаются скорбные вопли: «Где же ис-

тина? Что есть истина? Древо познания не есть древо жизни! Червь сомнения подтачивает все! Общество погибает, потому что чувство иссякает, не умеряет мысли!» Ставится страшный вопрос: «Что выиграл человек, перешедши из одной крайности в другую, променявши суеверие на неверие?»

Таковы опасности, могущие грозить отдельным людям и целым народам при переходе из одного возраста в другой. Заботливые и опытные отцы и матери хорошо знают эти опасности. Сколько с их стороны бессонных ночей и горячих слезных молитв, чтоб бог сохранил молодого человека от увлечений того широкого пути, на который он вступает, чтоб, предавшись новому, не забыл он всего старого, не отрекся от тех начал, на которых был воспитан, не обратился к ним с враждой. Сколько примеров, что не могши победить страха пред опасностями, грозящими молодому человеку при переходе через порог семьи, родители решались отказать ему в средствах высшего образования, не пуская в высшее учебное заведение. Предосторожность напрасная! Ранее или позднее человек должен исполнить закон своего развития, должен исполнить его и целый народ.

Нам не нужно долго останавливаться на примерах, укажем только на самые знакомые и близкие к нам, причем окажутся и те побуждения, те средства, благодаря которым народ переходит из одного возраста в другой. Мы беспрестанно употребляем выражение: человек развитый и неразвитый, образованный и необразованный, и знаем, что средством для приобретения этой развитости прежде всего служит переход из узкого замкнутого круга, из узкого замкнутого общества в более широкий круг, в более многочисленное общество. Сельский житель отличается меньшей развитостью, потому что живет в тесном уединенном кругу, где видит все одни и те же предметы и явления, где господствует простота быта, простота отношений, и отсюда детская простота взглядов на все окружающее, привычка останавливаться на внешности, не углубляться в сущность явлений. Горожанин развитее сельского жителя, потому что круг, в котором обращается горожанин, шире, общество людей многочисленнее; одиночество останавливает развитие, общение с другими людьми, уясняя мысль, условливает развитие: но чтоб плодотворно меняться мыслями, надобно о чем-нибудь думать, надобно, чтоб мысль возбуждалась широтою круга и разнообразием предметов; город дает именно эту широту и разнообразие, и потому горожанин развитее сельчанина. Другое могущественное средство развития дает школа, наука, посредством которых человеку делается доступен весь мир, и не только настоящее этого мира, но и его прошедшее. Этими двумя средствами развивается каждый отдельный человек, ими развиваются и целые народы.

Народы, живущие особняком, не любящие сближаться с другими народами, жить с ними общею жизнию, это народы наименее развитые, они живут, так сказать, еще в сельском, деревен-

ском быту. Самым сильным развитием отличаются народы, которые находятся друг с другом в постоянном общении; таковы народы европейско-христианские. Но понятно, что для плодотворности этого общения необходимо, чтоб народ встречался, сообщался с таким другим народом или народами, с которыми могла бы установиться мена мыслей, опытности, от которых можно было бы что-нибудь занять, чему-нибудь научиться. Переход народа из одного возраста в другой, т. е. сильное умственное движение в нем начинается, когда народ встречается с другим народом, более развитым, образованным, и если различие в степени развития, в степени образованности между ними очень сильно, то между ними, естественно образуется отношение учителя к ученику: закон, которого обойти нельзя. Так, римляне, народ, стремившийся к завоеванию всего известного тогда мира, встретившись с греками, народом, отжившим свой исторический век, преклонились пред ними и отдали себя в науку, и чрез эту греческую науку перешли во второй возраст своего исторического бытия. Но еще ближе к нам пример народов наших ровесников, новых европейско-христианских народов Западной Европы. Они совершили свой переход из одного возраста в другой в XV и XVI веках также посредством науки, чужой науки, чрез открытие и изучение памятников древней греко-римской мысли. По общему закону они пошли в науку к грекам и римлянам и ничего не хотели знать, кроме греков и римлян. В ревностном служении своему новому началу они отнеслись враждебно к прожитому ими возрасту, к своей древней истории, к господствовавшему там началу, к чувству и последствиям этого господства. Свою новую жизнь, красившуюся для них развитием мысли под влиянием древней, чужой науки, они противопоставили своей прежней жизни, как бытие небытию. Отуманенные новыми могущественными влияниями, относясь враждебно к прожитому им возрасту, они до того потеряли смысл к явлениям этого возраста, что не видели в нем своей древней истории, результаты которой имели жить в них, в их новой истории, как бы они ни старались отчураться от них именами Платонов, Аристотелей и Цицеронов. Для них древняя история была преимущественно история греков и римлян, к которым, как к своим учителям, духовным отцам, возродившим их к новой жизни, они непосредственно примыкали свою новую историю, а свою собственную древнюю историю они вставили, как что-то странное, плохо понимаемое, междоумочное, ни то, ни се, среднее, откуда и название средней истории, истории средних веков.

Так совершился переход из одного возраста в другой, из древней истории в новую, для народов Западной Европы, народов романского и германского племени. Но дошед черед и до нас, народа Восточной Европы, народа славянского. Наш переход из древней истории в новую, из возраста, в котором господствует чувство, в возраст, когда господствует мысль, совершился

в конце XVII и начале XVIII века. Относительно этого перехода мы видим разницу между нами и нашими европейскими собратиями, разницу на два века.

Мы должны уяснить себе причины этого явления, чтоб понять условия, в которых совершился самый переход, или так называемое Преобразование; общий смысл его, надеюсь, теперь совершенно ясен, ясна его необходимость для каждого исторического, развивающегося народа, его характер и независимость от произвола исторического лица, которое может быть видным, главным деятелем, но не творцом явления, истекающего из общих законов народной жизни. В такое отношение наука ставит народ к великому историческому деятелю. Только великий народ способен иметь великого человека; сознавая значение деятельности великого человека, мы сознаем величие народа. Великий человек своею деятельностию воздвигает памятник своему народу; какой же народ откажет в памятнике своему великому человеку?

Чтение второе

В прошедший раз я старался уяснить смысл так называемого в нашей истории петровского преобразования: мы видели, что это было не иное что, как естественное и необходимое явление в народной жизни, в жизни исторического, развивающегося народа, именно переход из одного возраста в другой, из возраста, в котором преобладает чувство, в возраст, в котором господствует мысль. Я указал на тождественное явление в жизни западных европейских народов, которые совершили этот переход в XV и XVI веках; Россия совершила его двумя веками позже. Быть может, некоторые ждали другого выражения, именно, что мы отстали от западноевропейских народов на два века; но это последнее выражение не может быть употребляемо по своей неточности. Два живых существа начали движение вместе по одной дороге, при равных условиях, и одно очутилось назади, отстало: первая мысль здесь, что при равенстве внешних условий, различие необходимо заключается во внутренних условиях, в том что отставший слабее того, кто ушел вперед. Но движение народов по историческому пути нельзя сравнивать вообще с беганьем детей взапуски или конскими бегами, к которым прилагается одно слово: отстать; в историческом движении может быть совершенно другое: здесь внутренние силы, средства могут быть равные или даже их может быть больше у того, кто движется медленнее, но внешние условия разные, и они-то заставляют двигаться медленнее, задерживают, и потому надобно внимательно отличать отсталость, происходящую от внутренней слабости при равенстве внешних условий, и задержку, происходящую от различия, неблагоприятности внешних условий при равенстве внутренних.

В данном случае мы должны именно употреблять второе выражение, ибо русский народ, как народ славянский, принадлежит

к тому же великому арийскому племени, племени — любимцу истории, как и другие европейские народы, древние и новые, и, подобно им, имеет наследственную способность к сильному историческому развитию[6]; одинаково у него с новыми европейскими народами и другое могущественное внутреннее условие, определяющее его духовный образ,— христианство; следовательно, внутренние условия или средства равны, и внутренней слабости и потому отсталости мы предполагать не можем; но когда обратимся к условиям внешним, то видим чрезвычайную разницу, бросающуюся в глаза неблагоприятность условий на нашей стороне, что вполне объясняет задержку развития.

Известны выгодные условия для исторического развития, которые европейские народы находят в географических формах своей части света: выгодные для промышленного и торгового развития отношения моря к суше; выгодное для быстроты исторического развития разделение на многие небольшие, хорошо защищенные государственные области, разделение, а не отчуждение, производимое в других частях света степями и слишком высокими горами, умеренность климата и т. д. Но все эти благоприятные условия сосредоточены в западной части Европы, а нет их у нас на восточной, представляющей громадную равнину, страдающую отсутствием моря и близостью степей. Причины задержки развития в неблагоприятных внешних условиях ясны, следовательно, для нас с первого взгляда. При первом же взгляде на карту нас поражает громадность русской государственной области; но обширность государственной области имеет важное значение при известных условиях, при единстве народонаселения, при достаточном его количестве сравнительно с обширностию и при образованности народа; понятно, что при равенстве этих условий из двух государств сильнее то, которое больше другого; но при отсутствии этих условий обширность государства не только не дает ему силы сравнительно с небольшим государством, обладающим этими условиями, но и служит главным препятствием народному развитию. В истории нашего народа это тем более чувствительно, что Россия родилась с обширною государственною областью и с ничтожным относительно народонаселением. Понятно, что общая жизнь, общая деятельность в народе может быть только тогда сильна, когда народонаселение сосредоточено на таких пространствах, которые не препятствуют частому сообщению, когда существует в небольшом расстоянии друг от друга много таких мест, где сосредоточивается большое народонаселение, мест, называемых городами, в которых, как мы уже видели, развитие происходит быстрее, чем среди сельского народонаселения, живущего небольшими группами на далеком друг от друга расстоянии.

Россия и в XVII веке, перед эпохою преобразования, представляет нам на огромном пространстве небольшое число городов с поразительно ничтожным количеством промышленного народонаселения: эти города не иное что, как большие огороженные села,

крепости, имеющие более военное значение, чем промышленное и торговое; они удалены друг от друга обширностию расстояний и чрезвычайною трудностию сообщений, особенно весною и осенью. Таким образом, Россия в своей древней истории представляла страну преимущественно сельскую, земледельческую, а такие страны необходимо бывают бедны и развиваются чрезвычайно медленно. Но подле этого главного неблагоприятного условия видим еще другие. Россия есть громадное континентальное государство, не защищенное природными границами, открытое с востока, юга и запада. Русское государство основывалось в той стране, которая до него не знала истории, в стране, где господствовали дикие, кочевые орды, в стране, которая служила широкою открытою дорогою для бичей божиих, для диких народов Средней Азии, стремившихся на опустошение Европы. Основанное в такой стране русское государство изначала осуждалось на постоянную черную работу, на постоянную тяжкую изнурительную борьбу с жителями степей: вскоре после основания государства четвертый русский князь, самый храбрый, погибает от кочевых хищников, из черепа Святославова пьет вино печенежский князь[7], и только в конце XVII века, в конце нашей древней истории, русское государство успело выговорить освобождение от посылки постоянных обязательных даров крымскому хану, т. е. попросту дани. Но едва только Россия начала справляться с Востоком, как на западе явились враги более опасные по своим средствам. Наша многострадальная Москва, основанная в средине земли русской и собравшая землю, должна была защищать ее с двух сторон, с запада и востока, боронить от латинства и бесерменства[8], по старинному выражению, и должна была принимать беды с двух сторон: горела от татарина, горела от поляка. Таким образом, бедный, разбросанный на огромных пространствах народ должен был постоянно с неимоверным трудом собирать свои силы, отдавать последнюю тяжело добытую копейку, чтоб избавиться от врагов, грозивших со всех сторон, чтоб сохранить главное благо, народную независимость; бедная средствами сельская земледельческая страна должна была постоянно содержать большое войско.

Кому неизвестно, что образование и содержание войска составляет важный, жизненный вопрос для каждого, а особенно континентального государства. При самом зарождении государства этот вопрос уже является с своим важным, определяющим другие отношения значением. Основывается ли государство, начинается ли историческая жизнь в народе посредством завоевания или посредством внутреннего движения, все равно мы видим здесь разделение народа на две части, вооруженную и невооруженную, и определение отношений между ними составляет одну из главных забот народной жизни. В государствах первобытных, сельских, земледельческих отношения определяются просто и тяжело для невооруженной части народонаселения: оно должно непосредственно содержать, кормить вооруженную часть; земля находится

во владении вооруженного класса и обрабатывается рабствующим, прикрепленным к земле сельским народонаселением. При благоприятных условиях географических и других государство начинает мало-помалу терять земледельческий характер, начинается торговое и промышленное движение, деньги, недвижимая собственность начинает получать все более и более значения, город богатеет, богатеет вообще народ, народонаселение увеличивается и, естественно, приготовляется переход от крепостного труда к вольнонаемному. В то же время богатеет и правительство, увеличиваются его средства, денежные средства: прежде оно должно было довольствоваться помощью вооруженного сословия, бывшего вместе и высшим землевладельческим сословием, которое затрудняло правительство известными условиями, например воин на западе имел право не оставаться в походе долее известного срока. Теперь у правительства есть деньги, есть средства нанять войско для достижения своих целей, и являются наемные войска; наконец, дальнейшее усиление финансовых средств правительства дает ему возможность избегать невыгод и наемных войск и завести свое постоянное войско, которое бы всегда находилось в его распоряжении и которое бы народ содержал, кормил не непосредственно своими трудами, но посредством денег, уплачиваемых правительству в виде податей.

Таким образом, появление постоянного войска есть ясный признак экономического переворота в народной жизни, промышленного и торгового развития, появления имущества движимого, денег подле недвижимого, земли — признак, который естественно и необходимо совпадает с другим признаком — освобождением земледельческого сословия, появлением вольнонаемного труда вместо обязательного, крепостного; город, разбогатев, освобождает село, ибо в организме народном все органы находятся в тесной связи, усиление или упадок одного отзывается на усилении или упадке другого.

Так было на западе. Обратимся на восток. Законы развития одни и те же и здесь, и там, разница происходит от более или менее благоприятных условий, ускоряющих или замедляющих развитие. На востоке, в нашей России, мы имеем дело с государством бедным, земледельческим, без развития города, без сильного промышленного и торгового движения, государством громадным, но с малым народонаселением, государством, которое постоянно должно было вести тяжелую борьбу с соседями, борьбу не наступательную, но оборонительную, причем отстаивалось не материальное благосостояние (не избалованы были им наши предки!), но независимость страны, свобода жителей, потому что как скоро не поспеет русское войско выйти к берегам Оки сторожить татар, даст им где-нибудь прорваться, то восточные магометанские рынки наполняются русскими рабами. Государство бедное, мало населенное и должно содержать большое войско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и открытых границ. Понятно,

что мы должны здесь встретиться с обычным в земледельческих государствах явлением: вооруженное сословие, войско непосредственно кормится на счет невооруженного. Бедное государство, но обязанное содержать большое войско, не имея денег, вследствие промышленной и торговой неразвитости, раздает военным служилым людям земли, но земля для землевладельца не имеет значения без земледельца, без работника, а его-то и недостает; рабочие руки дороги, за них идет борьба между землевладельцами, работников переманивают, землевладельцы, которые побогаче, вотчинники, монастыри большими выгодами переманивают к себе работников от землевладельцев, которые победнее, от мелких помещиков, которые не могут дать выгодных условий, и бедный землевладелец, не имея работника, лишается возможности кормиться с земли своей, лишается возможности служить, являться по первому требованию государства в должном виде, на коне, с известным числом людей и в достаточном вооружении, конен, люден и оружен. Что тут делать? Главная потребность государства иметь на готове войско, но воин отказывается служить, не выходит в поход, потому что ему нечем жить, нечем вооружиться, у него есть земля, но нет работников. И вот единственным средством удовлетворения этой главной потребности страны найдено прикрепление крестьян, чтоб они не уходили с земель бедных помещиков, не переманивались богатыми, чтобы служилый человек имел всегда работника на своей земле, всегда имел средство быть готовым к выступлению в поход.

Долго иностранцы, а за ними и русские, изумлялись и глумились над этим явлением: как это случилось, что в то самое время, как в Западной Европе крепостное право исчезало, в России оно вводилось? Теперь наука показывает нам ясно, как это случилось: в Западной Европе, благодаря ее выгодному положению, усилилась промышленная и торговая деятельность, односторонность в экономической жизни, господство недвижимой собственности, земли исчезли, подле них явилась собственность движимая, деньги, увеличилось народонаселение, разбогател город и освободил село; а на востоке образовалось государство при самых невыгодных условиях, с громадною областью и малым народонаселением, нуждающееся в большом войске, заставляемое быть военным, хотя вовсе не воинственное, вовсе без завоевательных стремлений, имеющее в виду только постоянную защиту своей независимости и свободы своего народонаселения, государство бедное, земледельческое, и как только отношения в нем между частями народонаселения начали определяться по главным потребностям народной и государственной жизни, то оно и представило известное в подобных государствах явление: вооруженная часть народонаселения кормится непосредственно за счет невооруженной, владеет землею, на которой невооруженный человек является крепостным работником. И разве во всех государствах Европы крепостная зависимость сельского народонаселения исчезла вдруг и давно?

В государствах Средней Европы она продолжалась до настоящего века, и причина тому заключалась в медленности экономического развития.

Но для уяснения явления посредством сравнения нам не нужно ограничиваться одною Европою; к Европе примыкает другая часть света, открытая европейско-христианскими народами, занятая ими, введенная вследствие этого в общую жизнь с Европою, Америка. В XVI веке эта страна представляла главные экономические условия, одинакие с Востоком Европы, с Россиею: обширная страна, страшно нуждающаяся в рабочих руках, и что же делают в ней эти западные европейцы, так хвастающие ранним освобождением у себя сельского народонаселения? Они организуют здесь рабство сельского народонаселения в самых обширных и отвратительных размерах посредством вывоза из Африки черных невольников, успокаивая свою цивилизованную совесть лукавым мудрствованием, что негры вовсе не такие люди, как белые, не от одного Адама произошли.

Прикрепление крестьян — это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении[9]. Но дело не могло ограничиться одним прикреплением сельского народонаселения к обрабатываемой им земле: в городах живут так называемые посадские, тяглые люди, промышленники, торговые люди; промышляют и торгуют они в очень небольших размерах, но платят подати, несут повинности в очень больших размерах: государство, постоянно и страшно нуждающееся в деньгах, требует от них исправного платежа податей и в то же время требует от них тяжкой и разорительной службы при собирании этих доходов. А тут еще новая для них тягость — воевода и приказный человек. Развитие состоит в разделении занятий; мы называем наиболее развитым то тело, которое имеет наиболее отдельных органов, служащих каждый известному отправлению жизни и находящихся в тесной друг с другом связи и зависимости. Мы называем и человеческое общество наименее развитым, варварским, где разделение занятий слабо, где каждый делает все для себя нужное, не имея нужды в других, не сообщается, не меняется с ними, живет особняком. Обществом развитым, цивилизованным, наоборот, мы называем такое, где господствует разделение занятий и потому господствует и соединение сил, общая жизнь, ибо все находятся во взаимной связи и зависимости. В древней России, принадлежавшей к государствам первобытным, мы не можем надеяться встретить значительное разделение занятий ни в каких сферах. В таких государствах один орган обыкновенно служит нескольким отправлениям, которые, при дальнейшем развитии, распределяются по отдельным органам. В древней России военный или ратный человек в мирное время должен был занимать правительственные должности, которые, опять по той же неразвитости, соединялись с судебными должностями. В финансовом отношении назначение на такие места служило дополнитель-

ным содержанием поместью для служилого или военного человека, и так как бедное государство не могло дать ему жалованья, то предоставляло ему содержаться доходами с управляемой им местности, кормиться на ее счет. Таким образом, вследствие указанной уже неразвитости земледельческого государства, и город, подобно селу, должен был непосредственно содержать, кормить военного человека, который естественно и необходимо привыкал к мысли, что он имеет право непосредственно кормиться на счет невооруженного человека, а тот имеет обязанность непосредственно кормить его, непосредственно служить ему.

Вследствие такого-то представления и образуется бездна между двумя частями народонаселения, вооруженного и невооруженного; одни считают себя полными людьми, мужами, и всех других называют неполными людьми, человечками, мужиками. Муж, приезжая управлять мужиками, и смотря на эту должность как на дополнительное содержание, как на кормление, разумеется, хотел кормиться как можно сытнее. Муж, воевода часто был безграмотный, не знал порядков управления и суда, и при нем являлся приказный человек, грамотный, умеющий вести дела и умеющий кормиться. Тяжелое положение тяглого человека, обремененного податями, увеличивалось еще таким отношением к областным правителям как кормленщикам, и часто тяглый человек бежал от невыносимой тягости, укрывался, вступал в зависимость от частных сильных и богатых людей, чтоб найти в ней льготу и покровительство. Это последнее составляет также характеристическую черту первобытных, неразвитых государств, которые не могут дать каждому подданному свободно и безопасно трудиться, государств, где правительственные требования находятся в несоразмерности с средствами подданных удовлетворять им. Здесь естественное стремление бедного, слабого входить в зависимость от богатого, сильного, чтоб найти у них помощь и покровительство, найти защиту как от насилия других сильных, какой не может дать государство еще слабое, так и от требований самого государства. Известно, что так называемая феодальная система на Западе, господствовавшая в то время, когда тамошние государства находились в первобытном, неразвитом состоянии, основывалась на этом стремлении слабых войти в зависимость от ближайших сильных с целью найти в них защиту и покровительство.

Вот почему и в древней России мы видим сильное стремление добровольно входить в частную зависимость. Человек отдавался или продавался добровольно в холопы, давал на себя кабалу. Отпущенный на волю по завещанию умершего господина, холоп спешил закабалить себя наследнику покойного господина или другому кому-нибудь. Но кроме этого добровольного закабаливания себя в личное услужение, видим стремление людей, имеющих свое независимое хозяйство и промыслы, закладываться за людей сильных для приобретения защиты и освобождения от тяжких государственных повинностей, стремление, по тогдашнему выражению,

жить за чужим хребтом, быть в захребетниках, в соседях и подсоседниках. Государство, разумеется, не может равнодушно смотреть на все эти явления. Накопляется огромное количество жалоб мелких землевладельцев, что крестьяне бегут с их земель и тем лишают их средств кормиться, следовательно, лишают средств служить; несмотря на закон о прикреплении крестьян, богатые и сильные землевладельцы продолжали переманивать крестьян у недостаточных собратий своих, переманит и сейчас же отправит в отдаленную вотчину, где прежний господин его не сыщет. Пустеют целые волости от тяжких податей и воеводских притеснений; бегут или закладываются посадские люди; но уход крестьянина от помещика лишает государство возможности иметь в сборе достаточное число войска; уход, укрывательство, закладничество тяглого человека лишает бедное государство последних финансовых средств, и вот одною из главных постоянных забот государства становится ловля человека. Помещик жалуется, что ушел работник, земля пуста, дохода не дает, а нанять работника нечем, да и некого; посадские люди жалуются, что товарищи их ушли или заложились за бояр, за монастыри, тягла не тянут, вся тяжесть обрушивается на оставшихся, которым, разумеется, нельзя справиться и приходится самим брести розно, и государство должно удовлетворять всем этим жалобам, должно ловить работника, тяглого человека, усаживать на одно постоянное место, стеречь, чтоб не ушел; государство из финансовых видов должно вооружиться против закладничества, должно освобождать людей от частной зависимости, освобождать силою, против их воли, и освобожденные составляют заговор, чтобы произвести кровавый бунт против освободившего их правительства, зачем освободило. Вот явление, которое заставляет нас быть очень осторожными и не судить по настоящему о прошедшем.

Понятно, что меры государства относительно ловли и усаживания людей не могли быть очень действительны. Уйти и скрыться в громадной, малонаселенной стране было легко; открытость границ, условие столь затруднительное относительно государственной обороны, облегчавшее врагам доступ в Россию, облегчало и русскому народонаселению возможность выхода, возможность разбрасываться все более и более на неизмеримых пространствах, пустых или почти пустых по ничтожности их туземного народонаселения. Понятно, что такая колонизация, такое постоянное расширение государственной области, не имеющей изначала резко очерченных границ, расширение, которое беспрепятственно шло чрез пустыни северной Азии и могло остановиться только на берегах Восточного океана, такое постоянное расширение государственной области и без того громадной, такой отплыв народонаселения и без того незначительного, только усиливало затруднения государства в его отправлениях. К тому же подле выселения людей с земским характером, людей, переносивших на новые места свой труд, мы видим выход людей с другим характером, которые,

ушедши от тяжкого труда, от надзора правительственного и общественного, начинают заниматься дурным промыслом, жить на чужой счет; в густых лесах малонаселенной страны так легко было образоваться и укрываться от преследований разбойничьим шайкам, от которых мирное сельское народонаселение терпело более, чем от внешних врагов; от последних терпели окраины, разбойники свирепствовали повсюду.

Но не один лес служил убежищем для людей, которые хотели жить на чужой счет, на счет трудящихся в поте лица братий: широкие степи, с которыми граничила древняя Россия на юге и юго-востоке, переставши быть привольем хищных, кочевых орд, стали привольем козаков, людей, не хотевших в поте лица есть хлеб свой, людей, которым по их природе, по обилию физических сил было тесно на городской и сельской улице, которые, по старинному представлению, не могли пройтись по ней, чтоб не задеть другого, не сшибить его с ног, на что, разумеется, эти задавленные и сшибаемые с ног не могли смотреть равнодушно и быть благодарными: поэтому люди, чувствовавшие такую тесноту в обществе и не желавшие работать, спешили на простор, в широкую степь, где могли гулять, живя на чужой счет, т. е. грабя своих и чужих. Так образовалась противоположность между земским человеком, который трудился, и козаком, который гулял, противоположность, которая необходимо должна была вызвать столкновение, борьбу; эта борьба разыгралась в высшей степени в начале XVII века, в так называемое Смутное время, когда козаки из степей своих под знаменами самозванцев явились в государственной области и страшно опустошили ее, явились для земских людей свирепее поляков и немцев (грубнее литвы и немец, по выражению летописца). Понятно, что это опустошение не могло улучшить экономическое положение страны, которое в продолжение нескольких лет сряду терпело от разбоя, производившегося в самых ужасающих размерах, с неслыханною ненавистью к мирному труду, к гражданину—труженику, к земскому человеку.

В последнее время, когда русская мысль, недостаточно установленная правильным научным трудом, произвела несколько странных явлений в нашей литературе, в некоторых так называемых исторических сочинениях выказалось стремление выставить этих героев леса и степи, разбойников и козаков с выгодной стороны, выставить их народными героями, в их деятельности видеть протест во имя народа против тягостей и неправды тогдашнего строя государственной жизни[10]. Протест! Мы привыкли к этому слову, оно легко для нас, как самое легкое дело. Но в сущности это дело не так легко, а потому и слово не должно употреблять легкомысленно; в сущности в самой тесной связи с ним находятся слова: подвиг, пророчество, мученичество, и, конечно, это слово вовсе нейдет к людям, которые покидали своих собратий в их подвиге, в их тяжелом труде и уходили, чтоб гулять и жить на чужой счет, на счет тяжкого труда своих собратий. Хорош протест

во имя народа, во имя народных интересов, протест, состоящий в том, чтобы мешать народному труду, мешать труженикам трудиться и посредством труда улучшать свое положение! Хорош протест против неправды под знаменем лжи, под знаменем самозванства! Нет, все наше сочувствие принадлежит не тем, которые ушли, но тем, которые остались; все наше сочувствие принадлежит тем земским русским людям, которые разработали нашу землю своим трудом великим, подвигом необычайным, потому что были поставлены в самые неблагоприятные обстоятельства, должны были преодолеть страшные трудности, должны были бороться с природою—мачехою, при ничтожных средствах защищать обширную страну от врагов, нападавших на нее со всех сторон, и несмотря на все препятствия, создали крепкую народность, крепкое государство. Все наше сочувствие принадлежит этим людям, которые в продолжение стольких веков работали самую черную работу, и посмеем ли мы задать им детский и дерзкий вопрос, зачем они при этой черной работе не носили светлого, богатого платья? Наше сочувствие принадлежит не тем, которые, как бичи божии, приходили из степей, чтоб вносить смуту и опустошения в родную землю, которые умели только разрушать и не умели ничего создать; наше сочувствие принадлежит тем, которые своим честным, гражданским трудом созидали, охраняли и спасали; тем, которые в восточной, московской России, несмотря на разбросанность свою по обширным, мало проходимым пространствам, умели собраться и стать как один человек, когда беда начала грозить родной стране, которые совершили не один физический подвиг, но умели очиститься нравственно, избавиться от привычки нравственного обособления, от привычки нравственного колебания, шатания, как они выражались; наше сочувствие принадлежит тем, которые в западной России, почуя ту же беду, нехитрыми средствами приходского складчинного пира умели создать крепкие общества, в короткое время создать школу, науку, литературу, все нравственные средства к борьбе с врагом сильным для спасения своей народности. Наше сочувствие принадлежит тем, которые великим трудом развили свои нравственные силы, окруженные варварами сохранили свой европейско-христианский образ и стали способны под предводительством величайшего из тружеников приступить к новому великому труду, труду созидания новой России. Этим людям принадлежит все наше сочувствие, наша память, наша история. Прошедшее, настоящее и будущее принадлежит не тем, которые уходят, но тем, которые остаются, остаются на своей земле, при своих братьях, под своим народным знаменем.

Чтение третье

Из предложенного очерка экономического быта древней России легко догадаться, с чего должно было начаться движение при переходе из одного возраста народной жизни в другой. Прежде все-

го должно было пробудиться сознание о недостатках этого быта, о их вредных следствиях в деле народной безопасности, народной силы, народной чести. Каким же способом могло пробудиться это сознание? Тем же, каким оно пробуждается и в отдельном человеке, способом сравнения и противоположения; а способ этот, разумеется, усиливается вследствие выхода в более широкую сферу, вследствие приобретения большого количества предметов, явлений для сравнения и противоположения. Долгое время все внимание русского человека было обращено на Восток, к миру степных, хищных варваров, народов кочевых, не христианских, стоявших на низшей ступени развития, чем народ русский. Русский человек сознал свое резкое различие от этих народов и, находясь в том возрасте, когда преобладает чувство, сознал свое резкое различие от степного варвара в религии; не русский и татарин, но христианин и бусурманин, или поганый, вот какие представления были напереди; здесь прошла резкая нравственная граница между русскою народностию и азиатским миром. Но на Западе другие соседи, народы с другим характером. И здесь прежде всего было подмечено и стало на первом плане религиозное, т. е. вероисповедное различие, православный христианин или просто христианин, христианин по преимуществу, и латынец (римлянин), лутор, кальвин [11]; и здесь, на Западе, вероисповедное различие провело резкую нравственную границу русской народности, вот почему и говорим мы, что православие легло в основу русской народности, охранило ее духовную и политическую самостоятельность: под его знаменем поднялась и собралась восточная Россия, чтоб не пустить на московский престол латынца, польского короля или сына его; под его знаменем отстаивала свою народную самостоятельность западная Россия в борьбе с Польшею. Мы говорили, что Россия дурно защищена природою, открыта с востока, юга и запада, легко доступна вражьим нападениям; но отсутствие резких физических границ заменено для русского народа духовными границами, религиозным различием на востоке и юге, вероисповедным на западе; в этих-то границах крепко держалась русская народность и сохранила свою особность и самостоятельность.

Затем русский человек, разумеется, обратил внимание и на другие черты сходства и различия между своими соседями, между народами, с которыми имел дело, и по этим чертам также начал определять свои отношения к ним; он заметил, например, племенное сходство и различие и поставил поляков — литву особо, немцев, т. е. всех западноевропейских народов не славянского происхождения, особо. Заметил и резкое различие между восточным и западным человеком, азиатским и западноевропейским, грубость первого, умелость, образование второго. Особенно поразило русского человека, в противоположность с его собственною бедностию, богатство заморского немца, англичанина, голландца, гамбурца, любчанина, богатство и искусство (досужество): заморский немец привозит товары необходимые, но которых русский человек

не умеет делать, у заморских немцев много денег и, кроме того, они умеют вести свои дела, умеют вести их сообща, умеют сговориться и поставить на своем, тогда как русские люди торгуют каждый отдельно, не умеют сговариваться, помогать друг другу и потому всегда в проигрыше пред немцами, не могут с ними стянуть, как они сами выражаются. Немцы привозят товары дорогие, которые в их земле не родятся, родятся далеко за океаном; но немцы на кораблях своих плавают по всем морям, пристают ко всем землям, покупают дешево, продают дорого и наживают великие барыши. Русский человек присматривается к немцам, которые из них богаче, которые искуснее, и видит, что богаче, искуснее немцы поморские, те, у которых больше кораблей, те, которые плавают и торгуют по всем морям. Отсюда для русского человека представление моря как силы, которая дает богатство, отсюда страстное желание, стремление к морю, чтоб посредством него стать таким же богатым и умелым народом, как народы поморские. Таким образом, богатство и умелость заморских иностранцев, противопоставленные собственной бедности и неразвитости, пробудили в сильном историческом, т. е. способном к развитию народе стремление выйти из своего затруднительного, печального положения, умерить односторонность земледельческого быта промышленным и торговым развитием, средствами указанными, действительность которых очевидна; отсюда движение от востока к западу, от Азии к Европе, от степи к морю. И это движение началось сейчас же как только восточные варвары ослабели, русские осилили их, могли вздохнуть поспокойнее, оглядеться и заметить сказанное различие между собою и поморскими народами, ибо великий исторический народ пребывать в застое не может, а если древняя Россия нам представляется в застое, то это застой относительный, это только медленность движения в известных сферах вследствие могущественных препятствий, встречаемых народом.

Как только татарские ханы перестают подходить к Москве и брать в плен ее князей, сын того князя, который был пленником в Казани[12], Иоанн III уже заводит сношения с Западной Европой и вызывает тамошних художников, чтобы строить церкви, дворцы и башни в своем Кремле. Внук его Иоанн IV как только угомонил восточных татар взятием Казани и Астрахани, так сейчас же обращает все свое внимание на запад, хочет непременно добиться до заветного моря. Оттолкнутый от него соединенными усилиями поляков и шведов, Иоанн IV готов отдать всю русскую торговлю в руки англичан, лишь бы только те помогли ему получить хотя одну гавань на Балтийском море; царь Алексей Михайлович делает наивное предложение герцогу Курляндскому, не может ли тот позволить строить в своих гаванях русские корабли: это всего лучше показывает движение и его направление, всего лучше показывает, как мысль о море стала господствующею, неотразимою. Таким образом, русские уже двинулись, и новый путь был опре-

делен, движение начинается с XV и XVI века, одновременно, следовательно, с движением западноевропейских народов, с их переходом из одного возраста в другой; но у нас на Востоке это движение шло чрезвычайно медленно вследствие страшных препятствий.

Польша и Швеция легли на дороге, загородили море, пробиться было невозможно с теми нестройными массами, какие представляло русское войско, требовавшее для успеха коренного преобразования; на западе загорожена дорога, а восток, степной восток употребляет последние усилия, чтоб удержать свою добычу, свою пленницу — Россию: в то время, как царь Иоанн IV обратил все свое внимание на запад, крымский хан подкрался и сжег Москву, сжег так, что она уже после того не поправлялась[13]. Только что при царе Борисе успели решить вопрос, что лучше отправить своих русских за границу учиться, чем вызывать иностранных учителей в Россию, только что распорядились исполнением этого решения, как степи снова всколыхались, явились оттуда козаки с самозванцами и выполнили степную работу опустошения, уравнения, т. е. уравняли все с землею получше татар; долго Россия должна была отдыхать, оправляться после посещения этих проповедников протеста. Путешественники рассказывают, что когда они проезжали местами, где гостили козаки, то, чтоб остановиться и погреться в избах, прежде нужно было очистить эти избы от трупов их прежних обитателей. После такой болезни нельзя было требовать сильного движения от выздоравливающего; а тут едва восточная Великая Россия начала оправляться, движения в западной России, сведение старых счетов с Польшею, козацкие смуты в Малороссии[14] замедляли движение, замедляли, но оно не прекращалось: шли ощупью, принимали полумеры, но двигались, вводили преобразования в войске, отбиваемые от Балтийского моря, строили корабли для Каспийского.

Из сказанного, надеюсь, ясно, в чем должны были заключаться существенные черты так называемого преобразования, т. е. естественного и необходимого перехода народа из одного возраста в другой. Бедный народ сознал свою бедность и причины ее чрез сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которыми заморские народы были обязаны своим богатством. Следовательно, дело должно было начаться с преобразования экономического; государство земледельческое должно было умерить односторонность своего экономического быта усилением промышленного и торгового движения, и для этого прежде всего добыть себе уголок у северного Средиземного (Балтийско-немецкого) моря, к которому прилила торговая, промышленная и историческая жизнь Европы, отхлынув от берегов древнего южного Средиземного моря. Здесь исполнялся общий закон, по которому шло движение и на Западе. Движение, приготовившее переход западноевропейских народов из одного возраста в другой, из древней истории в новую, началось изменением в их

экономическом быте чрез усиление промышленной, торговой и мореплавательной деятельности. Чем обыкновенно начинают изложение новой истории? Открытиями новых стран и морских путей, и этим открытиям предшествует поднятие города, его чрезвычайное процветание в Италии, этой стране богатых, сильных, властительных городов—республик; с берегами южного Средиземного моря начинают соперничать берега северного Средиземного моря Балтийско-немецкого: здесь поднимаются города ганзейские и нидерландские, в других западноевропейских странах в различной степени, под влиянием различных условий, но повторяется то же явление, деньги, движимое соперничает с землею, недвижимым, золото спорит с мечом; прежде династии основывались мечом, теперь они основываются посредством денег; богатые купцы Медичи основывают династию во Флоренции.

Развитие промышленное и торговое ведет к развитию умственному чрез расширение сферы наблюдения, чрез усиление жизни международной; научное движение при этом необходимо, и мы видим, что в эпоху великих открытий географических, в эпоху усиления торговой и промышленной деятельности, в странах, наиболее отличающихся этою деятельностию, является и сильная работа мысли над памятниками, оставленными древним греко-римским миром, влиянию которых так подчинились западноевропейские народы и под этим влиянием совершили переход из своей древней истории в новую, из возраста чувства в возраст мысли, проще сказать, отдались в ученье грекам и римлянам, прошли школу под их руководством, и эта школа надолго, можно сказать навсегда, оставила глубокие следы, точно так же, как глубокие следы оставляет школа в каждом человеке, способном принимать и переваривать духовную пищу. В этой-то греко-римской школе, при возбуждении мысли посредством нее западноевропейские народы прежде всего отнеслись с вопросом и допросом к отношениям, которые были результатом начала, господствовавшего в их древней истории чувства, религиозного чувства, и следствием этого допроса расправившей свои крылья мысли результатам чувства, следствием столкновения двух начал, делящих между собою историю народов, следствием столкновения мысли и чувства было религиозное протестантское движение, обхватившее всю Западную Европу и поведшее всюду к такой продолжительной и кровавой борьбе.

И у нас в России переход из древней истории в новую совершился по общим законам народной жизни, но и с известными особенностями, вследствие различия условий, в которых проходила жизнь нашего и западноевропейских народов. На Западе известное экономическое движение началось давно и шло постепенно, что и не давало ему значения новизны, особенно поражающего внимание, дающего господство явлению; самым сильным и поражающим своею новизною движением было движение в области мысли, в области науки и литературы, перешедшее немедленно в область религиозную, в область церковных и церковно-государ-

ственных отношений; здесь новое, протестуя против старого, противопоставляя ему себя, необходимо вызывало борьбу и борьбу самую сильную, борьбу религиозную, которая делит Европу на два враждебные лагеря. Эта-то борьба и стала на первом плане, отстранив все другие интересы на второй. У нас в России в эпоху преобразования, т. е. при переходе народа из своей древней истории в новую, экономическое движение оставалось на первом плане.

По указанным выше неблагоприятным условиям у нас экономическое развитие было задержано, но движение государственной и народной жизни не останавливалось, ибо все яснее и яснее становилось сознание необходимости вывести страну на новый путь, все яснее и яснее становилось сознание средств этого вывода, и как скоро сознание окончательно уяснилось, то народ должен был вдруг ринуться на новую дорогу, ибо разлад между сознанием того, что должно быть, и действительностию возможен у отдельного человека и целого народа только при условии крайней слабой воли, одряхления, но таким не был русский народ в описываемое время. Экономический переворот, как удовлетворяющий главной народной потребности, становился на первый план, и как совершившийся вдруг, тем сильнее давал себя чувствовать; в организме государственном нельзя дотронуться до одного органа, не коснувшись в то же время и других, и вот причина, почему вместе с экономическим преобразованием шло и множество других, но эти последствия находились в служебном отношении к первому. Не забудем и того, что Россия совершила свой переход из древней истории в новую двумя веками позже, чем совершили это западноевропейские народы, следовательно, между этими народами, в общество которых вступил народ русский, многое уже должно было измениться.

Действительно, религиозное движение здесь успокоилось, и на первом плане стоял также вопрос экономический. Вспомним, что на Западе это время было время Людовика XIV, который дал Франции первенствующую роль в Западной Европе [15]; но в конце его царствования Франция потеряла первенствующее значение. Это происходило от того, что вначале знаменитый министр Людовика Кольбер [16] произвел экономическое движение, экономический переворот во Франции, давший королю большие финансовые средства; но потом король позволил себе истощить их. От какой же мысли пошел Кольбер? Морские державы — Голландия и Англия — разбогатели посредством сильного промышленного и торгового движения: чтоб дать Франции возможность разбогатеть наравне с Англиею и Голландиею, надобно сделать ее морскою державою, возбудив в ней сильное промышленное и торговое движение, что и было сделано. Тут, следовательно, Кольбер шел от факта, совершившегося у всех перед глазами, от сравнения положения морских держав с положением континентальных, от верного понимания причин различия в этом положении, ибо не понять было трудно. От того же факта, от того же сравнения пошла и

Россия, основное движение преобразовательной эпохи было то же Кольберовское движение, то же стремление привить к земледельческому бедному государству промышленную и торговую деятельность, дать ему море, приобщить его к мореплавательной деятельности богатых государств, дать возможность разделить их громадные барыши. Движение это, как мы видели, так естественно и необходимо, что тут не может быть и мысли о каком-нибудь заимствовании или подражании: Франция с Кольбером в челе и Россия с Петром Великим в челе действовали одинаково по тем же самым побуждениям, по каким два человека, один в Европе, а другой в Азии, чтоб погреться, выходят на солнце, а чтоб избежать солнечного жара, ищут тени. Иоанн IV, бившийся изо всех сил, чтоб утвердиться на морских берегах, не мог подражать Кольберу. Но когда Россия вошла в ближайшие сношения с Западною Европою, то было важно, что она нашла здесь то же самое движение, какое сама совершала, нашла ему оправдание. Россия, производившая у себя экономический переворот и сближавшаяся с Западною Европою, застала ее не в религиозной борьбе, совершенно чуждой и бесполезной для России, но в борьбе за средства к обогащению.

Но если в нашем преобразовании выставилась так выпукло экономическая сторона, то было бы крайне неосторожно не обратить внимания и на другие стороны, которые рассматриваемое явление должно было иметь по необходимым общим законам. Мы видели, что в Западной Европе при переходе народов из одного возраста в другой мысль, возбужденная знакомством с памятниками древней мысли, древней философии отнеслась с вопросом и допросом к результатам господствовавшего в их древней истории чувства, религиозного чувства, откуда произошло сильное религиозное движение, сильная религиозная борьба, разделившая Европу на два враждебных лагеря — католический и протестантский. Мы видели, что часть западноевропейских народов сохраняет и упорно отстаивает старые верования, старые формы церковного строя и утверждается в этом крайностями нового начала, крайностями движения мысли, ее разлагающего, отрицательного движения. После возбуждения вопроса о злоупотреблениях латинской церкви очень скоро возникают учения, стремящиеся нарушить не только церковный, но и общественный строй; разнузданная мысль в своем отрицательном движении пробегает от Лютера до Мюнцера и от Мюнцера до анабаптистов. Такая крайность вызывала противодействие, реакцию со стороны католицизма, которые, в свою очередь, дошли до крайностей, произведя орден иезуитов [17]. Никаких соглашений, никаких уступок новому началу, новым требованиям, все правильно, все безукоризненно, нечего переменять; и божия правда, и человеческая ложь одинаково неприкосновенны; да будет так как есть или да не будет (sit ut est, aut non sit), написал католицизм на своем знамени в ответ на протестантские требования, на протестантские укоризны, и были в Западной Ев-

ропе целые страны, которые остались верны этому знамени, обвели около себя магический круг, отчурались от всякого участия в новом движении, от всякого участия в служении новому началу: так поступили народы Пиренейского полуострова, знаменитые католическим старообрядством.

Но если при движении, вызывающем к переходу из одного возраста в другой, так сильно обнаруживается у народов отвращение к этому переходу, так сильно обнаруживается страх пред болезненным переворотом, так невыносима бывает тоска при этом, которую можно объяснить тоскою по родине, овладевающею многими людьми, решившимися в первый раз переступить порог отечества, войти в новый, чужой мир, если целые народы решаются заглушить в себе, выжечь костром инквизиции всякую попытку мысли потребовать отчета у существующего, освещенного веками, изменить здесь хотя единую букву, и если такое решение оправдывается крайностями нового направления, ведущими к односторонности, нарушающими гармонию духовной жизни, то самый естественный вопрос в устах человека, незнающего подробностей нашей истории: «Неужели переход русского народа из одного возраста в другой, из древней истории в новую совершился без болезненных явлений, без сопротивления, без борьбы, неужели все с веселым сердцем, безбоязненно отправились в новый путь, в неведомый мир? Неужели все выслушали с сочувствием, по крайней мере равнодушно, вызов: свое дурно, чужое хорошо? Неужели при той резкой вероисповедной границе, которую русские люди провели между собою и западноевропейскими народами и которую так ревниво охраняли, не щадя ничего, никому в голову не пришла страшная мысль, что при тесном сближении с иноверными народами эта священная граница может быть нарушена?» Всем известно, как отвечает на эти вопросы наша история.

Задолго, почти за сто лет до начала преобразовательной деятельности Петра Великого уже идет совещание у царя Бориса с духовенством и вельможами; предлагается трудное, но необходимое дело: надобно ввести науку, потому что без нее Россия бессильна, беззащитна перед другими враждебными народами; науку можно получить только из-за моря, надобно призвать иностранных учителей, как уже хотел царь Иван. Но тут великая опасность: эти учителя иноверцы: как будут учиться у них русские православные люди? Учиться — ведь это значит признать превосходство учителя, подчиниться ему, верить ему, делать так, как он велит, как сам делает, подражать ему. Какое страшное искушение: подчиниться влиянию учителя во всем, исключая одного — веры. Решено было, что иноверные учителя опасны и потому лучше послать русских людей учиться за границу, чтобы они по возвращении стали учителями в своей стране. Понятно, что опасность не уменьшилась: русский человек, лишенный влияния народной среды, совершенно предавался чуждому влиянию. Никто из отправленных не возвратился.

А между тем движение началось, и где же? В самой церкви. Явилась типография [18]: она должна была прежде всего послужить церкви, распространить церковную книгу; явилась важная выгода: книга выходила не из частных рук, не из рук переписчика, который мог внести в нее ошибки вольные и невольные; теперь книга должна была выходить под надзором церковного правительства. Но для того, чтобы книга напечатана была правильно, нужно было напечатать ее с исправной рукописи, для чего нужно было собрать рукописи, сравнить, выбрать лучшую, сличить с греческим подлинником; но для этого нужно было знание, а знания-то и не было. Люди, по-видимому, знающие, которым было поручено дело исправления, уличены были в незнании, в искажении вместо исправления. Нужно было вызвать исправителей из-за границы, разумеется, православных, т. е. греков или ученых монахов из западной России, которая, вследствие борьбы с католицизмом, ранее восточной завела у себя школы.

Исправители были вызваны, начали исправлять по-своему, и раздался вопль: чужие переменяют веру, велят творить крестное знамение не так, писать и произносить самое священное имя не так, портят книги, по которым молились отцы, по которым молились святые и спаслись. Вопль пошел от старых учителей, от прежних исправителей книг, которые были оскорблены обвинениями в невежестве, в искажении книг. Но стоило только раздаться словам, что вера в опасности, веру переменяют, как слова эти нашли сильный отзыв, тем более, что движение к новому уже началось в разных сферах, новые обычаи бросались в глаза уже по тому самому, что были редки еще и ярко выделялись, сильно раздражали. Явились ревнители, которые провозгласили, что последние времена приближаются, что надобно стать и помереть за веру, за неизменность того, что предано свыше и потому должно остаться неприкосновенным: «Аще я и не смыслен, гораздо неученый человек, да то знаю, что вся, церкви от св[ятых] отец преданная, свята и непорочна суть; держу до смерти, якоже приях, не предлагаю предел вечных: до нас положено, лежи оно так во веки веков». И так как ревнители старины действительно готовы были подвергнуться всем лишениям, страданиям и смерти, то производили сильное впечатление и увлекали многих. Явился раскол: часть русских людей отвергла авторитет церкви, необходимым следствием чего было разделение отпадших на множество толков.

А между тем движение шло и с другой стороны; мысль была возбуждена религиозными вопросами; люди с возбужденною мыслию просиживали в Москве ночи с учеными киевскими монахами, другие стремились в Киев, в тамошние школы, к тамошним ученым и, возвратясь в Москву, спорили со своими отцами духовными, доказывая им, что они не так понимают дело, те оскорблялись, кричали против извращения отношений, молодые учат старых, дети отцов; богословские споры овладевают вниманием общества, в домах и на улицах, мужчины и женщины спорят о

времени пресуществления, упрекают друг друга в еретичестве. Иезуиты тут и закидывают свои сети, подходят к русским людям с внушениями: у нас с вами вера одна, разница в том, что у нас ученых людей больше, мы вас удовлетворим в вашей новой потребности, потребности знания, работы мысли. Иезуитов выгнали; но опасность не уменьшилась; духовенство находилось в самом затруднительном положении, между двух огней: с одной стороны, свои раскольники обвиняли его в отступлении от старой веры, отвергали его как еретическое, с другой — свои же обвиняли его в отсталости, в неимении средств правильно понимать проповедуемое учение, а тут иноверные учители с Запада подчиняют русских людей своему влиянию и также не с уважением относятся к старым учителям их, к их отцам духовным.

Единственное средство выйти из этого затруднительного положения состояло в том, чтоб выйти вместе с народом на новую дорогу, приобрести могущество знания. Это новое могущество было необходимо для успешной борьбы с людьми, которые хотели остаться при старом начале во всей его исключительности, односторонности, людьми, которые лучше всего показывали, к чему ведет эта односторонность, исключительное господство чувства, неумеряемого мыслию: эта односторонность повела к безусловному, слепому, фанатическому утверждению превосходства своего над чужим, своего, принятого в самом узком смысле, она повела к слепому, безусловному, фанатическому утверждению неприкосновенности всего преданного без всякого различения существенного и несущественного, духа от буквы, божией правды от человеческой ошибки; она повела к тому, что часть народа покинула церковь, объявила ее зараженною еретичеством за то только, что церковь изменила несколько слов, несколько обрядов. «До нас положено, лежи так вовеки веков»,— провозглашает знаменитый в истории раскола протопоп Аввакум [19]. Таким образом, односторонность господствовавшего начала, чувства, неумеряемого мыслию, знанием, выразилась в расколе самым печальным образом и заставляла необходимо требовать знания, умственного развития. Но то же знание было необходимо для защиты веры от других врагов, более опасных, от тех людей, к которым русский народ должен был обратиться за наукою, от учителей чужеземных, иноверных.

Мы видели, что русские люди с пробужденною мыслию, не имея возможности отправляться к народам иноверным, спешили в Киев к тамошним ученым для удовлетворения новой потребности, потребности знания. Но скоро заставы, заграждавшие путь к народам иноверным, должны были рушиться; нудящие потребности экономического преобразования, бывшего на первом плане, заставляли отнестись непосредственно к поморским народам, заимствовать у них их умелость, практические знания, которых нельзя было приобрести в киевских школах или в школах, устроенных по образцу киевских школ; русские люди толпами отправились в эти

заморские иноверные страны учиться; если прежде и те, которые ездили в Киев, по возвращении оттуда представляли новые требования от своих старых учителей, своих старых отцов духовных, то легко понять, с какими требованиями, с какими вопросами возвратятся русские люди из-за моря: надобно было приготовиться удовлетворить этим требованиям, отвечать на эти вопросы, а приготовиться можно было только посредством науки.

Необходимость науки была сознана и провозглашена торжественно. «Наука есть могущество»,— задолго перед тем провозгласил один из великих ученых деятелей в Западной Европе[20], и народы ее приняли это провозглашение как истину. Русские люди признали эту истину, как только познакомились с людьми, с народами, обладавшими наукою, они нашли, что эти люди, эти народы обладают страшным могуществом. Могущество науки сознали русские люди в западной России, увидав перед собою врагов веры, своей народности, вооруженных могуществом науки; сознавши это, русские люди в западной России не остались праздны, но поспешили вооружиться этим могуществом, чтоб бороться с врагами равным оружием. Русские люди Великой России, сознав могущество науки, также не хотят быть праздными, но поднимаются, собираются в дорогу на поиск за наукою, чтоб сделать свою Россию богатою и сильною, чтоб дать ей почетное место среди народов. Наука есть могущество; но всякая сила может быть опасна в неопытных руках, если ей дается одностороннее направление. Посредством науки человек и народ переходят из одного возраста в другой, из возраста, где господствует чувство, в возраст, где господствует мысль. Мы только что говорили о печальных следствиях односторонности, решительного преобладания чувства, неумеряемого мыслию, знанием, о печальных следствиях ревности не по разуму наших Аввакумов; но мы прежде сказали о печальных следствиях односторонности и другого начала, усиливающегося во второй период жизни человека и народа, о печальных следствиях отрицательного, разлагающего движения мысли, следствиях, которые вызывают вопль: древо познания не есть древо жизни, вопль, родившийся в той самой стране, где впервые было провозглашено, что наука есть могущество, вопль, потрясающий веру в могущество науки.

Недавно история как будто подтвердила справедливость этих слов, что древо познания не есть древо жизни для целых народов; недавно история произнесла страшные слова: «Горе народу, который равнодушно смотрит, как разрушаются алтари и закалаются их служители; наука со всеми ее чудесами не спасла этого народа; а было время, когда этот же самый народ в подобных же обстоятельствах был спасен простою крестьянкою, действовавшею с религиозным одушевлением[21].»

Но эти вопли, эти примеры показывают только, что наука теряет часть своего могущества, когда ею пользуются односторонне. Наука есть великое могущество, есть наставница и благодетельни-

ца людей и народов, когда изучает прежде всего человека, когда знает условия, законы и потребности его природы, когда умеет сохранить гармонию между началами, в его природе действующими, умерять одно другим, положить границы между ними, когда умеет умерять гордыню знания и алчность пытливости разума и отвести должную область чувству, когда умеет определить границы, где оканчивается область знания и где начинается область веры. Наука достигает полного могущества не тогда только, когда учит и развивает умственные способности, не тогда только, когда изучением законов видимой природы увеличивает удобства жизни: она достигает полного могущества, когда воспитывает человека, развивает все начала его природы для их правильного и согласного проявления. Блюсти, чтоб эта правильность и согласие не были нарушены при переходе русского народа из одного возраста в другой, становилось обязанностию русской церкви; для приготовления ее служителей к исполнению этой обязанности могущественным и необходимым средством должна была служить также наука.

Необходимость движения на новый путь была сознана, обязанности при этом определились; народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился.

Чтение четвертое

«Народ собрался в дорогу и ждал вождя»,— сказал я в заключение прошлого чтения. Это ожидание вовсе не было спокойное; это было тревожное, томительное ожидание. Сильное недовольство настоящим положением, раздражение, смута, вот что мы видим в России в то время, когда в ней воспитывался вождь, долженствовавший вести ее на новую дорогу. Прежде в сфере нравственной был могуществен авторитет церкви, сильной своим единством; но теперь в церкви раскол; являются люди, которые смущают большинство; с жаром, убеждением, начитанностию выставляя перед собою авторитет подвига, страдания, толкуют они, что православие падает, что патриарх, архиереи и все остающееся при них духовенство отступили от истины. Нам теперь без углубления в подробности тогдашнего состояния общества трудно себе представить, какое нравственное колебание, смуту производил раскол во второй половине XVII века. Страшное впечатление производится, когда слышатся выходки против имен, с которыми привыкли соединять нравственное освящение, нравственную неприкосновенность. «Патриарх, архиереи — еретики, изменники православию!» И это говорили люди, облеченные также нравственным авторитетом, начитанностию, т. е. в глазах толпы знанием св[ященного] писания, готовностию страдать и умирать за истину. «Нам не дают высказывать истины, обличать неправду,— кричали

они,— вместо того, чтоб по заповеди Христовой обращаться с нами кротко, убеждать тихостию, они нас пытают и жгут».

Вот знаменитый разговор раскольника с патриархом. Раскольник: «Правду говоришь, святейший владыка, что вы на себе Христов образ носите; но Христос сказал: «Научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем», а не срубами, не огнем и мечом грозил; велено повиноваться наставникам, но не велено слушать и ангела, если не то возвещает. Что за ересь и хула двумя перстами креститься? За что тут жечь и пытать!» Патриарх отвечал: «Мы за крест и молитву не жжем и не пытаем, жжем за то, что нас еретиками называют и не повинуются св[ятой] церкви, а креститесь как хотите». Как обыкновенно бывает при подобных отношениях, люди, требующие свободы и безопасности, требуют их только для одних себя, а не для стороны противной в одинакой степени, и раскольники не ограничивались одною свободою двуперстного сложения, они требовали также свободы и безопасности в открытом нападении на церковь, свободы и безопасности в своей проповеди против нее, в выставлении ее еретическою.

Но в толпе не умели уяснить себе эти отношения, и раскольники в глазах многих имели большую выгоду, выгоду гонимых. Некоторые шли за ними, другие, оставаясь при церкви, не могли для себя вполне уяснить ее правоты, а потому, естественно, охлаждались к ней, ослабевал и авторитет церкви, нравственная смута чрез это усиливалась; у ревнителей старины, стоявших, по-видимому, за неизменность, твердость всего преданного, даже каждой буквы, твердости и неизменности не оказалось с самого же начала, с самого начала страшная рознь между толками, и люди в отчаянии от этих разноречий, от этой смуты разбрелись по всевозможным дорогам, ища веры, и до сих пор ищут.

На помощь церкви была призвана наука, устроили в Москве школу, академию, обязанностию которой было защищать православие; начальник (блюститель) и учителя должны смотреть, чтоб ни у кого не было запрещенных книг; если кто-нибудь будет обвинен в хуле на православную веру, то отдается на суд блюстителю и учителям, и если они признают обвинение справедливым, то преступник подвергается сожжению. Таким образом, академия уполномочивалась следить за движениями врагов православия и бить всполох при первой опасности; это была цитадель, которую хотели устроить для православной церкви при необходимости столкновения ее с иноверным Западом; это не училище только, это страшный трибунал: произнесут блюститель и учителя слово: «Виновен в неправославии»,— и костер запылает для преступника. Понятно, что для произнесения суда над уклоняющимся от православия судьи сами прежде всего должны быть согласны между собою; но с самого начала православные ученые, призванные в Москву для защиты православия научными средствами, разногласят друг с другом. Симеон Полоцкий разногласит с Епифанием Славинецким, потом великороссиянин Сильвестр Медве-

дев, ученик Полоцкого, ведет ожесточенные споры с учителями академии греками Лихудами, двор на стороне Медведева, патриарх на стороне Лихудов[22]; понятно, что русские люди делятся, двоятся между двумя враждебными лагерями, всюду споры, шатость, смута. Верховный пастырь церкви находился при этом в очень незавидном положении; раскольники обзывали его еретиком; при дворе, в обществах, находящихся под влиянием Полоцких, Медведевых, смеялись над ним, как над неучем. И действительно, недостаток научного образования препятствовал ясности взгляда его на то, что делалось вокруг, к чему шло дело, им овладевал безотчетный страх пред новым, причем существенное смешивалось с несущественным и перемена чего-нибудь внешнего, какого-нибудь обычая, покроя платья, бритье бороды становилось наравне с учениями, противными православию. Народ, собравшийся слушать проповедь верховного пастыря, слышал такие обличения: «Люди неученые, в церкви святой наших благопреданных чинодейств незнающие и других о том неспрашивающие, мнятся быть мудрыми, но от пипок табацких и злоглагольств люторских, кальвинских и прочих еретиков объюродели. Совротясь от стезей отцов своих, говорят: «Для чего это в церкви так делается, нет никакой в этом пользы, человек это выдумал, и без этого можно жить».

Указания на чуждые учения, на чуждые западные влияния ясны и верны; русские люди, по выражению патриарха, объюродели от люторских и кальвинских учений, но прежде этих учений поставлена еще какая причина объюродения? Пипки табацкие! Курение табаку сделано равносильным по своему вреду для православия протестантским внушениям! Резко вооружаясь против всего нового на словах, патриарх не имел твердости сопротивляться на деле, таким поведением возбуждал раздражение и насмешки со стороны людей, стремившихся к новому; но, разумеется, не щадили его и приверженцы старины, которую он, в их глазах, не отстаивал как должно. Юродивый говорил о нем: «Какой он патриарх! Живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантию да клобука белого, затем и не обличает». Таким образом, с двух сторон направлялись обвинения и укоризны на представителей власти церковной, и толпа начинала уже смотреть на них, как на низверженных с высоты, подвергнувшихся суду и осуждению; толпа являлась хладнокровною и хуже, чем хладнокровною, зрительницею падения власти.

Церковная власть падала, и никто не подавал ей руку помощи, ибо смуте нравственной, происходившей от ослабления церковного авторитета, соответствовала смута политическая, происходившая от ослабления власти гражданской. Основные условия жизни России, на значение которых уже было указано, изначальная громадность государственной области и редко разбросанное народонаселение, замедляя развитие общества, цивилизацию, т. е. разделение труда и соединение сил, тем самым требовали чрезвычайной

деятельности правительственной в соединении и направлении разбросанных сил для общих государственных целей; постоянная опасность от врагов требовала, естественно, постоянной диктатуры, и, таким образом, в России выработалось крепкое самодержавие. В конце XVII века, точно так же, как и в начале его, эта власть ослабела, и по этому поводу произошли сильные волнения, к которым наши предки отнеслись одинаково, назвавши их одним именем — смуты; как династические перемены служили поводом к смуте в начале XVII века, так династические же беспорядки повели и к смуте в конце века[23]. Смута началась по поводу преждевременной смерти царя Алексея Михайловича, которому наследовал больной сын его Федор, скоро умерший беспотомственно. После него провозгласили царем малолетнего брата его Петра, за которого должна была управлять его мать, царица Наталья. Малолетство государей обыкновенно ведет к смутам, а тут были еще другие сильные поводы к ним. В семье царя Алексея страшный раздор вследствие того, что дети не от одной матери. Царица Наталья, мать Петра, мачеха старшим его братьям и сестрам, для которых она и ее дети были неприятным, тяжелым явлением в последние годы царя Алексея. По смерти его, когда вступил на престол Федор Алексеевич, сын от первого брака, мачеху с ее детьми удалили, оскорбили ее ссылкою ее родных и людей самых близких. Обида прошла по семье и добра не будет. По смерти Федора Алексеевича наступило время царицы Натальи: сын ее Петр провозглашен царем мимо старшего брата Иоанна, совершенно неспособного и больного; этот Иоанн — последний сын царя Алексея от первого его брака, но у него много сестер, девиц-царевен, из которых одна была знаменитая Софья Алексеевна, представляющая любопытное явление, знамение времени.

Неслыханное было прежде дело, невозможное, чтоб девица, царевна, вышла из терема и приняла участие в делах правительственных, а теперь Софья именно это делает. Что же была за причина этого явления? Дух времени, можно ответить общепринятым выражением, точнее, сознание необходимости перемены, сознание, прояснявшееся во дворце прежде, чем где-либо; причина этому явлению та же, которая заставляла русского человека пробираться сначала в Киев, потом и дальше за наукою; которая заставляла царя и вельмож вызывать для своих детей учителей из-за границы; причина та же, которая заставила царя Алексея завести при дворе своем театральные представления и потешать ими себя и свое семейство. Царевна вышла из терема; обстановка двора уже не та, у братьев учитель, известный Симеон Полоцкий, который учит и сестру, учит легко и весело, передает много разных вещей, все у него примеры, анекдоты, остроумные изречения и все в стихах для лучшего удержания в памяти; сфера расширяется, птица побывала на свободе, видела мир божий; старый терем становится тесен и душен; умирает отец, царевна около болезненного брата, царя Федора: кто запретит сестре быть у боль-

ного брата, прислуживать ему? У больного бояре рассуждают о делах, царевна слушает и учится, ей легко выучиться, потому что прежде была приготовлена, вот уже она в новой широкой сфере и сфере обольстительной для существа энергического, честолюбивого, а тут и страсть, страсть к человеку самому видному по способностям и образованию, к кн[язю] Вас[илию] Вас[илиевичу] Голицыну[24]. Новая жизнь крепко обхватила царевну Софью. Но брат Федор умирает, и царем провозглашают маленького Петра, т. е. отдают правление матери его Наталье. Что же предстоит царевне Софье? Проститься со всеми обаяниями этой новой раскрывшейся для нее жизни, выйти из этой широкой сферы, где так было расправились ее силы, и возвратиться опять в терем. Терем? Но ограничится ли дело теремом? Не вероятнее ли всего, что ей с сестрами предстоит монастырское заключение, ибо могут ли они ожидать милости от мачехи, которую раздражали, оскорбили? Жизнь улыбнулась так приветливо, и вдруг должно отказаться от нее, в цвете лет стать невольною, опальною монахинею, претерпеть стыд унижения пред ненавистною мачехою.

Искушение было слишком велико; Софья станет действовать по инстинкту самосохранения, станет изо всех сил, всеми возможными средствами отбиваться от судьбы, от терема, монастыря, с отчаянием полного силы и жизни человека, которого влекут зарывать живым в могилу. Она ищет около себя средств спасения и находит: стрельцы недовольны, их можно возбудить против нового правительства, но это можно сделать только обманом, сказавши, что старшего царевича Ивана, законного наследника престола, несправедливо обойденного, обиженного, извели родственники царицы Натальи, Нарышкины; чрез это возбуждение можно заставить стрельцов истребить мнимых убийц царевича, истребить людей, советом, помощию которых была сильна царица Наталья, этим истреблением уничтожить возможность примирения между стрельцами и царем Петром, его матерью и оставшимися в живых ее приверженцами, связать неразрывно интересы стрельцов с интересами Софьи, ее брата и сестер, заставить их действовать в их пользу. Кровавая программа была в точности исполнена: родственники и приверженцы царицы Натальи истреблены, хотя царевич Иван оказался жив и невредим, его провозгласили царем, но свергнуть младшего брата Петра, прежде провозглашенного, которому уже присягнула Россия, не решились; отняли только правление у царицы Натальи и отдали его Софье.

Легко было понять, что смута этим не оканчивалась, это был только кровавый пролог драмы, а не развязка ее. Софья только отдалила решение страшного вопроса; вопрос оставался и волновал всех, не давал никому покоя. Стрельцы, раздраживште своим буйством вельмож и все мирное народонаселение, ежеминутно опасались следствий этого раздражения, видели в боярах непримиримых своих врагов и ждали от них справедливой мести, они боялись мести от целой России, боялись дворянского войска, ко-

торое могло собраться из областей и задавить их ничтожный сравнительно корпус. Стрельцы волновались от страха; каждому, кто находил в том свои выгоды, ничего не стоило пугать их внушением, что бояре уже решили истребить их; стрельцы волновались от страха, но своими волнениями наводили ужас на мирное народонаселение; оно не могло заснуть покойно в ожидании проснуться от набата и стрельбы, от зловещих криков: «Любо!» — которыми стрельцы приветствовали свои жертвы, принимая их на копья. Правительница приняла энергические меры для прекращения стрелецких волнений. Угрозою, что правительство покинет Москву, обратится к России, призовет на свою защиту дворянское войско, этою угрозою она заставила стрельцов отступиться от раскольников, которые, воспользовавшись смутою, пришли в Кремль, в самый дворец, чтобы спорить с патриархом в присутствии правительницы, и один из них решился сказать ей страшные, невыносимые для нее слова: «Пора вам, государыня, в монастырь; только царством мутите». Чтоб избавиться от любимого начальника стрельцов, князя Хованского[25], человека очень беспокойного по своему властолюбию, Софья привела в исполнение свою угрозу, выехала из Москвы, Хованский был схвачен, привезен к правительнице в село Воздвиженское близь Троицкого монастыря и казнен без суда. Стрельцы забушевали, услыхав о казни своего любимого батьки, так их баловавшего, но скоро утихли, потому что бороться с дворянским войском им было нельзя. Софья усмирила стрельцов, самые буйные из них были удалены; но этими государственными мерами правительница уничтожила свои собственные средства, тогда как страшный вопрос о будущем оставался и все более и более приближался к своему решению.

Странная форма двоевластия была принята вследствие стрелецкого насилия; впрочем, она не могла очень беспокоить по неспособности Иоанна к правлению, по его болезненности, следовательно, и недолговечности, по неимению детей мужского пола. Но что успокаивало других, то мучительно тревожило Софью: Иоанн, ее единоутробный брат, недолговечен, а младший Петр, настоящий царь в глазах всех, растет, и когда достигнет совершеннолетия, правительство Софьи уничтожится само собою. Что тогда? Поток крови уже прошел между Софьею и Петром; царское семейство представляло два враждебные лагеря, и ненависть между ними усиливалась день ото дня; примирение было невозможно; с обеих сторон зорко следили за движениями друг друга, приготовляя средства защиты... При первом известии о волнении между приверженными к Софье стрельцами, Петр делает то же, что уже сделала Софья в борьбе с Хованским: он спешит в Троицкий монастырь и призывает на свою защиту дворянское войско, обвиняя приверженцев Софьи в злоумышлении против себя. Софья стала в Москве в безвыходное положение; тщетно обращается она к стрельцам, желая поднять их на свою защиту: стрельцы не трогаются, они чувствуют всю бессмысленность борьбы с царем, рас-

полагающим средствами всей России, они чувствуют всю бессмысленность борьбы против силы материальной и силы нравственной, против права, несомненного в глазах России. Стрельцы выдают Софью, и то, чего она больше всего боялась, совершается: монастырская келья принимает в свои печальные, гробовые стены существо плоти и крови, существо, жаждущее мирской жизни.

Смута кончилась; Софья в монастыре, приверженцы ее на плахе или в ссылке; умирает царь, по имени только Иоанн Алексеевич, остается один Петр. Мы уже несколько раз упоминали о нем, но другие лица загораживали его; теперь около него стало просторно, можно подойти поближе, рассмотреть внимательнее. У нас нет времени заниматься перечислением и разбором разных более или менее достоверных преданий о малолетстве Петра; не для удовлетворения праздного любопытства собрались мы здесь, но для уяснения великого явления в нашем историческом существовании, для уяснения значения великого человека, великой эпохи; обратимся прямо к этому человеку, пусть он сам скажет нам о себе. Вот первое письмо его к матери из Переяславля, когда ему было 17 лет; форма письма обычная в то время с употреблением уменьшительных уничижительных слов, как, по тогдашнему, следовало писать детям к родителям: «Сынишка твой, в работе пребывающий, Петрушка благословения прошу, и о твоем здравии слышать желаю; а у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось, и суды все, кроме большого корабля, в отделке.» И так вот первое слово нам Петра, которого мы зовем Великим, первое им самим себе сделанное определение: «в работе пребывающий». Это первое определение останется навсегда за ним и дружно уместится после определения Великий; прошло много времени, и знаменитый поэт, который прозвучал нам столько родного, который дал нам столько народных откровений, не нашел лучшего определения для Петра: «на троне вечный был работник»[26]. Петр работник, Петр с мозольными руками — вот олицетворение всего русского народа в так называемую эпоху преобразования. Здесь не было только сближения с народами образованными, подражания им, учения у них, здесь не было только школы, книги, здесь была мастерская прежде всего, знание немедленно же прилагалось, надобно было усиленною работою, пребыванием в работе добыть народу хлеб насущный, предметы первой необходимости. Народы в своей истории не делают прыжков: тяжкая работа, на которую был осужден русский народ в продолжение стольких веков, борьба с азиатскими варварами при условиях самых неблагоприятных, борьба за народное существование, народную самостоятельность кончилась, и народ должен был, естественно, перейти к другой тяжелой работе, необходимой для приготовления к другой деятельности, деятельности среди народов с другим характером, для приготовления себе должного, почетного места между ними, для приготовления средств бороться с ними равным оружием. Это-то оружие и надобно было выработать и

выработать как можно скорее, ибо время не терпело. Над чем же прежде всего и больше всего работает царь-работник, представитель своего времени, выразитель его потребности? Он работает над кораблем — это его любимая работа, вода его любимая стихия, он ищет все большего простора на ней, из подмосковного пруда переходит на озеро, с одного меньшего озера на большое, от последнего к морю. Богатырю древней России было тесно в городе, он рвался в широкую степь, но за чем? Для бесплодного гулянья, для того, чтоб гулять на счет тех, которые трудились. Человек, одаренный страшными силами, богатырь новой России, Петр рвется также на широкий простор, но этот простор — море; в степи богатырь мог встретить дикого кочевника и упражнять над ним свою физическую силу, нравственные и умственные силы его не развивались от этой борьбы; новый богатырь может быть безопасен, может успешно бороться с грозною стихиею, морем не иначе, как посредством знания, искусства; на море, на его берегах он встретит людей, противоположных кочевым варварам, людей, богатых знанием, искусством, от которых есть чем позаимствоваться, и когда придется вступить с ними в борьбу, то для нее понадобится не одна физическая сила, понадобится чрезвычайное напряжение умственных сил. В жизни русского народа совершался переход из одного возраста в другой, этот переход, естественно, выражался в повороте от степи к морю, и что ж делает вождь народа, за каким первым делом мы застаем его? Он строит корабль, и когда мы припомним это страстное желание моря, корабля, обнаружившееся в России XVI и XVII века, обнаружившееся в деятельности Иоанна IV и Алексея Михайловича, то мы поймем ясно отношение великого человека к народу, к его потребностям в известное время, и другое значение получит для нас эта страсть к морю Петра, который скучал в тесных гористых пространствах, был спокоен и доволен только на море, и печальная по природе своей, но близкая к морю и богатая водою местность была для него раем.

Но, может быть, скажут, для чего же было царю становиться работником? Дело царя царствовать, а не плотничать; признал Петр необходимость завести флот и завел бы, для чего же самому участвовать в постройке судов? Эти суждения, по-видимому, справедливы, но в сущности, применительно к известному явлению, совершенно неверны, происходят от нашей непривычки высвобождаться от своих, настоящих условий жизни и переноситься в условия того времени, которое хотим изучить, понять и которое никак не поймем, если не отстанем от этой привычки. Мы живем в условиях цивилизации и смотрим все на народы, живущие в этих же условиях, еще больше, чем мы; а сущность цивилизации, как мы знаем, состоит в разделении занятий, господствующем как во всякой другой, так и в правительственной сфере; каждый знает, делает свое одно какое-нибудь дело; при таком порядке естественно и легко главе государства поручить какое-нибудь но-

вое дело известному лицу или собранию лиц, ибо это новое дело по характеру своему непременно относится к известному отдельному ведомству, управляющие которым приготовлены к делу своим воспитанием и опытностию, и как бы дело ни было ново, связь его с известным разрядом дел ясна, и по этой связи человеку приготовленному и опытному легко понять его, овладеть им, приложить его. Но не таково было положение России в конце XVII и начале XVIII века: разделение занятий в правительственной сфере по известным ведомствам быть не могло по самой простой причине, что нечего было делить. Явилось сознание необходимости для государства, для народа выйти на новую дорогу для продолжения исторической жизни, сознание нудящих потребностей, которым необходимо было удовлетворить как можно скорее; но где средства для этого удовлетворения, где знание, уменье приняться за дело? Средство есть, по-видимому, очень легкое: призвать искусного иностранца и поручить ему дело. Средство, по-видимому, очень легкое, но в сущности чрезвычайно тяжелое, могущее обойтись для народа очень дорого, не в отношении только материальном, не в отношении только денег; деньги — дело нажитое, но при неразумном, страдальном употреблении означенной меры можно потерять такое нравственное добро, которого после не наживешь.

Мы говорили, что русский народ совершил свой переход из одного возраста в другой по общим законам развития, уясняемым посредством сравнения жизни одного народа с жизнию других; мы видели, что западноевропейские народы совершили свой переход по тем же законам, но видели при этом и различие между ними и нами. Важное и с выгодою на их стороне различие заключалось в том, что они получили сильное побуждение к умственному движению, а следовательно, и к переходу из своей древней истории в новую посредством знакомства с памятниками античной, греко-римской мысли; они стали учиться по чужим книгам, по книгам, оставшимся от народов, уже сошедших с исторической сцены, народов мертвых; они пошли в науку к древним и не избежали при этом увлечения, подражали до рабства, заучивались чужому до самозабвения, но все же имели важную выгоду в том, что учились не у живых учителей, не подвергались влиянию живых потребностей, влиянию, понятно, более сильному и более опасному, ибо хотя несколько ученых греков, бежавших из разрушавшейся Византийской империи, и помогли в качестве учителей западноевропейским народам при изучении памятников греко-римской мысли, но число этих учителей было ничтожно, приток их не мог возобновляться, и положение их было таково, что не могло быть опасно ни для какой народности. Другая важная выгода для западноевропейских народов заключалась здесь в том, что они имели дело с законченною умственною деятельностию народов уже мертвых, учение, школа, следовательно, должна была сама собою рано или поздно кончиться, содержание ее исчерпывалось

для ученика и более не подбавлялось, следовательно, ученик, получивши от школы побуждение и средства к умственному развитию, мог легко приступить к самостоятельной деятельности, пойти дальше учителей. Но этих выгод не было для русского народа, начавшего гораздо позднее свой переход в возраст умственного развития: он должен был обратиться к народам живым, брать от них живых учителей, следовательно, подчиняться влиянию живой чуждой национальности или национальностей; в этом отношении положение русского народа было похоже на положение народа римского, который должен был совершить известный переход под руководством греческой народности, хотя и потерявшей политическую самостоятельность, но еще живой и сильной; отсюда борьба в Риме при этом, образование партий, вопли старой римской партии против этих иностранных учителей греков, которые портят нравы, отнимают у римлян их прежний нравственный национальный строй.

Для русского народа предстояла и другая невыгода: он должен был иметь дело с учителями из чужих живых и сильных народностей, которые не останавливались, но шли быстро в своем развитии, почему юный народ, долженствовавший заимствовать у них плоды цивилизации, осужден был гнаться за ними без отдыха, с страшным напряжением сил. Ему не давалось передышки, досуга передумать о всем том, что он должен был заимствовать, переварить всю эту обильную духовную пищу, которую он воспринимал; внимание его было постоянно поглощено этим разнообразием явлений, которое представлял ему цивилизованный мир Западной Европы, и, естественно, отвлекалось от своего, а это вело к томительному недоумению, с каким русский человек останавливался между явлением, которое он видел у других народов и для него желанным, и отсутствием условий для его произведения на родной почве или неуменьем отыскать эти условия. А тут еще новая невыгода от постоянного присутствия перед глазами русского человека живых сильно развивающихся народов, та же самая невыгода, какая проистекает для отдельного молодого человека, когда его слишком долго оставляют под надзором и руководством наставника: молодой человек привыкает ходить на помочах в ущерб самостоятельности и быстроты своего развития. Таковы-то были чрезвычайно неблагоприятные обстоятельства, которые встретил русский народ при своем движении на запад, при соединении с тамошними цивилизованными народами.

Народы слабые при встрече с цивилизациею, с этим тьмочисленным разнообразием новых явлений и отношений, какие она им представляет, не могут выдержать ее натиска и падают, вымирают. Народ русский обнаружил необыкновенную силу, выдержавши натиск цивилизации, но можно ли сказать, чтоб это было для него легко, чтоб он не подвергался при этом страшным опасностям, тяжелым ударам. В первую половину своей истории он долго вел борьбу с Азиею, с ее хищными ордами, выдерживая их

страшные натиски и заслоняя от них Западную Европу, долго боролся он с ними из-за куска черного хлеба. Вышедши победителем из этой борьбы, он смело ринулся на другую сторону, на запад и вызвал чародейные силы его цивилизации, чтоб и с ними померяться. Вызов был принят, и страшен был натиск этих чародейных сил; это уже не был материальный натиск татарских полчищ, это был натиск потяжеле, ибо это был натиск духовных сил, натиск нравственный, умственный. Таковы были опасные стороны нового положения, в какое становился русский народ. Благодаря успехам нашей науки, мы оставили далеко за собою ребяческие мнения, по которым одному человеку приписывалось то, что являлось по общим, непреложным законам народной жизни, мнения, по которым в вину одному человеку ставились неблагоприятные обстоятельства, бывшие необходимым следствием известных исконных условий развития какого-нибудь народа. Но мы должны признать и значение вождей народных, великих людей: от их искусства зависит уменьшить затруднения, ослабить вредные влияния опасных сторон известного положения, провести народный корабль во время бури без больших потерь. Исполнил ли эту задачу и как исполнил ее, как провел во время бури переворота русский корабль «тот шкипер славный», которого мы уже встретили в работе пребывающим, строющим корабли? Вот вопрос, посильное решение которого есть наша задача.

Чтение пятое

В прошедшей беседе нашей речь шла об опасных сторонах положения, в какое необходимо становился русский народ в эпоху преобразования вследствие связи своей с живыми и сильными народностями, от которых должен был заимствовать плоды цивилизации, у которых должен был учиться, влиянию которых, следовательно, должен был подвергнуться, как ученик подвергается влиянию учителей. Здесь первое, главное средство для уменьшения опасности положения состояло в том, чтоб не позволить народу-ученику продолжительного страдательного отношения к народам-учителям. Речь идет об ученике, учителях, следовательно, сравнение, объяснение из школьной, воспитательной сферы напрашивается само собою. Представим себе такого учителя, который постоянно сообщает своему ученику множество знаний, делает пред ним множество опытов, решает множество задач, но при этом не обращает никакого внимания на ученика; усвоил ли тот преподавание и в какой степени усвоил — ему до этого дела нет. Такое преподавание возможно и правильно как высшее преподавание, когда наставник имеет дело с человеком вполне приготовленным; но такое преподавание никуда не годится, как начальное, имеющее целию приготовить человека, сделать его спо-

собным к принятию высшего преподавания. Здесь преподавание тем полезнее, чем более имеет в виду ученика, чем более наставник старается развивать самостоятельную его деятельность: пусть ученик с самого же начала испытывает свои силы, сам сейчас повторяет преподанное правило, сейчас же прилагает узнанное к делу. Только посредством такого учения человек может развить свои способности, приобресть привычку к самостоятельной деятельности, окрепнуть духовно.

Легко понять, что именно такое учение нужно было и русскому народу в этой начальной школе преобразования, когда при опасном столкновении с народами-учителями нужно было прежде всего озаботиться развитием самостоятельной его деятельности, избежанием, по возможности, страдательного положения, избежанием духовного принижения пред чужим, сохранением свободных отношений к чужому, духовной независимости, сознания своего достоинства. Что же делает народный вождь? Он проходит сам эту практическую, деятельную школу и заставляет других проходить ее. Он носит в себе ясное сознание, что его время есть время школы, школьного учения для народа, время школы, взятой в самых широких размерах; но при этом он сознает лучшее средство пройти школу как можно безопаснее и как можно полезнее, имея в виду развитие самостоятельной деятельности народа. Отсюда вполне уясняется нам значение этой неутомимой работы Петра. Услыхал что-нибудь — непременно хочет посмотреть — так ли? Увидал какую-нибудь вещь — сейчас же хочет дознаться, для чего она употребляется, и сейчас же произвести опыт, посмотреть, как она употребляется; увидал какое-нибудь производство — сейчас же сам принимает в нем участие. Только этою неутомимою работою он может избежать сам крайне опасного страдательного положения в отношении к иностранцам и избавить от него народ свой. Мы уже говорили, что когда понадобится новое, чего русские люди не знали, не умели делать, всего легче было бы призвать знающих, умеющих иностранцев и поручить им введение всего нового; но тогда именно народ нашелся бы в страдательном положении, полной зависимости, духовном принижении. Без иностранцев обойтись было нельзя; но чтоб сохранить к ним свободное, независимое, мало того, властелинское, хозяйское отношение, надобно было приобрести способность надзора, поверки, а такую способность Петр и, по его примеру и побуждению, его сотрудники могли приобрести только этою неутомимою работою, этим немедленным практическим приложением всего узнанного. Чтоб сохранить свободное и хозяйское отношение к иностранцам, нельзя было допустить их к себе и дать им делать, что хотят и как хотят; нужно было побывать у них самих, в их землях, посмотреть, как там делается; до какой степени совершенства может достигать то или другое дело, и с этим соразмерять свои требования. Но главная забота состояла в том, чтоб дать пройти русскому народу хорошую школу, т. е. деятельную, практическую, приложи-

тельную с самого начала, чтоб не дать ему привыкнуть к страдательному положению относительно иностранных учителей, не дать потерять сознания своего народного достоинства. Школа, как уже сказано, была в самых широких размерах; все отправления государственной и народной жизни входили в нее, всюду русский человек должен был учиться и одновременно прилагать изученное, узнанное к делу. Легко ли это? Сам вождь возвышался над уровнем человеческих способностей, был человек гениальный; но как человек и он должен был ошибаться, особенно в таком трудном деле; что же другие? Петр заранее признает необходимость и пользу ошибок, неудач при учении; дурно, если все удается, особенно сначала, ошибка, неудача учит осторожности, гонит гордость, самомнение.

Два отдела великой народной школы, которую проходили русские люди при Петре, были особенно важны по отношению к иностранцам, иностранным учителям: это война в собственном смысле и борьба мирная между народами, борьба дипломатическими средствами. Здесь Петр подвергался страшному искушению; иностранцы старались внушить ему: нельзя вести войны с неприготовленными, невыученными офицерами и генералами, особенно главными, фельдмаршалами, здесь ошибки, неискусство, неопытность вождей могут иметь неисчислимо гибельные следствия; надобно поэтому для успеха войны пригласить иностранных фельдмаршалов, генералов, офицеров, и русские пусть приготовляются, учатся. Но Петр знал, что война есть лучшая школа для способностей, что нельзя выучиться делу, только смотря, как другие делают, и назначал своих русских генералами и фельдмаршалами: пусть сначала ошибаются, но зато выучатся. То же самое на поприще дипломатическом. Россия вошла в сношение со всеми значительнейшими европейскими дворами: одни из них должна была привлекать в союз с собою, другие, по крайней мере, удерживать от вражды, вводить в свои интересы, при всех дворах нужно было иметь ей постоянных представителей, которые неусыпно блюли за русскими интересами в этом многосложном движении международной европейской жизни. И опять страшное искушение, опять внушают: русские совершенно не приготовлены к дипломатическому поприщу, они не знают ни прошедшего, не настоящего тех держав, где будут уполномочены, вообще имеют смутное понятие об отношениях европейских народов друг к другу, об истории этих отношений. Неминуемое следствие такого незнания, неловкость положения, ошибки, которые будут иметь гибельные следствия для русских интересов; необходимо поэтому назначать на главнейшие дипломатические посты знающих, искусных иностранцев. Но Петр преодолел и это искушение: русские должны выучиться на своей практике; пусть сначала будут ошибаться, ошибки пойдут в пользу понятливым и усердным ученикам, и на всех важнейших дипломатических постах являются русские люди.

То же самое по всем частям управления; у Петра было правило — во главе известного управления ставить русского человека, второе по нем место мог занимать иностранец, вследствие чего при кончине Петра судьбы России оставались в одних русских руках. Соблюдением этого правила Петр в опасный период ученичества отстранял духовное принижение народа своего перед чужими народностями, сохраняя за ним властелинское, хозяйское положение: искусному иностранцу были рады, ему давались большие льготы и почет, он не мог только хозяйничать в стране. Но для того, чтоб преодолеть все приведенные искушения и дойти до правила, неужели достаточно было одних холодных расчетов ума? Нет, Петр был сам истый русский человек, сохранявший крепкую связь со своим народом; его любовь к России не была любовию к какой-то отвлеченной России; он жил со своим народом одною жизнию и вне этой жизни существовать не мог; без этого он не мог так глубоко и горячо верить в свой народ, в его величие, только по этой вере он мог поручить русским людям то, в чем они по холодным соображениям ума не могли иметь успеха по своей неопытности и неприготовленности. И свели они свои счеты — великий народ и великий вождь народный; за горячую любовь, за глубокую веру и непоколебимую веру в свой народ, народ этот заплатил вождю успехом, превосходящим все ожидания, силою и славою небывалыми: те неопытные русские люди, которым Петр поручил начальство над своими неопытными войсками, оказались полководцами, каких не могла дать ему образованная Европа; те неприготовленные русские дипломаты, не знавшие ни прошедшего, ни настоящего держав, куда были посланы представителями России, очень скоро стали в уровень с самыми искусными министрами европейскими.

Таким образом, уясняется для нас историческое значение этого образа, в каком Петр является в первый раз перед нами и в каком видим его в продолжение всей жизни: «в работе пребывающий», царь-работник, царь с мозольными руками. История ставит народ в исключительное, чрезвычайное положение, положение крайне опасное; для избежания этих опасностей требовалось чрезвычайное напряжение сил, чрезвычайный труд: какая же роль великого человека, народного героя и прирожденного вождя, царя? Он первый двигается, первый принимает это чрезвычайное положение, первый принимает на себя чрезвычайный труд, первый проходит эту деятельную школу, которая одна могла развить самостоятельные силы народа, поставить его на ноги, привести в положение, которое бы возбуждало в нем уважение к самому себе и внушало уважение к нему в других народах. Нельзя было говорить другим: «Двигайтесь, работайте, учитесь деятельно, самостоятельно, не отчаивайтесь, когда чего не умеете, начинайте только делать, сами увидите, что сумеете». Нельзя было только говорить это другим и ждать успеха от слова, надобно было показать на примере, на деле, надобно было для начинающего на-

рода употребить наглядный способ обучения, и Петр, становясь работником, учеником, делался через это великим народным учителем. Движение началось благодаря сильной руке; но чтоб оно шло с возможною быстротою, успехом, нужен был глаз, надзор заводчика, хозяина, начавшего громадное производство, а что такое глаз, надзор без собственного знания и опыта надзирающего? Вот почему в этой неутомимой работе, в стремлении все узнать и сделать самому мы видим необходимое приготовление к той царственной деятельности, которая выпадала Петру во время движения его народа на новую дорогу. Народ должен поднять страшную тяжесть, сознает, что должен, обойтись без этого нельзя; но, естественно, колеблется, останавливается в недоумении, как приняться за дело, достанет ли сил? Что же делает великий человек, вождь народный? Он первый подставляет свои могучие плечи под тяжесть, отдает всю свою чрезвычайную силу в общее дело, и дело, благодаря этому вкладу, начинается, идет, народ получает помощь. И вот подле значения великого учителя народного другое значение — великого помощника народного, а образ все тот же — образ царя-работника.

Уяснив для себя этот образ, в котором Петр впервые является перед нами, уяснив для себя это первое определение, которое Петр дал самому себе: «в работе пребывающий», мы будем следить за этою работою, т. е. будем следить за тем, какую помощь оказывал великий царственный работник своему народу в тяжелом деле перехода от его древней истории в новую, перехода, сопряженного с такими тяжестями, каких не испытывал никакой другой народ при подобном переходе. Прежде всего великая помощь была оказана народу тем, что он был выведен из самого печального, растлевающего силы отдельного человека и целого народа положения, когда возбужденный ум отрицательно относится к окружающим явлениям, и в то же время не имеет средств создать новые отношения, новый мир, где бы ему было спокойнее и просторнее: прежние явления существуют, но лишенные для него содержания, значения, и он ходит между ними как между гробами и развалинами. Единственное средство вывести его из такого печального положения — это труд, сильная практическая деятельность, отвлечение его от задавания себе и другим праздных вопросов и привлечение его к решению вопросов на деле. По недостатку точных исторических наблюдений у нас приписывали Петру это отрицательное отношение ко всему существовавшему, разрушительные удары, нанесенные прежним формам государственной и общественной жизни, удары, которые тяжело отозвались и в мире нравственном. Но теперь мы знаем: это отрицательное отношение началось, усилилось прежде Петра, прежде него русский человек уже отрицательно относился ко всему, начиная с бороды, широкого по азиатскому покрою платья до высшей сферы религиозной, где слышались отрицания как со стороны раскольника, который обольщал себя, будто стоял за непри-

косновенность старины, так и со стороны человека, наслушавшегося католических и протестантских внушений. Этот-то период отрицания, сомнения, колебания, период необходимый, ибо им начинается переход в возраст умственного развития, но страшно вредно действующий на силы отдельного человека и целого народа. когда бывает продолжителен, этот-то период и был укорочен Петром, который уничтожил праздношатание мысли, засадив русских людей за работу, за решение практических задач.

Природа Петра давала ему средства исполнить это дело, давала ему средства работать без устали и возбуждать других к работе, природа огненная, природа человека, не умеющего ходить, а только бегать. Природа! А воспитание? Первоначальное воспитание, полученное Петром, было древнерусское: грамотность повела непосредственно и можно сказать исключительно к изучению св[ященного] писания, что и дало на всю жизнь обильное питание его глубокой религиозности. Церковная жизнь не коснулась его только внешним образом, он не признавал ее необходимости только с государственной точки зрения и холодно подчинялся этой необходимости; церковная жизнь обхватывала его своим светом и теплотою как человека и как русского человека, он любил ее народную обстановку, любил русское богослужение, по природе своей, хотел деятельно участвовать в нем сколько это возможно мирянину, сам пел и читал в церкви. Наука и школа переходной эпохи, выписанные из западной России с ее тамошнею обстановкою, мало или вовсе не коснулись Петра. Ему не дали учителя, какой был у его старших братьев, не дали какого-нибудь Симеона Полоцкого, эта наука и школа отнеслись даже враждебно к Петру: верный ученик Полоцкого, хранитель его преданий, Сильвестр Медведев был ревностный приверженец Софьи и потому враг Петра. Таким образом, эта славяно-греко-латинская или, вернее, греко-латино-польская наука осталась в стороне с ее богословскими спорами о времени пресуществления, с ее хлебопоклонною ересью. Петр был предоставлен самому себе. Огненный гениальный ребенок не может все сидеть в комнате без дела или перечитывать одну и ту же книгу; он рвется из печального, скучного, опального дома на улицу, собирает около себя толпу молодежи из придворных служителей, забавляется, играет с ними: как все живые дети любит играть в войну, в солдаты.

Но одними этими играми и забавами не может удовлетвориться и в детстве такой человек, как Петр; требует удовлетворения жажда знания. Он останавливается на каждом новом предмете, превращается весь во внимание, когда говорят о каком-нибудь удивительном инструменте. Говорят ему об астролябии; он непременно хочет иметь инструмент, «которым можно брать дистанции, не доходя до того места». Астролябия привезена; но как ее употреблять. Из русских никто не знает; не знает ли кто из иностранцев? Самый близкий человек из иностранцев, которого прежде других цари древней России считали необходимым вызы-

вать к себе,— это лекарь, дохтур. Не знает ли дохтур, как употреблять астролябию? Дохтур говорит, что сам не знает, но сыщет знающего и приводит голландца Франца Тиммермана. Петр отыскал себе учителя и «гораздо пристал с охотою учиться геометрии и фортификации; и тако сей Франц чрез сей случай стал при дворе быть беспрестанно в компаниях с нами»,— говорит сам Петр. Но один иностранец не ответит на все вопросы, не удовлетворит всем требованиям. В измайловских сараях, где складывались старые вещи, Петр находит иностранный английский бот, ставший для нас так знаменитым. Что это за судно, для чего употребляется? «Ходит на парусах по ветру и против ветра»,— отвечает Тиммерман. Непременно надобно посмотреть, как это, непременно надобно починить бот, спустить на воду. Тиммерман этого сделать не умеет; но он приводит своего земляка голландца Бранта. Бот на Яузе. «Удивительно и зело любо стало». Но река узка; бот перетаскивают в Просяной пруд. «Охота стала от часу быть более», и вследствие этой охоты мы уже встретили Петра на Переяславском озере, в работе пребывающим. Но и в ранней молодости односторонность не была в характере Петра: строение судов и плавание на них не поглощали всего его внимания, он в постоянном движении, работе и на суше, он учится геометрии и фортификации, обучает солдатские полки, сформированные из старых потешных и новых охочих людей, явившихся отовсюду, из знати и простых людей, строит крепость Пресбург на берегу Яузы; даются примерные битвы, где в схватках с неприятельским генералиссимусом Фридрихом (кн[язем] Ромодановским) или польским королем (Бутурлиным) [27] отличается Петр Алексеев, то бомбардир, то ротмистр. Но этот бомбардир был также и шкипером. Переяславское озеро стало ему тесно; он посмотрел Кубенское — то было мелко, он отправляется в Архангельск, устраивает там верфь, закладывает, спускает корабли и пишет с восторгом: «Что давно желали, ныне свершилось».

Так воспитывался Петр, развивал свои силы. Мы видели, как в своем стремлении к знанию он встретился с иностранцами. Не умея приложить к делу известный инструмент и не находя между русскими никого, кто бы помог своим знанием, Петр отыскивает иностранца, который объясняет дело и становится его учителем, вследствие чего находится в его компании, другой иностранец объясняет ему значение бота; естественно, что за решением многих и многих вопросов, которые толпятся в голове Петра, он должен обращаться к иностранцам, требовать их услуг, быть с ними в компании. Иностранцев довольно в Москве, целая компания, Немецкая слобода. Тут жили люди ремесленные и военные. Западная Европа имела своих козаков в этих наемных дружинах, составлявшихся так же, как и наши козацкие дружины, из людей, которым почему-нибудь было тесно, неудобно на родине, и шли они служить тому, кто больше давал, искать отечества там, где было хорошо, и служили они в семи ордах семи королям, как вы-

ражалась старая русская песня о богатырях, этих первообразах и козаков Восточной Европы, и наемных дружинников Западной. Мы видели, что в Западной Европе государи обратились к наемным войскам, когда разбогатели, стали получать хорошие доходы, хорошие деньги от поднявшегося города, от промышленного и торгового движения. Кроме того, наемные войска были желательны и потому, что отличались своим искусством: война была их исключительным занятием. И у нас в XVII веке являются эти западноевропейские наемники, но и вовсе не потому, чтоб наши цари нуждались в войске и, разбогатев, получили возможность нанимать его. Бедное государство должно было тратить последнюю копейку на этих наемников, чтоб иметь обученное по-европейски войско, чтоб не терпеть слишком тяжких поражений вследствие неискусства своего помещичьего войска. В конце XVI и начале XVII века мы видим иностранных наемников в царском войске, выходцев из разных стран, немцев, французов, шотландцев. У себя, в Западной Европе, эти наемные дружинники, хотя представляли известные особенности, однако не могли поражать резким отличием по общности нравов и обычаев; но понятно, как выделялись они у нас в XVII веке. Между ними, разумеется, нельзя было сыскать людей ученых; но это были люди бывалые, много странствовавшие, видавшие много разных стран и народов, много испытавшие, а известно, как эта бывалость развивает, какую привлекательность дает беседа такого бывалого человека, особенно в обществе, где книги нет, и живой человек должен заменять ее.

Легко понять, что Петр, обратившись раз к иностранцам за решением различных вопросов, при своей пытливости, страсти узнавать новое, знакомиться с новыми явлениями и людьми, должен был необходимо перешагнуть порог Немецкой слободы, этого любопытного, привлекательного мира, наполненного людьми, от которых можно было услыхать так много нового о том, что делается в стране чудес, в Западной Европе. Петр в Немецкой слободе, Петр, представитель России, движущейся в Европу, входит в этот чужой мир, входит еще очень молодым, безоружным, молодой богатырь схватывается с этою силою, собственные силы его еще не окрепли, и он, естественно, подчиняется ее влиянию, ее давлению; это влияние обнаруживается в том, что самым близким, любимым человеком становится для него иностранец Лефорт [28]. Лефорт был блестящий представитель людей, населявших Немецкую слободу. Как все они, Лефорт не имел прочного образования, не мог быть учителем Петра ни в какой науке, не был мастером никакого дела; но это был человек бывалый и притом необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный, душа общества. Петр подружился с ним, подружился дружбою молодого человека, дружбою страстною, увлекающеюся, преувеличивающею достоинства любимого человека. Влияние Лефорта на молодого Петра сильное, потому что мы подчиняемся самому сильному влиянию не того человека, которого мы только уважаем,

но того, кого мы любим. Петру было весело, занятно в Немецкой слободе, среди людей, которых речи были для него полны содержания, чего он не находил в речах окружавших его русских людей, и всего приятнее и занятнее было с Лефортом.

Что же делал Петр в этот период влияния Немецкой слободы, лефортовского влияния? Развитие шло быстро; от работы, которая имела вид потехи, Петр переходил к настоящему делу; и Белое море становилось тесно, плавание по нем бесцельно, имело также вид потехи, а потехи уже наскучивали, не удовлетворяли, от них оставалась пустота в душе, от них саднило на сердце. Человек мужал, и являлась потребность сделать что-нибудь важное, полезное. Что же сделать? Сначала, как обыкновенно, прельщают мечты, молодой человек еще рвется на предприятия далекие, имеющие связь с любимым занятием; зачем без цели строить корабли в Архангельске, заказывать их иностранцам? Нельзя ли чрез Северный океан отыскать проход к Китаю, Индии? Потом мечта уступает мысли серьезной, осуществимой; на юго-востоке Россия прикасается также к морю, имеющему выгодное положение, чрез него можно ближе, удобнее завести торговые сношения с богатыми странами Азии; на него давно уже иностранцы указывали московскому правительству, требуя свободного проезда к нему для торговли: это Каспийское море. Надобно строить корабли для него, надобно ехать в Астрахань, завести сношения с Персиею. И так движение на Восток, к Азии; но естественно ли такое движение в тот период жизни народа, когда он именно стремился уйти с востока на запад, когда все внимание его было обращено на Европу? Естественно ли было ожидать, чтоб Петр начал с Каспийского моря? И вот поездка в Казань и Астрахань, несмотря на видимую пользу, практичность, приложимость, откладывается как дело тяжелое, неприятное. Все внимание и желание обращено на запад, там заветное море, туда надобно пробраться; но как? Заперто, и ключ у шведов. Мысль кружится около России, постоянно останавливается у Балтийского моря, постоянно должна отступать, отталкиваться от него, и все же опять неодолимо влечется к нему. Молодой орел бьется в клетке. Но молодой орел растет, мужает; уставши от кружения мысли около России, молодой человек мало-помалу войдет внутрь ее, станет на действительную почву, начнет заниматься настоящим, текущим делом. Северный океан, Китай, Индия, Каспийское море, Персия, Балтийское море, в которое труднее пробраться, чем в Восточный океан, все это мечты, сказочные подвиги богатыря, ищущего приключений, отправляющегося на поиск заколдованного терема, спящей царевны и т. п.; человек пробуждается, грезы исчезают; является жизнь, наяву, настоящая, действительная, а настоящее, действительное — это Россия с ее внутреннею и внешнею жизнию, вот чем надобно заняться.

Что же здесь на первом плане? Война в Турциею, война, начавшаяся в правление Софьи и ведшаяся при ней неудачно; надобно

загладить эти неудачи, кончить войну с честию, славою, здесь самый удобный случай выступить на сцену достойно перед Россиею и Европою; а война идет европейская, первая европейская война для России в союзе с европейскими государствами. В царствование Алексея Михайловича продолжительная тяжкая война России с Польшею за Малороссию кончилась крайним истощением обоих государств с тем различием, что Россия имела средства поправиться, а Польша их не имела. По окончании этой войны польский вопрос получает новый вид. Оказалось, что России нечего бояться Польши; Польша не будет более помехою движению России в Европу; напротив, Польша должна затянуть Россию в европейские дела, в общую европейскую жизнь, если бы даже Россия этого и не хотела: Польша по своему бессилию, по своему страдательному положению становилась ареною, на которой должны были бороться чужие народы, бороться с оружием в руках и дипломатическими средствами; Россия не могла оставаться праздною зрительницею этой борьбы, волею-неволею она должна принять в ней участие, не дать усилиться здесь враждебному влиянию, не дать чужим захватить своего, русского, а известно, сколько было русского добра у Речи Посполитой польской. Где труп, там собирутся орлы, и хищники вились над Польшею. Козак Дорошенко, гетман польской Украины, кликнул турецкого султана на добычу[29], поддавшись ему, турки явились на зов и разгромили Польшу, объявляя притязание на всю Украину, которую именем козачества отдавал им Дорошенко. Таким образом, Россия втягивалась в первый раз непосредственно в войну с Турциею и, естественно, должна была помогать Польше. Турки в последний раз перед упадком своим явились грозны для соседей; Австрии, Венеции предстояла страшная опасность; Вена подверглась осаде. Такое положение, естественно, вело к союзу этих соседей против общего врага, врага всему христианству. Россия и Польша заключили вечный мир; Ян Собесский со слезами подписал знаменитый Московский договор, по которому Киев навсегда оставался за Россиею[30]; но за эти слезы Россия должна была заплатить деятельною помощию против турок.

Впервые Россия вступала в общее действие с европейскими державами, с Польшею, Австриею, Венециею, явилась членом этого союза, который назывался священным. В Москве решено было действовать против Крыма, чтоб удержать татар от подания помощи туркам. Два степных похода на Крым, соединенные страшными тягостями для войска, были неудачны, что наложило пятно на правление Софии, на ее любимца, кн[язя] В. В. Голицына, предпринимавшего эти походы. Крупных военных действий не было до тех пор, пока в развитии Петра не произошел поворот от юношеской мечты, от неясных стремлений, неопределенных порывов к действительности, от юношеской потешной деятельности к труду государя. Надобно было продолжать энергически и кончить с честию и пользою турецкую войну, тем более, что восточ-

ный вопрос представлялся уже с тем великим политическим и нравственным значением, какое он имеет в жизни русского народа. Иерусалимский патриарх писал, что французы, пользуясь враждою между Россиею и Портою, отнимают святые места у православных. «Нам лучше жить с турками, чем с французами,— писал патриарх,— но вам не полезно, если турки останутся жить на севере от Дуная, или в Подоле, или на Украине, или если Иерусалим оставите в их руках: худой это будет мир, потому что ни одному государству турки так не враждебны, как вам. Если не будет освобождена Украйна и Иерусалим, если турки не будут изгнаны из Подолии, не заключайте мира с ними, но стойте крепко. Если будут отдавать вам весь Иерусалим, а Украйны и Подолии не уступят — не заключайте мира. Помогите полякам и другим пока здешние погибнут. Вперед такого времени не сыщете как теперь. Вы упросили у бога, чтоб у турок была война с немцами; теперь благоприятное время, а вы не радеете? В досаду вам турки отдали Иерусалим французам и вас ни во что ставят. Много раз вы хвалились, что хотите сделать и то, и другое, и все оканчивалось одними словами, а дела не явилось никакого». Не Петру было слушать, что дело не явилось. Дело явилось в 1695 году.

Но *шкипер* не пойдет в степной поход; он отплывает к сильной турецкой крепости Азову, загораживающей дорогу к морю. Шкипер подплыл под Азов, преодолев большие препятствия, задержки: «Больше всех задержка была от глупых кормщиков и работников, которые именем слывут мастера, а дело от них, что земля от неба»,— писал Петр. «Но,— продолжал он,— по молитвам св[ятых] апостолов, яко на камени утвердясь, несомненно веруем, яко сыны адские не одолеют нас». При осаде шкипер превратился в бомбардира, сам чинил гранаты и бомбы, сам стрелял и записал: «Зачал служить с первого азовского похода бомбардиром». Но дело не сделалось, Азов не был взят; Петр возвратился в Москву, и начинается страшная деятельность. Царь вызывает из-за границы новых мастеров, из Архангельска — иностранных корабельных плотников, хочет строить суда, которые должны плыть к Азову и запереть его от турецких судов, дававших помощь осажденным. Это было в ноябре 1695; корабли должны быть готовы к весне будущего 1696 года. Возможно ли это? В Москве строят галеры по образцу привезенной из Голландии; в лесных местах, ближайших к Дону, 26 000 работников рубят струги, лодки, плоты.

В начале 1696 года Петр с больною ногою едет в Воронеж. Опять препятствия, задержки: иностранные лекаря пьют и в хмелю колят друг друга шпагами, подводчики бегут с дороги, бросая перевозимые вещи; леса горят именно там, где рубят струги; в Воронеже капитан кричит, что в кузнице уголья нет; мороз не во время снова леденит реки и останавливает работы; но Петр не отчаивается: «Мы,— пишет он,— по приказу божию к прадеду нашему Адаму, в поте лица своего едим хлеб свой». Этот хлеб ел он в маленьком домике, состоявшем из двух комнат. И вот летом

в Москве получают от него письмо: «Господь бог двалетние труды и крови наши милостию своею наградил: азовцы, видя конечную свою беду, сдались». Неудача, сламывающая слабого, возбуждает силы сильного; неудача первого азовского похода выказала те громадные силы, которыми обладал Петр; здесь последовало явление великого человека. С этих пор мы будем иметь дело с Петром *Великим.*

Чтение шестое

После неудачи не отчаиваться, но усилить труд для того, чтоб, как можно скорее поправиться; после удачи не отдыхать, не складывать рук, но также усиливать труд, чтоб воспользоваться плодами удачи, — вот примета великого человека. По возвращении из второго азовского похода у царя идут совещания с боярами: «Нельзя довольствоваться тем, — говорит Петр, — что Азов взят; после осады он в самом печальном положении, надобно его укрепить, устроить, снабдить жителями и гарнизоном; но и этого мало; сколько бы мы войска не ввели в Азов, турок и татар не удержим, тем более, что конницы там много иметь нельзя. Надобно воевать морем; для этого нужен флот или караван морской в 40 и более судов. Прошу порадеть от всего сердца для защиты единоверных и для своей бессмертной памяти. Время благоприятное, фортуна сквозь нас бежит, никогда она к нам так близко на юге не бывала: блажен, кто схватил ее за волосы».

Решено поднять общими силами великую, небывалую тягость строения флота. Землевладельцы, патриарх, архиереи и монастыри, бояре и все служилые люди с известного числа крестьянских дворов ставят по кораблю; торговые люди должны поставить 12 кораблей. Общее дело: надобно соединяться, складываться и потому составляется несколько компаний (кумпанств). Кроме русских плотников каждое кумпанство обязано было содержать на свой счет мастеров и плотников иностранных, переводчиков, кузнецов, резчика, столяра, живописца, лекаря с аптекою. Чем больше нового необходимого дела, тем больше нужды в иностранцах, которых надобно вызывать толпами. Долго ли же так будет? Долго ли оставаться в такой зависимости от иностранцев? Необходимо, чтобы русские скорее выучились, скорее и, как можно лучше, выучились: для этого надобны большие средства, а главное, лучшие учителя.

Но Западная Европа вдруг не перенесет к нам своих средств, накопленных веками, и не пришлет к нам лучших своих учителей. Надобно, следовательно, послать русских людей учиться за границу, и 50 человек молодых придворных отправились в Венецию, Англию и Голландию. Но как они там будут учиться, у кого? Как потом узнать, хорошо ли они выучились, всем ли воспользовались и к чему способны? Надобно, чтоб кто-нибудь из русских

прежде их там выучился, все узнал, и кто же будет этот русский первый ученик? Разумеется, начальный человек в великой работе, на которую шел народ, известный шкипер, бомбардир и капитан.

В 1697 году по Европе проходят странные вести: при разных дворах является русское посольство, в челе его два великих полномочных посла, один иностранец, женевец Лефорт, другой русский Головин [31]; в свите посольства удивительный молодой человек, называется Петр Михайлов; он отделяется от посольства, останавливается в разных местах, учится, работает, особенно занимается морским делом, но ничто не ускользает от его внимания, жажда знания, понятливость, способности необыкновенные, — и этот необыкновенный человек сам царь русский. Явление, никогда не бывалое в истории, возбуждает сильное любопытство, и вот две женщины, которые могли справедливо считаться представительницами западноевропейского цивилизованного общества по своим способностям и образованию, спешат посмотреть на диковину, на дикаря, который хочет быть образованным и образовать свой народ; эти женщины были ганноверская курфюрстина София и дочь ее, курфюрстина бранденбургская София-Шарлотта.

Какое же впечатление произвел на них Петр? Вот их отзыв: «Я представляла себе его гримасы хуже, чем они на самом деле, и удержаться от некоторых из них не в его власти. Видно также, что его не выучили есть опрятно; но мне понравилась его естественность и непринужденность», — говорит одна; другая распространяется более: «Царь высок ростом; у него прекрасные черты лица и благородная осанка; он обладает большою живостию ума, ответы его быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтоб в нем было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если б он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум».

Странный, а может быть, и оскорбительный отзыв? Государь очень хороший и вместе очень дурной! Действительно, мы к такому резкому сопоставлению противоположных сторон не привыкли. По слабости своей природы человек с большим трудом привыкает к многосторонности взгляда, для него гораздо легче, покойнее и приятнее видеть одну сторону предмета, явления, на одну сторону клонить свои отзывы, бранить так бранить, хвалить так хвалить. Найдут хорошее качество, хороший поступок, хорошее слово у какого-нибудь Нерона и пишут целые сочинения, что напрасно считают Нерона Нероном, он был хороший человек, и найдутся люди, которые восхищаются: «Ах, какая новая мысль: Нерон был хороший человек; честь и слава историку, который открыл такую новость, наука двинулась вперед». Отыщут дурное

качество или дурной поступок у человека, который пользовался славою, противоположною славе Нерона, и начинаются толки, что напрасно величали его благодетельную деятельность, вот какой дурной поступок он сделал тогда-то; а другие восстают с ожесточением на дерзкого, осмелившегося заявить, что в солнце есть пятна; в солнце не может быть пятен, в деятельности такого-то знаменитого деятеля не может быть темных сторон, в ней все хорошо, кто находит, что не все хорошо, тот — человек злонамеренный, и вот этого злонамеренного благонамеренные стараются принести в жертву памяти знаменитого человека; жертва языческая, заклание человека теням умерших! А все от того, что забывается, чему учат в раннем детстве, забывая две первые заповеди, что бог един, одно только существо совершенное, и не должно иметь других богов, не должно творить себе кумиров из существ несовершенных. Памятование этих заповедей есть первая обязанность историка, если он действительно хочет двигать вперед свою науку, хочет представлять живых людей, с светлыми и темными сторонами их умственной и нравственной деятельности, называя знаменитыми тех, у кого результаты деятельности светлых сторон далеко превысили результаты деятельности темных, называя великими тех, которые по свету и теплоте своей деятельности являются солнцами, хотя и не без пятен, которые окупили свои темные стороны великими делами, великими жертвами, которым много оставляется, потому что возлюбили много.

Поэтому мы нисколько не смутимся приговором образованной наблюдательной женщины над нашим Петром. Он ей показался очень хорошим и вместе очень дурным, и мы даже не ограничим этого дурного одним внешним, не скажем, чтобы эта владетельная дама образованной Европы была оскорблена внешнею грубостию, незнанием правил внешнего приличия, неумением есть опрятно; мы признаем, что здесь дело идет не об одном внешнем. Петр был человек одаренный необыкновенными силами: дело воспитания состоит в том, чтоб приучать человека давать правильное употребление своим силам, ставить нравственные границы для них. Воспитание не оканчивается домом, школою; воспитывает главным образом общество; оно воспитывает хорошо, если выработало известные нравственные законы, поставило нравственные границы и зорко смотрит, чтоб личная сила не переступила их; общество воспитывает хорошо, если дает простор всякой силе в ее хорошем направлении и сейчас же ее сдерживает, как скоро она уклонилась от этого направления.

Что обыкновенно делает человек, когда отправляется из дому в общество, где встретит людей, к которым питает уважение: он заботится, чтоб все его внешнее не произвело невыгодного впечатления, он охорашивается, старается вести себя прилично. Благо тому обществу, которое необходимо требует, чтоб каждый член, входя в него, нравственно охорашивался, чтоб каждая сила употреблялась надлежащим образом, чтоб личная сила не престу-

пала известных нравственных границ, поставленных общественным самоуважением, общественным тактом: такое общество дает хорошее воспитание человеку. Но горе тому обществу, где сила не находит себе нравственных границ, где она не считается с другими силами, не чувствует обязанности сторониться перед ними, где перед нею расступается доступная ее давлению, мягкая, слабая толпа, и сила разнуздывается беспрепятственно. Горе тому обществу, которое не может встретить каждую силу строгим допросом: откуда она и куда направлено ее стремление, не может испытать, настоящая ли это сила, или фальшивая, самозванная. Горе тому обществу, которое способно преклониться и служить этой фальшивой, самозванной силе. Горе тому обществу, в которое можно вступить, не охорашиваясь нравственно, с полным неряшеством, без уважения к общественному глазу в делах своих, без уважения к общественному уху в словах своих, без уважения к общественному смыслу в мыслях своих. Горе тому обществу, где порок не ищет темных углов, но горделиво разгуливает при дневном свете по улицам и площадям. Горе тому обществу, которое не умеет поверять ни слов, ни дел, которое безотчетно увлекается как ребенок первым движением, первым громким словом. Такое общество не может дать хорошего воспитания: дети могут ли воспитать мужей?

Мы видели, что Петр не мог получить школьного воспитания, разумея под ним правильное научное образование, умственное и нравственное, под руководством более или менее искусных наставников. Но, может быть, общество могло восполнить этот недостаток, могло дать ему хорошее воспитание? После внимательного рассмотрения состояния старинного русского общества, в котором Петр необходимо должен был воспитываться, мы получим ответ отрицательный. Физической разбросанности, разрозненности народа соответствовала нравственная несплоченность общества и потому невозможность выработать крепкие нравственные границы для сил, которым предоставлялся широкий степной простор; личная сила могла встретить себе сдержку в другой большой личной силе или в собирательной физической силе толпы. Дурной воевода, например, мог делать все, что хотел, нравственных сдержек не было, он мог пасть, если встречался с каким-нибудь другим более сильным лицом, или от восстания, бунта толпы, выведенной из терпения его насилиями. Экономические условия, о которых была речь прежде, не могли вести к благоприятным для нравственных сдержек отношениям, ибо эти условия заставили невооруженную часть народонаселения непосредственно кормить вооруженную. Не выработались известные, сословные группы, крепкие своею внутреннею сплоченностию, сознанием своих общих интересов, своих прав, определенностью своих отношений друг к другу, сознанием, которое могло поднимать нравственно каждого члена такой группы, сильного не личною силою, но своею крепкою связью с сочленами своими при равен-

стве между ними. Все отношения основывались на личной силе: человек безусловно подчинялся более сильному и в то же время безусловно подчинял себе менее сильного, и, таким образом, преобладающим отношением было отношение господина к рабу. Отсутствие образования, науки задерживало развитие духовных сил, не вело к появлению особого рода авторитетов, сильных не физическою силою, не силою своего положения, но средствами исключительно нравственными. Отсутствие образования, науки отнимало возможность самостоятельно относиться к каждому явлению, поверять его, отличать истинные авторитеты от ложных. Отсутствие образования, науки давало то печальное духовное равенство, при котором различию по материальным средствам давалась полная сила. Все это вместе с долговременным отчуждением народа от общения с народами, стоявшими на равной или высшей ступени общественного развития, постоянное обращение с народами, стоявшими на низшей ступени, не могло благоприятно действовать на состояние общества в древней России, давать ему возможность хорошо воспитывать своих членов.

Нравы были грубы, и нам не нужно входить в подробности для доказательства сказанного, стоит указать на одно доказательство ясное и неопровержимое — затворничество женщины. Существо, от которого преимущественно зависит соблюдение чистоты семейной, наряда внутренней жизни, и существо слабое материально, женщина, не могла быть безопасна в обществе, на улице; в обществе мужчин, дома и вне дома глаз ее не был безопасен от оскорбительного для нравственности зрелища, ухо от оскорбительного для нравственности слова, существо слабое физически не было безопасно при отсутствии уважения сильного к слабому вообще. Но при таких условиях естественное и необходимое дело — уйти, спрятаться, запереться, не выглядывать на свет, чтоб не видеть дел темных. При объяснении этого явления не нужно прибегать к мудрствованиям, натяжкам, предполагать какие-то чужие влияния; дело объясняется для каждого ясно: выпустим ли мы женщину или ребенка ночью на улицу, когда знаем, что на улице небезопасно; то же сделаем и днем, когда удостоверимся, что и днем небезопасно; при отсутствии безопасности сильный выходит вооруженный, слабый сидит дома запершись: так естественно произошло затворничество женщины в древнем русском обществе, разумеется, в классах достаточных, где женщина могла не быть работницею, обязанною поневоле выходить из дому.

Понятно, что такое общество не могло дать хорошего воспитания, понятно, что представитель такого общества являлся очень дурным, хотя по природным своим качествам был очень хорошим человеком. Петр обладал необыкновенным нравственным величием: это величие выражалось в том, что он не побоялся сойти с трона и стать в ряды солдат, учеников и работников, когда сознал, что необходимо ввести в свой народ силу, до тех пор мало известную и в почете не находившуюся, силу умственного

развития, искусства и личной заслуги. Необыкновенное нравственное величие Петра выражалось в способности уважать нравственное величие в других и сдерживаться им; как бы он ни был раздражен, он умел всегда преклониться пред подвигом гражданского мужества, пред резким, но правдивым словом подданного, которое противоречило его собственному взгляду. Но в то же время Петр был человек в высшей степени страстный, и там, где он видел явную ошибку, злонамеренность, преступление, там он уже не сдерживался, выходил из себя, становился свиреп, употреблял материальные средства для прекращения зла и верил в их действительность, там он схватывался с человеком, как с личным врагом своим и позволял себе терзать его. Петр умел сдерживаться уважением к хорошему человеку, и от этого проистекали бесчисленные благодетельные последствия; но он не умел сдерживаться уважением к человеку как человеку. Скажут, что это происходило от дурного воспитания, общество не могло хорошо воспитать его, ибо не выработало в себе нравственных сдержек для сильного человека. Историк ответит, что это объяснение, которое вполне принимается, — объяснение, но не оправдание; темная сторона остается, и мы признаем верным отзыв умной принцессы, что Петр был очень хороший и очень дурной человек. Последнее не отнимет у нас права признать вполне первое, признать необыкновенное величие человека и дел его; оно только не позволит нам сотворить себе кумир и воздать человеку поклонение большее, чем достоит человеку.

Когда при этом свидании двух курфюстин с Петром зашел разговор о том, чем молодой царь любит больше всего заниматься, Петр показал свои руки, жесткие от работы. Таким образом, и пред Западною Европою Петр явился в том же образе, в каком явился перед своею Россиею. В голландском местечке Сардаме появился молодой, красивый плотник из России, Петр Михайлов; в свободное от работы время плотник ходит по фабрикам и заводам, все ему нужно видеть, обо всем узнать, как делается, самому принять участие в производстве. Из Сардама плотник перешел на амстердамские верфи; и тут занимался не одним плотничеством; его видели повсюду, в госпиталях, воспитательных домах, на фабриках и в мастерских, на профессорских лекциях, которые иногда читались для него на яхте, во время пути, ибо надобно было дорожить каждою минутою. Ненасытная жадность все видеть и знать приводила в отчаяние голландских провожатых; только и слышалось: «Это я должен видеть», и надобно было вести, несмотря ни на какие затруднения.

Но обилие любопытных предметов, которые представила ему Западная Европа, не подавило его духа; он не забывал, что прежде всего он русский и царь, и потому идет деятельная переписка с людьми, оставленными работать в России, доканчивать то, что было начато до поездки за границу. В России уже были оставлены им усердные работники; молодой царь уже отличался этою

изумительною верностию взгляда при выборе людей, которая помогла ему набрать столько сотрудников, наготовить способных людей не на одно только свое царствование, оставить России драгоценное наследство, которым она жила долго и по смерти преобразователя. Известна эта способность Петра с первого взгляда, посмотрев внимательно в лицо человеку, даже ребенку, угадать в нем полезного деятеля. При этом Петру помогала широта выбора; он не стеснялся ничем, брал способности одинаково сверху и снизу; не стеснялся и возрастом, приготовляя молодое поколение работников по всем частям государственной деятельности, он не обходил и старика, который мог изумить молодых своею неутомимою деятельностию. Так, в это время изумлял его старик Виниус, обруселый иноземец, открывший сибирские минеральные богатства[32]: «Особенно болит сердце, — писал Виниус Петру за границу, — что иноземцы высокою ценою продав шведское железо и побрав деньги, за границу поехали, а наше сибирское железо гораздо лучше шведского». Петр хлопотал, чтоб у Виниуса не болело сердце, хлопотал о наборе иностранных мастеров, которые бы помогли на первый раз разработать русские минеральные богатства. Олонецкие заводы уже начали свою деятельность.

Таким образом, Петр, работая на иностранных верфях, не спускал глаз с России, участвовал и в работе, в ней производившейся. На печатях писем, присылаемых Петром в Россию, читалась надпись: «Аз бо есмъ в чину учимых, и учащих мя требую». К патриарху он писал: «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатию божиею и вашими молитвами при добром состоянии живы, и, последуя божию слову, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли возвратясь, против врагов имени Иисуса Христа победителями, и христиан тамо будущих, свободителями благодатию его, быть, чего до последнего издыхания желать не престану».

В начале 1698 года Петр уже в Англии, работает на дептфортской верфи, оканчивает здесь кораблестроительную науку, делает, как и на твердой земле, большой набор мастеров. Проведя три месяца в Англии, он опять на твердой земле и направляет путь в Вену: здесь надобно хлопотать, чтоб император не заключал отдельного мира с турками, чтоб Россию не оставили одну в войне с ними, причем трудно было бы заключить скорый и выгодный мир. Из Вены Петр собрался в Венецию, в это южное морское государство, но вместо Венеции надобно было возвратиться в Россию — там бунтовали стрельцы.

Стрельцы и Петр — мы привыкли в этих явлениях представлять себе что-то крайне враждебное друг другу. Но при этой враждебности нельзя останавливаться только на личных отношениях стрельцов к Петру. Первые впечатления, впечатления детства бывают самые сильные, ими воспитывается, слагается человек. Нам укажут ребенка, одаренного необыкновенно сильною при-

родою, огненного, страстного, и скажут, что этот ребенок, как только начал понимать, находился среди тяжких, раздражающих впечатлений, как только начал понимать, существа самые близкие, начиная с матери, питают его горькими жалобами на гонения, неправду и таким образом постоянно раздражают его, держат это нежное, распускающееся растение под палящим, иссушающим ветром вражды, ненависти; нам скажут, что этому ребенку наконец прояснили душу, порадовали, объявили, что гонения кончились, он объявлен царем, его мать весела, ее родные, ее благодетель возвращаются из ссылки, и вдруг вслед за этим ужасные, кровавые сцены бунта, мать в отчаянии, ее братья, благодетель[33] истерзаны; опять гонения, опять беспрестанные жалобы: как становится страшно за этого ребенка, воспитывающегося под такими впечатлениями, и чем сильнее его природа, тем страшнее за него. Какой губительный яд принял он и в каком количестве! Говорят, что десятилетний Петр сохранял изумительное спокойствие, твердость во время стрелецкого бунта; тем хуже: лучше бы он кричал, плакал, бросался в отчаянии, ломал себе руки! Он был тверд и спокоен, а откуда это трясение головы, эти конвульсии в лице, эти гримасы, о которых говорила нам недавно немецкая принцесса и от которых не в его власти было удержаться?

Петр вышел из своей тяжелой школы отравленным этою семейною борьбою между мачехою и падчерицами, этою кровью, которою стрельцы так усердно поливали перед ним кремлевскую почву. Что-то выйдет из него? В русской истории был уже пример царственного ребенка, высоко даровитого и страстного, воспитанного подобным же образом: из этого ребенка вышел Иоанн Грозный. Не отыщется ли, к счастию России, какое-нибудь противоядие? Кажется отыскалось: это кипучая практическая деятельность, постоянное пребывание в работе, а труд есть могущественное средство успокоения, просветления души, труд, соответствующий, разумеется, силам, а какой труд мог соответствовать силам Петра: труд преобразования! Древняя Россия дала яд великому человеку в стрелецком бунте, она же представила и противоядие в своей потребности преобразования, в своей готовности к нему. Пусть же молодой человек пребывает в работе, эта работа вылечивает его от яда, принятого в детстве; пусть, не зная покоя, бросается к широкому морю, пусть строит корабль, на котором человек борется с страшною волнующеюся стихиею и владеет ею, пусть молодой царь упражняет свои силы в этом труде, в этой борьбе, столь достойной человека; чем более, чем многообразнее он будет трудиться, чем далее уйдет, чем более предметов завидит и усвоит себе, тем скорее упокоится, скорее просветлеет душою, скорее дастся перевес добрым в ней началам, скорее он забудет о стрелецком бунте, о кремлевской крови.

Но ему не дают забыть: только что собрался за границу, как узнает, что люди, недовольные им и его делом, дожидаются его

отъезда для исполнения своих замыслов, их надежда на стрельцов и козаков, надежда, что одни начнут с одного конца, а другие с другого. Смутники были переказнены; Петра проводили кровавыми проводами. Путешествие, сильная деятельность за границею успокоила его; он собирается окончить путешествие, посмотреть на царицу южного моря, на Венецию; он возвратится домой спокойный, довольный, с богатою добычею... Нет, поехал от крови и возвратится к крови; ему не дают окончить путешествие; его зовут разделываться со стрельцами. Софья не умерла для мира в монастырской келье; она воспользовалась отсутствием брата и опять обратилась к стрельцам, и на этот раз стрельцы откликнулись, потому что были недовольны, сильно раздражены. Они видели ясно, что им предстоит тяжкое преобразование: из стрельцов превратиться в солдат.

Стрелец нес легкую службу: сходит на караул и свободен; у него свой дом в слободе, своя семья, своя лавочка, где он торгует в свободное время. Но теперь постоянная, тяжелая служба. Стрельцы оторваны от привольной московской жизни и двинуты на край света — в Азов; ждут не дождутся, когда отпустят их домой в Москву, а царь велел собирать войска, чтоб поддерживать избрание на польский престол пригодного для России кандидата, курфюрста саксонского Августа [34]. Тоска стрельцов по Москве достигла высшей степени; некоторые бежали из полков в Москву и принесли оттуда товарищам призыв царевны Софьи: «Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали? Про государя ничего не слышно. Быть вам на Москве, стать табором под Девичьим монастырем и бить мне челом, чтоб я шла по-прежнему на державство; а если бы солдаты пускать к Москве не стали, то их побить». Бунт вспыхнул, раздались крики: «Идти к Москве! Немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело; бояр побить; стрельцы от бояр и иноземцев погибают и Москвы не знают; непременно идти к Москве, хотя б умереть, а один предел учинить. И к донским казакам ведомость послать; государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами».

Стрельцы двинулись к Москве; солдаты под начальством боярина Шеина загородили им дорогу и поразили их. Пленных подвергли розыску; винились в бунте; но никто не сказал о призыве из Москвы. Шеин не догадался об этом призыве; но Петр тотчас догадался, как только получил известие о стрелецких волнениях, это было больное место, рана раскрылась. Петр спешил в Москву в тревоге и гневе, и чем он сдержится? Он схватится с стрельцами в рукопашную, с этими врагами, которые истерзали его родных, заставили расти в унижении, пренебрежении, отняли средства учиться вовремя, как следует; с этими врагами, которые объявили, что не пустят его в Россию, убьют за то, что он уверовал в немцев, сложился с ними, которые стали поперек его

делу, позорят это дело в глазах русских людей, клевещут на царя, выставляют его еретиком, немцем, а себя людьми, ставшими за православие, тогда как в сущности у них другие побуждения, столь ненавистные Петру: он зовет свой народ к тяжелому, необходимому труду и сам подает пример такого труда, а тут люди, которые хотят его убить, чтоб избавиться от трудных походов, возвратиться в Москву и жить покойно.

Страсть, гнев, мщение сдерживаются религиозно-нравственными правилами, христианским уважением, любовию к ближнему, страхом божиим для одних, страхом человеческим для других; ум часто становится угодником страсти; он внушает гневному человеку, стремящемуся схватиться с врагом: действуй сильнее, истреби зло с корнем, вырежь, выжги, порази толпу ужасом, который бы отнял всякую способность к сопротивлению; тебе предстоит громадная деятельность для благородной цели, есть люди злонамеренные, которые будут ей противиться: истреби их, не оставляй врага в тылу у себя. И вот страсть, гнев получают новую пищу, получают оправдание. И вот Петр покончивает со стрельцами пыткой, виселицей и плахой [35].

Но кровь не проливается даром, она вопиет. Пролитие крови очищает, как свободная жертва; оно осквернит, как дело насилия. Проходит минута гнева, страсти, и другие чувства поднимаются в душе человека и зовут его на суд, перед которым прежние мудрствования о правде дела являются мудрствованиями лукавыми. Стрелецкое дело дорого стоило Петру. Напрасно старались развлечь его: он был мрачен и скорбен, подвергался страшным припадкам болезненного раздражения; он упал духом, им овладело сомнение, достанет ли у него сил совершить задуманное, то, что мы называем преобразованием. Сомнение, естественно, поддерживалось различием между тем, что он видел в Западной Европе, и тем, что нашел в России. Прежде, до путешествия, это различие не могло представляться ему так ясно, так резко. Но сильная природа брала верх; Петр не мог оставаться долго в тоске и раздумьи. Он поехал в Воронеж.

Успешный ход тамошних работ относительно флота и магазинов развеселил его, но не совсем, что видно из писем его оттуда; так, в одном он пишет, что, несмотря на зело изрядное состояние флота и магазинов, облак сомнения закрывает мысль, не слишком ли замедлится плод, как плод финика, которого не видят насаждающие дерево. В другом письме Петр пишет, что ждет доброго утра, чтоб прогнан был мрак сомнения. Мрак сомнения исчезал, душа прояснялась обращением к работе, к сильной преобразовательной деятельности. Уже не раз было нами говорено, что в основе преобразований должно было находиться преобразование экономическое. Для того чтоб видеть плод от преднамеренных великих дел, необходимых в народной жизни, нужны были большие финансовые средства, которых бедное, земледельческое государство дать не могло.

Чтобы добыть эти средства, нужно было вывести государство из этой односторонности поднятием промышленного и торгового движения, поднятием города, который впоследствии мог поднять и освободить село. Что же могло и должно было правительство сделать для города? Оно должно было обратить большое внимание на беспрестанные, продолжавшиеся века жалобы горожан на притеснения от воевод и приказных людей, на дурное состояние правосудия, одну из главных помех народному благосостоянию; должно было вместо полумер употребить решительные меры для освобождения горожан от кормленщиков, и 30 января 1699 года выходит знаменитый указ об учреждении бурмистрской палаты. От воевод и приказных людей, от проволочки дел и взяточничества торговым и промышленным людям убытки и разоренье: государь велел сказать указ всем промышленным людям, чтоб ведались в своих делах и тяжбах и сборах доходов своими выборными людьми в земских избах. Малые города приписывались к большим и составляли с ними провинцию, причем земские бурмистры больших городов ведали земских бурмистров городов, приписанных во всяких делах и сборах, и в свою очередь находились в ведении московской бурмистрской палаты или ратуши, составленной из бурмистров, выбранных московскими горожанами; один из этих бурмистров был президентом и сменялся ежемесячно. В палату входили все собранные по городам суммы, отсюда выдавались деньги на расходы, но не иначе как по именному царскому указу. Палата входила с докладами прямо к государю.

Историк не может ограничиться одною экономическою или финансовою стороною этого учреждения. Бурмистрскою палатою начинается ряд преобразовательных мер, которые должны были пробуждать собственные силы, приучать граждан к деятельности сообща, к сохранению общих интересов соединенными средствами, отучать от жизни особной, при которой каждый слабейший предавался безоружным в руки каждого сильнейшего. Начинается школа, где человек воспитывается для общественной деятельности, посредством которой общество получает способность воспитывать человека. Тяжкая болезнь древней России происходила от розни сил, необходимым следствием была слабость, бедность результатов народной деятельности. Причина болезни сознается и предлагается лекарство — соединение сил, приучение к деятельности сообща, к деятельности самостоятельной, самоуправительной. Давно уже русские торговые люди признавались, что им с иноземными купцами не стянуть, потому что те торгуют сообща. Теперь Петр предписывает: «Купцам торговать также, как торгуют в других государствах купцы, компаниями; иметь о том всем купцам между собою с общего совета установление, как пристойно бы было к распространению торгов их».

Не на одном военном или дипломатическом поприще русскому человеку открывается практическая школа, необходимая для его

самостоятельного развития. Эту школу встречаем и будем встречать повсюду; повсюду Преобразователь будет требовать деятельности сообща, коллегиальной формы вследствие уразумения, что причина болезни в разрозненности действия, а средство к исцелению — деятельность сообща и деятельность самостоятельная. В характере великого человека мы увидали явные признаки того, что общество не могло дать своему члену хорошего воспитания; мы увидали эту темную сторону великого человека; но великий человек остается великим человеком; его величие оказалось в том, что он понял неспособность общества давать хорошее воспитание и употребил все средства искоренить эту неспособность: поэтому история признает за ним высокий титут народного воспитателя.

Чтение седьмое

В прошедшей беседе нашей мы видели, что Петр еще в конце XVII века приступил к преобразованиям, которые должны были иметь воспитательное значение для общества. Но мы еще не касались того преобразования, которое произошло тотчас по возвращении из-за границы и которое чаще, чем другие преобразования, было предметом толков у современников и потомков: я говорю о знаменитом брадобритии и перемене платья. У потомства толки были частые по самой простой причине: дело близкое, доступное, легкое, не требующее обширного знания истории преобразовательной эпохи. И люди, которые не входили в подробности петровских преобразований, не задавали себе вопроса о их значении или отзывались об них вообще с сочувствием, позволяли себе вопросы: но зачем Петр велел бороды брить, чем они ему мешали? Зачем переменил старое русское платье на иностранное? Историк не может отделаться от этого вопроса, указавши на его незначительность; не может сказать: занимаясь изучением такой громадной, важной деятельности, стоит толковать о бороде и платье? Стоит толковать, как стоит толковать о всех других проявлениях человеческой деятельности, человеческого творчества.

Одеждою человек дополняет свое существо, потребностию одежды отличается от других животных и тем прямо указывает на отношение одежды к высшей, чисто человеческой стороне своей природы, в одежду человек кладет свою мысль, в одежде отражается его внутренний, духовный строй. Говорят, человек, погруженный во внутренний, духовный мир свой, занятый преимущественно его интересами, мало заботится об одежде, но эта малая заботливость также выражается в одежде, которая и тут не теряет своего значения; одежда выразит и не нравственное побуждение человека в пренебрежении ею, как было замечено об одном древнем философе, что чрез прорехи его неряшливой одежды виднеется его тщеславие[36]: таким образом, одежда, назначенная для прикрытия тела, обнажает сокровенное духа. Отсюда понятно, почему вопрос об одежде имел также важное значение при пере-

ходе русских людей из древней своей истории в новую, почему с него началось, можно сказать, это движение.

Мы видим, что движение началось прежде Петра, до него русские люди стали работать новому началу, и перемена внутренняя необходимо должна была выражаться во внешнем, требовалось новое знамя, и этим знаменем прежде всего должно было служить изменение наружности, изменение одежды. Выставлялось новое знамя; одни шли под него; но другие упирались; мы знаем, как при подобных движениях в народах проходит рознь и страшная борьба, и если одни выставляют свое знамя, то другие выставляют свое и с ожесточением его отстаивают, и с таким же ожесточением стремятся сорвать знамя противников; не говорим уже о том, что в обществах, подобных древнему русскому, сильно обнаруживается известное стремление к идолопоклонству, т. е. смешение внутреннего с внешним, существенного с несущественным, образа с изображением, случайное, изменяющееся представляется священным, неприкосновенным, стремление, которое так ясно выразилось в раскольничестве, старообрядстве.

Сто лет прежде описываемого времени, на грани XVI и XVII веков, в царствование Бориса Годунова, когда решен был вопрос о необходимости учиться у иностранцев, т. е. когда в сознании народном дано было иностранцам преимущество как учителям, начинается в Москве бритье бород, и тут же начинаются против этого сильные выходки ревнителей старины. После смутного времени и после отдыха от него при царе Михаиле вопрос о необходимости сближения с Западом поднимается снова, снова решается так же утвердительно, и при царе Алексее Михайловиче усиливается брадобритие и также слышатся сильные выходки против гнусного, эллинского обычая, как выражались ревнители старины. Правительство колеблется, оно стремится к новому и в то же время пугается выходок ревнителей старины против знамени нового и в угоду им не только запрещает брадобритие, но отнимает чины за подрезывание волос. Но это гонение на короткие волосы, разумеется, только раздражало людей, стремившихся к новому, заставляло их относиться к длинной бороде и старому длинному платью так же враждебно, как ревнители старины относились к гнусному, эллинскому образу.

Но ревнители старины не могли остановить роковое движение. В 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ: всем вельможам, дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежнего длинного платья (охабней и однорядок), в котором никто не смел явиться не только во дворец, но и в Кремль. Длинное платье заменяется коротким: здесь весь смысл дела. Те, которые жалуются на смену русского народного платья иностранным, не обращают внимание на то, что здесь произошла перемена старинного платья не на платье какого-нибудь отдельного чужого народа, но на общеевропейское в различие от общеазиатского, к которому принадлежала древнерусская одежда.

В чем же состоит главное различие общеевропейской от общеазиатской одежды: в первой господствует узкость и короткость, во второй — широта и длиннота. Что же это: случайность, или здесь выражение духа народов, духа их деятельности, их истории? Длинная и широкая одежда есть выражение жизни спокойной, по преимуществу домашней, отдохновения, сна; короткая и узкая одежда есть выражение бодрствования, выражение сильной деятельности. Объяснение сказанному представляет явление, беспрестанно совершающееся перед нашими глазами: что делает человек, носящий длинную одежду, когда хочет работать или идти пешком? Он подбирает свою длинную одежду. То же самое сделало европейское человечество в стремлении к той сильной работе, которою оно так отличалось перед азиатским человечеством, получило преобладание над ним: европейское человечество постоянно подбирало свое платье, укорачивало, обрезывало его и дошло до фрака, который называют безобразным. Историк не станет спорить с художником относительно красоты или безобразия; но его обязанность указать на смысл явления. Широкая и длинная одежда должна была остаться в Европе, как выражение особенного величия, спокойствия и торжественности в противоположность будничной, рабочей жизни; она осталась одеждою царя в чрезвычайных случаях; осталась одеждою служителей алтаря; она осталась одеждою женщины, представительницы жизни внутренней, домашней, т. е. чуждой той уличной хлопотливости и беготни, которые выпали на долю мужчины в его преимущественно внешней, общественной жизни. Разделение занятий между мужчиною и женщиною, это основное условие развития общества, разделение занятий, которое, как везде, так и здесь, служит самою крепкою связью между разделяющими занятие и условием успеха в деле, это разделение занятий естественно и необходимо выражается в одежде, и замечено, что у народов, менее развитых, мы видим и меньшее различие в мужской и женской одежде.

В постановлении царя Федора Алексеевича о ношении короткой одежды высказалось стремление изменить азиатский покрой одежды на европейский. Укорочение платья предвещало укорочение бороды. Напрасно люди, ревностные не по разуму, усиливали свои выходки против брадобрития, посредством которого, по их мнению, губили образ, от бога мужу дарованный; тщетно отлучали от церкви не только бреющих бороды, но и тех, которые имели общение с брадобрийцами, тщетно вопили против еретического безобразия, уподобляющего человека котам и псам; тщетно стращали вопросом: если русские обреют бороды, то где станут на страшном суде — с праведниками ли, украшенными брадою, или с обритыми еретиками? Все эти выходки только вредили авторитету церкви, только усиливали раздражение в противной стороне, только увеличивали значение бороды как знамени, и когда приверженцы нового возьмут верх, то, разумеется, они бросятся

на враждебное знамя и сорвут его, выставят свое. И Петр сорвал это знамя, когда возвратился из-за границы в Москву в страшном раздражении против людей, выставлявших это знамя как знамя православия и народности, в страшном раздражении против стрельцов. За тем последовали указы и о ношении европейского платья, указы, не могшие очень поразить новизною после указов царя Федора.

В конце 1699 года была объявлена другая новость: приказано вести летосчисление не от сотворения мира, как делалось до сих пор, а от рождества Христова, и новый год считать не с 1-го сентября, а с 1-го января, ибо говорил указ: «Известно великому государю, что не только во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны, как валахи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые великого государя подданные черкасы (малороссияне) и все греки, от которых вера наша православная принята, — все те народы согласно лета свои числяют от рождества Христова восемь дней спустя». Преобразователь знал, с кем и с чем имеет дело, знал, как трудно сдвинуть народ с вековых привычек даже и в том случае, когда христианскому народу предлагалось вести летосчисление от рождества начальника веры и спасения; нужно было ослабить отталкивающий пример немцев, еретиков, и вот впервые пред русским народом выставляется пример, авторитет народов близких, родных, пример православных славян. На границе двух веков, на границе древней и новой России раздался призыв русским людям к единению с родными народами. Была и другая новость в последний год XVII века: учрежден русский «славный чин» св[ятого] апостола Андрея. Первым кавалером был ближний боярин и воинского морского каравана (флота) генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. Первым генерал-адмиралом был друг юности Петра — Лефорт, который умер в марте 1699 года. С его смертию порвалась эта личная, так сказать, связь Петра с иностранцами, кончился период влияния Немецкой слободы. Заграничное путешествие, это расширение сферы практической деятельности, окончило воспитание Петра; как человек силы, он воспользовался всем, что представил ему богатый цивилизациею Запад, но возвратился более русским, чем выехал из России. Имя Лефорта долго еще будет на языке врагов преобразования, но это будет с их стороны уже злоупотребление, злонамеренность, ибо соблазн дружбы с иностранцем исчез навсегда. При царе на первом плане русский человек, Головин, превосходивший всех русских людей своею бывалостию: он заключил договор с китайцами на границах Сибири, он же вел переговоры в Голландии о союзе против турок. Головин с званием генерал-адмирала соединял заведывание иностранными делами, являлся в глазах иностранцев первым министром.

Царю и первому министру предстоит много дела, много испы-

таний в первый год нового века: оканчивалась одна война и начиналась другая в более широких размерах, более опасная, небывалая для русского народа по своей продолжительности, великая Северная война. Мы привыкли слышать в разные времена заявление правительств различных держав, что они избегают войны, не желая развлекаться во внутренней деятельности, ибо положение страны требует усиления этой деятельности, требует важных преобразований. И такие заявления вполне понятны: два дела вдруг делать трудно. Но положение России в начале XVIII века было чрезвычайное, и человек, ставший в ее челе, соответствовал этому положению, был человек необыкновенный, мог делать вдруг много дела, обладая сам громадными силами, имея горячую веру в силы своего народа. Человек сильный нравственно избегает опасностей, борьбы не нужной; но не боится их, принимает борьбу, когда она необходима для достижения известных целей или когда мимо воли своей, извне получает вызов на борьбу. То же самое верно и относительно целых народов. Народу для выражения своей силы, не нужно быть воинственным, завоевателем; человек-драчун далеко не всегда бывает сильным человеком; народ-драчун, охотник нападать не всегда бывает способен защищаться; но сильный народ, сильное народное правительство никогда не боятся войны, не пугают себя словами: «Где нам, мы не готовы, нас побьют». Бывает в народе готовность к войне внешняя, материальная и бывает внутренняя, нравственная: первая без второй ничего не значит, вторая может восполнить первую, создать ее в короткое время.

В нашей истории выдаются две великие войны, в начале обоих веков нашей европейской жизни, великая Северная война и война 12-го года; к обеим Россия не была готова, средства ее не были в уровень с средствами противников, и, несмотря на то, из обеих войн она вышла победительницею. Борьба сильная, опасная борьба вызывает нравственные силы народа, очищает, поднимает его, отвлекает от мелочных забот ежедневной жизни, борьба ведет его к алтарю, делает жрецом, потому что заставляет приносить жертвы; никогда в народе не живется так тепло, так дружно, так сплоченно, как во время борьбы, никогда правительство и народ не соприкасаются так близко в общей деятельности; никогда знамя народности не развивается так высоко; борьба, как гроза, очищает нравственную атмосферу народа, бодрит, выпрямляет его нравственно; борьба есть праздник народный, ибо освобождает его от будничного, низкого настроения духа, и горе народу, который не способен пробудиться и встать на праздничный благовест, народу, который ропщет: «Зачем так рано звонят, не дадут покоя, не дадут отдохнуть, приготовиться». А если спросить, от чего он так устал? Но лучше не спрашивать.

Сильный человек, представитель сильного народа, Петр ясно понимал значение борьбы и не боялся ее, не сдерживался страхом пред материальною, видимою неприготовленностию. Петр был

представитель сильного народа, но не народа-драчуна, не воинственного, не завоевательного народа, ибо кто же из нас не знает, что в нас, в нашем народе меньше всего драчливости, воинственного задора. Иностранцы по незнанию нашей истории позволили себе увлечься внешним взглядом и никак до сих пор не могут освободиться от мысли о завоевательных стремлениях России, о стремлениях к всемирному владычеству. Здесь география ввела их в заблуждение на счет истории. Действительно, первый взгляд на карту поражает: Россия представляет такую небывалую обширность государственной области, пред которою области других европейских государств ничтожны: отсюда первая мысль, что такая громада необходимо образовалась посредством завоевания, как образовывались древние колоссальные государства — Персидское, Македонское, Римское. При этом географическом взгляде и остались, не проверив его историею; тогда как история говорит, что Россия, как сплошная равнина, орошаемая большими, переплетающимися в своих системах реками, родилась уже с огромною государственною областию, после рождения подверглась общему процессу видимого разделения вследствие государственной слабости; а потом при известных благоприятных условиях происходило постепенное государственное сплочение, собрание русской земли под одну власть; до сих пор не все области, действовавшие как чисто русские в нашей начальной истории, входят в состав русского государства: остается в составе чужого государства Червонная Русь, то знаменитое Галицкое княжество, о котором так часто идет речь в наших летописях [37].

Но укажут на распространение русской государственной области далеко на восток, вплоть до Восточного океана, укажут на входящие теперь в состав русской империи земли, которых мы не видим за Русью при ее первых князьях, земли, которые не имели славяно-русского народонаселения: как же приобретены они? Разумеется, завоеванием. Тут уже не иностранцы, а сами русские натолковывают самим себе и другим о завоевании, без точного определения, как разуметь завоевание. С детства заучивают, что царь Иван IV завоевал три царства — Казанское, Астраханское, Сибирское. Три царства! На восточных границах Московского государства образовалось татарское разбойничье гнездо, от которого русским людям не было покоя; долго терпели, наконец, собрали силы, двинулись и отняли у разбойников их гнездо: это называется завоеванием царства Казанского. Астрахань поддалась сама; на северо-востоке Камская область была занята мирными колонистами, промышленниками, область громадная, пустая, ничья, естественно, принадлежащая первому, кто в ней поселится; эти промышленники, не имея покоя от сибирских хищных татар, которые своими набегами мешали им соль варить, наняли небольшую толпу козаков, которые заняли разбойничье гнездо, прогнали оттуда князька, и хотя сами потом погибли, но это дело называется покорением царства Сибирского. Так слово может

вести к неправильному представлению, когда подробным изучением явления не определится точно, в каком смысле употреблять слово. Присматриваясь внимательно к явлению, мы видим на первом плане не завоевание одним воинственным, сильным государством других больших государств, более или менее цивилизованных, мы видим на первом плане колонизацию, занятие пустынных пространств под мирный труд; народы или, лучше сказать, народцы, встречающиеся на этих необъятных пространствах, по своему характеру, стоя на низкой ступени политического развития, невольно влекут народ, стоящий выше их, влекут все далее и далее на занятие новых земель: они своим хищничеством не дают ему покоя; заставить их уважать право, договор нельзя, они умеют жить только или в постоянной вражде к соседу или в рабской подчиненности, и невольно их приходится покорять[38]. Таков господствующий характер русских отношений к восточным народам даже до наших дней, характер любопытный, потому что в покорении врага здесь заключается необходимая оборона от него.

Так при невоинственном характере народа, а следовательно, и правительства образовалась громадная государственная область, и мы знаем, как эта громадность неблагоприятно действовала на развитие народной жизни, на все ее направления. Государственные требования, слишком тяжело падавшие на малочисленное, разбросанное и потому бедное народонаселение, заставляли последнее еще более разбрасываться, уходить все дальше и дальше, что было легко русскому человеку: ему не нужно было переплывать океан, как должны были делать западные колонисты, или переселяться к чужим народам, в совершенно чуждую нравственную сферу; перед глазами были необъятные и пустые пространства, где беспрепятственно можно было утвердиться, беспрепятственно сохранить свой народный образ. Эта происшедшая сказанным образом обширность русской государственной области, в свою очередь, отнимала у народа воинственность, отнимая побуждение к захвату чужого, к насильственному расширению владений, и без того слишком обширных. И несмотря на то, Россия ознаменовывает начало своей новой жизни воинственным движением, двадцать с лишним лет ведет тяжкую, упорную борьбу, которую оканчивает важными земельными приобретениями.

Но мы видели главный характер переворота, совершавшегося в жизни народа русского, видели стремление к морю и смысл этого стремления. Во время младенчества Руси, при отсутствии крепкой государственной связи, единства направления народных сил и ясного сознания народных интересов, в это беспомощное время орден меченосцев отнял у Руси Ливонию, захватил здесь русские города и княжества; впоследствии, когда объединенная Россия с ясным сознанием необходимости для себя моря устремилась к нему, — поляки и шведы оттолкнули ее от него. Но внутреннее преобразовательное движение все более и более усиливалось, а вместе усиливалось и так тесно соединенное с ним

стремление к морю, следовательно, мы естественно должны ожидать, что, когда преобразовательное движение пошло так решительно, Россия немедленно начнет опять биться за берега Балтийского моря.

Будучи полным представителем своего народа, будучи совершенно чужд воинственности, вовсе не гоняясь за славою полководца-завоевателя, занятый одною мыслию о внутреннем преобразовании, Петр начинает войну с шведами за Балтийское море, смотря на нее только как на средство этого преобразования, исполняя завещание предков, соединяя древнюю и новую Россию правильным историческим движением, ибо правильность исторического развития народа, правильность в преемстве деятельности различных эпох народной жизни состоит в том, когда то, что в известную эпоху вырабатывается народом, как мысль, как стремление, осуществляется в последующую эпоху. Петр не усумнился начать опасную войну одновременно со многими важными внутренними преобразованиями, ибо видел в войне только средство для успешнейшего проведения внутренних преобразований и в последних видел средство для успешнейшего окончания войны. На войну великий царь смотрел гражданским взглядом, именно как подобает правителю; он смотрел на нее как на школу для народа, который хотел занять почетное место среди других народов, не выпрашивать цивилизации как милости, но предъявить на нее свои бесспорные права. Вот программа курса в этой школе: сначала учителя нам зададут тяжелые уроки; сначала нас будут бить; но мы будем учиться прилежно, и сперва станем бить учителей превосходными материальными силами, потом дойдем до того, что будем бить их с равными силами, а наконец приобретем такое искусство, что станем побеждать и с меньшими силами.

Итак, война есть школа, практическая школа, школа первой необходимости, ибо континентальное государство, и так дурно защищенное природою, как Россия, может поддержать свою самостоятельность, свое значение только постоянною готовностию принять бой при первом вызове, мало того, только этою готовностию может отклонить вызов, поддержать мир для себя и для других. Но война в описываемое время не имела тесного значения только военной школы для народа: война сильная, опасная война служит для Преобразователя могущественным средством вести преобразование, вести эту школу в самых широких размерах без принижения народного духа, которое было так естественно в страдательном положении русских людей относительно чужих образованнейших народов, в положении учеников пред учителями. «Царь уверовал в немцев, сложился с ними», — говорят противники преобразования. Но эти злонамеренные толки не имеют смысла пред действительностию, которая у всех в глазах: царь воюет с немцами, бьет их, отнимает у них города и земли. Война трудная, опасная, враг силен, он легко может прийти к нам; вот он уже вошел в русские пределы, одна проигранная битва — и он

очутится под Москвою; силы живого народа потрясаются от опасной ожесточенной борьбы, народное знамя поднимается высоко; такие времена поднятия народных сил бывают удобны для великих дел, потому что располагают к великим жертвам, и царь умеет пользоваться временем, умеет ковать железо пока горячо!

Народ в тяжкой работе, засажен в школу с иностранными учителями, которых преимущества должен признать, следовательно, необходимо принижается пред ними. Что ж даст ему отраду, что заставит его поднять голову и с уважением посмотреть на самого себя. Успехи мирного труда? Но они разбросаны, не видны, далеко не у всех пред глазами, не производят сильного впечатления; кто знает, что там роют каналы, здесь какая-нибудь фабрика идет очень успешно, кто знает, что с богатым результатом разрабатываются минеральные богатства далекой Сибири? Не то война, военные успехи: одержана победа — общенародное торжество, все это знают, все поднимают головы, не войско только победило, целый народ победил, вот до чего мы дошли в такое короткое время, благодаря тому, что трудимся, учимся! И ученик, сознавая все яснее и яснее необходимость учения, не принижен пред учителем, он ровен с ним, он выше его, учение становится делом легким, делом силы и свободы; народный дух, народное самоуважение спасены в самое опасное для них время, время народного ученичества у других народов.

Мы видели, что Россия находилась в войне с Турциею и что Петр дал этой войне новый характер, характер морской войны, приготовил флот для Азовского моря, берега которого старался укрепить для себя. Он продолжал считать это дело важным, обращал на него сильное внимание, но продолжение турецкой войны он вовсе не считал желанным делом: турецкая война не могла быть школою для русского сухопутного войска: такою школою могла быть только европейская война, и именно война шведская, в которой достигалась двойная цель, войско получало хорошую школу, и следствием хорошего прохождения этой школы было утверждение на берегах заветного европейского моря. Притом для новорожденных военных сил России война была невозможна без союзников, а члены Священного союза спешили заключить мир с турками; должен был спешить с этим и Петр.

Для скорейшего и выгоднейшего заключения мира Петр хотел изумить и напугать турок: он отправил своего посланника Украинцева в Константинополь на русском военном корабле «Крепость». Русский военный корабль на якоре против сераля раздразнил, испугал не одних турок, восточный вопрос переменил вид: до тех пор европейские державы, боясь турок, постоянно и усердно приглашали русских царей к войне с ними, причем указывали на тесную связь России с христианским народонаселением Турции по единству не только веры, но исповедания, указывали на обязанность России восстановить восточную греческую империю на развалинах турецкой; но теперь, когда Россия исполнила, наконец,

требования, вошла в европейский союз против турок, когда турки со всех сторон потерпели неудачи, выказали свою слабость, и когда Россия обнаружила удивительную силу, удивительную деятельность, когда русский военный корабль явился пред Константинополем, когда Россия оказалась готовою выполнить эту начертанную ей в Европе программу, Европа с негодованием и ужасом отвернулась от этой программы и начертала для себя другую — поддерживать всеми средствами Турцию против России. Украинцев должен был познакомиться с этою новою программою восточного вопроса: «От послов цесарского, английского, венецианского, — писал Украинцев Петру, — помощи мне никакой нет, и не только помощи, не присылают даже никаких известий. Послы английский и голландский во всем держат крепко турецкую сторону, и больше хотят всякого добра туркам, нежели тебе, великому государю; завидуют, ненавидят то, что у тебя завелось корабельное строение и плавание под Азов и у Архангельска, думают, что от этого будет им в их морской торговле помешка». Но турки были страшно истощены и заключили мир, уступили России Азов со всякими старыми и новыми, уже построенными Петром городками; а крымский хан должен был отказаться от дани, которую до сих пор платила ему Россия под благовидным названием поминков и подарков.

И здесь прошла граница между древнею и новою Россиею. Много веков прошло с тех пор, как пред христианскою Византиею явились впервые русские лодки; это было знаком, что на севере, в этой Скифии и Сарматии, где господствовали кочевые азиатские орды, явилось владение с европейским характером, на которое легла обязанность постоянной, ожесточенной борьбы с степными кочевыми ордами, обязанность защищать от них Европу. Борьба была трудная: степные хищники не дали Руси пустить государственных корней на юге, на берегах Днепра, вследствие чего силы народные и главная историческая сцена перенеслись с юго-запада на северо-восток; и здесь степные хищники не давали покоя, пустошили страну, наложили дань; но здесь им было не так удобно, как на юге, здесь они запутывались в непроходимых лесах и вязли в болотах; здесь беспрепятственнее могла собраться русская земля в одно государство, и собралась около Москвы, и Москва вела постоянную, ожесточенную борьбу с степными варварами, видала их не раз под своими стенами, превращалась ими в пепел, и хотя на востоке дела шли успешнее, хотя там татарские орды с громким названием царств покорялись царю московскому, но на юг, в Крымскую орду продолжались посылаться поминки.

Эта посылка прекратилась, когда русский военный корабль появился перед магометанским Стамбулом. Так Петр отпраздновал девятивековой юбилей первого появления русских лодок перед Константинополем [39]. Но ему предстояло с большим торжеством отпраздновать юбилей на другом море, откуда пошла русская

земля[40] и куда должна была возвратиться для приобретения средств к продолжению исторической жизни. Здесь нужно было отпраздновать девятивековой юбилей также появлением русского военного корабля, появлением русского войска, сильного своим европейским искусством. На юго-востоке, со стороны степей, со стороны степного моря опасности исчезли, поминки прекратились. Но опасность большая вставала теперь с запада, благоразумие требовало идти к ней навстречу, благоразумие требовало приготовить средства, чтоб не посылать поминок на запад, потому что и там, на западе, большие охотники до поминок, стоит только немного обнаружить слабость, сейчас пришлют за поминками.

18 августа 1700 года в Москве сожжен был «преизрядный фейерверк»: царь Петр Алексеевич праздновал турецкий мир, приобретение Азова, уничтожение обязанности посылать поминки в Крым. На другой день 19 августа объявлена война шведам. Заключением мира с турками поспешили, потому что союзники покинули Россию; потому же самому спешили объявлением шведской войны, чтоб не упустить союзников, не одним бороться с самою сильною державою на севере. Союз был необходим; но верны ли были союзники? Донесения Украинцева из Константинополя уже определили отношения европейских держав к России; за союзниками нужно было также зорко смотреть, как и за врагами, и против них нужны были тоже смелость, решительность, ясное понимание русских интересов, неуклонное их преследование. Россия могла быть спокойна: у ее царя не было недостатка в этих качествах.

Чтение восьмое

Кто же были союзники Петра в Шведской войне? Швеция заявила свою европейскую деятельность, вошла в систему европейских держав, как говорится, только в XVII веке, предупредила в этом отношении Россию какими-нибудь 70 годами. Она явилась на сцену общей европейской деятельности с шумом и блеском. Даровитый, воинственный, честолюбивый король Густав Адольф[41], по призыву Франции, привел шведское войско в Германию для участия в Тридцатилетней войне, для поддержания протестантизма. За эту поддержку Германия должна была дорого заплатить Швеции своими землями, и немецкие владельцы стали косо смотреть на нее, особенно когда она содействовала вредным для Германии стремлениям Франции. Еще большее раздражение возбудила против себя Швеция в трех других соседних государствах — Дании, Польше и России — своими захватами на их счет. Она обобрала Данию со стороны Норвегии, отняла у Польши Ливонию; пользуясь смутным временем и слабостью России после смут, в царствование Михаила Феодоровича она отобрала у нее корен-

ные русские владения, чтоб как можно дальше отодвинуть ее от Балтийского моря.

Такое поведение Швеции относительно соседей, разумеется, заставляло ожидать, что оскорбленные воспользуются первым удобным случаем, чтоб соединиться и возвратить себе свое. И в начале XVIII века, когда в Западной Европе произошло сильное движение против Франции, раздражившей всех своим властолюбием, своими бесцеремонными захватами чужого, когда против Франции образовывался великий союз, чтоб не дать ей захватить Испании или значительную часть ее владений [42], на северо-востоке Европы, по тем же побуждениям, образуется союз против Швеции и начинается великая Северная война. Естественные члены союза против Швеции — это обобранные ею государства, Дания, Польша и Россия. Отношения Дании и России были просты: они хотели возвратить свое, причем Петр во что бы то ни стало хотел приобрести хотя одну гавань на Балтийском море.

Но отношения Польши были иные. Мы уже упоминали о крайней слабости этой державы, обнаружившейся особенно во второй половине XVII века, слабости, которая отнимала у нее всякую самостоятельность, делала из нее арену, где ближние и дальние государства должны были бороться за свои интересы. Борьба эта особенно усиливалась, когда наступало время королевских выборов. Так, в конце XVII века соседние государства были чрезвычайно взволнованы выборами в Польше по состоянию тогдашних дел в Европе. Уже было сказано, что в это время господствовало сильное раздражение против властолюбия Франции, против ее короля, Людовика XIV. Постоянною союзницею Франции была Турция, служившая для Франции орудием для отвлечения Австрии от вмешательства в европейские дела, от союзов, заключавшихся против Франции. Легко понять, как выгодно было для Франции иметь сильную партию в Польше, посадить там королем кого-нибудь из своих принцев или, по крайней мере, кого-нибудь из своей партии, чтобы по соседству с Австриею приобрести новое орудие для отвлечения ее сил. Но легко понять также, как для Австрии было важно, чтоб французские замыслы не удались, чтоб на польском престоле был кто-нибудь свой или чужой, но только не француз и не из французской партии.

О том же должна была хлопотать и Россия, которая находилась в одинаком с Австриею положении относительно Турции; она была также в войне с Турциею и должна была надеяться, что по ее отношениям к христианскому народонаселению Турции вражда между нею и Портою будет постоянная и самая сильная; а пустить на польский престол французского кандидата значило пустить естественного союзника Турции. Вот почему Петр так энергически объявил себя против французского кандидата на польский престол, принца Конти; он уже придвинул свое войско к границам Литвы, чтоб силою противиться его избранию, и торжествовал как победу отстранение Конти, избрание его соперни-

ка, курфюрста саксонского Августа. Избрание Августа успокоивало Австрию, Россию: на престоле польском не будет союзника Франции и Турции; но могла ли быть покойна сама Польша? Государство сильное может безопасно призвать государя-иностранца, владельца чужой земли; Англия, например, могла безопасно признать своим королем ганноверского курфюрста; но что позволительно сильному, того слабый не может делать безнаказанно. На польском престоле немец и владетель одного из самых значительных немецких государств, Саксонии.

В раздробленной Германии уже обозначилось то явление, что усиливаются ее владения, находящиеся на востоке, усиливаются на счет других иноплеменных народов, преимущественно славянских. В Германии, как и во всякой другой стране, собрание земли, объединение могло произойти одним путем: сильнейшее владение мало-помалу должно было подчинить себе все слабейшие; в Германии это явление запоздало, но при благоприятных условиях оно могло произойти, и легко понять, как в этом отношении было важно усиление одного из германских владений чем бы то ни было и как бы то ни было. Ни одному германскому владельцу не было возможности усилиться прямо на счет своих товарищей, других владельцев; императорское достоинство по крайней ограниченности средств главы империи не могло этому содействовать, и оставалось одно средство усилиться — сначала на счет чужих, и этим приобрести возможность усилиться потом и на счет своих. Гогенштауфены пытались усилиться на счет Италии, но попытка, благодаря папской силе, кончилась очень печально для знаменитой швабской династии. Счастливее были восточные династии, восточные германские владения. Габсбурги, владельцы очень небольшой немецкой области, Австрии, браками и духовными завещаниями образовали обширную монархию из разных чужих элементов, преимущественно славянского. Пример счастливой Австрии не мог остаться без подражания; тем более, что Австрия не все захватила, оставалась еще богатая добыча, Польша, государство обширное, но совершенно беззащитное от крайней внутренней слабости.

Мы говорили о значении войны, борьбы в жизни народной, о ее воспитательном значении, о том, как нравственные силы народа ею напрягаются, развиваются, как развиваются всяким трудом, всяким преодолением сильных препятствий, всякою опасностию. Мы видели, как бедно и трудно жил наш народ в первой половине своей истории; но благословим эту бедность и великий труд наших предков, эти постоянные опасности, в которых они находились и которые приучались преодолевать. Приготовительная девятивековая школа была тяжка, но она дала хорошее воспитание: народ привык к труду, к подвигам, жертвам, стал способен откликнуться на призыв к небывалому труду, к небывалым подвигам и жертвам, призыв, сделанный человеком, всегда в работе пребывающим. Благословим этот призыв и этого призыва-

теля, потому что у нас перед глазами страшный пример, к чему ведет отвращение от подвига, от жертвы, к чему ведет войнобоязнь. Польша была одержима в высшей степени этою опасною болезнию, войнобоязнию. Тщетно люди предусмотрительные, патриоты указывали на гибельные следствия отсутствия сильного войска в государстве континентальном, указывали, как Польша теряет от этого всякое значение, тщетно на сеймах ставился вопрос о необходимости усиления войска, эта необходимость признавалась всеми, но когда речь заходила о средствах для усиления войска, о пожертвованиях для этого, то не доходили ни до какого решения, и страна оставалась беззащитною, в унизительном положении, когда всякий сосед под видом друга, союзника мог для своих целей вводить в нее войско и кормить его на ее счет; от нежелания содержать свое войско, от нежелания жертвовать для этого принуждены были содержать чужое, враждебное войско, смотреть, как оно пустошило страну. Теперь на престоле польском немецкий государь, саксонский курфюрст, который не удовольствуется одним титулом королевским; но что же больше может дать Польша? Если не захочет дать волею, то можно взять силою; для этого надобно ввести свое немецкое войско в пределы Речи Посполитой, сперва, разумеется, под благовидным предлогом.

Что же может быть благовиднее предлога, как война с Швециею для возвращения Польше Ливонии. Дело легкое: сама Ливония хочет отторгнуться от Швеции и поддаться Польше: об исполнении этого желания хлопочет Паткуль, принужденный оставить родную страну за то, что сильно отстаивал интересы своего сословия[43], интересы ливонского дворянства, бесцеремонно обобранного шведским королем, который хотел обогатиться и усилиться на счет дворянства как в Швеции, так и в Ливонии. Ливония просит освободить ее от шведского ига, хочет поддаться Польше, Паткуль уполномочен рыцарством заключить об этом договор. Но Польша не хочет тронуться, боится войны, боится усиления королевской власти от войны. И вот король будет воевать один с своим саксонским войском. Заключен договор, по которому Ливония присоединялась к Польше, а в секретных пунктах рыцарство обязывалось признавать верховную власть Августа и его потомков, если бы даже они не были королями польскими, и все доходы отправлять прямо к ним. Таким образом, Ливония поддавалась не Польше, а немецкому государю, курфюрсту саксонскому, который приобретет чрез это выгодную позицию для действий против Польши, для утверждения наследственности в своем доме, для усиления своей власти. Если соседи будут мешать ему в этом, то можно кинуть им по куску польских владений, лишь бы быть сильным, самодержавным в остальных.

Но прежде всего надобно приобрести хорошую позицию, овладеть Ливонией; одному трудно. Дания — верная союзница по

ненависти к Швеции; и необходимо, чтоб Россия также приняла участие в войне. Дело очень возможное: молодой царь только и думает о том, как бы утвердиться на берегах Балтийского моря; возвращаясь из заграничного путешествия, он виделся с королем Августом и изъявил желание в союзе с ним воевать против шведов. «Надобно взять у царя деньги и войско, особенно пехоту, которая очень способна работать в траншеях под неприятельскими выстрелами», — писал Паткуль. Но при этом лифляндским патриотом овладевает сильное сомнение: царь — человек необыкновенный, с ним надобно обращаться осторожнее; даром, в угоду саксонским и лифляндским патриотам, он не подставит своих солдат под неприятельские выстрелы в траншеях. С ним надобно делиться добычею, а со львом опасно делиться. «Надобно опасаться, — писал Паткуль, — чтоб этот могущественный союзник не выхватил у нас из-под носа жаркое, которое мы воткнем на вертел; надобно договориться, чтоб он не шел дальше Нарвы и Пейпуса; если он захватит Нарву, то ему легко будет потом овладень Лифляндиею и Эстляндиею». А Петр именно и хотел прежде всего овладеть двумя крепостями — Нарвою и Нотебургом, старым русским Орешком, чтоб, получивши эти две опоры, легче занять и укрепиться в стране, между ними лежавшей, в этой заветной стране, где море было так близко к русским владениям. Царь направил свои полки к Нарве, но скоро общая страшная опасность для союзников прекратила споры о разделе добычи.

Союзники надеялись напасть на Швецию врасплох, пользуясь молодостию ее короля, Карла XII, молодостию, которая не обещала, по-видимому, ничего хорошего для Швеции[44]: пол и стены королевских комнат были улиты кровью: молодой король отсекал саблею головы баранам и телятам, пригнанным для этой потехи во дворец; ночью в стокгольмских домах дребежжат, валятся стекла: это потешается молодой король; кто едет днем по улице с шумом и гамом в одних рубашках? — Молодой король с своею свитою. Кто охотится за зайцем в сеймовой зале? — Молодой король. Но этот неугомонный мальчик, отличавшийся такими дурными шалостями, явился героем, когда затрубила военная труба, когда опасность начала грозить Швеции с трех сторон. Карл XII явился с войском пред Копенгагеном и принудил датского короля к миру; вслед за тем высадился на восточный берег Балтийского моря, в Пернау, чтобы идти на помощь Нарве, осажденной русскими.

Мы видели, как Петр смотрел на войну: он смотрел на нее как на школу. Он сделал нужные приготовления, он покончил с прежним строем и составом войска, его армия не представляла более, как армия царей предшествовавших, ветхое рубище с новою заплатою; но и его армия представлялась далеко не в удовлетворительном виде. Легко сказать: преобразовать войско. Оно было действительно преобразовано, но оно было невыучено, неопытно.

Петр не обольщал себя: он изображал свой флот в виде лодки, на которой дети учатся плавать; и войско свое он мог изображать в виде толпы детей. Он не бросился в войну один на один с европейским знаменитым военными успехами народом; он вступил в нее в союзе с Даниею, которая прежде всего должна была задержать шведов, с королем Августом, который имел военную репутацию и который уже начал военные действия в Ливонии.

Петр начал с третьей стороны, послал значительное войско с хорошею артиллериею осаждать Нарву, учиться осаждать крепость, защищаемую европейским гарнизоном. Битва не входила в его рассчеты; у него не было искусных генералов, не было главнокомандующего; он дал звание фельдмаршала тому же Головину, генерал-адмиралу, заведывавшему иностранными сношениями, но действительно поручать ему начальство над войском не хотел. Ему прислали генерала из-за границы с отличными рекомендациями, герцога фон Круа [45], и он поручил ему начальство над войском для первой встречи с шведами, для первого урока. Первый урок был тяжел: русские потерпели поражение, потеряли много людей, всю артиллерию. Но у них оставался Петр Великий, а великие люди бывают сильны приготовлением к неудаче и к успеху, ибо не теряют духа при неудаче и умеют пользоваться успехом. Неудача — проба гения, и Петр умел выдержать страшное искушение. Кроме материальных потерь, нравственное впечатление нарвского поражения было ужасно. Известно, как ободряет первый успех, как отнимает дух первая неудача, а теперь неудачно начинается дело, которому далеко не все сочувствуют; в глазах многих нарвское поражение было явным наказанием божиим за грех нового дела.

Задав русским такой тяжелый урок, Карл XII пошел на юг преследовать короля Августа; ибо гнаться за неприятелем слабым, оставляя в тылу сильного, и решиться с небольшим войском во второй половине ноября идти вглубь России было бы крайним безрассудством. Петр воспользовался удалением Карла: ему представилась возможность проходить со своим войском школу по известной программе. Но прежде всего надобно было поднять дух своих после первого тяжелого урока, заставить их идти в школу, которая так им опротивела после Нарвы. От нарвского плена спасся бегством со своею конницею Бор[ис] Петр[ович] Шереметев [46], человек очень способный, но при Петре, сам же по себе, по природе своей, неготовый к неудаче и к успеху: после неудачи падал духом, а после успеха — как бы отдохнуть, поехать в Москву, повидаться с семьею, заняться домашними делами. Петру в продолжение всей службы Шереметева было много хлопот с ним в этом отношении. Две недели спустя после нарвского поражения Петр пишет ему: «Не годится при несчастии всего лишаться, и потому повелеваем быть при начатом деле, с конницею беречь ближних мест, и идти далее, для большего вреда непри-

телю. Да и отговариваться нечем: людей довольно, реки и болота замерзли. Не чини отговорки ничем; а если болезнию, и та получена между беглецами».

А между тем в пограничных местах, Новгороде, Пскове, псковском Печерском монастыре кипели работы для их укрепления: работали все, солдаты и священники, мужчины и женщины, и горе тому, кто не хотел работать или хотел поживиться при общем деле: в Москве и Новгороде повешено было двое людей, которые брали взятки у приема подвод. Артиллерия была потеряна под Нарвою; надобно было, как можно скорее, приготовить другую. Петр велел со всего государства, с знатных городов от церквей и монастырей собрать часть колоколов на пушки и мортиры. Старик Виниус, «надзиратель артиллерии», работал по-петровски, и в конце 1701 года было приготовлено больше 300 орудий, хотя Виниус и сильно жаловался на пьянство мастеров, которых, писал он, ни ласкою, ни битьем от той страсти отучить невозможно. Но в то же время надобно было приготовлять и людей; 250 мальчиков собрано было в школы, из которых, по обещанию Виниуса, должны были выйти хорошие инженеры, артиллеристы и мастера. Вслед за добрыми вестями от Виниуса добрые вести от Шереметева: пользуясь превосходством своих сил, он поразил шведского генерала Шлиппенбаха при мызе Эрестфер, потеря шведов была втрое против потери русских. Великое торжество: первая победа, и победа после Нарвы! В Москве, на башнях Кремлевских развешиваются знамена, взятые у шведов. Шереметев сделан был фельдмаршалом, получил андреевский орден, портрет царя, осыпанный бриллиантами. Победителю захотелось отдохнуть, побывать в Москве. «В начале 1702 года, хотя и быть, — отвечал Петр, — чтоб на страстной или на шестой приехать, а на святой паки назад».

В конце мая Петр стал торопить Шереметева в новый поход в Ливонию, ибо пришло известие, что неприятель готовит в эту страну транспорт из Померании. «Теперь истинный час, пока транспорт не учинен, таковой предварить», — писал царь фельдмаршалу; Борис Петрович двинулся и в июле опять нанес сильное поражение тому же Шлиппенбаху при Гуммельсгофе. После этого Шереметев начал «изрядно гостить» в Лифляндии, по выражению Петра, т. е. страшно опустошал страну по совету союзника, польского короля Августа, чтоб шведские войска не могли найти в Ливонии приюта и продовольствия. Петр смотрел на ливонские походы как на школу для своих, как на средство ослабление неприятеля; об утверждении в стране он не думал. Он все лето 1702 года провел в Архангельске, ибо получил известие, что шведы намерены захватить этот город. Лето проходило, опасности для старой морской пристани не было, и Петр стал думать о приобретении новой, на Балтийском море. Петр явился в Ладогу и призвал к себе Шереметева, «чтоб сего, богом данного времени не потерять». По прибытии Шереметева Петр повел

войско к Нотебургу (Орешку) и 11 октября взял его трудным и кровавым приступом. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила». Так писал Петр надзирателю артиллерии, Виниусу. Семидесятилетний старик, съездивши по артиллерийским делам в Новгород и Псков, отправился в Сибирь, чтоб посмотреть тамошние рудники и заводы, и писал: «Толикое обрел я множество руд железных, что мню до скончания мира не выкопаются». Жесткий орех был назван Шлиссельбургом, Ключом-городом.

Для чего же понадобился Ключ? В апреле 1703 года от него по правому берегу Невы, лесами шли русские войска под начальством Шереметева и нашли при устье Охты в Неву маленькую шведскую крепость Канцы или Ниеншанц, сторожившую устье Невы. К русскому войску приехал бомбардирский капитан Петр Михайлов и отправился на 60 лодках осматривать невское устье. 1 мая Канцы были взяты, но на взморье показались два неприятельских судна и 5 мая подошли к устью Невы. Капитан Петр Михайлов и поручик Меншиков[47] с Преображенским и Семеновским полками в 30 лодках окружили их и взяли. Первый успех на море! Обрадовались как дети, тою живою, сильною радостию, которая обличает горячее участие к делу, условие успеха в нем. Капитан Петр Михайлов и поручик Меншиков получили андреевские ленты. Добрались, наконец, до Балтийского моря; завещание предков исполнено, но не совсем: надобно укрепиться на этом море. 16 мая 1703 года, на одном из островков Невского устья рубили деревянный городок. Городок назвали Петербургом. Из него потом вышла новая столица, столица Русской империи. Зачем это новая столица? На этот вопрос пусть отвечает древняя история, пусть укажет, что новые столицы не были новостями и в старину.

Действительно, с детства в школах узнаем мы из учебников русской истории, что у нас переносятся столицы из одного места в другое, из Новгорода в Киев, из Киева во Владимир, из Владимира в Москву. Откуда это явление, отчего мы не видим его в других государствах, государствах Западной Европы? Причина уясняется при первом взгляде на карту. Чрезвычайная обширность государственной области, особенно при малочисленности народонаселения, и отсутствие цивилизации необходимо условливала это явление. Как человек, находящийся в очень обширном помещении, не может, оставаясь неподвижно в одном каком-нибудь углу, ясно обозревать всего помещения, всего разнообразия находящихся в нем предметов, и потому необходимо сосредоточивает свое внимание на одном каком-нибудь круге предметов, особенно ему нужных, и остается известное более или менее продолжительное время там, где они помещаются, и потом переходит на другое место, обратившее на себя его внимание, и здесь опять останавливается: так и правительство чрезвычайно обшир-

ной страны принуждено переносить свое местопребывание из одной части страны в другую по мере надобности, по мере прилива и отлива сил народных в ту или другую страну, по мере сосредоточения народных интересов, народного внимания здесь или там, следовательно, это перенесение правительственных местопребываний не может являться в истории чем-то произвольным.

Так называемое перенесение столицы из Киева во Владимир Андреем Боголюбским не было делом произвола одного князя, это явление было следствием отлива народных сил с юго-запада на северо-восток; доказательство слишком ясно: этот юго-запад, эта Русь, главная начальная историческая сцена оказалась столь слабою, что не могла поддержать своей политической самостоятельности, и Русь самостоятельная могла явиться только на северо-востоке. Также не было произвольно утверждение правительственного местопребывания в Москве, когда понадобилась средина восточной России для ее собрания и для обороны русской самостоятельности равно от Востока и от Запада, от татар и Литвы, от бесерменства и латинства. Также непроизвольно было появление новой столицы на берегу моря в начале новой русской истории, истории по преимуществу европейской. Не Петр по своему произволу утвердил правительственное пребывание в Петербурге, ибо новопостроенный городок был оставлен своим основателем вовсе не в таком привлекательном положении, чтоб удобствами жизни заставить двор предпочесть его Москве или какому бы то ни было другому месту. После Петра мы видим известную реакцию против его деятельности; русские люди имели полную возможность разобраться в материале преобразования и разбирались: одно оставили нетронутым, другое изменили, а потом опять нашли нужным уничтожить изменения, возвратились к петровским формам, некоторые же учреждения, как совершенно неспособные привиться к русской почве, исчезли. Что же мешало не укреплять за Петербургом значение столицы? Ясно, следовательно, что он приобрел это значение не по произволу Петра, это значение дано ему ходом истории, точно так же, как поднят был Владимир на счет Киева и Москва поднялась на счет Владимира. Петру принадлежит указание, но не насилие. И чем сильнее жалобы на счет невыгод положения новой столицы, чем сильнее упреки, делаемые совершенно несправедливо Петру за выбор места для столицы, тем яснее для историка необходимость явления, ибо что же заставило сносить такие неудобства? Один ответ: необходимость. Что касается до выбора места для Петербурга, первого русского города при западном море, выбора, за который упрекают Петра, то стоит только взглянуть на тогдашнюю карту Восточной Европы, чтоб понять этот выбор: новый город основан там, где западное море всего глубже входит в великую восточную равнину и наиболее приближается к собственно русской земле, к тогдашним русским владениям. Наконец, что касается неудобств климата и почвы, то нельзя требовать от людей физи-

чески сильных, чтоб они предчувствовали немощи более слабых своих потомков.

Петра менее, чем кого-либо, можно упрекнуть в односторонности взглядов и направлений. Он, не скажу: не отнял, потому что он не мог этого сделать, но и не обнаружил ни малейшего намерения отнять у Москвы ее значения в пользу Петербурга; и тут не было одного, так сказать, археологического уважения к царствующему граду, Москва не осталась только памятником древности. В разгар преобразовательной деятельности, в которой так резко обозначался экономический характер, Москва по своему положению и под особенным покровительством Преобразователя приняла самое деятельное участие в новом движении, и в то время как с таким старанием отстраивался приморский город, долженствовавший иметь первенствующее торговое значение, старая Москва становилась средоточием новорожденной мануфактурной промышленности. С появлением Петербурга Москва не утратила своего значения, и когда при дочери Петра Великого понадобился университет, ему место было указано в Москве. Москва не потеряла своего значения ни для своих, ни для чужих, ни для друзей, ни для врагов. Враги почтили ее своею враждою, почтили ее своим посещением, вписали новую славную страницу в ее историю. Москва по-прежнему терпела беды, по-прежнему горела и по-прежнему росла от непрестающего прилива к ней жизненных сил русской земли.

Научная жизнь Москвы как университетского города должна высказываться в спокойном уяснении исторических явлений, в спокойном указании законов народного бытия, а такая деятельность, расширяя сферу мысли, возвышая дух, несовместима с односторонностию, мелочностию взглядов, мелким соперничеством, завистию. Москва знает, что с появлением новой столицы между ними произошло разделение занятий, а следовательно, и соединение сил. Москва знает, что Петр ничего у нее не отнял, что он дал ей все то, что дал России, и Москва воспользовалась его дарами прежде других и больше других. Москва чтит Петра за то место, которое он дал России, ибо знает, какое место она, Москва, занимает в России, знает поэтому, как возвеличена Петром, возвеличившим Россию. И в день славного воспоминания деятельности великого человека Москва должна поступить достойным ее образом: спокойно, беспристрастно сказать свое слово и усердно сделать свое дело.

Достижение заветной цели вело к усилению труда; добыли новый морской берег, надобно было строить новый флот, и на берегах Свири кипела работа, ронили громадные деревья и на новой верфи, в Лодейном поле, строили морские военные суда. Разумеется, сардамский плотник был там; но в глубокую осень, когда по Неве уже плавает лед, он в Петербурге, около Котлина острова меряет морскую глубину: здесь будут укрепления, оборона Петербурга, куда уже пришел первый иностранный купеческий

корабль. А между тем Шереметев забирал старые русские города, которые швед завел за себя в XVII веке, Копорье, Ямы и опустошал Эстляндию, чтобы на будущее время не дать шведам пристанища и прокормления. Петр торжественным въездом в Триумфальные ворота отпраздновал в Москве возвращение русских городов и немедленно отправился в Воронеж; чуждый односторонности, он одинаково внимательно смотрел на Запад и на Восток: на северо-западе нужно было работать, чтоб отбивать шведа, на юго-востоке нужно было также работать, чтоб сдерживать турка.

Весною 1704 года Петр опять на Западе, по обычаю торопит Шереметева, чтоб шел поскорее и взял Дерпт: «Идти и осадить конечно Дерпт, чтоб сего богом данного случая не пропустить, и зачем мешкаете не знаю, не извольте медлить». Простодушно отвечает Шереметев: «Здоровье мое уже не прежнее и не от кого помощи нет, легко мне было жить при тебе да при Данилыче (Меншикове): ничего я за милостию вашею не знал». Шереметев осадил Дерпт; чтобы ему было легко, приехал сам Петр, и Дерпт был взят. «Сей славный отечественный град паки получен», — писал царь своим. Из Дерпта Петр поехал под Нарву, и скоро пошли от него письма: «Где четыре года тому назад господь оскорбил, тут ныне веселыми победителями учинил, ибо сию преславную крепость шпагою в три четверти часа получили».

Главное на западе было сделано. Петр не хотел ничего более, сильно желал прекращения войны с удержанием завоеванного, готов был и уступить часть завоеваний, только бы удержать новопостроенный приморский городок. Но согласится ли Карл XII на такой мир? Конечно, нет. Петр успел сделать свое дело потому, что «швед увяз в Польше». Но швед увяз в Польше для того, чтоб обеспечить себе тыл для действия против России, чтоб свергнуть с престола короля Августа и возвести на его место человека, себе вполне преданного, следовательно, враждебного России. Чтоб воспрепятствовать исполнению этого плана, надобно было деятельно помочь Августу. Но помочь ему было трудно. Русский посланник в Польше, князь Григорий Долгорукий[48], писал, что «в короле крепости немного; как у короля, так и в казне Речи Посполитой денег нет, но на польских дам, на оперы и комедии у короля деньги есть, одним оперным певцам дано на зиму 100000 ефимков». Русского посланника особенно должны были поражать эти издержки, ибо он знал, как просто и бедно жил в России шкипер и капитан Петр Михайлов. Долгорукий чрезвычайно наглядно изображает это страшное расслабление, овладевшее польским высшим сословием, которое на словах было готово воевать, но не было способно ни к какому движению: «Хотят они на коней сесть, только еще у них стремен нет, не по чему взлезть». «Надейтесь на бога, — писал Долгорукий Петру, — а на поляков и на саксонцев надеяться нельзя». Карлу XII легко было при таком расслаблении объявить Августа лишенным поль-

ского престола и провозгласить королем познанского воеводу Станислава Лещинского[49].

Петр не оставил Августа: с помощью русского войска тот взял у шведов Варшаву. Русские войска заняли Курляндию и Литву. Меншиков шел дальше и поразил шведов при Калише; Петр запировал в своем парадизе Петербурге, узнав, что его любимец одержал победу, «какой еще никогда не бывало». Но вслед за этим он узнал, что Август, чтоб спасти свою Саксонию от вторгшихся в нее шведов, помирился с Карлом, отказавшись от польского престола, следовательно, швед уже не увязнет более в Польше, и все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи. В конце 1707 года Карл XII двинулся на Петра, грозясь свергнуть его с престола.

Петр распорядился, чтоб в польских владениях не вступать с неприятелем в генеральную битву, вредя ему при всяком удобном случае, особенно при переправах через реки. Петр находился в затруднительном положении, потому что Карл подолгу останавливался, и неизвестно было, куда он направит путь. Петр в одно время укреплял и Москву, и Петербург. Только в июне 1708 года Карл переправился через Березину. После жаркого дела при Головчине русское войско отступило, и Петр был доволен. «Зело благодарю бога, — писал он, — что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько и что всю его армию одна наша треть так выдержала и отошла». Подождав несколько времени в Могилеве своего генерала Левенгаупта и не дождавшись, Карл повернул на юго-восток к реке Соже, потом на север к Мстиславлю.

У местечка Доброго князь Михайла Голицын[50] напал на правое неприятельское крыло и поразил его, когда же сам король пришел на помощь, то Голицын отступил в порядке. Петр был доволен и писал: «Я, как начал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал, и такого еще в сей войне король шведский ни от кого сам не видал. Боже! не отыми милость свою от нас впредь!»

В сентябре Карл повернул к Украине; сам царь 28 сентября перехватил спешившего к нему Левенгаупта при деревне Лесной, недалеко от Пропойска, и поразил наголову, взял всю армию и обоз, на который так надеялся Карл. «Сия у нас победа, — по словам Петра, — может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда такой не бывало, к тому же еще гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем: тут первая проба солдатская была». Карл вошел в Украину; малороссийский гетман Мазепа перешел на его сторону, перешли на его сторону запорожские козаки; но масса народная в Малороссии осталась верна русскому царю; Петр дал ей нового гетмана, Меншиков в виду шведов взял гетманскую столицу Батурин, которую защищали приверженцы Мазепы. Запорожская Сечь была разорена. Петр, по его словам, «с превеликою радостию услыхал о разорении

проклятого места, которое корень злу и надежда неприятелю была».

Карл обманулся во всех своих надеждах: после Мазепы и запорожцев он еще надеялся на Турцию, что воспользуется случаем и поднимется вместе с ним на Россию; но турки и татары не трогались; повсюду кругом было тихо; все соседние народы отказались принять участие в борьбе за ту или за другую сторону; все как будто притаило дыхание, дожидаясь, чем разыграется кровавая игра между Петром и Карлом, чем решится судьба Восточной Европы. Она решилась 27 июня 1709 года под Полтавою. «Доносим вам, — писал Петр своим, — доносим вам о зело превеликой и нечаемой виктории, которую господь бог чрез неописанную храбрость наших солдат даровать изволил. Вся неприятельская армия фаетонов конец восприяла. Ныне уже совершенно камень во основание С.-Петербурга положен с помощью божиею».

Превеликая виктория! Спустя полтораста с лишком лет историк имеет право прибавить к словам победителя, что эта виктория была одним из величайших всемирно-исторических событий; могущество Швеции, созданное искусственно посредством завоеваний, было сокрушено; исчезла завеса, скрывавшая Россию от остальной Европы, и пред изумленными народами Запада явилось новое обширное и могущественное государство, умевшее победить вождя и войско, считавшееся до сих пор непобедимыми. При громе Полтавской битвы родился для Европы, для общей европейской жизни новый великий народ; но и не один народ: при громе этой битвы родилось целое новое племя, племя славянское, нашедшее для себя достойного представителя, при помощи которого могло подняться для сильной и славной исторической жизни. В европейской истории наступила новая эпоха.

Чем славнее, многозначительнее победа, тем выше поднимается победитель. Но Петр поднимается ли высоко для нас как полтавский победитель? Нет, в глазах историка он стоит так высоко, что титул победителя, даже полтавского, является чем-то малым и односторонним. В этом победителе мы не видим ничего воинского, ничего геройского в тесном смысле военном, никакого пристрастия к войне, никакого стремления к военной силе. Мы видим великого человека, народного героя, сознательно удовлетворяющего известной народной потребности; раз начертал он свой преобразовательный план и выполняет его неуклонно; война, военный успех входят в этот план только как средство. Мы видели это необыкновенное спокойствие и ясность взгляда при оценке каждого военного действия; эти спокойствие и ясность не покидают Петра и при оценке Полтавской победы. Война начата как тяжелая необходимость для произведения экономического переворота в народной жизни, для приобретения моря; после долгих, тяжких трудов и опасностей одержана блестящая, решительная победа, сокрушившая все силы врага, изумившая Европу; как же

победитель смотрит на значение победы? Она, по его взгляду, кладет камень в основание приморского городка, дает средство закрепить для России берег западного моря. Война, победа исчезают в своем самостоятельном значении, исчезает полководец, победитель, но тем выше поднимается великий человек, вождь своего народа в великом движении, обхватившем весь организм народной жизни.

Чтение девятое

Война входила в общий план преобразований как средство для достижения сознанных, определенных целей этого преобразования, входила в общий план как школа, дававшая известное приготовление народу, приготовление, необходимое в его новой жизни, новых отношениях к другим народам. Поэтому мы должны ожидать, что война не останавливала преобразовательного движения в других сферах. Мы видели, что еще перед Северною войною, в конце XVII века Петр высвободил промышленное городское население из-под власти воевод и дал ему самоуправление, и было замечено, что подобные преобразования имели воспитательное значение для общества, приучая его членов к самостоятельной деятельности и деятельности сообща, уничтожая рознь, причину слабости гражданского духа в народе. Упомянутое преобразование в жизни промышленного городского населения не стояло одиноко и бессвязно. Целая система подобных учреждений проводилась неуклонно и сильно Преобразователем, и, разумеется, только такая система и может дать историку право говорить о воспитательном значении преобразовательной деятельности.

Знакомые уже с характером деятельности Петра, с его постоянным движением из одного угла обширной страны в другой, то в Петербург, то в Воронеж, то в Азов, то в Литву мы должны ожидать изменений и в высшем управлении. Прежде царь постоянно находился в Москве, и дума, совет, собиравшийся при нем из трех знатнейших чинов — бояр, окольничих и думных дворян, постоянно была под влиянием этого царского присутствия; как угодно было государю вести совещание, так оно и велось, не было никаких форм, которые бы определяли степень участия и ответственности членов думы. Но теперь царь часто и подолгу отсутствует из Москвы, приедет на короткое время, укажет на множество необходимых дел и уедет. Члены думы остаются одни с обязанностию обсудить, как что лучше сделать и непременно сделать, и скоро сделать; царь не такой человек, чтоб хладнокровно смотреть на медленность, на делание кое-как, чтоб принимал какие-нибудь отговорки. И вот старая дума должна усилить свою деятельность: царя нет, нельзя ждать, как он укажет в трудном деле, надобно решить самим трудное и исполнить. Тяжело,

непривычно. Один кто-нибудь скажет, как надобно сделать: и прекрасно, что долго думать, сделать так. И вдруг царь разгневался: не так. Что же делать? Кто виноват? Никто, все так решили. Но царь принимает свои меры, приходит требование, бесцеремонное в выражениях, как все требования петровские, требование, чтоб они всякие дела, о которых советуются, записывали и каждый бы своею рукою подписывал, и без того никакого дела не решать, «ибо этим дурость всякого будет явна». Каждый, следовательно, должен обдумать дело, подать свое мнение и подписать его, согласился с другим и это обозначится подписью, каждый должен принять на себя ответственность за свое мнение, ибо уже не скроется, что кто думал; надобно думать да и думать, а то придется объявить свою «дурость».

И вот некоторые отзываются с готовностию на призыв к самостоятельной деятельности, другие, более ленивые по натуре, невольно должны становиться на свои ноги, приучаться к самостоятельной деятельности, думать, изучать дело, справляться, советоваться с другими, а сфера все более и более расширяется, беспрестанно слышатся слова: в такой-то стране делается так, в другой иначе, и побуждение к деятельности не ослабевает, не ослабевает царское требование — не сметь своего суждения не иметь.

В старину, если посылали кого-нибудь исполнить известное поручение, то давали ему длинный наказ, инструкцию, определявшую с точностию каждое его движение, длинный свивальник, которым пеленали взрослого человека. Действия свивальника оказывались тотчас же, отнимая всякую свободу движения: как скоро исполнитель поручения, спеленатый наказом, встречал какое-нибудь малейшее обстоятельство, непредвиденное в наказе, он останавливался и слал из дальнего места в Москву за новым наказом; между тем благоприятное время уходило невозвратно. Петр не мог равнодушно сносить этой привычки русских людей к пеленкам и требовал, чтоб посланные с поручением поступали по своему рассуждению, смотря на оборот дела, ибо «издали, — писал он, — нельзя так знать, как там (на месте) будучи». И повторял: «Во всяком к вам указе всегда я по окончании письма полагался на ваше по тамошнему состоянию дел рассуждение, что и ныне подтверждаю, ибо нам, так отдаленным, невозможно конечного решения вам дать, понеже случаи ежедневно переменяются».

Более десяти лет старинная дума привыкала к новому положению, управлять во время отсутствия царя, привыкала к самостоятельной деятельности и к необходимо связанной с такою деятельностию ответственности, ответственности пред царем, о котором знала, что не пропустит никакого упущения, не посмотрит ни на что сквозь пальцы. Между тем новые слова для выражения новых отношений незаметно входят в употребление. Высшее правительственное собрание называется уже *конзилиею* и члены

его — министрами. В 1711 году эта конзилия министров получила новое название и более определенное значение и устройство: учрежден Правительствующий Сенат, которому каждый обязан был послушанием, как самому царю, и в то же время явилась новая форма присяги государю и государству. Правый суд, наказание несправедливых судей и ябедников, соблюдение строгой бережливости в расходах, умножение доходов, снабжение войска людьми, усиление торговли — вот первые обязанности Сената, предписанные ему учредителем. Дела решались единогласно, каждый указ должны подписывать все члены собственноручно; если один откажется подписать, то приговор остальных недействителен, но несоглашающийся сенатор должен изложить причины своего несогласия на письме. За два года перед тем Россия была разделена на 8 больших губерний, подразделявшихся на области, которыми управляли по-прежнему воеводы. Теперь губернаторы стали подчинены Сенату, в канцелярии которого безотлучно находились комиссары из каждой губернии для приема указов и подачи ответов на вопросы по делам, касавшихся их губерний. Считались нужными эти посредники, живые и скорые ответчики на запросы правительствующего, ибо губернаторы, по непривычке к своему положению, к разнообразию дел в обширных областях, при недостатке способных, знающих, привычных и благонамеренных людей, отличались медлительностью в своих распоряжениях и ответах. Но делать нечего, надобно было и губернаторам проходить свою тяжелую школу, приучаться к быстроте движения, потому что царь не выносил медленности, она его приводила в печаль, а печалить Петра было нельзя без опасных последствий. Так, в начале 1711 года Петр писал Меншикову: «Доныне бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы зело раку последуют в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг на первой неделе (поста), а потом буду не словом, но руками с оными поступать».

Но признак великого человека — приготовленность к удаче и неудаче; неудача ожидается, как естественное следствие новости дела, непривычки к нему, человек должен знать, что в деле человеческом нет совершенства, должны непременно обнаружиться темные, нежеланные стороны. Видя эти неудачи, несовершенства, темные стороны нового дела, люди обыкновенные тревожатся, теряют веру в пользу нового дела, кричат, зачем оно, прежде лучше было, или, по крайней мере, оно рановременно, надобно было подождать, пока народ, общество будут к нему готовы, и вот стремление, если не уничтожить новое дело, то хотя изменить, ограничить его. Но великий человек, сознавши необходимость известного дела, не тревожится первою неудачею, несовершенствами; он может печалиться, оскорбляться неприготовленностию людей, особенно если это нравственная неприготовленность, но не придет в отчаяние, не бросит дела, а усилит только внимание к нему, уход за ним. Мы не приходим в отчаяние от того, что

новорожденный ребенок является таким слабым существом, не может ходить, а спокойно ждем, когда он окрепнет и станет ходить, и тут не приходим в отчаяние, что он еще плохо держится на ногах, часто падает. Мы смотрим спокойно на эти явления, ибо привыкли смотреть на них, как на естественные и необходимые; но не все способны привыкнуть к признанию общих законов в явлениях, не все привыкли в каждом новом деле видеть новорожденного ребенка, которому надобно окрепнуть, а для этого нужен старательный уход, устранение всех вредных влияний. Новые дела, а их было много при Петре, приносили ему, особенно вначале, много огорчений тем, что шли не так, как бы хотелось; но огорчение не переходило в отчаяние, и после неудач в делах внутренних Преобразователь являлся так же велик, как после неудачи первого азовского похода, как после нарвского поражения.

Мы видели, что одним из первых внутренних преобразований его было высвобождение городского промышленного народонаселения от власти воевод, самоуправление промышленного сословия. Дело было новое и пошло неудачно. И здесь, как во всех неудачах коллегиального управления при Петре; была поверка древней Руси, и поверка мнениям о древней Руси. Если б в древней, допетровской Руси был силен так называемый общинный быт, была сильная привычка к общему действию, к соединению сил, привычка отзываться на общее дело и делать его усердно, уменье видеть в общем интересе охрану интереса частного, привычка сильных для сохранения своей силы, нравственного и политического влияния сторониться с своим интересом пред интересом слабых поодиночке, но сильных опять тою же привычкою к соединению, — если бы все эти привычки были сильны в древней Руси, то когда Петр, отстраняя существовавшие до него препятствия, призывал русских людей к общему действию, они должны были бы явиться с великою охотою и дело пошло бы чрезвычайно успешно с самого начала. Но если мы видим явление обратное, то естественно и необходимо должны придти к заключению, что привычка к общему делу была очень слаба в древней Руси, и в деятельности великого человека, великого государя, который в своих учреждениях завел школы для общего дела, мы должны видеть благодетельный почин народного воспитания.

Мы видели, что на выборных для городского самоуправления, или так называемых бурмистров, возложен был сбор казенных доходов и поверка их, и вот оказались сильные беспорядки при этой поверке и казнокрадство в обширных размерах. Обнаружился и другой признак крайней слабости в деле самоуправления, неуменье соединенными силами слабых сдерживать сильных, которые стремятся к господству, к удовлетворению своим личным выгодам на счет слабых, порозненных и потому не могущих выставить никакого сопротивления. Такое положение есть самое опасное для общества или учреждения, которому дано самоуправле-

ние; освобожденное от тяжести внешней власти, получивши свободу управляться само собою, выбирать из своей среды людей, которые должны заведывать его делами, общество или учреждение выбрало себе господ, которые стремятся употребить во зло свое значение и могут делать это тем безнаказаннее, тем благовиднее, что они выборные представители свободного общества или учреждения, действуют во имя его. Рождается вопль: это же выиграно? Прежде не было так тяжело, прежде было лучше, надобно возвратиться к прежнему или, по крайней мере, переделать, изменить новое сообразнее существующим средствам, ясно, что люди неспособны к новому делу, нет людей, надобно их приготовить, воспитать; так вопят люди, не знающие, что известная деятельность и есть необходимое приготовление, воспитание. Но эти вопли способны сильно смутить, ввести в искушение Преобразователя. Петр выдержал искушения. Его сильно печалил неудачный ход новых дел; человека с орлиным полетом сильно оскорбляли и раздражали люди, которые, по его выражению, *подобились раку* в своем движении; но он не потерял веры в свое дело и в свой народ, остался верен мысли о необходимости деятельной школы, которую должен был проходить народ и в которой должен был учиться неудачами, остался верен мысли, что каждое учреждение должно иметь свою Нарву, чтоб иметь Полтаву, остался непоколебим в проведении всюду коллегиального устройства как устройства, имевшего воспитательное значение для народа.

В этой вере в дело и народ Преобразователя поддерживал тот живой сильный отклик, который послышался отовсюду, когда вождь кликнул клич по дружину, по смелых, неутомимых работников. Не все были люди, которые вначале раку подобились в новом деле; поднялись и молодые орлята, которые, сгорая нетерпением, стали торопить дело, забегали вперед, требовали мер решительных и крутых, революционных, как мы теперь называем. Сильное движение преобразовательной эпохи, новые предметы и учреждения, расширение сферы, противоположность толков — все это должно было поднять людей живых и способных в разных слоях общества, в самом низшем, возбудить в них надежду на более широкую деятельность. Это движение, новости, обхват целого общества каким-то другим воздухом выразилось еще в 1694 году одним, если угодно, комическим или трагико-комическим, но любопытным явлением: явился в Москву крестьянин и потребовал у правительства средств сделать крылья, потому что он сумеет полететь, как журавль. Опыт кончился неудачно и очень печально для русского Икара; но скоро движение пошло более серьезным образом.

Мы не раз упоминали о том, что преобразование имело экономический характер; вопрос о бедности и богатстве, о бедности России сравнительно с другими государствами, о средствах сделать ее богатой, сделать для нее возможным удовлетворение громадным издержкам преобразования, предпринимаемого для уси-

ления и обогащения России, — этот вопрос был на первом плане для всякого возбужденного движением человека, и вот снизу является ряд людей, способных, бывалых, которые предлагают правительству свои планы относительно увеличения доходов, свои услуги в этом важном деле. Мысли выслушаны, услуги приняты, и некоторые из этих людей, отмеченных в народе названием *прибыльщиков*, стали видными деятелями этой эпохи. Взгляд прибыльщиков, их учение, их теория высказались в известном сочинении крестьянина Посошкова «*О скудости и богатстве*» [51], которое самым названием дает нам знать, что в это время более всего лежало в сердце у мыслящего русского человека, пробужденного движением преобразовательной эпохи. Обогащение России посредством обеспечения промышленного труда и трудящегося человека от печального положения суда, управления и сословных отношений, завещанного древнею Россиею, причем Посошков предлагает самые крутые, восточные, турецкие меры, показывающие, что сам автор принадлежит половиною своего нравственного существа древней России; сильное сочувствие Преобразователю, жалоба на то, что он в меньшинстве тянет в гору, тогда как большинство стремится под гору, — вот основные черты сочинения Посошкова.

В практической деятельности из этих людей, поднятых снизу вверх преобразовательным движением, был знаменит прибыльщик Курбатов. В одном из приказов подкинуто было письмо. Вместо извета о каком-нибудь злом умысле государь нашел в письме проект гербовой или *орленой* бумаги. Гербовая бумага, как важный источник дохода, была немедленно введена. Сочинителем проекта оказался Курбатов [52], дворецкий боярина Бор[иса] Петр[овича] Шереметева, человек очень бывалый и не в одной России; вместе с господином своим он путешествовал и за границей. Курбатов был щедро награжден, пожалован в дьяки Оружейной палаты и получил возможность уже не подметными, но явными письмами сообщать царю свои мнения обо всем. Курбатову Петр поручил устроить порядок в Московской ратуше или бурмистрской палате, в которой, как мы упоминали, дело шло дурно по непривычке к новому делу, по неохоте заниматься общим делом, неприносящим непосредственной выгоды частному человеку, или по стремлению извлечь из общего дела как можно больше частных выгод, прокормиться на счет казны.

Петр не пришел в отчаяние от картины тех злоупотреблений и беспорядков по ратушному, т. е. по финансовому, управлению, какую представил ему Курбатов; он не дотронулся до учреждения, поручив только временно надежному человеку уничтожение беспорядков и злоупотреблений. Печальный пример коллегиального управления в ратуше не отнял у него веры в достоинство этой формы, и он немедленно ввел ее в областное управление, велел всякие дела с воеводами ведать дворянам, в больших городах человека по четыре и по три, а в меньших — по два, указы чинить дворянам обще с воеводами, а одному воеводе без дворян

никаких дел не делать. Легко понять, как должны были оскорблять и раздражать Петра известия о страшном казнокрадстве в то время, когда при громадном увеличении расходов нужно было изыскивать все средства к увеличению доходов в бедном государстве, когда народ должен был платить тяжелые подати, когда на него наложен был великий труд, когда сам царь, подавая пример, трудился небывалым образом и для уменьшения расходов жил чрезвычайно просто с отстранением царской обстановки.

Не одна продолжительная и тяжелая война, не одно переустройство войска и заведение флота, построение крепостей требовали больших расходов: Россия должна была войти в систему европейских держав, живших общею жизнию и потому постоянно сносившихся друг с другом, наблюдавших за движениями, за внутреннею жизнию друг друга. Для этого каждый двор имеет при других дворах постоянных представителей: Россия должна была выполнить это необходимое условие вступления в общую европейскую жизнь. Мы уже видели, как ей трудно было это сделать, и как Петр с глубокою верою в способности своего народа решил трудный вопрос, признавши и здесь необходимость практической школы, и назначил на важнейшие дипломатические посты русских людей. Но мало было, чтоб представители России при чужих дворах вели себя искусно и достойно: они должны были поддерживать достоинство своего двора внешнею обстановкою, на что нужно было много денег; кроме того, посланники должны были иметь в своем распоряжении значительные суммы для подкупа влиятельных лиц, для узнания нужных секретов. Для удовлетворения всем этим требованиям прибыльщики изыскивали всевозможные средства; взято было все, что только можно было взять; отдано было на откуп все, что можно было отдать. Отнято было право владельцев мест, где производились торжки, брать пошлину на себя, пошлина стала идти в казну, уничтожены были так называемые тарханы, по которым известные лица освобождались от платежа пошлин. У бедного народа была роскошь — дубовые гробы: и этот предмет роскоши казна взяла себе и продавала против покупной цены вчетверо дороже; наложена была пошлина на бороду и усы: кто не хотел бриться, отплачивался деньгами. Все эти тяжести и труд русский народ должен был поднять временно, чтоб вдвинуть Россию в Европу и приобрести средства усиления и обогащения, а эти средства состояли в искусстве и знании. Петр прямо и для всех понятно указывал своему народу цели его и своей чрезвычайной деятельности — внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли. Так, эти цели прямо были высказаны в знаменитом манифесте 1702 года о вызове иностранцев в Россию: «Мы побуждены были, — говорит царь, — в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши

подданные могли тем более и удобнее научиться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах».

При таком практическом взгляде легко понять, какого рода школы должны были явиться в Москве; явились школы математическая и навигаторская, где первыми преподавателями были три англичанина. Школы эти находились в ведении Оружейной палаты, т. е. адмирала Головина и дьяка, известного нам Курбатова. Скоро после заведения школ знаменитый прибыльщик уже радовался, что многие всякого звания и зажиточные люди познали сладость науки и отдают в те школы детей своих, а иные молодые люди сами приходят с немалою охотою. Мы уже упоминали о правиле Петра, которого держались и все его сотрудники, — брать иностранцев, но строго наблюдать за ними, чтоб они не теснили русских и как можно скорее выдвигать последних, чтоб они могли заменить наемников. Так и Курбатов немедленно к трем учителям-англичанам приставил помощника русского, Леонтия Магницкого, и заметим, что иностранцы «обязали себя к нему ненавистью», по выражению Курбатова, за отличное выполнение им своих обязанностей; Курбатов всеми силами поддерживал Магницкого, вследствие чего англичане должны были только усерднее исполнять свои обязанности. Этот Магницкий был автором знаменитой «Арифметики, сиречь науки числительной», изданной в 1703 году.

Для школ и для распространения сведений между любознательными взрослыми людьми нужны были книги на русском языке, прежде всего учебники. Понятно, что нужно было переводить их с иностранных языков, понятно, что дело перевода книг было одним из самых важных и самых трудных дел. Кроме страшной трудности передачи научных понятий на языке народа, у которого до сих пор не было науки, была еще трудность, происходившая от существования двух языков, резко различавшихся друг от друга, книжного, или так называемого церковно-славянского, и народного. Естественно, наука должна была избрать для себя последний язык, но ученые люди, знающие иностранные языки, переводчики привыкли к книжному языку, и живой язык народный был в их глазах языком подлых людей. Перевод книг, сказал я, был одним из самых важных и трудных дел, и мы уже должны ждать, что Петр усердно займется им: он не только указывал, какие книги надобно переводить, но и требовал переводы к себе, сам исправлял их и учил, как надобно переводить, учил, что не надобно держаться мертвого перевода слово в слово, но выразумевши смысл, передавать живым образом этот смысл совершенно удобопонятно для русского человека, т. е. совершенно соответственно складу русской речи, тогда как подстрочный перевод необходимо искажал русскую речь, давал ей чужие обороты. Так, он писал одному из переводчиков: «Книгу о фортификации, которую вы перевели, мы прочли: разговоры зело хорошо и внят-

но переведены; но как учить фортификации делать, то зело темно и непонятно переведено; не надлежит речь от речи хранить в переводе; но точию его выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее может быть!».

В 1707 году типографские мастера привезли из Голландии три азбуки «новоизобретенных русских литер». Этими литерами или так называемым гражданским шрифтом начали печататься книги с 1708 года, и первою книгою, напечатанною таким образом, была «Геометрия, словенски землемерие». Но как везде в деятельности Петра, так и здесь не было односторонности: царь поручил известному тогда ученому Поликарпову[53] написать русскую историю и в то же время приказывал переводить книги о событиях всеобщей истории, которые по господству древней истории и литературы в Европе были у всех в устах: книгу о Троянской войне, Квинта Курция о деяниях Александра Македонского[54].

Могущественное средство развития человека состоит в расширении сферы; человек развивается, когда переносится из бедной простой обстановки жизни, из круга немногих и постоянно повторяющихся явлений, в жизнь, обстановленную богаче, представляющую больше разнообразия предметов и явлений; сельчанин поэтому развивается, когда переносится в город, еще сильнее развивает путешествие, бывалость; но человек новой Европы приобрел еще средство развития, возможность участия в жизни всего современного человечества; это ведомости обо всем совершающемся в современности, ведомости, которые распространяются с такою быстротою посредством печати.

Петр, разумеется, не мог обойти и этого средства развития своего народа. До него знание того, что делалось в чужих странах, было привилегиею правительства; извлечения из иностранных газет (куранты) составлялись для царя и немногих приближенных особ и бережно хранились как тайна государственная. Петр хотел, чтоб все русские люди знали, что делается на свете, и с 1703 года начали издаваться в Москве «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах», и на первом же листке «Ведомости» объявили, что московские школы умножаются, сорок пять человек слушают философию, а в математической штюрманской школе больше 300 человек учатся и добре науки приемлют. Не забыто было и четвертое средство для народного развития. Как до Петра «Куранты» составлялись только для царского употребления, так и сценические представления давались только для потехи великого государя. Петр и то и другое ввел в народное употребление. На Красной площади построена была деревянная комедиальная храмина — для всех; как при царе Алексее, так и теперь, набрали подьячих из разных приказов и отдали их учиться немцу Куншту, который обязался учить их всяким комедиям. В репертуаре этого первого всенародного театра после пьес исторического содержания видим и пьесу «Доктор принуж-

денный» — это Мольеров «Лекарь по неволе»; играли также пьесы, нарочно сочиненные по поводу какого-нибудь важного события, торжества, напр[имер], в 1703 году по случаю взятия Орешка. Кроме этого всенародного театра театральные представления давались еще учениками Славяно-греко-латинской академии (новосияющих славяно-латинских Афин); здесь пьесы имели религиозное содержание, но иногда с примесью политических намеков.

Все эти средства развития, воспитания народного — и школы, и книги, и «Ведомости», и театр — представляли, разумеется, еще слабые начатки; чтоб сказалось их влияние, нужно было еще долго ждать, а между тем нельзя было не обратить внимания на некоторые печальные явления, которые были следствием крайне недостаточного народного воспитания в древней России: так, был обычай убивать младенцев, родившихся с физическими недостатками; Петр вооружился против этого варварского обычая, не признававшего в человеке человека и христианина, смертная казнь грозила людям, уличенным в его исполнении. После указа против убийства младенцев с физическими недостатками видим ряд указов о сохранении жизни и здоровья человека: запрещено хоронить мертвых ранее трех дней; учреждено было 8 аптек в Москве и закрыты зелейные лавки, где продавались так называемые лекарственные травы, от которых люди, как оказалось, умирали скорою смертию.

Любопытна прибавка в указе, чтоб в новоучрежденных аптеках не продавали вина. Страсть к вину русские люди вынесли из своей древней жизни в ужасающих размерах; смертные случаи в драках от пьянства были обыкновенным явлением; правительству нужно было смотреть за взрослыми, как за детьми, смотреть, чтоб они не имели при себе острых ножей — порежутся! И вот Петр запрещает носить остроконечные ножи, потому что многие люди в ссорах и драках и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти. Известно, в какой степени наши деревянные города терпели от пожаров: как начнется весна, так начнется в Москве, по выражению тогдашних образованных людей, Вулканус свирепствовать, пожаров по шести в сутки. Образованные люди к царю с просьбою укротить свирепство Вулкануса, и вот начинают делать черепичные крыши вместо тесовых, выписываются заливные трубы из-за границы, издается указ строить в Москве, в Кремле и Китае-городе каменные дома и располагать их по улицам и переулкам, а не внутри дворов, т. е. по европейскому, а не по азиатскому обычаю. Принимались меры, чтоб русский человек в городах мог спать спокойно, не боясь Вулкануса; но вот предстоит беда, нужда требует выехать за город, отправиться за несколько верст в другой город, в деревню: пишется духовное завещание, в семье плач, прощаются, как с человеком, идущим на войну, потому что дороги наполнены разбойниками. Правительству мало шведской войны, оно должно посылать роты с капитанами для сыску разбойников; капитану удалось поймать

10 знаменитых разбойников, кто ж они? Люди из низших слоев общества? Нет, это все помещики, которые разбойничали со своими людьми, нападали на чужие деревни, били и жгли.

Эти явления показывают нам, с каким обществом имело дело преобразование. В подобном обществе нет безопасности для слабого, и мы видим, как вследствие этого женщину необходимо спрятать в терем. Но это удаление женщины, бывшее необходимым следствием грубости нравов и отсутствия безопасности, в свою очередь производило еще большее огрубение нравов, ибо мужчина не привыкал сдерживаться присутствием существа, которому христианская цивилизация Европы дала нравственное величие, окружила уважением, противоборствуя материальным стремлениям в отношениях человеческих, заставляя сильного служить слабому, и ум не забываться перед чувством. Христианская цивилизация Европы признала в разделении человека по полам, на два пола первый, основной акт развития, т. е. разделения занятий. Это разделение занятий, представляющее мужчине внешнюю общественную деятельность и женщине внутреннюю домашнюю, лежит в основе цивилизации, сущность которой состоит в разделении занятий вообще или в том, что мы называем развитием. В состоянии варварства человек делает все или большую часть нужного ему сам, и потому одинок, потому дик; в состоянии цивилизации человек делает одно что-нибудь и потому может делать хорошо, совершенствовать свое дело, в отношении к другим необходимым предметам находится в зависимости от деятельности других и потому связывается с другими тесною, органическую связью, и люди необходимо становятся ближними друг другу. В словах «Не добро быти человеку единому» выразилось благословение развития, благословение цивилизации, которые и начались с разделением человека, с появлением жены подле мужа, Евы подле Адама, ибо здесь началось разделение занятий. Женщине предоставлена была внутренняя, домашняя жизнь, в которой главное дело — воспитание человека, требующего для своего нравственного развития и крепости продолжительного согревания женского, материнского чувства.

Но человек воспитывается для жизни общественной; отсюда необходимое требование от воспитывающего — требование знания этой жизни, а знание общественной жизни невозможно без участия в ней. Таким образом, отчуждение женщины от участия в общественной жизни и от того, чем возвышается и украшается общественная жизнь, противоречит ее значению, значению воспитательницы человека, представительницы и охранительницы наряда (порядка) внутренней, семейной, домашней жизни, ибо здесь, в этой жизни муж, сын и брат должны находить обновление сил для деятельности общественной. Нельзя отнять у женщины участия в общественной жизни, точно так как преступно втягивать ее в общественную деятельность и нарушать основное в человечестве разделение занятий, разрушать основу цивилизации. Есте-

ственно было стремление нашего древнего общества удалить женщину из общества, не представлявшего для нее ни физической, ни нравственной безопасности. Но мера была отчаянная; сильное лекарство, свидетельствуя о силе болезни, не могло в свою очередь не оставить вредных следов в общественном организме. Общественная жизнь от удаления женщины еще более беднела и грубела, а мужчина, не находя дома «помощи, приличной ему», беднел и грубел нравственно. Не исполнялась воля бога, создавшего женщину, чтоб человек имел помощь, приличную ему, как говорит писание, и женщина теряла свое значение: запертая и припрятанная, она становилась вещию, товаром; человек терял данное ему творцом право искать себе помощь, приличную ему, и брак нисходил на степень торговой сделки. Петр прекратил затворничество женщин, приказав приглашать их в общественные собрания; запретил рядовые сговорные записи, составлявшиеся в приказе крепостных дел; велел прежде венчания быть обручению за шесть недель, чтоб дать время жениху и невесте узнать друг друга, причем в случае, если не понравятся друг другу, получали свободу отказываться от вступления в брак. Русский человек перестал быть одинок в обществе и получил возможность иметь помощь, приличную ему.

Но уничтожая затворничество женщины, возвышая ее достоинства, Петр возвышал и достоинство человека вообще; запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать перед царем на колена, зимою снимать шапки пред дворцом. Петр говорил: «Какое же будет различие между богом и царем, когда воздается равное обоим почтение? Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству — вот почесть, принадлежащая царю». После этого не в праве ли историк сказать, что он изображает дела великого народного воспитателя?

Чтение десятое

В предыдущих беседах наших мы не раз указывали на воспитательное значение деятельности Петра Великого; естественно, что при этом он нуждался в помощи церкви; но церковь, чтоб дать желанную помощь в народном воспитании, нуждалась сама в помощи Преобразователя, ибо требовала преобразований. Жалобы на печальное нравственное состояние духовенства, на печальное состояние нравственности в монастырях, которые прежде имели такое важное значение в нравственном воспитании народа, на невежество духовенства, лишавшее его учительской способности в то время, когда оно более всего нуждалось в этой способности, когда нравственными, научными средствами нужно было защищать православие от своих и от чужих, от раскольников и западных иноверцев, жалобы на злоупотребления материальными

средствами в монастырях и архиерейских домах — все эти жалобы раздавались давно и громко между мирянами и самим духовенством на собраниях церковных. Петр, по своей природе, делавшей из него Преобразователя, не мог равнодушно слышать жалоб на какое-нибудь зло и отвечать на эти жалобы, на эти слова словами же, он немедленно отвечал на них делом, исправлением зла.

Поднять русское духовенство, давши ему могущество — науку, снабдивши его средствами восстановить свое учительское значение, свое нравственное влияние согласно с новыми потребностями, с новыми условиями, давши ему крепкое оружие для борьбы с враждебными влияниями; восстановить значение монастырей, противодействуя вовсе немонашеским побуждениям к монашеской жизни, прекративши злоупотребление материальными средствами обращением излишка этих средств на дела милосердия и просвещения; поднять белое духовенство, давши ему науку, учительскую способность и большие средства материальные, недостаток которых мешал успешному и достойному исполнению его обязанностей — вот преобразовательная программа Петра относительно церкви. Но кто станет приводить в исполнение эту программу?

До XVIII века в русской церкви был единый верховный пастырь сначала с титулом митрополита, потом патриарха [55], и мы видели, как тяжело было положение патриарха, когда Россия всколебалась и стала двигаться по новой дороге. Патриарх стоял между нескольких огней, между раскольниками, с одной стороны, между иноверными учителями и русскими учениками их, с другой стороны, без способности обличения, без нравственных средств противодействия тем и другим, без науки, которая должна была внушать уважение и сдерживать людей, служивших науке, разуму, говоривших и действовавших во имя их; положение вредное, невозможное для церкви и государства при слабости характера, при страдательном положении патриарха, вредное и при энергии, ревности в ту или другую сторону, ибо без просвещения могла ли быть ревность по разуму? Сюда присоединялись еще новые трудности: патриарх должен был приступить к экономическим преобразованиям, следовательно, должен был вооружить против себя значительную часть духовенства; энергические меры для водворения должной дисциплины в монастыре, для истребления тунеядства, находившего здесь себе прибежище, увеличивало число врагов, усиливало вопли. Одним словом, чтоб патриарх был в уровень своему положению, чтоб явился патриарх-преобразователь, ему следовало своими способностями, своею энергиею, силою воли приближаться к великому преобразователю-царю; но где было взять такого человека, где было взять двоих Петров Великих?

Нужно было пощадить русскую церковь от печального явления иметь подле царя Петра патриарха Адриана [56]. Скажут: «За-

чем же непременно Адриана?» Но если не Адриана, то надобно было пощадить Россию от соблазна столкновения царя с патриархом, который бы при силе воли отличался узким взглядом на трудное и опасное положение церкви; патриарх, несочувствующий преобразованиям, необходимо становился опорою недовольных, средоточием и вождем их, давал благословение их делу. В противном случае надобно было пощадить главного пастыря церкви, единого и потому принимающего на себя всю ответственность, пощадить от враждебных ударов, расточавшихся противниками преобразования, пощадить его от названия антихриста. Все эти удары принимал на себя человек силы, способный их вынесть; духовная власть отстранялась от преобразований, слишком для нее тяжких, и передавала их власти светской; единичное управление церковное упразднялось, естественно, за неимением человека, способного стать в уровень с своим положением, поднять бремя, слишком тяжелое для плеч одного человека, естественно, пролагался путь к разделению этой тяжести между многими, к коллегиальному управлению.

Петр говорил патриарху Адриану: «Священники ставятся малограмотные, надобно их прежде учить, а потом уже ставить в этот чин. Надобно озаботиться, чтоб и православные христиане, и иноверцы познали бога и закон его: послать бы для этого хотя несколько десятков человек в Киев в школы. И здесь в Москве есть школа, можно бы и здесь было об этом порадеть; но мало учатся, потому что никто не смотрит за школою как надобно. Многие желают детей своих учить свободным наукам и отдают их здесь иноземцам; другие в домах своих держат учителей иностранных, которые на славянском нашем языке не умеют правильно говорить, кроме того, иноверцы и малых детей ересям своим учат, от чего детям вред и церкви может быть ущерб великий, и языку нашему повреждение, тогда как в нашей бы школе, при искусном обучении, всякому добру учились». Царские слова были сказаны понапрасну: мог ли заботиться о школе и приготовлять священников к их званию человек, неимеющий сам образования? Чтоб поднять русские школы и образовать ученых священников надобны были ученые архиереи; в Великой России их взять было неоткуда, надобно было обратиться к Малороссии, вызвать оттуда ученых монахов и поставить их на архиерейские кафедры в Великой России. Петр так и сделал, а что выбор людей как везде, так и тут был хорош, был петровский выбор, доказательством служат имена, всем известные, имена Стефана Яворского, св[ятого] Дмитрия Ростовского, Филофея Лещинского, Феофана Прокоповича, Феофилакта Лопатинского [57].

Осенью 1700 года умер патриарх Адриан, и преемника ему не было. Рязанский митрополит Стефан Яворский назначен был только экзархом св[ятейшего] патриаршего престола, блюстителем и администратором, что показывало меру временную, переходную; можно было считать ее приготовлением к уничтожению

патриаршества, можно было ждать также, что патриарх будет, когда царь найдет способного человека, и действительно трудно сказать, был ли в это время уже решен Петром вопрос об уничтожении патриаршества. Можно рассуждать так: если бы Петр хотел сохранить патриаршество, то что ему мешало остановить выбор на том же Стефане Яворском или каком-нибудь другом архиерее из ученых малороссиян? Первая потребность была в распространении образования между духовенством, в надзоре за главною школою московскою, Академиею; патриарх из великороссиян не был способен к этому по неимению школьного образования; но патриарх из малороссиян удовлетворял этой главной потребности. Но мы должны перенестись в то время, когда на малороссиян в Великой России смотрели, как на чужих; занятие малороссиянами архиерейских кафедр возбудило сильное неудовольствие, разумеется, прежде всего между людьми, которые сами надеялись занимать эти кафедры и были отстранены пришельцами; но эти недовольные были свои, и потому их неудовольствие легко заражало массу.

Сильные следы этого неудовольствия у великороссийского духовенства на малороссийских архиереев мы находим даже 50 лет спустя, когда архиереи из великороссиян с ненавистию отзывались о своих предшественниках малороссиянах, об этих, по их словам, черкасишках никуда негодных и от людей переносили свое нерасположение к делу, к школам, заведенным архиереями-малороссиянами. Петр ввиду необходимости не счел позволительным уступить этому чувству, призвал малороссиян на архиерейские кафедры; но поставить патриарха из малороссиян было бы слишком. Притом, кроме неудовольствия своих, Петр должен был обращать внимание на внушения Константинопольского патриарха не ставить в патриархи малороссиян как подозрительных в неправославии, и особенно Стефана Яворского. Таким образом, все соединялось для того, чтобы затруднить дело и заставить Петра отложить его.

За назначением Яворского блюстителем патриаршего престола немедленно последовали преобразования. Дело суда и управления церковными имуществами сосредоточены были в монастырском приказе, отданном в ведение светскому лицу, боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину[58]. Для прекращения жалоб на беспорядки монастырской жизни, на тунеядство и соблазнительное бродяжничество монахов и монахинь из одного монастыря в другой, монахи и монахини были переписаны, и переход их из одного монастыря в другой запрещен, кроме важных законных причин; стража стала у ворот монастырских; монах и монахиня не могли выходить, кроме крайней необходимости и то на короткое время, мирские люди могли входить только в церкви монастырские во время богослужения; жить в монастырях не могли; писать монахи и монахини могли только в трапезе с позволения начальства; ибо оказывалось, что в кельях писались вовсе не душеспаситель-

ные вещи. Нельзя было никого вновь постричь без царского указа. Прежние монахи, говорил указ, содержали себя своими трудами и еще питали нищих; нынешние же нищих не питают, но сами чужие труды поедают, и потому монастырский приказ, где сосредоточивались доходы с монастырских имений, выдавал монахам на содержание известное количество денег и хлеба, остальное должно было идти на пропитание нищих в богадельни и в бедные монастыри, у которых не было вотчин. На монастырские доходы был построен в 1707 году в Москве за Яузою госпиталь, который служил вместе и медицинскою школою, в заведывании доктора-иностранца Бидлоо и русского лекаря Рыбкина. Чрез пять лет Бидлоо хвалился, что в госпитале вылечено больше тысячи больных, хвалился и быстрыми успехами своих русских учеников, которые в количестве 33 человек ежедневно имели дело со сто, а иногда и с 200 больными. Москва очень нуждалась в медицине; по указу Петра за 1703 год подана была священниками первая ведомость о числе родившихся и умерших; оказалось, что число смертных случаев слишком 2000 превышало число рождений.

Деньги из монастырского приказа, т. е. собираемые с монастырских имений, шли также на печатание книг и на школы для духовенства, которые должны были заводиться и в других епархиях, кроме московской. Указ 1708 года запрещал посвящать в священники и дьяконы, принимать в подьячие и никуда священнослужительских детей, которые не хотят учиться в школах. Разумеется, этот указ мог служить только побуждением к начатию школьного дела. «Что человека вразумляет, как не учение?» — писал св[ятой] Димитрий Ростовский. Он имел печальную возможность доказывать справедливость своих слов примером священников, каких он нашел в своей епархии и какие, разумеется, были во всех других епархиях: священнические сыновья приходили к нему ставиться на отцовские места; митрополит спрашивал их, давно ли причащались, и получал в ответ, что и не помнят, когда причащались. Св. Димитрий завел школу при своем доме; он сам должен был исполнять должность учителя, ибо где же было взять хороших учителей? При таком состоянии духовенства, разумеется, расколу было легко расширяться. «С трудом, — говорит св. Димитрий, — можно было найти истинного сына церкви: почти в каждом городе изобретается особая вера, простые мужики и бабы догматизуют и учат о вере». Такое положение церкви заставило св. Димитрия не ограничиваться устною проповедию, но вооружиться против раскольничьих учителей особою книгою, знаменитым «Розыском о раскольничьей вере». И люди, не принадлежавшие к расколу, обривши бороды по указу, сомневались в своем спасении, думая, что потеряли образ божий и подобие; священники не умели их успокоить, они обратились к митрополиту, и тот должен был писать рассуждение «Об образе божии и подобии в человеке».

Относительно школ для духовенства, разумеется, надобно было ограничиваться самым существенным, во-первых, потому, что учителей не было. Новгородский митрополит Иов завел было в своей школе преподавание греческого языка, но скоро учителей взяли в Москву. С другой стороны, не было денег. Тобольский митрополит Филофей Лещинский писал, что надобно в его школе ввести преподавание латинского языка и принуждать учиться детей всякого звания. Петр велел ему ответить, что он должен обратить особенное внимание на преподавание славянского языка и того, что необходимо знать священнику и дьякону, катехизиса православной веры, чтоб могли учить мирских людей.

Из деятельности Димитрия Ростовского можно видеть, какую пользу приносили русской церкви архиереи из ученых малороссиян, вызванных Петром для распространения образования в духовенстве. Ученый ростовский митрополит, завещавший постлать свой гроб черновыми бумагами своих сочинений, отличался не одною ученостию: церковь причла его к лику святых. Но в лике святых Димитрий не один из числа современных Петру архипастырей и сотрудников его. Церковь прославила также епископа воронежского Митрофана, знаменитого не школьною ученостию, но святостию жизни и усердным радением о благе России, России преобразовывавшейся. Митрофан прославлял намерение Петра относительно заведения флота и убеждал народ всеми силами помогать своему царю в великом деле. Но одними словами воронежский епископ не ограничивался: он привез Петру последние остававшиеся в архиерейской казне 6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом отсылал накоплявшиеся у него деньги к государю или в адмиралтейское казначейство с надписью: «на ратных». Петр горько оплакивал кончину святого старца и, разумеется, не раз потом должен был вспоминать о воронежском епископе, когда слышал о неудовольствиях и жалобах на тяжкий труд, лишения, пожертвования, наложенные на русских людей трудным делом преобразования.

Некоторые архиереи не могли переносить ограничения своих доходов вследствие учреждения монастырского приказа; они не хотели понять, что если бы они более или менее подражали Митрофану Воронежскому и Димитрию Ростовскому, то не было бы Монастырского приказа, и ненавистный им начальник этого приказа, Мусин-Пушкин, не нападал бы, по их выражению, на церкви божии. «Какое мое архиерейство, что мое у меня отнимают? Как хотят другие архиереи, а я за свое умру, а не отдам, шведы бьют, а все за наши слезы», — говорил нижегородский митрополит Исайя. Такие выходки со стороны пастырей, разумеется, должны были действовать на мирян, которые так вопили против тяжких поборов людьми и деньгами, против того, что не знают покоя от сильных движений преобразования, от этих новизн, от этих беспрестанных новых требований правительства. До нас дошли заявления этих неудовольствий, историк не может отверг-

нуть их, историк должен был бы предположить их, если б даже его источники и ничего об них не говорили.

Неудовольствие было и выражалось иногда резкими словами, Преобразователя называли антихристом, царем не настоящим, подмененным или при самом рождении или во время заграничного путешествия; но собственно в Великой России далее слов не шло. То была страна земских людей, тех сильных людей, которые в начале XVII века выдержали смуту и низложили ее, и которые теперь, в начале XVIII века выдерживали тяжести преобразования. Здесь неудовольствие не могло обнаружиться на деле восстанием против правительства сильного, разумного, благонамеренного, народного в смысле охранения высших народных интересов, а не долгополых кафтанов; здесь неудовольствие не могло обнаружиться восстанием против правительства, умевшего извлечь лучшие силы из народа и сосредоточить их около себя, около Преобразователя, следовательно, на стороне преобразования были лучшие, сильнейшие нравственно люди; отсюда то сильное, всеобъемлющее движение, которое увлекало одних и не давало укореняться враждебным замыслам других; машина была на всем ходу; можно было кричать, жаловаться, браниться, но остановить машину было нельзя. И вот в Москве, около Москвы, во всей Великой России спокойно, несмотря на то, что царь редко живет в Москве; царя нет, по-видимому, но чуется всюду присутствие нравственной силы, нравственного величия. Неудовольствие обнаруживается на деле, восстаниями только на окраинах, в степях. В то время как Россия устремилась за новою жизнию к западному морю, степь, оттягивавшая столько веков Россию к Азии, степь подала протест. Степь, козаки одно прибежище, одна надежда для недовольных, которых покой был нарушен тряскою, разнообразием нововводимой европейской жизни и которые хотели восстановить прежнее азиатское, степное однообразие.

В половине 1705 года, когда царь был с войском на западе, восстание за старину вспыхнуло в самом отдаленном застепном углу, окруженном козаками, в Астрахани. Место было выбрано самое удобное и выбрано оно было недовольными из разных городов; между заводчиками бунта встречаем и ярославца, и москвича, и синбирян, и нижегородцев; тут действуют раскольники, тут же действуют и стрельцы. В то время, когда Преобразователь старался поднять и укрепить русского человека наукою и самостоятельным упражнением своих сил, поставить его прямо перед каждым явлением с способностию допрашивать каждое явление о его смысле; заводчики восстания в Астрахани спешили пользоваться младенческим доверием застепного русского народонаселения и поднимали его слухами, что будет запрещено русским людям жениться, а всех русских девиц выдадут за немцев. Восстание вспыхнуло. Зачинщики полагали главную надежду на козаков: с их помощию они думали усилить смуту и провести ее в сердце государства, до самой Москвы. Но зачинщики обману-

лись в своей надежде: бунт не пошел далее Красного и Черного Яра, потому что на Дону козаки остались в бездействии: здесь было много недовольных, но они не были еще готовы, были застигнуты врасплох приглашением астраханцев стать вместе с ними за «брадобритие»; главное, у них не было вождя; астраханские зачинщики сделали большую ошибку, не снесшись предварительно с недовольными на Дону, сделали большую ошибку, отправив возмутительные письма прямо в Черкаск к правительству донскому, тогда как атаманы и старые козаки никогда не начинали восстаний, бунты вспыхивали не в Черкаске, а в дальних козачьих городках, наполненных недавними беглецами, так называемою голытьбою, искавшею случая побуйствовать и добыть себе зипун, по козацкому выражению.

Петр был в Москве, когда получил известие об астраханском бунте, и сначала сильно встревожился, предполагая, что козаки пристанут к бунту. Какое важное значение придавал он событию, видно из того, что сейчас же отправил против Астрахани фельдмаршала Шереметева. Весть, что козаки не приняли участия в бунте сильно обрадовала Петра, который приписал это счастливое обстоятельство особенной милости божией: «Господь, — писал он, — изволил не в конец гнев свой пролить и чудесным образом огнь огнем затушил, дабы мы могли видеть, что все не в человеческой, но в его воле». Астрахань одна не могла держаться, Шереметев взял ее, и волнение прекратилось.

Одна опасность прошла; но в 1708 году, когда Карл XII был в русских пределах, когда Петр должен был сосредоточить все свои силы для борьбы с Западом, с Европою, поднялась против него Азия: на восточной окраине вспыхнул башкирский бунт и одновременно заволновались донские козаки, вспыхнул булавинский бунт. Мы уже упоминали, что распространение русских владений на Востоке, по Волге, Каме и за Уральскими горами было быстро, легко и собственно носит характер колонизации, а не завоевания; но жившие здесь народцы, обложенные данью, неравнодушно сносили зависимость от России и возмущались при первом удобном случае в продолжении XVI и XVII веков, особенно были опасны те из них, которые будучи магометанами, смотрели на турецкого султана как на естественного главу своего и ждали от него избавления от ига христианского. Теперь был случай удобный: русский царь занят на Западе тяжкою борьбою, и нельзя допускать его до торжества в этой борьбе: этот царь сильнее всех прежних царей, он уже взял Азов у султана; победит своих врагов на Западе — Востоку, магометанству будет беда. И вот магометанство поднимается; уфимский башкирец, выдавая себя за султана башкирского и святого, ездит в Константинополь, в Крым, волнует горские народы Кавказа, волнует кочевников в степях подкавказских; русские раскольники, переселившиеся в эти страны, пристали к магометанскому пророку, который в начале 1708 года осадил русскую пограничную крепость на Тереке.

Терский воевода отсиделся в осаде, подоспевшее из Астрахани войско разбило и взяло в плен пророка; но дело этим не кончилось: пророк уже успел переслаться с своими башкирцами, которые и поднялись все, к ним пристали и татары Казанского уезда; с лишком 300 сел и деревень, с лишком 12 000 людей погибло от этого бунта; но дикари не могли стоять против русских, хотя и небольших отрядов, которым и удалось сдержать башкирцев, не допустить их до соединения с донскими бунтовщиками.

Мы уже говорили об отношениях козаков к земским людям и государству, отношениях, враждебных изначала. Легко понять, что при Петре отношения эти должны были измениться и измениться в пользу государства; Преобразователь был рад службе донцов, но не хотел, чтоб государство слишком дорого платило за эту службу. Мы знаем, что он призвал свой народ к великому и тяжкому труду и ничто не могло его так раздражить, как тунеядство, стремление избежать труда. Народонаселение и без того было мало, ничтожно сравнительно с пространством государственной области, а потребность в людях, в их труде, в их деньгах, приобретаемых трудом и часть которых должна была идти на государственные нужды,— эта потребность увеличилась. Легко понять, что при таких условиях Петр не мог сочувствовать людям, которые бежали от труда, и людям, которые принимали беглецов и поставляли свое главное право в невыдаче их. Такое право приписывали себе козаки: «С Дону выдачи нет»,— отвечали они постоянно государству на его требования выдачи. Петр не мог признать этого права. Землевладельцы жаловались, что они разоряются от побегов, платя за беглых всякие подати *спуста,* правительство берет с 20 дворов человека в солдаты, с 10 дворов — работника, а беглые крестьяне, живя в козачьих городках, службы не служат и податей не платят.

Царь указом 1705 года велел свесть козачьи городки, построенные не по указу, не на больших дорогах, и жителей их поселить по большим дорогам, и никаких беглецов не принимать, за укрывательство — вечная каторга, а главным заводчикам — смерть; всех пришлых людей, которые пришли после 1695 года, т. е. таких, которым не вышла десятилетняя давность, отослать в русские города, откуда кто пришел, потому что, говорит указ, работники, будучи наняты на казенные работы, забрали вперед большие деньги, и не желая работать, бегали и бегают в эти козачьи городки. Указ не исполнялся, был повторен, и опять не исполнялся. Тогда в 1707 году Петр отправил на Дон полковника князя Юрия Долгорукого с отрядом войска для отыскания беглых и высылки их на прежние места жительства. Внезапно, ночью на Долгорукого напали козаки и истребили весь отряд вместе с предводителем. Вождь козаков в этом деле был бахмутский атаман Кондратий Булавин[59]. Другие козаки говорили Булавину: «Заколыхали вы всем государством: что вам делать, если придут войска из России, тогда и сами пропадете, и нам придется пропадать».

«Не бойтесь,— отвечал Булавин,— начал я это дело не просто, был я в Астрахани, в Запорожье, на Тереке; астраханцы, запорожцы и терчане все мне присягу дали, что скоро придут к нам на помощь; пойдем по козачьим городкам, приворотим их к себе, потом пойдем дальше, наполнимся конями, оружием, платьем; пойдем в Азов и Таганрог, освободим ссылочных и каторжных, и с этими верными товарищами пойдем на Воронеж и потом до самой Москвы».

Таким образом, в Москву в одно время собрались два гостя: Карл XII с образцовым западноевропейским войском и Кондратий Булавин с ссыльными и каторжными. Булавин разослал призывные грамоты: «Атаманы-молодцы, дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто похочет с атаманом Кондратием Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в горные вершины Самарские». Так против призыва Петра к великому и тяжелому труду, чтоб посредством его войти в европейскую жизнь, овладеть европейскою наукою, цивилизациею, поднять родную страну, поднять родные народы, дать новых деятелей в историю человечества,— против этого призыва раздался призыв Булавина: «Кто хочет погулять, сладко попить да поесть,— приезжайте к нам!» И призыв Булавина отличался откровенностию, призывались прямо воры и разбойники. На Запорожье решили: позволить Булавину прибирать вольницу, а пойти с ним на великороссийские города тогда, когда он призовет к себе татар, черкес и калмыков. Характер явления высказывался ясно: поднималась степь, поднималась Азия, Скифия на великороссийские города, против европейской России, которая, несмотря на все препятствия, создала из себя крепкое государство и теперь с величайшим трудом, с страшным напряжением сил стремилась дать ему решительный европейский характер.

Скифия была побеждена, несмотря на то, что Великая Россия, Москва должна была воевать в то же время и с Западною Европою. Булавин, имевший сначала большой успех, провозглашенный атаманом всего донского войска после истребления прежнего атамана и старшины, Булавин в июле 1708 года застрелился вследствие неудачи своих под Азовом. Бунт не прекратился смертию Булавина, ибо мы видели, интерес каких людей был затронут стремлением государства наложить свою руку на вольную реку Дон, запретить прием беглых; таких людей накопилось много. Бунт был усмирен только в ноябре истреблением и уходом товарищей Булавина; почти в один день Меншиков сжег Батурин, гнездо Мазепы, а князь Васил[ий] Влад[имирович] Долгорукий[60] сжег Решетову станицу, последнее убежище булавинских товарищей, через шесть месяцев была разорена Запорожская Сечь и месяц с чем-нибудь спустя прогремела Полтавская битва. Петр не пустил к Москве гостей, ни шведского короля с Мазепою, гет-

маном войска запорожского, ни Булавина с его ворами и разбойниками.

Петр торжествовал в Москве неслыханные победы и не складывал рук, занимаясь делом внутренним и внешним, спеша кончить шведскую войну, чтобы, добившись заветной цели, не иметь более препятствий для внутренних преобразований. В Польше был прогнан король, посаженный Карлом XII, Станислав Лещинский, и восстановлен старый союзник Август II. Дания опять пристала к союзу. В июне 1710 взят Выборг, «крепкая подушка к Петербургу», по выражению Петра, в июле сдалась Рига, и знаменитый прибыльщик Курбатов писал царю: «Торжествуй радостно, преславный обогатитель славяно-русского народа»; в сентябре сдался Ревель, и Курбатов писал, что при заключении мира все эти приморские места надобно оставить за Россиею. Но среди этих успехов Петр должен был испытать невыгоды успехов, невыгоды величия и славы. Полтавская победа вводила в систему европейских государств новое могущественное государство, и для Европы рождался вопрос первой важности, какое место займет это новое государство, в каких отношениях будет находиться к другим государствам, каким началам следовать в своей политике, чем руководствоваться в дружбе и вражде. Одновременно с великою Северною войною на северо-востоке, в Западной Европе шла великая война за наследство испанского престола, собственно направленная против властолюбивых стремлений Франции, ее короля Людовика XIV. Петр очень хорошо понимал выгоду этой западной войны для себя, ибо она не давала возможности важнейшим державам Европы вмешиваться в Северную войну, мешать России в ее деле, ибо он не мог рассчитывать на сочувствие этих держав к себе, особенно на сочувствие Франции; он прямо говорил, что надобно спешить окончанием Северной войны прежде окончания западной.

Но Полтавская победа, сокрушение сил Швеции, жалкое бегство в Турцию Карла XII, считавшегося до сих пор непобедимым,— все это было так многозначительно, так громко, что не могло не взволновать Европы, несмотря на то, что она еще была занята войною за Испанию. Прежде всего, разумеется, дело коснулось Турции, единственного соседнего государства, которое могло помешать России в ее торжествах, отвлечь ее силы. Карл XII после Полтавы бежал в ее пределы и употреблял все старания поднять Порту против России, представляя ей, что если дать Петру время пользоваться несчастием Швеции, то от этого потерпит прежде всего Турция, которая поэтому обязана помочь Швеции, дать ей поправиться, дать ей возможность сдерживать властолюбивые замыслы России. Подобные же внушения и настаивания приходили в Константинополь и от другой европейской державы, которая была всегда в союзе с Портою, от Франции. Франция издавна стремилась играть первенствующую роль в Европе и особенно была близка к достижению своей цели во второй

половине XVII века, при Людовике XIV. Но сильный союз других держав, образовавшийся по поводу вопроса об испанском наследстве, остановил эти стремления французского короля. Тем более теперь, при неудаче дела, Франция должна была заботливо следить за европейскими отношениями, обратить особенное внимание на новую силу, явившуюся на континенте: что́ эта сила, будет ли дружественная Франции или умножит число врагов ее, будет помехою ее стремлениям? Франция должна была решить этот вопрос во втором смысле.

Россия — естественный враг Турции; башкирец, который хочет взбунтовать своих против России, поднимает знамя магометанства и отправляется в Константинополь, где владычествует естественный покровитель магометан; но во владениях этого покровителя магометанства много христиан, которые давно уже ждут избавления от единоверной и единоплеменной России, видят в ее царе естественного покровителя восточных христиан. России, которой сила так явственно высказалась под Полтавою, легко будет одолеть Турцию и тем нанести страшный ущерб французским интересам на Востоке, не говоря уже о том, что Турция издавна союзница Франции, что Турция необходима для Франции как средство отвлечения сил Австрии. По одинаково враждебным отношениям к Турции Россия должна быть естественною союзницей Австрии, следовательно, должна быть враждебна Франции; сильная Россия, естественно, должна иметь преобладающее влияние в Польше, не допускать французского влияния и, таким образом, и с этой стороны будет охранять австрийские интересы. Сокрушение шведского могущества под Полтавою и появление России в виде первенствующей на севере державы было тяжелым ударом для Франции, этот удар прибавился к поражениям войны за испанское наследство. Дать Карлу XII средства оправиться и сдержать Россию посредством вмешательства Турции было необходимо для Франции. Вследствие Полтавы и нового могущества России восточный вопрос принимает новый вид: Турция для собственной безопасности должна поддержать Швецию и не допустить Россию утвердить свое влияние в Польше. Из трех соседних России государств, Швеции, Польши и Турции, делается цепь, которою западноевропейская политика будет с тех пор стараться сдерживать Россию, и Франция теперь при этом играет главную роль, начертывает программу действий против России. Напуганная Турция объявила войну России: с крайним огорчением Петр должен был отказаться от надежды скоро окончить шведскую войну, должен был остановить свои действия на севере и перенести оружие на юг, тратить время и силы на войну, в его глазах теперь бесцельную. Полтавский победитель должен был испытать немедленно же следствия своего торжества, своего нового значения, следствия того движения европейских интересов, какое было возбуждено Полтавою; должен был ввести народ свой в борьбу, которою надобно было оплатить цивилизацию, взятую у Европы,

участие в общей жизни Европы. Петру принадлежит почин в этой борьбе; его в начале борьбы ждала жестокая неудача; но мы знаем, что неудача есть проба гения, знаем, как великий человек умел выдерживать неудачи, оставив пример, которому должен подражать народ, если хочет быть достойным своего вождя, если хочет быть великим народом.

Чтение одиннадцатое

25 февраля 1711 года в Москве, в Успенском соборе, в присутствии царя объявлено было народу о войне с турками. Мы уже говорили, как не нравилась Петру эта война; он находился в мрачном расположении духа, печальные предчувствия томили его; сюда присоединялась еще болезнь, застигшая его на дороге, в Луцке. В одном письме его от этого времени находим слова: «Нам предстоит безвестный и токмо единому богу сведомый путь». В другом читаем: «Что удобнее где, то учините, ибо мне так отдаленному и почитай *во отчаянии сущему,* к тому ж от болезни чуть ожил, невозможно рассуждать». Положение было крайне затруднительное: не говоря уже о том, что царь отвлечен от Северной войны, которую спешил кончить выгодным миром до окончания западной войны за испанское наследство, вести две войны на севере и юге с такими небольшими средствами, какими тогда могла располагать Россия, и в то время, когда народ жаждал облегчения и отдыха, к чему Полтавская победа подавала такую большую надежду, вести при таких условиях две войны было очень тяжко.

Петр не мог сосредоточить большого войска на юге, надежда на помощь союзника, короля польского Августа, была плохая; одна надежда на успех состояла в поднятии христианского народонаселения Турции; сербский полковник Милорадович[61] отправлен был поднимать черногорцев и других славян и писал об успешном ходе дела, молдавский господарь Кантемир[62] поддавался России. Но чтоб получить помощь от своих одноверцев и единоплеменников, чтоб предупредить турок, нужно было спешить вступлением во владения Порты; от турецких христиан получались беспрестанные просьбы, чтоб царь шел как можно скорее; господари молдавский и валашский писали, что как скоро русские войска вступят в их земли, то они сейчас же с ними соединятся, а это поднимет сербов и болгар.

Петр послал Шереметева к Дунаю — нельзя ли предупредить турок и разорить мост. Но турки предупредили, перешли Дунай. Предстоял вопрос — двигаться ли царю с главным войском вперед или оставаться? На военном совете было решено идти вперед, и Петр пошел, тем более, что Молдавия уже объявила себя за русских, и остановиться значило отдать ее в беззащитную жертву туркам. Следствием была встреча с турками у Прута

(9 июля): у турок было 200 000 войска, у русских только около 40 000. Несмотря на то, напавший неприятель был отбит с жестоким уроном. Но все же положение русского войска было отчаянное: оно было истомлено битвою и зноем, съестных припасов оставалось очень немного, помощи ниоткуда. Визирю предложены были мирные условия и богатые подарки. Визирь принял предложение, потому что сам находился в затруднительном положении: янычары, испуганные отчаянным сопротивлением русских, потерявши 7000 своих, отказались возобновить нападение и кричали, чтоб визирь скорее заключил мир; кроме того, получено было известие, что отправленный прежде царем отряд под начальством генерала Рённе, взял Браилов.

Главные условия мира были: отдача туркам Азова, разорение Таганрога и других новопостроенных с русской стороны городов; невмешательство царя в польские дела. Русское войско, не знавшее, что делалось в турецком лагере, изумленное снисходительностию мирных условий, с великою радостию выступило из западни к своим границам. Но с каким чувством вел его царь? Он в письмах к своим утешал их, что хотя мир заключен и с большою потерею, но зато все же война кончилась на юге, и это даст возможность усиленно продолжать войну на севере и скоро кончить ее выгодным миром; но при этом он проводил бессонные ночи, тем более, что долго не мог быть уверен, состоится ли мир с турками, ибо Карл XII, крымский хан, Франция, изменившие России козаки побуждали султана не мириться, особенно потому, что пункт о невмешательстве России в польские дела подавал повод к сильным спорам: Петр не мог разорвать союза с польским королем Августом, не мог не проводить своих войск через польские владения. Турецкие министры прямо говорили английскому послу, что им не так важна отдача Азова, как то, чтоб царь не вступался в дела Польши, не вводил в нее своих войск, ибо если дать ему в том волю, то он легко сокрушит Швецию и потом не только может обобрать Азов, но через Польшу опять вступит внутрь турецких владений.

Петр не хотел возобновления войны с Турциею, хотя в письмах к своим признавался, что плакал, помышляя о необходимости отказаться от берегов Азовского моря, что как бы не своею рукою писал указ об отдаче Азова и срытии Таганрога. «Но рассудить надлежит,— писал он,— что с двумя неприятелями такими не весьма ль отчаянно войну весть и упустить сию шведскую войну, которой конец уже близок является; сохрани боже, ежели б в обеих войнах пребывая, дождались французского мира (т. е. окончание войны за испанское наследство), то б везде потеряли; правда, зело скорбно, но лучше из двух зол легчайшее выбрать». Наконец, мир с турками был заключен в 1713 году. Война, оконченная этим миром, имеет то значение в истории, что в ней восточный вопрос впервые стал славянским вопросом: Петр спешил к Дунаю, чтоб помочь христианскому народонаселению Турции и

взаимно получить от него помощь. Черногорцы поднялись, но по отдаленности места их действий, не могли, разумеется, оказать помощи русскому войску. Известие о заключении мира при Пруте прекратило черногорскую войну. Терпя постоянно большой недостаток в деньгах при громадных издержках, Петр велел выдать Милорадовичу 500 червонных для раздачи его сподвижникам. В 1715 году приехал в Россию черногорский владыка Даниил[63] и получил 10 000 рублей, полное архиерейское облачение, книги; начальные черногорцы получили 160 медалей на 1000 червонных. В царской грамоте говорилось, что эти награды не по достоинству, не по заслугам, но больше дать нельзя, потому что война с еретиком королем шведским поглощает все доходы.

С этих пор начинается прием славян и других христиан восточного исповедания в русскую службу. Так вступил в русскую службу Милорадович и сделан был гадяцким полковником в Малороссии; кроме него вступили в русскую службу другие сербские, молдавские и валашские офицеры и рядовые, турецкие и австрийские подданные. Их разместили в Киевской и Азовской губерниях, полковникам дано по местечку или по знатному селу, прочим офицерам по нескольку дворов, на хозяйственное обзаведение даны деньги и хлеб; им дано право перезывать к себе еще людей из своих народов и обещаны другие земли. Петр так сознавал важность связи своего народа с народами соплеменными, что счел своею обязанностию делиться с ними последним куском, как говорится. Сербский архиепископ Моисей Петрович приехал в Россию и привез от своего народа просьбу, в которой сербы, величая Петра новым Птоломеем, умоляли прислать двоих учителей латинского и славянского языка, также книг церковных: «Будь нам второй апостол, просвети и нас, как просветил своих людей, да не скажут враги наши: где их бог?» Петр велел отправить богослужебных книг на 20 церквей, 400 букварей, сто грамматик. Отправлены были и учителя с большим по тогдашнему времени жалованьем: отправлены были русские учителя, когда сама Россия имела их так мало.

Но если Петр считал своею обязанностию помогать и отдаленным соплеменникам, то понятно, что не мог не обратить внимания на горькую судьбу русских людей, которые за свою русскую народность, за свою русскую веру терпели притеснения в соседнем государстве, хотя и славянском, но католическом. Петр был в союзе с польским королем Августом II. Август изменил союзу, когда, несмотря на сильную помощь, несмотря на Калишскую победу, тайком от царя заключил мир с Карлом XII и отказался от польского престола. Несмотря на то, после Полтавы Петр восстановил его на польском престоле. Казалось, можно бы ожидать благодарности; но на благодарность в политике нельзя рассчитывать. Август был немецкий государь, саксонский курфюрст, который смотрел на Польшу как на средство усиления для своего дома, смотрел и на русского царя как на орудие этого усиления.

Но как скоро оказалось, что Петру никак уже не приходится служить орудием в руках какого-нибудь Августа, как скоро оказалось, что могущественная Россия и ее великий царь никак не позволят саксонскому курфюрсту усилиться на счет Польши, так тесно связанной с восточною Россиею роковой связью России западной, как скоро оказалось, что Петр, завоевавший Ливонию без помощи Августа, не отдаст ее ему, то Август счел полезным для себя отстать от России, сблизиться с враждебными ей державами, с Франциею, Турциею, показать им, что он вовсе не союзник русского царя, готов сделаться и врагом его, и потому согласно с их интересом поддерживать его на польском престоле; а между тем, под шумок, пока еще Петр занят шведскою войною, Август хотел достигнуть своей цели в Польше, подчинив себе Речь Посполитую посредством саксонского войска. Два года сряду — 1713 и 1714 — был в Польше большой неурожай, а между тем голодная страна должна была содержать саксонское войско, которого король не выводил, несмотря на все просьбы поляков, несмотря на требования России. Поляки на сеймиках кричали, что их вольность уже кончается, что им остается одно спасение — просить обороны у российского орла. Наконец, восстание вспыхнуло; образовалась конфедерация, конфедераты начали биться с саксонцами. Литовский гетман Потей обратился к Петру с вопросом, что ему делать? В Польше конфедерация, которая требует, чтоб и Литва соединилась с нею: одно средство успокоить страну, это защита и посредничество царского величества. Петр отвечал: «Пусть будет прислано ко мне прошение от всей Речи Посполитой, и тогда я вступлю в посредничество для ее облегчения и примирения с королем.» В марте 1716 года приехали к Петру послы конфедерации с просьбою вступиться в дело; король волею-неволею должен был согласиться на посредничество русского государя. Это новое положение России относительно Польши возбудило сильное движение в соседних державах: и Австрия, и Пруссия стали хлопотать, чтоб поляки приняли и их посредничество; но дело обошлось и без них: благодаря движению русских войск, саксонские войска в 14 дней должны были очистить Польшу.

Но избавив поляков от саксонцев, Петр должен был избавить православных жителей западной России от польских притеснений. В XVI и XVII веках религиозное гонение, поднятое на русское народонаселение в польских областях, повело к сильному движению среди него, физическому и нравственному, вследствие чего значительная часть русских земель отторгнулась от Польши и присоединилась к России Восточной или Великой. Это событие еще более раздражило поляков, заставило их еще более хлопотать о том, как бы уменьшить во владениях Речи Посполитой число русских, как бы заставлять их ополячиваться, т. е. обращаться в католицизм или сначала в унию; хотели таким образом уменьшить число людей, которые тянули к России, ждали от нее помощи и покровительства; особенно старались окатоличить, ополячить как

можно скорее православную шляхту, ибо шляхтич, как член сейма, был членом правительства, а на сеймах боялись людей, которые могли бы поддерживать русские интересы, русские требования. Отсюда после окончания борьбы у Польши с Россиею Андрусовским перемирием, а потом и Вечным московским миром гонение на православных в Польше, отнятие архиерейских кафедр у православных и отдача их униатам не ослабевают, но усиливаются. Православные обращаются с жалобами к русскому правительству, и Петр для прекращения этих жалоб решается употребить сильные меры.

В 1722 году приезжает в Москву белорусский епископ Сильвестр, князь Четвертинский, представляет длинный список обид и притеснений, какие терпит православное духовенство от католиков, показывает знаки ран, полученных им самим за то, что вступился за своих священников, палками обращаемых в унию. Петр написал королю, что единственное средство прекратить жалобы православных — это составить комиссию для исследования обид и получения за них удовлетворения; но эту комиссию нельзя составить из одних поляков-католиков, в ней непременно должен быть русский и царский подданный. «Если же паче чаяния,— писал Петр королю,— удовлетворения не воспоследует, то мы будем принуждены сами искать себе удовлетворения». Не дожидаясь ответа, Петр уже назначил своего комиссара, переводчика при русском посольстве в Варшаве, западнорусского же уроженца Рудаковского, которому немедленно же велел ехать в Могилев, осведомиться подлинно обо всех обидах людям греческого исповедания, приготовив все доказательства для комиссии, и стараться, чтоб впредь не было гонения на православных.

Протестанты в польских владениях также обратились к Петру с просьбою о покровительстве; видя это, прусский двор спешил также присоединиться к делу, обратился к русскому государю с просьбою заступиться за евангеликов, гонимых в Польше. Так поднимался знаменитый диссидентский вопрос, который ровно через 50 лет после описываемых событий, в 1772 году, решился первым разделом Польши[64], когда знаменитая собирательница русских земель Екатерина II присоединением Белоруссии отпраздновала столетний юбилей Петра I. Рудаковский писал Петру, что епископ белорусский все доносил справедливо о гонениях на церковь восточную, разве что еще забыл написать. Комиссар начал свою деятельность: по жалобе пинских монахов на захват православных монастырей и церквей в унию поведено было дело в суде и состоялся приговор о возвращении отнятых монастырей и церквей православных. Рудаковский с мужеством привел в исполнение королевский декрет об этом возвращении. Тщетно ксендзы и униаты вопили как бесноватые: «Нам беда! Нам грозит смерть! Лучше бы нам было видеть в этих церквах турок или жидов, чем проклятых схизматиков!» Ожесточение вызывало ожесточение и с другой стороны: значительнейшие из русского духовен-

ства в Белоруссии предлагали Рудаковскому поднять простой народ и перебить всех католиков и униатов, потому что, говорили они, простой народ весь пойдет за нами. Рудаковский отвечал им, чтоб позабыли и думать об этом и дожидались бы покровительства русского государя, который уже прислал его, Рудаковского, для защиты восточной церкви. Ненависть поляков к небывалому у них комиссару доказывала, что он был прислан непонапрасну. Польские министры требовали, чтоб Рудаковский был отозван, «ибо не помним,— писали они,— чтоб когда-либо прежде подобные комиссары жили в землях наших и вмешивались в дела духовные». Но комиссар не был отозван и продолжал свою деятельность. С другой стороны, Петр шел наперекор королю Августу в его стремлениях сделать Польшу наследственною в своей фамилии, удержать польское войско под начальством саксонского фельдмаршала, в замыслах разделить Польшу. Таким образом, союз, заключенный с целию сделать Россию орудием для выполнения саксонских замыслов, рушился, когда русский царь, не могший по своей природе служить орудием чужих замыслов, оправдал опасения Паткуля, один усилился в Северной войне, ибо один без союзников сокрушил шведскую силу при Полтаве, и не считал полезным для России усиливать Саксонию на счет Польши.

Также рушились и другие союзы. Овладев прибалтийскими областями, Петр для скорейшего окончания войны решился действовать против германских владений Швеции и с помощию датского флота произвести высадку и в самую Швецию. Он пригласил Данию, Ганновер, Пруссию участвовать в этой войне; они бросились на легкую добычу, на шведские владения в Германии, также на владения родственного и союзного Швеции голштинского дома; но скоро Дания и Ганновер были напуганы внушениями о завоевательных замыслах русского царя относительно Германии. Внушения пошли от мекленбургского дворянства, которое было в ссоре с своим герцогом, а Петр держал сторону герцога, женатого на его племяннице, цесаревне Екатерине Ивановне. Дания и курфюрст ганноверский Георг, сделавшийся королем английским, сочли своею обязанностию мешать Петру в окончании Северной войны, в заключении выгодного мира с Швециею. Но Петр достиг своей цели и без союзников. В 1713 году почти вся Финляндия была уже в русских руках. «Эта страна нам вовсе не нужна,— писал Петр,— но надобно занять ее для того, чтоб при мире было что уступить шведам». В 1714 году одержана была знаменитая морская Гангутская победа. Карл XII, возвратясь из Турции, нашел шведские дела в таком положении, что по внушению министра своего, голштинца Герца, решился в 1718 году вступить в переговоры с Петром, сделать ему большие уступки, чтоб с его содействием вознаградить Швецию на счет других врагов ее.

Аландский конгресс[65], на который с этой целью съехались

русские и шведские уполномоченные, рушился вследствие смерти Карла XII; сестра его, Ульрика Элеонора[66], ставшая королевою шведскою, и вельможи, захватившие власть в свои руки, понадеялись на обещания английского короля Георга и решились продолжать войну с Россиею. Английский флот, действительно, явился в Балтийское море, чтоб испугать Петра и сделать его уступчивее; но Петра испугать было нельзя: в глазах англичан русские высаживались на шведские берега и пустошили их. В Швеции, наконец, поняли, что никто не подаст им помощи против Петра, начали снова мирные переговоры, и 30 августа 1721 года в Ништадте заключен был мир[67], по которому с шведской стороны уступались царскому величеству и его преемникам в полное, неотрицаемое, вечное владение и собственность завоеванные царского величества оружием провинции: Лифляндия, Эстляндия, Ингрия, часть Корелии с дистриктом Выборгского лена со всеми аппартиненциями и депенденциями, юрисдикциею, правами и доходами.

4 сентября в Петербурге сильное волнение: царь, отправившийся в Выборг, неожиданно возвращается из своей поездки, плывет и каждую минуту стреляет из трех пушек на своей бригантине; трубач трубит: что это значит?.. Наконец слышится радостное, желанное слово: мир! Толпы собираются к Троицкой пристани; съезжается знать духовная и светская. Встреченный торжественными кликами, Петр едет в Троицкий собор к молебну. Приближенные знают, чем подарить его, просят принять чин адмирала. А между тем, на Троицкой площади уже приготовлены кадки с вином и пивом для угощения народа, устроено возвышенное место. После молебна на это возвышенное место всходит царь и говорит окружающему народу: «Здравствуйте и благодарите бога, православные! что толикую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, всесильный бог прекратил и даровал нам со Швециею счастливый вечный мир». Сказавши это, Петр берет ковш с вином и пьет за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да здравствует государь!» 10 числа начался большой маскарад из 1000 масок и продолжался целую неделю.

Сильная, свежая, вечно юная природа Петра, сказывавшаяся всегда, разумеется сказалась и тут: он веселился, как ребенок. Радость была общая; особенно радовались сотрудники, более других понимавшие в чем дело, более других потрудившиеся. Им представлялось то, что было 20 лет назад и что теперь, им представлялось то унижение, в котором была Россия после Нарвы, и то уважение, с которым расступились перед нею теперь европейские державы, чтоб дать ей почетное место среди себя; они живо чувствовали, как в двадцать лет расширилась их умственная сфера, как они много узнали, как изменились вследствие того их понятия и взгляды, они чувствовали себя совершенно другими людьми, и на языке их невольно появлялись слова, что они перешли из небытия в бытие, и что обязаны этим своему вождю, начальнику,

их компании. Они поднесли Петру титул Отца Отечества, Великого Императора Всероссийского за то, что «его неусыпными трудами и руковождением они из тьмы неведения на театр славы всего света и, тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены». Петр отвечал им простыми словами, ибо простота всегдашняя спутница величия: «Желаю весьма народу российскому узнать истинное действие божие к пользе нашей в прошедшей войне и в заключении настоящего мира; должно всеми силами благодарить бога; но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабе не иметь жребия монархии греческой; надлежит стараться о пользе общей, являемой богом нам очевидно внутри и вне, от чего народ получит облегчение». Петр, и по окончании знаменитой войны, остался верен представлению о ней, как о школе; он писал: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно; но наша школа троекратное время (21 год) была, однако ж, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть невозможно».

С 22 октября 1721 года, когда Петру поднесен был названный титул, Россия стала империею. До тех пор в Европе был один император, император Священной Римской империи, но в Европе давно уже толковали, что Петр стремился стать восточным римским императором. Петр, действительно, стал императором, но не восточным римским, а всероссийским, ему не было никакого дела до Рима, и он отвергнул эту бессмысленную для России, для ее истории ветхость. Он трудился для России и с Россиею, для нее и с нею он добыл императорский титул, и не отлучил родной страны от собственной славы. Только в XIX веке остальная Европа покончила с трупом Римской империи, решилась похоронить его; только в XIX веке вместо Римской явились империи Французская, Австрийская, Германская. Но Петр целым веком предупредил это явление, первый в своем титуле указал начало народности. Великая благодарность великому человеку за то, что он неразрывно связал имя свое и своих преемников с именем своего народа, с именем родной страны.

18 декабря новый император торжественно вступил в древнюю столицу царей и в Успенском соборе благодарил бога за мир, который дал России море и окончательно определил ее новые исторические пути. И в Москве началось празднество, маскарады, фейерверки, иллюминации, езда по улицам на морских судах, поставленных на сани. Но от этих праздников в честь мира обратимся к внутренней деятельности Петра во время Северной войны и после нее.

Мы видели первых главных сотрудников Петра, видели, что самым видным лицом, первым министром в глазах иностранцев был боярин, адмирал Фед[ор] Алексеевич Головин, который заведывал иностранными делами. Здесь мы видим естественную в первое время неразвитость, т. е. отсутствие разделения занятий, несколько должностей сосредоточиваются в руках одного человека.

Головин — и адмирал, и министр иностранных дел, он заведывает Оружейной палатою и новоучрежденными школами. С течением времени, когда проницательный взгляд Преобразователя открывал все более и более способных людей, происходит развитие, разделение занятий, различные должности передаются отдельным лицам. Петр лишился Головина в 1706 году и сильно горевал о потере «друга», ибо имел способность привязываться к достойным людям, как имел способность привязывать к себе достойных людей. По смерти Головина его должности уже разделяются: адмиралом становится Апраксин [68], заведование иностранными делами поручается Головкину [69] с титулом канцлера; но еще Головин выдвинул из переводчиков посольского приказа даровитого Шафирова [70], который потом при Головкине сделался вице-канцлером. Быстро выдвигается и чрезвычайно даровитый Ягужинский [71], которого мы видим при разных дворах с важными дипломатическими поручениями; мы уже упоминали, как благодаря правилу Петра учить своих на практике, на дипломатическом поприще понятливые ученики сделались скоро мастерами. Двое Долгоруких, Григорий Фед[орович] и Василий Лукич, Матвеев, кн. Куракин, Петр Андр[еевич] Толстой усердно помогали Петру в дипломатической борьбе с Европою от Лондона до Константинополя [72]; в хорошей школе не может быть недостатка в подростках, и эти подростки обозначались и окрепли при Петре; они, по завещанию Петра, имея постоянно в уме и на языке имя великого Преобразователя, вели русскую политику чрез первую половину XVIII века и передали ее в достойные руки, руки Екатерины II. Эти подростки обозначились в двоих братьях Бестужевых, уже занимавших при Петре очень значительные дипломатические посты [73]; обозначился и знаменитый иностранец, который в печальные для русской народности времена внутри России, искусно поддерживал русские интересы в Европе, обозначился знаменитый Остерман [74].

Однажды на корабле, где находился государь, произошла драка между царским денщиком и молодым немцем, ведшим дневник у вице-адмирала; немец прямо пришел к царю с жалобой и с просьбою о сатисфакции; Петр сатисфакции ему не дал, сказавши: «Пьяное дело!», но наружность немца остановила его внимание; по своему обычаю, он поднял у него со лба волосы, посмотрел в глаза и взял к себе для иностранной переписки. Немца звали Остерманом, он вел переговоры и заключил Ништадтский мир.

Сохранились рассказы современников о том, как поддерживалась школа, воспитывались подростки, выбирались люди. Молодые дворяне, посланные учиться за границу, возвратились и сейчас к государю на экзамен зимою в 6 часов утра; Петр со свечою в руках ползал по карте, расспрашивал их, остался доволен. Один из возвратившихся из-за границы, известный Неплюев [75] был определен Петром в смотрители над постройкою галер, должность, в которой он почти ежедневно видал государя. Петр заметил, что

в малом будет путь, и начальствующие лица начали воспитывать молодого офицера, учить его, как служить и как сохранить расположение царя: «Будь исправен, будь проворен и говори правду, сохрани тебя боже солгать, хотя бы что и худо было; он больше рассердится, если солжешь». Скоро Неплюев подвергся экзамену в этом искусстве. Однажды он пришел на работу, а Петр уже тут; Неплюев сильно перепугался и первою мыслию было бежать домой и сказаться больным; но потом вспомнились наставления, и он пошел к тому месту, где находился государь. «А я уже, мой друг, здесь!» — сказал ему Петр. — «Виноват, государь, — отвечал Неплюев, — вчера я был в гостях, долго засиделся и оттого опоздал». — «Спасибо, что говоришь правду, — сказал Петр. — Бог простит! Кто бабе не внук?» После того Неплюев получил место резидента в Константинополе, таким образом, показывающим всю простоту отношений Петра к своим приближенным. У государя был обед для всей знати, также для офицеров гвардейских и морских, почему был приглашен и Неплюев. Отобедав с товарищами прежде, он встал из-за стола и отправился в ту сторону, где государь сидел еще за столом и вел такой разговор с Головкиным и Апраксиным: «Надобен мне человек, который бы знал италианский язык, для посылки в Константинополь резидентом». Головкин отвечал, что такого не знает. «А я знаю, — сказал Фед[ор] Матв[еевич] Апраксин, — очень дельный человек, да та беда, что очень беден». — «Бедность не беда, — отвечал Петр, — этому помочь можно скоро; но кто это такой?» — «Да вот он за тобой стоит», — сказал Апраксин. — «За мной стоят много», — возразил Петр. — «Да твой хваленый, что у галерного строения», — отвечал Апраксин. Петр оборотился, взглянул на Неплюева и сказал: «Это правда, Федор Матвеевич, что он хорош, да мне бы хотелось его у себя иметь». Но потом, подумавши, государь приказал назначить Неплюева резидентом в Константинополь.

Способных людей было набрано много; но цель Преобразователя состояла в том, чтоб приучить этих способных людей к деятельности сообща, в которой бы они развивали силы друг друга и сдерживали друг друга. У нас часто говорят о дубинке Петра Великого, даже иногда слышится желание, чтоб она снова явилась с своею, будто бы очень полезною деятельностью. При воспитании человека в детском возрасте допускаются известные внушения, наказания, телесные наказания; но в более зрелом возрасте подобные воспитательные средства не допускаются, да и с самого начала опытные воспитатели стараются развивать в воспитанниках высшие, нравственные побуждения к добру. Петр употреблял дубинку для взрослых детей, но в то же время, целая система учреждений, имевших воспитательное значение для народа, показывает, что Преобразователь употреблял другие, более действенные средства к тому, чтоб вывести русских людей из детского возраста относительно общественной жизни и упразднить внешние, детские понуждения, упразднить дубинку. И мы думаем,

что воспоминания об этих учреждениях и о борьбе, которую из-за них выдерживал Преобразователь, будет гораздо питательнее для общества, чем воспоминание о дубинке.

Мы видели, что Петр учредил Сенат, который облек большою властию. Воспитание этого высшего правительственного учреждения, разумеется, было главною заботою Петра. «Теперь все у вас в руках»,— говорил он сенаторам и этими словами напоминал им о важности их значения и соединенных с нею обязанностях и ответственности. Люди собрались для общего дела, и первое сильное искушение — потратить время в слишком долгих рассуждениях о деле и в разговорах не о деле: Петр требует от сенаторов, чтоб они не теряли времени, «понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно. Никому в Сенате не позволяется разговоры иметь о посторонних делах, которые не касаются службы, тем менее заниматься бездельными разговорами или шутками, а главное, сенаторы должны иметь в памяти должность свою и царские указы и дел до завтра не откладывать; как может государство быть управляемо, когда указы не будут действительны? Презрение указов равно измене и еще хуже ее, ибо, заслышав об измене, всяк остережется, а этого зла никто вскоре не почувствует, но мало-помалу все разорится... В управлении государством важнее всего хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не хранить, или ими играть в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть и зело тщатся всякие мины чинить под фортецию правды». Для ослабления этого зла Петр в начале 1722 года учредил при Сенате должность генерал-прокурора, которого он называл оком своим и стряпчим о делах государственных. Во всех низших местах должны были находиться прокуроры, надзор над которыми поручен генерал-прокурору. Одна из главных забот Сената состояла в удовлетворении требованиям государства относительно людей, нужных для службы военной и гражданской; для облегчения Сената в этом деле учреждена была должность герольдмейстера, который имел списки всем дворянам и детям их и по первому требованию представлял людей способных к той или другой должности.

Я употребил выражение: служба военная и гражданская; это разделение есть новость, появившаяся с Петра; древняя Россия представляла первобытное государство с резким признаком неразвитости: служба военная не была отделена от гражданской; при Петре явилось разделение должностей гражданских от военных, что и выразилось в знаменитой Табели о рангах. Мы несколько раз упоминали о целой системе учреждений, имевших воспитательное значение для народа чрез приучение его к деятельности сообща. Система эта приводилась в исполнение постепенно, и только к 1720 году образовались для отдельных ведомств коллегии, заменившие прежние приказы. Коллегия состояла из президента, вице-президента, советников и асессоров. Если и в

Сенате, куда были выбраны самые способные люди, дело, по его новости, шло далеко не так, как бы желалось, то тем более нельзя было надеяться вначале большого успеха в коллегиях. Тяжело было приниматься за новое дело: ежеминутно вопросы: как делать? и кто будет отвечать на эти вопросы? В Сенат Петр решительно не допускал иностранцев, но в коллегии допускал. Президент необходимо был русский, но вице-президент мог быть иностранец; также из иностранцев был один советник или асессор, один секретарь. Спросят — зачем это? Неопытность русских требовала указания — как вести дело; способ ведения дел был новый, и в некоторых коллегиях самое содержание дел было новое, как напр[имер] в Берг- и Мануфактур-коллегии.

Петр велел отправить в Кенигсберг 30 или 40 человек молодых подьячих, но до их возвращения надобно было допустить иностранцев; по незнанию русского языка иностранцы должны были вести дела чрез переводчиков — неудобство страшное! Чтоб избавиться от этого неудобства, Петр велел своему резиденту в Вене пригласить из австрийских коллегий на русскую службу чиновников славянского происхождения, чехов, моравов, которые могли бы скорее немцев выучиться русскому языку; велел пригласить в службу при коллегиях шведских пленников, выучившихся по-русски, а между тем при первой возможности старался отделаться от иностранцев в коллегиях: в 1722 году, сидя в Сенате, Петр велел президентам коллегий разобрать иноземцев коллежских членов и указать тех, которые годны, а негодных отпустить. Легко понять, какое препятствие все эти учреждения встречали в недостатке способных людей при общем малолюдстве; в 1722 году генерал-прокурор жаловался, что еще 100 мест в управлении остаются незамещенными. Поручая герольдмейстеру приготовлять молодых дворян для гражданской службы, Петр, однако, внушал ему, чтоб он не слишком много пускал в гражданскую службу, иначе армия и флот истощатся; после этого внушения нельзя сказать, чтоб должность петровского герольдмейстера была легка.

Высшие учреждения, коллегии еще как-нибудь наполнялись людьми; но в областном управлении Преобразователь вследствие недостатка людей должен был отказаться от своих любимых планов относительно коллегиальной формы и отделения суда от управления; его планы остались программою для будущего. Но Петр не хотел отказаться от другого воспитательного для народа средства, от выборов, которые он устроил повсюду в обширных размерах в гражданской и военной службе. Сверху выборы начинались с президентов коллегий и сам Петр присутствовал при этих выборах, учил, как производить их правильно и беспристрастно: выбирал Сенат с участием генералитета, членов коллегий и 100 человек выборных от дворянства; в другие высшие чины Сенат избирал баллотировкою, в низшие назначал просто. Петр непременно хотел, чтоб выборы распространили жизнь, самостоятельное движение, общую деятельность и в областях. Как обык-

новенно и везде бывает, право выбора явилось тяжелою обязанностию, от которой старались избавиться. Петр велел выбирать дворянам сборщиков податей или земских комиссаров; дворяне начали вместо себя посылать на выборы прикащиков. Петр запретил это, предписал помещикам, а в поморских (северных) городах и в других подобных местах, где дворян нет, обывателям съезжаться к новому году для выбора земского комиссара. Если на прежнего комиссара будут просьбы, то помещики или обыватели судят его по вине, штрафуют и по экзекуции доносят губернаторам и воеводам.

Преобразователь отстаивал свои воспитательные средства, несмотря на страшные препятствия. Нам еще предстоит печальная обязанность рассказать о тех застарелых в русском общественном теле болезнях, которые вскрыл Преобразователь и неумолимо и неутомимо преследовал. Борьба была тяжелая. «На душу Петру Алексеевичу,— рассказывают современники,— по временам находила такая черная туча, что он запирался и никого не допускал к себе». Но труды и страдания не пропали даром. Современники же Петра свидетельствуют, что они учились у него «благородному бесстрашию и правде». Значит, была хорошая школа, хороший учитель и хорошие ученики.

Чтение двенадцатое

В конце прошедшей беседы нашей я упомянул о внутренней ожесточенной борьбе, которую должен был вести Преобразователь и которая, по выражению современников, наводила на него черные тучи, борьба не с стрельцами, не с козаками, не с башкирцами, не с вооруженною силою, которая прямо поднималась, прямо заявляла свои требования и с которою легко было бороться в борьбе открытой: борьба гораздо более тяжкая, более изнурительная шла с людьми, которых Петр призвал для новой, сильной и славной деятельности и которые по своим способностям откликнулись на призыв, принесли помощь Преобразователю, но которые не поняли главного смысла призыва, значения той помощи, какой особенно требовал от них Петр. Они принесли свое мужество для борьбы со внешними врагами, способность к тяжелому труду, способность быстро приобрести знание, искусство в том или другом деле, нужном для России; но многие не принесли другого высшего, гражданского мужества, не принесли способности отказаться от частной корысти для общего дела, способности отвыкнуть от жизни врознь, способности отвыкнуть от взгляда на службу государственную как на кормление, на подчиненных как на людей, обязанных кормить, на казну как на общее достояние в том смысле, что всякий добравшийся до нее имеет право ею пользоваться. Преобразователь твердил о государстве, заставлял присягать ему, твердил, что надобно стараться о пользе общей, ибо от этого старания народ получит облегчение: эти слова для мно-

гих были только словами, словами языка чуждого, непонятного. Борьба была тяжела, тяжелее Северной войны; не мог Преобразователь быть поощрен в ней Полтавою, не мог окончить ее Ништадтским миром. Борьба не кончилась; но мы должны почтить труды первого учителя, благоговейно отнестись к его скорби о тяжкой борьбе с укоренившимися противуобщественными привычками.

Призывая народ к тяжкому труду, к лишениям и пожертвованиям, сберегая сам каждую копейку, Петр слышал общие глухие жалобы, что деньги, сбираемые с народа, идут не на общее дело, а по частным карманам, что народу не достает одной из главных потребностей общественной жизни, суда правого и скорого. Загремели указы, что государю известно умножение великих неправд и грабительств государственной казны, от чего многие всяких чинов люди, особенно крестьяне, приходят в разорение и бедность; указы грозили смертною казнию плутам, которые стараются только о том, как бы подводить мины под всякое доброе дело и несытость свою наполнять. В указах были выставлены средства, какими обыкновенно подводились эти мины, вследствие чего никто не мог отговариваться: прежде это делалось, позволялось, я не знал, что это нехорошо, запрещено теперь. Но всуе указы писать, если их не исполнять; тех, которые в их неисполнении находили выгоду, было очень много; общество не выработало нравственных средств для наблюдения за этими людьми и для их сдерживания; государство должно было взять это на себя, действовать своими средствами, единственно для него доступными при бессилии общества, при беспомощности государства с этой стороны. Учредив Сенат и поручая ему прежде всего суд иметь нелицемерный, преследовать судей неправедных и ябедников, Петр велел ему выбрать обер-фискала, человека умного и доброго, из какого бы чина ни было, который над всеми делами должен был тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, про сбор казны, и узнавши про неправое дело, звать виновного пред Сенат, какого бы важного места преступник не занимал. В ведении обер-фискала должны быть провинциальные фискалы и фискалы при каждой отрасли управления. И здесь, как везде, Петр поступал по своему правилу: у Сената все в руках, пусть же он выбирает обер-фискала, и выбор не стеснен, пусть выбирают из всех состояний, изо всего народа, лишь был бы человек умный и добрый; Сенат отвечал, если бы человек, получивший такую важную обязанность, оказался не умным и не добрым. Сенат не мог жаловаться, если обер-фискал обвинял самих сенаторов и обвинял, по их мнению, несправедливо: сами они его выбрали из целого народа, как человека умного и доброго. Фискалы начинают действовать, подают в Сенат свои доношения, сенаторы встречают их бранью, обзывают антихристами и плутами, на их доношения не обращается никакого внимания. Тогда фискалы обращаются к царю, вскрывают злоупотребления самих сенаторов.

Особенною деятельностию становится знаменит обер-фискал Нестеров[76]. Издавна чрезвычайною разнузданностию отличались правители отдаленных областей, именно Сибири; теперь фискал начал дело, по которому вскрылись злоупотребления сибирского губернатора, князя Гагарина, и Гагарин был казнен. Вскрылись злоупотребления по всем окраинам, в Астрахани и в новозавоеванном Ревеле, вскрылись повсюду и внутри государственной области мины, подводимые под добрые дела. Тяжелые минуты переживал Петр, когда, возвращаясь из заграничных походов в Россию, вместо отдохновения, т. е. спокойного труда по внутренним делам в кругу людей близких, доверенных, любимых, должен был испытывать сильное раздражение, получая известия о противозаконных поступках этих самых людей. Тяжелые минуты переживал Петр, когда он узнавал о незаконных поступках самого близкого к себе человека, того, кого он возвысил и обогатил больше всех, кто, следовательно, не имел уже ни в чьих глазах ни малейшего оправдания в своей алчности к обогащению, когда он узнавал о противозаконных поступках знаменитого Данилыча, Меншикова.

Меншиков, по своим способностям, бесспорно занимал первое место между сотрудниками Петра; особенно был он дорог Преобразователю своею энергиею, своею находчивостию в затруднительных обстоятельствах, исполнительностию там, где другие колебались, тратили время в рассуждениях и перебранках или посылали за указом. Но сила развивается, не встречая препятствий, и известно, что может позволить себе человек сильный в обществе, которое не выработало сдержек для всякой силы. Необыкновенное и быстрое возвышение, любовь и доверие царя разнуздали Меншикова: он не знал пределов своим честолюбивым помыслам и своим захватам. Общество не выработало сдержек для сильного человека; он мог найти эти сдержки только в царе, и отсюда печальные столкновения Петра с человеком, которого он называл дитею своего сердца. Первое столкновение произошло в 1711 году вследствие жалоб на поведение Меншикова в Польше во время прохода его с войском чрез эту страну. Петр проезжал через Польшу, отправляясь в турецкий поход, печальный и больной, и тут-то к усилению печали и болезни узнал о злоупотреблениях своего любимца; он писал к Меншикову: «Зело прошу, чтоб вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас не оскорбиться о том, ибо первая брань лучше последней; а мне будучи в таких печалях уже пришло до себя, и не буду жалеть никого». Светлейший князь позволил себе возразить, что не велика важность, если какая безделица и взята у поляков. Петр отвечал: «Что ваша милость пишете о сих грабежах, что безделица, и то не есть безделица, ибо интерес тем теряется в озлоблении жителей». Петр указал своему любимцу и на другой страшный вред: от привычки к грабежу исчезла дисциплина в русском войске, и надобно было восстанавлять ее строгостями.

Первая брань, к несчастию, не была последнею. Она, как видно, переменила уже взгляд Петра на Меншикова, царь был осторожнее, внимательнее относительно его; возвратясь из Прутского похода, во время которого Меншиков оставался в Петербурге в звании губернатора, Петр нашел злоупотребления и, отправляя потом Меншикова против шведов в Померанию, говорил ему: «Ты мне представляешь плутов честными людьми, а честных людей — плутами. Говорю тебе последний раз: перемени поведение, если не хочешь большей беды. Теперь ты пойдешь в Померанию: не мечтай, что ты будешь там вести себя, как в Польше; ты мне ответишь головою при малейшей жалобе на тебя». Меншиков не ответил головою за Померанию; но злоупотребления его по внутреннему управлению вскрывались все более и более, и прежние дружеские отношения между ним и царем исчезли навсегда; прежний шутливый, свободный, товарищеский тон писем Данилыча сменился униженным тоном провинившегося подданного пред грозным государем. Меншиков должен был выплатить огромный начет.

Но делом Меншикова не ограничивались скорбные для Петра дела, выказывавшие такое неудовлетворительное состояние народной нравственности. Один из самых даровитых и видных сотрудников Преобразователя, вице-канцлер и сенатор Шафиров был осужден на смерть, снят с плахи, сослан в ссылку за то, что в Сенате позволил себе неприличные поступки, брань с товарищами и обер-прокурором, нарушение указов, старание, чтоб брату его было выдано лишнее жалованье. По поводу этого дела Петр опять высказался в указе, что подобное поведение хуже измены, потому что ведет к уничтожению всякой дисциплины в подчиненных, к разорению людей, к падению государства. Определены были наказания за нарушение приличия в присутственных местах, за неучтивое обращение с челобитчиками. Знаменитый прибыльщик Курбатов обвинен был в злоупотреблениях и умер под судом; знаменитый фискал Нестеров, открывший столько чужих злоупотреблений, сам попался в злоупотреблениях и был казнен смертию; не перечисляем дел, ведшихся по злоупотреблениям других менее известных лиц, или дел по менее значительным злоупотреблениям очень известных лиц. Эту тяжелую борьбу Петра с страшною болезнию взяточничества и казнокрадства очень хорошо характеризует следующий анекдот; историк не поручится, чтоб действительно был такой разговор между означенными в анекдоте лицами, но анекдот все же остается важен как выражение сознания современников о величине зла. Петр, слушая в Сенате о казнокрадстве, сильно рассердился и сказал генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши указ, что если кто и настолько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». — «Государь, — отвечал Ягужинский, — неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что один больше и приметнее, чем другой».

Ничто так не раздражает, не выводит из себя человека сильного, как сознание, что всякая сила бессильна против тупой силы закоренелого зла. Пример кровавой борьбы Петра со взяточничеством и казнокрадством, с неуважением к обязательной одинаково для всех силе закона показывает все затруднительное положение правительства, не встречающего пособия в обществе, когда правительство самое сильное и благонамеренное связано какою-нибудь неправильностию в общественном развитии, встречает около себя немой заговор: все, по-видимому, слушается, преклоняется, трепещет, а на деле делается свое, наставления, угрозы, наказания пропадают даром. Для силы нет ничего тягостнее, как сознание бессилия, что никакими средствами нельзя ничего сделать, надобно ждать, предоставить времени лечение болезни. Понятно, что на Петра находили черные тучи, но самая черная туча нашла на него по семейному делу, по делу царевича Алексея[77].

Время, с которым мы имеем дело, есть время тяжкой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перевороты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся самые крепкие связи; борьба не ограничивается жизнию общественною, она проникает в заповедную внутренность домов, вносит вражду в семейства. Божественный основатель религии любви и мира объявил, что пришел не водворить мир на земли, но ввергнуть нож среди людей, внести разделение в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. То же явление представляет нам и гражданская история. Неудивительно, что страшный переворот, который испытывала Россия в первую четверть XVIII века, внес разделение и вражду в семью Преобразователя и повел к печальной судьбе, постигшей сына его, царевича Алексея. Мы ежедневно встречаемся с явлением, что дети не бывают умственно и нравственно похожи на родителей. Сильные столкновения часто происходят от этого и в частных семьях; но подобные столкновения в семьях владельческих ведут иногда к кровавым последствиям. Св. Константин Великий казнил сына своего Криспа[78]. В XVIII веке прусский король Фридрих Вильгельм I едва не казнил сына, знаменитого впоследствии Фридриха II[79]. В семьях владельческих несходство между отцом и сыном условливает несходство настоящего с будущим для многих людей, иногда для целого народа, особенно это несходство может быть обильно последствиями, грозит реакциями во времена сильных переворотов.

Понятно, следовательно, почему в царствование Петра вопрос: сын и наследник Преобразователя похож ли на отца? — был вопросом первой важности. Переворот, движение, при котором родился и воспитался Петр, который не был начат, создан Петром, но к которому совершенно пришлась его огненная, не знающая покоя природа, переворот повредил его семейным отношениям в первом браке. Жена пришлась не по мужу; Петр испытал на себе ту невыгоду старого обычая, от которой хотел потом освободить своих подданных, назначив время для ознакомления между же-

нихом и невестою. В древней России следствием такого отсутствия предварительного ознакомления было заключение жен в монастыри; то же случилось и с царицею Евдокиею[80]. Петр женился на Екатерине Алексеевне Скавронской[81], которая совершенно приходилась по нем, которая могла не отставать от мужа, а муж не умел ходить, а только бегать. Но от первого брака остался сын и наследник, царевич Алексей. Россия волнуется бурями преобразования, все истомлены и жаждут пристать к тому или другому берегу; для всех одинаково важен и страшен вопрос: сын похож ли на отца? Царевич был умен; об этом свидетельствует сам Петр, который писал ему: «Бог разума тебя не лишил». Царевич был охотник приобретать познания, если это не стоило большого труда, был охотник читать и пользоваться прочитанным, признавал необходимость образования. Но мы знаем, что в России и до Петра чувствовалась необходимость образования и преобразования; до Петра были люди, которые обратились за наукою к западным соседям, учили детей своих иностранным языкам, выписывая учителей из польских областей. Но это направление, обнаружившееся при царе Алексее, Феодоре и во время правления Софьи, явилось недостаточным для Петра: с учеными западнорусскими монахами, с учителями из польских шляхтичей, которые могли выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес к спорам о хлебопоклонной ереси,— с помощию одних этих людей нельзя было сделать Россию одною из главных держав Европы, побороть шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть естественные богатства России, развить промышленность и торговлю: для этого нужны были другие люди, другие средства, для этого нужна была не одна школьная и кабинетная работа, для этого нужна была страшная, напряженная деятельность, незнание покоя; для этого сам Петр идет в плотники, шкипера и солдаты, для этого призывает всех русских людей забыть на время выгоды, удобства, покой и дружными усилиями вытянуть родную страну на новую, необходимую дорогу.

Многим этот призыв показался тяжек, и тяжек он показался не раскольникам каким-нибудь, ибо эти люди также из-за своих убеждений готовы были на лишения и подвиги: этот призыв показался тяжек людям образованным, которые были вовсе непрочь попользоваться европейскою цивилизациею для выгод и удобств житейских, но чтоб эта цивилизация не так дорого стоила, пришла бы сама собою без большого напряжения сил с их стороны. Представителем этих-то людей был царевич Алексей. Он был тяжел на подъем, неспособен к напряженной деятельности, к сильному труду, чем отличался отец его; он был ленив физически, и потому домосед, любивший узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только. Сын по природе своей жаждал покоя и ненавидел все то, что требовало движения, выхода из привычного положения и окружения; отец, которому по природе его были более всего противны домоседство и лежебокость, во имя настоящё-

го и будущего России, требовал от сына внимания к тем средствам, которые могли обеспечить России приобретенное ею могущество. Отец работал без устали, видел уже, как зрели плоды им насажденного, но вместе чувствовал упадок физических сил и слышал зловещие голоса: «Умрет, и все погибнет с ним, Россия возвратится к прежнему варварству». Эти зловещие голоса не могли бы смутить его, если б он оставлял по себе наследника, могшего продолжать его дело.

Понятно, что Петр не мог позволить себе странного требования, чтоб сын его и наследник обладал всеми теми личными средствами, какими обладал он сам; но он считал совершенно законным для себя требование, чтоб сын и наследник имел охоту к продолжению его дела, имел убеждение в необходимости продолжать его; недостаток сильных способностей восполнялся относительной легкостью дела, ибо начальная, самая трудная его часть уже была совершена; дело было легко и потому, что преемнику приходилось работать в кругу хороших работников, приготовленных отцом; для успеха при таких условиях нужна была только охота, сочувствие делу. «Не трудов, но охоты желаю»,— писал Петр сыну. Петр при своей работе в сонме сотрудников не досчитывался одного, родного сына и наследника! При перекличке русских людей, имевших право и обязанность непосредственно помогать Преобразователю в его деле, наследник один не откликался. Когда его звали на любимый отцовский праздник, на спуск корабля, Алексей говорил: «Лучше б мне на каторге быть или в лихорадке лежать, чем там быть». Отец требует от сына, чтоб тот переменил свою природу, сын считает отца мучителем, только тогда и спокоен, когда находится вдали от отца, и вот в его сердце закрадывается страшная мысль, как было бы хорошо, если б навсегда освободиться от присутствия отца, как было бы хорошо, если б отец умер. Алексей кается в грешной мысли духовнику; духовник, имевший сильное влияние на духовного сына, отвечает: «Бог простит: мы и все того желаем.»

Итак, все того же желают, все ненавидят отца, все сочувствуют сыну, который становится представителем, любимцем народа именно потому, что не похож на отца. Зачем же после того меняться, исполнять отцовские требования. Сын считает своею обязанностию удаляться от дел отцовских; отец считает своею обязанностию спасти будущее России, пожертвовав сыном. «Я,— пишет к нему Петр,— за свое отечество и за людей жизни не жалел и не жалею, то как могу тебя негодного пожалеть?» Петр потребовал решительно, чтобы царевич или переменил свое поведение, или отрекся от престола, но простого отречения было мало, ибо его можно было выставить невольным и разрешить всякие клятвы, потому царевич должен был постричься. Алексей бежит за границу, отдается под покровительство германского императора, призывает чужого государя в судьи между собою и отцом. Алексея возвращают и по его показаниям вскрывается об-

ширное дело, в котором участвует и старица Елена (постриженная царица Евдокия) и сестра Петра, царевна Марья, много людей духовных и светских, начиная с высших, вскрывается целый арсенал суеверий: опять пытки, казни и опалы. Алексей умер. Тайна его смерти не открыта историею; но открыта тайна отцовских страданий: «Страдаю,— говорил Петр,— а все за отечество, желая ему пользы; враги делают мне пакости демонские; труден разбор невинности моей тому, кому это дело неизвестно, бог видит правду».

Все эти черные тучи, и преимущественно дело сына, расстраивали здоровье Петра, сокращали его жизнь. Но были и утешения, были успехи даже и в той тяжкой и, по-видимому, бесплодной борьбе с закоренелым злом, со взяточничеством и казнокрадством. Внушения действовали, дела, на которые прежде смотрели так легко, считали обыкновенными и позволенными, явились преступлениями. Человек, лежа на смертном одре, терзается совестию, боится предстать пред суд божий и посылает царю просьбу простить его за злоупотребления, которые он себе позволил при рекрутском наборе. В такой просьбе Петр именно мог видеть результат своих внушений, своего учения. Не могли не радовать Петра и успехи относительно материального благосостояния. Несмотря на все препятствия, неопытность в ведении дела и расход денег по частным карманам, государственные доходы увеличивались. Для устранения злоупотреблений при переписи дворов введена была подушная подать, шедшая на содержание постоянного войска. Крестьяне дворцовые, монастырские и помещичьи платили по 74 коп. с души, государственные по 114 коп. и освобождались от всех прежних денежных и хлебных податей и подвод; купцы и цеховые платили по 120 коп. По расчету, сделанному в 1710 году, доходы простирались до 3 134 000 рублей; но в 1725 году их было 10 186 707 рублей. Заведена была ревизия; по первой ревизии 1722 года податного состояния оказалось 5 969 313 человек, в том числе 172 385 купечества; городов в империи было 340. В конце царствования число регулярного войска простиралось до 210 000, в том числе в гвардии 2616 человек. Флот состоял из 48 линейных кораблей и 787 галер и других судов.

Несмотря на огромные издержки по делам внутреннего преобразования, на долговременную тяжелую войну, на новые дипломатические издержки, государство пробавилось своими доходами и не сделало ни копейки долгу. Усиление торговли и промышленности должно было главным образом увеличить народное благосостояние и доходы государственные. Мы видели, что первым делом Петра было уничтожить жалобы торговых и промышленных людей на притеснения, давши им особое управление, основанное на коллегиальном и выборном начале, и мы видели, как с самого начала дело пошло дурно по неразвитости общества, по непривычке к общему действию, так что Петр должен был поручить Курбатову надзор над Московскою ратушею и уничтожение зло-

употреблений по ее управлению. После того, как Курбатов был переведен вице-губернатором в Архангельск, Петр продолжал получать известия о беспорядках нового управления, известия, что купечество в Москве и городах само себе повредило и повреждает: богатые на бедных налагают несносные поборы, больше, чем на себя, а иные себя и совершенно обходят; стремление избежать платежа податей продолжалось: жили в защите и закладе у разных людей будто бы за долги, а сами торговали, имели заводы; люди, имевшие достаточное состояние, помещались в богадельнях, выставляя бедность и болезни. В это время страшного труда для тех, которые откликнулись на призыв царя, в работе пребывающего, лень других доходила до такой степени, что некоторые горожане, жившие своими домами, собирали милостыню, а иные, сковавшись, ходили будто тюремные сидельцы, чтоб собрать побольше милостыни.

«Чтоб собрать эту рассеянную храмину» купечества, по выражению Петра, он учредил в Петербурге Главный магистрат, имевший коллегиальное устройство и состоявший из членов петербургского городового магистрата; президентом царь назначил князя Трубецкого, вице-президентом московского купца Исаева, переведши его из Риги, где он был инспектором тамошнего магистрата, ибо Петру нужен был в Риге свой русский человек. Главный магистрат должен был прежде всего устроить городовые магистраты; он утверждал их членов, избранных горожанами, утверждал смертные приговоры, произносимые городскими магистратами, к нему переносились и гражданские дела недовольными их решением в городских магистратах. Горожане разделены на три части, из которых две первых носят название гильдий; гильдии выбирают старшин, которые во всех гражданских советах должны помогать магистрату; магистраты стараются размножать мануфактуры и мастерства, ленивых и гуляк понуждают к работе, заводят первоначальные школы, старых и дряхлых пристраивают в богадельни, блюдут за опекою сирот, за безопасностию городов от пожара, защищают граждан от обид посторонних людей. Магистраты исполняли эту обязанность, подавали списки обидам в Главный магистрат, тот препровождал их в Сенат; из этих списков мы видим, что обиды были сильные и частые, иногда вопиющие. Несмотря на это, торговля усиливалась, благодаря особенно приобретению морских берегов; в 1724 году к Петербургу уже пришло 240 иностранных кораблей; русские корабли являлись в иностранные порты; первыми русскими кораблехозяевами были Божениновы и Барсуков.

Торговлю сильно затрудняло плохое состояние путей сообщения в бедной стране с редко разбросанным на огромных пространствах народонаселением: осенью 1722 года голландский резидент ехал из Москвы в Петербург около пяти недель вследствие грязи и поломанных мостов. В древней России реки служили естественными и самыми удобными путями; новая Россия, взявшая у

Западной Европы искусство и знание, должна была немедленно употребить это искусство и знание на соединение рек каналами. Смотря постоянно на Россию как на посредницу в торговом отношении между Европою и Азиею, Петр уже давно задумал соединить Каспийское море с Балтийским, Астрахань с Петербургом; в 1706 году соединена была река Цна каналом с Тверцою; кроме того, Петр сильно хлопотал о Ладожском канале, необходимом для петербургской торговли. «Нужда челобитчик неотступный,— писал он в Сенат в 1718 году,— а Ладожский канал последняя главная нужда сего места (т. е. Петербурга)». Работы шли успешно благодаря знаменитому Миниху[82], принятому в русскую службу; Петр уже мечтал, как поедет водою из Петербурга безостановочно до самой Москвы и сойдет на берег Яузы в Головинском саду. Мы упоминали, что Петр еще в начале преобразовательной деятельности, видя недостаток капиталов у русских людей, велел им соединять свои капиталы, торговать компаниями; в Голландии сильно обеспокоились этою мерою, понимая все ее значение для развития русской торговли; но голландский резидент утешил своих соотечественников, написавши им, что указ останется на бумаге, ибо у русских нет никакой привычки к таким общим действиям.

Те же препятствия, какие существовали для торговли — недостаток капиталов, непривычка к их соединению, вред, который по беспристрастному свидетельству Посошкова, само купечество себе наносило неуменьем воспользоваться правами, полученными от Петра; вред, наносимый старинными отношениями между вооруженным сословием к невооруженному, причем первое считало себя вправе смотреть на членов последнего как на своих естественных работников и холопей, взяточничество, казнокрадство, плохое состояние путей сообщения и небезопасность их от разбойников — все эти препятствия, существовавшие для торговли, существовали в одинаковой степени и для мануфактурной промышленности. Несмотря на то, дело было начато, ведено неутомимо и в конце царствования Петра число фабрик и заводов в России простиралось до 233. Неуменье техническое и неуменье соединять свои капиталы, разумеется, полагали главное препятствие в самом начале, почему Петр должен был начать дело, учреждать казенные фабрики и заводы, но при этом с самого же начала он стал хлопотать о том, как бы поскорее передать эти фабрики и заводы в частные руки с двоякою целию: освободить казну от издержек и побудить русских людей к мануфактурной деятельности, причем давались начинателям производства значительные денежные ссуды, льготы и работники через приписку населенных имений к фабрике или заводу. Вследствие этой-то передачи казенных заводов в частные руки, при Петре некоторые, как наприм[ер] Демидовы[83], приобрели огромное состояние.

Мы уже упоминали о начале горнозаводской промышленности при Петре, о заслуге Виниуса; к этому имени надобно присоеди-

нить еще два имени — Геннина[84] и Татищева[85]. Металлические заводы явились не в одной приуральской стране, но во многих других местностях благодаря стараниям Петра, «чтоб божие благословение под землею втуне не оставалось». Первая мысль о значении каменного угля для России принадлежит также Петру; но при видах на будущее топливо, Петр распорядился о сохранении старого: ему принадлежат меры для сбережения старых лесов и для разведения новых. Вообще Преобразователь обратил внимание на охранение и усиление промыслов, уже существовавших в России и произведения которых составляли предмет заграничного отпуска; так, он распорядился усилением льняного и пенькового промысла «для всенародной пользы и для прибыли крестьянам»; сюда относятся его хлопоты об улучшении кожевенного производства; кожевенные промышленники, по нескольку человек от каждого города, должны были ехать в Москву на два года учиться лучшей выделке кож, в отдаленные губернии отправлены были иностранные мастера для этого обучения. В 1712 году велено было Сенату завести конские заводы в Казанской, Азовской и Киевской губерниях. При учреждении постоянного войска Петра тяготила необходимость выписывать из-за границы сукно для обмундирования, и потому он завел суконные фабрики, для чего обратил внимание на улучшение овцеводства. В 1705 году Петр писал: «Сукны делают и умножается сие дело зело изрядно, и плод дает бог изрядный, из которых и я сделал себе кафтан к празднику». В 1716 году послано было за границу нанимать овчаров и суконников. Разосланы были по областям правила, как содержать овец по шленскому обычаю, и Петр для понуждения следовать этим правилам указывал, что помещики, которые следуют правилам, продают шерсть по два рубля по 2 гривны и дороже, а те, которые содержат овец по старому обычаю, продают только по полтине и по 20 алтын пуд. Заведение флота требовало заведения парусных фабрик, и они были заведены в Москве в 1702 году. Москва вообще стала центром мануфактурной деятельности, здесь в конце царствования замечательная была полотняная фабрика Тамеса и компании; все работники были русские, были русские мастера, и Тамес надеялся, что они скоро заменят ему иностранцев; на фабрике было 150 станков и приготовлялись все сорта полотна, от грубого до самого тонкого, прекрасные, по свидетельству иностранцев, скатерти и салфетки, тик, канифасы, цветные носовые платки. До Петра все потреблявшееся в России количество писчей бумаги привозилось из-за границы; Петр завел свои фабрики, и в 1723 году во всех коллегиях и канцеляриях уже употреблялась бумага русского дела. Мануфактурное дело принялось, и в числе имен главных фабрикантов и заводчиков Петровского времени мы встречаем почти все русские имена.

Вводились новые отрасли деятельности, а Россия страдала старым недостатком, отстранение которого не было в средствах

Преобразователя, недостатком рабочих рук, да еще привычками, сильными одинаково вверху и внизу и заставлявшими одних предпочитать труду легкое наживанье денег грабежом казны, а других сковываться и ходить в виде колодников, лишь бы только не работать, привычками, которые для своего оправдания вводили в народ гнусную, развращающую пословицу: «От трудов праведных не наживешь палат каменных».

Недостаток в рабочих руках, экономическая неразвитость заставили древнюю Россию прикреплять крестьян к земле. Переворот, известный под именем петровых преобразований, был именно тот переворот, которого необходимым следствием долженствовало быть освобождение села чрез поднятие города. Экономическое развитие, просвещение и жизнь в среде цивилизованных народов — вот средства, которые были даны Преобразователем для постепенного уврачевания старых зол русской земли, а в том числе и зла крепостного состояния, постепенного уврачевания, и потому бессмысленно было бы требовать, чтоб то, что долженствовало быть только отдаленным следствием известной деятельности, появилось в самом начале этой деятельности[86]. Видевшим конец дела предстоит обязанность почтить память начавшего, положившего основание. Всякий, кто внимательно вглядится в состояние России при Петре, посмеется более, чем детской мысли, что Петр мог освободить крестьян; но Петр не мог равнодушно смотреть на злоупотребления, которые отягчали земледельческий труд. Средств к облегчению участи крестьян Петр искал и в улучшении экономического быта землевладельцев, в отнятии у них побуждений к угнетению крестьян. Так, учреждая майорат, он объяснял цель учреждения: «Разделением недвижимых имений наносится большой вред интересам государственным и падение самим фамилиям: если кто имел 1000 дворов и пять сыновей, то жил в изобилии; когда же по смерти его дети разделились, то им досталось только по 200 дворов, но так как они не желают жить хуже прежнего, то с бедных крестьян будет пять столов, а не один: таким образом, от этого разделения казне государственной вред, а крестьянам разорение».

В 1719 году был издан указ смотреть, чтоб помещики не разоряли крестьян своих, разорителей отрешать от управления имениями, которые отдаются в управление родственникам. Петр не любил, чтоб указы оставались только на бумаге: в 1721 году один помещик был сослан на 10 лет на каторгу за то, что прибил человека своего, и тот от побоев умер. В 1721 году вышел указ, запрещавший розничную продажу крестьян и дворовых, детей от родителей; такой продажи, говорит указ, во всем свете не водится, и этими словами указывает уже на могущественное средство общественных улучшений: народ, живущий общею жизнию с другими образованными народами, не может допускать у себя таких явлений, которые эти народы признают ненравственными. Слабоумных помещиков, негодных ни в науку, ни в службу, мо-

гущих только мучить своих крестьян, велено, по освидетельствовании в Сенате, отстранять от управления имениями и не позволять им жениться. Запрещено прикрепление половников на севере. По свидетельству крестьянина Посошкова, крестьяне больше всего терпели от пожаров вследствие тесноты жилищ и от разбойников вследствие неразвитости общественной жизни, непривычки к общему делу — доказательство, что нигде, ни наверху, ни внизу от древней России не осталось признаков силы того, что некоторым угодно называть общинным бытом: в иной деревне, говорит Посошков, много дворов, разбойников придет немного к крестьянину, станут его мучить, жечь, пожитки его на возы класть, соседи все слышат и видят, но из дворов своих не выйдут и соседа от разбойников не выручают.

По мнению Посошкова, вредно для крестьян было еще то, что у них грамотных людей не было; по его мнению, не худо бы было крестьян и поневолить, чтоб детей своих учили грамоте. Но Сенат принужден был отказаться неволить к этому и горожан, потому что дети их в эти годы начинают заниматься торговлею, и от приневоливания к учению может быть ущерб податям. Много было воплей и укрывательств и со стороны дворян, но Петр настоял на обязательности образования для них: дворянин, неграмотный и неизучивший арифметику и геометрию, объявлен был несовершеннолетним и потому не имел права жениться. Ученики, кончившие курс в московских школах, посылались учителями в области. Отсылка молодых людей за границу для науки продолжалась безостановочно. Специальные школы продолжали возникать вследствие сознания той или другой потребности.

В начале 1724 года издан был указ об основании Академии. По плану Петра это учреждение должно было соответствовать тогдашнему состоянию образования в России, должно было заключать в себе Академию наук и университет, педагогический институт и гимназию. Та же Академия должна была заниматься и переводом книг. Мы уже видели, как это дело было важно и как оно занимало Петра; до самой кончины своей он продолжал обращать на него свое внимание, указывать на книги, которые должно было переводить и учить, как переводить. Мы видели, как он учил не переводить слово в слово, что искажало склад русской речи и затемняло смысл, но, уразумевши этот смысл, передавать его читателю на понятном для него разговорном языке. Теперь он учит переводчиков не переводить книги во всей полноте, но переделывать, сокращать, отбрасывая ненужное, «понеже,— писал Петр,— немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять только для того, чтоб велики казались, чего ради и о хлебопашестве трактат выправить, вычерня негодное и для примеру посылаю, дабы по сему книги переложены были без лишних рассказов, которые время только тратят и у чтущих охоту отъемлют».

Но познаний о России нельзя было взять из иностранных книг

и перевесть. Мы видели, что Петр поручил Поликарпову написать краткую русскую историю; но дело было крайне трудное при отсутствии всякого приготовления к нему; понятно, что Петр остался недоволен трудом Поликарпова и решился начать сначала, т. е. приготовлять материалы: он приказал изо всех епархий и монастырей взять в Москву все рукописи, заключающие в себе исторические источники, списать их, а подлинники отослать в прежние места, откуда взяты, точно так же нельзя было заимствовать у иностранцев и сведений о русской географии: Петр отправил учеников петербургских школ для сочинения ландкарт и два раза отправлял экспедиции для решения вопроса, сошлась ли Америка с Азиею. Петр же начал собирание естественных предметов, редкостей и древностей.

Враг всякой роскоши, обращая внимание только на одно полезное и необходимое, Петр не считал роскошью искусство, не жалел издержек на покупку произведений искусства и на вызов иностранных художников. В Петербурге «для общенародной во всяких художествах пользы, по обычаю государств европейских, учреждена была небольшая академия для правильного обучения иконному, живописному и прочим художествам».

Академия наук, на обязанности которой, между прочим, лежал и перевод необходимых книг, была еще только в проекте, и Петр за переводом книг обращался к духовенству. Мы видели меры Петра относительно черного духовенства; с 1711 года начинаются заботы относительно белого. Здесь кроме поднятия нравственности, нужно было позаботиться и о материальном благосостоянии людей, обязанных иметь семейство. Тогда как Россия страдала сильным недостатком в людях, в белом духовенстве было больше людей, чем дела, вознаграждение за дело поэтому делилось между слишком многими, от чего происходила бедность со всеми печальными ее последствиями для человека, обязанного кормить семейство. Это излишество людей в белом духовенстве поддерживалось также господствовавшим в древней России стремлением жить особняком; каждый сколько-нибудь достаточный человек хотел иметь свою церковь, и это желание нельзя объяснять одним благочестием, потому что был обычай и в общие приходские церкви приносить свои образа и перед ними только молиться; желание каждого сколько-нибудь достаточного человека иметь свою церковь объяснялось еще затворничеством женщин, которым было неловко ходить в общие церкви, и потому, не имея домовых церквей, они ходили в церковь редко или и вовсе не ходили. Обилие частных церквей обедняло приходское духовенство; притом не все имевшие свои церкви были в состоянии прилично содержать при них священника и прибегали к найму священников на площадях (крестцах), что представляло соблазнительное зрелище.

Новоучрежденный Сенат в соединении с церковным собором придумали меры для поднятия нравственного и материального

благосостояния белого духовенства: не ставить в дьяконы моложе 25, в священники моложе 30 лет; не посвящать лишних; не верить тем, которые придут проситься на место под предлогом, что священник, его занимающий, болен или стар; в бедные приходы дьяконов не посвящать; заручные челобитные осторожно рассматривать, не ложные ли; поповские старосты должны были допрашивать крестьян, хотят ли они иметь просителя своим священником или дьяконом. В 1718 году было постановлено, чтоб священники своих домов не имели, ибо отягощались их покупкою; жили бы в домах, купленных на сборные церковные деньги, для чего быть у всякой церкви старостам, которые сдают дома священникам и вновь строят на церковные деньги. После эта мера была распространена на дьяконов и причетников. Запретили строить новые церкви без указа; запрещено иметь домовые церкви, а кто хочет иметь, должен содержать священника и, кроме того, должен давать равное содержание и приходскому духовенству.

Последние меры были положены уже при новом церковном управлении: в 1721 году Петр объявил, что, восприяв попечение о исправлении чина духовного, не видит лучшего к тому способа, кроме соборного правительства, вследствие чего и учреждалась духовная коллегия (Синод), вместе с тем заведывание церковных имений взято было из светских рук в монастырском приказе и отдано Синоду. Сенат и Синод нередко собирались вместе для совещаний; иногда при этих общих заседаниях присутствовал и государь. В одном из этих заседаний было постановлено: родителей жениха и невесты приводить к присяге, что брак заключается по согласию их детей. Тут же постановлен был вопрос о мерах, какие должно было принять против притеснения православных в польских областях, и Петр отвечал, что надобно сделать уже известное нам распоряжение, послать комиссара. Главными обязанностями новоучрежденного Синода были: устройство духовенства, преимущественно черного, противодействие расколу, преследование суеверий и распространение религиозно-нравственного просвещения в народе. После долгих дум относительно монашества, Петр определил для него две цели: 1) служение страждущему человечеству; 2) образование из себя просвещенных властей церковных; мужские монастыри становятся инвалидными домами; монахини также должны служить престарелым и больным своего пола, кроме того, заниматься воспитанием сирот, для какой цели отделяется несколько монастырей, в других монахини занимаются рукоделием, а монахи — хлебопашеством.

Нечто подобное ходу преобразований в высшем церковном управлении мы видим в ходе преобразований относительно Малороссии. Эта страна с переворота, произведенного в ней Богданом Хмельницким, находилась в долгом междоумочном, переходном состоянии, условливавшем, как обыкновенно бывает, сильные смуты. Не могши быть самостоятельною, она хотела поддержать свою полусамостоятельность; но эти полусостояния, ни то, ни сё,

приводят всегда к печальным явлениям. Малороссия представляла хаос, борьбу элементов (discordia semina rerum): гетман, ставши из войсковых, козацких начальников правителем целой страны, стремился к усилению своей власти; старшина и полковники хотели быть также полновластными господами, жаловать и казнить кого хотят, стремились стать богатыми землевладельцами и земли свои населить крепостными крестьянами, в которых обращали вольных козаков; последние волновались, особенно подущаемые из Запорожья; города жаловались на притеснения полковников. Все были недовольны, все слали жалобы, доносили друг на друга в Москву, а когда государь, вняв этим жалобам, предпринимал какие-нибудь меры, то поднимались опять вопли, зачем Москва вмешивается? Особенно вопли усиливались, когда Москва поднимала вопрос о финансах малороссийских, ибо все сильные люди в Малороссии хотели доходы страны брать себе, не давая ничего государству, которое, таким образом, получало только обязанность тратиться людьми и деньгами на защиту Малороссии. Все были недовольны и, действительно, имели причины на то, но не умели сознать, что эти причины были внутри, во внутреннем хаосе, в кулачном праве, искали улучшения во внешних условиях; поддавшись русскому государю, бросались то к полякам, то к туркам; это колебание, *шатость,* междоумочность вредно действовали на характер народонаселения, особенно высших слоев.

После Богд[ана] Хмельницкого не было гетмана, который бы не изменил или не был обвинен в измене своими же: интригам, доносам не было конца. Гетман Мазепа, облеченный полною доверенностию Петра, изменил ему в самую решительную тяжкую минуту. Сносить далее такое положение дел было невозможно для государства, потому что смута продолжалась, злоупотребления знатных относительно массы народонаселения становились все сильнее, а Петр знал, что эта масса не изменила ему при измене Мазепы, и потому считал своею обязанностию поддерживать, защищать эту массу от насилий старшины, привыкшей к шатости. По смерти гетмана Скоропадского[87], Петр остановил выборы нового гетмана, объявив, что не знает надежного человека, и ввел свое любимое коллегиальное управление; члены коллегии наполовину были малороссияне и наполовину великороссияне.

И после Ништадтского мира Петр не мог посвятить всего своего времени внутренним преобразованиям. Деятельность Петра была чужда односторонности. Ведя упорную борьбу на Западе, изучая Запад для внутренних преобразований, Петр не спускал глаз с Востока, понимая ясно близкие отношения его к России, понимая те средства, которые должен доставить России Восток в ее новой жизни, при том экономическом перевороте, который он совершал. Еще до окончания Северной войны он получил неприятное известие, что чрезвычайно важное для русской торговли и по турецким отношениям азиатское государство, Персия, раз-

лагается от внутренней слабости, и хищные соседи уже делят добычу. Немедленно после Ништадтского мира Петр предпринимает поход к Каспийскому морю, чтоб предупредить турок и не дать им утвердиться на западном берегу этого моря, связь которого с Балтийским морем Петр ясно понимал. Поход Петра и дальнейшие действия русских отрядов достигли цели: договором с Персиею, заключенным в Петербурге в 1723 году, Россия получила западный берег Каспийского моря. Это был последний подвиг.

Мы видели, в каком настроении духа сотрудники Петра после Ништадтского мира поднесли ему титул Императора, Великого и Отца Отечества; они считали себя людьми новыми, воззванными от небытия к бытию, причтенными в сонм образованных народов и причтенными с честию и славою. Понятно, в каком настроении духа чрез три года с чем-нибудь они увидали Петра в гробе и услыхали знаменитые слова Феофана Прокоповича: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем? Петра В[еликого] погребаем!» Проповедь была краткая, но продолжалась около часа, потому что прерывалась плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешение оратор решился сказать: «Не весьма же россияне! изнемогаем от печали и жалости: не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих; безмерное богатство силы и славы его, которое его делами означилось, при нас есть. Оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам».

Да исполнится пророчество; да не оставит нас дух Петра В[еликого]. Результаты деятельности великих людей, богатство силы и славы утрачиваются, когда в народе перестает жить дух этих великих людей. Учреждения Петра могли и должны были измениться, но перемена могла произойти к добру только при условии присутствия его духа. То нетленное наследство, которое оставил он нам, есть пример небывалого в истории труда, силы воли в борьбе с препятствиями, в борьбе со злом, пример любви к своему народу, пример непоколебимой веры в свой народ, в его способности, в его значение, пример преодоления искушений сделать что-нибудь скорее и успешнее с чужой помощию, без труда приготовления к делу своих; пример искусства словом и делом, книгами, законами и учреждениями, духом этих учреждений воспитывать народ свой, поднимать его на ноги; пример заимствования чужого в благо и в плод своему, ибо заимствование чужого было чуждо принижения народного духа пред чужим; пример верного взгляда, верного чувства, по которому Петр указал нам естественных союзников в народах соплеменных; пример страсти к знанию и преданности вере, что обещает народам долголетие, как написано на скрижалях истории.

Отпразднуем наш праздник достойным образом, сознанием и укреплением в себе духа Петрова. Да не будет наш праздник чем-то внешним, формальным, да не навлечем на себя евангельского обличения, обращенного к людям, которые строили гробы пророческие и красили раки праведных. Да не будет праздник наш только воспоминанием прошедшего; вспомнив, будем исполнять завещание Петра: «И впредь надлежит трудиться и все заранее изготовлять, понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». Правило: век живи — век учись — справедливо не в отношении только к одному человеку, но и в отношении к целым народам. Да проходит же народ наш школу жизни, как Петр Великий проходил свою многотрудную школу, и народ наш долголетен будет на земле.

Исторические письма

...Я понимаю твое нетерпение: столько важных вопросов возбуждено в науке и жизни, жизнь так много требует от науки, настоящее требует так много объяснений от прошедшего! Ты меня закидываешь вопросами: как я думаю об этом; как смотрю на то; не отыскал ли я в архивной пыли какого-нибудь известия, которое бы объяснило нам то и то. С чего же начать мне мой ответ?

Не раз я замечал в твоих письмах горькое чувство, сомнение насчет будущности европейского человечества. В одном письме, обозревая состояние европейского общества и литературы, ты говоришь: «Что это такое? Утомление ли от слишком быстрого движения, желание отдохнуть, оглядеться, подумать, чтобы, собравшись с новыми силами, пуститься опять в путь, или действительно одряхление, неспособность идти далее по дороге жизни? И что это за протест против настоящего, поднимаемый во имя прошедшего? Какой его смысл?»

Постараюсь сначала ответить тебе на этот вопрос. Но прежде всего надобно условиться в смысле слов, которые мы будем всего чаще употреблять. Сколько раз в твоих письмах встречается слово — прогресс: в его значении, думаю, мы прежде всего должны условиться.

Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или яйца в животное, состоит в движении от простоты и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На первой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями этого вещества; потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и через бесконечное умножение такого выделения частей образуется, наконец, сложная сеть тканей и органов, составляющая животное или растение в полном его развитии. Это явление, которое мы называем прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и общественному [1]. Первый шаг к прогрессу

в человечестве, заключавшемся в одном человеке, было появление различия между мужчиною и женщиною. «Не добро быти человеку единому»,— сказал виновник жизни, и явилась женщина[2]. В обществе, на низкой ступени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постоянно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах недовольно развитых, первосвященник и государь слиты в одном лице, религиозные и гражданские законы смешаны: в силу прогресса, все это мало-помалу различается, разделяется. Тот же самый прогресс в языке, от однозвучия животных до членораздельных звуков человеческих, и т. д.

Но прогресс не состоит в одном бесконечном членоразделении; для образования организма необходимо, чтобы части, органы, выделяясь, обозначаясь, находились в тесной связи между собою; отдельного, тем менее враждебного друг другу положения они иметь не могут; движение, жизнь, прогресс условливаются соединением, следствие одиночества — бесплодие, неподвижность. Чем развитее организм, тем развитее его члены, органы, тем в более тесной связи находятся они друг с другом, тем менее для них возможности одиночного существования. Этот общий закон организма имеет силу и в применении к высшему из организмов, организму общественному. Но если среди организмов природных, чем выше организм, тем с большею медленностью развивается, тем большего требует для себя старания, ухода, то нечему удивляться, что организм общественный так медленно совершенствуется, что истины относительно его образования достаются человечеству с таким трудом. Из глубокой древности идет притча о том, как члены человеческого тела отказались служить друг другу и этим довели тело до гибели[3]; давно, следовательно, принимали одинаковость законов, как для организмов природных, так и для общественного, давно старались обращать внимание людей на эту одинаковость. Дело уяснения законов общественного организма начато давно, но вот прошло столько веков, а все кажется, что оно только еще в начале. Легко сравнивать организм с организмом общественным: действительно, сходство поразительное, законы одни и те же; но не должно забывать, что члены общественного организма суть существа свободно-разумные, или целые соединения таких существ; что каждое из них первоначально вращается в тесной сфере, где видит преимущественно только себя; что сфера эта расширяется чрезвычайно медленно; медленно члены общественного организма приходят к сознанию о необходимости тесной внутренней связи друг с другом для поддержания полной жизни каждого из них, и наоборот, о необходимости полнейшего развития каждого из организмов для поддержания тесной внутренней связи между ними, для совершеннейшего развития общественного организма. Прежде, чем достигли этого сознания, сколько раз человечество приходило в отчаяние от прогресса, протестовало против него, старалось остановить его, уйти от

него, в древнем мире — начиная от индийских воззрений в сфере религиозно-философской и оканчивая республикою Платона[4] в сфере философско-политической; в новом мире...

Но я вижу издали твое нетерпение, желание остановить меня и потребовать прежде всего объяснения, что за связь между индийскими воззрениями и воззрениями Платона.

Самый мягкий, самый дряблый из народов Востока, народ индийский — первый наскучил борьбою жизни, не мог сладить с прогрессом, привести в возможную гармонию отношения, им порождаемые, и протестовал против него. Он объявил: что все многообразие явлений видимого мира не имеет действительного существования; что задача человека состоит в удалении от этого кажущегося существования, от этого непрестанного коловращения мира, и в погружении в Браму, душу вселенной, находящуюся в совершенном бездействии, покое. В буддизме индиец старался также избежать от «неугомонного вращения колеса мира», от жизни, исполненной страданий. Что за причина старости, смерти, всякого рода страданий? — рождение. Что за причина рождения? — зачатие, вожделение, чувства. Чтоб уничтожить страдание, надобно уничтожить рождение, надобно уничтожить зачатие, вожделение, чувства, надобно уничтожить соприкосновение с миром,— человек через это отрешение, через это самоуничтожение должен *перейти в пустоту,* из которой не может быть возрождения к ненавистной жизни. Какой же смысл всех этих воззрений для историка? Здесь обнаруживается неспособность народа выдержать борьбу с жизнию, распорядиться разнообразием отношений, страшная слабость, одряхление, порождающие сильное желание покоя, стремление уйти от прогресса, от движения, возвратиться к первоначальной простоте, то есть пустоте, в состояние, до прогресса бывшее.

Когда греки, в конце своего блестящего, но одностороннего развития, не смогли сладить с прогрессом, то и у них, у лучших людей, у лучших умов между ними, явился протест против прогресса, который преимущественно обнаружился в политических сочинениях Платона («Государство и законы»). Здесь высказалось стремление возвратить общество к первоначальной простоте, единству, остановить дальнейшее движение, развитие личных отношений, личных способностей, личных средств, и высшим идеалом поставлено то общество, в котором у человека отняты семейство и собственность, два могущественные двигателя при развитии силы человека. Понятно, что мысль о подобном общественном устройстве могла явиться в языческом мире, когда господствовал самый низкий взгляд на достоинство человека. Человек, по этому взгляду, вечно ребенок, вечно нуждающийся в строгой опеке, обязанный вечно пребывать в школе, и общество должно быть устроено по образцу школы или, если угодно, по образцу лагеря, дисциплиною своею так близко подходящего к школе. И в обществе, как в школе, человек-ребенок встает, ложится, ест, работает

в определенное время, вместе с другими; каждому дано в собственность ни больше, ни меньше, как и другим: у школьника есть своя кровать, платье, столик, книги, все это совершенно такое же, как и у других: в обществе Платона у каждого свой участок земли, который нельзя ни увеличить, ни уменьшить; движимое имущество — это язва, от него больше всего надобно беречься, приобретение его надобно затруднять всеми средствами, ибо понятно было, что движимое имущество самое сильное средство движения, развития общественного. Человек — ребенок; дайте ребенку нож, он его в пользу не употребит и скорее всего порежется или другого порежет, лучше до греха отнять у него нож; дайте человеку семейство, дайте возможность приобретать, увеличивать собственность: человек с этим не сладит, не будет от них добра ни ему, ни другим, а пойдут только ссоры, тяжбы, бедный будет завидовать богатым; лучше отнять у человека и семейство и собственность!

Надеюсь, теперь ты оставишь за мною право сблизить политические мечтания одряхлевшей Греции с религиозными воззрениями Индии: и здесь и там одно и то же отвращение от движения жизни, неумение сладить с прогрессом и стремление остановить его, возвратиться к первоначальной простоте, однообразию, небытию; и здесь и там одинаковое непризнание достоинства человека, одинаковое презрение к его нравственным силам, которые не могут дать ему средств сладить с прогрессом и устроиться при разнообразии общественных отношений. Какими же средствами ветхий мир мог быть обновлен, мог быть спасен от этих грустных воззрений, так ясно обличавших истощение нравственных сил в древнем человечестве? Разумеется, спасение могло прийти от воззрений противоположных. Для обновления мира нужно было поднять значение отдельного лица, объявить, что человек не есть ребенок, долженствующий быть вечно в школе, но совершеннолетний, могущий владеть всем, не употребляя ничего во зло для себя и других; надобно было вдохнуть в человека сознание об этом совершеннолетии его, об обязанностях, какие оно налагает, о трудных обязанностях самостоятельной жизни; надобно было внушить человеку сознание его нравственных сил, обязанность их непрестанного развития; надобно было внушить ему, что идеал деятельности человека состоит не в страдательном только повиновении закону, но в свободном превышении закона, в предупреждении его требований. Древнее общество говорило: отнимем у человека его собственность, и он перестанет ссориться и тягаться; новое общество должно было сказать: совершенствуем человека нравственно, искореним в его сердце побуждение к вражде, ссоре и дадим ему все; пусть пользуется на благо себе и другим. Древнее человечество, не признавая нравственного достоинства человека, веровало в формы, искало только в них спасения. Но история показала тщету этого верования; показала, что все эти многообразные политические здания, в строении которых

упражнялась языческая древность, строились на песке. Надобно было поэтому начать постройку здания с другого конца; для прочности здания общественного надобно было заняться нравственным совершенствованием отдельных членов общества; надобно было оставить заботу о формах и заняться содержанием; надобно было упразднить веру в плоть и уверовать в дух.

Все это было совершено христианством, которое провозгласило, что человек более не раб, но сын и наследник, что он есть храм духа святого. Высоко стало значение человека, высоко стало значение ближнего; обязанный любить ближнего, как самого себя, человек необходимо получил обязанность уважения, страха пред ближним, страха пред его мнениями. (До бога высоко, до царя далеко, до ближнего близко).

Новое вино не было влито в старые мехи; для образования новых обществ явились новые народы, ибо одною из причин гибели древних государств было одностороннее развитие городской формы жизни. Что такое древняя Греция? Царство городов: один город существует, сел нет, земледельческое народонаселение не имеет ничего общего с городским: это были рабы, приведенные из разных стран, не имеющие не только гражданских, но и человеческих прав, без семейства, без религии, низведенные на степень рабочего скота. Империя Римская была империей города; колонии Рима, которые он выводил в покоренные провинции, были его оттисками, были городами; когда Рим овладел всею Италией, то в этой стране начали господствовать две формы: город и пустыня, где бродили многочисленные стада, пасомые скотоподобными пастухами-рабами. Развивая исключительно городскую форму жизни, не признав подле города свободного, единородного сельского населения, древнее общество произносило себе приговор; как Ахиллес, оно выбрало блестящее, но кратковременное существование: у городских жителей были все права, но за то на них же одних падали и все обязанности; и когда, вследствие этого, городское народонаселение истощилось, то откуда могла быть вознаграждена его убыль? Из села не могли прийти для этого в город сильные, свежие люди, могшие продолжать движение, начатое в городе, по одинаковости народного характера, способностей, воззрений, верований, одним словом, по тесной общественной связи, которая всегда существовала между ними и горожанами; из полей могли прийти в древний город только люди, совершенно чуждые его прошедшего и настоящего, и приход таких людей, испомещение их, по необходимости, в число граждан окончательно губили город, то есть государство, ибо государство состояло из города! Какой же смысл имеет так называемое великое переселение народов, утверждение варваров в областях Римской империи? Они восполнили то, чего именно не выработало древнее общество: деревенщина, варвары нахлынули из лесов, для продолжения обновленной христианством европейской жизни, к которой не было более способно истощенное наро-

донаселение города; но так как это вторжение варваров было насильственно и внезапно, то образованность исчезла на долгое время, деревня, в свою очередь, подавила город.

В новом обществе видим несколько общественных органов друг подле друга, связанных единством народным и государственным, видим церковь, замок, город, село. Правильнейшее определение отношений между общественными органами, такое определение, при котором бы эти органы не враждовали, не исключали, не подавляли друг друга, но, сознавая значение каждого, поддерживали друг друга, такое определение отношений составляет задачу европейско-христианского общества. Наука, разумеется, всем своим могуществом должна помогать при решении этой задачи; и прежде всего история должна способствовать установлению правильного взгляда на настоящее, установляя правильный взгляд на отношения настоящего к прошедшему. Как же в настоящее время наука исполняет эту великую обязанность свою? Чтоб удобнее отвечать на этот вопрос, я обращаюсь к книге, которая произвела сильное впечатление в ученой Германии, книге Риля: «Die Naturgeschichte des Volkes»; она, как вижу из твоих писем, произвела сильное впечатление и на тебя: ты часто упоминаешь о ней то с удовольствием, то с неудовольствием; видно, что она тебя занимает и смущает.

Я понимаю, что цель сочинения Риля, как сам он ее высказывает, должна была возбудить твое полное сочувствие: «Общественная жизнь может быть улучшена только тогда, когда каждый отдельный человек и целые сословия приобретут способность ограничиваться, не выходить из должных пределов. Пусть человек среднего сословия желает быть опять человеком среднего сословия, поселянин — поселянином, аристократ да не считает себя особою привилегированною, для господства над всеми другими рожденною. Пусть каждый с гордостию и радостию признает себя членом того общественного круга, к которому он принадлежит по рождению, воспитанию, образованию, призванию; пусть с презрением отбросит от себя обычай выскочки, который играет роль знатного господина. Эту роль играют теперь почти все состояния, исключая настоящее сельское народонаселение, которое я потому и особенно люблю. Общественное преобразование должно состоять в раскаянии, обращении отдельных членов общества».

Цель сочинения прекрасная; в наблюдательности и таланте у автора нет недостатка, приемы при изучении земли и народа образцовые; надобно желать, чтобы русские люди покороче ознакомились с этими приемами и воспользовались ими при изучении своей земли и своего народа. Но как достоинства, так и недостатки подобных сочинений не должны оставаться под спудом. При решении общественных вопросов, прежде всего необходимо правильное историческое понимание, а его-то иногда и недостает у Риля. Чтобы понять ясно требования настоящего, удовлетворить им вполне, но не увлекаясь крайностями стоящего на очереди на-

чала, надобно прежде определить отношение последнего к началу, выработанному предшествующей эпохою. В истории существует строгое разделение занятий между эпохами; каждая эпоха вырабатывает свое начало. При этом господствующее направление обыкновенно позволяет себе злоупотребления; вырабатываемое эпохою начало доводится до крайности: это значит, что начало еще вырабатывается; что общество не доросло еще до настоящего пользования им, не ясно сознает в чем дело. Как же скоро это сознание является, то общество отбрасывает крайности и стремится к вырабатыванию нового начала,— наступает новая эпоха, причем выработанное начало во всей полноте и чистоте переходит в сокровищницу исторического человечества, в вечное ему пользование, и новое начало может быть крепко, может быть с успехом вырабатываться только тогда, когда основывается на предшествовавшем, тесно прилегает к нему, и через него имеет связь со всеми прежде выработанными историею началами. Новая эпоха может иметь непосредственное отношение только в эпохе ближайшей; новое начало получает непосредственно свое питание от начала, только что перед ним выработавшегося; в истории нет эпох пустых; нет эпох, вырабатывавших только какие-нибудь вредные для человечества начала, через которые человечеству нужно перескочить назад, чтобы получить нравственное питание, жизненные средства от начал, выработанных отдаленнейшими эпохами.

Средние века, века юности европейского человечества, представляют нам государственные тела в хаотическом состоянии: члены тела, общественные органы, налицо; но они еще в борьбе друг с другом, в неправильном отношении друг к другу. Начало, связующее части, дающее единство телу, согласное, стройное направление его деятельности,— это начало еще слабо. Части, отдельные общественные союзы живут особо, так сказать, циклопически; общество в крайне незавидном состоянии: человек только и безопасен в кружке своего частного союза, вследствие чего частные союзы эти развиты и крепки, обнаруживают много жизни и движения, ибо вся жизнь человека, все его интересы сосредоточиваются здесь; далее стен своего города человек не видит ничего. Каждое жилище, каждое местечко укреплены; горожанин, который так отважен, что решается выступить из стен своего города, подвергается величайшим опасностям: вот вдали на скале висит гнездо хищной птицы — рыцарский замок; там уже завидели путешественника — это добыча: опускается подъемный мост, и из ворот неподвижного замка выдвигается несколько подвижных замков, что-то в роде человека на лошади, но и конь, и всадник залиты в железо, и не видать человеческого образа: нет спасения бедному страннику-горожанину! Ибо он член не того частного союза, к которому принадлежат эти подвижные замки, и потому между ним и последними нет ничего общего, они в постоянной вражде. Но вот цельное государство мало-помалу образуется,

усиливается стремление к единству, усиливаются средства того начала, которое блюдет за соединением частей для достижения общей цели, блюдет за соединением мира и согласия между частями, за общественною безопасностью, начала правительственного. Как скоро водворяется мир, является общественная безопасность, обнаруживается сила закона, дающего покровительство каждому и везде, то стены, защищавшие до сих пор частные союзы и отделявшие их друг от друга, рушатся: происходит явление, подобное которому жители холодных стран видят при наступлении теплых весенних дней, когда стар и млад с радостию выходят из закупоренных по-зимнему домов, чтобы подышать свежим воздухом, полюбоваться широким раздольем.

Преграды рушились, можно двигаться свободно; горожанин может безопасно отправляться по своим делам куда ему угодно: его не ограбят, не убьют; горизонт расширяется; вместо своей маленькой общины, человек видит перед собой целое государство; перед ним открыты бесчисленные сферы деятельности, из члена частного союза он делается членом государства, пред ним открывается возможность широкой общественной деятельности: что же ему прежний узкий, сдерживающий его деятельность частный союз? Он более не нуждается в нем и пренебрегает им; в силу общественной безопасности, перед купцом, членом какой-нибудь городовой общины, открывается обширный круг деятельности; свободно и безопасно переезжает он из одного места в другое, перед его кораблями открываются неведомые океаны, открываются новые части света с их неистощимыми богатствами: что же ему после того старая его маленькая община? Будет он о ней много заботиться? Таким образом, вследствие водворения общественной безопасности, вследствие расширения круга деятельности, частные союзы, крепкие прежде по недостатку общественной безопасности, но узкие, не могшие более удовлетворить новым потребностям общества, оказались несостоятельными, стали ослабевать, могли с прежнею крепостию сохраниться только в тех сферах, куда стремительный поток новой жизни еще не проник. Наступила великая эпоха, в которую вырабатывалось начало единения: человек освобождался из тесных замкнутых союзов и становился членом государства, определялись непосредственные отношения каждого человека к государству; отсюда естественным необходимым путем выработалась идея человечества.

Великая эпоха совершила свое дело; были увлечения, крайности при этом совершенствовании; но один из знаменитейших современных историков сказал вполне справедливо об этой эпохе: ей много оставится, потому что возлюбила много. Наступила другая эпоха, в которой нельзя не заметить, как один из отличительных признаков, стремление к частным союзам, к образованию новых частных союзов, к скреплению старых, родового, сословного, общинного, ибо дознано, что только с помощию крепких частных союзов человек может воспитаться, привыкнуть к гражданской

деятельности; что только с помощию частных союзов частная деятельность, развитие частных средств и сил могут быть вполне обеспечены: государство доставляет безопасность, но оно не может заменить для каждого ни отца, ни брата, ни собрата. Что же, — стремление к частным союзам есть ли возвращение к старине, выражение несостоятельности направления предшествовавшей эпохи? Нисколько! Благодаря началу, выработанному предшествовавшею эпохою, частные союзы, скрепления которых требует наше время, не имеют никакого непосредственного отношения к частным союзам, существовавшим при начале европейских обществ, в средние века. Новый европейский человек стремится скрепить частные союзы, но, благодаря началам, выработанным предшествовавшею эпохой, он возвращается в эти союзы иным человеком, с иными понятиями, с иными условиями, в силу которых новые частные союзы будут гораздо крепче; так, например, относительно семейного союза иные поставлены отношения между старшими и младшими, между отцом и детьми, между мужем и женою; формы те же, но дух иной, а это главное — это все.

Новый европейский человек хочет скрепить сословный союз: но разве отношения между сословиями теперь те же, что были в средние века? Все сословия, как органы одного тела, должны поддерживать друг друга дружно, со взаимным уважением стремясь к одной общей цели, зная, что ослабление одного органа болезненно отзовется во всех других; а эта мысль откуда взята новым европейским человеком, разве из XVII века? Теперь люди с одинаковыми занятиями, с одинаковым положением стремятся, для поддержания друг друга, к частным союзам: но разве эти союзы могут быть похожи на старинные цехи? Цель частного союза — обеспечение свободной широкой частной деятельности, а не ограничение, не стеснения ее какими-нибудь материальными условиями, например общим владением. Члены частного союза не должны идти скованные об ногу друг с другом, а должны для частной и общей пользы двигаться свободно и быстро, но при первом колебании собрата должны стремиться к нему на помощь, поднимать его всеми средствами, материальными и нравственными.

Одним словом, древние частные союзы, удовлетворявшие потребностям своего времени, не могли удовлетворять более потребностям европейского общества, двинувшегося вперед по широкому пути развития; их ослабление в известную эпоху, которое дало возможность вырабатывавшемуся в эту эпоху началу доходить до крайности, показывает ясно их несостоятельность. Частные союзы, эти необходимые органы общества, должны были пересоздаться на новых, более широких началах, а эти новые начала выработались именно в эпоху, предшествовавшую нашей эпохе. Итак, ты видишь, любезный друг, что стремление нашего времени к частным союзам не есть возвращение к отдаленной старине, не есть протест против направления непосредственно предшествовав-

шей эпохи, но есть прямое произведение последней, имеет прямое непосредственное отношение к ней, а не к эпохам отдаленным. Вот почему так странен тот антиисторический взгляд, порожденный плохим знанием и плохим пониманием истории, по которому, найдя в отдаленных эпохах явления, по-видимому, сходные с теми, которых требует настоящее время, устремляют к ним свое сочувствие, упрекая эпоху непосредственно предшествовавшую, будто бы она, вырабатывая новые, чуждые, вредные начала, подавила старые прекрасные начала, которые, во что бы то ни стало, нужно воскресить. Но такой взгляд, во-первых, показывает слабость, несостоятельность этих хваленых начал древности, потому что если б они были крепки, удовлетворительны, то не дали бы подавить себя; во-вторых, люди с антиисторическим взглядом, толкуя о любимых явлениях отдаленной древности, поднимают, изукрашивают их сообразно с своими настоящими понятиями, и тем самым свидетельствуют, что им нужно вовсе не то, что представляет седая древность. Наконец, во всех этих антиисторических толках повторяется старинное явление: протест против прогресса вследствие нравственной слабости, неуменья сладить с ним; отсюда — пристрастие к первоначальным простым, неразвитым формам быта, политический буддизм.

В книге Риля мы часто встречаемся с этим нашим старым знакомым буддизмом. Наш автор сильно наскучил этим беспрестанным коловращением мира, беспрестанным шумом, движением, господствующим в городах, в больших городах; он проклинает город — большой город преимущественно — и спешит в поле. Он говорит, что земледельческое сословие ему особенно нравится, потому что в нем меньше стремления выскакивать; но это сказано не совсем откровенно. В книге читатель легко заметит другую причину пристрастия автора: это именно господство в земледельческом сословии первичных, простых форм и бессознательное стремление к их сохранению. Но автор не доволен и полем; как истый буддист, он ищет большей пустоты и стремится в лес, который пользуется особенным его сочувствием. Заметь, любезный друг, как протест против прогресса, буддизм необходимо связывается с крайним материализмом, ибо одно из основных положений наших новых буддистов таково: человечество было только тогда юно, свежо, когда жило в лесу, при начальных формах быта, при господстве общего владения. Вышедши из этого состояния, оно одряхлело, не в состоянии более восстановлять своих сил; шаг из лесу в поле и шаг из поля в город — не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги к дряхлости, к порче. Это положение основано на вере в одни материальные условия, на отрицании духовных сил человека и общества. У Риля это суеверное обожание форм высказывается очень резко: так, он условием нравственной крепости семьи полагает постоянное пребывание в одном доме, и так как это постоянное пребывание господствует в селе, а не в городе, где большинство народонаселения живет в наемных квар-

тирах, то сельское народонаселение относительно семейной крепости и нравственности имеет громадное преимущество перед городским.

Не ясно ли ты видишь здесь полное подчинение человека, его духовной деятельности, его нравственных, чисто человеческих отношений — материи? Дом, дерево, камень здесь главное! Как скоро человек освобождается от этих материальных условий, то его нравственные отношения необходимо портятся, человек ниже дерева и камня, он не может от них освободиться и сохранить свое достоинство, крепость нравственных связей! «Нечего рассуждать,— говорит Риль,— о естественной связи семейства с жилищем в наше время, когда большинство горожан живет на наемных квартирах. Многие ли из них знают, в каком доме они родились? Удивительно еще, что столько людей знают, сколько им лет!» Острота пошла не в прок нашему автору, ибо всем хорошо известно, кто обыкновенно не знает, сколько ему лет: не горожанин, меняющий квартиры, а селянин, живущий постоянно в доме прапрадедовском. Человеку не нужно знать, какие стены были свидетелями его рождения: ему нужно знать, к кому он должен иметь нравственное, чисто человеческое отношение; ему нужно знать, к какой семье он принадлежит. И бобр строит плотину, и медведь имеет свою берлогу, и птица вьет гнездо: один человек имеет семейство. В другом месте Риль говорит: «Во многих местах северной Германии (как и в Скандинавии) каждый крестьянский дом имеет свой знак, о происхождении которого ученые ломают голову. Этот домовый знак для крестьянина так же дорог, как для дворянина герб. Но между ними большое различие: крестьянская семья, переменяя двор, что конечно случается редко, переменяет и свой домовый знак, тогда как герб дворянина привязан к фамилии и от фамилии переносится уже на замок; герб не есть знак владения, но знак рода, тогда как крестьяне берут свой знак прямо от дому». Автор не хочет понять всю важность этого различия: при первоначальных формах быта, господствующих в земледельческом сословии, материальное — дом — господствует и подчиняет себе человека и его человеческие отношения, человек, семья не имеют своего знака, отмечают все знаком своего господина — дома; тогда как в другой сфере, род, чисто человеческое отношение, преобладает, человек есть господин дома, и отмечает его родовым знаком.

Ты очень хорошо знаешь, что новые буддисты смотрят на важность земледельческого сословия вовсе не с той точки зрения, какая показана в начале моего письма. Земледельческое сословие, свободное, единонародное со всеми другими сословиями составляет необходимый орган государственного тела, и пренебрежение этим органом ведет неминуемо к падению государств, как доказал пример древних языческих государств и пример одного нового государства, павшего также вследствие одностороннего, исключительного развития одного органа насчет других. Риль

убедительно доказывает это; но, к сожалению, он не довольствуется признанием важности земледельческого сословия, важности существования села подле города: он как будто хочет дать первенство первому над вторым, обнаруживает невольное пристрастие к селу и непримиримую вражду к городу. «Немецкий народ,— говорит он,— есть народ сельский, тогда как греки и римляне были народы городовые. Немецкий народ жил сначала дворами и избами, и только впоследствии, под *иностранным* влиянием, образовались города. Процветание римских национальных нравов выражалось словом: *урбанитет;* процветание немецких национальных нравов должно означаться словом: *рустицитет»* [5]. Читатель, разумеется, захочет знать, в чем же состоит эта противоположность между римскими и германскими национальными нравами. Что такое римский *урбанитет,* германский *рустицитет,* как выражения различных народностей? Читатель не найдет ответа на эти вопросы; ибо все это не иное что, как игра в пустые выводы из положений, не основанных ни на истории, ни на настоящей действительности. Впрочем, из одного места книги можно отчасти видеть, что автор разумеет под желанным *рустицитетом*: «Рассказывают, — говорит Риль,— о старобаварских местностях, где пирушка не считается веселою, если обходится без смертоубийства. Здесь уже слишком много натуры, но все же ведь это натура».

Понятна ненависть Риля к большим городам, на которые он смотрит как на язву государства. «Уже в 1840 году,— говорит он,— на 45 пруссаков приходился один берлинец, на 35 французов — один парижанин и из 15 англичан один жил в Лондоне. В этих цифрах, выражающих переселение страны в большой город, скрывается для развития нашей народной жизни гораздо большая сумма опасностей, чем в цифрах переселений в отдаленные части света». Но спрашиваем: где же эти опасности? Разве народонаселение больших городов увеличивается насчет сельского народонаселения? Разве около новых европейских больших городов, как в старину около Рима, образуются пустыни? Новые буддисты в слепой ненависти к большим городам как могущественным органам прогресса не хотят понять, что большие города живут не насчет той страны, где находятся, а насчет всего мира, и потому не истощают родной страны, а увеличивают ее благосостояние. Пусть они потрудятся расчесть, сколько англичан, жителей Лондона, живет насчет Англии, а сколько насчет других стран Европы и преимущественно насчет других частей света. Новые буддисты не хотят понять, что в этих громадных городах находит себе убежище та часть народонаселения страны, которая без них или должна была бы выселиться, или, оставаясь, заставить переселиться другую равную ей часть народонаселения. Спрашивается: куда бы девался пятнадцатый англичанин, который живет в Лондоне и кормится насчет Португалии, например?

К буддистским стремлениям обыкновенно присоединяется са-

мозванное стремление к народности. Новые буддисты обыкновенно жалуются, что цивилизация, содействуя общению народов, сглаживает народные черты, делает образованного немца похожим на француза, на англичанина. При этом они обыкновенно указывают на земледельческое сословие, до которого цивилизация не коснулась или коснулась очень мало, которое поэтому сохранило во всей чистоте народные черты и потому должно служить образцом для образованных сословий: последние должны возвратиться к нему, приравняться к нему, чтобы возвратить себе народный образ, потерянный чрез прогресс, чрез цивилизацию.

И здесь, как везде, новые буддисты видят мираж; предметы представляются им вверх ногами: они не догадываются, что прогресс, цивилизация не уничтожают народности, а наоборот — могущественно развивают ее. В книге Риля есть превосходное место, которое резко противоречит другим, встречаемым у него воззрениям и которое ясно указывает на значение прогресса, цивилизации относительно народности; это место читается там, где он говорит о значении женщины против так называемой эмансипации последней. «В противоположности мужчины и женщины уже предвозвещаются многие основные черты естественного расчленения общества; с другой стороны, сословный быт так могущественно действует на эту противоположность. На низших ступенях общества характеристические черты мужчины и женщины еще не обрисовываются во всей полноте. Противоположность их образов вырабатывается вполне только благодаря цивилизации: ибо *истинная* цивилизация разделяет, расчленяет, *дурная* равняет. Крестьянская баба во всех отношениях и по наружности — еще полумужик: только при высшей образованности женщина в каждой черте выражает противоположность мужчине». Ты, конечно, догадался, почему я подчеркнул слова: *истинная* и *дурная* цивилизация; они не имеют смысла и употреблены автором только из желания оговориться, ибо он понимал, как указанное им важное явление противоречит встречающемуся у него воззрению на цивилизацию и на отношение к ней земледельческого сословия: если истинная цивилизация разделяет, а дурная равняет, то выходит, что в земледельческом сословии господствует дурная цивилизация! Дело в том, что цивилизация, прогресс вообще разделяет, расчленяет; при отсутствии прогресса сохраняется единообразие.

Высказанную мысль автор развивает далее: во всех почти изображениях знаменитых красавиц прошлого времени поражает нас резкость черт; все они кажутся нам слишком мужественны в сравнении с первообразом женской красоты, который носится перед нами, людьми нового времени. Старинные изображения мадонн и других святых девиц имеют в себе резкие черты, которые делают их мужевидными или несколько старообразными; Ван-Ейковские Мадонны смотрят тридцатилетними[6]. Живописец следовал природе, а природа с тех пор переменилась; триста лет

тому назад молоденькая девушка сохраняла еще мужские черты; Мария Стюарт[7], эта прославленная красота своего времени, поражает глаза XIX века своими мужскими чертами. У бедных, уединенно живущих земледельцев, равно как у бедных работников городских, голова мужчины и женщины имеет почти одинаковую физиономию; женщину из этого класса нарисуйте в мужском платье — и вы не отличите ее от мужчины; особенно старики и старухи похожи друг на друга, как две капли воды. Даже средняя величина тела в низших классах ровнее для обоих полов, чем в образованных; наши маленькие городские женщины подле высоких мужчин обличают следствия образованности. Даже звуки голоса меж людьми, в простоте быта живущими, сходнее для обоих полов, чем меж людьми образованными. То же самое замечается и относительно одежды: одежда обоих полов у древних народов, у народов азиатских, у народов, сохранивших первоначальную простоту быта, сходна: сравните одежду турка и турчанки, тирольца и тирольки; но какая противоположность между фраком образованного европейца и между длинным и широким платьем его жены! Какая противоположность между их шляпами!

Так наглядно объясняет Риль положение, что цивилизация, прогресс разделяет, а не равняет; но он как будто не догадывается, что цивилизация, прогресс обнаруживает точно такое же действие и относительно народности: чем сильнее прогресс, тем резче обозначаются народные черты, народные различия. Это явление у нас перед глазами (разумеется, если мы их не зажмурим): когда народности, народные стремления обозначались резче, как в наше время, чудесами цивилизации, так сблизившей народы, заставившей их жить в одной тесной семье? Вот англичанин, француз, итальянец, немец: с необыкновенною быстротою примчались они по железным дорогам из разных концов Европы в условленное по телеграфу место; рассуждают об общем деле, говорят на одном языке; одеты в одинаковое платье, и между тем какое различие между ними! Кто по их лицам и слову не признает в них членов четырех различных народов? И чем ближе они друг к другу, чем теснее соединены их интересы, тем сильнее чувствуют они различие своих народностей; цивилизация не уравняла их, не сгладила их народных черт — она произвела только то, что они могут столковаться об одном общем деле, тогда как, вследствие отсутствия цивилизации, обыкновенно и люди одного народа никак не могут столковаться между собою. Новые буддисты никак не могут понять, что по общему, непреложному закону развития люди низших слоев общества, в которых, по их мнению, сохраняется истый народный дух, по всем понятиям, обычаям, поверьям, гораздо сходнее с подобными же себе у других народов, нежели члены образованного общества в разных народах, и народный дух, следовательно, обитает по преимуществу в образованных классах общества, ибо здесь высшая, духовная область, область сознания.

Такое непонимание зависит от узкого представления народности, от мелкой, недостойной великого народа вражды, зависти к другим народам. Так, у Риля ненависть к предшествовавшей эпохе соединяется с ненавистью к французам, которые в эту эпоху, при распространении господствующего направления ее, играли самую видную роль. Немцы сначала блаженствовали в лесах; потом, вследствие *чуждого* нехорошего влияния, сделали шаг назад, стали жить в отдельных городках, общинках, из которых каждая знала только самое себя; хуже им стало против прежнего, лесного быта, но все же еще хорошо *рустицитет* соблюдался. Но вот явились французы с своими вредными идеями о человеке и человечестве и перевернули доброе старое немецкое общество: рустицитет исчез и — finis Germanicae! За это защитники немецкой народности поклялись к французам вечною ненавистью и объявили, что для спасения Германии ее сынам надобно возвратиться в леса; но так как лесов, к несчастию, осталось уже мало, то, по крайней мере, надобно возвратиться к средневековым формам жизни. «Идея гуманитета,— восклицает Риль,— поглотила мысль о семействе, за человечеством позабыли людей!» Это он решается сказать о предшествовавшей эпохе, которая больше всего хлопотала о том, чтобы в человеке не забывали человека; чтобы прежде всего видели в нем это значение! Идея гуманности не поглотила мысли о семействе; но, вследствие этой идеи, было сознано, что не человек для семейства, а семейство для человека; что человек не есть раб семейства, но свободный член его, свободно, сознательно исполняющий святые обязанности, налагаемые этим первым человеческим частным союзом. Ослабление семейных связей было именно следствием того, что старая семья с своею материальною связью, с своими обычными формами не удовлетворяла уже общества; нужна была для семьи другая, более прочная духовная связь, и эта связь была получена чрез гуманные идеи; чрез заявление достоинства человека. Но пусть сам автор покажет нам и характер старой семьи, и новые требования общества.

«Во французско-немецких театральных пиесах того времени,— говорит Риль, — комический задор состоит в том, что дети обманывают своих родителей, жены — мужей, и наоборот. Над этим обманом смеялись, как над тонкою, ловкою интригою, тогда как старые немецкие народные фарсы, где комическое обыкновенно состояло в том, что муж колотил свою жену, были презираемы как безнравственные и низкие. Я тоже считаю эти драматические палочные эффекты очень низкими, однако и наполовину не столь низкими, как тонкие обманы между супругами, родителями, детьми, родственниками, которые даже теперь очень часто составляют интригу комедий, из Франции к нам завозимых. Наша знатная и образованная публика охотно смотрит эти комедии, тогда как, нравственно оскорбленная, она оставила бы ложи, если б ей представили на сцене старую пиесу, в которой муж наделяет жену

свою палочными ударами. Средство было выбрано действительно грубое, но цель побоев была очень похвальна».

Почтенный автор никак не может догадаться, что обманы между членами семейства, которые составляли обыкновенную интригу комедий в известное время, были естественным следствием тех палочных эффектов, без которых не обходились древние народные фарсы: там, где, с одной стороны — сильный, пользующийся без отчета своею силою, не видящий в слабом прежде всего человека, а с другой стороны — слабый, ничем не обеспеченный от насилий сильного,— там необходима неразвитость сознания о нравственном достоинстве, о нравственных обязанностях человека; там разврат и, со стороны слабого, обман для избежания мести сильного. Автору можно было бы припомнить, что и в старинных народных фарсах комическим задором служит обман, за что обманувший, т. е. обманувшая, и получала палочные удары. Итак, в старину общество потешалось зрелищами с обманом и палочными ударами; потом начали потешаться зрелищами без палочных ударов, но с тем же обманом, ибо палочные удары не вывели обмана и безнравственности из семьи, а еще более усилили их: что-же, это отсутствие палочных ударов, которые омерзили общество, эта материальная безнаказанность обмана сгубила общественную нравственность вконец? Пусть отвечает Риль на этот вопрос: «Надобно признаться, к чести настоящего поколения, что мы теперь тонкие непристойности школы Виланда и Коцебу[8], которые нашим отцам казались благородными, считаем уже чем-то неблагородным. Скромность усиливается в нашем обществе, вместе с укреплением семейного духа». В нескольких местах автор распространяется об улучшении семейной нравственности в настоящее время и, несмотря на то, вследствие непонимания истории, отречения от нее, не может понять непосредственного отношения этого улучшения к началам, проповеданным предшествовавшею эпохою; руководясь узким национальным взглядом, не перестает делать выходки против французов за проповедание этих начал, вздыхать о немецкой старине и указывать на деревенскую избу как на единственную купель очищения для образованного немецкого общества.

«Французское представление социальной свободы и независимости отличается от немецкого существенно тем, что французы хлопочут только о личной самостоятельности и независимости, тогда как, по немецкому представлению, личная независимость должна заключаться в силе и независимости общественной группы и семьи, к которой индивидуум принадлежит. Эта противоположность двух представлений всего яснее видна из следующего. В Пфальце французское представление о личной независимости так вкоренилось, что произвело перемену в сельских общественных и хозяйственных отношениях. Стремление каждого частного лица совершенно свободно стоять на собственных ногах повлекло к имущественному раздроблению, какого в других немецких стра-

нах мы не найдем. Индивидуум не хочет жертвовать своею личною независимостию блеску и силе семейства; отец не мог бы умереть спокойно, если б для сохранения своего семейства в чести и богатстве уменьшил наследство младших сыновей и завещал бы им для поддержания семьи служить старшему брату в виде помощников. Это последнее, чисто немецкое и глубоко нравственное распоряжение кажется безнравственным жителю Пфальца, пропитанному французскими идеями. Наследство дробится на равные части, и большая часть сыновей принуждена через это искать хлеба в услужении у чужих людей. С изумительным прилежанием и постоянством трудятся люди, чтобы голодать на маленьком участке и быть свободными, зависеть от ростовщиков-жидов и быть свободными, служить чужим людям, быть в поденщиках и быть свободными. Удивительное противоречие! Работать в доме родного брата в виде помощников и привилегированных слуг, для охранения собственности семейства, как нравственного лица, это называется нестерпимым рабством, а быть в службе у чужих людей — называется свободою!»

Автор не хочет понять, что всякий частный союз, а также и родовой, тогда только крепок, когда основан на нравственных, а не на материальных отношениях; а где же тут нравственное отношение, когда для поддержания значения и богатства рода одному члену дается все, а другие должны находиться у него в услужении! Родовой союз может быть только тогда крепок, когда братья, получив равные доли, для взаимного поддержания и обеспечения, свободно соединят свои материальные и нравственные средства в общей деятельности, или, употребляя, по призванию, свои силы в различных сферах деятельности, тем не менее сохраняют нравственное единство рода, считая священною обязанностию обеспечивать благосостояние друг друга. Толкуя, что член рода должен приносить свою личную самостоятельность в жертву роду, этому естественному, первому частному союзу, Риль, однако, требует, чтобы жертва приносилась некоторыми членами рода, а не всеми! Да и зачем эта жертва при *чисто немецком и глубоко нравственном распоряжении*, на которое указывает Риль? Старший, богатый брат, для поддержания чести и богатства фамилии, вовсе не нуждается в услугах младших, обделенных братьев: у него есть средства приобрести и других работников; а у младших братьев нет никакого нравственного побуждения предпочитать службу у родного брата службе в чужих людях; но так как тут оскорбительно и невыгодно сталкиваются противоположные друг другу отношения, родственные и работнические, то младшие братья и бегут из дому старшего, чем последний, разумеется, должен быть очень доволен.

Немецкая семья мир спасла — это факт несомненный, по мнению Риля: немецкая семья создала новую эпоху немецко-христианских средних веков. Но чтобы какой-нибудь западник, лишенный патриотизма, не посмел сделать возражения, автор спе-

шит представить немецкую семью в язычестве, когда она еще не подвергалась влиянию чуждых, враждебных начал: «На могиле господина, по древнеязыческому немецкому обычаю, закалались рабы. Здесь мы не должны видеть одного только варварства: здесь выражается глубокомысленное представление *целостности дома*, так как индийское сожжение вдов есть символ неразрывности. Слуга в целостном доме должен признавать свою судьбу неразрывно связанною с судьбою господина». Конечно и ты, любезный друг, согласишься вместе со мною в глубокомыслии этого немецкого обычая, хотя он есть вместе и скифский, как известно; но не могу удержаться от одного замечания: ведь гораздо лучше было бы для выражения нераздельности семьи, целостности дома, на могиле отца заколоть одного из сыновей, а не раба. Мне кажется, что эти язычники, будучи чрезвычайно глубокомысленны и нравственны, были себе на уме: кололи рабов да жен, которых считали также рабами, но сыновей не трогали.

После попытки придать глубокий нравственный смысл умерщвлению рабов на могиле господина, нас, разумеется, уже не может ничто удивить в книге почтенного германофила; например, следующее великолепное место: «Глубокомысленное немецкое представление дома, как личного, из семейной жизни выросшего существа, всего более выражается в многочисленных народных преданиях о домашних духах. Домашние духи не только покровители и друзья дома, но они также мстят и наказывают за пренебрежение домом. Таким образом, мы имеем здесь дело с народным суеверием, в основании которого лежат великие нравственные народные идеи, идеи органической (!) связи между жилищами и семействами, личности дома и святости домашней жизни. Следует ли такие народные верования называть суевериями? Должно ли искоренять их, если известно, что вместе с ними искоренятся прекраснейшие обычаи крестьянского дома?»

Итак, господин пастор! остерегайтесь говорить своему немецкому крестьянину, что вера в фрау Гольду[9] есть недостойное для христианина суеверие; а прежде всего постарайтесь освободиться от убеждения, что религия, вами проповедуемая, способна, без верований в фрау Гольду, очистить, укрепить и освятить семейную жизнь в избе и палатах!

В своем письме, указывая на это место Рилевой книги, ты выразил удивление, как автор забыл *«Немецкую мифологию»* Гримма[10] и предания о домашних духах решился назвать выразителями немецких представлений, тогда как эти предания общи разным народам, славянам столько же, как и германцам. Но, любезный друг! если бы Риль не позабыл много еще, кроме мифологии Гримма, если бы не освобождался от науки, как от докучного произведения ненавистного прогресса, то не был бы германофилом, и не стал бы искать немецкой народности именно там, где ее нет; тогда бы он знал, что немецкая народность выразилась в творениях Шиллера и Гете, Баха и Моцарта, Канта и

Шеллинга, а не в преданиях избы, одинаких у разных народов, в избах живущих.

Книга Риля, писателя с таким талантом, с такою благонамеренностию, показывает всего яснее, к каким неимоверным странностям и к какому бесплодию ведет антиисторическое направление и этот буддистский протест против прогресса, это стремление возвратиться к первоначальной простоте отношений — стремление, обличающее недостаток нравственных сил, неумение сладить с прогрессом, материализм, неверие в нравственные силы человека, который, по мнению буддистов, тогда только чист и свеж, когда живет в лесу, и портится, когда выступает на высшее общественное поприще. Быть может, ты мне ответишь: «Все это так; но грустно состояние общества, в котором являются подобные воззрения и возбуждают внимание; грустно, что и такие люди, как Риль, высказывают эти воззрения: это плохой знак!» Но разве, отвечаю тебе, прежде этого не бывало? И однако, общество, в угоду буддистам, не отказывалось от прогресса. В XVI веке, когда начиналось неслыханное до того времени движение в европейском мире, когда книгопечатание окрылило мысль человека, когда открыт был Новый Свет и неведомые пути к отдаленным частям Старого, — тогда послышался протест против прогресса от одного из самых ученых людей времени: Томас Морус [11] написал утопию, где предлагал обществу возвратиться к родовому быту. Но общество, приняв к сведению курьезную книгу, шло своим путем. Известно пристрастие к первоначальному быту, к невинным, будто бы, нравам неразвитых обществ, пристрастие, обнаружившееся в XVIII веке [12]. Мы сами были свидетелями, как буддистское направление проникло в поэзию, и поэты в звучных стихах жаловались, зачем они родились в образованном обществе, а не в хижине дикаря:

О боже! Если б мать моя
Меня родила в чаще леса,
Или под юртой остяка
В глухой расселине утеса.

Так воспевалось, когда господствовала идея человечества; теперь, под влиянием идеи народности, начались воздыхания по крестьянской избе, куда будто бы укрылась народность. И бог весть, сколько еще форм переменит буддизм на европейской почве; но, будь покоен, любезный друг: «отважное потомство Яфета» не изменит своему характеру.

Извини за длинное вступление: я считал его необходимым. В следующих письмах постараюсь изложить тебе историю общественных отношений в нашем отечестве, которой ты так от меня домогаешься.

II

И мы были в Аркадии[13], любезный друг! и наши предки жили в том блаженном состоянии, о котором мечтают новые буддисты. Разбросанные на неизмеримых пространствах, затерянные в непроходимых дремучих лесах, они жили отдельными родами, жили независимо, просторно, владели землею сообща. Несносного шума от непрестанного коловращения жизни не было слышно, слышен был шум дубрав да стоны раненых, да вопли убиваемых: «убивали друг друга», — говорит летописец. Впрочем, надобно ли верить летописцу? Летописец был человек грамотный, ученый, отставший от народной жизни, которая для него потеряла смысл; он имел свои идеалы уже в другом обществе, в другом народе. Житель города, испорченного цивилизациею, чуждым влиянием, он враждебно смотрел на старину, сохранившуюся в селе, клеветал на нее; явление частное, случайное он сделал общим, охарактеризовал им быт племен: «убивали друг друга». А впрочем, что ж, если и убивали друг друга? — конечно, тут уже слишком много природы, но все же ведь это природа! Главное — господствовало однообразие, простота, одним словом, жизнь вне прогресса: «жили как звери», — говорит летописец.

Но недолго блаженствовали предки; некоторым из них вздумалось поселиться неподалеку от моря, этой коварной, подвижной стихии, которой человечество так много обязано за бедствие прогресса. Благодаря морю и наши предки познакомились с чужим, новым, и это новое чужое разъело старое свое. Явилось недовольство старым бытом, сознание его недостатков: отсюда основная перемена в быте, явление князя и дружины. В земле великой и обильной, но *безнарядной* начался прогресс: в однообразной прежде массе народонаселения произошло расчленение на дружину и не-дружину; скоро города, по крайней мере некоторые, стали резче различаться от сел; с принятием христианства выделилось духовенство; из белого духовенства выделились монахи; завязались взаимные отношения между этими членами, органами общественными.

Я не буду распространяться, любезный друг, о вещах уже известных; не стану повторять и то, что пора бросить старые толки о различии наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания, — на том основании, будто бы, что на Западе было завоевание, а у нас его не было. И у нас было завоевание: этого факта нельзя вычеркнуть из летописей, несмотря ни на какие натяжки. Дело в том, как происходило завоевание, в какой стране, при каких природных и общественных условиях: от этих условий и происходит все различие в общественных отношениях на Западе и у нас. Там, на Западе, члены завоевательной дружины прежде всего стали землевладельцами и чрез это получили самостоятельное, независимое положение. Потом, при образовании феодализма, мелкий

владелец свободного участка отдавал его богатому, сильному землевладельцу и получал его обратно уже в виде лена, владение которым налагало известные обязанности: везде здесь землевладение на первом плане, все делится между землевладельцами. У нас же нет и помину о разделении земель между членами княжеской дружины; нет помину о их самостоятельном, независимом значении как землевладельцев, о их столкновениях друг с другом и с князьями в этом значении. Все споры, все усобицы идут только между князьями; дружинники по воле и поневоле переезжают с князьями из одной волости в другую, и это самое уже показывает отсутствие крепких, прочных отношений к известной местности, к земле, потому что подобные отношения необходимо прекратили бы ту сильную передвижку князей и дружин их, какую видим в древней России до XIII и XIV века. Есть, наконец, и прямое, ясное свидетельство в летописи о положении дружинника в отношении к князю. С сожалением вспоминая о старом времени, летописец говорит о прежних князьях: «Те князья не собирали много имения, вир и продаж неправедных не налагали на людей; но если случится правая вира, ту брали и тотчас отдавали дружине на оружие. Дружина этим кормилась. Не говорили дружинники князю: «Мало мне ста гривен»; не наряжали жен своих в золотые обручи; ходили жены их в серебре; — и вот они расплодили Землю Русскую». И в первой, и во второй половине этого важного известия говорится ясно о денежном жалованьи, о том, что дружина содержалась, кормилась из доходов княжеских. Понятно, что возможность землевладения, как постоянного, так и временного, не исключалась для дружинника; но главное здесь то, что землевладение не было на первом плане.

«Мало мне ста гривен», — мог говорить дружинник князю, и князь должен был исполнить его требование; князь не должен был ни в чем скупиться для дружинника, потому что последний, при первом неудовольствии, отъезжал к другому князю, более щедрому, более ласковому. Эта возможность отъезда при множестве князей служила полным ручательством выгодного положения дружинников: князья обращались с ними как с товарищами, как с братьями, не прятали от них богатств, не таили и дум своих: без совета дружины ничего не делалось. Но вся выгода положения дружинника в древней России основывалась на этом внешнем, чуждом для него условии — на многовластии: исчезло многовластие — исчезло для дружинника и всякое ручательство в его самостоятельном, независимом положении. Помешать утверждению единовластия он не мог, ибо, при раздробленности дружин по князьям и при подвижности дружинников, при неимении постоянного места и в одной какой-нибудь дружине, в одном каком-нибудь княжестве, дружинник должен был ограничиваться интересом личным или родовым; до сознания интереса сословного, до возможности общего действия он не достигал. Кроме ста-

рого права отъезда, он ничего не знал, и, действительно, в старину это право обеспечивало ему все, и вот он в отчаянии, не видя выхода, вопиет о праве отъезда, не понимая, что это бессмыслица при единовластии. «Отъедешь от меня в Литву или в Крым, — говорит ему единовластец, — и будешь изменник». Отвечать на это было нечего, и, после бесплодной борьбы, все притязания замолкли.

И вот, из князей Рюриковичей, потомства князей великих и удельных, из пришлых Гедиминовичей, из старой дружины Московской и из дружин всех присоединенных русских областей образовалось... что образовалось? Не знаем что: ни в одном древнем памятнике нет слова*. Нет слова — значит, не было и ясного понятия, не сложился и самый предмет определенно. Что же было у нас, в Московском государстве? — спросишь ты у меня; что образовалось из князей, дружины московской, дружин областных? Образовались *чины*, любезный друг! Но что такое чины? Тебе, вероятно, опять представляется Запад с своими *états*, которые у нас так невпопад переводятся словом *чины* вместо: *сословия*. Там было три сословия: духовное, благородное и третье: так представители их тремя отдельными группами и являлись в важных случаях. Но, чтобы понять нашу старину, постарайся позабыть об этих западных явлениях; обрати внимание на ближайшее к нам явление, на то, что мы теперь называем чинами, — это поведет ближе к делу. В важных случаях, когда на Западе представители трех сословий собирались в три отдельные группы, как собирались наши чины (наши древние Соборы имеем полное право называть *собранием чинов*)? Собирались митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, старцы, бояре, окольничии, казначеи, думные дьяки, думные дворяне, стольники, стряпчии, дворяне, дети боярские, дьяки, гости, торговые люди, всяких *чинов* люди. Эти всяких чинов люди не соединялись в несколько групп, представлявших сословия, они оставались в своем чиновном раздроблении, ибо понятия о сословном единстве, об общих сословных интересах не существовало. Боярин не имел ничего общего с окольничим, тем менее с думным или простым дворянином, еще менее с сыном боярским; сколько чинов, столько отдельных кругов, несвязанных друг с другом.

Жили розно, «особе, кождо с родом своим». Действительно, при отсутствии сословного интереса господствовал один интерес родовой, который, в соединении с чиновным началом, породил местничество. Все внимание чиновного человека сосредоточено было на том, чтобы при чиновном распорядке не унизить своего рода. Но понятно, что при таком стремлении поддерживать толь-

* Неопределенное название: *дружина* исчезло, нового не образовалось. Совмещать все чины — от боярина до сына боярского — под общим именем *служилых людей* нельзя, ибо в памятниках высшие чины под именем ближних людей противополагаются низшим — *служилым* людям (*прим. автора*).

ко достоинство своего рода, не могло быть места для общих сословных интересов, ибо местничество необходимо предполагало постоянную вражду, постоянную родовую усобицу между чиновными людьми: какая тут связь, какие тут общие интересы между людьми, которые при первом назначении к царскому столу или береговой службе перессоривались между собою за то, что один не хотел быть ниже другого, ибо какой-то его родич когда-то был выше какого-то родича его соперника?

Приведу примеры, как начала чиновное и родовое господствовали над началом сословным. В 1613 году князь Иван Михайлович Воротынский, высчитывая по наказу неправды короля Сигизмунда [14], должен был сказать, что король посажал на важные места в московском управлении людей недостойных, худородных, и в числе последних упомянул двоих князей. Другой пример еще поразительнее, потому что относится ко временам Петра Великого, когда родовое начало было, по-видимому, совершенно поражено. Петр велел записывать дворянских детей в Москве и определять на Сухареву башню [15] для научения мореплаванию. Родители, вопреки указу, отдали детей в Заиконоспасское училище: тогда рассерженный царь велел взять молодых дворян из Спасского монастыря в Петербург и там заставил их бить сваи на Мойке, где строились пеньковые амбары. Адмирал граф Апраксин, один из сильных приверженцев старины, узнав, что царь едет осматривать амбары, поспешил туда, снял с себя андреевскую ленту, мундир, повесил их на шест, и начал сам вбивать сваи. Царь приехал и с удивлением спросил его: «Федор Матвеич! Ты адмирал и кавалер: как же ты вбиваешь сваи?» — «Государь! — отвечал Апраксин. — Здесь бьют сваи мои племянники и внучата; а я что за человек? *Какое имею в роде преимущество*?» Не сказал: «Здесь бьют сваи дворяне, люди одинакового со мною сословия и происхождения, и это занятие их унижает все наше сословие»; нет, он говорит: «Здесь бьют сваи мои племянники и внучата, а я какое имею *в роде* преимущество?» Каждому было дело только до своего рода; до понятия о высшем частном союзе, союзе сословном — еще не достигли. Отсюда понятно, почему так долго держался у нас обычай, по которому вместе с виновным подвергались опале и родичи его: от понятия о родовом единстве трудно было освободиться.

В силу местничества, на верху чиновной лестницы постоянно являлись одни и те же фамилии. «Бывали на нас опалы и при прежних царях, — говорит известный нам князь Воротынский польским панам, — но правительства у нас не отнимали». Действительно, и Грозный, заподазривая, *опаляясь* беспрестанно на вельмож своих, окружив себя опричниною, не отнял у бояр земского управления. Бояре, оставшиеся после Грозного, были, разумеется, не похожи даже на тех, которые пережили опалы Иоанна III и сына его Василия: у этих было еще в свежей памяти прежнее положение князей и дружины; они помнили, что еще

Иоанн III обращался с ними не так круто, как сын его Василий, поведение которого поэтому представлялось чем-то новым, еще случайным, но поведение Грозного отняло последние надежды, сломило все притязания, всякое сопротивление. Иные, с иным духом вышли поэтому бояре из тяжелого испытания; но все еще у них оставалась старина: несмотря на опалы, правительства с них не снимали. Понятно, какое важное значение должны были приобресть фамилии, которые постоянно находились у правительственного дела, *всякую думу ведали*, как они сами выражались: при отсутствии просвещения подобная практика заменяла все; знание обычая, предания, при исключительном господстве обычая и предания, такое знание было верховною государственною мудростию, и люди, которые сами, которых отцы и деды думу ведали, казались нижестоящим, не посвященным столпами государства, особенно же те из них, которые отличались умом и деятельностию. Так, мелкочиновный по-тогдашнему человек, *стольник князь* Дмитрий Михайлович Пожарский [16] говорил о великочиновном человеке, *боярине князе* Василии Васильевиче Голицыне [17]: «Если б теперь такой столп как князь Василий Васильевич, то за него бы вся Земля держалась, и я бы при нем за такое великое дело не принялся». После самого внимательного изучения событий, мы никак не можем понять, отчего князь В. В. Голицын мог казаться так высок знаменитому воеводе-победителю? Но сам Голицын объяснил нам дело: «Нас из думы не высылывали, мы всякую думу ведали», — говорит он.

Но Голицын погиб в плену литовском; брат его, Андрей, погиб, отстаивая честь думы, оскверненной присутствием Федьки Андронова с товарищи [18]; оба они погибли вследствие событий смутной эпохи, которая имеет важное значение в судьбах древней московской знати. Такая буря не могла пройти без того, чтоб не растрясти многого; особенно сильно было потрясение, когда, после гибели первого Лжедимитрия, началась усобица между двумя царями — царем Московским, Шуйским, и царем таборским или тушинским, вторым самозванцем: последний, чтоб иметь средство бороться с Шуйским, чтоб иметь и двор, и думу, и войско, обратился к людям, которые не могли быть при дворе, в думе, в войске Московского царя, или, по крайней мере, не могли получить в них важного значения. Тушинский самозванец [19] и воеводы восстановляли не одни самые низшие слои народонаселения против высших, предлагая первым места последних; сильное брожение поднялось во всех сферах: все, что только хотело какими бы то ни было средствами выдвинуться вперед, получить чины высшие, каких при обыкновенном порядке вещей получить было нельзя, — все это бросилось в Тушино, от князей, которые хотели быть поскорее боярами, до людей из черни, которые хотели быть дьяками и думными дворянами, и все эти люди получили желаемое.

После Клушинской битвы [20], уничтожившей окончательно средства Шуйского, бояре, чтобы не подчиниться холопскому царю,

второму Лжедимитрию, провозгласили царем королевича польского. Но тушинские выскочки уже прежде забежали к королю и, готовые на все, чтобы только поддержать приобретенное в Тушине положение, присягнули самому королю вместо королевича, обязались хлопотать в Москве в пользу Сигизмунда, и вот бояре, которые готовы были на все, чтоб отделаться от ненавистного Тушина, с ужасом увидали, как тушинцы ворвались в московскую Думу, под прикрытием поляка Гонсевского[21]; как торговый мужик Федька Андронов засел вместе с Мстиславским[22] и Воротынским. Это была уже им смерть, по их собственным словам; но делать было нечего, они были в плену у поляков; кто из них поднимал голос, того сажали за приставов, как посадили Андрея Голицына и Воротынского. А между тем Земля поднималась во имя православия; за неимением *столпов*, Земля должна была обратиться к людям незначительным, и вот опять пошли вперед незначительные люди. Начальниками первого восстания были: Ляпунов[23], один из первых, который воспользовался смутным временем, чтоб выдвинуться вперед, — Ляпунов, враждебно ставший к боярам и вообще *отецким детям*; подле Ляпунова тушинские бояре, как князь Трубецкой и казак Заруцкий[24]. «Как таким людям, как Трубецкому и Заруцкому, государством управлять? Они и своими домами управлять не могут», — писали бояре из Москвы по областям. Русские люди были согласны в этом с боярами, но никак не хотели согласиться в том, что надобно держаться Владислава[25], то есть дожидаться, пока придет сам старый король в Москву с иезуитами, — и выставили второе ополчение. И здесь то же явление: главный воевода — член захудалого княжеского рода, малочиновный человек, *стольник* Пожарский, а подле него мясник Минин[26].

Ополчение успело в своем деле: государство было очищено; избран царь; большинство, лучшие люди, истомленные смутою, громко требовали, чтобы все было по-старому; старина была восстановлена, но по-видимому только, ибо в народе историческом никакое событие не проходит бесследно, не подействовав на ту или другую часть общественного организма. Новое с новыми людьми просочилось всюду, а старое со старыми людьми, носителями старых преданий, спешило дать место новому. В первенствующих фамилиях оказался недочет: Романовы перешли на престол, исчезли Годуновы, исчезли Шуйские, беспотомственно, за ними Мстиславские, за теми Воротынские; изгибли самые видные, самые энергические из Голицыных; а при чиновном, несословном составе тогдашнего общества, при малочисленности фамилий, стоявших наверху и хранивших старые предания, исчезновение важнейших из этих фамилий имело решительное влияние. Любопытно видеть, как при царе Михаиле Федоровиче оставалось мало людей, которые знали предания и обычаи: при каждом случае делались длинные выписки, как поступали в подобных случаях прежде, точно смутное время отшибло память о старине. И пото-

му нам уже неудивительно видеть, что при втором государе из новой династии на самом видном месте являются люди новые, не из *столповых* фамилий: сын незначительного областного дворянина Ордин-Нащокин, человек неизвестного происхождения Матвеев. Браки царей выводят также на вид незначительные фамилии. А тут новые нудящие требования государственные, которым во что бы то ни стало надобно было удовлетворить: надобно было преобразовать войско; видели ясно, что с местничеством воинский успех невозможен, — и местничество рухнуло, рухнуло потому, что было уже подкопано. Но когда местничество рухнуло, что же осталось? Чины, прохождение по которым теперь уже не встречало никакого препятствия ни для кого, ибо дорога в служилые люди во все продолжение нашей древней истории оставалась незапертою; и Московский государь, царь всея Руси, сохранял в этом отношении характер старого князя Киевского или Черниговского: всех охотно принимал к себе в дружину, только служи, сейчас же дадут землю, поместья; давно уже с особенною охотою принимали на службу иностранцев, делали их также землевладельцами*; в конце XVII века потребность в них сильно увеличилась, их начали принимать на службу толпами. Таким образом, ворота государевой службы оставались отворенными и в XVII, и в XVIII веках, как в X.

В таком положении находились дела, когда наступил XVIII век, когда наступила эпоха преобразования. Что же сделал преобразователь относительно предмета, нами рассматриваемого? Он потребовал от людей, не имевших никакого значения, кроме служебного, — он потребовал от них постоянной службы, постоянного нахождения налицо при знамени, ибо постоянное войско было нудящею потребностию государства. Но постоянного войска только было мало; надобно было, чтоб это постоянное войско не уступало в искусстве войскам других европейских народов, с которыми оно должно переведываться: отсюда необходимость для ратных людей быть грамотными и образованными, знать известные науки; без этого они опять теряли всякое значение, ибо теряли значение без службы, а понятие о службе теперь тесно соединялось с понятием об известном искусстве, об известном знании, об известном приготовлении.

Чтоб уяснить для себя явления первой половины XVIII века в нашей истории, перенесись, любезный друг, к началам истории обществ, представь себе образование громадной дружины около могущественного вождя, безусловно повелевающего; материал для образования дружины налицо, но это только материал, не сложившийся вследствие выше приведенных причин, не принявший определенного образа. Петр Великий не был здесь собственно преобразователем, ибо прежнего образа, который бы он изменил, не было: если что и было прежде, то разрушилось до него. И вот

* О землевладении будет сказано в следующих письмах по отношению к земледельческому народонаселению (*прим. автора*).

преобразователь, или, лучше сказать, образователь, распоряжается материалом, сортирует его; подобно древним вождям дружин, он принимает каждого и дает ему место по мере способности. В древних дружинах большая или меньшая храбрость определяла место дружинника, степень приближения его к вождю: в дружине Петровой одной храбрости было мало, прежде всего требовалось искусство, образование; и так как иностранцы превосходили в этом отношении русских, то понятно, почему так много их вошло в дружину Петрову. Но Петр, как царь русский, при распоряжении своим материалом, который давал ему так мало твердого, сложившегося, определившегося, перед чем бы он должен был остановиться, Петр остановился, преклонился перед одним — перед народностию. В летах зрелых у него было правило: высшие места в управлении поручать русским, хотя бы они и уступали способностями и знанием иностранцам; последним же давать только места второстепенные; от этого — хотя дело Петра и совершено было при помощи иностранцев, явившихся учителями, руководителями — однако не только при самом Петре, но и после, в продолжение двух царствований Екатерины I и Петра II, иностранцы не могли выдвинуться на первый план; этого они могли достигнуть только при императрице Анне[27].

Итак, настоятельная государственная нужда заставила потребовать наших старых ратных людей к постоянной службе, заставила потребовать от них известного искусства, образования, делавшего их способными к службе при новых условиях: отсюда естественно соединение понятий образованного и служащего человека, образованного и благородного человека, соединение, которое до сих пор еще у нас существует: на целый народ нельзя было наложить обязанности приобресть известные знания; но на известную часть народа, призванную на службу государственную, *обязаны* были наложить эту обязанность.

До сих пор шла речь о войске, ибо основное разделение народа в древней России — это войско и не-войско, дружина и не-дружина; слово *службы* означало преимущественно военную службу, что и теперь сохранилось в народных словах их: *служба, служивый* — для означения ратника, солдата. Но как в особе князя соединялось два значения — вождя дружины и правителя гражданского, то такое же двойственное значение должна была носить и дружина. Князь из членов своей дружины назначал в правительственные должности; и как вначале военный характер, характер вождя дружины, преобладал в князе над характером правителя гражданского: так преобладал он и в дружиннике, который был постоянно, преимущественно воин; правительственное его значение было случайное, подчиненное. Но легко понять, что даже и в обществе, не отличавшемся высоким развитием, правитель, назначаемый из дружины, не мог обойтись без людей невоенных, которые знали обычаи управления и суда, а главное — без людей грамотных. Так, с самых древних времен должен

был явиться особый класс людей, дьяки и подьячие, которые при лице правительственном из дружины, каким бы именем он ни назывался (посадник, наместник, воевода), заправляли всем, ибо знали законы, формы, были грамотны.

Последнее условие, грамотность — громадная сила в обществе неграмотном — не замедлило обнаружить свою важность и у нас точно так же, как и на Западе, хотя нашим дьякам и подьячим, при их грамотности, недоставало просвещения, недоставало научной обработки права. Дьяки, несмотря на всю свою необходимость для дружинников, придавленные значением последних, увидели, что пришло их время, когда московские государи начали борьбу против дружинных притязаний. При великом князе Василии Ивановиче, при Иоанне Грозном, дьяки становятся самыми доверенными людьми, захватывают в свои руки большую власть в Москве и областях, заведывают приказами; в царствование Федора Ивановича Годунов, стремившийся к месту правителя, должен был для достижения своей цели соединиться с дьяком Щелкаловым [28], назвать его себе отцом. Значение дьяков нисколько не уменьшилось ни в смутное время, ни при первых государях из дома Романовых: стоит только вспомнить о значении знаменитого Ивана Тарасовича Грамотина [29] в царствование Михаила Феодоровича, Грамотина, человека безнравственного, но считавшегося необходимым по уму, ловкости, знанию дел, наконец, по той способности, от которой получил свое знаменательное прозвание. В царствование же Михаила, когда, по известным обстоятельствам, голос разных чинов людей раздавался слышнее, высказалась вражда разных людей к дьякам, людей меча к людям пера. На Соборе 1642 года дворяне и дети боярские говорили: «Твои государевы дьяки и подьячие пожалованы твоим государским денежным жалованьем, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих государевых дел и обогатев многим богатством неправедным, своим мздоимством, покупили многие вотчины и домы построили многие, палаты каменные такие, что неудобосказаемые; при прежних государях и у великородных людей таких домов не бывало, кому было достойно в таких домах жить». Таким образом, у дьяков была сила, они заправляли всем и пользовались своею силою для приобретения огромных материальных средств, и, в то же время, это были люди худородные, которым, по мнению дворян и детей боярских, неприлично было жить в каменных палатах, в каких и великородные лица прежде не живали. Это господствовавшее в древней России понятие, что дружинник есть военный человек, что гражданское значение он может получить только случайно, между прочим высказалось в приговоре первого ополчения под Москвою, при Ляпунове, когда определено было, чтобы все служилые люди находились налицо, а правительственные должности раздавались бы только неспособным к военной службе (инвалидам), — на упомянутом Соборе 1642 года дворяне и дети боярские говорили: «Которые ныне

в твоих государевых городах по воеводствам и по приказам у твоих государевых дел: вели, государь, тем быть на свою государеву службу против нечестивых бусурман».

Но такое дружинное первобытное безразличие, смешение служб, господствовавшее в древней России, должны были уступить место прогрессу, явственные признаки которого замечаемы еще в царствование Феодора Алексеевича. Безразличие служб в древней России, естественно, поддерживалось отсутствием постоянного войска. Сознанная в XVII веке необходимость последнего вела, с одной стороны, к уничтожению местничества, с другой — к различению служб военной и гражданской. И вот, в царствование того государя, при котором уничтожено местничество, видим и проект различения служб. По проекту уже Феодора Алексеевича о чинах, первую занимает сановник гражданский — болярин, предстатель и рассмотритель над всеми судиями царствующего града Москвы, который, вместе с 12 заседателями из боляр и думных людей, должен постоянно пребывать в устроенной к тому палате и ведать, чтобы всякий судья исполнял царского величества повеление и градский суд правильно и рассудительно. Вторую степень занимает сановник военный — болярин и дворовый воевода, который во время похода должен быть при государе, охранять последнего, но, кроме того, промышлять о всяких воинских околичностях, сиречь смету ратям и устроение и приготовление оружия и всяких хлебных и воинских запасов. Третью степень занимает опять сановник гражданский — болярин и наместник Владимирский, занимающий первое место между наместниками, заседающими в Совете государственных дел. Четвертую степень занимает военный сановник — болярин и воевода Северского разряду, имеющий постоянное пребывание в Севске; он оберегает польскую (степную) Украйну, имеет у себя многих воевод и ратных людей всегда в готовности к отпору неприятеля. Пятая степень — болярин и наместник Новгородский; занимает второе место между титулярными наместниками в государственном Совете. Шестая степень — болярин и воевода Владимирского разряда; всегда пребывает в Владимире, устраивает рати конные и пешие, всегда пребывает во всяком воинском приуготовлении и, получив государское повеление, идет против неприятеля с своим разрядом, куда потребуется. Седьмая степень — болярин и наместник Казанский и т. д., и т. д. Таким образом, табель о рангах, где подле чинов военных видим и чины гражданские, уже не поразит нас, как нечто совершенно новое.

Вследствие нудящих потребностей государственных, которым спешила удовлетворить так называемая эпоха преобразования, служащие люди были собраны, выделены, разделены на чиновников военных и гражданских. От них потребованы известные знания, так называемая образованность, которою они стали отличаться от остального народонаселения; единовременно с этим стали отличаться от него и внешним видом, платьем, бритою бо-

родою, стали отличаться тем, что, как обязанные службою и получающие за нее жалованье, не платили подушного оклада. Петр Великий обратил внимание и на хозяйственное положение служащих, на материальное их обеспечение и для этого ввел майорат[30]. Побуждения, которыми он руководился при этом, были следующие: 1) один лучше может льготить подданных; 2) фамилии не будут упадать; 3) младшие не будут праздны, но будут приносить пользу государству. Но, вводя майорат, Петр вводил то, для чего не была приготовлена почва историею: майорат есть учреждение чисто сословное, плод ясного сознания членов высшего сословия о своем сословном положении, об отношениях к другим сословиям, о необходимости поддержать сословное значение, сословные интересы, о необходимости для этого поддержания делать пожертвования нравственные и материальные. Но как могло явиться это сознание, эти побуждения в древней России, где понятие о сословии, о сословных интересах и отношениях еще не выработалось; где были только чины и каждый жил розно, особе с родом своим, сохраняя равенство между всеми членами этого рода? Могла ли быть приготовлена почва для майората между подданными в той стране, где и в роде владельческом майорат утвердился еще недавно и с таким трудом, с таким кровопролитием? Как могло явиться побуждение к майорату между старинными русскими дворянами и детьми боярскими, обязанными службою и получающими за эту службу поместья, денежное жалованье, доходные места? Они были обеспечены сами, были обеспечены и все дети их, сколько бы их ни было: каждый будет служить, за службу будет получать поместья и жалованье. Вследствие этого жили они день-за-день, не заботясь ни о чем, безо всякого понятия о сословных интересах, сословных обязанностях; да и как было им много заботиться об улучшении своего хозяйства, об увеличении доходов при той промышленной неразвитости, какая господствовала в древней России? Впрочем, как обыкновенно бывает, неразвитость эта, будучи, с одной стороны, причиною общественной неразвитости, с другой стороны — была ее следствием. И вот, при таком-то состоянии русских помещиков и хозяйств их, вдруг на них налагают майорат, который, разумеется, ведет вовсе не к тем явлениям, каких ожидал от него законодатель. Отсюда постоянная служба и майорат были самым тяжелым бременем для русского *шляхетства* в первой четверти XVIII века: это чужое слово *шляхетство* входит теперь в употребление, ибо сословие возникает, является понятие об нем, но слова русского нет; чужое слово *шляхетство* могло быть вытеснено русским *дворянство* только впоследствии, когда уже изгладилось из памяти, что *дворянство* означало только один из чинов и чинов вовсе не высоких.

В 1730 году для шляхетства представился случай высказаться против постоянной службы и майората, получить ограничение первой и совершенное уничтожение второго. По старой привычке

каждому чину жить особо и высшим чинам смотреть с презрением на низшие, не обращая внимания на одинаковость происхождения, члены Верховного Тайного Совета[31] вздумали захватить в свои руки правление, ограничить власть избранной ими императрицы Анны. Сенаторы, генералитет и остальное шляхетство, оскорбленные попыткою *верховников* (так тогда называли членов Верховного Тайного Совета) и не находя выхода из разноголосицы проектов нового государственного уложения, восстановили прежний порядок. При этом случае они просили ограничения постоянной службы и уничтожения майората — и получили желаемое. В декабре 1736 года издан был манифест о шляхетской службе, которым постановлялось: 1) Кто имеет двух или более сыновей, из них одному, кому отец заблагорассудит, остаться в доме для содержания экономии; также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии кого из себя одного, в том давать им на волю, но с тем, чтоб эти оставшиеся в домах довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы к гражданской службе годны были. 2) Прочие все братья, коль скоро к воинской службе будут годны, должны вступать на военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе по сие время определения было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои домы, экономию домашнюю как надлежит смотреть уже в состоянии не находятся: для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в военную службу, и всякий должен служить в военной службе от 20 лет возраста своего 25 лет; а по прошествии 25 лет всех, хотя бы кто еще и в службу был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в домы; а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю. 3) За болезнями и ранами могут быть отпущены до урочных лет.

Но гораздо раньше, еще в декабре 1730 года, уничтожен был майорат. В докладе сказано, что пункты Петра Великого, «по состоянию здешнего государства не по пользе происходят, а именно: 1) Отцам не точию естественно есть, но и закон божий повелевает детей своих всех равно награждать, и для того, которые у себя имеют по два или по три сына и по нескольку дочерей, те всячески ищут, каким бы образом всех равно удовольствовать, рассуждая, ежели по тем пунктам в недвижимом наследника учинить кого одного, а прочим движимым наградить нечем, то принуждены с крестьян излишне брать, и тем им тягость наносить, или те деревни, которые надлежит дать меньшим детям, продать в чужой род, чтобы деньги на раздел прочих оставить или те же деревни перепродавать чрез несколько персон для укрепления меньших детям, и для того в платеже пошлин несут великие убытки; а буде кто того при себе не учинит, то принужден написать в духовной чей-нибудь на себя немалый долг и с клятвою наслед-

нику завещать под тем образом заплатить меньшим своим детям, и некоторые, исполняя волю отеческую, платят, продав тоже отцовские деревни, а иные наследники, ведая, что на отце их такого долгу не было, такие духовные спорят, и происходят между ними ненависти и ссоры и продолжительные тяжбы, с великим с обеих сторон убытком и разорением, и в такой ненависти и злобе вечно принуждены оставаться и не безызвестно есть, что не токмо некоторые родные братья и ближние родственники между собою, но и отцов дети побивают до смерти. 2) В деревнях обретающийся хлеб, лошади и всякий скот за движимое почитают и отдают меньшим братьям с сестрами, и тако у наследника без хлеба и без скота деревни в состоянии быть не могут, а у меньших братьев без деревень хлеб и скот пропадают, а как наследники, так и кадеты от того в разорение приходят; и хотя по тем пунктам определено, дабы те, которые по деревням не наследники, искали б себе хлеба службою, учением, торгами и прочим, но того самим действием не исполняется, ибо все шляхетские дети, как наследники, так и кадеты, берутся в одну службу сухопутную и морскую в нижние чины, что кадеты за двойное несчастие себе почитают, ибо и отеческого лишились и в продолжительной солдатской и матросской службе бывают, и тако в отчаяние приходят, что уже все свои шляхетские поступки теряют. 3) Деревень за дочерьми в приданое давать не велено, чтоб оные в чужие роды не выходили; сие такоже с немалою тягостию происходит, ибо вместо того, что дать в приданое деревни, принуждены оные продавать, и те деньги за дочерьми давать, понеже кроме такой продажи дать нечего, и потому такие деревни стали больше выходить из роду, нежели как давать приданые, а от того фамилиям нималого умаления быть не может, потому: когда кто деревни отдает за дочерью, то вместо того сын его возьмет за женою из другого рода. 4) Сверх всего вышеписанного в делах превеликое затруднение и волокита происходят, понеже те пункты, яко необыкновенные сему государству, разными образы толкуют, и хотя в прошлом 1725 году выданы еще пополнительные пункты, но и тех недовольно, и хотя б от времени до времени еще как не пополнять, едва ли к пользе что уповать можно».

Действительно, трудно понять, как при вечно обязательной службе всех членов русского дворянства, или шляхетства, и при введении постоянного войска, можно было говорить о той пользе от майората, что младшие будут добывать себе хлеб службою, наукою, торговлею? Где были у них средства и где время заниматься наукою или торговлею? Еще у богатого помещика были бы к тому средства, было бы время; вспомним, что рассказывает Данилов[32] в своих записках о зяте своем Астафьеве, которому досталось после брата 900 душ: «В вотчинной коллегии учинены были от родственников его споры. Зять мой Астафьев подарил свою прежнюю вотчину бывшему тогда в вотчинной коллегии секретарю Каменеву: Каменев, получа деревню себе во владение,

рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником зятя моего. Зять мой Астафьев, получа большое наследство, не прилежно стал уже в полку служить; а как тогдашнее время отставки от службы не было, или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуски за немалые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за пашпорт получит душек двенадцать мужеска пола с женами и с детьми, с обязательством таковым, когда зять мой Астафьев на срок оных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою к двенадцати душам. Чтобы не потерять дружбы, таковым полезным от секретаря отпуском зять мой пользовался каждый год по договору. Случилось мне и то видеть самому, при самом его уже в отпуск отъезде из полку, не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке: и то вытаскивали из-под него и делили по себе, как завоеванную добычу. Полковой писарь был гораздо совестливее секретаря своего: он брал только по одному человеку за пашпорт». Такими средствами богатые могли еще получать годовые отпуски; а бедные, младшие? «В отчаяние приходили и все свои шляхетские поступки теряли».

Несмотря на то, что гражданская служба была поставлена при Петре рядом с военною, дворянскою или шляхетскою, службою продолжала считаться военная по укоренившемуся в древней России взгляду на дружинника как на воина. Но мы уже видели, что при императрице Анне, когда дворянство испросило позволение некоторым членам семейства оставаться дома для смотрения за деревнями, выговорено было правительством, чтоб эти оставшиеся обучены были грамоте и арифметике, дабы годными были к гражданской службе. В следующем же году (1737) велено было недорослей из дворян, более способных к гражданской, чем к военной службе, распределить по коллегиям; секретари обязаны были обучать их приказному порядку, знанию указов и прав государственных, уложения и прочего; оным же дворянам назначить два дни во всякой неделе обучаться арифметике, геометрии, геодезии, географии и грамматике и обучаться им грамматикою один день в неделю, а другой день прочим наукам. Но еще в 1731 году учрежден был Кадетский корпус, который при отсутствии университетов, не мог быть специальным военно-учебным заведением, и потому говорилось, что корпус учреждается, «дабы шляхетство от молодых лет к военному искусству в теорию обучены, а потому и в практику годны были. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, також и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение: того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцования, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, потому ж и к учению определять». В 1737 году дан был указ Кадетскому кор-

пусу: «Понеже нам известно учинилось, что в оном находящихся кадетов наиболее и почитай ежедневно обучают токмо воинской экзерциции, отчего им в обучении прочих наук немалое препятствие происходит, и хотя оным весьма надлежит достаточно обученным быть воинской экзерциции, однако ж прочие науки весьма полезнее как в обращениях при воинской, так и при гражданской службах, а помянутой воинской экзерциции могут довольно обучены быть, хотя б оные учились и не по всякий день. Того ради оного корпуса командирам чрез сие от нас повелевается с сего времени впредь кадетов воинской экзерциции обучать в каждую неделю по одному дню, дабы оным оттого в обучении других наук препятствия не было».

Но, открывая для дворянства одинаково оба служебные поприща, и военное, и гражданское, правительство с прежнею строгостию требовало, чтоб оно приготовлялось к тому и другому образованием. В 1737 году встречаем указ: «Недорослей шляхетских детей, которые обучаются в родительских домах, свидетельствовать дважды, после 12 и 16 лет»; если которые из них по последнем освидетельстве окажутся невеждами в законе божием, арифметике и геометрии, таких определять в матросы без выслуги. Руководясь с конца XVII века одною постоянною мыслию, «что всякое добро происходит от просвещенного разума, и зло искореняется; что наука везде нужна и полезна, ибо посредством нее просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми», правительство, карая, с одной стороны, дворян за недостаток необходимых сведений, с другой — не могло стеснять их в стремлении приобретать дальнейшие сведения. В 1756 году позволено недорослям из шляхетства обучаться в новоучрежденном Московском университете до 16, а смотря по их склонности к наукам и до 20 лет; кроме того: «которые ж из тех обучающихся в Московском университете действительно в воинской и гражданской службе записаны, и впредь будут записаны же, а лета и склонности их дозволяют им обучаться наукам; таким для обучения дозволить при университете остаться до вышепоказанных же лет возраста их; а чтоб они не могли чрез то потерять свое произвождение, оных как в воинских, так и в гражданских командах, где они в службу записаны, в повышениях старшинством не обходить, а произвождение им с прочими в тех командах чинить по указам».

Таким образом, обязательная служба для дворян с известных лет должна была необходимо повести к известным распоряжениям при поступлении их в высшие учебные заведения, к распоряжениям, клонившимся к тому, чтоб они ничего не теряли пред сверстниками, поступившими с определенных лет в действительную службу. Но приближалось время, когда обязательная служба должна была прекратиться. В царствование императрицы Анны дворянство исходатайствовало уничтожение майората и ограничение обязательной службы; уже и при этом мы не можем не

заметить, как сословные понятия начинают укореняться: кроме того, что начинают употреблять слово для означения целого сословия, говорится уже о шляхетских поступках; жалуются, что младшие дворянские сыновья, при обязательной службе в нижних чинах, теряют шляхетские поступки. Может быть, ты мне заметишь, что эти понятия идут сверху только, разделяются немногими членами сословия, наверху стоящими: тем важнее это для нас, любезный друг! Очень важно, что члены сословия, наверху стоящие, принимают к сердцу не одни интересы племянников и внучат своих, но интересы всех членов сословия, оскорбленные тем, что некоторые из этих членов подвергаются искушениям вести себя не так, как прилично члену этого сословия. Желание уничтожить майорат также очень важно в этом отношении, ибо невыгоды майората, на которые жаловалось шляхетство, вовсе не были так тяжки для богатых и знатных дворян, как для незначительных и бедных; ясно, что понятие о своем перешло узкие грани естественного, родового союза и прилагается к членам союза сословного. Прошло около 30 лет от этого первого шага к ограничению обязательной дворянской службы; прошли суровые, оскорбительные для русских людей времена Бироновские; прошло царствование Елизаветы, замечательное по распространению лучших понятий о человеке и его общественных отношениях: в это время воспиталось новое поколение людей с нравами более мягкими, людей, которые должны были действовать во второй половине века, в царствование Екатерины II. И вот, в преддверии этого знаменитого царствования, 18 февраля 1762 года, при императоре Петре III[33] издается манифест, в котором говорится, что «при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали неисчетные пользы, истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу; одним словом, благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность, а *потому и не находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была»*. Так произошел этот великий переворот в судьбе русского дворянства, переворот, по которому оно слагало с себя древний характер дружины. Но это новое положение дворянства потребовало необходимо сословно-общинного устройства, чему и было удовлетворено в знаменитом устройстве губерний при Екатерине II, которым закончилось сословное образование дворянства.

Из всего сказанного ты можешь видеть, любезный друг, на какие три периода распадается история русского дворянства. В первом периоде мы видим его в неопределенной форме дружины, привязанной к своему князю, зависимой от него в сред-

ствах жизни, следующей за ним из одного княжества в другое, наконец, переходящей свободно от одного князя к другому. С образованием Московского государства начинается второй период: дружина усаживается вследствие единовластия, и вместе с тем распадается на множество отделов, которые живут розно. Наконец, в третьем периоде, во времена Российской империи, вырабатывается для этих отделов общая сословная связь, образуется дворянство.

III

Ты меня спрашиваешь, любезный друг, откуда происходит то явление, что немцы и славяне одинаково хлопочут об общине, и каждое из этих племен хочет присвоить общину как произведение своей национальности. Где взять нового Соломона [34], говоришь ты, который бы решил этот спор о дорогом детище. Я не думаю, любезный друг, чтобы нужна была мудрость Соломонова при решении этих вопросов. В одном из прежних писем моих к тебе я старался показать, что вопросы о частных союзах стали главными вопросами настоящего времени; историю же вопроса об общине ты знаешь хорошо; сначала поднялся вопрос о городской общине вследствие того, что среднее сословие в Европе приобрело такое важное значение с конца прошлого века; это сословие хотело знать свою историю. Ты знаешь заслуги знаменитых французских историков в этом отношении для их истории; знаешь, как немецкие ученые обработали этот предмет; помнишь спор, поднятый о том, какого происхождения городовая европейская община, римского или германского, — спор, нашедший отголосок в книге нашего Кудрявцева (*«Судьбы Италии»*) [35]. Но к вопросу об истории среднего сословия скоро присоединился вопрос о судьбах сельского народонаселения, важный вопрос о землевладении, поднятый страшилищем пролетариата; таким образом выдвинулся вопрос и о сельской общине. Русская жизнь и русская наука не могли остаться чуждыми этих вопросов. Здесь дело не в подражании: дело в том, что волею-неволею мы вошли в семью европейских народов, живем общею с ними жизнию: «Мы европейцы, и ничто европейское не может быть нам чуждо». Но при этом мое положение будет всегда одно и то же: нет пользы, взявши вопрос из жизни, насильно навязывать его науке. Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы; и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное, вследствие господства того или другого взгляда, жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться

у нее. Что же касается вопроса, составляет ли община явление германской или славянской народности, то об этом говорить много не нужно: всякий, кто хотя сколько-нибудь знаком с сравнительным изучением истории общественных форм и явлений у разных народов, знает хорошо, что общинный быт есть столько же национальное явление и у славян, как у германцев. Вопрос может идти только об особенностях и степени развития. Решением этого-то вопроса я и хочу теперь занять тебя.

С половины IX века через внесение новых общественных элементов, вследствие появления князей варяжских, произошло между нашими восточными славянами движение, поведшее необходимо к ослаблению первоначального родового быта и к развитию быта общинного. Перед нами община новорожденная, община первобытная, со всею простотою и неопределенностию отношений. Определение было впереди. Определение более или менее точное есть следствие более или менее ясного сознания отношений, прав и обязанностей; сознание в последующие времена является как результат науки, но в древние времена, о которых идет речь, более или менее ясное сознание есть следствие более или менее резких столкновений, резких сопоставлений общественных элементов и равномерно сильного их развития; сознание добывается тут путем факта. Завоеватель и завоеванный лицом к лицу в ежедневной жизни... вот резкое сопоставление и отсюда резкое определение отношений; у одного все права, у другого одни обязанности; сознание этих отношений ясно и у того, и у другого. Если завоеванный с течением времени приобретет силы для борьбы с завоевателем, то оба вступают в борьбу при ясном определении своих отношений, и изменение в этих отношениях происходит также сознательно и потому резко определенно; все происходит выпукло и крепко. Кто осилил окончательно в борьбе — это другой вопрос; иногда осиливает третий элемент, не вступавший первоначально в борьбу; иногда между борющимися сторонами заключаются сделки, мировые относительно третьей стороны, с ясным определением отношений к последней и друг к другу: во всяком случае, борьба не остается без влияния на окрепление общественного организма. Иначе бывает, когда в первоначальном, неразвитом обществе элементы общественные находятся в неопределенном, мягком отношении друг к другу. При таких условиях определение отношений идет очень медленно, перерывчиво, нетвердо; сознание общественного человека не ясно. Это медленное, без всякого сознания, ощупью идущее внутреннее движение еще более затрудняется, останавливается, когда происходит сильное внешнее государственное движение; когда внутреннее движение не уравнивается со внешним, общественное с государственным; отсюда, при неразвитости форм, общество готово принять чужие формы, выработанные чужою жизнию. Здесь, разумеется, спасение в просвещении: наука дает ясность сознанию; но теория не так спора без практики.

Но обратимся к древней русской общине, посмотрим, как были определены отношения к князю и наместнику. Говорили ли славянские послы Рюрику, что его призывают для *правды*, или не говорили, — для нас это все равно; для нас важно то, что в словах летописца высказалось сознание современного ему общества об отношениях князя к подвластному народонаселению. Действительно, как бы князь или посадник его сами ни смотрели на свои отношения к общине, община видела в них людей, призванных для правды. Но как производилась правда, какое участие, какое значение имел здесь князь или его посадник? Это было лицо постороннее, чужое, обязанное смотреть: чтобы в общине была правда, чтобы все споры и столкновения решались по правде, чтобы лихим людям не было воли делать дурно; чтобы вред, ими причиненный, был вознагражден. Но это лицо должно было смотреть, чтобы сама община, сам мир судил и рядил по правде, чтоб община не держала у себя лихих людей безнаказанными, чтоб община хлопотала о сохранении порядка. Князь или посадник вовсе не хотели брать на себя обязанности или присвоивать себе право самим все судить и рядить, не имели понятия о необходимости этой обязанности, о выгоде этого права для себя, наконец, не имели материальных средств пользоваться этим правом. Ложность современных взглядов на древнее состояние общества происходит оттого, что мы никак не можем отрешиться от своих понятий, от своих привычек к определенности, к резкому разграничению между правами и обязанностями, тогда как в древнем обществе этой определенности, этого разграничения вовсе не было: что теперь считается правом, то прежде считалось обязанностию — и обязанностию тяжелою.

Первоначально суд принадлежал миру, общине; когда община не могла решить дела, когда являлась жалоба на неправду, на насилие сильных, тогда решал дело наместник или сам князь. Первоначальный вид мирских или общинных судов представляют нам суды сельских общин западной России, как они существовали еще в XVI веке: на *вече*, *купу*, *копу* или *громаду* сходились все домохозяева; их сыновья и братья, не имевшие отдельных хозяйств, также женщины являлись на сходку только по особому требованию копы и не для совещания, а только для свидетельских показаний. Между домохозяевами, сходатаями или судьями копными отличались старцы, которых мнение пользовалось уважением, особенно в таких случаях, когда нужно было постановить приговор на основании давних решений. В древности, когда родовой быт был крепче, роды были обширнее, родоначальники, старцы, имели все представительство, и в Советах первых князей наших подле бояр мы находим старцев городских, представителей мира, общины. После, с ослаблением родового быта, с размельчением родов, представителями общины являются домохозяева, многочисленнейшие прежних родоначальников, и Совет их принимает необходимо вид веча, купы, громады, скуп-

чины, особенно в больших общинах; отсюда мы видим естественный, незаметный переход от решения дел князем в Совете с боярами и старцами к решению дел на вече. С дальнейшим развитием общин, место старцев, имеющих превосходство по естеству, по возрасту, заступают лучшие люди, имеющие превосходство не по одному возрасту; с появлением этого аристократического элемента в общине, лучшие люди являются представителями общины; без них нет суда. Что было сказано относительно суда, то же самое соблюдалось и относительно всех важных дел, касавшихся одной общины и целой волости княжеской: сперва эти дела решались князем в Совете с боярами и старцами, потом на вече.

Таковы были первоначальные отношения действующих сил в древней русской общине. Но теперь рождается самый важный вопрос: подобные отношения служили ли ручательством за благосостояние общины, были ли они в состоянии препятствовать той или другой силе уклониться от правды, от насилия? Очень рано слышатся уже жалобы на несправедливые поступки посадников и тиунов: при Всеволоде I [36] слышатся жалобы, что до людей перестала доходить княжая правда; слышатся жалобы, что посадники своими неправдами опустошали целые волости; при Всеволоде II [37] Ольговиче тиуны княжеские — один разорил Киев, другой — Вышгород. Откуда же проистекали такие явления? Человек, посылаемый князем в общину для правды, был членом дружины княжеской; князь давал ему это назначение вместо жалованья, как кормление; отсюда естественное стремление в этом человеке кормиться как можно сытнее, вместо соблюдения правды потворствовать кривде, притягивать невинного к суду, чтобы заставить его платить штраф.

Что же община? Какие у нее были средства освободиться от подобного блюстителя правды? Для уяснения дела сравним или противоположим западные общины. Там, вследствие хорошо известных тебе явлений, вельможа духовный или светский, какое бы название ни носил он, владел общиною наследственно или пожизненно, имел силу, власть сам по себе, имел известное право владеть общиною; над ним был верховный повелитель, глава государства. Но власть этого главы государства была очень слаба, именно вследствие большой власти, самостоятельности вельмож, номинально ему подчиненных, номинально зависимых; между главою государства и этими вельможами, которые были сильны сами по себе, при первом случае, при первом столкновении — открытая борьба. Община, выведенная из терпения насилиями своего непосредственного владельца, восстанет на него, обращаясь к главе государства, верховному блюстителю правды, и опираясь на его высокое право, с его согласия определяет в свою пользу отношение к непосредственному владельцу, определяет крепко, точно, ибо эти отношения постоянные, тут нет ничего личного, случайного.

В древней Руси лучшие, богатейшие, более развитые общины были под непосредственным управлением князей, совершенно самостоятельных в делах внутреннего управления, без всякой зависимости, даже и номинальной, от старшего в роде, или великого князя. Чиновники княжеские были слуги князя, или, лучше сказать, товарищи, дружинники; интересы князя не находились в противоположности с их интересами, — напротив, были тесно соединены; князь нуждался в них, как в защитниках, людях, с которыми мог приобресть серебро и золото. По словам св. Владимира, князь содержал этих нужных, близких ему людей на счет общин, и потому последним, в своих столкновениях с ними, трудно было найти себе управу, если князь не обладал таким широким нравственным взглядом, как, например, Владимир Мономах[38]. Возможность, однако, выйти из этого положения представилась для общины в соперничестве князей друг с другом, в усобицах между ними. Вследствие появления многих князей-соперников, из которых каждый предъявлял свое право, общины получили возможность выбора между князьями, не восставая нисколько против власти княжеской, против князя вообще. Общины (киевская и новгородская, ибо о других нам ничего неизвестно по неимению полных летописей их) вследствие соперничества, усобицы князей, приобрели себе право выбора правительственных лиц: Игорь Ольгович[39], слыша неудовольствия киевлян на тиунов и грозимый движениями Изяслава Мстиславича, к которому киевляне обнаруживали расположение, — Игорь Ольгович дал им право выбирать тиунов; после видим, что киевляне заключают ряды с новыми князьями. Новгородцы, восставшие против князя своего Всеволода Мстиславича[40] за то, между прочим, что он не блюдет смердов, благодаря соперничеству князей, возможности находить у одного помощь против другого, утвердили за собой право выбора правительственных лиц, право сажать в суде подле самого князя своего выборного посадника, наконец, право выбирать самих князей, право, которое потом было отнесено как пожалование ко временам Ярослава I[41]. Таким образом, древние русские общины определили свои отношения выбором правительственных лиц.

Что касается других подробностей общинного быта в старых русских городах, то они нам известнее в Новгороде и Пскове. Известны также и причины падения этих общин: неумение уладить отношения между лучшими и меньшими людьми к выгоде обоих, причем большинство легко отказалось от тех форм быта, которые были выгодны только для меньшинства. Что же касается до форм общинного быта в других городах, то мы не имеем права предполагать здесь сильное развитие. Не надобно забывать продолжительности особого существования Новгорода и Пскова, тогда как Киев, Чернигов и другие города юго-западной Руси были разрушены татарами еще в XIII веке, да и те старые города, которые избегли этого разрушения, например Полоцк с свои-

ми белорусскими собратиями, принимают чужое немецкое общинное устройство, так называемое магдебургское право; но дело очень хорошо известное, что чужие формы, чужие определения принимаются только тогда, когда нет своих форм и определений, выработавшихся самостоятельно: чужие формы и определения могут быть даны насильственно; но дело также очень хорошо известное, что магдебургское право не было насильственно дано русским городам.

Так было в древней западной Руси, отошедшей к Литве, и в обломках древней Руси, сохранивших связь с новою, восточною Россией, в Новгороде и Пскове. Теперь обратимся к общинному быту в восточной России, в которой совершилось дело собрания Земли и дело централизации. Сказавши это, я уже определил значение общинного быта в восточной России, ибо здесь на очереди другое начало, которое усиливается беспрестанно и позволяет присутствие при себе других начал только в той степени, в какой они не мешали ему усиливаться. Возникновение и усиление одного какого-нибудь начала необходимо предполагает слабость других начал, не могущих ему препятствовать, не могущих заявить свою силу, свою способность к единовременному и одноправному с ним существованию. Какие же были причины усиления централизации и причины слабости других начал? Причины, могшие замедлять централизацию, могли заключаться или в географических, или в этнографических, или в политических особностях частей, причем должно заметить, что эти причины особности обыкновенно соединяются. Кто знаком хотя сколько-нибудь с географиею областей, составивших Московское государство, тот знает, что здесь нет природных препятствий к централизации: нет высоких гор, нет степей, столько же разделяющих народы, как и горы; нет резких переходов; здесь одна речная область, область верхней Волги. Особность больших, издавна самостоятельных племен могла препятствовать централизации: так, на особность больших племен в Германии указывают как на условие, помешавшее государственному соединению этой страны. Но в восточной России и этого условия, препятствовавшего централизации, не было. В древней западной России видим отдельные племена, из которых составилась Русь; но и здесь, без натяжки, мы не можем указать значение этих племен в истории; ибо для того, чтоб особность племен имела влияние в истории, надобно еще другие условия: надобно, чтоб эти племена изначала имели особое свое правительство; чтоб эти правители племен только насильственно подчинялись общему правительству и стремились к независимости при первом удобном случае; надобно, чтобы стремления правителей совпадали с стремлениями самих племен, из которых ни одно не хотело бы подчиниться другому.

Но ничего подобного не было у нас в древней России, где племена одновременно получили правителей из чужого народа, где не поляне завоевали северян и древлян, где в Чернигове,

например, сидел не князь из племени северян и не вельможа варяг, который, из стремления к самостоятельности, тесно соединил бы свои интересы с интересами северян. Мы знаем, что в Чернигове сидел князь, который очень мало обращал внимание на единство своих интересов с интересами черниговцев или северян, который постоянно думал, как бы поскорее бросить Чернигов и перебраться в Киев. Полная независимость младших княжеств от старшего, относительно внутреннего управления, уничтожала враждебное столкновение между ними. Но если и на юго-западе, где видим вначале отдельные племена, невозможно указать влияния этих племен на судьбу страны, то на северо-востоке и племен-то вовсе не было. Здесь вначале были племена финские; но напор славянской колонизации, совершившейся уже в исторические времена, или отодвинул финнов, или ославянил их; движение же славян происходило не целыми отдельными племенами, но вразброд. Да и поселившись в новой стране, славяне не могли развить здесь племенного быта, ибо условия общества были уже иные: здесь владели князья, которые строили города, куда приглашали насельников. Племенную противоположность нельзя даже положить одною из причин вражды между старым городом Ростовом и молодыми городами, которых Ростов был представитель, ибо нельзя предположить Ростов во времена Андрея Боголюбского финским городом в противоположность новым славянским городам — Владимиру, Переяславлю и другим. Причина вражды прямо указана в источниках, причина политическая, а не племенная: ростовцы говорят: «Сожжем Владимир или посадим в нем своих посадников, потому что владимирцы наши холопы каменьщики». Новые города, следовательно, принимали в себя ту часть народонаселения старых городов, которая называлась меньшими, младшими людьми в противоположность лучшим людям.

Этот вывод колонии из меньших людей не всегда происходил с согласия лучших людей, ибо не всегда уходили в новые города только свободные меньшие люди, уходили и несвободные, желавшие этим уходом достать себе свободу. Вспомни, любезный друг, предание о Холопьем городке, предание, которое ясно произошло от названия города; но это название не нуждается ни в каком предании для своего объяснения, ибо нам известен общий закон переселений, и в частности, нам известно происхождение вятского народонаселения, происхождение козачества. Наконец, слова ростовцев, что владимирцы их холопы, не оставляют никакого сомнения насчет того, как образовывалось народонаселение новых городов, хотя отчасти, ибо не принимать слов, сказанных ростовцами, буквально — будет уже натяжка с нашей стороны. Андрей Боголюбский и братья его утвердились в новых городах, в пригородах, дали им первенство, и Ростов Великий не устоял в борьбе с ними. Пал город старый, вечевой, остались города, не привыкшие к вечу, к самостоятельности. Что же нас останавливает

в этой борьбе Ростова с Владимиром, Переяславлем? Что представляют ростовцы и что владимирцы? Первые представляют лучших людей, вторые — меньших. Ростовцы вместе с боярами противятся централизации, начинаемой Боголюбским и братьями его. Владимирцы с братиею, не имея никаких выгод поддерживать те формы быта, которые выгодны только для ростовцев, дают поддержку централизующей силе, ибо все выпуклое мешает централизации, ровное же представляет самый крепкий фундамент для нее. То же самое случилось после, в XV веке: Новгород потерял свои особенности, приравнялся ко другим городам, к городам низовым: лучшие люди, выпуклая часть новгородского народонаселения, стояли за особность; но большинство, ровная часть народонаселения, тянула к приравнению, ибо не видала для себя в особенности тех выгод, какие имело меньшинство, выпуклая часть народонаселения.

Не знаю, любезный друг, какое впечатление производимо было на тебя возражениями, направленными, будто бы, против моей *гипотезы* об отношениях между старыми и новыми городами и важном значении этих отношений. Никогда не думал я строить гипотезу, указывая на ясную, в глаза бросающуюся связь судеб Новгорода Великого с судьбами других русских общин, указывая в XII веке на начало борьбы, которая кончилась в XV; никогда не думал я строить гипотезу, решившись на живой борьбе общественных отношений показать как подле междукняжеских отношений образовывалась почва, складывался внизу фундамент, на котором строилось здание Московского государства. Ты помнишь, как восстали на меня за это перенесение истории из воздушных пространств на твердую почву, за это обращение внимания на другие явления, без которых от смены начала родового вотчинным или семейным решительно ничего бы не вышло. Ты помнишь, как упрекали меня за то, что у меня между родовым и государственным началом целая пропасть. Возражатели, исключительно носясь в высоких воздушных сферах начал, не хотели заметить, что эта пропасть наполнена щебнем из развалин Ростова и Новгорода. Теперь взгляд переменился; но теперь новые странности в нашем незрелом, зеленом обществе: слышится голос капризного ребенка, который кричит на весь дом, требует у няньки, чтоб она дала ему то, чего нет. «Ступай, нянька, зимою в сад и сорви яблоко!» Ловкая нянька вынимает из кармана сухую заморскую сливу. «Ах, душенька, какая добрая сестрица! сбегала в сад и вот что сорвала! ах, что выросло у нас в садике; ах, какая вкусная ягодка!» Честь и слава ловкой няньке! Она хорошо знает, что с ребенком нельзя рассуждать о том, что зимою яблоки не растут.

Так нечего противопоставлять разным крикам серьезные рассуждения о том, что если одно начало усиливается, то это происходит необходимо вследствие слабости других начал, которые все более и более ослабляются вследствие большего и большего

усиления одного начала; что, ослабляясь все более и более, они тем самым уходят на задний план, все менее и менее действуют, следовательно, все менее и менее заявляют себя перед историею, и если действуют, то по отношению к господствующему началу; что их развитие, если оно происходит, подчиняется влиянию господствующего начала, влиянию того хода событий, который условливается движением господствующего начала; что историк не имеет права, бросивши то, что действует, и своим действием объясняет нам все в прошедшем и настоящем, обратить внимание преимущественно на то, что находится в бездействии или действует слабо, развивается медленно; что обязанность историка показать причины, почему одно начало действует на первом плане, а другие действуют слабо, медленно; что здесь обязанность его оканчивается, ибо этим он вполне освещает настоящее, как результат прошедшего; что историк, увлекшись каким-нибудь сочувствием, не смеет перемешивать явления по произволу, не смеет выставить на первом плане то, что на нем не находится, ибо настоящее сейчас же обнаружит фальшь: настоящее есть такая же проверка прошедшего и наоборот, как в арифметике вычитание проверяется сложением, сложение вычитанием.

Но возвратимся к нашему делу. Главное явление, которое останавливает нас на севере, — это неразвитость городовых общин вследствие неразвитости промышленности и торговли, вследствие бедности городов. Факт неоспоримый, что развитие общинного быта везде и у нас в России основывалось на материальном благосостоянии, на развитии промышленности и торговли. Почему Новгород, Псков, Киев, Полоцк, Смоленск вписали свое имя в историю общинного быта в России? Потому что это были самые богатые, самые торговые города. Путь из варяг в греки, западная полоса России от Балтийского до Черного моря, это главный торговый путь и главная историческая сцена в нашей древней истории; на ней — богатые торговые города и сильные городовые общины, обнаруживающие свою самостоятельность. Чем далее к востоку, тем страна дичее и беднее, торговля и промышленность слабее, народонаселение реже. Отсюда необходимое следствие, что когда историческая сцена перенесется на этот восток, то здесь ход истории будет иной, чем на западе; что на востоке мы не встретим тех явлений, которые характеризовали нам древнейшую историю, историю западной России, новое начало необходимо должно было явиться и усилиться там, где старое было слабо и потому не могло выставить новому сильному препятствий. Новгород отбился от Андрея Боголюбского, от Всеволода III и сына его Ярослава[42], и до половины XV века мог сохранить свою самостоятельность; Ростов же пал скоро перед Юрьевичами — знак того, как лучший, старший город на востоке был беднее, слабее лучшего города на западе. После падения Ростова восток не представляет нам вовсе таких выпуклых явлений в городовой жизни, какие представляет запад; здесь бедность развития про-

мышленного и торгового провела уровень между городами и даже между городами и селами. Судьба городов в Московском государстве одинакова с судьбою дружины: для силы как дружины, так и городов необходимо было одно и то же условие — богатство, а его-то и не было. Когда начало слагаться государство, мы не видим членов дружины, вельмож, богатых, имеющих обширные земельные владения, имеющих в своей наследственной власти целые области города, могущих приобрести многочисленных подручников, которые бы получали от них земли, недвижимое, так могущественно содействующее скреплению всяких связей и отношений. Не было больших частных союзов, не было того, чтобы множество малых сил группировались около больших сил.

Не забудь, любезный друг, что я говорю: не было *больших* частных союзов, ибо частные союзы были у нас в древней России в разных видах, а именно: на первом плане союз родовой, самый могущественный в старину частный союз во всех слоях народонаселения. О силе родового союза между людьми высших чинов не нужно распространяться, эта сила слишком резко отметила себя в истории; укажу только на самые характеристические черты родового союза даже в XVII веке: знаменитый Шеин, в то время, когда шло дело об освобождении его из польского плена[43], желая сообщить боярам важные известия, прислал в русский стан спросить их, нет ли с ними какого-нибудь его Шеинского человека, или человека родичей (*повинных*) его, Салтыковых или Морозовых, ибо только такому он может поверить тайну. В XVII же веке Милюков, женившийся на рабе князя Солнцева-Засекина, должен был заплатить за это сто рублей, и эти сто рублей были разложены на весь многочисленный род Милюковых. На силу родового союза вообще во всех слоях народонаселения указывает то, что государство смотрит на гражданина не иначе как на родоначальника, представителя своего рода, обязанного отвечать за своих младших родичей: всякий N.N. не представлялся один со своею семьей, но с братьями и племянниками, и князь Пожарский, жалуясь государю на дурное поведение своего взрослого племянника, описывая, что никакие строгости и наказания, употребленные дядьями, не помогают, обнаруживает в конце жалобы боязнь, чтобы государь не положил на него опалы за дурное поведение племянника. Но, кроме родового союза, существовали и другие частные союзы, необходимые при государственной неразвитости, когда правительство, закон не имеют достаточно силы, чтоб дать каждому защиту, вследствие чего слабый стремится приютить себя под защиту ближайшего сильного: таково происхождение наших старинных *закладников*, *соседей*, *подсоседников* и *захребетников*. Все это начало тех самых отношений, которые на Западе развились в феодализм; у нас же не развились именно потому, что у нас сильные не были достаточно сильны для соделания себя центрами больших частных союзов; что эта сила сильных ослаблялась постоянно присутствием и не-

посредственным влиянием централизующей силы, начавшей развиваться очень рано. Дружинники были бедны своими вотчинами; самыми богатыми землевладельцами должны были быть князья, вступившие в службу к государям московским, но они вступили в московскую службу не как владельцы своих прежних княжеств, своих прежних городов, от которых удержали только одно прозвание; их города, их княжества отошли к московскому государю; у них оставалась только частная княжеская собственность; но эта собственность дробилась и умалялась, вследствие сильного расплоҗения членов княжеских родов, вследствие отсутствия майората и вследствие обычая давать вотчинные земли монастырям на помин души.

Но дружинники составляли войско. В старину на юго-западе дружинники говорили князю при начале предприятия: «Ты это, князь, сам по себе задумал, мы об этом не знали; так не идем за тобою». Князь, покинутый дружиною, лишался средств действовать и поддерживать свое значение. На северо-востоке централизующая сила скоро нашла возможность освободиться из-под влияния старой дружины, и эта возможность, разумеется, нанесла окончательный удар старым дружинным княжеским и боярским притязаниям. Централизующая сила имела возможность создать большое войско, вполне от нее зависящее. Эту возможность доставило огромное количество земель, находившихся в полном распоряжении централизующей власти, и вот явилась *поместная система*, имевшая такое могущественное влияние на судьбы Московского государства. Дружинники были бедны, не могли выделять из своих вотчин участков другим с условием подручнических, вассальных обязанностей; один только московский государь был так богат землею, что мог выделять из нее многочисленные участки желавшим служить у него, с полною и непосредственною зависимостью от него. Охотников нашлось много. Иоанн III, приведши Новгород в свою волю, сказал его жителям: «Великий Новгород должен нам дать волости и села, без того нам нельзя держать государства своего в Великом Новгороде», и взял волости владычни и монастырские; эти земли были розданы детям боярским в поместья: Иоанн показал, что значило, по его выражению, держать государство. Иоанн не был брезглив в выборе тех людей, посредством которых хотел держать государство: он велел распустить из княжеских и боярских дворов служилых людей, *послужильцев*, и дать им поместья. Таким образом, у князей и бояр отнималось средство быть самостоятельными чрез своих послужильцев; великий князь переводил, посредством раздачи поместий, этих послужильцев в непосредственную зависимость от себя, делал их своими послужильцами. Польские вельможи, приобретшие самостоятельность и силу именно через земельное богатство, через возможность сосредоточивать около себя большое количество послужильцев, — польские вельможи ясно понимали различие положения своего от положения вельмож мос-

ковских, и одним из препятствий к избранию Московского царя в короли Польские представляли то, что царь богат, и потому будет иметь возможность отвлечь от них свою бедную шляхту и превратить ее в своих послужильцев.

Вопрос о земле, о владении ею сделался господствующим вопросом в Московском государстве, начиная с половины XV века, начиная именно с образования государства. После хаотической эпохи движений, переходов, когда *недвижимость*, земля, была далеко не на первом плане, наступила эпоха оседлости, и земля получает важное значение, цена ее начинает сильно чувствоваться. Вспомни, любезный друг, какой вопрос могущественно занимает русское общество с половины XV века до конца XVI века, с каким вопросом встречаешься ты постоянно при всех важных спорах, при всех движениях, в которых сказывалась умственная жизнь русских людей, при всех движениях, в которых принимали участие самые живые, самые выпуклые личности: это вопрос о том, следует ли владеть монастырям селами. Неужели один чистый вопрос монастырской дисциплины и нравственности мог так сильно волновать общество? Дело в том, что теперь и централизующая сила, и люди, желающие воспрепятствовать централизации, понимают силу землевладения. За землю начинается спор. С одной стороны, московские государи видят, какое могущественное средство доставляет возможность распоряжаться большим количеством земли, приобретать через нее непосредственных послужильцев. Но количество земель, которыми могло располагать правительство, могло уменьшиться; государство владело и приобретало все более и более земель на юге, юго- и северо-востоке; но эти громадные пространства были ненаселены, тогда как для испомещения послужильцев необходимы были земли, ближайшие к государственному центру, способные иметь население, ибо только эта способность давала помещику средство нести службу; но такими именно землями были архиерейские и монастырские вотчины, расположенные в старых областях, а не в степной украйне и не в безлюдных пустынях вятских и пермских. И монастырские вотчины продолжали увеличиваться подобными же землями, вследствие отказа по душе старинных вотчин землевладельцами разного звания. Таким образом, правительству чрезвычайно выгодно было бы иметь в своих руках монастырские земли для цели испомещения служилых людей, и потому не могло оно равнодушно смотреть на то, что служилые люди, через отказ вотчин в монастыри, все более и более оскудевали наследственными землями, следовательно, все более и более нуждались в поместьях; и эти требования переходили, наконец, уже границу выгод, происходивших для правительства от нужды служилых людей в поместьях: ибо вотчина не очень крупная не могла быть опасна, а служила только подспорьем для поместья, и ее исчезновение из рук человека было только вредно для правительства.

С другой стороны, самые видные представители вельможных родов, яснее других понимавшие в чем дело; князь Патрикеев с товарищи также вооружились против права монастырей владеть селами, ибо хорошо видели, какой ущерб проистекает для знатных родов от обычая отказывать вотчины монастырские и от права монастырей покупать вотчины, причем монастыри, не делившие своих имений и постоянно богатевшие, разумеется, имели важное преимущество перед беднейшими, вследствие разделения имений, светскими вотчинниками. Таким образом, против монастырских вотчин был интерес централизующего начала вместе с интересом людей, вовсе не сочувствовавших централизации. Иоанн III прямо вооружился против монастырских вотчин, но счел за нужное уступить сильному сопротивлению, встреченному в духовенстве. При сыне Иоанна III, Василии [44], вопрос был поднят с новою силою князем Патрикеевым (Вассианом Косым) [45] и Максимом Греком [46], но не получил окончательной поддержки от великого князя, вследствие вражды, которую питал Василий к Патрикееву и Максиму по делу о разводе.

Иоанн IV, вследствие ожесточенной вражды своей к вельможам и вследствие беспрерывных и тяжелых войн, им веденных во все царствование, решительно выдвинул на первый план землевладельческий интерес служилых людей, войсковой массы. Отбирая вотчины у богатых князей, объявляя себя наследником вотчин после бездетных князей, с исключением дочерей, сестер и родственников, Иоанн в то же время вооружился и против увеличения монастырских вотчин в ущерб служилым людям: в 1551 году запрещено было архиереям и монастырям покупать вотчины без царского позволения; в 1553 запрещено давать вотчины по душе в большие монастыри, велено отдавать их роду и племени служилых людей, чтобы в службе убытку не было, и земля из службы не выходила бы; позволено было давать вотчины только монастырям малым с позволения государства; в 1580 году запрещено было вовсе отказывать вотчины по душам в монастыри, велено брать их наследникам, хотя бы кто и далеко был в роду. Наконец, при сыне Грозного, вследствие того, что, как указано выше, был выдвинут интерес служилых людей на первый план, последовало прикрепление сельского народонаселения, опять по поводу столкновения этого интереса с интересами церкви по вотчинам: «Земли митрополичьи, архиерейские, владычни и монастырские в тарханах, никакой царской дани и земских разметов не платят, а воинство, служилые люди эти земли оплачивают; оттого большое запустение за воинскими людьми в отчинах их и поместьях; а крестьяне, вышедши из-за служилых людей, живут за тарханами в льготе, и от того великая тощета воинским людям пришла», — говорилось на Соборе 20 июля 1584 года.

Но в то время, как поместье — это могущественное средство централизации в Московском государстве — сыграло такую важ-

ную роль наверху и внизу, в судьбах старших членов дружины — с одной стороны, и в судьбах сельского народонаселения — с другой, в то же время оно сыграло не менее важную роль и в судьбах городов, ибо уничтожило необходимость в городовом войске или необходимость обращаться к городам за деньгами для содержания наемного войска. В древней Руси князь имел нужду, во-первых, в дружине, с которою мог приобресть серебро и золото и которая уходила, если с нею не спрашивались; но дружина не была многочисленная: для больших походов против внешнего врага или против родича-соперника князь нуждался в городовом ополчении; известно, например, какую помощь оказывал любимым князьям *сильный полк* киевский. Главным содержанием обращения князя к городовому вечу был призыв к походу, на что, по разным обстоятельствам и отношениям, следовало согласие или несогласие. На севере же возможность создать войсковую массу посредством поместья уничтожила необходимость в городовых полках. В начале княжения Иоанна III мы встречаем последнее известие о походе московской городовой рати, с особенным воеводою, ибо звание тысяцкого, постоянного воеводы городовых полков, было еще прежде уничтожено прадедом Иоанна III. Возможность иметь свое войско посредством поместья уничтожила необходимость в наемном войске. Таким образом, в Московском государстве в XV веке мы видим то же явление, те же отношения по землевладению между государем и служилыми людьми, какие видим в западных европейских государствах в первом веке их существования, то есть отношения бенефициальные, или поместные. Но разница в том, что на Западе отношения по землевладению выдвигаются на первый план при самом образовании государств; после того, в силу столкновения разных начал в новорожденном государстве, отношения по землевладению проходят разные фазы и содействуют образованию разных новых отношений, пока государство, выходя из средних веков, окончательно складывается. Но у нас первые века после рождения государства проходят в брожении и передвижке князей и дружин их, причем отношения по землевладению на первый план не выдвигаются, получают они важное значение только тогда, когда передвижка прекращается. Московское государство слагается окончательно с громадным перевесом централизующей силы, которая теперь имеет возможность все отношения употребить в свою пользу. «У вас войска чужие, наемные, — говорят московские послы послам западных соседних государств, — а у нашего государя свои бесчисленные рати». Печальный опыт показал, что эта бесчисленность не помогала: малочисленные, но искусные отряды западных наемников разбивали московские полки почти при каждой встрече. Видя это, начали принимать в службу иноземцев, но старались и их ввести в поместные отношения...

Мои записки для детей моих, а если можно, и для других

«В трудах от юности моея...»

I

5-го мая 1820 года, в одиннадцать часов пополудни, накануне Вознесения, у священника московского коммерческого училища[1] родился сын Сергей, слабый, хворый недоносок, который целую неделю не открывал глаз и не кричал. Помню я тесную, плохо меблированную квартиру отца моего, в нижнем этаже, выходившую на большой двор училища, где в послеобеденное время и вечером гуляли воспитанники. Самыми близкими и любимыми существами для меня в раннем детстве были — старая бабушка и нянька. Последняя, думаю, имела немалое влияние на образование моего характера. Эта женщина (т. е. старая девушка), сколько я помню сам и как мне рассказывали другие, обладала прекрасным чистым характером: она была сильно набожна, но эта набожность не придавал ее характеру ничего сурового; она сохраняла постоянно общительность, веселость, желание занять, повеселить других, больших и малых. Несколько раз (не менее трех) путешествовала она в Соловецкий монастырь и столько же раз в Киев, и рассказы об этих путешествиях составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился с склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о своих хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности. Как теперь я помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стулике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица, также с чулком и в удивительных очках, которые держались на носу только. Небольшая, худощавая старушка, с очень приятным выразительным лицом (а тогда для меня просто прелестным), с добродушно-насмешливою улыбкою

без умолку рассказывала о странствиях своих вдоль по Великой и Малой России. Я упомянул о веселом характере старушки, о ее добродушно-насмешливой улыбке: и в рассказах своих она любила также шутливый тон, была мастерица рассказывать забавные приключения, и даже в приключениях вовсе незабавных умела подмечать забавную сторону. Так, например, я очень хорошо помню рассказ ее о буре, которую вытерпело судно с богомольцами в устье Северной Двины, приключение нисколько не забавное, а несмотря на то, рассказ этот обыкновенно повторялся, когда молодой компании хотелось посмеяться, потому что рассказчица необыкновенно живо и комично представляла отчаяние одного портного, который метался из одного угла судна в другой, крича: «О, андел-хранитель!»

А между тем судьба моей рассказчицы вовсе не была весела. Родилась она в Тульской губернии, в помещичьей деревне. Однажды, когда отец и мать ее были в поле, и она, маленькая девочка, оставалась одна в избе, приходит приказчик и с ним какие-то незнакомые люди: то были купцы, которым была запродана девочка; несчастную взяли и повезли из деревни, не давши проститься ни с отцом, ни с матерью. Потом ее перепродали в Астраханскую губернию, в Черный Яр, к купцу. Рассказы об этой дальней стороне, которой природа так резко отлична от нашей, о Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве, также сильно меня занимали. Занимали и рассказы о собственной судьбе рассказчицы, о сильных гонениях, которые она претерпевала от хозяйского сына; я не мог понимать причины гонений, потому что на вопросы получал один ответ: «Да так!» — и сын черноярского купца представлялся мне сказочным злодеем, который делал зло для зла. Я уже после угадал причину гонений, когда угадал за что жена Пентефрия так сильно рассердилась на Иосифа [2].

Но старый купец с женою иначе смотрели на свою рабу и по прошествии известного срока отпустили ее на волю за усердную службу. Ей захотелось возвратиться на родину, но как это сделать? У нее была отпускная, но не было денег, и вот она пошла в кабалу к купцам, отправлявшимся с товарами в Москву, т. е. те обязались доставить ее на родину с тем, чтобы она после заслужила у них деньги, сколько стоил провоз. Трогателен был рассказ о свидании ее с матерью, с которою она должна была скоро опять разлучиться и переселиться в Москву, где стала наниматься в услужение.

Я упомянул об умственном влиянии рассказов моей няньки, но я не могу не признать религиозно-нравственного влияния: бывало, начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении с нею на дороге, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, я в сильном волнении спрашиваю ее: «И ты это не испугалась, Марьюшка?» и получаю постоянно в ответ: «А бог-

то, батюшка?» Если я и родился с религиозным чувством, если в трудных обстоятельствах моей жизни меня поддерживает постоянно надежда на Высшую Силу, то думаю, что не имею права отвергать и влияния нянькиных слов: «А бог-то!»

Отходивши меня, Марья-нянька — так ее называли в доме — жила несколько времени в Москве, уже не в услужении, а собственным хозяйством, и вдруг собралась в дальний путь, в старый Иерусалим. Из Одессы мы получили от нее письмо, в котором она уведомляла, что садится на корабль. После возвратившиеся богомолки сказывали, что видели ее на Афонской горе, — и то была последняя весть.

Я распространился о старой няньке своей, потому что влияние ее на образование моего характера считаю довольно сильным и потому еще, что после я не встречал подобной няньки и не мог найти для своих детей няньки, хотя сколько-нибудь похожей на мою Марьюшку. Теперь перейду к другим влияниям, которые начали действовать, когда уже я стал вырастать. Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском, отсутствие всяких детских развлечений; сестры мои, как я уже сказал, были гораздо старше меня, их скоро отдали в пансион, и я по целым дням оставался совершенно один; вот почему, когда я выучился читать, то с жадностью бросился на книги, которые и составляли мое главное развлечение и наслаждение. Восьми лет записали меня в духовное училище с правом оставаться дома и являться только на экзамены; сам отец учил меня дома закону божию, латинскому и греческому языкам, для других же предметов я посещал классы коммерческого училища. В последнем учили плохо, но зато я получил больше средств доставать книги и предаваться моей страсти к чтению. Я читал все без разбора, читал романы всякого рода, и Гуака, и Радклиф, и Нарежного, и Загоскина, и Вальтер-Скотта [3]; раннее чтение романов было мне вредно: оно сильно распалило мое воображение и, по всем вероятностям, много препятствовало укреплению моего организма. Но очень скоро, однако, врожденная склонность взяла верх: между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю *Басалаева* [4], и эта книга стала моею любимицею: я с нею не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз; особенно прельстила меня римская история. Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Басалаева я достал довольно подробную историю аббата Милота [5], несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения. Единовременно, кажется, с Милотом попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, т. е. до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз, разумеется, без примечаний [6], но некоторые томы любил я читать особенно, самые любимые томы были: шестой — княжение Иоанна III, и восьмой — первая половина царствования Грозного; здесь действовал во мне отроческий патриотизм: любил я

особенно времена счастливые, славные для России; взявши, бывало, девятый том, я нехотя читаю первые главы и стремлюсь к любимой странице, где на полях стоит: «Славная осада Пскова»[7]. Живо помню, как я ненавидел Батория[8]; по целым дням мечтал я: а что, если б вдруг сам царь Иван принял начальство над войском и разбил бы Батория, взял бы опять и Полоцк, и Ливонию? Представлялось живо, с каким торжеством Иван въезжает в Москву, ведя пленного Батория. Мечталось мне и то: а что, если по какому-нибудь счастливому случаю отыщут продолжение истории Карамзина? Двенадцатый том мне не очень нравился, именно потому, что в нем описываются одни бедствия России, и как нарочно автор остановился там, где должен начаться счастливый поворот событий[9]. Вместе с книгами историческими любимым чтением моим были и путешествия: несколько раз прочел я многотомную «Историю о странствованиях вообще», а также «Всемирного Путешествователя»[10].

II

Таковы были мои занятия до тринадцати лет; я уже сказал, что в коммерческом училище учили плохо, учителя были допотопные. Дома отец мой не имел времени заниматься со мною постоянно; давши мне в руки латинскую и греческую грамматику, он часто по нескольку недель не требовал от меня отчета в том, что я из нее выучил: но какая же охота была долбить: amo, amas, amat и τύπτω, τύπτεις, τύπτει — мальчику, который постоянно или защищал Псков от Батория, или вместе с Муцием Сцеволою клал руку на уголья, или с Колумбом открывал Америку? Обыкновенно, каждый день по нескольку часов я держал перед собой латинскую грамматику, но внутри ее лежала другая книжка поменьше, обыкновенно какой-нибудь роман. От этого происходило, что когда отец вдруг начнет меня спрашивать или задаст задачу, т. е. перевод с русского на латинский или греческий, то я отвечал плохо, и в задачах моих «аористы»[11] сильно страдали. То же самое случалось и на экзаменах в духовном уездном училище, которое помещалось в Петровском монастыре. Поездки на эти экзамены были самыми бедственными событиями в моей отроческой жизни, ибо кроме того, что на экзаменах я большею частию отвечал неудовлетворительно, что огорчало моего отца, самое училище возбуждало во мне сильное отвращение по страшной неопрятности, бедному, сальному виду учеников и учителей, особенно по грубости, зверству последних: помню, какое страшное впечатление на меня, нервного, раздражительного мальчика, произвел поступок одного тамошнего учителя: кто-то из учеников сделал какую-то вовсе незначительную шалость; учитель подошел, вырвал у него целый клок волос и положил их перед ним на стол. Я чуть-чуть не упал в обморок от этого ирокезского поступка.

Здесь я должен сказать несколько слов о состоянии того сословия, из которого я произошел. В своей истории подробно объясню причины печального состояния русского духовенства[12]. Главная причина заключалась в том, что при перевороте (Петровском) духовенство не имело возможности удержать за собою то положение, каким пользовалось в древней Руси. Прежде священник имел духовное преимущество по грамотности своей, теперь он потерял это преимущество; правда, он приобрел школьную ученость, но с своею одностороннею семинарскою ученостью, с своею латынью он оставался *мужиком* пред своим прихожанином, который приобрел лоск образования, для которого сфера всякого рода интересов, духовных и материальных, расширилась, тогда как для священника она расшириться не могла. Священник по-прежнему оставался обремененным семейством, подавленным мелкими нуждами, во всем зависящим от своих прихожан, нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника. Выросший в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, он приходил в семинарию, где та же бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился *по необходимости*, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообщить ему ничего лучшего; являлся он в порядочный дом, оставляя после себя грязные следы, дурной запах: бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустыннике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, ко всякой внешности; эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить — слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя — он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барские дети смеются, а барин с барыней серьезно рассуждают, что какие-де наши попы свиньи, как-де они унижают религию!

Бедственное состояние русского духовенства увеличивалось еще более разделением его на белое и черное, на черное — господствующее —и белое — подчиненное, рабствующее. Явление, только что дозволенное в древней церкви, превратилось в обыкновение, наконец — в закон, по которому архиереи непременно должны быть из черного духовенства, монахи. И вот сын дьячка какого-нибудь хорошо учится в семинарии, начальство начинает представлять ему на вид, что ему выгоднее постричься в монахи

и быть архиереем, чем простым попом, и вот он *для того, чтобы быть архиереем*, а не по внутренним нравственным побуждениям, постригается в монахи, становится архимандритом, ректором семинарии или академиком и, наконец, архиереем, т. е. полицеймейстером, губернатором, генералом в рясе монаха. Известно, что такое русские генералы; но генералы в рясе — еще хуже, потому что светские генералы все еще имеют более широкое образование, все еще боятся какого-то общественного мнения, все еще находят ограничение в разных связях и отношениях общественных; тогда как архиерей — совершенный деспот в своем замкнутом кругу, где для своего произвола не встречает он ни малейшего ограничения, откуда не раздается никакой голос, вопиющий о справедливости, о защите — так все подавлено и забито неимоверным деспотизмом. Сын какого-нибудь дьячка, получивший самое грубое воспитание, не освободившийся от этой грубости нисколько в семинарии, пошедший в монахи без нравственного побуждения и из одного честолюбия ставший, наконец, повелителем из раба, архиерей не знает меры своей власти: гнетет и давит.

Известно, что нет худшего тирана, как раб, сделавшийся господином; архиерей, как сказано, делается господином из раба; это объясняется не только вышеизложенным состоянием белого духовенства, но также воспитанием в семинариях, где жестокость и деспотизм в обращении учителей и начальников с учениками доведены до крайности; чтобы быть хорошим учеником, мало хорошо учиться и вести себя нравственно, — надобно превратиться в столп одушевленный, которого одушевление выражалось бы постоянным поклонением пред монахом — инспектором и ректором, уже не говорю — пред архиереем. И вот юноша, имеющий особенную склонность к поклонению, хотя бы и не так хорошо учился и не так отлично вел себя, идет вперед, постригается в монахи и скоро становится начальником товарищей своих, и легко догадаться, как он начальствует! Мы видели, по каким побуждениям произнес он обеты монашеские: он пошел в монахи не для того, чтобы бороться со страстями и подавлять их, а, напротив, для удовлетворения одной из самых иссушающих человека страстей — честолюбия; он пошел в монахи, чтобы быть архиереем. И вот некоторые из этих ученых монахов и архиереев, не имея никаких нравственных побуждений для обуздания плотских страстей, предаются им и производят соблазн; но надобно заметить, что это еще лучшие архиереи; зная за собою грешки, они мягче относительно других, относительно подчиненных. Гораздо хуже те, которые удерживают себя, надевают личину святости; страсти плотские кипят не удовлетворенные, но и не обузданные христианскими нравственными началами, христианским подвижничеством; черствая душа не размягчается ни постоянною молитвою, постоянным сообщением с предметом религиозной любви, ни мягкими отношениями семейными, доступными мир-

ским людям; черствая душа невольного инока-архиерея ищет удовлетворения другим страстям, удовлетворения приличного и безнаказанного в мире сем; отсюда — необузданное честолюбие, злоба, зависть, мстительность, страшное высокомерие, требование бесполезного рабства и унижения от подчиненных, ничем не сдерживаемая запальчивость относительно последних.

Разумеется, были исключения; но я говорю не об исключениях; я прибавлю, что представительнейший из русских архиереев второй половины XVIII века, Платон, дрался собственноручно, брал подарки от подчиненных, обогащал племянниц своих; преемник его Августин, человек даровитый, знаменит был любовною связью с Марфою Кротковою и неприличными остротами; преемником Августина был Степан, в иночестве Серафим; посвящение его в монахи любопытно. Он был хорош собою и счастлив с женщинами; однажды к Платону дошла сильная жалоба на семинарского ловеласа; Платон, любивший вербовать всеми неправдами в монахи, воспользовался случаем и предложил молодому преступнику на выбор: или жестокое наказание, лишение будущности, или пострижение и архиерейство. Степан избрал последнее и превратился в Серафима. После этого события однажды Платон гулял с профессорами академии по двору Троицкого монастыря и занимался любимою своею забавою: взглянувши на какой-нибудь предмет, он произносил первый стих, относящийся к этому предмету, а спутники должны были подбирать приличный второй стих. Взглянувши на старый царский дворец, Платон произнес:

«Чертоги зрю монарши...»

Из толпы спутников немедленно послышался второй стих:

«Погиб Степан от секретарши».

Этот Степан, или Серафим, оказался человеком бездарным и, несмотря на то, был митрополитом московским, а потом петербургским и первоприсутствующим членом Синода, ибо правительство боится архиереев даровитых и любит смиренные посредственности. Но Серафим, не отличаясь ничем хорошим, не отличался, по крайней мере, ничем дурным, был добрый, очень сносный архиерей.

III

Не таков был знаменитый преемник Серафима в московской митрополии — Филарет[13]. Принадлежа, бесспорно, к числу даровитейших людей своего времени, Филарет шел необыкновенно быстро, поддерживаемый масонскою партиею, к которой принадлежал[14], особенно другом своим, князем Александром Николаевичем Голицыным[15]. От природы ли получил он горячую голову

и холодное сердце, или вследствие положения его, вследствие отсутствия сердечных отношений, внутренняя теплота постоянно отливала у него от сердца к голове, — только этот человек для коротко знавших и наблюдавших его представлял печальное явление. Рожденный быть министром, он попал в архиереи. Если бы он попал в латинские прелаты, то он нашел бы себе деятельность, но он попал в русские архиереи, между которыми правительство любило ум и талант только в той степени, в какой этот ум и талант употреблялись исключительно на служение ему, правительству. Филарет шел шибко, когда служил правительству, и был удален, когда заметили в нем попытки служить себе или своему сословию. Религия требует от монаха отречения от мира для бога; русское правительство требует от монаха-архиерея отречения от мира и от бога для него — правительства. Филарет должен был перестать ездить в Петербург для присутствия в св. Синоде, где шпоры обер-прокурора, гусарского офицера, графа Протасова, зацеплялись за его рясу. По смерти Серафима, Филарета оставили в Москве, а в Петербург, т. е. в первоприсутствующие члены Синода, взяли с юга какого-то Антония, человека ничтожного, после Антония — Никанора из Варшавы, такую же ничтожность сравнительно с Филаретом. Сначала было думали, что Филарет станет явно в оппозицию; некоторые проповеди показывали действительно в нем это направление, но это было только минутное выражение досады оскорбленного честолюбия; Филарет не мог свыкнуться с мыслью жить вне благосклонности царской, архиереем опальным, ибо опала эта уменьшила бы его значение в Москве, — и он стал льстить, поднес голубя*, который возвратился к нему с масличной ветвью, знаками благоволения. Испорченность Филарета можно было заметить из его разговоров: начнет о чем-нибудь и сведет на двор, на императора, на свои сношения с царскою фамилиею.

Я сказал уже, что у этого человека была горячая голова и холодное сердце, что так резко выразилось в его проповедях: искусство необыкновенное, язык несравненный, но холодно, нет ничего, что бы обращалось к сердцу, говорило ему. Такой характер при дарованиях самых блестящих представил в Филарете печальное явление: он явился страшным деспотом, обскурантом и завистником. Сохрани боже, если светское лицо скажет что-нибудь прекрасное относительно религии и церкви; сохрани боже, если кто-нибудь из духовных, помимо его, скажет что-нибудь прекрасное, — он оскорблен. Талант находил в нем постоянного гонителя; выдвигал, выводил в люди он постоянно людей посредственных, бездарных, которые пресмыкались у его ног. Это-то

* При торжестве двадцатипятилетия царствования императора Николая I Филарет от имени всего московского духовенства (которое ничего об этом не ведало) просил у государя соорудить над престолом Успенского собора изображение св. духа в виде голубя (*прим. автора*).

пресмыкание любил он более всего, и ни один архиерей не мог соперничать с ним в этой любви; ни в одной русской епархии раболепство низшего духовенства пред архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в московской во время управления Филарета. Этот человек (святой во мнении московских барынь) позабывал всякое приличие, не знал меры в выражениях своего гнева на бедного, трепещущего священника или дьякона при самом ничтожном проступке, при каком-нибудь неосторожном, неловком движении. Это не была только вспыльчивость — тут была злость, постоянное желание обидеть, уколоть человека в самое чувствительное место. Об отношениях Филарета к подчиненным всего лучше свидетельствует поговорка, что он ел одного пескаря в день и попом закусывал. И не должно думать, чтобы здесь была излишняя строгость, излишние требования от подчиненных благочиния и нравственности; Троицкая лавра, подчиненная ему непосредственно, была вертепом разврата; на нравственность духовенства вообще он не обращал внимания: Филарет требовал одного — чтобы все клали поклоны ему, и в этом полагал величайшую нравственность.

В ужасном состоянии, под гнетом Филарета, находились духовная академия московская и семинария. Преподаватели даровитые здесь были мучениками, каких нам не представляет еще история человеческих мучений. Филарет по капле выжимал из них, из их лекций, из их сочинений всякую жизнь, всякую живую мысль, пока, наконец, не кастрировал человека совершенно, не превращал его в мумию. Такую мумию сделал он из Горского, одного из самых даровитых и ученейших между профессорами духовной академии[16]. Филарет являлся для преподавателей хищным животным, которое прислушивается к малейшему шороху, обнаруживающему жизнь, движение, живое существо, и бросается, чтобы задавить это существо. Появится живая мысль у профессора в преподавании, в сочинении — Филарет вырывает ее, и чтоб отнять в преподавателе охоту к дальнейшему выражению таких мыслей, публично позорит его на экзамене: «Это что за нелепость! Дурак!» — кричит он ему. Несчастный кланяется.

Русская церковь могла с похвальбою выставить пред западною Филарета, который мог превзойти самого ловкого иезуита. Он и не скрывал своего сочувствия к иезуитам, говорил в академии: «Как жаль, что столько талантов, учености, трудолюбия, самоотверженности, благонамеренности употреблено на поддержание папских заблуждений!» Поданый им проект учреждения миссионерских училищ был совершенно иезуитский: так же запрещено было ученикам ходить вдвоем, так же развита была система шпионства и доносов; даже императора Николая оскорбил этот проект, и он отвергнул его. В академической библиотеке сохранилась книга о раскольниках, драгоценная по собственноручным замечаниям митрополита Платона, следующего содержания: спор с раскольниками невозможен, ибо для успешного окон-

чания всякого спора необходимо, чтобы спорящие признавали одно начало. Так, в религиозном споре необходимо, чтоб обе стороны признавали один авторитет — священное писание; но невежественный раскольник одинаковую важность с Евангелием придает и творениям отцов, часто ошибавшимся, и приговорам соборов, также часто ошибочным, житиям святых и разным повестям нелепым. Просвещенный богослов опровергать его не может уже и потому, что боится оскорбить и своих слабых, благоговеющих пред всеми этими авторитетами: и потому молчи, просвещенный богослов, и ври, невежественный раскольник! Филарету показали эту книгу; он взял ее к себе и возвратил ее в другом виде: строки, написанные Платоном, уже были уничтожены: «Зачем, — сказал он при этом, — позорить память такого знаменитого пастыря». Какой-то невежда написал книгу против раскольников, где мнение папы Иннокентия III приписал Иннокентию II, другу Иоанна Златоустого, а другой невежда поставил обоих Иннокентиев и приписал им одно и то же мнение. Книга проходила чрез академическую цензуру; профессора представили ее Филарету с указанием явной нелепости: «Пропустить, — отвечает Филарет, — это может принести *пользу*».

Однажды Филарет выразил желание, чтоб кто-нибудь занялся опровержением Сведенборга [17], имеющего читателей и почитателей. Один ученый занялся делом и представил ректору изложение учения Сведенборга и опровержение. Первая часть, изложение учения, ужаснула ректора: «Как можно так писать! Сведенборг выходит у вас очень умен». И давай вычеркивать из сочинения все то, что могло выставить Сведенборга в сколько-нибудь выгодном свете; ревность отца-ректора дошла до того, что встретив известие: в одной гостинице Сведенборг имел видение, он зачеркнул: «гостиница» и написал «*кабак*». В этом исправленном виде сочинение было представлено Филарету: но тот нашел, что и тут оно представляет Сведенборга в выгодном свете, и еще перемарал, так что когда ректор после этого опять начал читать статью, то с самодовольным смехом повторял: «Какой этот Сведенборг был дурак!»

IV

В таком печальном состоянии находилось русское духовенство, когда я начал понимать. Но скоро я мог уже заметить мерцание света, обещавшее выход из этого страшного положения. Время и то направление, которым шла Россия в продолжение 150-ти лет, взяли, наконец, свое: просвещение, начавшее, наконец, смягчать нравы, проникло с этим благодетельным влиянием своим и в семинарии, и в духовенство. Русский человек любит читать — это искони было залогом его прогресса; читали и чи-

тали усердно семинаристы и попы, оглянулись на самих себя при новом свете, и стало им гадко; началось распространяться недовольство своим воспитанием, условиями своего быта, и это был уже огромный шаг; начали отряхаться, обчищаться извне, но с этим вместе шло, хотя понемногу, и внутреннее очищение; особенно большое влияние оказали здесь, как и на все русское общество, журналы; при сравнении нескольких поколений священников, старых, средних, новых, легко было увидать разницу в пользу последних. Здесь Петербург пошел вперед: в этом городе изначала было больше внешней чистоты, которая всегда имеет влияние на внутреннюю, если не употреблена во зло, не доведена до односторонности. Во всей России вообще и в Петербурге в особенности преобладало стремление к одной форменности: не могло не отразиться это и на духовенстве; с другой стороны, вначале духовенство, особенно в Петербурге, познакомившись ближе с наукою, ударило в протестантизм, потом в рационализм. Но этому явилось противодействие: религиозная потребность начала усиливаться: в XVIII веке смотрели на религию с презрением и не могли не радоваться унизительному состоянию служителей религии; в XIX веке направление изменилось; волею-неволею должны были уступить религии высокое, высочайшее место: обнаружилось стремление к самопознанию, начались толки о старине русской, в которой церковь играла такую важную роль; с желанием поднять русскую старину, русскую народность необходимо соединилось желание поднять русскую церковь, православие, как главную отличительную черту этой народности; люди неверующие во Христа начали толковать о превосходстве православия над другими исповеданиями христианскими; все это необходимо должно было содействовать к очищению духовенства, и признаки этого очищения, как уже сказано, показались в половине XIX века, конечно, признаки не очень резкие, слабое мерцание света, который не мог светить ярко, благодаря тяжести атмосферы повсюду в России; но все начинается с небольшого, не вдруг.

Признавая важное значение православия в русской истории, мы не назовем, однако, влияния этого «византийского» исповедания безусловно благодетельным; вместе с этим, впрочем, вглядываясь внимательно и в прошедшее, и в настоящее, мы не можем приписывать неприятного во многих отношениях хода русской истории православию, не можем не увидать в нем светлых сторон относительно и прошедшего, и настоящего, и будущего.

Православие могущественно содействовало утверждению единовластия и самодержавия; по характеру своему это «византийское» исповедание изначала стремилось стать полезным оружием самодержавной власти — и стало. Таким образом, скажут иные, православие способствовало утверждению рабства, было оружием порабощения в руках деспота; элементы сопротивления деспотизму не могли находить в нем опору. Но мы спросим, где были

эти элементы сопротивления и каковы были они? Бессмысленное боярство — с одной стороны, и свирепое казачество — с другой! Предположим, что вместо православия был бы в России католицизм: конечно, историк не имеет права толковать о том, что бы из того произошло; но он имеет право сказать, что могли бы произойти такие явления, которым помешало одно только православие, а именно, только одно православие помешало Владиславу стать царем в 1612 году и ополячить Московское государство[18]; но кто же решится сказать, что было бы лучше, если б вся Восточная Европа представляла сплошную Польшу? Православие отняло Малороссию у Польши и дорушило последнюю, собравши всю Восточную Европу в одно целое под именем России: неужели русский человек будет сетовать за это на православие?

Относительно настоящего я спрошу у тех, которые не признают никакой религии, но уважают католицизм за его великую, будто бы, историческую роль и презирают православие за то, что оно этой роли не играло, — я спрошу у этих господ: «Вы не верите ни во что, громко признаетесь в этом, круглый год не заглядываете в церковь — и кто вас за это тревожит? Знаете ли вы вашего приходского священника, и знает ли вас этот священник? Вы совершенно свободны и этою свободою обязаны православию, ибо католический священник не позволил бы вам так спокойно вольнодумничать, так спокойно презирать его: в нем имели бы вы самого злого врага, доносчика, который или запрятал бы вас в недоброе место, или бы заставил ходить к себе в церковь и на исповедь; если в православии правительство имеет орудие, то это орудие тупое, в католицизме оно имело бы острое. Но самое важное и благодетельное значение православие должно, по моему мнению, иметь для будущности народов, его исповедающих. Мы видим, что протестантизм многих не удовлетворяет, я не стану рассуждать, почему он не удовлетворяет; достаточно факта всем известного: движение от протестантизма между англичанами, народом самым практическим, умеющим более других народов остановиться на средине, избежать крайностей, — всего лучше доказывает, что протестантизм неудовлетворителен. С другой стороны, католицизм, не говоря уже об исторической и догматической неправде папизма, становится, как видим, постоянно на дороге движения народа вперед, никак не может ужиться с новыми потребностями народов. Что же касается православия, то, во-первых, оно не имеет того характера безавторитетности, которым протестантизм именно многих не удовлетворяет; с другой стороны, чуждое неправде папизма православие может быть везде народною формою религиозного исповедания и нисколько нигде не стеснит народных движений, ибо уживется со всякими правительственными формами. Православие отражает теперь на себе всю черную сторону настоящего состояния русского общества; оно страдает вместе с нами; при перемене к луч-

шему, на нем отразится эта перемена, оно не помешает ей; теперь оно страдает вместе с нами — тогда будет радоваться, будет довольно вместе с нами; это — наш верный спутник, не будем же отнимать от него руки нашей.

V

Как я уже сказал, во время моего отрочества, в некоторых священнических семействах начало возникать недовольство своим положением, стремление выйти из него, пообчиститься, поотряхнуться. К числу таких семейств принадлежало и наше. В нем начало прогресса представлялось преимущественно матерью. Родня отца моего, священники, дьяконы, дьячки оставались в селах; родные моей матери были большею частью светские[19] — отсюда и бóльшая часть знакомства состояла из светских же людей; было и несколько духовных, которых мать очень не любила и которые своими привычками и поведением рознились от светских знакомых не к своей выгоде. Эта противоположность, которую, разумеется, мать старалась выставлять при каждом удобном случае, произвела на меня сильное впечатление, внушила мне отвращение от духовного звания, желание как можно скорее выйти из него, поступить в светское училище. Сестер моих отдали в пансион, что было тогда очень редким явлением между духовными, — страннее было бы меня отдать в семинарию, особенно когда в устах моей матери семинария была синонимом всякой гадости. Отец колебался, медлил; но скоро медлить стало нельзя по той причине, что, как уже сказано выше, я плохо занимался латынью, плохо отвечал на экзаменах в Петровском монастыре; отец видел, что я занимаюсь, целый день сижу с книгами, но знаю не то, что требовалось в духовных училищах, и, наконец, решился выписать меня из духовного звания и определить в гимназию. И здесь в самом начале произошло сильное препятствие, вследствие моего беспорядочного воспитания: я изумил учителя истории и географии моими познаниями, но оказался крайне слаб в математике, к которой питал сильное отвращение с самого начала и во все продолжение моего учения. Меня едва приняли в третий класс[20].

Здесь прежде всего я должен заняться описанием гимназии, как она находилась в то время, как я вступил в нее. Учение вообще, с некоторыми исключениями, было порядочное, напр[имер], гораздо порядочнее, чем в Коммерческом училище; кроме того, учителя и надзиратели не позволяли себе таких ирокезских поступков, как в духовных училищах; но нельзя сказать, чтобы нравственность учеников была в сколько-нибудь удовлетворительном состоянии. В третьем классе, куда я поступил, было более ста человек; тишины и благочиния, особенно между уроками, было мало; всего хуже было то, что многие ученики, получившие дурное нравственное воспитание дома, позволяли себе громко и

беззазорно площадное сквернословие. Некоторые учителя, учителя главных предметов, пользовались особенным уважением, и у них в классе было тихо; но зато у других — у несчастного немца, у рисовального учителя — ходили вверх ногами. Обыкновенно перед немецким классом толпа отчаянных шалунов отправлялась из классной комнаты в коридоры, и как только немец усядется на кафедре и начнет заниматься делом, двери отворяются, и ушедшие с шумом входят *гусем* один за другим; обыкновенно шествие открывал маленький шалун Чесноков *, с необыкновенно белым лицом и белыми волосами; немец вскакивал, начинал кричать: «Старший! Хватай, лови! Хватай этого белого, седого первого гуся!» — Но старший был сам из учеников, самого его гусиное шествие забавляло так же, как и других. Начнет немец диктовать; все пишут и сидят тихо в ожидании, пока он скажет: «semicolon» **; тогда все хором: «Зимний Никола!!». Немец опять начинает беситься — и новое наслаждение! Предание ходило, что прежде, лет пять назад, было еще хуже или еще лучше: рассказывали, как в рисовальный класс врывалась толпа учеников, переряженных, в вывороченных шубах, как рисовальный учитель приходил с кнутом в класс, за что и прозван был пастухом.

Это было в блаженные времена инспекторства профессора Семена Мартыновича Ивашковского[21], добрейшего и страннейшего человека. Бывало, Ивашковский придет в спальни к казенным ученикам и найдет там одного из них, по лености не пошедшего в класс, *отгуливавшего*, по гимназическому выражению. «Ты, *буде*, зачем здесь? — кричит грозно инспектор. — Солдаты! Розог!» — Ученик не оправдывается, но старается отвлечь внимание Ивашковского на другие предметы: «Семен Мартынович! Извольте поглядеть: вот уже третий день, как форточка разбилась, а ее все не чинят!» — «Да, *буде*, хорошо, что ты мне показал». — «Семен Мартынович, вот под кроватями никогда не выметают сору». — «Хорошо, *буде*, хорошо, что ты мне указал». А между тем солдаты пришли с розгами и стоят в дверях. «Вы, буде, зачем пришли?» — «Ваше высокоблагородие изволили приказать». — «Врете, буде: я вам никогда не приказывал; ступайте вон!» — Солдаты уходят, и Семен Мартынович идет далее, забывши об ученике отгуливавшем, о форточке, о соре под кроватями и обо всем на свете.

При мне инспектором был Михайло Игнатьич Беляков, также прежде профессорствовавший в университете[22]. Это был человек неглупый и распорядительный, но желчный и грубый; какой он мог показать пример воспитанникам, как мог приучить их к лучшим, чистейшим формам, видно из того, что как, бывало, начнет кричать на учеников, то не обойдется без «сукина сына» или «дичи!». Был он вдов и жил с толстой нянькой своего сына, что,

* Кончивший курс в университете, вступивший в военную службу и убитый на Кавказе (*прим. автора*).

** semikolon (*нем.*) — точка с запятой.

разумеется, не могло очистить его от дурных привычек, и что ученики очень хорошо знали. Еще меньше хорошего примера мог подать главный начальник гимназии, директор Окулов. Этот человек был известен в Москве разгульною, развратною жизнью, мотовством, искусством рассказывать анекдоты преимущественно непристойные; при этом добрейший, приятнейший человек в обществе, не делавший никому зла. Но эти достоинства меньше всего, однако, давали ему право быть директором воспитательного заведения. На гимназию он смотрел, как на доходное место: имея много пансионеров, привыкши брать всюду деньги без отдачи, он распоряжался и гимназическим казенным сундуком, как своим, что приводило в отчаяние инспектора и учителей, на которых должна была пасть вся ответственность; делами вовсе не занимался, предоставляя все инспектору. И такой-то человек был лет двадцать директором гимназии, умер на этом месте (в 1853 году); тщетно граф Строганов во время своего попечительства пытался несколько раз его свергнуть, аттестуя его, что: «Он способен — только не по учебной части». Окулов держался связями, был любим великим князем Михаилом Павловичем, сестра его была хороша при дворе, а сам он был приятелем министра Уварова, которого потешал своими беседами.

Попечителем учебного округа был знаменитый в Москве вельможа, князь Сергей Михайлович Голицын, называвшийся «последним московским барином»[23]. Это был человек ограниченный, самолюбивый, привыкший с ранней молодости играть первенствующую роль по своим связям и богатству, но вместе с тем очень добрый, набожный нелицемерно, имевший в себе истинно аристократические свойства. Давно уже он занимал должность председателя Опекунского Совета, но эта должность против его воли придала ему должность попечителя учебного округа, и как председатель Опекунского Совета он мало занимался делами и мало был способен к занятиям; понятно, что еще меньше занимался он делами округа и еще меньше был способен заниматься ими. Кажется, во все время управления своего он был только раз в университете, и вот по какому случаю: жена генерал-губернатора, княгиня Тат[ьяна] Вас[илиевна] Голицына, выдав свою воспитанницу, небогатую племянницу своего мужа, за профессора Шевырева, хотела непременно, чтобы попечитель оказал внимание последнему, был у него на лекции. Кн. С. М. Голицын хотел угодить даме и поехал в университет, но вместо Шевырева попал на лекцию к сопернику его, Надеждину, и остался в полном убеждении, что слушал Шевырева. В гимназии мы видели его раза два или три и этим обязаны были тому, что он жил рядом с гимназиею; говорят, что одним из этих посещений мы были обязаны тому, что во время прогулки Голицыну необходимо стало как можно скорее удовлетворить естественной нужде, и он, не успевши добежать до дому, забежал в гимназию и из известного места уже потом кстати зашел и в классы.

Гимназия и вообще Московский округ ждали человека для своего преобразования, очищения — и дождались: по просьбе Голицына, он был избавлен от попечительства, и на его место назначен был граф Сергей Григорьевич Строганов [24]. Приехал новый попечитель — и, как по свистку в театре, декорации переменились: в классах — порядок, благочиние, тишина; бывало прежде у некоторых учителей послабее на передней лавке ученики еще слушали кое-что, на средних разговаривали, а на задних — спали или в карты играли; теперь кто и не хотел заниматься, сидел тихо и не мешал другим. Главное — ученики и учителя пообчистились, отряхнулись, стали с большим уважением смотреть на себя, на свои занятия. Отчего же это произошло? Оттого, что явился начальник, какого никогда еще не бывало, человек деятельный, хотевший сделать в своем ведомстве все как нельзя лучше и имевший к тому все средства. Дух добросовестного начальника сделался присущ каждому заведению; Строганов поселил всюду свой дух, и этот дух блюл за улучшением нравственным и учебным. Всех осенила благодетельная мысль: чтоб заслужить внимание начальника, надобно как можно усерднее исполнять свою обязанность — и только, не заботясь более ни о чем; от начальника не скроется нерадение, он не пощадит; и к нему нельзя подольститься ничем другим, кроме усердного исполнения должности, кроме личных достоинств.

К Строганову можно было подольститься только тем, чем у других начальников подчиненный мог только навлечь на себя вечную опалу. Вот случай, который лучше всего определяет взгляд Строганова на отношения подчиненных к начальнику. Однажды я был у него; пришел какой-то другой господин и начал говорить об одном чиновнике, служившем под начальством Строганова. Последний рассыпался в похвалах этому чиновнику и кончил панегирик так: «Что это за человек! Бывало, начну с ним спорить, указывать ему — не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек, крепкий в своих убеждениях!» Такой взгляд всего резче выдавался оттого, что в наше время у генералов военных и статских подчиненный мог выиграть только лестью, поддакиванием, самоуничижением. Чтобы испытать твердость убеждений преподавателей, Строганов любил озадачивать, накидываться; конечно, знавшему эти приемы и действительно крепкому в своих ученых и каких бы то ни было убеждениях легко было осадить Строганова и этим снискать его уважение; но некоторые, неопытные попадались; например, однажды он вдруг спросил учителя физики: «А в какую сторону вертится ручка электрической машины?» — и тот не умел ответить. Но не должно думать, что подобное неумение уже решало судьбу преподавателя, определяло окончательное мнение попечителя о нем; важное достоинство Строганова заключалось еще в том, что он старался долго со всех сторон собирать о человеке разнородные слухи и окончательно определял свое мнение на основании мнения боль-

шинства специальных людей в ученом отношении и большинства порядочных людей — в нравственном.

Прийти к Строганову с рекомендательным письмом от знатной дамы, знатного господина, значило навсегда погубить себя в его мнении, никогда не получить от него места. Огромна была заслуга Строганова в том отношении, что он уничтожил занятие учебных воспитательных мест по рекомендациям людей, неспособных ценить рекомендуемых. Его положение в обществе и характер делали для него это возможным. Неизвестно, как и где Строганов напитался смолоду аристократическими понятиями. Потомок пермского колониста, именитого человека Строганова, явился самым сильным поборником аристократических стремлений. Основная его мысль — поднять высшее дворянское сословие в России, дать ему средства поддержать свое положение, остаться навсегда высшим сословием; самым сильным для этого средством в его глазах было образование, наука; отсюда — мысль, что люди, поставленные по происхождению и богатству в верхнем слое общественном, должны учиться по преимуществу. Сам он получил плохое, поверхностное образование; но благородным инстинктом понял, что наука есть могущество; отсюда — глубокое уважение к науке, интерес ко всем явлениям науки и литературы. Будучи попечителем, он любил выпытывать, высасывать из подчиненных ему ученых сведения; но понятно, что получаемые таким образом сведения при недостатке первоначального основательного учения неправильно громоздились в его голове, вовсе не гениальной, дурно переваривались, часто безобразно и смешно скоплялись около некоторых любимых его мыслей. Но дело было не в правильности той или другой мысли попечителя, не в том, что этот попечитель часто перепутывал события, имена, лица по недостатку памяти и правильного, измлада начатого накопления сведений; дело было в том, что попечитель уважал мысль вообще, уважал науку, ставил выше всего честность, прямоту, благородство, талант, трудолюбие, святое исполнение обязанностей, имел практический смысл, не увлекался первою мыслью, как бы она ни поразила его с первого раза своею верностью и пользою применения, не доверял самому себе, как безошибочному оценщику, не доверял и другим, но выпытывал мнения у многих авторитетных людей посредством спора, сравнивал эти мнения.

Мы часто имели случай смеяться над его учеными промахами, нельзя было не смеяться, как однажды при мне он вздумал в названии города Посидония искать тождества с русским словом *посад*, или имя князя Лугвения на печати — принял за название города Лугвени; но, с одной стороны, уже самые эти объяснения— промахи были почтенны в русском генерале, начальнике университета, тем более, что Строганов никогда не давал значения своим ученым мнениям и догадкам, оставляя их при первом решительном возражении и объяснении специалиста; с другой стороны, несмотря на то, что Строганов иногда подавал нам при-

чины внутренне посмеяться, никто из нас не выходил из его кабинета без уважения к человеку добра, который умел оценить все хорошее и дать ему ход.

Понятно, что у такого человека, как Строганов, было множество врагов в разных слоях общества. В высшем, в собственном его кругу, его вообще не любили за *гордость*. Действительно, Строганов был горд с равными себе по общественному значению, ибо в очень немногих признавал себе равных: пред генералами-фельдфебелями, выходцами-лакеями он гордился своим происхождением, чистотою характера, благородством во всех отношениях; пред людьми равными ему по происхождению он гордился своею образованностью, тем, что сохранил в чистоте свое происхождение, не пятнал его раболепством, выслуживанием, чем пятнала себя большая часть равных ему по происхождению. Действительно, Строганов был горд, неуживчив; сколько он был уступчив с нами, людьми, которых умственное превосходство он признавал, столько же был неуступчив и горд, резок с людьми, которых нравственного и умственного превосходства над собою он не считал себя обязанным признавать, — а других превосходств никаких он не признавал — ибо считал себя одним из первых вельмож в империи — *божиею милостью*. При этом он был холоден, дик, мало доступен, скуп. Последнее свойство, — не знаю, крылось ли оно в его природе, по крайней мере, видимо, оно проистекало из его убеждений. Государство сильно только аристократиею, думал он; но аристократия сильна не одним своим происхождением, особенно в России, где выходцам открыта такая свободная дорога; аристократия поддерживается личными достоинствами членов своих, их нравственными средствами — отсюда стремление усвоить образование, науку, преимущественно для высшего сословия; но аристократия могущественно поддерживается также богатством; отсюда — стремление сохранить и увеличить богатство аристократической фамилии. Происходя сам из бедной линии Строгановых, он приобрел огромное имение (слишком 60000 душ) за женою, единственной наследницей богатой линии Строгановых, имение было огромно, но обременено долгами; он должен был очищать его; это было новым побуждением к скупости; наконец, имение составляло майорат; все эти 60000 слишком душ переходили к старшему сыну, младших должно было наделить деньгами, деньги должно было скопить — еще побуждение к скупости. Но когда нужно было приобресть картину знаменитого мастера, редкую древнюю вещь, монету или что бы то ни было, помочь бедному ученому издать свое сочинение — там Строганов не был скуп; для журнала, который мы собирались издавать в 53-м году, он давал нам большую сумму денег, но мы не могли воспользоваться его предложением.

Итак, гордость, недоступность, скупость вооружали против Строганова многих из людей его общества; старание очистить подчиненных ему людей вооружило против него тех из них, которым уже нельзя было очиститься и которым было тяжко при нем.

Но для порядочных людей, как принадлежащих к ученому ведомству, так и для всех тех, которым дорого было просвещение, управление Строганова Московским учебным округом было золотым временем. Не могу без глубокого чувства благодарности вспомнить того освежения нравственной атмосферы, которое произошло у нас в гимназии, когда приехал Строганов попечительствовать!

Директором остался тот же Окулов, но он был еще в большем отдалении от дел, в явной немилости у попечителя, который презирал его, не хотел входить с ним ни в какие сношения. Инспектор Беляков оставил свое место, получив высшее место окружного инспектора; порядочных людей было мало, потому пригодился и Беляков, по своему здравому смыслу и знаниям могший быть очень полезным для общего надзора за училищами округа, не приходя в ближайшее соприкосновение с учениками, следовательно, не вредя им своею грубостью. На его место инспектором в гимназии был назначен Погорельский, из тамошних учителей математики и бывший также адъюнктом в университете, человек ловкий, деятельный, сметливый, самолюбивый, умевший понять, чего хотел Строганов, чем надобно быть, чтоб приобресть его расположение. Понятно, как много добра мог сделать такой инспектор при Строганове. Благодаря ему-то произошла такая быстрая перемена, о которой я говорил. Сменены были учителя или слабые, как учитель греческого языка Пантази, или имевшие голову не в правильном состоянии, как, наприм[ер], Оболенский, сперва учитель русской словесности, потом латинского языка и адъюнкт греческого языка в университете, или давно уже остановившиеся, не хотевшие знать ничего, кроме своего учебника, как, наприм[ер], учитель истории Добровольский. Все пошло живее и тверже, а главное — распространилось уважение к науке, которая стала высшею, исключительною целью.

VI

Как прежде было сказано, я поступил в третий класс, благодаря плохому знанию математики. Вследствие сильного отвращения от этой науки, полной неспособности к ней, невозможности понять, к чему служит эта передвижка цифр и букв, какая благодать от того, что $x^2+px+q=0$, что x, наконец, может быть равен 23 или 33, что при таких-то и таких-то случаях треугольники равны, — вследствие этого я не мог делать успехов в гимназии, хотя здесь принужден был силой заниматься и математикою, ломать без пользы голову по нескольку часов над задачами, что, разумеется, еще более усиливало во мне отвращение к предмету. В третьем классе учителем был Волков — страшный педант; это чудовище осмелилось однажды поставить меня на колени, что случалось со мною в первый раз в жизни; понятно, каково было моему самолюбию — самолюбию ревностного сопутника героев древней, средней и новой истории. Мало того: Волков обращался

ко мне с такими милыми приветами: «Дурак ты, дурак ты, Соловьев! Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца, отец твой хороший человек, а ты дурак!» — И вот прошел год; я вышел изо всех предметов отличным, кроме математики; инспектор дал знать об этом отцу; отец нанял ученика из старшего класса, чтоб приготовлять меня из математики к экзамену; я приготовился, взял, как говорится, если не мытьем, так катаньем, выучил наизусть все доказательства; экзаменовал учитель старших классов Погорельский, к которому мы должны были перейти; этот человек любил скорые, твердые ответы; я отрезал ему ответ на диво, а Погорельский восхитился, поцеловал меня, сказал: «Умница, мальчик! Молодец, мальчик!» — и поставил мне 5. Волков стоял тут, и я был вполне отомщен; тем более успех мой был блистателен, что большая часть учеников, пользуясь длинною вакациею по случаю перестройки в гимназии, очень плохо приготовилась.

Я поступил в четвертый класс из всех предметов первым. Здесь я должен заметить любопытное явление: ученики, которых я застал в третьем классе, перешедшие сюда из второго с отличными успехами, начали уже здесь портиться, перешли в четвертый кое-как и не могли дотянуть вовсе до седьмого, последнего; из ста человек, бывших при мне в третьем классе, не более пяти вместе со мною дотянули до седьмого и поступили в университет; все другие были вступившие позднее нас прямо в 4-й и 5-й классы. Еще любопытный случай, который поразил меня в гимназии: в третьем классе силою и железным здоровьем отличались трое учеников — Чернохвостов, Богачев и Шютц, а я был самый слабый и хилый в целом классе: означенные богатыри могли меня повалить пальцем; и что же? Все трое года через два или через три умерли от чахотки! Причиною смерти Богачева и Шютца было, как надобно полагать, раннее и излишнее знакомство с женщинами; что же касается до Чернохвостова, то этот очень умный и и развитой малый влюбился в Наполеона и пришел к мысли, что он и в России, при ее настоящем положении, может сделаться Наполеоном; в 16 или 17 лет мало ли что воображается, все считается возможным; но, к несчастию, Чернохвостов не хотел ограничиться одним воображением; у него достало настолько силы духа, чтоб начать осуществление своих мечтаний. Ему надобно было прославиться на военном поприще; в мирное время этого достичь нельзя, и особенно ему, сыну мещанина, — и вот он, тайком от матери и старшего брата, пешком отправился на Кавказ, чтоб поступить там в солдаты и выбраться в офицеры подвигами против горцев; но уже перед самым достижением цели, сколько помню, в Пятигорске, он зашел отдохнуть на татарское кладбище; правоверные сочли это осквернением и попотчивали его камнями, из которых один угодил в сердце; богатырь свалился, заболел; брат между тем начал розыски; на Кавказе отыскался у них дядя, который принял попечение о больном, и как скоро наш герой немного оправился, его препроводили назад в Москву.

Возвратившись, он стал было приготовляться к университету и в то же время занимать место корректора в одной частной типографии, но богатырская природа не долго могла бороться со следствиями происшествия на кладбище, и Чернохвостов погиб от чахотки.

С четвертого класса преподавателем русского языка был у нас Попов, учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели своего преподавания — выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были. Когда он начинал объяснять урок к следующему классу, урок из логики или риторики, я, заинтересованный предметом, начинал вслух высказывать ему свои мысли. Попов не нашел этого странным со стороны ученика, пятнадцатилетнего мальчика, — напротив, находил удовольствие в этих присказываниях, в этой беседе, обмене мыслей со мной; должно быть, я говорил недурно, благодаря огромному количеству прочтенных книг, потому что Попов получил очень высокое мнение о моих способностях и внушил это мнение остальным своим товарищам-учителям. Вследствие этого высокого мнения о моем умственном развитии Попов был чрезвычайно строг к моим сочинениям; хотя он и гордился ими, и выставлял их напоказ, но ему все казалось, что я мог бы и лучше писать; разобравши мое сочинение, он часто приговаривал: «Хорошо! Но скажи, пожалуйста, Соловьев, отчего ты говоришь лучше, чем пишешь?» Это, действительно, могло быть так, во-первых, потому, что учитель, взобравши себе в голову высокое мнение о развитости моих способностей по разговору, — причем его поражала живость мыслей, относительная их самостоятельность — не мог быть так доволен сочинениями, где на первом плане для него уже была форма; во-вторых, для меня эта форма была тяжка, это были цепи, которые затрудняли естественные движения, наводили на меня тоску, необходимо отражавшуюся в сочинении: учитель задаст описание памятника Минину и Пожарскому, а я думаю: «Ну что же я тут стану описывать!» — и ударюсь в описание впечатлений, производимых этим памятником, в рассказ о событиях, в которых участвовали изображаемые герои, — а учитель с упреком: «Задано было описание памятника, а ты из описания сделал повествование!» О, проклятые хрии [25] и формы риторические! Много они мне наделали неприятностей! Несмотря, однако, на это, Попов не уменьшал своего мнения о моих способностях. Однажды собрались учителя у одного из своих товарищей, Красильникова, преподававшего латинский язык в младших классах, подпили и поразговорились; речь зашла о гимназии, об учениках; Попов начал хвалить меня и дошел до того, что сказал: «Ведь вы не знаете, господа! Ведь Соловьев-то просто гений!» Тут хозяин, Красильников, прервал его восторженную речь: «Полно, полно, Павел Михайлыч! Как это может быть! Положим, что Соловьев мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтоб

у нас в гимназии завелся гений?» На другой день ученики, жившие у Красильникова и подслушавшие этот разговор, рассказали его для потехи целому классу. Прав ты, добрый старик, в своем наивном сомнении! Мог ли в самом деле завестись гений в русской гимназии в сороковых годах XIX века? И горе было бы ему, если б он завелся! Было в России просторное для гения время в XVIII и в первой четверти XIX века; но это золотое время прошло, и когда оно возвратится? (Писано 15 ноября 1854 года.)

Так прошли пять лет в гимназии; кроме несносных математических классов, эти пять лет прошли для меня чрезвычайно приятно; начиная с четвертого класса, я был уже первым учеником постоянно, любимцем учителей, красою гимназии; легко и весело было мне с узлом книг под мышкою отправляться в гимназию, зная, что там встретит меня ласковый, почетный прием от всех; приятно было чувствовать, что имеешь значение; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту (ученики сидели по успехам и несколько раз в году происходили пересадки), остававшемуся постоянно за мною. «Не купи дом, купи соседа», — говорит пословица; и в этом отношении я был счастлив: постоянным моим соседом, т. е. учеником, постоянно занимавшим второе место, был Ладыгин, вместе со мною поступивший в третий класс и вместе со мною кончивший курс в гимназии: прекрасное, нравственное, кроткое, женственное существо. Он был воспитан в тихом, нравственном доме, среди многочисленной толпы сестер, и отсюда получил, как видно, женственный характер; он был очень прилежен и, в противоположность мне, имел способность и склонность к математике, очень часто помогал мне в уроках и в приготовлении к экзаменам своими объяснениями, но у него не было той развитости и быстроты в обращении мысли около предмета, какими обладал я; главная причина тому — моя ранняя и относительно громадная начитанность, тогда как Ладыгин начал читать поздно и читал вообще мало, без выбора. С самого начала Ладыгин признал мои преимущества и уступал мне безропотно первое место; эта уступка, отсутствие соперничества облегчили наши отношения, завязали дружбу, причем, разумеется, высшее нравственное значение имел он, а не я; он был более меня христианин, хотя я с ранних лет был пылкий приверженец христианства, и в гимназии еще толковал, что буду основателем философской системы, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. Внутри меня было много религиозности, выражавшейся в набожности; я ничего не начинал без молитвы; вера была сильная: не готов к отвратительному математическому уроку, не приготовился из некоторых частей науки к экзамену, помолюсь, крепко верую, что этого у меня не спросят, — и действительно не спрашивали; другой товарищ найдется в подобном положении, боится, что *срежется* (по гимназическому выражению) — говорю ему: «Не бойся, только веруй», молюсь за него, верую за него, — и его не спрашивают. Религиозности было много, но христианства было мало; успехи, первенство воздымали

дух, высокое мнение о самом себе, развивали гордость, эгоизм; саму веру свою я считал привилегиею, особенным знаком божьего благоволения, ручательством за будущие успехи. В виду были только эти успехи, успехи внешние, житейские — о нравственном преуспеянии, о *внутреннем* мало думалось; говорю — о *внутреннем*, ибо извне-то было все чисто и чинно, я первенствовал и относительно поведения. Правда, находили и тут иногда минуты опамятования, когда я сознавал необходимость внутреннего нравственного совершенствования и решался внимательнее смотреть за собою, строго смотреть за своими мыслями и словами, но такая решительность не бывала продолжительна: бури молодости срывали утлый челн с якоря.

Так кончилось учение в гимназии; только что минуло мне 18 лет, я должен был держать выпускной экзамен в университете; в первый раз тогда наша гимназия пользовалась правом экзаменовать своих воспитанников у себя, тогда как прежде гимназисты должны были экзаменоваться вместе с другими в университете. Я был выпущен первым учеником с обязанностью писать рассуждение для акта и с правом получить за это серебряную медаль и быть записанным на золотую доску на вечные времена. Темою заданного мне рассуждения было «О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного». Я должен был написать это рассуждение на вакации, важной в моей жизни не потому только, что это была последняя ученическая вакация, но особенно потому, что в это время впервые покинул я на несколько месяцев родительский дом и переселился в чужой. По окончании экзаменов инспектор Погорельский подозвал меня к себе и предложил — не хочу ли я ехать на вакацию в подмосковную деревню к князю Михаилу Николаевичу Голицыну учить его детей. Я согласился. И вот я в чужом аристократическом доме, среди чуждых для меня нравов и обычаев, среди чужого народа, ибо среди чуждого языка; все, кроме прислуги, говорят вокруг меня по-французски, и молодых французиков, т. е. княжат, я обязан учить чуждому для них, а для меня родному языку — русскому, который они изучают как мертвый язык. Тут-то я впервые столкнулся с этой безобразною крайностью в образовании русской знати и столкнулся в самом живом, впечатлительном возрасте, в 18 лет! Понятно, какое сильное впечатление произвела на меня эта крайность и необходимо увлекла меня надолго, лет на шесть, в крайность противоположную, в славянофилизм, или, лучше сказать, в руссофилизм. В селе Никольском, Урюпино тож, в 25-ти верстах от Москвы, по звенигородской дороге, я начал впервые свою гражданскую жизнь, ибо начал борьбу с одним из безобразных явлений тогдашней русской жизни.

Опишу членов семейства князя и домочадцев из разных наций. Главное лицо сам князь — мужчина лет под 50, очень красивый и с претензиями на красоту и молодость, красящий волосы. По собственным рассказам его, он не получил никакого образования в пышном доме отца своего, потомка знаменитых Голицыных,

игравших такую важную роль при двух Петрах — I-м и II-м[26], получившего в наследство более 20000 душ и оставившего сыну, моему знакомцу, не более 3000 душ; остальное все было промотано, и, между прочим, великолепное село Архангельское, вотчина знаменитого олигарха Дмитрия Михайловича Голицына, славного своею библиотекою[27]. Архангельское перешло к князю Юсупову, а Голицын должен был ограничиться низменным Никольским подле него. Сын вышел не в отца, не стал проматывать последних тысяч душ, напротив, отличался бережливостью, даже скупостью и вместе алчностью: «Кабы денег, побольше денег!» — вот слова, которые слышались очень часто из его уст. Этот человек родился с замечательными способностями; имел здравый смысл, большое остроумие, большой талант рассказывать, обладал литературным талантом, написал несколько повестей очень недурных; любил читать, уважал знание, людей знающих; иногда, при известных случаях, высказывались в нем жалобно не совсем задушенные еще благородные стремления: так, однажды, разбирая в своей библиотеке портреты знаменитых исторических лиц — полководцев, министров, ученых, художников — он воскликнул с непритворною горестью: «Боже мой! Чем бы не пожертвовал, чтоб только быть в числе их!» Все эти счастливые наклонности были задавлены дурным воспитанием; он сам говорил: «Меня решительно ничему не учили; если я говорю свободно по-французски, то этот навык я приобрел сам после, в детстве же меня не учили даже и по-французски». После этого надобно было удивляться в этом человеке хорошим сторонам, а не дурным; в детстве его страсти не сдерживались нравственным воспитанием; религиозное воспитание состояло в том, что его заставляли ходить в церковь по известным дням: понятно, что французские книжки XVIII-го века легко заставили его смотреть на христианство, как на хорошую выдумку для мужиков. Что же могло сдерживать этого барина? Общественное мнение? Общественное устройство, законы? Но я сейчас приведу пример тому, как страсти русских помещиков сдерживались общественным устройством, законами. Однажды вечером, когда я сидел в своей комнате за книгами, гувернер, швейцарец Фарон, уложивши детей, вышел погулять, но скоро возвратился и пришел ко мне с следующим рассказом: «Только что я вышел в поле, как подходит ко мне мужик и предлагает свою дочь; я сначала остолбенел, потом стал упрекать его за такую страшную безнравственность; мужик отвечал: «Эх, батюшка! Что ж нам делать-то? Ведь князь уж почал!» — и тут рассказал мне обычай, что как скоро девушка в деревне достигает 15-ти лет, ее ведут к князю на растление, после чего она получает 50 рублей ассигнациями денег. Кроме того, князь имел еще других любовниц в городе, жил со сводною сестрою своей жены, известною в Москве Меропою Беринг, вышедшею потом замуж за Петра Петровича Новосильцева *. С женою своею, урожденной

* П. П. Новосильцев, человек без чести и совести, служил сперва по особым поручениям у генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Император Николай

княжной Вельяминовой, князь жил дурно, в чем трудно было его обвинить, ибо это была женщина нестерпимая, ограниченная, капризная, сварливая, скупая; но что было непростительно для князя, это то, что он по страшной лени отдал дражайшей своей половине воспитание детей, выбор учителей, гувернеров и гувернанток в полное распоряжение. С этою госпожою и я, несчастный, должен был иметь дело, выслушивать ее замечания относительно преподавания, делать экзамены в ее присутствии. Я должен был учить двоих княжат и княжну с воспитанницею; старший (Дмитрий) был мальчик лет тринадцати, до безобразия толстый, вялый физически и умственно: тринадцати лет он с трудом читал по-русски; гувернеры жаловались, что успехи его во французском и немецком языках были не блистательнее. К несчастью, это был любимец матери, которая неуспехи сына приписывал не его неспособности и лени, но неуменью учителей, которые, будто бы, не хотели приноровиться к природе ученика. Он пошел в военную службу, вышел рано в отставку; после я с ним встречался: из него вышел красивый, очень приличный, скромный господин; младший был живее, его менее баловала мать, и потому он шел относительно успешнее. Но было еще двое старших сыновей: одного, воспитывавшегося в пажеском корпусе, я не знал; слышал только, что он дурно учился, выпущен был не в гвардию и скоро умер; самый старший, Николай, воспитывался в Царскосельском лицее и вышел в I-м разряде, т. е. с правом IX-го класса, равняющимся праву университетского магистра, а между тем познаниями своими был ниже посредственного ученика седьмого класса гимназии — доказательство, как вредно было это дворянское училище, которое детям знатных и богатых отцов давало право быть невеждами в сравнении с молодыми людьми низкого происхождения. Молодой лицеист был ограничен, ленив, эгоист, спускался гораздо ниже отца, который сильно жаловался на это понижение, хотя вообще малый был еще довольно сносен.

Таково было сиятельное семейство; к нему по языку примыкали французы и француженки, гувернеры и гувернантки, ибо члены семейства княжеского не иначе говорили между собою, как по-французски; я был в доме единственный русский не лакей, говоривший не иначе, как по-русски, и потому гувернантка-француженка, разливавшая чай, не иначе обращалась ко мне, как «m-r Russe!» Князья бессмысленно смеялись над этим, а я с гордостью 18-летнего мальчика провозглашал, что я вполне доволен этим названием, что оно для меня драгоценно, что для меня чрезвычайно лестно, если я один русский в доме, или, по крайней мере, русский по преимуществу.

Меня пригласили давать уроки и после вакации, в Москве. Княгиня настаивала, чтоб я жил у них в доме, или, по крайней

сказал однажды Голицыну: «Зачем вы держите при себе этого мерзавца: он доносит мне на Вас». -- «Знаю Государь, — отвечал Голицын, — но что же делать? Он мне нужен». Этот Новосильцев был потом московским вице-губернатором, а потом — рязанским гражданским губернатором (*прим. автора*).

мере, оставался с ее детьми как можно долее; ей хотелось сделать нечто вроде переливания крови из здорового тела в больное; но я решительно от этого отказался: жизнь в чужом доме и еще в доме иностранном, французском, была бы для меня невыносима; притом, я знал, какую тяжелую обязанность наложит на меня почтенная маменька, если я поселюсь подле ее детей; я всегда чувствовал страшное отвращение к должности гувернера и с хорошими детьми, не только что с князьями Голицыными; я никогда сам не был ребенком, и понятно, как тяжело, невозможно было для меня делаться ребенком с детьми; наконец, я видел, что такое гувернерство отвлечет меня от студенческих занятий. Вот почему через два года княгиня нашла, что ее дети мало успевают со мною именно потому, что я ограничиваюсь одними урочными часами и не бываю чаще вместе с ними, и вот за мною уже не прислали больше осенью, по возвращении с дачи.

Я имел еще другие уроки, и в последний год студенчества очень много, но дома, в которых я учил, не представляли ничего особенно замечательного, и потому обращаюсь к университетским впечатлениям.

VII

О попечителе графе Строганове я уже довольно говорил; помощником его был Дмитрий Павлович Голохвастов, человек, умевший, в противоположность Строганову, заслужить самое невыгодное о себе мнение в университете и обществе московском [28]. Это был человек знающий, умный, честный и любивший честность в других, но ум этого человека отличался особенным складом, именно удивительною форменностью. Мы, прочие смертные, мыслим про себя и вслух, разговариваем и пишем, не обращая внимания на самый процесс нашего мышления, на его формы; тогда как у Голохвастова все внимание было обращено на формы мышления; в разговоре своем он хлопотал только об одном, чтобы мысли являлись в законной форме и чтоб эта форменность как можно яснее обнаружилась; отсюда разговор Голохвастова был крайне утомителен. Есть люди нестерпимые в разговоре: они стараются сделать свою речь украшенною тем, что не скажут слова просто; если есть такие фразеры, нестерпимые своею риторикою, то Голохвастов принадлежал к числу людей, которые встречаются гораздо реже, — людей, нестерпимых своею логикою; эта логика в его разговоре являлась столь же изысканною, бездушною, как риторика у фразеров. При этом Голохвастов был страстный охотник говорить, т. е. затягивать мысли в форменное платье, в мундир и выводить их напоказ: вот как они правильно и стройно вытекают одна из другой, связываются и равняются; хотя эти правильность и стройность были часто видимые только, но Голохвастову не было до этого дела. В исторической литературе нашей Голохвастов прославился замечаниями по истории осады

Троицкой лавры, напечатанными в «Москвитянине»[29], блестящею критическою статьею; говорили, что он пользовался здесь чужими трудами и указывали на Забелина[30]; но, зная хорошо Голохвастова, его приемы, я не усумнюсь приписать статью ему — по крайней мере, главное в статье, построение ее, принадлежит ему.

По политическим убеждениям своим Голохвастов был сильный охранитель; ему очень нравился существующий порядок вещей, дисциплина, чинопочитание; он много занимался историею своей фамилии, собрал и издал акты, хранившиеся в фамильном архиве; замечания на историю Троицкой осады написал он для того, чтобы защитить честь своих предков от наветов Палицына; когда я однажды в разговоре с ним упомянул об этой статье, то он с самодовольным видом сказал: «pro domo sua pugnavimus» *. Но при этом в Голохвастове не было ничего аристократического; в нем была только русская барская спесь, что особенно и отталкивало от него университетских подчиненных, избалованных Строгановым. Голохвастов платил университету тою же монетою: будучи помощником попечителя, а потом попечителем, он ненавидел университет, считал его учреждением, опасным для существующего порядка вещей и не скрывал этих мнений своих; не советовал никому отдавать сыновей своих в университет и говорил, что своих никогда не отдаст туда, что все дворяне должны служить в военной службе, что предки их служили за поместья, когда же поместья были превращены в вотчины, то этим самым обязанность служить в военной службе не снялась, напротив, удвоилась. Своими понятиями и обращением Голохвастов больше, чем кто-либо другой, напоминал русского барина XVII-го или начала XVIII-го века, надевшего европейское платье, усвоившего даже европейскую науку, европейские языки, но в сущности оставшегося верным старине. Неуважение Голохвастова к подчиненным, или, по крайней мере, к большинству их, было возмутительно. Особенно дурную славу приобрел он при управлении округом между попечительством Голицына и Строганова, когда он, сообразно характеру своему, строгостями, отдачею студентов в солдаты, хотел сделать то, что при Строганове сделалось само собою, без всяких насильственных средств, через одно влияние благородной личности начальника, — именно исправление студенческих нравов. При Строганове Голохвастов был председателем цензурного комитета и здесь явился притеснителем; особенно его строгость возбуждала негодование в сравнении с петербургскою цензурою, отличавшеюся тогда свободою. Наконец, в наружности Голохвастова было много отталкивающего: его фигура выражала спесь, натянутость, форменность; это была фигура красивого, рисующегося квартального, который понимает свое высокое значение на публичном гуляньи пред толпою черни. Голохвастов был известен своим конским заводом; на скачках славилась его вели-

---

* в защиту себя и своих дел (*лат.*).

колепная лошадь Бычок, и вот из университетских стен явилась эпиграмма:

Вместо Шеллингов и Астов
И Пегаса старичка,
Дмитрий Павлыч Голохвастов
Объезжает нам Бычка.

Ректором был М. Т. Каченовский[31]. Об ученом значении этого человека я не буду распространяться, потому что исчерпал этот предмет в биографии Каченовского[32], напечатанной мною в Биографическом Словаре профессоров университета, изданном по случаю столетнего юбилея. В то время как я был в университете и слушал Каченовского, это уже был старик ветхий; читал он уже не русскую историю, а славянские наречия, предмет, при разработке которого он не мог оказать ученых заслуг ни по летам, ни по приготовлению своему; скептицизм проглядывал и тут при каждом удобном случае; любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старичка. Сохранилось у меня в памяти одно из свидетельств, приведенных Каченовским против подписи на тмутараканском камне[33]: «Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на нее, так и сказал: «Это, должно быть, подложная надпись!»

Каченовский мог служить лучшим опровержением мнения, что ученый скептицизм ведет необходимо к религиозному и политическому; не было человека более консервативного в том и другом отношении. Скептицизм научный отражался, впрочем, в жизни Каченовского мнительностью, крайней осторожностью, чрезмерным страхом пред ответственностью: так, например, он никогда не брал на дом книги из университетской библиотеки, боясь, чтоб они как-нибудь непредвиденным образом не пропали у него; каждое дело, каждая бумага по управлению встречали с его стороны возражения: «Да как же это так, да зачем же это так?» и т. п. Во всех отношениях общественной, служебной жизни своей Каченовский был честный человек; полемика его против Карамзина и Пушкина доставила ему много врагов. Говорили, что император Николай, при выборе инспектора классов к наследнику, обратил внимание на Каченовского, говоря, что уважает этого ученого, по журналу которого он выучился читать по-русски[34], но карамзинисты помешали Каченовскому, выставивши на вид его вредное направление, скептицизм, чем, разумеется, легко могли напугать охранительнейшего императора. По поводу Пушкина профессор Крюков рассказывал любопытный разговор свой с Каченовским: зашла речь о языке, которым должна писаться история; Каченовский, как следует ожидать, вооружился против украшенного сло-

га, против риторики, поднимающей на ходули события и лица, причем сказал: «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком — это Александр Сергеевич Пушкин, давший превосходный образец исторического изложения в своей «Истории Пугачевского бунта». Конечно, этот отзыв был произнесен по смерти Пушкина[35]; конечно, по смерти уже Карамзина Каченовский написал разбор XII тома[36] — но всякий ли способен и по смерти врага сделаться беспристрастным в отношении к нему, у всякого ли достанет духа похвалить и умершего врага? Под старость Каченовский уже не мог продолжать полемики с Погодиным[37], который, однако, не переставал нападать на него и, по обычаю своему, позволял себе грубые выражения на его счет; старика сильно это оскорбляло; со слезами на глазах он жаловался на оскорбления и на невозможность отвечать оскорбителю, который трубит победу. Сильно оскорбляла также старика Венелинская школа — стремление все ославянить, сделать славян древнейшим и славнейшим народом мира[38]: не имея сам средств ратовать против этого, по его мнению, вредного и нелепого направления, Каченовский приглашал молодого Грановского образумить ослепленных; но Грановский отказался подвизаться на этом неблагодарном поприще.

Деканом факультета был И. И. Давыдов[39]. Это был человек бесспорно очень даровитый, способный к многосторонней деятельности, могший принести большую пользу науке, если бы посвятил ей всего себя; но он посвятил всего себя для удовлетворения одной страсти — честолюбия и честолюбия самого мелкого; мало того, что, думая, хлопоча только о почестях, он пренебрег наукою, скоро сделался ученым отставшим, — он продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства позволительными: нипочем было ему чернить человека, загораживавшего ему дорогу, погубить его в общественном мнении; нипочем ему было унизиться до самой гнусной, невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного, не обращая никакого внимания на умственные и нравственные достоинства человека, уважая только людей сильных, могущих быть ему полезными или вредными. Не имея ни веры, ни совести, этот человек, смотря по надобности, притворялся самым благочестивым: равнодушный к вере с равнодушным к ней министром Уваровым, он благоговейно молился на коленях с набожным министром, Ширинским-Шихматовым. Однажды ему нужно было снискать благосклонность некоторых богомольных барынь; вот он явился в их общество, ходя по комнате, пошел в карман за платком, и, как будто бы ненарочно, выронил из кармана маленькую книжку; ему ее подняли, и любопытные барыни спросили, что это за карманная книжка у профессора: оказалось, что это Фомы Кемпийского — «О подражании Христу»![40]

Этот любитель Кемпийского встретил на своей дороге Каченовского; чтобы повредить ему, он прикинулся ему другом, стал беспрестанно к нему ездить и уговорил его посещать клуб, стал

увлекать его туда беспрестанно — и это-то была главная цель его дружества: он начал с сожалением рассказывать всем и каждому, что вот какое несчастие! Такой достойный ученый, как Каченовский, пристрастился к клубу, к игре, покинул семейство, науку, и он, Давыдов, из дружбы к нему, следит за ним, не покидает его, ища случая отвратить от пагубной страсти. Жалкое зрелище представлял из себя Давыдов, когда жаждал чина или ордена; беспокойство и волнение его не имели границ; даже узнав, что представление подписано императором, Давыдов не мог успокоиться, спрашивал, не может ли случиться, что курьера, везущего орден или чин, постигло какое-нибудь несчастие на дороге, и не может ли этот случай отдалить новое представление на неопределенное время: не бывало ли тому прежде примеров? Получив первую звезду Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши звезду. Получивши орден Владимира 2-й степени, он встретился с профессором Никитенко и начал внушать ему, что во всей России чрезвычайно мало людей, которые бы имели владимирскую звезду в чине действительного статского советника.

Но что в Давыдове хуже всего — это страшная мстительность; пресмыкаясь пред сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже, слабее его, и горе человеку, в котором он заподозрил чувства враждебные к себе или, по крайней мере, недостаток раболепства; понятен вред, который причинял Давыдов своим характером: понятно, что нашлось много людей, которые соглашались пред ним раболепствовать, получали чрез него места, выгоды — и все это были люди дрянные; люди порядочные, несоглашавшиеся пред ним раболепствовать, подвергались гонению. Страшно вредно было его деканство тем, что он из низких видов явно оказывал поблажку студентам-«отецким детям», выводил их, давал высшие баллы, высшие степени не по достоинству, в предосуждение другим, более достойным, но от которых декан не надеялся получить ничего; при страшном честолюбии Давыдов не оставлял удовлетворять и другой страсти — корыстолюбию: он сильно пользовался казенным добром, когда был инспектором университетского пансиона, любил брать и от студентов, т. е. от их родителей, богатые подарки в благодарность за покровительство сынкам; в воспитанниках университетского пансиона он оставил по себе еще более тяжелое воспоминание: один из этих воспитанников, князь Голицын, явно рассказывал, что Давыдов предавался с ним педерастии. В заключение, приведу стихи, которые очень верно характеризуют Давыдова:

Подлец из чести и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов
Ивана Лазарева* раб.

---

* Лазарев, попечитель Лазаревского Армянского института, где Давыдов был инспектором (*прим. автора*).

Душа полна стяжанья мукой,
Полна проектов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.

Я должен был слушать Давыдова с первого курса, и слушал очень долго, потому что второй профессор словесности, Шевырев, был в это время за границею. Содержанием лекций Давыдова было то, что мы уже знали из напечатанного в его «Чтениях о словесности»; книга известна, следовательно, мне не нужно распространяться о ее достоинстве [41]. Но Давыдову не хотелось читать слово в слово по книге, и потому он прибег к средству, возможному только для него: именно, целый год переливал из пустого в порожнее; все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже; студенты слушали сначала со вниманием, ожидая, что же выйдет подконец, но подконец ничего не выходило, и потому курсу Давыдова дали название «Ничто о ничем, или теория красноречия». К счастью, почтенный профессор избавлял студентов от большого утомления следующим средством: ему нужно было читать два часа сряду, но он приходил в половине первого часа и уходил в половине второго, и читал только час.

Вторым профессором словесности был, как я уже сказал, Шевырев; Давыдов читал теорию словесности, Шевырев — историю литературы вообще и русской [42]. Шевырев наконец приехал из-за границы, мы перешли к нему от Давыдова и попали из огня да в полымя: Давыдов из «ничто» умел делать содержание лекции; Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным проведением известных воззрений. Тут-то услыхали мы бесконечные рассуждения, т. е. бесконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославление России, студент-поляк Шмурло подошел ко мне и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалованья за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. Способность к казенности и риторству уже достаточно рекомендует человека; взгляните на его портрет — весь человек тут. В сущности это был добрый человек, не ленивый сделать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрые качества заглушались страшною мелочностью, завистливостью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего; но стоило только немного намеренно или ненамеренно затронуть его самолюбие, и этот добрый, мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба; но если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем. Эта-то за-

дорливость, соединенная с слабостью, всего более раздражала против Шевырева людей крепких, вселяла в них к нему полное отвращение, презрение. Хороши стихи, написанные на Шевырева Каролиною Павловою[43], хотя они далеко не определяют еще вполне его характера:

Преподаватель христианский,
Он верой тверд, душою чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист;
И скромно он по убежденью
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Основа недостатков Шевырева заключалась в необыкновенной слабости природы, природы женщины, ребенка, в необыкновенной способности опьяняться всем, в отсутствии всякой самостоятельности. Нельзя сказать, чтобы он вначале не обнаружил и таланта; но этот талант дан был ему в чрезвычайно малом количестве, как-то очень некрепко в нем держался, и он его сейчас израсходовал, запах исчез, оставил какой-то приторный выцвет. Шевырев как был слаб пред всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб пред вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, согласии, братстве и о всякого рода сладостях; сначала, в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедывающего складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! Зачем ты не всегда пьян!»

От Шевырева приятно перейти к профессору, который произвел на меня самое сильное впечатление на первом курсе, именно к Крюкову[44]. Крюков, когда я поступил в университет, читал латинский язык на трех старших курсах и древнюю историю на первом. У Крюкова, как у всех самых даровитых профессоров русских, но занимающихся науками, разработанными на Западе, не было самостоятельности; он пользовался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно под влиянием Гегеля; но у Крюкова был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы, представлявший этим противоположность шевыревскому таланту. Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромною массою новых идей, с совершенно новою для нас наукою, изложил ее блестящим образом, и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и потом посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность. Со второго курса мы слушали его уже как профессора латинской словесности, и здесь он был превосходен, обладая в совершенстве латинскою речью и силою своего таланта возбуждая в нас интерес к экзегезису[45], столь важному для изучения отечественных памятников; привлекательности речи Крюкова, как латинской, так и русской, помогал очень много необыкновенно приятный, звучный орган, на котором он очень искусно

умел играть, как на инструменте; до сих пор (29-го мая 1855 года) еще не встречал человека, который бы умел так играть на своем голосе, приводить его в такую гармонию с мыслью, с рассказом своим; некоторые лекции — например, о Таците — он потом напечатал; но в книге это было не то, потому что обаяние уха исчезло.

Когда мы перешли на второй курс, то приехал из-за границы Грановский, начавший читать среднюю и новую историю. Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен, явился поклонником также Гегеля, но был художник первоклассный в историческом изложении. Между талантом Крюкова и талантом Грановского была такая же большая разница, как и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое полное лицо, белый цвет кожи, светлорусые волосы, светлокарие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящною обработкою речи, к нему как нельзя более шло прилагательное elegantissimus, как мы, студенты, его величали; но при этой элегантности, щегольстве, в нем самом, в его речи, в чтениях было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию; необыкновенная красота его производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешней изящностью своей речи: он говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, пред внутреннею силою и теплотою, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановского можно сравнить с изящною картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры ярко расцвечены, говорят, действуют пред вами.

И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось то же различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюков мог внушать только большое уважение к себе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно было сказать, что тот, кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной. Я сказал: кто *любил* отзываться о нем дурно; ибо и люди самые привязанные к нему должны были иногда с горем порицать его в глаза и за глаза: лень заставляла его закапывать свой блестящий талант: с необыкновен-

ною легкостью проглатывая чужое и претворяя это чужое в свою собственность, Грановский с величайшим трудом мог заставить себя взять перо в руки; он оправдывал себя перед собою и перед другими тем, что нельзя было ничего печатать, благодаря русской цензуре, особенно с 1848—1855 года, но это оправдание не удовлетворяло ни других, ни его самого: печатать было можно и в это страшное время, еще легче было печатать прежде и после него. Грановский женился очень рано на превосходной женщине, дочери доктора Мюльгаузена, сестре профессора, нашего товарища, но детей не имел. Это обстоятельство, разумеется, много способствовало его лени, беспечности; потом я уже сказал, что он был постоянно окружен толпою людей, с которыми весело было проводить дни, ночи, от остроумной веселой беседы с которыми трудно было оторваться для кабинетного труда... К сожалению, не одною остроумною беседою занимался Грановский со своими приятелями, вино также приглашалось часто и неумеренно к усилению веселости и остроумия; но и этого мало: у Грановского была несчастная страсть к картам...[46]

VIII

После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев[47], преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло-остроумный человек, и если не холодный, то, по крайней мере, холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука была для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева, в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о ее значении в жизни народов.

Греческий язык на первом и втором курсах преподавал В. И. Оболенский, с которым я уже был знаком по гимназии, где он с начала моего поступления преподавал русский язык, а потом латинский. Оболенский был человек знающий, охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог внушить к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравые, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайнею слабостью, неумением требовать от студентов приготовления к переводу. Строганов видел его неспособ-

ность и насилу додержал его до срока пенсии, чтоб не лишить бедного старика куска хлеба.

На высших курсах преподавал греческий язык А. И. Меншиков, человек бездарный, невыносимый на лекциях и также с головою, не очень стройно организованною. Строганов хлопотал и его выжить из университета, но никак не мог. Еще до выхода Оболенского был приглашен для греческой кафедры немец Гофман. Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык, особенно если сравнивать его с Оболенским и Меншиковым, но немец не понимал своего положения в русском университете. И поступавшие в университет ученики гимназии не были достаточно приготовлены в греческом языке, тем менее ученики, поступавшие из других приготовительных заведений и из родительских домов; при приемных экзаменах утвердилось вредное правило, что нельзя строго требовать греческого языка, ибо это предмет трудный, отвращающий многих от поступления в историко-филологический факультет. Видя неприготовленность студентов, Гофман подумал, что им нельзя преподавать по-университетски, а надо по-гимназически, и начал душить нас на грамматике, на ее тонкостях; но что русскому здорово, то немцу смерть и наоборот. Русский студент 18-ти, 20-ти лет и больше и не имеющий в виду быть греческим учителем, занимающийся другими предметами, хочет приобресть возможность читать как можно легче греческих авторов, для чего ему нужно постоянное упражнение, — а вместо того, пробывши несколько лет в университете, посещая почти каждый день греческие лекции, он видит, что не может прочесть ни одной странички Геродота без лексикона, потому что лекции проводятся в толкованиях о различных оттенках частицы.

Это студентам сильно наскучило; многие из них перестали ходить на лекции; другие, сидя на лекциях, не слушали о частице αν и по окончании курса почти все вышли с такими знаниями греческого языка, с какими вошли в университет; метода Гофмана объяснялась еще и тем, что он преимущественно занимался грамматикой, давал уроки, чтоб приготовлять к экзегезису; занять же внимание слушателей и принести им пользу он не имел времени, и потому подчивал их одною грамматикою.

Русскую историю мы слушали на четвертом курсе у М. П. Погодина[48]. Сколько прекрасная наружность Грановского приносила ему пользы, гармонируя с его художественным преподаванием, привлекая к нему женщин и мужчин, столько же вреда приносила Погодину его наружность, имевшая в себе, кроме дурного, еще неблагородное, отталкивающее. Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своею грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин, но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает — Погодин скажет; что другой подумает или только ска-

жет — Погодин сделает. Другие так же корыстолюбивы, но скрывают этот недостаток или обнаруживают его не так легко, а Погодин, мелочной торгаш, любит даровщинку, любит не дать, не додать; выпустить деньгу из рук для него очень тяжело, хотя бы он и знал, что вперед будут барыши; Погодин сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: «Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уже они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства». Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств, хотя и было достоинство довольно редкое в русском человеке, в наше время и в нашем обществе, качество, которое он вынес из своей прежней среды (о происхождении своем он не упомянул в своей автобиографии, а потому и мы молчим о нем[49]), именно смелость, качество первобытного, простого русского человека: смелым бог владеет — авось! — и идет напролом. Смел он на доброе дело — например, написать правду о делах управления и подать ее в руки царю[50]; смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к Лелевелю[51] — засвидетельствовать ему свое уважение; смел и на то, чтобы надуть человека, имеющего голос, значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами. Я сказал: смел на доброе дело; значит, в нем было побуждение и к добрым делам; это не был Давыдов, способный только на одни низости, хотя, с другой стороны, и Давыдов не так оскорблял своим поведением, как Погодин, ибо у Давыдова не было такого цинизма, такого неряшества нравственного, как у Погодина.

Человек отражался в писателе и в профессоре. Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым; его призвание — политический журнализм, палатная деятельность или — к чему он еще более годился — площадная деятельность, значит, в России он родился некстати. Это был Болотников во фраке Министерства народного просвещения; заметим, что последнее должно было сильно смягчать первое, и действительно, смягчало, хотя холоп, попавший в действительные статские советники и академики, в нем сильно проглядывал. Человек низкого происхождения, но живой, умный, он в молодости увлекся на поприще, которое одно в России имеет характер публичности, соединено с шумом, движением, обольщающим живых молодых людей, поприще литературное и университетское. Он стал писать повести, издавать журнал[52], заниматься историею всеобщею и русскою, особенно последнею, вошел в литературный круг. К постоянным ученым кабинетным занятиям одним предметом Погодин не был способен от природы и не мог приучить себя в молодости при указанном разнообразии своих занятий; вот почему в русской истории явился

он наездником сначала очень счастливым; в споре о происхождении варягов подметил, где твердая почва, схватился за Скандинавию, распространил Байера и явился главою скандинавцев[53]; в споре о летописях подметил, что у скептиков золотая голова и глиняные ноги, и начал бить по ногам, живостью, задором опередил мешковатого Буткова и стал главою школы несторианцев[54]. Но здесь и конец ученого поприща. Легко добывши себе громкое имя двумя диссертациями[55] и несколькими журнальными статейками, Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень. Погодин ничего не ведал дальше варягов, дошел до нелепых крайностей, запутался, завяз, ибо только широкое движение по целому обширному предмету освобождает ученого от пристрастий, спасает от крайностей, необходимого следствия тесноты горизонта, производящей ученую близорукость; крича, что другие ничего не делают, задавая *молодым людям* предметы для занятий, Погодин сам ничего почти не делал для русской истории, а между тем утвердился во мнении, что он — во главе людей, занимающихся русскою историей; все обстоятельства, к несчастью его, содействовали к укреплению этого убеждения: Каченовский ослабел и умер, Строев (Сергей Скромненко) умер[56], Венелин умер; мнения последнего нашли себе защитников и развивателей в таких людях, с которыми легко было бороться, — в Морошкине, в Савельеве-Ростиславиче[57] и т. п.; поле, следовательно, осталось за Погодиным, и он трубил победу; огромная библиотека, им собранная[58], заставляла его думать, что в его руках все сокровища русской истории, что *молодые люди* могут заниматься ею только с его позволения, с его благословения, хотя сам он меньше всякого другого имел понятие о своей библиотеке, особенно о древних рукописях; наконец, связь его с славянскими учеными, которые обходились с ним с чрезвычайным уважением, ибо он посылал к ним книги и деньги[59], давали ему видное место в целом ученом славянском мире.

Но этот пророк не был признан в своем отечестве; в Московском университете ему было не очень ловко. Во-первых, лекции его не могли возбудить в студентах восторга, сделать из них жарких поклонников. Вот как он читал: сначала месяц, другой посвящал славянским древностям, которые читались буквально по Шафарику[60]; потом переходил профессор к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов-Руси, т. е. прочитывались обе его диссертации. После этого времени оставалось уже немного; это остальное время Погодин проводил в том, что приносил Карамзина и читал из него разные места, не самые слабые и вместе значительные по предмету, требовавшие пояснений, дополнений; этого Погодин, кроме варяжского периода, сделать был не в состоянии, ибо все, что выходило по русской истории, драгоценные издания Археографической комиссии[61], для него не существовали; он выбирал из Карамзина места красивые, превращал класс русской истории в

класс риторики — так, наприм[ер], читал с восторгом карамзинское описание Тамерлановых походов и требовал от слушателей, чтоб и они также восторгались этим описанием; потом обращал внимание слушателей и заставлял их восторгаться искусством Карамзина в переходах от рассказа об одном событии к рассказу о другом; главная его цель при этом была убедить студентов, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой, французской и английской; иногда, очень редко впрочем, приносил и летописи, читал из них места; так, наприм[ер], он прочел нам знаменитое место в споре владимирцев с ростовцами по смерти Андрея Боголюбского. Но какая же была цель этого чтения? Показать, что вот и в русской истории бывали события вроде западных, являлись на сцену города, граждане, выбирали князей и проч. Так, отрывками добирался Погодин до 1612 года и здесь — по крайней мере, на нашем курсе — остановился. Кроме того, значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, указаниям, что вот чем надобно заниматься, — изложить историю сословий, историю княжеств, историю городов и проч., в чем, разумеется, студенты соглашались; но главное, как это делать, об этом не было помину; развивал Погодин притом свою любимую тему, что *молодые люди* самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков: «Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова носить», — так выражался Погодин, разумея под дровами черную ученую работу, приискивание мест в источниках и т. п. Все эти разговоры были забавны, но нисколько не привлекали сердца слушателей к Погодину; смешно было видеть человека самого самолюбивого, жалующегося на самолюбие других, человека корыстолюбивого, требующего бескорыстия от других.

Таковы были отношения Погодина к студентам; с старыми товарищами своими профессорами Погодин еще сходился, с некоторыми был даже дружен по отношениям молодости, напр[имер], с Шевыревым, Кубаревым; но когда приехала толпа новых профессоров из-за границы, Крюков с товарищами[62], то между ними и Погодиным началась явная вражда; вражда эта происходила прежде всего из того, что манеры Погодина, его цинизм произвели самое неприятное впечатление на этих новичков, привыкших к совершенно другим манерам; потом эти господа поонемечились, jurabant in verba magistrorum * и так как сначала главное право их на места, главное достоинство их состояло в заграничном образовании, то естественно, что они гордились этим достоинством, превозносили все тамошнее в ущерб здешнему; это задело за живое Погодина, представителя славянофилизма в университете: он стал называть молодых русских профессоров немцами и даже говорить, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки молодых русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов и проч. Понятно, какие приятные чувства возбудили в молодых профессорах

* поклялись в верности (*лат.*).

подобные мнения; их вражда разгорелась, и тем менее они могли щадить Погодина, что характер этого защитника Руси не мог внушить им никакого уважения.

Граф Строганов, назначенный попечителем, нашел университетский корпус в плачевном состоянии, именно в таком же, в каком нашел и гимназию, и в университете произвел такой же благодетельный переворот, как и в гимназии. Большая часть профессоров были люди бездарные, отсталые, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшиеся вследствие того насмешкам студентов; мы уже с трудом могли верить рассказам наших предшественников дострогановских о том, что позволяли себе Смирновы, Маловы, Щедритские, Снегиревы на лекциях и экзаменах. Строганов выгнал их всех и заместил кафедры новоприбывшими из-за границы учеными; отсюда понятно, что он связал свое дело неразрывно с делом последних, которые нашли в нем покровителя и проводителя их мыслей и планов; отсюда понятно, как он смотрел на эти остатки старины — на Погодина, Шевырева, Давыдова; он держал их в университете по авторитету, какой они успели приобрести и по неимению людей, которыми бы можно было их заменить, ибо для кафедры русской истории и русской словесности не посылали молодых людей за границу, а свои еще не подросли; на ученые достоинства этих господ Строганов смотрел чрез очки молодых профессоров, следов[ательно], не очень уважал эти достоинства; кроме того, он их раскусил с первого раза и возненавидел их как людей: Давыдова начал презирать как подлеца, из-за ордена и чина готового на всякую гнусность; Шевырева — как человека мелкого и вместе задорного, несносного; Погодина — как корыстолюбивого, грязного холопа и, вместе с тем, дерзкого, надменного; закаленный аристократ Строганов сейчас же враждебно оттолкнулся от демократа Погодина, демократа-блузника Болотникова во фраке Министерства народного просвещения. Трое этих господ, с придачею еще четвертого, Перевощикова [63], преподавателя очень способного, но человека грубого, не умевшего разбирать средства для достижения целей, видя отвращение от себя попечителя, бросились к министру Уварову, врагу Строганова.

Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями [64], и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев [65] и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента Академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю; он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного

на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность[66]; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочтя в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран грязными поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще умном, поражали, однако, крайнее самолюбие и тщеславие; только, бывало, и ждешь — вот скажет, что при сотворении мира бог советовался с ним насчет плана. Понятно, как легко было поймать в свои сети такого самолюбивого и тщеславного человека людям подобным Давыдову; стоило только льстить, кадить целый день; и вот Давыдов овладел полною доверенностью Уварова; другим средством, к приобретению доверенности и расположения Уварова для Давыдова, равно как и для Погодина, Шевырева и Перевощикова, была вражда к Строганову, ибо последний знал Уварова как он есть, презирал его как подлеца, грязного человека, и по характеру своему не скрывал этого презрения. Мне говорили, что была еще сильная причина ненависти: Уваров имел связь с мачехою Строганова — отсюда ненависть между министром и попечителем, вредившая так много Московскому университету и округу и поведшая к такой печальной для них развязке.

IX

Все эти отношения [1838—1842 гг.] имели большое влияние на меня, на мою будущность. Я говорил уже, с какою страстью в отрочестве предавался чтению Карамзина. Это было еще до вступления в гимназию; в гимназии и в университете я почти не дотрагивался уже до Карамзина, ибо он не представлял более для меня ничего нового; в университете я занялся всеобщею историею вследствие толчка, данного Крюковым и Грановским; но время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из Гегелевых сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше дело не пошло[67], религиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философиею, чтобы воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христианства; но отвлеченности были

не по мне; я родился историком. В изучении историческом я бросался в разные стороны, читал Гиббона, Вико, Сисмонди[68]; не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов»[69], эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею.

С большим запасом фактов от Карамзина и с роем мыслей в голове, возбужденных Гегелем, Вико, Эверсом, я вступил на четвертый курс и стал слушать Погодина. Понятно, что лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных. Бывало, он начнет что-нибудь читать по Карамзину, а я ему подсказываю: «Вот тут-то, Михаил Петрович! В примечаниях есть еще важное указание». Товарищи прозвали меня суфлером Погодина, и он сам обратил на меня внимание; внимание это усилилось, когда я подал ему сочинение о первых веках русской истории или экзегезис известной начальной летописи, где опровергнул несколько его положений. И вот однажды Погодин с кафедры обратился ко мне и сказал: «Г. Соловьев! Зайдите когда-нибудь ко мне». Я явился к нему, принят был благосклонно. Первый вопрос: «Чем вы особенно занимаетесь?» Ответ: «Всем русским, русскою историею, русским языком, историею русской литературы». В последний университетский год действительно таково было направление моих занятий. Крюков, которого заинтересовало мое сочинение о египетской истории, хотел было переманить меня на древнюю почву: «Г. Соловьев! — объявил он мне громко при всех, — я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». Потом он говорил моему отцу: не хочу ли я преимущественно заняться древностями? Я поступил, быть может, неучтиво, ничего не отвечая ему на эти заманивания, ибо я знал, что дело пойдет не об одной древней истории, но также и о партикуле и о метрике[70]; я знал, что должен буду заниматься всеми этими противными вещами, должен буду стараться писать хорошо по латыни, к чему я также чувствовал сильное отвращение. Погодин не сказал мне о моем сочинении — нравится оно ему или нет, сказал только: «Я хотел бы с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так что отыскать не могу». Он пригласил меня посещать его, пользоваться его библиотекой, и я бывал у него довольно часто, хотя не удалось быть у него много раз, ибо это уже было во второе полугодие последнего четвертого курса; всякий раз я встречал ласковый прием.

Прошел великий пост; в вербную субботу получаю от инспектора I-й гимназии Попова (о котором, как учителе моем, уже было сказано прежде) приглашение прийти к нему по нужному делу: по поручению гр. Строганова Попов обратился ко мне с вопросом, не соглашусь ли я ехать за границу, чтоб быть домашним учителем при детях брата его, графа Александра Григорьевича? Срок — год, цена — 1200 франков. Я согласился: отвергнувши

предложение Крюкова, занявшись преимущественно Русским, я не имел никакой надежды отправиться за границу на казенный счет, а на свой не имел средств; до выдержания магистерского экзамена что бы я стал делать в Москве? Должен был бы определиться учителем в какую-нибудь гимназию; тогда как тут случай побывать за границею и приобрести протекцию Строгановых, важную и при искании места в Московском университете, и в том случае, если это место не отыщется, и я принужден буду поступить в гражданскую службу. На третий же день я объявил Попову о своем согласии, но Строганов не велел мне являться к нему для окончательных переговоров до окончания экзаменов, чтоб не развлекать меня в приготовлении к ним, — Строгановская черта! Экзамены, как всегда, шли очень успешно. На экзамене из русской истории Погодин, выслушавши мой ответ, обратился к сидевшему тут начальству и сказал: «Рекомендую г. Соловьева — это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы; не скажу: лучший из всех, — были прежде и другие такие же». В это время Погодин уже разглашал о своем скором выходе из университета и подал в совет имена тех лиц, которые могут занять его место; то были: Григорьев [71], ориенталист, написавший магистерскую диссертацию о ярлыках; Калачов, который с самого начала приобрел у профессоров своего факультета репутацию человека необычайно трудолюбивого, но с образцово темною головою, каким он и был всегда на самом деле; третьим был назначен Бычков [72], кандидат нашего факультета, до сих пор (сентябрь 1855 года) идущий быстро относительно крестов и чинов, библиотекарь в Имп[ераторской] Публичной библиотеке, занявший место Березникова, место издателя летописей в Археографической комиссии, человек, отличающийся петербургским характером деятельности, поверхностностью, шерамыжничеством; четвертым, наконец, был назначен я.

Когда я сказал Погодину о своем решении ехать за границу при Строганове, он вполне одобрил мое решение, распространившись насчет необходимости для каждого молодого русского человека посмотреть чужие земли.

До гимназии и во время гимназического курса ездил я с отцом и матерью три раза в Ярославль для свидания с дядею моей матери, который был там архиереем (Авраам архиепископ, знаменитый своею страстью к строению церквей). Эти путешествия совершались на долгих, т. е. бралась кибитка тройкою от Москвы до самого Ярославля; 240 верст проезжали мы в четверо суток, делая по 60 верст в день; выехавши рано утром и сделавши 30 верст, в полдень останавливались кормить лошадей, кормили часа три, потом вечером останавливались ночевать. Таким образом познакомился я с Троицкою Лаврою, Переяславлем-Залесским с его чистым озером, Ростовом с его нечистым озером и красивым Ярославлем с Волгою. От этих поездок остался в моей памяти один любопытный случай: в первую поездку (мне было тогда лет

восемь, девять), остановившись ночевать в Ростове, отец вместе со мною отправился к архимандриту Яковлевского монастыря, Иннокентию; разговаривали они о всякой всячине, и между прочим архимандрит спросил отца: «Чем у вас, батюшка, малютка-то занимается?» Отец отвечал: «Да вот пристрастился к истории, все читает Карамзина.» Тогда архимандрит обратился ко мне и спросил: «А что, миленький, вычитал ты о нашем Ростове, что о ростовцах-то говорится?» Я очень хорошо помнил рассказ о событиях по смерти Андрея Боголюбского, поведение ростовцев относительно владимирцев, помнил оглавление II-й главы третьего тома «И[стории] г[осударства] Р[оссийского]», где читается: «*Гордость ростовцев*», и помнил только это, позабыл, что говорю с ростовцем, и отвечал: «Ростовцы отличались в древности гордостью». Не знаю, каково было первое впечатление, произведенное моим ответом на архимандрита; только он сказал, обращаясь к отцу: «А что, батюшка, ведь малютка-то правду сказал, до сих пор народ наш отличается гордостью, неуступчивостью».

Я припомнил мои поездки в Ярославль по поводу поездки моей в Петербург в 1842 году. Эта поездка не была похожа на ярославские: поехал я не на долгих, но в почтовой карете, которая на третьи сутки принесла меня на берега Невы; езда, действительно, была великолепная, европейская, шоссе гладкое, а по сторонам — известно, что бывает в России по сторонам большой дороги, хотя надобно сказать, что стороны шоссейной петербургской дороги все были живописнее и занимательнее сторон железной дороги: по первой проезжали через города, через красивую Тверь, Торжок, Вышний Волочок — русскую Венецию, — через Валдай, Новгород, где Волхов приятно поразил меня своим шумом и напомнил Марфу Посадницу. В Петербурге пробыл я только два дня, на третий уже переехал на пароход «Наследник», шедший в Травемюнде. Переезд через Балтийское море был очень неприятен: пароход был небольшой и весь наполнен; приезжало много иностранцев смотреть торжества по случаю серебряной свадьбы императора, и теперь они возвращались домой; на всем пароходе я только один был русский. Этот внезапный переход к чужим людям был для меня тяжел — не с кем русского слова сказать! Я не выношу тесноты, мне душно и неловко, когда я сяду в театре в середину ряда, а тут спи в ящике, живом подобии гроба; каюта первого класса была занята знатными и богатыми иностранцами; я взял место в каюте второго класса и должен был обедать, завтракать и спать с лакеями знатных и богатых людей. Вечером первого дня (это было 5-е июля, день моих именин) заняла меня картина морской тиши; но тишина была перед бурею, на другой день — проливной дождь, ветер, страшная качка, морская болезнь; целый день я пролежал; море мне надоело сильно, и невыразимый восторг овладел мною, когда я вышел на берег и в дилижансе поехал из Травемюнде в Любек; страна показалась мне земным раем; занял меня и Любек старинною архитектурою своих домов. Из Любека отправился я в дилижансе в Берлин.

Первые дни в Берлине — суббота и воскресенье — были для меня очень скучны: один в незнакомом городе, не знал, где отыскать русских; толкнулся в церковь — службы нет, священник летом в Потсдаме, для русской солдатской колонии. В понедельник рано утром приходит ко мне какой-то поляк и предлагает свои услуги; я чрезвычайно образовался; первый вопрос: как бы мне отыскать молодых русских, занимающихся в здешнем университете? Чичероне-поляк повел меня в университет, справился о русских, об их квартирах. Я велел вести себя на квартиру Попова, магистра Московского университета, который недавно защищал диссертацию о «Русской Правде», отличился тем, что чрезвычайно ловко защитил жиденькую диссертацию, и после диспута еще вел перепалку с Погодиным. Попов свел меня и со всеми другими русскими — с Пановым, Ефремовым, о которых упомяну я после.

Я зажил теперь весело: поутру ходил на лекции, обедал вместе с русскими; после обеда отправлялись вместе на загородные прогулки. Долго в Берлине пробыть я не мог, и потом мне хотелось прослушать по нескольку лекций всех знаменитостей здешнего университета. Слышал я Шеллинга[73], великолепного старика с орлиным взглядом, с торжественною речью, производившего большое впечатление на слушателей уже одною этою торжественностью, так идущею к содержанию философско-мистическому. Слышал я Неандера[74], знаменитого церковного историка; лекция его была жидка по содержанию, в ней не было ничего для меня неизвестного, не было и новых мыслей; но немцы записывали усердно. Еврей по происхождению, Неандер славился своими христианскими добродетелями и своими странностями, рассеянностью; так, рассказывали, что однажды он пришел на лекцию без нижнего платья; переменивши квартиру, он ходил в университет мимо старой, хотя это было совершенно в другую сторону; но иначе профессор не нашел бы дороги; на кафедру клали перед ним всегда перо: начавши читать, он брал его и ломал во все продолжение лекции: иначе, не имея чего вертеть в руках, он не мог бы читать свободно; лицо его сейчас же напоминало еврейское происхождение; особенно выдавались на нем необыкновенно густые черные брови. Слышал я географа Риттера[75], почтенного старичка в туфлях, очень образно объяснявшего свой предмет; его звали котом или котиком за мягкость и плавность манер и речи. Слышал Ранке[76], коверкавшегося на кафедре, как пьяная обезьяна, и желавшего голосом и жестами выразить характер рассказываемого события; Раумера[77], довольно видного господина с безжизненною речью. Слышал Бёкка, сидевшего на кафедре поджавши ногу и не пропускавшего случая подтрунить над соперником своим, Германом Лейпцигским[78].

Из Берлина я отправился впервые по железной дороге — в Дрезден, который мне очень полюбился своим положением, Брюлевскою террасою с ее дешевыми наслаждениями — мороженым и музыкою, картинною галереею и оперою; в картинной галерее любимою картиною, перед которой я долее других останавливал-

ся, был Тицианов «El Cristo della moneta»*: поражала меня здесь противоположность двух лиц — Христа с его божественным спокойствием и искусителя с его искаженным от лукавства лицом. В Дрездене я осведомился, где Строгановы, узнал, что в Теплице, — и отправился туда. Опять очутился я в чужом доме, опять столкнулся лицом к лицу с русскими барами. Александр Григорьевич Строганов, бывший министр внутренних дел[79], принужденный оставить должность по неудовольствию с императором, служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I-го могли достигать высших степеней служебной лестницы: зажмурив глаза и прислушиваясь к разговору Александра Строганова, можно было с первого раза подумать, что говорит граф Сергей: так было у обоих братьев много сходного в голосе, в постановке фразы; но как сильно сначала поражало сходство, так же сильно потом поражало различие. Александр имел все недостатки Сергея, не имея ни одного из его достоинств. Конечно, могут сказать, что я выразился очень резко, решительно; могут сказать, что Александр имел некоторые из достоинств Сергея, например, был честен, неспособен брать взятки; но из уважения к Сергею я не хочу даже считать в числе его достоинств служебную честность. Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстроивая другими подобными же нелепостями. При этом — ни малейшего благородства, деликатности. Жена была еще хуже мужа: с умом и образованием также поверхностными, с огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощенный, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное — вот графиня Наталья Викторовна Строганова, урожденная княжна Кочубей. Эта чета была испорчена губернаторством; прежде занятия министерского места, Ал. Строганов был генерал-губернатором черниговским, харьковским и полтавским. Понятно, какое страшное искушение представляет и для порядочных лиц первенствующее положение; понятно, как это первенствующее положение, это раболепство русского губернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губернатором легко развратили Строгановых. В Петербурге также — блистательное положение: графиня, умевшая владеть разговором, очень недурная собою, особенно вечером, с огромными связями, как дочь Кочубея, держала блистательную министерскую гостиную. И вдруг — опала! Император Николай понял наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его.

По обыкновению опальных властей, Строгановы отправились

* название картины Тициана «Динарий Кесаря» (*итал.*).

за границу прямо в Париж. Экс-министр начал фланировать, схватывать резкие черты нравов и рассказывать их за обедом жене, вечером — приезжим русским; познакомился с Тьером, также экс-министром, — но этим сходство между ними и ограничивалось, — наконец, стал посещать лекции анатомии. Экс-министерша сначала очень скучала; пользоваться удовольствиями, за которыми приезжали в Париж другие русские, посещать театры и проч. она не хотела: эти удовольствия были ниже ее; она привыкла к более серьезным занятиям, к министерским разговорам; притом, парижские удовольствия требовали много денег от дамы, а она была относительно небогата, проживать много не могла. Она сблизилась с одною русскою дамою, поселившеюся давно уже в Париже, Свечиною[80]. Свечина эта приняла католицизм и под руководством разных аббатиков в сутанах и во фраках занялась делами милосердия. Эти аббатики и аббатиса Свечина поймали нашу Строганову, что было им нетрудно: досада на все русское, преимущественно на императора, не могла возбудить в ней горячего усердия к русской церкви, которая, по утверждению не совсем не справедливых католиков, имеет папу в императоре; поверхностное воспитание, холодность нашего духовенства, отсутствие интереса к религиозным вопросам в Петербурге, в сановническом кругу, не дают нашим барам, и особенно барыням, никаких средств узнать правду нашей церкви относительно католицизма; поэтому всякому аббатику, иезуиту, легко уверить их, что вне католицизма нет спасения. Строганову, женщину без убеждений, без сердца, прельстила эта внешняя, чувственная, театральная набожность католическая; прельстила ее эта новая открывшаяся ей деятельность, это католическое милосердие, так тесно переплетенное с интригою, с составлением обществ, лотереями, со всеми этими мирскими забавами, подкрашенными христианством, но не имеющими в себе ничего христианского. Как только я свиделся с Строгановыми в Теплице, так тотчас заметил, что графиня окунулась и с головою в католицизм; она не скрывала своих мнений (сказать *убеждений* было бы много) не только при мне, домашнем человеке, но и при всех других русских, вследствие чего сейчас же распространился слух, что она приняла католицизм. От графа в два года я не слыхал ни слова о вере; он аккуратно каждое воскресенье ездил к обедне в русскую церковь; но графиня первый год по воскресеньям отправлялась в католическую, а по пятницам — в русскую, для избежания тесноты; но на другой год, когда об этом начали слишком громко говорить, начала и она ездить по воскресеньям в русскую церковь. Говорили, что у нее был любовник в Париже, жиденький французик маркиз де Мелон, занимавшийся делами милосердия в приходе Свечиной; действительно, он часто бывал у нее; часто обедал; видел я, как она прогуливалась с ним вечером по Парижу, по улицам; но вот и все, что я могу сказать. После уже лет через десять, я слышал в Петербурге, что она ведет дурную жизнь и даже называли ее Мессалиною, но я могу сказать только то, что сказал.

В Теплице у Строгановых было трое детей; сын лет двенадцати, дочь лет тринадцати и еще маленький сын лет семи или восьми. Старший сын был не глуп, но уже в таких нежных летах чувственные наклонности начали в нем сильно развиваться и препятствовать нравственному и умственному развитию; в двенадцать-тринадцать лет уже заметно было нравственное ожирение в мальчике; девочка, очень дурная лицом, была живее и чище во всех отношениях; третьего малютку я не узнал, ибо на пути из Дрездена в Веймар он подавился куриною костью, которую дала ему сама мать, и умер в Веймаре. Кроме меня, в доме были гувернер для мальчиков, гувернантка для девочки. Гувернером был бедный савояр Дюфуг без всякого образования и без претензий, добрый малый. Гувернантка была (позабыл фамилию) швейцарка; она заслужила неблаговоление графини тем, что резко высказывалась против католицизма, и уже положено было в Дрездене ее отправить, а в Франкфурте ожидала уже другая, которая прежде жила у них, также протестантка, швейцарка, но в которой предполагалось более равнодушия к своему исповеданию; но потом и эта по той же причине не понравилась, и взята была католичка, ходившая каждый день к обедне.

X

Из Теплица я поехал вместе с Строгановыми в Дрезден, уже мне знакомый, из Дрездена — в Веймар, где, как уже сказано, умер маленький граф; из Веймара я доехал с Строгановыми до Франкфурта; здесь на мое место в карете села новоприбывшая гувернантка, и я отправился один, что для меня было чрезвычайно удобно и выгодно: я останавливался, где хотел, тогда как, ездя вместе с Строгановыми, я не видел бы ничего, ибо они ездили из Богемии в Париж и из Парижа в Богемию, зажмуря глаза, хлопоча только о том, как бы поскорее доехать, и смеялись над теми русскими, которые, подобно англичанам и немцам, останавливаются везде и рассматривают все любопытное; эта насмешка показывает лучше всего природу петербургских сановников, потерявших интерес ко всему, кроме мелких интриг честолюбия. Из Майнца я отправился по Рейну на пароходе в Кёльн. Рейнские берега в первый раз меня сильно поразили, во второй — уже не так, а в третий — я просидел целый день в каюте, разбираясь в своих бумагах. Но Бельгия и в первый, и в другой раз произвела на меня одинаково благоприятное впечатление, по своему опрятному, чисто европейскому труду, видимому везде, и необыкновенной деятельности, движению особенно на железных дорогах, где не довольствуются тем, что предлагают вам напитки и закуски, но также предлагают дешевые брюссельские издания французских сочинений; а города — с их геройскою средневековою историею и с их цветущим настоящим, с их свободою и благочестием, с их церквами, наполненными произведениями искус-

ства и богомольцами, не женщинами, как во Франции, но мужчинами, и молодыми! Бельгия служила для меня утешительным доказательством, что свобода совместима с религиозностью и крепче от этого соединения, что народ, дельный по преимуществу, всегда религиозен. Из Брюсселя я отправился в Париж, куда попал сверх чаяния, ибо Сергей Строганов, отпуская меня из Москвы, прямо сказал мне, что брат его будет жить в Италии; но, приехавши в Теплиц, я узнал, что их сиятельства не могут нигде жить, кроме Парижа. Это известие заставило меня провести несколько очень неприятных дней, ибо быть за границею и не быть в Италии было очень для меня тяжело. Но делать было нечего, надобно было покориться судьбе, и я отправился в Париж, утешая себя мыслью, что через год, накопивши денег, успею съездить как-нибудь на свой счет в Италию.

Итак, я жил тогда в Париже. Париж внешнею своею стороною много поразить меня не мог: я уже видел много больших европейских городов, привык к громадным домам, громадным общественным зданиям; но и после германских и бельгийских городов поразило меня развитие промышленности, эта роскошь в ней; поразили меня мраморные столы в мясных лавках, искусство показывать товары; поразила страшная деятельность, написанная на всех лицах; на этих живых кельтических лицах, которые были для меня очень привлекательны после немцев. Чистый славянин, получивший воспитание русское, свободное, без гувернера-иностранца, я свободно мог предаваться влечению славянской натуры, вследствие чего не люблю немцев и сочувствую романским кельтическим народам. Я плохо говорю на всех иностранных языках, которые знаю четыре: французский, немецкий, английский и итальянский, кроме польского и латинского; я разумею под знанием свободное чтение авторов; свободно читать греческих авторов я не выучился в университете, и после, не имея упражнения, скоро позабыл и о том, что знал. По-чешски я не очень свободно читаю; но французский, английский и итальянский языки для меня родные по своему складу, но совершенно чужд немецкий, особенно новый; читать французскую, английскую и итальянскую книгу для меня так же легко и приятно, как читать русскую; читать немецкую книгу — труд тяжелый.

За границею я подметил резкое различие между русским и немецким относительно пищи: русский, т. е. славянин — преимущественно хлебоедец, немец — мясоедец; маленькие булочки, которые подаются к столу в Германии, приводили меня в отчаяние, ибо совестно было беспрестанно спрашивать хлеба. Французы и бельгийцы гораздо хлебоеднее немцев, и здесь, следовательно, приближаются к славянам; это приближение особенно заметно в одинаково сильном употреблении медовых коврижек на востоке и на западе Европы, но не в середине. Сильно понравились мне жантильные француженки после неуклюжих, большеногих немок; понравилась простота в одежде: обыкновенно черное или темное платье, черная мантилья, черная шляпка с маленьким черным

пером, тогда как на немках пестрота, потом голошейность, голорукость, тогда как во Франции голошеими ходят по улицам только женщины известного поведения.

Вообще, я был доволен парижскою жизнью. Занятий у Строгановых у меня было немного, не более трех часов до полудня; после все время я мог употреблять для себя. Позавтракавши в 12 часов, я отправлялся в Королевскую библиотеку. Главная цель моих занятий уже была определена — русская история; но для занятий ею у меня было мало средств, кроме Полного собрания русских летописей — ничего, и потому я решился заниматься историею всеобщею, преимущественно славянскою. Чтоб определиться и в этих занятиях, я решился написать сочинение, темою которого было отношение дружины к родовой общине: из антагонизма замкнутого рода и толпы людей, выделившейся из него, большею частью насильственно, я объяснил главнейшие явления в истории человечества. В Азии на семитические племена я смотрел как на представителей родового начала, на персов — как на представителей дружинного, в Европе — на пелазгов, под которых включал и славян, смотрел как на представителей родового начала, на еллинов — дружинного; в римской истории в борьбе патрициев и плебеев я видел борьбу родового и дружинного начала. Для проведения моей мысли мне необходимо было изучить мифологию, чем я преимущественно и занимался в Королевской библиотеке. В 3 часа я возвращался из нее и садился писать; писал два часа до обеда, т. е. до шести часов; после обеда читал новые книги и журналы. В воскресенье, вставши и напившись молока, отправлялся я в русскую церковь, находившуюся в конце Елисейских Полей. После обедни, заходил к священнику Вершинскому, человеку ученому, но самодуроватому; он снабжал меня также некоторыми книгами. К священнику после обедни сходились пить чай все русские среднего сословия. Из них я больше всего сблизился с Сажиным, гувернером у князя Гагарина; с этим Сажиным я вместе учился в коммерческом училище: это был человек далеко не ученый, но умный, верно смотрящий на все, добрый и веселый. Иногда мы с Сажиным оставались обедать у священника; но обыкновенно после чаю мы отправлялись с ним таскаться по Парижу, по церквам, в Лувр, в загородные места; потом обедали вместе в Пале-Рояле, за два франка, и вечером отправлялись в театр; хаживали мы в итальянскую оперу не очень, впрочем, часто, по причине дороговизны, а стоять спозаранку в хвосте, чтоб иметь дешевые места, мы не хотели; только два раза были во Французском театре — посмотреть Рашель; я признал в ней великий талант, тут же назвал ее лицедейкою по преимуществу, но не пристрастился к ее представлениям; причина заключалась в моей слабонервности; воскресенье должно было быть для меня recreatio animi et corporis *, я хотел избежать в этот день всего тяжелого, а трагедия была тяжела для

* отдохновение душой и телом (*лат.*).

моих нервов. Вот почему я преимущественно отправлялся в французские оперы — Большую и Комическую или в Пале-Рояль — смотреть m-lle Дежазе, старушку, несравненно игравшую молоденьких девушек и особенно молоденьких мужчин, — Равеля, возбуждавшего хохот одним появлением своим на сцену, — или в «Водевиль», смотреть Арналя, в «Варьете» — смотреть Буффе.

Приближалась зима; начали открываться курсы, которых я дожидался с нетерпением, но они не удовлетворили меня. Разумеется, я прежде всего бросился на исторические курсы к Ленорману в Сорбонну, к Мишле в Коллеж-де-Франс [81]. Ленорман, красивый, плотный мужчина, с усами, смотрел тамбур-мажором, а не профессором; вместо истории, предметом его чтений во все продолжение курса была защита христианства против Штраусса [82]. Защита была довольно жиденькая, несмотря на то, Ленорман производил сильное впечатление; он импровизировал, увлекался своим предметом и увлекал других; я был бы еще довольнее его лекциями, если б он не читал исключительно с католической точки зрения. Повторяю, что в научном отношении лекции его были очень слабы; но можно утвердительно сказать, что из многочисленной толпы его слушателей едва ли человека три читали Штраусса; всего удачнее у него выходила защита христианства, как коренящегося на неизменных нравственных убеждениях человечества. Я помню, как однажды он обратился к молодым своим слушателям с такими словами: «Господа! Если когда-нибудь кто из вас хотел обольстить девушку для удовлетворения своей чувственности, то неужели тайный голос не говорил ему, что он делает подлость?»

По свойству таланта, по способности к одушевлению к Ленорману приближался Эдгар Кине [83]. Сначала Кине читал очень спокойно по тетрадке историю литературы в Коллеж-де-Франс; но к концу академического года в палатах и в журналистике разыгрался вопрос об иезуитах [84], и вот Кине, вместе с Мишле, начал читать против них лекции. Однажды я, ничего не зная, пришел в аудиторию, где должен был читать Кине, занял место, смотрю — аудитория наполняется больше обыкновенного, становится страшная теснота, а толпа все прибывает; вновь прибывшие, не имея места, начинают кричать, чтобы переменена была аудитория; те, которые уже заняли места, не хотят этого, ибо им невыгодно идти теперь позади и занимать худшие места в новой аудитории. Кине не является, дожидаясь, чем кончится дело; наконец, прежде пришедшие осилили и криками заставили профессора явиться. Кине был тут на своем месте, читал с большим одушевлением, рукоплесканиям не было конца; мне было очень приятно слушать, ибо сильно не жалую иезуитов, хотя, с другой стороны, не жалую и того начала, которое дает силу иезуитам среди людей слабых, не умеющих держаться на середине. Следующие лекции Кине против иезуитов читались уже в другой, большой аудитории.

Я упомянул выше о Мишле. Я пришел к нему на первую лекцию, думая выслушать с пользою целый курс истории Франции

он читал в самой большой аудитории, которая, однако, была наполнена. Вошел на кафедру седой старичок и начал говорить — о чем, Бог его знает! — страшный винегрет и вовсе не занимательный, утомительный, переданный без одушевления; я бросил ходить на эти лекции. Но когда дело дошло до иезуитов, Мишле оживился, талант его высказался вполне. Я позабыл сказать, что на последней лекции Кине против иезуитов, он упомянул, что и знаменитый товарищ его Мицкевич разделяет на своих лекциях его мнения. Начался крик: «Vive la Pologne!» Сзади меня встает господин огромного роста, трясет шапкой и кричит: «Vive la Pologne!» Это был знаменитый Бакунин[85], которого прежде встретил я мельком в Дрездене, говорил с ним минут десять и отошел с тем, что после никогда не сходиться: неприятное впечатление произвел он на меня своими отзывами о России.

Слушал я и Мицкевича[86]. Это явление было крайне любопытно, ибо давало понятие об этих восторженных учителях, которые производят такое сильное впечатление на толпу, особенно на женщин. Ясно было, что исходит сила, делает впечатление, — но исходит эта сила не из содержания речи, убеждающей ум или трогающей сердце, но исходит прямо от природы говорящего человека и действует на природу слушающего. Ясно было, что передо мною инструмент уже расстроенный, разбитый и, несмотря на то, этот инструмент звуками своими производил сильное впечатление. Впечатление это усиливалось еще прекрасною наружностью Мицкевича, скорбного, не от мира сего бывшего. Содержание его лекций о мессианизме известно. Он читал по-французски медленно, с дурным выговором: так, например, sûr он всегда произносил *шюр*.

Был я и в торжественном заседании академии при приеме в члены Пакье[87]; принимаемый говорил не блистательно; на другой день в журналах высчитано было, сколько раз он употребил частицу que. Но прекрасно, с истинно академическим красноречием, отвечал ему Минье[88], понравившийся мне и наружностью своею. Был я и в палате депутатов; меня неприятно поразил беспорядок, бесцеремонность депутатов, шум во время произнесения или читания речей не первостепенных ораторов; видел невзрачного Тьера, взрачного осанистого Гизо[89] не с французскою физиономиею. Будучи поклонником Гизо за его сочинения, я легко сделался в Париже приверженцем орлеанской династии и министерства Гизо[90]; по умеренности своей я не мог понять, чего еще французам нужно более того, что они имели в это время? Мой взгляд был вполне оправдан после, когда февральская революция повела к нелепой республике и гнусной империи[91].

XI

Пришла весна [1843 г.]; надобно было думать о будущем годе; Строгановы объявили, что пробудут и эту зиму в Париже, а лето — на богемских водах, в Карлсбаде и Теплице, потом в Ахене.

Я свыкся с парижскою жизнью; из России не приходило никаких вестей, которые бы заставили меня спешить туда, и я решился остаться еще на зиму в Париже. Из Парижа в Богемию я должен был отправиться один, ибо, как выше сказано, в строгановских каретах мне не было места; времени мне было дано много на проезд, потому что рано прекращалось ученье в Париже за сборами и поздно начиналось в Карлсбаде, пока еще жизнь не приводилась в порядок. Я воспользовался этим, чтоб объехать южную Германию; поехал в дилижансе из Парижа в Страсбург, где пробыл недолго, чтоб только посмотреть знаменитый собор, который показался мне меньше, чем недостроенный кёльнский. Из Страсбурга я приехал в Карлсруэ, где, разумеется, незачем мне было долго оставаться; из Карлсруэ поехал в Штутгарт, куда приехал вечером, взял лондинера и велел вести себя по достопримечательностям города. — «Куда вы меня прежде всего поведете?» — спросил я у него. — «В королевские конюшни», — был ответ. — «Я не хочу в конюшни, я не знаю толку в лошадях». — «Ну, так пойдемте к памятнику Шиллера». Посмотрел я памятник Шиллера. — «Ну, теперь куда же вы меня поведете?» — «В королевские конюшни». — «Но я уже вам сказал, что не хочу в конюшни!» — «Ну, пойдемте в парк: там есть великолепные колоссальные нимфы». Пошли в парк, посмотрел я на великолепных колоссальных нимф. — «Теперь куда же вы меня поведете?» — «В королевские конюшни». — «Но, боже мой! Я уже вам сказал два раза, что не пойду в конюшни!» — «Ну, так идти более некуда, у нас нет больше никаких достопримечательностей!» — «У вас есть русская церковь?» — «Есть, вон она на горе за городом; там живет и священник; но теперь уже поздно идти туда; переночуйте, и завтра поутру пойдем». Но я не решился для свидания с русским священником ночевать в Штутгарте, и в ночь отправился чрез Аугсбург в Мюнхен. В Мюнхене ждал меня окладной дождь; вследствие этой неприятности я решился весь первый день просидеть дома, и чтоб провести время с пользою, написал статью о парижском университете [92], которую потом переписал в Праге и отправил к Погодину, для напечатания в «Москвитянине», что и было исполнено. Это была вторая моя печатная статья, если не считать гимназической речи; первая же статья, которую я написал по требованию Погодина и оставил ему, уезжая за границу, была критика на венелинскую «Скандинавоманию»; я не знал, что Погодин ее напечатал и подписал под нею мое имя, — как, по возвращении из-за границы, попался мне в руки «Славянский сборник» Савельева-Ростиславича, где разругана, между прочим, и моя статья, а автор оной назван *пигмеем* [93]: это был мне первый подарок от русской критики.

Окончивши статью о парижском университете, я сошел вниз, в общую залу, поужинать, и, перебирая известия об иностранцах, нашел, к величайшему удовольствию, имя Александра Попова. На другой день я отправился к нему и введен был им в круг русских художников, из которых самый замечательный и самый прият-

ный, как человек, был Моллер[94]; замечателен был также гравер Степанов[95], который в загородных прогулках потешал нас своими шутками с немцами и немками. Степанов был руссофил, презирал немцев, смотрел на них, как на трусов, и уважал свой русский кулак, как несомненный признак превосходства. Проведши весело время в Мюнхене, в посещении глиптотеки, пинакотеки, дворца, церквей, проводивши с *эгоистическим* вздохом Попова, — потому что мне жаль было собственно не Попова, а досадно было, что он отправился пешком в Тироль, а оттуда в Италию, которую судьба заперла для меня, по крайней мере в молодости, — я выехал в Регенсбург, чтоб посмотреть Валгаллу[96]. Погода преследовала меня в Баварии: в Мюнхене почти не было ни одного светлого дня: меня утешали, что здесь это обыкновенная погода. В Регенсбург я приехал также в дождь; но делать было нечего: долго оставаться мне было нельзя здесь, и в окладной дождь я отправился в Валгаллу, по мокрым дорожкам, покрытым улитками, взобрался к знаменитому зданию; оно не поразило меня очень ни формою, ни внутренним содержанием; больше прельстило меня местоположение, хотя половина красоты его уничтожалась дурною погодою. В Регенсбурге с любопытством и тоскою смотрел я на зеленый Дунай: он тек к счастливым странам юга, а я должен был двигаться все на север да на запад! Видел древний собор, где мне показывали дорогие сосуды, — но этого добра у нас много и в России; водили меня и к тюремным погребам, для показания глубины которых чичероне зажигал бумагу и бросал вниз; показывали гнусную машину, на которой видны были еще остатки крови после пыток. Вечером, насмотревшись всех этих диковинок, выехал я в почтовой карете из Регенсбурга в Карлсбад; со мною поместилась дама пожилая, но очень приятная, с сыном, красивым молодым человеком лет двадцати. По языку я узнал, что это — поляки; по серой студенческой шинели они узнали, что я — русский; завязался разговор на французском языке; оказалось, что дама была литовская графиня Довьялло, разумеется, патриотка, живая, умная, образованная, приятная, вкрадчивая. Она жаловалась на несчастное состояние своего отечества, вспоминала славную старину литовскую, которую знала из истории Нарбута[97]; с ужасом говорила о впечатлении, какое произвела на нее регенсбургская тюрьма и орудия пытки, причем прибавила: «Меня ужасает, что наш век стремится все к старине, к этим средним векам, от которых остались нам такие страшные остатки». Я отвечал ей на это: «Зачем же вы сейчас так горячо заступались за католицизм: ведь возвращение к средним векам делается во имя последнего, и тюрьмы инквизиции были самые страшные, а католицизм может ли быть без инквизиции?» Она замолчала.

Приехавши в Карлсбад, я пробыл здесь недолгое время: Строгановы еще не приезжали, и не было надежды, чтобы приехали скоро, а потому я отправился в Прагу. Теперь я отправлялся в Прагу уже во второй раз; прошлого года я ездил туда на ко-

роткое время из Теплица, встретил там Попова, познакомился с Ганкою, Палацким[98] и только; Шафарика тогда не было в городе; теперь, взявши еще в Мюнхене от русских письма к «властенцам» (патриотам), я решился пробыть в Праге с неделю и ближе присмотреться к славянскому движению. Прежде всего, по письму я близко познакомился с молодым человеком, Лиманом, горячим властенцем[99]; он познакомил меня с другими себе подобными, ввел в трактир, где они обыкновенно собирались. Что касается до властенцев, то это были люди превосходные, чистые, добродушные; не на одного меня, но на всех русских производили они самое приятное впечатление, так что каждый, сблизившись с ними, уезжал из Праги с тоскою. Как люди партии, они жили одною мыслью, одною мечтою; горизонт их вследствие этого сузился; они не видали своего положения, не видали, что их очень мало, что народ равнодушен. Кроме трактира, они ввели меня в свои дома; я увидал их простую жизнь, ибо все это были люди недостаточные; познакомился с нравами их женщин, которые меня удивили: чешки — настоящие польки, живые, нецеремонные; в отношениях между полами господствует полная свобода; во время загородных прогулок, например, каждый мужчина берет к себе даму (т. е. девушку), идут под руку и говорят сладости. В один прекрасный день, в воскресенье, сговорившись, толпа властенцев и властенок, в том числе и я, вышла чем свет на загородную прогулку к св. Прокопу, в монастыре которого отправлялось некогда славянское богослужение, почему память его и стала священною для властенцев. Прогулка была восхитительная, по горам; возвратились поздно вечером; песням, властенского, разумеется, содержания, танцам — не было конца. Танцовал и я, — это было в последний раз в моей жизни. Возвратившись домой, я нашел в кармане несколько белых пряников с изображением льва: белый лев — герб Богемии, которого властенцы противопоставляют австрийскому орлу. Однажды я зашел к одному властенцу-рытцу, т. е. граверу; с восторгом на лице показал он мне только что оконченную работу свою: вырезан был орел, которого зубами за шею ухватил лев.

Что касается до знаменитостей чешских, то Ганка имеет чисто русскую физиономию, напоминает наших плутоватых управителей или ходатаев по делам; властенцы — либералы, и потому не любят Ганку за его пресмыкание пред русским правительством, за это благоговение к владимирскому ордену, который он имеет. Действительно, Ганка вовсе не отличается бескорыстием, какое я заметил в властенцах. Видевшись со мною не более трех, четырех раз, он уже обратился ко мне с просьбою, не могу ли я через министра Уварова (!!) выхлопотать ему место русского консула в Карлсбаде и Теплице, где летом бывает всегда так много русских! Палацкий — очень ловкий, учтивый, приятный человек в обращении, с приятною наружностью — вот все, что я мог заметить, посетивши его раз. Шафарик — высокая, серьезная, протестантская фигура; он мне напомнил схимников в наших монастырях,

которые, как к ним придет кто-нибудь, начинают заученную душеспасительную беседу; так и Шафарик, узнавши, что я русский, не дал мне и слова сказать, а начал говорить длинную иеремиаду о плачевном состоянии, в каком находятся они, западные славяне, и окончил тем, что единственное сокровище, оставшееся у них, это — язык: «Я твержу своим постоянно: сохраняйте язык — и с ним все сохраните.» Тем оканчивалась речь, или лекция.

Подобно всем русским, и я выехал из Праги с тоскою. На дороге развлек меня один забавный случай. Ехал со мною вместе какой-то француз, начал толковать о политике и, узнавши, что я русский, толковать о стремлении к панславизму: «Ведь это слияние довольно трудно, — говорил он, — потому что славянские народы не могут понимать друг друга, — например, вы, русские, не можете понимать чеха?» Мне захотелось подшутить над французом: «Как? — отвечал я, — русский может понимать чеха, и наоборот; вот вам доказательство: кучер у нас чех; я буду говорить с ним по-русски, а он будет мне отвечать по-чешски», и, обратившись к кучеру, я сказал ему что-то по-чешски, и тот мне отвечал. Француз, не понявши моей шутки, пришел в ужас: «Когда так, то Австрия, разумеется, погибнет!» — сказал он.

XII

Жизнь в Карлсбаде и Теплице (1844 г.) не представляла для меня ничего замечательного, днем — уроки, собственные занятия; вечером — одинокие прогулки по красивым окрестностям. По окончании вод богемских Строгановы решили, что графиня с семейством поедет еще в Ахен, на тамошние воды, а граф из Дрездена отправится в Петербург, где возьмет старшего сына Григория, выходящего из пажеского корпуса, и привезет его в Ахен, на короткое свидание с матерью, после чего опять — в Париж. Отъезд графа опростал для меня место в карете, и я отправился в Ахен вместе с Строгановыми. Вся дорога была мне хорошо известна; Ахен я также подробно рассмотрел прошлого года. Здесь жизнь моя была одинакова с жизнью на богемских водах; большой город представил мне только то удобство, что я мог записаться в библиотеку для чтения. Вздумал было я забраться в театр ахенский, будучи прельщен его красивостью. Давали комическую оперу — «Постильон де Лонгжюмо», которая так прекрасно шла в Париже; явилась на сцену рыжая немка; как она пела — я уже не помню; помню одно, что, пропевши что-то, она преспокойно пред всею публикою тяжеловесно плюнула на пол. Я бежал из театра и больше уже туда — ни ногой. Приехал граф с сыном; последний, очень похожий на мать, не имел в себе ничего строгановского: живой, болтун, шумиха, крепко пуст с кадетским образованием; красив, строен, но глаза ужасные, свинцовые большие; после он сделался знаменитым (это он был фаворитом, а после негласным мужем в[еликой] княгини Марии Николаевны). Чрез

несколько дней он уехал назад в Россию, а мы поднялись в Париж, я — особо. Жизнь моя эту зиму в Париже была совершенно сходна с прошлогоднею, только скучнее, ибо по воскресеньям не было моего постоянного сопутника, Сажина. В самый Светлый день приехал Попов и пробыл несколько недель.

Весною (1845 г.) Строгановы начали толковать опять, что и следующую зиму проведут в Париже; но я уже решил возвратиться в Россию: в Париже мне решительно нечего было более делать. Я написал два письма — одно к московскому Строганову, где объяснял ему невозможность оставаться долее в семействе его брата; другое — к Погодину, в котором объяснял ему мое положение и просил совета, думая, что он лучше других сообщит мне известия о делах университетских. Строганов отвечал мне, что нисколько не удерживает меня в Париже, но желал бы, чтоб я провел несколько времени в славянских странах, сблизился с главными представителями славянской науки. Ясно было, что Строганов хотел, чтоб я занял кафедру русской истории в Московском университете и знакомством с славянщиною на месте приобрел к тому больше средств и прав. Но я считал вовсе излишне для русской истории оставаться долее в славянских странах и, вместо чтения источников, услаждаться патриотическими жалобами Шафарика и Ганки и возгласами молодых властенцев; мне нужно было спешить готовится к магистерскому экзамену, притом же у меня не было денежных средств оставаться долее за границею.

Письмо Погодина поразило меня своею странностью: оно начиналось и оканчивалось сильными выражениями благодарности за доверие, которое я ему оказывал; чудак, непривыкший, чтобы ему оказывали доверие, счел за нужное благодарить молодого человека, который, по неопытности своей, никак не мог понять, за что благодарят его. И тут же, двусмысленностью ответа, неуменьем отплатить доверенностью за доверенность, Погодин давал мне знать, что я действительно сделал глупость, обратившись к нему. Он писал, что оставил кафедру, что хочет ехать в Швецию — заниматься варяжским периодом, в южную Сибирь — для занятий монгольским периодом; что мне нужно было бы возвратиться в Россию для занятий русскою историею, но и пожить подольше за границею было бы также очень полезно; что во всяком случае место адъюнкта будет мне готово. Если он вышел из университета, если кафедра опросталась, и я должен занять ее, то я должен спешить для этого в Россию; какая же мне польза оставаться за границею, когда я уже пробыл здесь два года? И что значит, что мне будет готово место *адъюнкта*? — После все объяснилось.

Понятно, что такое письмо только усилило во мне желание выйти из темноты поспешным возвращением в Россию. Лето я хотел употребить на путешествие по тем частям Германии, где еще не был. Из Парижа отправился я в дилижансе в Мец, отсюда на пароходе по Мозелю и потом по Рейну в Мангейм, из

Мангейма по железной дороге в Гейдельберг. Приехавши сюда ночью, на другой день отправился в университет — узнать, когда и где читают три профессора, которых мне хотелось слышать, — Крейцер, Рау и Шлоссер[100]. Крейцер, по старости, читал у себя на дому; я отправился туда и отрекомендовался автору «Символики», дряхлому, очень невзрачному старику в рыжем парике; начали приходить студенты; Крейцер стал читать, и я сначала поражен был очень неприятно неуважением студентов к профессору и к своему делу: они шумели, смеялись под носом у Крейцера. Старик читал о развитии чувства изящного у греков — «tritum per tritum» *; но когда дело дошло до знаменитого места в «Илиаде», где троянские старцы изумляются красоте Елены, старик Крейцер сам превратился в троянского старца, как будто бы увидал пред собою Елену и прочел место с большим чувством. Что касается до двух других гейдельбергских знаменитостей, Рау и Шлоссера, то первый читает очень сухо и скучно, а второй, напротив, очень живо, смешит студентов анекдотцами; он мне показался еще очень свежим старичком.

На лекции у Крейцера познакомился я с русским студентом Благовещенским[101], воспитанником педагогического института, бывшим потом профессором в Казани и Петербурге. Это был еще молоденький, красивенький мальчик, не обещавший многого. Благовещенский познакомил меня с своим товарищем Мейером[102], который и тут был тем же, чем после, работал страшно много — и только; наконец, третий русский, которого я встретил здесь, был Вернадский[103], присланный от киевского университета. И этот явился передо мною здесь точно таким же, каким я знал его после в Москве: человек живой, не без дарований, без крепких убеждений и невыносимо наглый; не имея способности крепко вдумываться во что бы то ни стало, не находя большого интереса в самих явлениях без отношения к себе, он позволял себе очень часто высказывать нелепости, и если кто осмелится заметить, что это нелепость, вступить в спор, то Вернадский выходит из себя, кричит, громоздит нелепость на нелепость и, чтобы поддержать первую нелепость, говорит дерзости противнику. Вообще, это был один из самых неприятных, самых отталкивающих людей, каких только я встречал.

Вторую половину лета провел я с Строгановыми на богемских водах, в Карлсбаде и Теплице, в Дрездене простился с ними и через Берлин, где провел только одну ночь, отправился по железной дороге в Свинемюнде, где сел на пароход и в начале сентября приехал в Петербург. Здесь провел несколько дней, чтоб исполнить некоторые поручения Строгановых, и в дилижансе отправился в Москву. Сергей Строганов встретил меня как нельзя лучше, сказал, что место для меня очищено выходом Погодина, чтоб я приготовлялся к магистерскому экзамену, успешное выдержание которого даст мне право на кафедру, объявил мне, что

* тертое — перетертое (*лат.*).

брат его Александр остался мною чрезвычайно доволен. Но это довольство скоро прекратилось — вот по какому случаю. Однажды, сидя со мною наедине в комнате, граф вдруг спросил меня: «Скажите, пожалуйста, справедливы ли слухи, которые носятся здесь, что графиня Наталья Викторовна приняла католицизм?» Застигнутый врасплох, я начал обходить решительный ответ; Строганов настаивал; что мне было делать? Я видел перед собою человека, которого уже считал своим благодетелем, не имел никакой причины не желать добра и Александру, и решился сказать все, что знал, именно все то, что изложено мною выше. Строганов все это написал брату, с извещением быть осторожнее. Александр, получивши это письмо, сильно рассердился на меня, как на человека, наябедничавшего брату на него и на жену его; из его ответного письма Сергей сказал мне одно: «Брат пишет, что вы их не поняли». — «Чего же тут не понять, — отвечал я ему, — разве я сказал вам больше того, что говорят другие русские?» Сергей-то очень хорошо знал, что я в своем рассказе очень уменьшил рассказы, в которых ходили слухи относительно поведения графини — религиозного и нравственного, и потому принял мою сторону и сердился на брата, который не умел понять дела; но тот не переставал сердиться на меня и, возвратившись в Петербург, не упускал случая срывать свое сердце; вооружился против моей ученой репутации, кричал, что я человек недаровитый, и потому не могу оказать больших услуг науке; что я, находяся в Париже, занимался вовсе не тем, чем бы следовало; когда начала выходить моя «История», находил удовольствие писать брату длинные письма, в которых ругал сочинение. Сергей обыкновенно объявлял мне об этом в таких выражениях: «Вон какое длинное письмо написал брат о вашей книге! Он до вас не охотник, но он не знает настоящего положения науки, судит по-старому». Только после выхода пятого тома Сергей сказал мне: «Брат пишет, что прочел ваш пятый том, но не прибавляет никакого об нем суждения».

Я начал готовиться к экзамену, т. е. стал писать диссертацию. Выбрал тему: княжение Иоанна III-го; прежде всего начал заниматься Новгородом и увидал, что для понимания последних судеб Новгорода, последних отношений его к московскому государю необходимо представить полную историю его отношений к великим князьям, и, таким образом, вместо диссертации от Иоанне III-м вышла диссертация об отношениях Новгорода к великим князьям. Что касается до экзамена, то я перечитывал выписки, сделанные мною прежде из всего прочтенного, и этого было достаточно; из народного права приготовиться было легко по одной книжке, по Клюберу, из древней географии — также по Энциклопедии Древностей Гофмана; из новой беспокоиться было нечего: экзаменовать должен был Ефремов, мой берлинский знакомец, который получил в это время звание приват-доцента географии при университете; оставались политическая экономия и статистика; я решился из этих предметов ограничиться старыми лекциями

Чивилева и историею политической экономии Бланки, а между тем отправился к Чивилеву с целью представить ему, что мой магистерский экзамен не может быть обыкновенным экзаменом, что моя цель показать способность свою занять кафедру русской истории, для чего будет служить хорошая диссертация; а чтобы написать хорошую диссертацию, нужно употребить на нее все время, а не тратить его на предметы чуждые. Мне хотелось побудить Чивилева определить мне, из каких предметов именно он предложит мне вопросы. Но Чивилев встретил меня очень сухо, и когда я спросил, что мне нужно приготовить для экзамена, то он отвечал, что если я прочту все книги по политической экономии и статистике, которые он рекомендовал нам на лекциях, то этого будет достаточно. Я знал и без него, что так должно было сделать, но знал, что это невозможно, и потому не прибавил ничего к его лекциям по Бланки и продолжал по-прежнему употреблять большую часть дня на диссертацию.

Причина нелюбезности Чивилева, не хотевшего оказать ни малейшего внимания к моему положению, заключалась в том, что все профессора так называемой, западной партии были против меня: они были очень рады, что избавились от Погодина и, считая меня его клиентом, вовсе не хотели обуваться из сапогов в лапти, пускать к себе другого, молодого славянофила; а что я не был славянофилом, они этого не знали, потому что я ни к кому из них не ходил, а статья моя о парижском университете, напечатанная в «Москвитянине», была в славянофильском духе: я уже, кажется, говорил, что в университете и за границею я был действительно жаркий славянофил, и только пристальное занятие русскою историею спасло меня от славянофильства и ввело мой патриотизм в должные пределы.

Итак, против меня готовилось сильное сопротивление; на кого же я мог опереться, в ком искать защиты против профессоров западной стороны, могущественных своим единством, достоинствами, силою у попечителя? На славянофилов? — Но и с ними я не был знаком, они меня вовсе не знали; притом в университете у них был один представитель — Шевырев, бессильный по одинокости и по неуважению начальства и товарищей [104].

XIII

В январе месяце 1845 года начались мои экзамены. Первый был из всеобщей истории. Перед началом экзамена Грановский подошел ко мне с упреком, зачем я не переговорил насчет вопросов, и просил меня указать ему предметы, о которых я желаю получить вопросы. Я отвечал, что выбрал бы вопрос о реформации; на это Грановский заметил, что предмет — щекотливый, особенно неловко будет трактовать о нем в присутствии Строганова; тогда я отвечал, что если нельзя отвечать о реформации, которою я в недавнее время особенно занимался, то пусть сам назначит

вопросы, ибо мне все равно. Он мне назначил первый вопрос из истории Франции о первых Капетингах; второй — из истории Испании — позабыл уже, что именно; касательно же третьего Грановский предложил вопрос о развитии русской и западной летописи; я заметил, что вопрос мне не нравился; но Грановский настаивал — и я согласился. Причина такого настаивания со стороны Грановского была та, что славянофилы, органом которых в это время был Шевырев, провозглашали, что русская летопись выше западной, ибо в последней выходит наружу личность летописца, тогда как в русской этого вовсе нет; поэтому западным очень хотелось знать, как я решу этот вопрос.

Моя начитанность в истории, особенно во французской, дала мне возможность и не приготовившись отвечать вполне удовлетворительно; Грановский не мог не признать этого, и в отметке написал, что я обнаружил обширную начитанность, но прибавил, что я затрудняюсь в изложении — намек, что у меня нет способности к занятию профессорской кафедры. Второй экзамен был из русской истории; положено было пригласить старого профессора, Погодина; Погодин явился и, не сказавши мне ни слова, задал вопрос: изложить историю отношений России к Польше с древнейших времен до последних времен. Я не хочу думать, чтоб вопрос этот был задан злонамеренно; гораздо вероятнее для меня, что вопрос такой был выбран просто по научной бестактности, которою отличался Погодин. Прежде всего, разумеется, я должен был ответить кратко, ибо говорить подробно — для этого недостало бы целого дня, не только вечера; но с другой стороны, я должен был показать свои знания в подробностях русской истории. Неприготовленный, не имея возможности, времени обдумать, как выйти из затруднительного положения, я начал бросаться в сторону, чтоб показывать свое знание собственно в русской истории, но Погодин не давал мне этого делать, сейчас же замечал, что я вдаюсь в ненужные подробности, не идущие прямо к делу; и таким образом я проболтал целый вечер, протягивая чрез девять веков отношения России к Польше. Да не забудется, что для сколько-нибудь удовлетворительного решения этого вопроса тогда не сделано было ничего, что для этого сделал я же вследствие почти двадцатилетних трудов по неизвестным архивным источникам. Погодин объявил, что я отвечал удовлетворительно[105]; но западники провозгласили, — разумеется, не в заседании, — что вопрос и ответ были гимназические, а не магистерские, и из ответа моего вовсе нельзя заключить о моей способности к занятию профессорской кафедры: заключение совершенно справедливое! Третий экзамен, особенно экзамен из статистики, был совершенно неудачный: Чивилев предложил мне вопрос, которым подробно я именно не успел заняться перед этим, — вопрос о русской торговле.

Эти неудачи мои заставили Погодина и Шевырева действовать решительнее для приведения в исполнение своих замыслов, т. е. для введения Погодина опять в университет. С самого приезда

моего из-за границы, видясь с Погодиным, я замечал, что он сильно жалеет о своем выходе из университета и сильно зол на университетское начальство[106], зачем оно не просило его остаться: «Вот и Шафарик пишет, зачем я так рано оставил университет; вот и Антонский[107] говорит: «Рано, рано в отставку!» — пел он мне по вечерам, когда я к нему приезжал. Когда я ему сказал, что уже начал писать диссертацию, именно об Иване III, то он мне сказал на это: «А почему бы вам не заняться окончательным решением вопроса о варягах?» Я отвечал, что считаю вопрос решенным, и нахожу больше интереса в позднейших явлениях. Потом он мне однажды заметил: «Что же вы пишете диссертацию и со мной об ней никогда не поговорите, не посоветуетесь?» Я отвечал: «Я не нахожу приличным советоваться, потому что хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию — она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, то она не будет уже вполне моя.» — «Что же за беда! — отвечал Погодин. — Мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством.» Я ничего не отвечал на это, но всякий поймет, что затаилось в душе моей после этого разговора.

Перед началом экзаменов я как-то зашел к Давыдову, как декану. Давыдов с нахмуренным лицом вдруг спросил меня: «Что же это значит? Михаил Петрович Погодин хочет опять войти в университет! Что же, вы-то при чем останетесь: ведь мы имеем вас в виду». Озадаченный этими словами, я отвечал, что ничего не знаю, что это — дело университета: как он решит, так и будет. Давыдов, по природе своей, заподозрил слова мои в неискренности, заподозрил, что у меня с Погодиным стачка, и так как он не любил Погодина по соперничеству в милостях Уварова, и как не любил всех, кто был покрупнее, был очень доволен выходом его из университета, то начал смотреть на меня как на погодинского клиента, с которым вместе хочет войти и Погодин опять в университет. После неудачного экзамена я пришел к Строганову, не помню, сам ли или он меня позвал. Он встретил меня жалобами на мой неудачный экзамен. Я рассказал ему прямо причины моей неудачи, прямо объявил, что, имея в виду кафедру русской истории, я счел нелепым, вместо того, чтоб спешить главным, диссертацией, которая должна показать мои права на кафедру пред всею ученою Россиею, заниматься статистическими подробностями; что же касается до нелепого вопроса в русской истории, то, конечно, я в нем не виноват. «Экзамен прошел, — продолжал я, — остается диссертация, которуя я подам немедленно, — она решит все, а против интриг я действовать не умею». — «Против каких интриг?» — возразил Строганов. «Считаю неприличным, — отвечал я, — распространяться теперь об этом; если ваше сиятельство еще ничего не знаете, то скоро все узнаете: у меня есть соперник — кто — об этом я вам теперь не скажу». Строганов, как видно, знал об интригах Погодина и Шевырева, и очень был рад услыхать от меня, что я смотрю на это дело, как на интригу, против меня направленную; из тона негодования,

досады, с которыми я говорил ему об этом, он понял, что я в этой интриге участвовать не могу, не подставляю своих плеч, чтоб внести Погодина в университет. Строганов тотчас переменил тон, стал меня ободрять, повторял, что главное — диссертация, а не экзамен, и мы расстались очень хорошо.

Я, действительно, скоро, как мне помнится, в начале великого поста, подал диссертацию; Давыдов переслал ее к Погодину, у которого она и оставалась в продолжение всего поста и после Святой недели. В это время я по-прежнему ни с кем не видался. В четверг на Страстной неделе пошел я гулять и на Арбате встретился с Грановским и Кавелиным [108], которые шли куда-то вместе. Грановский с насмешливою улыбкою спросил у меня: «Что же ваша диссертация?» — «Давно подана», — отвечал я, удивленный таким вопросом от секретаря факультета, которым был тогда Грановский. «Как подана? — возразил Грановский, не изменяя насмешливой улыбки. — Никто на факультете об ней не знает». Я отвечал, что Давыдов обещал отправить ее к Погодину. «А! это дело другое,» — сказал Грановский, и мы с ним расстались.

Не помню на какой неделе после Пасхи я отправился к Погодину и решился сказать ему, чтоб он возвратил, наконец, диссертацию. На эту просьбу мою Погодин отвечал такою речью: «Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз при первом опыте выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша, как магистерская, очень хороша, но как *профессорская* — вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы, точно так, как в сочинениях Беляева [109]; повторяю: труд прекрасный, как магистерская диссертация; но как профессорская — не годится». — «Михайло Петрович, — отвечал я, — о профессорской диссертации тут и речи быть не может; моя цель — кончить поскорее с магистерством и ехать в Петербург, искать места. Если вы находите, что диссертация, как магистерская, удовлетворительна, то сделайте одолжение, напишите это, чтоб после факультет вас уже более не беспокоил». Погодин стал отнекиваться, говорить, что подпишет просто — *читал*; но дело было для меня слишком важно, и видел я очень ясно, с каким человеком имею дело, а потому я настаивал: «Если вы говорите прямо, что диссертация удовлетворительна, то почему вы не хотите этого написать?» Погодин уступил и написал на диссертации: «Читал и одобряю».

Чувство радости, что наконец выручил свою диссертацию, боролось во мне с чувством негодования, когда я вырвался от Погодина и шел по Девичьему Полю домой (жил я тогда по-прежнему у отца на Стоженке, в коммерческом училище). «Подлец!» — повторял я снова и снова, идя по Полю. Но гораздо более должно было удивляться глупости этого человека, который не умел скрыть своей мысли, своего желания: «Диссертация, как магистерская,

хороша, а как профессорская — не годится»; это значило уже слишком ясно: «Магистром-то ты будь, пожалуй, а профессором-то погоди, — я хочу сам быть на этом месте; а ты, если пойдешь ко мне в мальчики, то будешь адъюнктом». Повторять в мыслях последнее я имел право: прежде как-то зашел у нас разговор с Погодиным об адъюнктстве, и он прямо высказал мне, что под этим разумеет: «Вот, если бы я был опять профессором, а вы у меня — адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне не поздоровилось или так почему-нибудь я не был бы расположен читать, то я бы дал вам знать, о чем следует читать, и вы бы эту лекцию прочли за меня». Зная характер Погодина, его громадное высокомерие, властолюбие и отсутствие деликатности в обращении с низшими, зависимыми людьми, я видел, какое страшное рабство предстояло мне, и, разумеется, никак не мог согласиться на подобные отношения.

На другой день поутру я отвез диссертацию опять к Давыдову, который передал ее Грановскому. Грановский, не считая себя судьею в деле, передал ее Кавелину, чтобы тот сказал о ней свое мнение. Кавелин прочел и, по впечатлительности своей, восплясал от радости, найдя в ней совершенно противное славянофильскому образу мыслей [110]. Он объявил Грановскому и всем своим то, что после объявил печатно в «Отечественных записках» [111], а именно то, что диссертация моя составляет эпоху в науке, вследствие чего вся западная партия обратилась ко мне с распростертыми объятиями. Когда я приехал к Грановскому за диссертациею, то он встретил меня комплиментами и прямо объявил, что свое суждение основывает на суждении Кавелина. «Ну, а что Погодин говорит о диссертации?» — спросил меня Грановский. Я передал ему знаменитые слова об отношении диссертации к магистерству и профессорству. «Подлец!» — сказал на это Грановский; я не стал ему противоречить.

Но если был рад я такому обороту дела, то чуть ли не больше был рад ему Строганов; с восторгом слушал он похвалы моему труду от тех людей, которые прежде отзывались обо мне не очень привлекательно. Еще приятнее было слышать ему, что диссертация моя не славянофильская и даже антиславянофильская, что Погодин интриговал, что можно дать щелчок этому антипатичному господину и заменить его в университете человеком достойным. Когда я пришел к нему, то он сказал, чтоб я готовился к лекциям, что я, разумеется, не приминул исполнить. Но при таком приятном виде на будущее, которое мне открывалось, отношения к Погодину меня страшно тяготили: я еще не успел на него тогда озлиться; успех дела, приятное чувство, которое наполняло мою душу, выгоняло из нее злость; я не считал себя вправе порвать все сношения с человеком за то только, что он объявил мою диссертацию недостойною профессорской кафедры. Но если не порвать, то тяжело с ним видеться: дело было ясно, что он хотел сам получить обратно кафедру, но что Строганов и западные противопоставляют меня ему, что я делаюсь орудием

в руках его врагов, или, по крайней мере, он должен смотреть на меня так. Чтоб выйти, по крайней мере на время, из такого неприятного положения, я решился действовать прямо и открыто: пошел к Погодину и сказал ему, что я знаю, что он хочет занять опять кафедру русской истории, но Строганов велел мне приготовляться к лекциям, и потому пусть он, Погодин, принимает свои меры. Погодин отвечал мне: «Не знаю, чего хочет Строганов? Хочет ли он, чтоб вы были при мне адъюнктом, или при комнибудь другом? Слышал я, что он думал о переводе сюда Иванова[112] из Казани; может быть, он хочет, чтобы вы при Иванове были адъюнктом». Это была новая гадость со стороны Погодина, которому хотелось колоть меня тем, что, во всяком случае, с ним ли, с другим ли, но я могу быть только адъюнктом. Вообще, свидание было очень сухо; я видел ясно, что моя открытость не помогла, что добром не кончить с этим человеком. Зашел я к нему еще раз — прием еще суше.

Между тем июль месяц подходил к концу: 29 июля, в пятницу, Давыдов собрал факультет и объявил, что в нем находятся две вакантные кафедры, кафедра философии и кафедра русской истории, и что попечитель предлагает двоих кандидатов: для первой — Каткова, а для второй — Соловьева; как думает факультет об этих лицах? Относительно Каткова выбор был единогласен; но когда дело дошло до меня, то Шевырев объявил, что странно будет факультету выбирать на такую важную кафедру молодого, ничем неизвестного человека, когда знаменитый ученый М. П. Погодин, чувствуя, что здоровье его поправилось, желает опять занять прежнюю кафедру. Начался спор; все остальные члены факультета были за меня, и наконец, порешили на том, что меня выбрать, а декану Давыдову поручить снестись с Погодиным, на каких условиях он хочет читать опять в университете. Давыдов, которому никак не хотелось впустить Погодина опять в университет, опираясь на несогласие попечителя и факультета, предложил Погодину, что он может читать в университете без всякого вознаграждения и без всякого официального значения, как приватдоцент, — для желающих. Погодин отвечал на это предложение грубым письмом в факультет, и тем дело кончилось.

В сентябре 1845 года я начал лекции. Читал я по три часа на третьем курсе словесного факультета и еще три часа на первом курсе юридического, повторяя те же самые лекции. Первые две лекции, заключавшие в себе обзор всей русской истории, произвели благоприятное впечатление. Грановский, пользовавшийся большим авторитетом, сказал: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки». Понятно, какое значение имели для меня на первых порах эти слова; ими Грановский привязал меня к себе навсегда, на всю жизнь счел я себя ему обязанным. Строганов, слыша одобрения, сказал: «Дай бог, чтоб Погодин кончил так, как этот начал». В октябре был мой диспут. Приехал Погодин и учинил неслыханное дело: предложивши возражения, он объявил, что ответов моих на свои воз-

ражения он не хочет и не обратит на них никакого внимания, что он приехал не за тем, чтоб спорить со мной, а только изложить свое мнение насчет диссертации: приступ блестящий, но главное положение о новом порядке вещей на севере вследствие преобладания новых городов над старыми — неверно. Давыдов, обратясь ко мне, сказал, что хотя Михаил Петрович и не хочет слушать моих ответов, но, по порядку, заведенному на диспутах, я должен защищаться, и я начал опровергать возражение Погодина, что было мне очень неудобно, ибо возражение это было предложено голословно; говоря, я обращался не к Погодину, но ко всем присутствующим. Потом возражали: Грановский, Бодянский, Кавелин, Калачов, Давыдов, Шевырев. Грановский возразил не помню что, что-то пустое, ибо он, несчастный, вовсе не зная русской истории, обязан был возражать как официальный оппонент. Бодянский, чтоб насолить Погодину, с которым он перед тем поругался [113], превознес мою диссертацию до небес; Кавелин заметил что-то насчет судебного значения веча; что возражал Калачов — я не понял: это уже мое несчастие — никогда не понимать Калачова; Давыдов спросил, зачем я не распространился о значении владыки в Новгороде? Шевырев — зачем я не упомянул о Карамзине, ибо сей великий историк, как выразился ритор, усеял свою историю плодотворными мыслями, которые нам стоит только подбирать и развивать. Наконец, диспут кончился со славою для меня.

В академический год 1845—1846 я успел прочесть только до смерти Ивана Грозного; из этих лекций я составил другую, докторскую диссертацию под названием: «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», которую на вакации 1846 года приготовил к печати. Между тем, первая диссертация о Новгороде доставила мне ученую известность, оправдала выбор университета; Кавелин в «Отечественных записках» объявил, что она составляет эпоху в русской исторической литературе. Были недовольные моим успехом, но еще молчали; молчал Погодин печатно, но действовал министр Уваров: ему досадно было, что его клиент Погодин обойден, и Строганов поместил своего, да что еще хуже — порядочного человека, который делает честь его выбору. Мелкодушие Уварова обнаружилось тотчас же: по окончании моего диспута, Строганов представил меня и Каткова в адъюнкты, как магистров: Уваров утвердил Каткова адъюнктом, а меня — исправляющим должность адъюнкта, ибо Катков не был строгановский, подобно мне, и вступал в университет, не отстраняя никого уваровского. Мне было очень досадно: так же досадно, как неполучение первого кандидатства: это была первая неудача по службе, начало держания меня в черном теле, непризнание моих трудов, что преследует меня до сих пор (писано 1-го сентября 1857 года). Но, «Господи, ты сохраниши мя и соблюдеши от рода сего и до век!»

В моей досаде я немного утешился, когда, вследствие утверждения моего, в декабре месяце я получил жалованье за четыре

месяца с начала курса, — первое жалованье, и как оно мне было нужно! Из-за границы я привез с собою несколько денег, которые употребил на заведение маленькой, необходимой для меня библиотеки по русской истории; но надобно было жить целый год без жалованья; я взял один урок, только один, чтоб не развлекаться; но к осени, именно, когда нужно было начинать лекции, печатать диссертацию, шить мундирный фрак, денег у меня не было, ибо урок прекратился вступлением моего воспитанника в университет. Я принужден был идти к Строганову и занять у него 300 рублей ассигнациями, на что и была напечатана диссертация. Строганов, увидев из этого, что я нуждаюсь, предложил мне давать уроки из русской истории его сыну, приготовлявшемуся в университет. Этим я жил до декабря, то есть на это я покупал книги, имея квартиру и стол даром у отца; получение жалованья в декабре особенно обрадовало меня, потому что я мог отдать долг Строганову.

В конце года (1845) я отправился к Погодину, у которого не был с сентября, когда отвез ему два экземпляра моей диссертации. И самому мне было тяжело ехать к нему после поступка его на диспуте, да и ему хотел я дать время уходиться. Приехал, был принят ласково, сидел довольно долго; потом приехал в другой раз, был принят почти так же; в это самое время принесли ему с почты пакет, заключавший его похвальное слово Карамзину, допущенное наконец, после долгого рассматривания и вычеркивания в Петербурге, к печати. Погодин очень обрадовался и вдруг обратился ко мне с такими словами: «Ну, теперь сердце мое полно, и я пользуюсь случаем объясниться с вами. Ваши два приезда ко мне произвели на меня приятное впечатление; и я подумал: молодой человек еще не огрубел, чувство есть, но, скажите, разве хорошо вы со мною поступили?» — «Вы прежде скажите мне, что дурного сделал я в отношении к вам?» — отвечал я, и думал, что он войдет в объяснения относительно своего отстранения от кафедры; но какие же обвинения я вдруг услышал: «Вы мне привезли экземпляр своей диссертации без всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали, — какому-нибудь Ефремову, и тому надписали.» — «Но видели ли вы экземпляры моей диссертации у членов факультета? — спросил я. — Ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог дать и не дать, тогда как лицам официальным, каковы члены факультета, я обязан был дать экземпляр; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар; вас я причисляю также к лицам официальным, ибо вы были экзаменатором; но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью очень для вас лестною, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка между нас не пробежала». — «А это хорошо с вашей стороны, — продолжал Погодин, — начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике?» — «Решительно в голову не пришло», — отвечал я. Действительно, в голову не

пришло, а если бы пришло, то я очутился бы в крайнем затруднении: что я мог сказать хорошего о Погодине как о профессоре? Такие пустяки выставил против меня Погодин; относительно же первого дела, именно столкновения по кафедре, он не вдавался в подробности, сказал только: «Отец у вас священник: он должен был бы показать вам, как дурно вы со мною поступили.» — «О, что касается до моего отца, — отвечал я, — то, конечно, он сердился на вас гораздо больше, чем я сам: старик дождался единственного сына из-за границы, открылась возможность, чтоб этот сын остался при нем в Москве, на почетном и обеспечивающем месте, и вдруг он слышит — вы, старый и не нуждающийся больше ни в каком месте человек, перебиваете место у его сына!..» Покричавши таким образом несколько времени, мы расстались, впрочем без горечи, и я продолжал иногда бывать у него.

Летом я нанял дачу в Давыдкове, чтоб быть поближе к Кунцову, где жил Строганов, сыну которого я продолжал давать уроки. Лето провел я тихо, хорошо, обрабатывал окончательно докторскую диссертацию, будущее улыбалось, но в конце дачной жизни, в августе, неприятно поразила меня знаменитая крыловская история.

XIV

Я упоминал о Крылове. Это был человек с большими способностями, с головою необыкновенно светлою, с блистательным даром изложения, художественного, пластичного, с оригинальностью, странностью в речи, которая нисколько не вредила, однако, благоприятному впечатлению, ею производимому. Но Крылов служил ясным доказательством тому, как мало значат, как бесплодны умственные способности без основы нравственной. Это был человек чистый от всяких убеждений, нравственных и научных, ибо способность иметь последние показывает также нравственные требования в человеке, вступившем в ученое сословие. Как человеку с блестящими способностями — школьная наука, разумеется, далась ему; как отличный ученик духовной академии, он был отправлен к Сперанскому во II-е отделение, потом за границу, помещен профессором в Москву совершенно без спроса с внутренним призванием; да если б спрос и был сделан, то ответа не последовало бы, ибо ни к чему призвания не было. Крылов был сделан профессором римского права, очаровал слушателей блестящим изложением писанного разума, но, не имея никакого влечения к науке, он за нею не следил, чем объясняются те грубые ошибки, которые он позволил себе позже, в 1857 г.[114], когда ученая Немезида устремила его на литературное поприще. Странно было слушать этого человека: какая-то великолепная логическая машина, мысль с мыслью цепляются, излагаются в блестящей форме, но жизни, духа, внутренней, теплой связи нет, — цепляются мысли друг с другом чисто внешним образом; впечатление,

производимое разговаривающим Крыловым, было совершенно тождественно с впечатлением, производимым музыкальною машиною, разыгрывающею произведения великих мастеров: хорошо, но жизни нет; неодушевленные существа играют. Но, разумеется, подметить скоро этот характер речи Крылова было нелегко, и потому Крылов очаровал своих товарищей, которые вместе с ним поместились в Московском университете, очаровал Строганова.

Когда я приехал в университет и определился в нем, Крылов был деканом юридического факультета, слыл за самого умного, распорядительного профессора, был вместе с Грановским столпом западной партии в университете, особенно по смерти Крюкова, последовавшей весною 1845 года. Не имея никакой нравственной основы, Крылов, разумеется, способен был на всякое безнравственное дело. Так, сделавшись деканом, пользуясь огромным авторитетом, Крылов начал брать взятки, о чем пронесся слух по Москве; приятели его, члены одного кружка, были так пристрастны, что не поверили им или притворились неповерившими. Так, когда я приехал в Москву из-за границы и свиделся с госпожею Благовою, у которой я прежде учил сына и, по приезде, стал доканчивать приготовление его в университет, то она прямо сказала мне, что для беспрепятственного помещения ее сына в студенты надобно дать взятку, именно, декану Крылову; я начал возражать ей с сердцем, что этого быть не может в университете, но она отвечала мне, что это дело слишком хорошо известно. Вступивши в университет, я пришел как-то к Грановскому посоветоваться с ним о разных делах. Грановский сказал мне: «Я бы посоветовал вам съездить к Крылову.» — «Тимофей Николаевич, — отвечал я, — об нем идут дурные слухи: говорят, что он взяточник». — «Это вздор», — сказал мне Грановский, и я обрадовался этому возражению, и поехал к Крылову, и ездил к нему в продолжение зимы довольно часто; кажется, по средам каждую неделю у него бывали вечера, на которых было довольно весело. Крылов, года два перед тем, женился на прехорошенькой женщине, одной из многих девиц Корш. Семейство это было еврейского происхождения, что сильно отражалось в чертах лица мужчин и женщин; на младшей сестре женился Кавелин, на третьей ловили меня, но на мое счастье эта третья была хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика, — очаровать, следовательно, меня было нечем. Из многих братьев этих многих сестриц Корш самый замечательный был Евгений: редактор «Московских ведомостей» в описываемое время, человек необыкновенно остроумный, с громадной начитанностью, пресимпатичная натура, хотя ленивая, чересчур мягкая, как улитка, скрывающаяся в свою раковину при всяком столкновении, требующем хотя сколько-нибудь энергии, твердости; он был приятель Грановскому, один из самых видных членов в западном кружке.

И вот Крылов женился на его сестре; между Вулканом и Венерой, конечно, не было большей противоположности, чем у Крылова с его супругою: она, как я уже сказал, прехорошенькая,

даже красавица, с глазами восхитительными, он — маленький человек, с самыми неприятными, отталкивающими чертами лица, с глазами, обыкновенно имеющими какое-то ядовитое, хищное выражение. Но одно наружное безобразие — это бы еще ничего, иногда женщины не обращают на него внимания; но Крылов, опять вследствие отсутствия всякого нравственного начала, несмотря на свой ум и на то гуманное общество, в котором находился, не умел стереть с себя нисколько деревенской и семинарской грязи, являлся олицетворенною грубостью, грязью, особенно там, где ему не нужно было себя сдерживать внешними отношениями, т. е. дома, когда он был в халате, — внутреннего же стеснения перед женою, как перед женщиною, он не знал; ласки его были возмутительны, а когда он был не в духе, то цинизм в присутствии жены доходил до невообразимой степени, — он не удерживался от площадной брани, от самых неделикатных упреков. Молодая женщина долго терпела; наконец, в августе 1846 года, на даче в Ивановке произошла сцена, которая переполнила чашу: при содействии младшего брата своего, студента Валентина Корша, она бежала от мужа к сестре своей Кавелиной, и объявила родственникам и приятелям о поведении Крылова относительно ее, представила несомненные доказательства его взяточничества. Кавелин, Корш, Грановский, Редкин и весь западный кружок вооружились и объявили, что если Крылов останется в университете, то они выйдут из службы, ибо со взяточником, позорящим профессорское звание, они служить не хотят.

Попечителя Строганова в это время не было в Москве; приехавши в Москву и узнавши дело, он сильно рассердился: скандал в Московском университете, гадкая история между людьми, которых он уважал, которыми он гордился, хвастался, торжество ненавидимых славянофилов, которые возликовали от скандала между западниками, — все это его очень раздосадовало, и он прежде всего высказал свою досаду против Кавелина с товарищи, приписывая им, по крайней мере, необдуманность, ребячество, ибо самолюбие заставляло его сначала не верить тому, что они говорили против Крылова, которого он облек полною своею доверенностью. Но потом, благодаря особенно помощнику своему Голохвастову, который знал все очень хорошо, он убедился в справедливости обвинений на Крылова во взяточничестве, и повернулся к нему спиною; но все это дело продолжалось целый год, до самого выхода Строганова в ноябре 1847 года. Что же делал в это время Крылов? Он выказал всю мелочность и грязность своей душонки: сначала был ошеломлен, впал в отчаяние, перестал ходить на лекции; потом начал подличать, доносить на своих товарищей, что они безбожники, развратники и проч., рассказывать то же самое про свою жену и ее братьев; ездил с этими доносами к Филарету, перекинулся к Погодину, притворился православным русским человеком; здесь уже было положено начало его славянофильству, т. е. сближению с славянофилами, хотя в это время он сблизился собственно только с Погодиным, ибо

другие славянофилы, ходившие тогда еще в белых перчатках, отворачивались от него вследствие обвинений во взяточничестве[115]; тут же повернул к востоку и Лешков[116].

Лешков, воспитанник педагогического института и посланный за границу, назначен был в Московский университет по кафедре народного права и приехал позднее, чем первая партия заграничных, т. е. Крылов, Редкин, Крюков и другие. Это был человек трудолюбивый, но бездарный и тупой. Он прицепился к кругу заграничников, западников, отдался в услужение Крылову, который за верную службу стал двигать его вперед, смеясь, впрочем, в глаза и за глаза над его тупоумием; он, благодаря могуществу своей партии и Строганову, очень скоро выдвинул его в ординарные профессоры, с нарушением права других. Лешков остался ему за это благодарен, и когда случилась описанная история, то он один из профессоров юридического факультета принял явно его сторону; из других факультетов сторону Крылова взяли: из математического Спасский, из медицинского Иноземцев, Варвинский, Глебов, все, кроме последнего, люди ограниченные, хотя Иноземцев и Варвинский, не знаю как, были звездами первой величины на медицинском небе.

Так знаменовался 1846—1847 академический год для университета распадением западной партии профессоров. Мне и Чивилеву, с которым я в это время очень сблизился, было это крайне неприятно. До сих пор западная партия в университете, т. е. партия профессоров, получивших воспитание в западных университетах, была господствующею. Партия была обширна, в ней было много оттенков, поэтому в ней было широко и привольно; я, Чивилев, Грановский, Кавелин — принадлежали к одной партии, несмотря на то, что между нами была большая разница: я, например, был человек религиозный, с христианскими убеждениями; Грановский остановился в раздумьи относительно религиозного вопроса[117]; Чивилев был очень осторожен — только после я узнал, что он не верил ни во что; Кавелин — также, и не скрывал этого; по политическим убеждениям Грановский был очень близок ко мне, т. е. очень умерен, так что приятели менее умеренные называли его приверженцем прусской ученой монархии; Кавелин же, как человек страшно увлекающийся, не робел ни перед какою крайностью в социальных преобразованиях, ни перед самым даже коммунизмом[118], подобно приятелю их общему, знаменитому Герцену. С последним я не был знаком по домам, видел его у Грановского и в других собраниях; я любил его слушать, ибо остроумие у этого человека было блестящее и неистощимое; но меня постоянно отталкивала от него эта резкость в высказывании собственных убеждений, неделикатность относительно чужих убеждений; так, например, он очень хорошо знал о моих религиозно-христианских убеждениях и, несмотря на то, не только не удерживался при мне от кощунств, но иногда и прямо обращался с ними ко мне; нетерпимость была страшная в этом человеке. Противоположность в этом отношении представлял Грановский,

в высшей степени деликатный относительно религиозных убеждений: он не только никогда не отзывался резко при мне о христианстве, но, оставаясь со мною наедине, особенно впоследствии, любил заводить со мною разговоры о христианстве, высказывая к нему самую сильную симпатию, проговаривался о зависти, которую чувствовал к людям верующим. Кавелин также не церемонился со мною относительно выходок против религии; но у Кавелина это меня не оскорбляло по короткости наших отношений; мы с ним спорили в потасовку и потом упивались развитием наших сходных научных взглядов. Таким образом, в так называемой западной профессорской партии было много оттенков, но эти оттенки уживались в ней мирно, единство преобладало, все стояли друг за друга горой. Но после крыловской истории отношения переменились; вражда, нарушив единство, вывела наружу оттенки, резко определила их внутри и вне. Если, как я уже сказал, Кавелин, Грановский, Редкин, Корш называли Крылова подлецом, взяточником, то Крылов с товарищи не щадил для них названия безбожников, коммунистов. Наше положение было крайне затруднительное.

Между тем, в конце 1846 года, я сблизился с славянофилами[119]. Я уже упоминал, что во время моего студенчества и в первый год пребывания за границею я был жарким славянофилом; но потом все больше и больше занятия историею, и особенно русскою, дали мне возможность приобрести правильный взгляд на отношения между древнею и новою Россиею; благодаря науке и умеренности моего характера, я не увлекся: признав необходимость Петровского периода, признав его закономерность, правильность истечения его из предшествовавших условий русского общества, я сохранил от прежних моих любимых занятий древнею русскою историею, от прежнего славянофильства, всю теплую симпатию к древней Руси, к ее лучшим людям. Эта теплота высказывалась в моих лекциях, в моих статьях, чего славянофилы не могли не заметить, особенно в противоположность с выходками Кавелина и других крайних западников против древней Руси. По приезде моем из-за границы я видался с тремя славянофилами — Александром Поповым, Пановым и Валуевым[120]. С первым, как уже было сказано, я познакомился в Берлине, потом встречал в Мюнхене и Париже. По возвращении, я нашел его в Москве в одинаковом со мною положении, т. е. добивающимся кафедры в Московском университете по юридическому факультету. Это был тогда человек с большими способностями, преимущественно на словах, бойкий, смелый, иногда дерзкий говорун, мало способный к труду; отсюда, блестящий на словах, он оказывался чрезвычайно слабым на деле: слушая его, всякий должен был сказать: какие блестящие способности у этого человека! А прочтя его статью, всякий должен был пожать плечами. Юридический факультет, сплошно составленный из западников, никак не хотел пускать к себе Попова — и имел на то полное основание, хотя славянофилы и провозглашали, что это — великий философ. По

выслушании его пробной лекции, факультет объявил, что лекция слаба; Попов напечатал ее в «Москвитянине»; критика согласилась с факультетом. Тогда Хомяков через Веневитинова рекомендовал его Блудову[121], который и поместил его во II-м отделении собственной е[го] и[мператорского] в[еличества] канцелярии. И здесь Попов оказался таким же, каким был известен и в Москве.

Панов был совершенная противоположность Попову. Это был человек умный, распорядительный, нисколько не даровитый, до крайности неказистый, вялый, насилу вытаскивающий слова изо рта, но святой человек: окруженный самолюбцами, он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкновенною, но где приходилось работать, работал за всех.

Валуева я знал еще во время студенчества: он был курсом старше меня: живой, красивенький мальчик, без устали бегавший по лекциям не только своего, но юридического факультета, нахватывающий отовсюду знания, с подозрительным румянцем на щеках; потом я встретился с ним мельком в Париже; когда же я возвратился в Москву, то чахотка уже разрушала его; несмотря на то, он работал над изданием памятников древней русской истории и особенно над разработкою местничества; плодом этого труда был «Симбирский сборник»; вскоре отправили его вторично за границу, но он в Новгороде умер. Валуев и Панов (который также скоро умер в 1849 или 1850 году) были лучшие из славянофилов в нравственном отношении. Обращусь к другим, которые остались жить и действовать. Хомяков[122] — низенький, сутуловатый, черный человечек, с длинными черными косматыми волосами, с цыганскою физиономиею; с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какою уверткою, ни перед какою ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не было, — Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имевшем средств оценить истинного знания, добросовестности и скромности, с последним неразлучных, Хомяков прослыл гением; это вздуло его самолюбие, сделало раздражительным, неуступчивым, завистливым, злым.

После Хомякова самое видное место в славянофильском кружке занимали Аксаковы. Старик Сергей Тимофеевич — в молодости театрал, игрок, клубист, легонький литератор, переводчик, стихоплет[123]; в старости, когда я с ним познакомился, человек больной, никуда уже не выезжавший, умный, практический, хитрый, с убеждениями ультра-западными[124], чего при случае и не скрывал, а между тем очень легко прилаживался к славянофильскому кружку, где ему было очищено почетное место, первый готовый подтрунить над сыновьями, над их славянофильством, и в то же время считавший славянофильство своим родным, фамильным делом, делом священным и неприкосновенным. Жена, его Ольга Семеновна, старуха добрая до тех пор, пока дело не шло о ее

сыновьях, о их мнениях, о их кружке: но если бы кто вздумал задеть их, Ольга Семеновна превращалась в фурию, и только окрик мужа, наследника «Багровщины»[125], заставлял ее умерять свои неуместные порывы. Старший сын этой четы, Константин, достойный прозвища Багрова, человек, могущий играть большую роль при народных движениях и в гостиных зеленого русского общества, со львиною физиономиею, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований, но тупоумный; последнее можно было бы легко сносить за открытость, добродушие, наивность, но что делало его нестерпимым, так это крайнее самолюбие и упорство в мнениях, для поддержания которых он средств не разбирал. В Хомякове эта неразборчивость смягчалась шутливостью, которая мешала противнику его раздражаться; но спорить с Аксаковым было глупо и вредно для здоровья; правда, Аксаков не позволял себе выдумывать фактов, но зато никакая самая чудовищная натяжка его не останавливала, и это, разумеется, раздражало гораздо больше, чем всякая выдумка, ибо против последней легкое средство — сказать и доказать, что нет ничего подобного, но против способности перевернуть всякое слово и событие в свою пользу — где средство?

К. Аксаков когда-то хорошо учился в Московском университете, когда именно нечему было в нем учиться, и ученик, т. е. студент, кончил курс университетский лет шестнадцати; он считал себя знатоком русской истории[126], потому что прочел Румянцевское собрание грамот и несколько томов изданий Археографической комиссии; для подкрепления своих любимых мыслей он брал наскоком в древней русской истории несколько явлений, но у него никогда не доставало ни времени, ни духу проследить русскую историю хотя бы и не по источникам; Карамзина он не читал, из моей истории прочел первый том, когда писал свою статью против родового быта, а потом начал читать с VI-го тома, когда в славянском совете ему поручено написать разбор моей истории для «Русской беседы»[127]: это он мне сам сказал откровенно; о новой русской истории, с XVIII-го века, не имел никакого понятия, об истории западных и славянских народов — также. Считал он себя и филологом[128], но филологи отзывались об его занятиях очень неудовлетворительно. Что же делал этот человек всю свою жизнь? Летом в деревне сидел у пруда с удочкой; зимой в Москве с утра до вечера разъезжал по гостям или принимал у себя гостей: Аксаковы жили очень открыто, хлебосольно, всегда можно было у них застать кого-нибудь, всегда кто-нибудь обедал. Второй сын Аксаковых, Григорий, служил в губернии, не был ничем замечателен; третий, Иван, воспитанник училища правоведения — человек с поэтическим дарованием, умнее брата, но никак не ученее. Сначала могло казаться, что из него будет путь, что он успеет избежать крайностей своей партии. Но он скоро бросил службу, и отсутствие крепкого научного образования, с одной стороны, и практической деятельности — с другой, выставили и его на жертву этим крайностям[129]. Кроме сыновей,

у Аксаковых было еще пять дочерей, очень некрасивых, непривлекательных. Старшая, Вера, отказавшись от надежды на замужество, начала играть роль в славянофильской гостиной. После одна из них сумела выйти замуж; три умерли одна за другой в короткое время.

Товарищ К. Аксакова по университету и приятель его, Юрий Самарин [130], человек замечательно умный, но холодный, несимпатичный господин, сделался сначала славянофилом, по недостатку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в славянофильстве по самолюбию; он имел на это некоторое право: в начале службы своей у лифляндского г[енерал]-губернатора Суворова он перенес свои убеждения на практическую почву, стал держать оппозицию Суворову за преданность последнего немецким интересам, написал и распустил против Суворова письмо, за что был посажен в крепость, потом послан в Киев на службу и тут окончил свое служебное поприще; понятно, что он озлобился, и когда после другие члены кружка освежались надеждою на лучшее будущее, Самарин оставался пессимистом.

Наконец, в славянофильском кружке изредка появлялись два человека, которые считались также коноводами: это два брата Киреевские — Петр и Иван. Петр — доброе, кроткое, симпатичное существо — напоминал мне добродушных чешских властенцев; он был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь, — порок, которым страдали все эти люди вообще, — в Петре Киреевском доходил до неимоверных размеров; вобрать в себя, начитаться, наслушаться, наглядеться — это было его дело; но самому что-нибудь написать, сделать — для этого нужны были усилия необычайные [131].

Брат его, Иван Киреевский — человек даровитый, крайний западник вначале, потом круто повернувший в противную сторону, вследствие перемены религиозных убеждений [132]. Его славянофильство ограничивалось сферою философскою и религиозною. Как прозелит относительно христианских убеждений, он враждебно стал смотреть на нерелигиозное движение мысли в просвещенном человечестве, вывел, что такое движение коренится в свойстве западных народов, в их церковных условиях, и что соглашение мысли с чувством должно произойти у народов, к восточной церкви принадлежащих; как это должно произойти, этого уяснить для себя он не мог, и потому должен был ограничиться одною скудною отрицательною деятельностью, вооружаться против западной философии, толковать о возможности православной философии.

К этим — не скажу мыслителям, но мечтателям, поэтам и дилетантам науки, из которых по большей части слагался славянофильский кружок, — присоединялся человек с противоположною натурою, человек практический, мастер обсуживать предметы осязательные, но становившийся совершенным дураком, когда предмет поднимался в высшую сферу: то был Кошелев. Кошелев

благую часть избрал в мирском земном смысле: отказался от служебного движения, от служебных почестей, чтоб приобрести состояние, и приобрел большое посредством откупов и еще кое-каких сделок, как говорят, вовсе нечистых; рассказывали, что в одну прекрасную ночь он подбегал беспрестанно к зеркалу, чтоб смотреть, не поседел ли он от мучительного беспокойства, ибо дела по откупам пошли так дурно, что грозило разоренье круглое; наконец, он решился на дело нечистое, на смешение воды с вином, что ли, и этим спас себя; рассказывали также, что он выгодно купил большое имение, подкупивши управителя, который доносил барину, что имение никуда не годится, что его следует продать, хотя и за бесценок. Разумеется, все это рассказывалось не в славянофильском кружке. Наживши большое состояние, надворный советник Кошелев, полный еще сил, мужик и горлан, захотел играть роль передового человека в обществе[133]; он бросился в оппозицию, примкнул к славянофилам и стал для них чрезвычайно полезен денежными средствами. Обращение его в славянофилы происходило постепенно на моих глазах. Сначала он хотел играть роль примирителя, срединного человека, приглашал к себе на богатые обеды и ужины людей из обеих партий — Грановского и Аксакова — и рассаживал их по концам стола, сам садился по середине и подле себя сажал меня и других средних, умеренных, к которым думал принадлежать; но недолго продержался он на середине и хватил в самую сильную крайность, — начал строго соблюдать посты, с одной стороны, с другой — отрастил бороду и надел армяк, нарядил в какой-то шутовской, будто бы старинный русский, костюм и жену свою, отличавшуюся глупостью.

XV

Вот и все действующие или действительные славянофилы, не перечисляя страдательных, которых обязанность состояла — съезжаться в собрания кружка, слушать и восхищаться Хомяковым с товарищи. Я в этом кругу не бывал, как сказано уже, до конца 1846 года, несмотря на знакомство с отдельными его членами, Поповым, Валуевым, Пановым. Впервые я увидел круг в сборе на вечерах у Свербеевых. Свербеев, Дмитрий Николаевич, служивший когда-то по дипломатической части, но давно в отставке, человек богатый, очень неглупый и образованный, любивший оригинальничать тем, что становился в оппозицию против порывов нашего зеленого общества, так склонного к порывам и способного доходить в них до смешного, — оппозицию, со стороны Свербеева законную и почтенную, если б он сумел не пересаливать; так, например, оппозиция была законна и почтенна, когда она направлялась действительно против смешных и более чем смешных порывов; но Свербеев позволял себе вооружаться и против таких порывов, которые были вполне законны. Вообще,

Свербеев был человек почтенный, очень мне нравившийся по умеренности, сдержанности, столь редкой в нашем обществе, хотя, как сказано, он и из этой умеренности любил делать парад[134]. Жена его — в молодости очень привлекательная лицом, женщина крайне самолюбивая, любившая играть роль, окружать себя избранным обществом, особенно мужским; вот почему всякий сколько-нибудь замечательный человек приглашался к Свербеевым на вечера, которые поэтому в описываемое время были очень оживленны и приятны, — это была нейтральная почва для западников и славянофилов. Тут увидал я последних во всей их красе и выводил их из терпения тем, что упорно молчал, когда они задирали меня, начиная споры о предметах, близких мне по занятиям.

Я слыл сначала западником. Сближение мое с славянофилами произошло таким образом: К. Аксаков писал тогда драму «Освобождение Москвы в 1612 году»; по обычаю, господствовавшему у славянофилов, она перед окончанием и напечатанием читалась в разных кружках; автору очень хотелось узнать мнение специалиста, и он затащил меня к себе; сочинение его, не удавшееся на сцене, было очень эффектно в чтении; я не мог не выразить сочувствия к сценам драмы, — это, разумеется, очень понравилось. Несколько дней спустя, по какому-то, не помню, случаю, я должен был писать к Аксакову, и, для шутки, написал записку старым русским языком XVII века, никак не предполагая, чтобы шутка эта произвела такое впечатление: Аксаков просто сошел с ума от восторга, перенесшись моею запискою в древнюю Русь, и привязался ко мне страстно; не хотел слушать, когда ему замечали, что я — западник; познакомил меня с своим семейством. Умный старик мне понравился, и я стал бывать у них очень часто, ибо у них всегда было очень весело. Константин начал ходить ко мне на лекции, а я, как нарочно, читал тогда специальный курс истории смутного времени: самая живая эпоха в древней Руси читалась живо, с сочувствием, и это еще более воспламенило Аксакова.

Весною 1847 года, в великий пост, Аксаков защищал диссертацию свою о Ломоносове; много было смеху, когда я, возражая ему, начал его упрекать в нелюбви к древней Руси; много было смеху, когда в тот же день, после пира, данного новым магистром, я прочел написанное мною языком летописи сказание о том, как славяне, т. е. славянофилы, ездили жениться, по поводу помолвки Панова; чрез несколько дней явился новый источник смеха: я написал также языком летописи сказание о том, как Аксаков писал и защищал свою диссертацию[135]. Жилось мне тогда весело; с обеих сторон, и с востока, и с запада, меня уважали, ласкали; фимиам, который мне воскуряли со всех сторон, мне очень нравился. В это время, именно великим постом, я окончил печатание моей докторской диссертации «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», и с субботы Фоминой недели начались мои экзамены, которые были совсем непохожи

на магистерские; они были форменные; мне стоило только сказать экзаменаторам, близким теперь людям, приятелям, на какие вопросы я хочу отвечать. Строганов был опять в восторге, ибо Голохвастов сказал ему о моей книге: «Это такая книга, что по прочтении каждой страницы я мысленно с почтением кланяюсь автору».

В это же время Погодин вдруг разослал повестки по своим многочисленным знакомым, мужчинам и дамам, что он хочет прочесть пред публикою первые главы своей «Русской истории»; я получил также приглашение и нашел огромное стечение народа; автор прочел пред внимательным собранием напечатанные после в «Москвитянине» статьи об Олеге, Игоре, Ольге, Святославе и Владимире [136]. Публика встала с своих мест, как говорится, «несолоно хлебавши»; самые преданные автору люди едва выпускали изо рта обычные комплименты. Некоторые имели неделикатность подходить ко мне и спрашивать моего мнения; я им ничего не отвечал и был в крайне затруднительном положении: ни хвалить, ни бранить я не мог. Погодин раза два подходил ко мне с странными словами: «Пожалуйста, будьте хозяином, распорядитесь насчет гостей!» Это еще более меня затруднило, и я ему не нашелся ничего отвечать, — должно быть, представлял в его глазах странную фигуру, ибо он смотрел на меня внимательно, подозрительно и угрюмо. Я скоро уехал. Понятно, что Погодин был раздражен, не мог не заметить холодности публики, был обманут в своем ожидании, ибо ждал взрывов восторга. Мое смущение и скорый отъезд должны были раздражать его; мое молчание, нежелание сказать ему ничего приятного, могло показаться ему крайне недоброжелательным; может быть, я в самом деле поступил невеликодушно; может быть, мне в самом деле нужно было переломить себя и сказать ему что-нибудь утешительное, быть с ним помягче, потеплее...

Не оправдываю себя, ибо не могу скрыть, что в душе моей было недоброжелательство к этому человеку. Никак не припомню, когда, прежде или после этого несчастного чтения, был я у Погодина и отвез ему свою докторскую диссертацию, взглянув на которую, он сказал: «Вишь, какой блин испек!» По окончании студенческих экзаменов, в начале июня 1847 года я защищал докторскую диссертацию так же славно и с честью, как прежнюю, магистерскую. Погодин не был на диспуте; Кавелин опять прогремел в «Отечественных записках» хвалу моей книге, а подробный разбор поместил после в «Современнике» [137]. Но это были уже последние улыбки людского расположения ко мне; начинались времена испытаний. Я жил тогда на даче, на дороге, ведущей из Петровского Парка в Петровско-Разумовское. 1-го июля, с праздника, который обыкновенно бывал в этот день в парке, заехал ко мне Аполлон Григорьев и объявил, что в «Петербургских ведомостях» Ксенофонт Полевой написал бранный разбор моей книги [138]: это была первая журнальная брань (если не считать бранчливой выходки Савельева-Ростиславича за мою рецен-

зию Венелинской «Скандинавомании», напечатанной в «Москвитянине» Погодиным в мое отсутствие за границу; Савельев назвал меня тут *пигмеем* в сравнении с Венелиным). Я не читал статейки Полевого не из презрения, ибо я еще тогда не был так равнодушен к журнальной брани, как после, когда она сыпалась на меня в преизрядном количестве, но потому что все внимание мое было поглощено выходкою Погодина, о которой я узнал 6-го июля вечером от Ефремова[139]. Я немедленно поехал с дачи в Москву, подписался на «Москвитянин» и написал в «Московских ведомостях» ответ Погодину. Что заставило последнего сделать против меня выходку — пусть это он сам объяснит в своих записках; я не хочу здесь (т. е. в записках моих) с ним судиться, тем более, что публика произнесла суд свой, конечно, не в его пользу, хотя сначала и нашлись люди, которые взяли его сторону против меня: вдруг выросший из земли авторитет мой, хвалебные взгляды журналов — возбудили неудовольствие в некоторых господах, менее счастливых в своей ученой карьере; знаменитый Мстиславский (см. «Москвитянин», 1847 года)[140] выступил против меня печатно; были и другие Мстиславские, которые не печатались, но сильно голосили против меня, минуя правду моих научных мнений, толковали, что не годится мне вооружаться против *учителя*, что это неблагодарно с моей стороны; сам Погодин голосил на все стороны о моей неблагодарности!!

Таким образом, я начал новый академический год с новым до тех пор для меня чувством — чувством оскорбленного авторского самолюбия. В октябре я был обрадован утверждением меня экстраординарным профессором, но эта радость была непродолжительна. 24-го ноября, в Екатеринин день, я провел вечер в доме будущей моей жены, мать которой была именинница; это было в понедельник — на другой день, во вторник, после лекций подошел ко мне молодой граф Строганов, студент (Григорий) и сказал мне, что отец его просит меня зайти к нему. Старик-граф встретил меня словами: «Вы укоренились в университете, больше не нуждаетесь в моей помощи; я вышел в отставку». Удар был так неожидан, что отнял у меня способность почувствовать всю его силу. Вошел Попов, инспектор I-й гимназии (известный читателям записок как мой учитель)*: «Как, ваше сиятельство! Неужели правда, что оставляете нас?» — «Правда, правда, — отвечал Строганов. — Теперь я уже вам не начальник, — продолжал он, — но не могу не заметить, что вы сделали нехорошо, введши золотую медаль и давши ее Васильчикову: что это за различия, отличия?» Попов стал оправдываться, но Строганов с ним не согласился и был вполне прав: золотая медаль сделана была для аристократа Васильчикова, которого всеми средствами тащили за уши и дотащили до первого места. Выпроводивши Попова, Строганов обратился ко мне и сказал: «Официальные отно-

---

* Страница эта писана 28 сент. 1858 года, в день смерти этого Попова (*прим. автора*).

шения между нами кончились, должны начаться более тесные отношения». Сердце у меня начинало разрываться...

Служебные испытания мои начались: я лишился начальника, которого любил, в привязанности которого ко мне был уверен, следовательно, был вполне обеспечен с этой стороны. Удар был тем тяжелее, что был первый, падал на меня, неопытного, доверчивого к жизни молодого человека; это было сиротство, горькое сиротство. Удар был тем тяжелее, чем неожиданнее; хотя давно уже носились слухи об усилившейся борьбе между Уваровым и Строгановым, которая легко может повести к отставке последнего, но это были только слухи; неопытный, непривыкший еще ждать от жизни больше дурного, чем хорошего, я не верил им, ибо не веришь тому, чему не хочется верить. Усилению борьбы между министром и попечителем способствовал Давыдов, который окончил свою службу в университете и был переведен Уваровым в Петербург, на место директора педагогического института. Одним из самых приятных угодничеств, какое мог оказать Давыдов Уварову, это — ругать Строганова, и Давыдов не щадил этого угодничества тем более, что ненавидел Строганова; последний, получая из министерства неприятности в усиленном приеме, не выдержал, и не обратив внимания на характер самодержца, послал ему требование — или дать ему возможность действовать независимо от Уварова, чтоб принести всю пользу, или отпустить в отставку. Царь не соглашался ни на то, ни на другое, Строганов настоял на втором [141]. Уваров и Давыдов торжествовали; в Москве все, что при Строганове было в черном теле, т. е. все черное, подняло головы; поднял голову Погодин, Перевощиков, Крылов с толпою своих бездарных сателлитов, Лешковым, Спасским. Перевощиков, узнав об отставке Строганова, напился пьян и перепоил своих сыновей; потом все эти господа на пиру у Иноземцева с бокалами в руках кричали «pereat» * Строганову: они прежде этого не кричали, когда Строганов был в силе. Редкин, Кавелин, Грановский и Корш — подали в отставку [142]. Редкин, Кавелин и Корш получили ее и перебрались в Петербург. Грановский был задержан на том основании, что еще не выслужил срока за свою заграничную поездку на казенный счет. Попечителем был назначен Голохвастов, скоро оказавшийся вполне неспособным по мнительности, медленности: он только и делал, что рассуждал и ничего не разрешал; дела самые необходимые по хозяйству останавливались.

Приближались и ректорские выборы, ибо Альфонский [143], заступивший место Каченовского в 1842 году, оканчивал срок профессорской, а следовательно, и ректорской службы. Что касается лично до меня, то вначале назначение Голохвастова меня успокаивало, ибо я знал, что Голохвастов имеет ко мне слабость за мои сочинения: к тому же Строганов сохранял над ним сильное влияние. С другой стороны, в конце 1847 и начале 1848 года

---

* да погибнет! (*лат.*).

я имел сильное развлечение: 11 февраля 1848 года я женился[144]. Но и медовый месяц был потревожен: не помню, которого числа после обеда, тесть мой, в доме которого я жил после свадьбы, принес журнал с известиями о февральской революции[145]; прочитавши известия, я сказал: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!» Сердце мое сжалось черным предчувствием.

XVI

Пророчество мое слишком оправдалось. Чтоб показать, почему оно оправдалось, нужно мне рассказать состояние русского общества под державою Николая I-го и характер сего державца. Известно, что добрый и благонамеренный Александр I-й подписал самодержавное: «Быть по сему» под манифестом, в котором в неопределенных выражениях приказывалось всем народам, кроме русского, быть свободными и счастливыми[146]. Благословенный ждал благословений за свой подвиг и сильно оскорбился, когда увидал, что народы вместо того, чтоб довольствоваться манифестом, начали хлопотать об определении форм, под которыми они должны быть свободны и счастливы, и начали хлопотать об этом, не спросясь манифестодателей. Известно, в каком колеблющемся положении находилась Европа во время смерти Александровой; известно, каким несчастным событием в России сопровождалось восшествие на престол преемника Александрова[147]. Это событие — великой важности, ибо оно объясняет многое в жизни русского общества. Крайне небольшое число образованных, и то большею частью поверхностно, с постоянным обращением внимания на Запад, на чужое; все сочувствие — туда, к Западу, ибо там — жизнь, там — движение, там — деятельность; но все это сочувствие и должно было оставаться сочувствием только, единственным выражением которого было *слово*, и то не публичное, а домашнее, кабинетная или гостиная болтовня; у себя в России нет ничего, где бы можно было действовать тою действительностью, которую привыкли видеть на Западе, о которой привыкли читать и рассуждать. Отсюда — отрицательное отношение к своему, привычка к бесплодному порицанию, к бесплодному протесту, к бесплодной насмешке. Вот откуда насмешливость, сатирическое направление русского человека, — жалкое, страшное настроение! Отсюда же этим образованным, мыслящим русским людям Россия представлялась «tabulam rasam» *, на которой можно было начертать все, что угодно, начертать обдуманное или даже еще необдуманное в кабинете, в кружке, после обеда или ужина.

Движение в пользу народностей, происшедшее вследствие высокого развития западноевропейских обществ и вызванное внешним материальным сжатием Наполеоновской системы, — это движение не могло не отозваться и у нас, русских, и у славян вообще,

* чистой доской (*лат.*).

и обнаружилось сначала, разумеется, младенческим лепетом еще у декабристов; но это был именно только младенческий лепет; славянского у декабристов было только незрелость, распущенность, рознь[148]. Да не сочтет кто-либо слов моих словами укора: сохрани боже! Грустный опыт, грустный взгляд на настоящее не позволяет мне укорять моих несчастных предшественников; прошло более тридцати лет после их попытки, и мы находимся (в 1858 г.) в совершенно таком же положении, как и они. Их участь поразительно сходна с участью последних из римлян; если бы им удалось их начальное дело, как удалось оно Бруту и Кассию[149], то следствия были бы одни и те же; будем утешать себя только тою мыслью, что дело римских заговорщиков было произведением обветшалости римского общества, дело же наших декабристов было произведением незрелости русского общества. Попытки не удались в самом начале; Цезарь восторжествовал, Бруты и Кассии погибли позорною смертью.

Но кто же был этот Цезарь? Это была воплощенная реакция всему, что шевелилось в Европе с конца прошлого века: на лице Николая всякий легко мог прочесть страшные «*мани, факел, фарес*»[150] для России: «остановись, плесней, разрушайся!» Эта колоссальная фигура Николая олицетворяла в себе ту бездну материализма, которая ныне давит духовное развитие России в его царствование. Деспот по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и самостоятельности, Николай любил только бездушное движение войсковых масс по команде. Это был страшный нивеллировщик: все люди были пред ним равны, и он один имел право раздавать им по произволу способности, ум, все, что мы называем дарами божиими; нужды нет, что в этом нечестивом посягновении на права бога он беспрестанно ошибался: он не отставал до конца от своего взгляда и направления, до конца не переставал ненавидеть и гнать людей, выдававшихся из общего уровня по милости божией, до конца не переставал окружать себя посредственностями и совершенными бездарностями, произведенными в великие люди по воле начальства, по милости императора. Не знаю, у какого другого деспота в такой степени выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и трудом приобретенным, как у Николая; он не желал, подобно известному безумному императору, чтоб народ имел одну голову, которую можно было бы отрубить одним ударом[151]; он хотел бы другого — возможности одним ударом отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем. Приезжает он в одну губернию, кажется, Рязанскую; на представлении всех губернских властей председатель казенной палаты (Княжевич, если не ошибаюсь), выполняя инструкцию, выдвигается и подает рапорт о финансах губернии; в ответ получает гневный, громовой взгляд и выговор: как смел это сделать! Как смел выдвинуться, выказаться, нарушить порядок, т. е. безжизненность, молчание! Несчастный председатель за точное исполнение инструкций ссылается в одну из отдаленнейших

губерний. Посещает император одно военное училище; директор представляет ему воспитанника, оказывающего необыкновенные способности, следящего за современною войною, по своим соображениям верно предсказывающего исход событий; что же отвечает император? — Радуется, осыпает ласками даровитого молодого человека, будущего слугу отечества? Нисколько: нахмурившись, отвечает Николай: «Мне таких не нужно, без него есть кому думать и заниматься этим; мне нужны вот какие!» С этими словами он берет за руку и выдвигает из толпы дюжего малого, огромный кус мяса, без всякой жизни и мысли на лице и последнего по успехам.

С[ен]-Симон, мастерски изображая в своих записках Людовика XIV, напоминает нам нашего Николая. С[ен]-Симон рассказывает, между прочим, как Людовик XIV питал отвращение к вельможам и умным людям за то, что они не от него получили свои права на отличия, но делал исключение для одного герцога и умного сведущего человека вместе; почему же делалось такое исключение? Потому что король замечал в герцоге, когда тот подходил к нему, трепет; этот страх нравился деспоту и заслужил его расположение[152].

Подобное же можно рассказать и о нашем Николае. Однажды перед дверями его кабинета собрались министры с портфелями, военный министр Чернышев и министр финансов Вронченко. Никак не думая, чтоб император сам вышел из кабинета, и дожидаясь, пока их позовут, министры разговаривали, и Вронченко вынул табакерку; вдруг отворяется дверь кабинета, и *Сам* является пред изумленными взорами верных слуг своих; Вронченко в испуге роняет из рук табакерку и представляет пресмешную фигуру; Чернышев, как слуга более близкий и знатный, осмеливается улыбнуться при виде, как испугался слуга более мелкий; но господин замечает эту улыбку и обращает к Чернышеву грозную речь: «Чему тут улыбаться; это очень естественно! Граф Вронченко, войдите в кабинет!» Последние слова были знаком милости к Вронченко и опалы на Чернышева, потому что последний, по своей службе, как военный министр, всегда входил первый.

В таком-то господине воплотилась реакция тому движению, которое знаменует русскую историю во все продолжение XVIII и в первую четверть XIX века. Начиная с Петра до Николая, *просвещение* народа было целью правительства, все государи сознательно и бессознательно высказывали это; век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения, указывали на вредные следствия невежества в раскольничестве, в суевериях. Самодержцы и самодержицы, разумеется, смотрели односторонне на дело, именно смотрели на него с одной материальной стороны: им нужно было просвещение для материальных успехов, для материальной силы; они покровительствовали просвещению, заводили академии и университеты, ласкали ученых и поэтов, давали права образованным молодым людям, преследовали невежество, ибо представителями последнего был для них буйный,

строптивый раскольник, смотрящий на их герб как на печать антихристову; представителем же просвещения был профессор, говорящий на актах похвальные слова им, или поэт, подносящий торжественную оду. Так, некоторые родители очень довольны просвещением и не жалеют денег для образования детей своих, когда эти дети ловко танцуют и возбуждают удивление родных и знакомых, лепечут на иностранных языках и в день именин подносят папаше и мамаше сочинение в стихах и прозе, где величают их виновниками своего блаженства и проч. Но ведь эти милые дети вырастают, и для пожилых родителей начинается горькое разочарование: милые дети начинают считать себя образованнее, умнее родителей, не хотят сообразоваться с их желаниями и обычаями, которые называют дикими, устарелыми, требуют себе самостоятельности, средств к свободной жизни: тут-то папаша и мамаша начинают горькие жалобы на просвещение, на молодых учителей-развратителей: воспитали, выучили детушек на свою голову, а теперь яйца и начали учить кур! То же самое случилось и с русскими благочестивейшими и самодержавнейшими папашами и мамашами. Уже мудрая мамаша Екатерина II, которая писала такие прекрасные правила для воспитания *граждан*, на старости лет заметила вредные следствия своих уроков и сильно гневалась на непокорных детей, заразившихся правилами так любимых ею прежде учителей. Благодушный Александр I-й всю свою жизнь тосковал и жаловался на непокорность и неблагодарность детей, о благе которых он так заботился и даже хотел их выпустить на волю — под надзором Аракчеева. Но Николай I-й не имел такого благодушия. Он инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: «*не рассуждать*!» При самом вступлении его на престол враждебно встретили его на площади люди, и эти люди принадлежали к самым просвещенным и даровитым, они все думали, рассуждали, критиковали, и следствием этого было 14-ое декабря.

По воцарении Николая, просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства; университеты подверглись опале; Россия предана была в жертву преторианцам[153]; военный человек, как палка, как привыкший не рассуждать, но исполнять и способный приучить других к исполнению без рассуждений, считался лучшим, самым способным начальником везде; имел ли он какие-нибудь способности, знания, опытность в делах — на это не обращалось никакого внимания. Фрунтовики воссели на всех правительственных местах, и с ними воцарилось невежество, произвол, грабительство, всевозможные беспорядки. Смотр стал целью общественной и государственной жизни. Вся Россия 30 лет была на смотру у державного фельдфебеля. Все делалось на показ, для того, чтоб державный приехал, взглянул и сказал: «Хорошо! Все в порядке!» Отсюда все потянулось на показ, во внешность, и внутреннее развитие остановилось. Начальники выставляли Россию перед императором на смотр на

больших дорогах — и здесь было все хорошо, все в порядке; а что дальше — туда никто не заглядывал, там был черный двор. Учебные заведения также смотрелись, все было чисто, вылощено, опрятно, воспитанники стояли по росту и дружно кричали: «Здравия желаем в[аше] и[мператорское] в[еличество]!» Больше ничего не спрашивалось. Терпелись эти заведения скрепя сердце, для формы, на показ, чтобы-де иностранцы видели, что и у нас есть училища, что и мы — народ образованный.

Впрочем, до последнего времени, до 1848 года, явного гонения на просвещение не было. Тяжелая рука лежала на нем, враждебное начало проводилось в системе государственного управления, все чувствовали, понимали, что государь до просвещения не охотник, но он ограничивался еще только отрицательными действиями. Николай Павлович покровительство изволил оказывать просвещению: но какою ценою было куплено это покровительство? Министр Уваров имел способность уверять его, что воспитывается новое поколение монархически мыслящих людей, которые посредством науки доходят до убеждения в необходимости и превосходстве порядка вещей, желаемого его величеством; что великое царствование его служит новою эпохою в истории человеческого и русского просвещения, в основании которого легли православие, самодержавие и народность. Лесть ловкого, умного лакея нравилась барину: отчего же к славе великого законодателя, политика, правителя не присоединить и славу покровителя просвещения, просвещения истинного, могущего упрочить *спокойствие* народа! И вот лакей ловкою лестью выманивал от времени до времени разные льготы и хорошие вещи, как, напр[имер], археографическую комиссию. К этому времени принадлежит и попечительство Строганова в Московском округе с сильным развитием серьезного, научного движения. Но свистнул свисток на Западе, и декорация переменилась на Востоке: февральская революция отозвалась совсем печальным образом на России. Повелитель перепугался, перепугался самым глупым образом, как только он один мог перепугаться. Николай, начальник петербургских казарм, вовсе незнавший России, перепугался; перепугалась его глупая жена, перепугались все его унтер-фельдфебели от той же самой причины и глупости, невежеству вообще и незнанию России в особенности. Думали, что и у нас сейчас же вспыхнет революция. Рассказывали, что императрица, возвратившись с прогулки по петербургским улицам, с удовольствием говорила: «Кланяются! Кланяются!» Она думала, что петербургские чиновники, вследствие изгнания Людовика-Филиппа, перестанут снимать шляпы пред особами императорской фамилии. Но Петербурга еще не так боялись, боялись особенно Москвы; с часу на час ждали известий о московской революции. Но все было тихо; опомнились, посмеялись над страхом своим и поблагодарили русский народ доверенностью за преданность и усердие? Ничуть не бывало! Тут-то Николай и его креатуры показали всю мелочность и гадость своей натуры; они озлобились, начали мстить за свой страх, обрадова-

лись, что в событиях Запада нашли предлог явно преследовать ненавистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное превосходство, которое кололо им глаза. Николай не стал скрывать своей ненависти к профессорам, этим товарищам-соумышленникам членов французского собрания: «А *эти* — хорошо себя ведут?» — спрашивал он у харьковского попечителя, указывая на профессоров, при представлении университета.

Вздорный брат его, Михаил, воспользовался случаем, чтоб излить свою ненависть к просвещению; редактор «Отечественных записок» Краевский был инспектором классов в Павловском корпусе, следовательно, под начальством Михаила[154]; Краевский был сменен, но этого мало: Михаил призвал его к себе, чтоб объявить, что он его выгоняет, выгоняет как литератора, как редактора журнала, и сказал ему, что он глубоко презирает литературу и литераторов. Это был стрелецкий бунт своего рода; грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило противников, слабых, безоружных. Время с 48-го по 55-й год было похоже на первые времена римской империи, когда безумные цезари, опираясь на преторианцев и чернь, давили все лучшее, все духовно развитое в Риме. Начали прямо развращать молодых людей, отвлекать их от серьезных занятий, внушать, чтоб они поменьше думали, побольше развлекались, побольше наслаждались жизнью: такие внушения делал глупый принц Ольденбургский воспитанникам училища правоведения; то же толковалось в университетах. Принялись за литературу; начались цензурные оргии, рассказам о которых не поверят не пережившие это постыдное время; говорю — постыдное, ибо оно показало вполне, какие слабые результаты имела действительность XVIII-го и первой четверти XIX-го века, как слабо было просвещение в России; стоило только Николаю с товарищи немножко потереть лоск с русских людей — и сейчас же оказались татары. Цензуру отняли у профессоров и отдали в руки шайке людей[155], занимавшихся направлением литературы из-за хорошего жалованья, которого они лишались, если пропускали что-нибудь могущее быть заподозрено, и оставались покойны, если марали. И вот на суд невежды поступает книга или статья, в которой он ничего не смыслит; читает он, спеша на обед или на карты, и все, что кажется ему подозрительным, марает безответственно; кажутся ему подозрительными, недозволенными факты, давно уже известные из учебников, и он марает их, ибо давно уже позабыл учебник, если когда-либо и держал его в руках, — марает или даже еще переделывает сам, выдумывает небывальщину; в романах и повестях нельзя было выставлять лиц так называемых высших сословий.

Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать возращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось. Лень, стремление получать как можно больше, делая как можно меньше, стремление делать все кое-как, на шерамыгу, — все эти стремления, так свойственные нашему народу вследствие неразвитости

его, начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством; гимназии упали; университеты упали вследствие падения гимназий; ибо в них начали поступать вместо студентов все недоученные школьники, отученные в гимназиях от серьезного труда, стремящиеся хватать вершки и заноситься, ищущие на профессорской лекции легкого развлечения, а не умственной пищи, для переварения которой нужно собственное большое усилие. Таким образом, невежественное правительство, считая просвещение опасным и сжимая его, испортило целое поколение, сделало из него не покорных слуг себе, но вздорную толпу ленивцев, неспособных к серьезному, усиленному занятию ничем, совершенно неспособных к зиждительной деятельности и, следовательно, способных к деятельности отрицательной, как самой легкой. Мальчик, отученный еще в гимназии от серьезного труда, чрез это вовсе не становился на точку зрения правительства; он сохранил и развил в себе все либеральные замашки; он только привык отрицательно относиться ко всему и, прежде всего, разумеется, к правительству.

Разврат состоял в том, что всякая правительственная дисциплина исчезла; мальчик, повинуясь внешним образом, привыкал презирать и смеяться над начальниками своими, в которых не мог не видеть людей, совершенно неспособных быть начальниками учебных заведений. С другой стороны, уважение к лучшим, просвещеннейшим людям не могло исчезнуть, а эти люди, вследствие обращения правительства к ним спиною, естественно, стали в оппозицию, начали роптать — и вот во всех кругах, в которых еще оставался интерес к общественным вопросам, только и слышались с утра до вечера жалобы, порицания, насмешки над мерами, действиями правительства; а молодое поколение, прикосновенное к этим кружкам, привыкало к такому прекрасному занятию; образовались люди — не думая, ругать все правительственное. Правительство, по безумию и невежеству своему, сделало страшную ошибку: если оно считало себя вправе заподозрить профессоров, то оно должно было прогнать их всех и набрать новых, которым верило, или, если не могло это сделать, то должно было оказывать профессорам полное доверие, поддерживать их, осыпать милостями; вместо того, что же оно сделало? Оно наложило на них опалу, подвергло глупому, ни к чему не ведущему полицейскому надзору, сжало их литературную деятельность, раздражило, сделало их заклятыми своими врагами и оставило их на местах, на которых они, несмотря на все глупые, мелкие полицейские меры, могли вполне высказывать свою враждебность к правительству и воспитывать в ней молодое поколение: «Вот тебе наставник! — говорило правительство молодому человеку, — записывай и учи его уроки, но это человек опасный и мне противный, я ему не верю, за ним наблюдают ректор и декан, чтоб он не сказал тебе чего-нибудь дурного про меня». Как будто ректор или декан могли усмотреть за мастером науки, чтоб он не провел перед слушателями своего взгляда; и если бы даже они могли воспрепят-

ствовать ему в этом на лекции, то как могли воспрепятствовать ему дома, в кабинетной беседе со студентами? Между молодыми людьми укоренилось мнение, что университет пропитан либеральным духом, что надобно либеральничать, чтобы понравиться профессорам; молодежь с любопытством, ей врожденным, стремилась в университет, чтоб вкусить запрещенного плода, послушать свободных мнений; ум их был так настроен, что они в самой обыкновенной фразе профессора старались видеть какой-нибудь намек. «Какое множество у вас слушателей! — сказал я однажды Каткову, выходившему с лекции. — Приятно видеть такое сочувствие к философским лекциям». «Что тут приятного? — отвечал мне с сердцем Катков. — Вся эта толпа ничего не понимает из моих лекций, а ждет, не ругну ли я бога».

Таковы были общие явления в народной нравственной жизни в несчастную эпоху от 1848 до 1855 года. Обращусь к явлениям частным, мне близким.

XVII

Первою неприятностью для нас в университете была перемена ректора. Прежний ректор Альфонский дослужил (в 1847 г.) свой срок, и вот антистрогановская, черная партия, которая стала называть себя уваровскою, начала выдвигать своего кандидата, Перевощикова, человека черного, грубого, взяточника, доносчика. Строганов не терпел его за черноту, но держал, как хорошего профессора; видя нерасположение Строганова, Перевощиков, вместе с Давыдовым, Погодиным и Шевыревым, подлез к Уварову; теперь он торжествовал с выходом Строганова и стремился в ректоры, чтобы удобнее было брать взятки. Мы, разумеется, противились избранию Перевощикова всеми силами, но нас было мало; мы опирались на то, что Перевощикова нельзя выбирать, ему остается до заслуженного профессора гораздо менее четырех лет, на которые выбирается ректор; но большинство выбрало Перевощикова; относительно же незаконности выбора написали в протоколе, что совет просит министра утвердить избранного и мимо законности; но совет никогда не думал просить, и мы протестовали против этой статьи в протоколе. Уваров утвердил Перевощикова, как своего, но понятно, что в новом ректоре мы получили злого врага, который стал хлопотать, как бы выжить молодых строгановских, которые покрупнее, а других скрутить. Он стал провозглашать, что мы — опасные либералы, что нас нельзя терпеть; действовал в этом смысле у Уварова, у нового генерал-губернатора Закревского[156] (как утверждали, — я сам, разумеется, не слыхал его доносов); мне лично сделал он гадость осенью же 1848 года, убедив Уварова взять назад данное мне позволение читать публичные лекции. Это было мне крайне тяжело в том отношении, что я крайне тогда нуждался, женившись и обзаводясь хозяйством в тяжелый голодный год, когда все было очень дорого; потом, в январе 1849 года, он уговорил Уварова

взять назад утверждение мое ординарным профессором, придрался к моим лекциям, сказал декану Шевыреву (выбранному вместо Давыдова, перешедшего в директоры педагогического института), что я на первых лекциях, читая обзор русской исторической литературы, бранил всех писателей, бывших до меня, и таким образом старался, будто бы, показать, что до меня не было сделано ничего по русской истории. Справедливо ли это было, мне не нужно говорить, ибо эти лекции напечатаны в «Архиве» Калачова, — всякий, следовательно, может видеть, как обруганы мною Татищев, Щербатов, Болтин и Платон [157].

Говорят, что несколько раз пытался он представить Уварову необходимость меня выжить, но Уваров всякий раз отмалчивался: я уже выдавался вперед, обо мне много кричали, а придраться было не к чему; пострадал менее известный, менее видный, Бодянский, как жертва гнусного мщения Уварова Строганову. В «Обществе Истории и Древностей», где Строганов остался председателем, а Бодянский секретарем, напечатали в «Чтениях» перевод Флетчера [158]. Уваров сделал из этого историю, донес царю, что это сочинение страшно антицензурное, и вот что делает Строганов! Я не знаю, как отписался Строганов, но Уваров спешил нанести ему самый чувствительный удар: он велел Бодянского перевести из Москвы в Казань, а на его место — тамошнего профессора славянских наречий, Григоровича, в Москву. Бодянский, поддержанный Строгановым, не поехал, вышел в отставку, и как только Уваров вышел из министерства, Строганов настоял у нового министра, Ширинского-Шихматова, чтоб тот отменил приговор предшественника своего; Бодянский опять получил свою кафедру в Московском университете, а Григорович был поворочен назад в Казань.

В это время, когда под прикрытием правительственного направления черная уваровская партия в университете торжествовала над строгановскою, мы представляли гонимую церковь; но и в этом печальном состоянии было не без утешений. Мы все, молодые профессора, определили сблизиться тесно, ничего не делать без взаимного совета, собираться у каждого по очереди на вечера и толковать. Кто же составлял это общество? Катков, я, Шестаков и приехавшие из-за границы Кудрявцев, Леонтьев и Пеховский; после уже примкнул к нам Грановский и еще несколько молодых. Грановский не был отпущен министерством в отставку под предлогом, что еще не дослужил казенного срока, но Кавелин и Редкин вышли. Я должен сказать несколько слов о членах нашего кружка, о которых еще не было речи. Катков, как уже было упомянуто, был выбран в один день со мною в профессора и получил кафедру философии [159]. У этого человека была престранная природа. Это был человек чрезвычайно даровитый, с блестящим талантом публициста; талант его обнаруживался во время движения, спора; чтоб выжать у него этот талант, надобно было задеть его колоссальное самолюбие, — иначе этот человек предавался совершенному бездействию, просиживал дни и

ночи на диване в халате, почесывая голую грудь или расхаживая по комнате. Он вступил в университет по филологическому факультету, блистательно кончил курс, съездил за границу, прожил два года в Берлине, слушал Шеллинга, потом возвратился, написал прекрасную филологическую диссертацию[160] и был выбран в профессора философии, — а почему, до сих пор остается для меня темным; вероятнее всего потому, что не было другой кафедры свободной. Кафедра была не по нем, как и вообще всякая кафедра была бы не по нем. Как даровитый человек, разумеется, он не мог читать дурно; лекции истории философии возбуждали сочувствие в слушателях, но лекции логики и психологии совершенно пропадали: ни один студент ничего не понимал в них, и вина была не на одной стороне студентов. Эта обязанность читать предмет, к которому не имел большого сочувствия, предмет, которого не понимали слушатели, вообще противная природе его обязанность потрудиться срочно над составлением лекций, и лекций неблагодарных, эта обязанность была страшно тяжела для Каткова; другие имели блестящий успех, о других кричали, другие выставлялись на первый план, а он был в тени, о нем не говорили или отзывались неблагосклонно, как о человеке, неспособном к своему делу, не приготовленном по крайней мере. Каково же это было для такого громадного самолюбия! И вот Катков поник, изнемог, по целым полугодиям сказывался больным и вел ужасную жизнь — сидел взаперти в своей комнате, ничего не делая, и не будучи болен физически; напротив, у него была прекрасная натура, ибо кто другой мог бы вынести такое положение, не разрушившись физически или не сойдя с ума? К последнему, впрочем, он некогда был близок: однажды вечером ко мне приезжает брат его и с встревоженным видом просит, чтоб я поехал к ним, поговорил, разговорил брата его Михайлу; я отправился, нашел философа в сильной хандре, говорил, что умел, в таком затруднительном положении, но мог ли я помочь ему! Помогла благодетельная судьба.

Уваров, при всем своем лакействе, не мог оставаться министром, при учащенных ударах, наносимых просвещению, вышел в отставку[161]; министром был назначен товарищ его князь Ширинский-Шихматов[162]. Много терпела древняя Россия, Московское государство, от нашествия татар, предводимых его предками — князьями Ширинскими, самыми свирепыми из степных наездников; но память об этих губительных опустошениях исчезла; а вот во второй половине XIX-го века новый Тамерлан — Николай — наслал степного витязя, достойного потомка Ширинских князей, на русское просвещение. Человек ограниченный, без образования, писатель, т. е. фразер, бездарный, Ширинский славился своим благочестием, набожностью. Действительно, он был исполнен страха пред богом и пред помазанником его, исполнен страха пред архиереями, особенно же исполнен страха пред диаволом и «аггелы» его, исполнен страха до того, что по ночам обкладывал себя дровами, дабы не стать добычею домового. Ставши минист-

ром просвещения, он начал прежде всего действовать против духа неверия: для этого представил императору о необходимости уничтожить кафедру философии в университетах, поручив чтение логики и психологии священникам-профессорам богословия, не позаботясь прежде о том, чтобы эти профессора богословия были порядочные люди, могущие прилично являться на кафедре пред слушателями, с научным образованием, с даровитостью и теплотою, быть проповедниками Евангелия, а не диктовальщиками сухих параграфов так называемого догматического и нравственного богословия. И вот этим-то людям дали теперь еще читать философию! Наш бездарный, сухой, но умный и добросовестный Терновский[163] со слезами отмаливался от новой кафедры, выставлял свою совершенную неприготовленность к ней; ему выставили высочайшее повеление, и старик должен был приниматься за логику и психологию. Катков таким образом потерял кафедру философии. Для вознаграждения этих профессоров философии, потерявших свои кафедры, Ширинский создал новую кафедру педагогии. Как будто люди, вредные на кафедре философии, могли быть невредны, преподавая педагогию? Но Катков не получил и кафедры педагогии, как увидим впоследствии.

О Шестакове (Сергее Дмитриевиче) мне сказать нечего, ибо я не знаю случая, в котором бы он мог резко выставиться, и я с ним тесно не сближался; считался он человеком умным, хорошим, был образован, трудолюбив, но больших способностей не имел. Он был курсом старше меня, занимался древними языками, по окончании курса отличился как учитель латинского языка и был определен преподавателем в университет[164].

Петр Николаевич Кудрявцев — высокий, худощавый, плешивый, с болезненным, грустным, привлекательным лицом, тихим приятным голосом; он был из числа даровитых, с высшими стремлениями людей, надорванных нравственно семинариею. Все выходцы из духовных училищ в светские делились на три класса: одни, натуры спокойные, не очень даровитые, оставляли духовное поприще или случайно, или по расчету, выходили в медики, служили по учебной, ученой, судебной и административной части, дослуживались, наживались, не относясь враждебно к местам прежнего своего воспитания, к духовным училищам, а скорее с сочувствием, благодарностью; другие, люди с сильными и беспокойными натурами, вырывались из семинарий и академий, люди даровитые, но шумные, крикуны, относившиеся обыкновенно враждебно к своему прошлому и отличавшиеся противоположными церковному стремлениями, впадавшие в другие крайности; наконец, третьи, натуры мягкие, впечатлительные, они чувствовали сильнее других всю черную сторону семинарщины, но скрадывали все это в себе, и если им удавалось выбраться на простор в светское звание, то они очень враждебно относились к своему прошлому, но не высказывали этого, по крайней мере очень редко и не резко: Кудрявцев принадлежал к третьему из этих разрядов. Мягкая и болезненная его природа сильно оскорблена была

грязью и жестокостью семинарского быта; он был сын московского (кладбищенского) священника; это дало ему большие, сравнительно, удобства для того, чтоб почаще выглядывать из окон своей темницы на широкий мир; он почитывал, почувствовал в себе дарование, начал писать повести, сблизился с Белинским[165] и, разумеется, легко пошел по покатой дороге отрицания ненавистного прошлого; но самая мягкость, нежность и болезненность природы не допустила его до крайностей, или, по крайней мере, до резкого выражения этих крайностей. Кудрявцев перешел в университет в историко-филологический факультет, где не мог, разумеется, не прильнуть к самому симпатичному из профессоров, Грановскому; тот, в свою очередь, не мог не отметить симпатичного, даровитого и трудолюбивого, начитанного Кудрявцева и представил его к отсылке за границу по кафедре истории. В университете, во время студенчества, я видал Кудрявцева мельком: он был курсами двумя старше меня, и сблизился с ним только тогда, когда он возвратился из-за границы и поступил преподавателем в университет. Я сказал, что Кудрявцев был даровит, но талант его был крайне легкого свойства; в своих лекциях и сочинениях[166] он не отличался ни силою и самостоятельностью мысли, ни художественностью изложения (как Грановский); вялость, натянутость и обилие иностранных слов бросались в глаза; особенно неприятно поражало последнее и обличало отсутствие силы, способности вполне овладеть предметом, сделать его совершенно своим. Но как человек, как товарищ, Кудрявцев был чрезвычайно привлекателен: в нем было что-то святое, и это святое было самого мягкого, снисходительного свойства, в нем виделось отсутствие страстей, но без холодности, напротив — какая-то очень приятная ласкающая теплота. Сильно привязывались все к Грановскому, но при нем, как при человеке крупном, все же, несмотря на его гуманность, должны были держать руки по швам в известном отношении; при Кудрявцеве этого было не нужно, и его очень любили близкие к нему люди.

Павел Михайлович Леонтьев — маленькая, двугорбая фигура с четвероугольным матово-бледным лицом, густыми русыми волосами, карими, холодными, не проницательными, но внимательными, старающимися проникнуть и потому очень неприятными глазами. Первое, что поражало в Леонтьеве внимательного человека, это — напряженное внимание, с каким он обращался ко всему, желание проникнуть, изучить человека, дело, отношение. Все это было бы прекрасно в человеке даровитом, с благородными, чистыми, светлыми стремлениями; но в Леонтьеве этого ничего не было. Он был способен заниматься пустяками без устали, причем ему помогала необычайная медленность в словах и деле. Начнет говорить — тянет, тянет и утомляет слушателя, но сам не утомляется; студенты смеялись, что на лекциях он делал обыкновенно движения руками, как бы загребая ими, помогая этим выходу слов изо рта, которые шли чрезвычайно медленно, с крайним затруднением. Заговорившись, т. е. затянувшись, а не заболтав-

шись, он опаздывал со всем во всем: он постоянно опаздывал на лекции, на железные дороги; во время экзаменов всегда нужно было посылать за ним солдата. Цепкость была отличительным качеством Леонтьева: вцепится во что-нибудь — не отстанет; «собака» (репейник) есть лучшее для него подобие. Эта цепкость в каждом деле была драгоценным его качеством для Каткова, когда они вместе издавали журнал, газету, завели лицей[167]: нетерпеливый, впечатлительный, Катков приходил в отчаяние от каждой неудачи, от каждой ошибки, от каждого препятствия; но Леонтьев вцепился крепко в дело, и ничем нельзя было его отцепить; всякую беду он надеется переждать, всякое препятствие преодолеть, всякую ошибку поправить; он везде ровен, выдержлив; бешеный Катков опрокинется на него с упреками; Леонтьев выдержит спокойно и успокоит. Та же цепкость — в привязанности и во вражде. Хвалили его привязанность к родным; привязанность его к Каткову и семейству последнего была изумительна; и вовсе не нужно объяснять ее чем-нибудь корыстным.

Но, как сказано, Леонтьев был цепок во вражде, и здесь он был отвратителен по мелкости взгляда, по стремлению копаться в отхожих местах натуры человеческой, обходя места чистые, — это был художник клеветы; всякий совершенно случайный поступок неприятного ему человека он перетолковывал в дурную сторону и тут не робел ни перед чем; наглость, до какой он мог доходить в клевете, ошеломляла; честный человек поникал, окончательно падал духом на первое время; тут Леонтьев являлся совершенно адским существом, ибо заставлял верить в силу зла. Интрига — было первое и последнее слово Леонтьева; все, по его мнению, интриговало, ничто не делалось просто; каждое движение, каждое слово искусно подводилось под известную интригу, каждый камешек искусно обтачивался и служил для мозаической работы. Но когда Леонтьев появился среди нас, то эти качества его вовсе не высказывались; мы приняли его как умного, честного и знающего свое дело человека, видели в нем хорошего товарища. Он жил вместе с Кудрявцевым и Шестаковым; и тот и другой, как мы все, имели о нем самое выгодное мнение; только жена Кудрявцева, женщина очень умная и привлекательная (не наружно, потому что была дурна собою), позволяла себе в дамском обществе отзываться не очень хорошо о Леонтьеве по отношению к его не физическим, а нравственным горбам. Острое чутье женского существа, живущего более чувством, чем головою!..

Дружеский кружок и молодость, еще полная надежд, помогли нам пережить то тяжелое время. Что мы были отданы под надзор полиции — это нас не беспокоило и не мешало нашим дружеским собраниям. Грановский, теснее сблизившийся с нами вследствие отъезда Герцена за границу, естественно, по своему значению, как общий учитель, стал душою кружка; к нашему же кружку примыкал человек, о котором нельзя не отозваться с благодарностью за те минуты чистого, молодого и трезвого веселья, которыми он нас дарил в наших собраниях, — минуты драгоценные

особенно потому, что дарились в тяжелое, безотрадное время: то был Сергей Петрович Полуденский, старше меня курсом по университету. Несмотря на свои связи, которые могли бы доставить ему сильное служебное движение, он взял скромное место университетского библиотекаря; его тянуло к высшим интересам, которыми жили лучшие представители науки. Этот человек обладал неистощимым запасом веселости и остроумия; в последнем он уступал разве Герцену, но зато у Полуденского не было герценовской колючести, нетерпимости и односторонности; он был неподражаем в придумывании сцен, в которых действовали очень знакомые всем люди, вносившие каждый комическую сторону своего характера и быта. Кроме урочных собраний, бывало, после лекции идешь в библиотеку и там в отдаленной комнате найдешь милого библиотекаря и с ним одного или двоих из наших: тут узнаешь все новости и отдохнешь в умном, серьезном разговоре, и посмеешься вдоволь от комических разговоров и острот Полуденского. И этот человек, виновник нашей веселости, должен был готовиться к скорой смерти: все братья его один за другим умирали чахоткою, и доходила уже очередь и до нашего Сергея Петровича.

Наш кружок расширялся, благодаря Грановскому, который делал иногда обеды, вечера и, приглашая нас, приглашал и людей из другого своего кружка, который чувствительно опустел, лишившись Герцена; приглашались и молодые подростки, будущие ученые деятели, профессора Бабст, Чичерин[168] и другие. Из этого кружка, сводимого с нашим у Грановского, виднее или собственно слышнее всех был Кетчер. Студент московской медико-хирургической академии, Кетчер до глубокой старости сохранил студенческий образ жизни; добрый малый, отличный товарищ, готовый на услугу, крикун, буян, вовсе не пьяница, но, дорвавшись до шампанского, перепьет всех, неряшливый, беззаботный — вот Кетчер при поверхностном знакомстве. Будучи медиком и служа по медицинской части[169], он не был практическим врачом и вместо медицинской практики стал заниматься литературою, вследствие чего и сблизился с литераторами и вообще с людьми, имевшими сферу пошире; он был известен как переводчик Шекспира, которого, по его собственному выражению, он не переводил, а *перепирал*[170]; он следил за легкою литературою, особенно за театром, и при тогдашних небольших требованиях получил в кружке людей, занимавшихся литературою, почетное место и сильный голос, и как обыкновенно бывает в слабом обществе, расступающемся перед силою, стал мужиком-горланом. Я нашел Кетчера уже совершенно сформировавшимся. Собирается общество рассуждать о чем-нибудь, спорят тихо; вдруг из передней раздается трескучий голос и является человек довольно высокого роста, с круглою, гладко обстриженною головою, очень некрасивым, но замечательным лицом, в истрепанном сюртуке, без белья, летом в белых панталонах без подштанников. «Что, о чем идет дело?» Ему говорят — о чем. «А, — кричит Кетчер, — это ты (тот или другой

из собеседников) все толкуешь об этой дряни!» (книга, пьеса или человек) — делается стремительное нападение, сопровождаемое насмешками и остротами, иногда порядочными, возбуждающими общий хохот, иногда тупыми; но насмешки пересыпались и бесцеремонною бранью, например: «Ведь, это от того, что ты глуп, ничего не понимаешь!» или «Так говорят только такие дураки, как ты!» Обыкновенно Кетчер выбирал себе жертву, кого-нибудь из присутствующих, и целый обед или вечер, по поводу какого-нибудь события или слова, издевался над несчастным, на потеху публике; я уже сказал, что было принято на Кетчера не сердиться, криком и бранью его не оскорбляться. Увидевши раз человека, Кетчер при другом свидании говорил ему уже *ты* и считал себя вправе выбирать его себе жертвою, пищею на обед или ужин.

XVIII

Так мы проживали самое тяжелое время конца николаевского царствования. Беда, общий гнет — сближают людей, и это сближение, соединение сил дают нам возможность легче переносить горе. Литературный интерес был силен. Несмотря на то, что мысль была в опале, скована цензурою, книжки журналов ожидались с нетерпением и прочитывались с жадностью; но мне эти журналы часто приносили и горе. С самого вступления на кафедру я предался сильнее литературной деятельности по страсти к предмету, по любопытству, съедавшему меня с детских лет, по крайней необработанности предмета моего преподавания. Разумеется, я мог бы ограничиться чтением, выписыванием, составлением хороших лекций; но кроме общего людям стремления заявлять свою умственную деятельность, у меня были еще и другие побуждения печататься как можно скорее и как можно больше. Во-первых, отличительною чертою моего характера была торопливость: я спешил во всем — скоро ел, скоро ходил, всегда являлся первый; называли это аккуратностью, но это была торопливость; мне не сиделось дома, я не мог ничем заняться, когда нужно было куда-нибудь ехать; понятно, что я точно так же торопился писать и издавать. Во-вторых, и без этой врожденной торопливости я побуждался как можно больше и скорее издавать: я добыл себе место с бою и должен был удерживать его боем, должен был в короткое время сделать столько, чтоб не смели сказать, что университет проиграл, заменивши старого профессора Погодина новым. Наконец, к сильному труду побуждали меня семейные обстоятельства: я женился в начале 1848 года, и каждый год у меня пошли дети: профессорского жалованья было мало.

С самого начала моей литературной деятельности два первых журнала-соперника «Современник» и «Отечественные записки» просили моего сотрудничества, и я стал участвовать в них обоих [171]: в «Современник» стал давать статьи подписанные: обзор смутного времени, царствования Михаила Федоровича; в «Отечествен-

ные записки», кроме статей подписанных, с осени 1847 г. я взялся писать рецензии о книгах и изданиях по русской истории, и эти статьи являлись без подписи. Помню, что с особенною злостью я разбирал историю русской церкви Филарета за его одностороннe-славянофильский и клерикальный взгляд[172]. Но эта-то журнальная деятельность и причиняла мне часто горе. Являлся нумер журнала, где помещена моя статья; по моему расчету должно выйти столько-то печатных листов — смотрю, выходит меньше: цензор вымарал! Оскорбление было тем чувствительнее, что смолоду я обращался с наукою уважительно, не позволял себе тенденции, передавал факты, связывая и освещая их, почерпая их из источников печатных, самим же правительством большею частью изданных. И тут невежественный и желающий непременно что-нибудь вычеркнуть цензор вычеркивал! Однажды он вычеркнул из моей статьи донесение Годуновского шпиона, что Филарет Никитич жил со своим слугою душа в душу, и поэтому от верного слуги нельзя ничего выведать. Я справился через редакцию, зачем выключена такая прекрасная черта из жизни родоначальника Романовых. Цензор объяснил, что вычеркнул из опасения, чтобы не подумали, будто между Филаретом и слугою была противоестественная связь. С 1848 года я начал заниматься «Историею России». Дело сначала шло медленно, лекции не были еще все приготовлены, много надобно было писать посторонних статей из-за куска хлеба; кроме того, задерживали нелюбимые мною исследования о начальных временах, так что первый том мог выйти только в августе 1851 года.

А между тем в университете произошли важные перемены. На место Голохвастова, явившегося совершенно неспособным к управлению, вследствие своей медленности, нерешительности, привычки много говорить и не делать, назначен был генерал Назимов[173], пользовавшийся особенным расположением императора и еще большим — наследника. Назимов был человек добрый, простой, необразованный, со всеми привычками тогдашнего *енерала*: при первом удобном случае любил нашуметь, распечь подчиненного, но последний не должен был этим оскорбляться, потому что его превосходительство, распекши, потом и обласкает его. Самая дурная привычка в нем — это была привычка к казнокрадству, которую оправдывали всегдашнею нуждою, бедностью. Но, несмотря на это, я, как всегда говорил, так и напишу, что назначение Назимова было благодеянием для университета в то время гонения. Его главное правило, общее генеральское правило, состояло в том: «Будьте покойны, в[аше] в[еличество], у меня все покойно и хорошо». Его послали попечителем, чтоб он по военному скрутил университет, согнул в бараний рог профессоров, этих злонамеренных либералов, бунтовщиков. Но вместо бунтовщиков генерал нашел людей очень скромных, почтительных, робких. Генерал изумился: «Все наврали, — сказал он, — никакого бунта нет в университете!» Тщетно ему внушали, чтоб он не смотрел на наружность, что эти тихони содержат в себе скрытый

яд, обманывают начальство. «Что же это такое, — отвечал Назимов на эти внушения, — все подлецы да подлецы, где же честные-то люди?»

Наша судьба, судьба молодых опальных профессоров, быстро переменилась к лучшему при Назимове. Новый попечитель искал в университете человека, которого советами мог бы пользоваться в совершенно новой для него сфере. Этот доверенный человек, разумеется, не мог быть из профессоров, как людей, с которыми Назимову было все же неловко, как неловко бы было с каким-нибудь иностранным путешественником; доверенный человек должен был быть из своих, из военных. Такого он нашел в инспекторе студентов из моряков, Ив[ане] Абр[амовиче] Шпейере, человеке очень ловком, готовом услужить доброму начальнику, даже насчет казенного имущества, особенно во время построек, к которым Шпейер был большой охотник и считался знатоком, почему и носил название «Ивана Строителя». В университете был обычай, что инспектора студентов, зависевшие, по старому уставу, прямо от попечителя, враждовали с ректором, по пословице, что два медведя в одной берлоге не уживутся, и, действительно, вина была на уставе, который сажал двоих медведей в одну берлогу. Шпейер сейчас же стал во враждебные отношения к Перевощикову, и естественно, стал ухаживать за нами, как находившимися в оппозиции ректору. Мы отвечали любезностью за любезность, ибо ничего не знали о строительных наклонностях Ивана Абрамовича, а видели в нем доброго, честного моряка, который сближается с нами по сочувствию к людям напрасно гонимым. Отсюда — дружба между молодыми профессорами и Шпейером. Ко мне он был особенно расположен по знакомству с тестем моим, тоже моряком. После назначения Назимова попечителем, я как-то сделал визит генеральше Тимофеевой, жене начальника военного корпуса, у которого Назимов был начальником штаба. Разговор пошел о назначении Назимова; генеральша говорила, что Назимов очень добрый человек, в университете будут им довольны; но, по совершенной неприготовленности к делу, попечитель нуждается в человеке благонамеренном, который бы познакомил его с порядками нового места, дал ему понятие о людях и проч. Я отвечал, что такой человек есть, именно инспектор Шпейер. Мое указание принято было к сведению, и Шпейер стал доверенным человеком у Назимова. Благодаря ему, Назимов утвердился в мысли, что все было наврано на молодых профессоров, которые вовсе не бунтовщики, а ректор Перевощиков — негодяй, который гонит достойных людей. Когда кто-то сказал ему про меня, что ходят слухи о моей неблагонамеренности, то он отвечал: «Пустяки! Я знаю его тестя, прекрасный человек!» В этом ответе Назимов высказался вполне, но дело известное, что «Dei providentia et hominum confusore Ruthenia ducitur» *, и мы были выведены из

* Россия стоит божьим провидением и людским попущением (*лат.*).

опасного и тяжелого положения «енералом» Назимовым, вернейшим слугою императора Николая.

Император, с целью подтянуть университет и держать в руках бунтовщиков-профессоров, уничтожил выборных ректоров и сделал коронных; но это распоряжение послужило, по крайней мере нашему университету, во благо, ибо удалило Перевощикова: Назимов, предубежденный против него рассказами Шпейера и находясь в первое время под влиянием Строганова, слышать не хотел о Перевощикове, как о постоянном коронном ректоре, и представил на это место прежнего ректора, Альфонского. Это было, разумеется, наше торжество, ибо Перевощиков был наш враг, а за Альфонского мы стояли в пользу его против Перевощикова. Альфонский, действительно, оказался на это время прекрасным коронным ректором: холодный, апатичный, любивший прежде всего спокойствие и гран-пасьянс, он, чтоб не нарушать собственного спокойствия, никогда не решался нарушить спокойствие других, если только соблюдался внешний порядок, оказывалось внешнее уважение к его превосходительству. «И прекрасно!» — была его любимая фраза.

Удаление Уварова из министерства, врага Строганова, покровителя Давыдова, Погодина, Перевощикова, Шевырева, не могло опечалить меня, равно как и всех строгановских. Но и преемник его Ширинский не замедлил показать нам свое татарство. В 1850 году, в августе месяце, он явился в Москву и прежде всего, разумеется, стал осматривать университет, ходить по лекциям. Пришел ко мне; лекция была первая в курсе; я говорил об источниках русской истории, о летописи, утверждал ее достоверность, опровергал скептиков, но закончил тем, что она дошла до нас в форме сборника, причем первоначальный текст, приписываемый Нестору, восстановить трудно. Что же? На другой день Ширинский призывает меня к себе и делает самый начальнический выговор за мое скептическое направление, что я следую Каченовскому: «Правительство этого не хочет! Правительство этого не хочет!» — кричал разъяренный татарин, не слушая никаких объяснений с моей стороны. Погодин мог радоваться выговору, полученному мною от министра; но радовался не долго: тот же Ширинский выхлопотал высочайшее повеление не подвергать критике летописного известия о смерти Димитрия-царевича — следовательно, волею-неволею нужно было утверждать, что Димитрий был убит Годуновым [174]; точно также запрещено было подвергать критике вопрос о годе основания русского государства, ибо-де 862-й год назначен *преподобным* Нестором; запрещено произносить греческие слова по Эразму, ибо новогреческое произношение утверждено православною церковью введением в духовные училища. Понятно, как должна была вести себя цензура, подчиненная такому министру.

Бывало, с трепетом ждешь нумера журнала, где помещена моя статья: сколько-то выпущено цензурою? И всегда найдешь выпуски и недоумеваешь, что могло заставить выпустить то или

другое место, тот или другой отрывок из акта, уже напечатанного в правительственном издании. Но как догадаться о побуждениях невежды, который спеша играть в карты, марает, что ему угодно, ибо знает, что за вымаранное не подвергается ответственности. А у несчастного автора расстраивается здоровье от этого, ибо кроме разбойничьего похищения умственной собственности, искажения литературного произведения, отнималось и материальное имущество, отнимался кусок хлеба у семейства.

Я уже упоминал об уничтожении философских кафедр Ширинским. Катков остался без кафедры; ему следовало получить кафедру педагогии; но в это время подбился к Назимову Шевырев и получил сильное влияние как *преподаватель христианский.* В это время Шевырев был деканом историко-филологического факультета на место Давыдова, переведенного Уваровым еще в директоры педагогического института. Шевыреву возомнилось, что педагогия должна быть главным руководящим предметом в факультете, и потому ее нельзя отдать какому-нибудь Каткову, надобно взять себе. Он успел убедить в этом Назимова, тот успел убедить в этом Ширинского, и кафедра педагогии отдана была Шевыреву, который оставил за собою и кафедру словесности, сам получил две кафедры, а Катков остался без места.

Эта проделка Шевырева возбудила к нему страшную ненависть в нашем кружке, и когда подошли деканские выборы, то Шевырев был забаллотирован, и в деканы выбран Грановский. Но Шевырев не хотел снести такого поражения, и Назимов с Ширинским решили, что Грановский — человек подозрительный, либерал известный, и потому не может быть деканом, вследствие чего наши выборы были кассированы, и Шевырев был назначен от министра деканом. Ненависть к *казенному* декану стала еще сильнее.

XIX

Между тем я начал «Историю России». Давно, еще до получения кафедры, у меня возникла мысль написать историю России; после получения кафедры дело представлялось возможным и необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было, для составления хорошего курса, заниматься по источникам; но почему же этот самый курс, обработанный по источникам, не может быть передан публике, жаждущей иметь русскую историю полную и написанную, как писались истории государств в Западной Европе? Сначала мне казалось, что история России будет обработанный университетский курс; но когда я приступил к делу, то нашел, что хороший курс может быть только следствием подробной обработки, которой надобно посвятить всю жизнь. Я решился на такой труд и начал с начала, ибо, как уже сказано, предшествовавшие труды не удовлетворяли. К весне 1851 года я приготовил первый том и отдал его в цензуру.

Когда весть об этом распространилась, попечитель Назимов, встретив меня не помню где, спросил меня, почему я не хочу посвятить своей книги императору, а если не хочу императору, то посвятил бы наследнику. Я отвечал, что не имел бы ничего против посвящения императору, но не считаю себя вправе ходатайствовать об этом, — дело трудное; притом же, пожалуй, отдадут мою книгу в академию наук для оценки, достойна ли она чести посвящения, академик же Устрялов уже обнаружил ко мне свое нерасположение, объявив, что моя докторская диссертация не стоит Демидовской премии, на которую я ее представил; если б я был уверен, что дело обойдется без академии?.. «Вы ординарный профессор университета, — сказал Назимов, — вы имеете полное право просить о посвящении; напишите мне письмо, я еду в Петербург и попрошу министра, чтоб он прямо доложил государю». Я поблагодарил доброго «енерала» и написал ему письмо, которое он и повез в Петербург. Когда он возвратился, я отправился к нему, и по лицу его сейчас увидал, что добряк не успел оказать мне услугу. «Министр, — сказал он, — никак не согласился доложить государю о посвящении: нельзя, говорит он, посвящать первый том; неизвестно, успеет ли он кончить; когда кончит сочинение, тогда я доложу». После не раз со смехом вспоминал я об этом обещании доложить: когда умер Ширинский, умер Николай I-й, переменилось много министров просвещения — а «История России» все не оканчивалась, выходя каждый год.

С радостью вспоминаю я и о том, что книга не была посвящена Николаю. Впрочем, дело этим не кончилось. Первый том оканчивался печатанием к августу 1851 года. В это время Москва находилась в сильном движении; ждали приезда императора, который хотел в первопрестольной столице праздновать двадцатипятилетие своего царствования. Назимов опять говорит мне: «Хотя посвящение и не дозволено, но приготовьте подносные экземпляры: я поднесу их императору и всем членам царской фамилии, которые приедут в Москву». Я приготовил экземпляры и отвез попечителю. Самодержец приезжает, и скоро разносится слух, что он омрачен, недоволен: он ждал более торжественного приема, ждал поднесения титулов за двадцатипятилетнее славное царствование, и ничего не было. Какое влияние это неудовольствие монарха имело на судьбу моей книги, я не знаю; знаю, что Назимов передал мне письменную благодарность наследника (впоследствии государя Александра II), устную благодарность других членов фамилии, а об экземпляре для императора сказал, что ген[ерал]-губернатор гр. Закревский взял у него для поднесения императору; но что сталось с этим экземпляром — мне неизвестно: побоялся ли Закревский подносить профессорскую книгу, швырнул ли ее раздраженный царь — ничего не знаю; знаю одно, что Назимов в присутствии приближенных людей горевал, что я не получил подарка за поднесенный экземпляр.

Но дело и этим не кончилось. Весною 1852 года выходил из печати второй том «Истории России». Я спрашиваю Назимова,

приготовлять ли подносные экземпляры; тот отвечает, что приготовлять: «Я, — говорит он, — отошлю их для поднесения министру, с уведомлением, что первый том поднесен». Экземпляры приготовлены, отправлены в Петербург. Какие же следствия? Не помню, в мае или июне месяце меня требуют в канцелярию попечителя, останавливают у загородки, отделявшей столы чиновников от места, где должны были стоять просители, и правитель канцелярии читает мне бумагу министра, гласящую, чтоб я не смел беспокоить его сиятельство присылкою подносных экземпляров моей «Истории», что они подносимы быть не могут до окончания сочинения, присланные же экземпляры будут до этого времени храниться в министерстве. Решительно не понимаю, что заставило Назимова, которого не перестану называть добрым человеком, сделать мне такой аффронт: разве он не мог показать мне бумагу у себя дома или переслать ко мне копию? Но среди таких любезностей одно мне несколько польстило. Из членов царской фамилии в 1851 году не было великого князя Константина Николаевича. Вскоре после отъезда царского из Москвы я получаю письмо от секретаря великого князя, Головнина, в котором он пишет, что ген[ерал] Муравьев указал великому князю на мою книгу, великий князь прочел ее с большим удовольствием и просит присылать к нему следующие томы, даже за границу, куда великий князь отправляется[175].

До сих пор написание русской истории считалось у нас, как некогда составление летописи, делом государственным. При изъявлении намерения оказывались всевозможные пособия. Карамзину дан был титул историографа[176] вовсе не в том смысле, в каком он употреблялся на Западе, но дан был для того, чтоб написанию и древней русской истории дать значение труда государственного. Устрялов точно также принялся за написание истории Петра Великого[177] с богатыми субсидиями от правительства. Полевой сделал свой наезд на русскую историю не на счет государства, а на счет общества[178]. Я предпринял свой труд с чисто научною целью выучиться самому, чтоб быть в состоянии читать сколько-нибудь достойный университета курс русской истории и дать средство другим знать основательно свою историю, а не толковать вкось и вкривь о ней, и чтоб отнять занятие у людей-охотников в мутной воде рыбу ловить. Но при этом я не либеральничал, и когда правительственное лицо предложило мне отдать мой труд под покров государя, посвятив императору, хотя и антипатичному мне, я согласился. Посвящение и даже поднесение книги было отвергнуто, государство отказалось от моего труда; как же отнеслось к нему общество?

Сначала появление книги было принято очень радушно: 1200 экземпляров первого издания разошлись быстро; книгопродавец Салаев купил у меня большинство экземпляров и после сам мне признавался, что покупка была для него очень выгодна. Но скоро ополчился легион, с тем, чтоб стереть с лица земли дерзкого профессоришку, осмелившегося стать на высоту Карамзина. Это мое

выражение, может быть, не совсем будет понятно молодым поколениям. В литературах сильных, развитых, где много обширных и важных исторических сочинений, начало обширного и важного исторического труда встречается сочувственно, не нарушая прав других знаменитостей, прав законно приобретенных. В нашей литературной степи было не так. После ставшего неудобоваримым Щербатова[179], внутренними и внешними средствами поднялась знаменитость — Карамзин. Явление не прошло без завистливых протестов со стороны ученой братии и со стороны шумливых и невежественных либералов, этой язвы нашего зеленого общества, убивающей в нем всякое правильное движение к свободе. Карамзин свысока, аристократически равнодушно взглянул на чернорабочих копотунов, да и нельзя было иначе, когда они, выругавшись, протягивали к нему руку за милостынею, как Ходаковский[180]; но шумливый протест либералов затронул историографа, тем более, что с крикунами надо было встречаться в великосветских салонах; чтоб помирить их с своею историею, он бросил им искаженный, рассеченный пополам труп Ивана Грозного[181]; но умилостивительная жертва не помогла; либералам нужно было пожертвование не случайностью, не лицом, а принципом. Впрочем, Карамзин понапрасну тревожился, прикрытый щитами кружка, сильного дарованиями членов, их общественным и государственным положением, прикрытый и отношениями к императору. По смерти Карамзина, кружок сделал из него полубога, и горе дерзкому, который бы осмелился поставить свой алтарь подле божества. Неудавшаяся попытка Полевого еще более утвердила кружок в том мнении, что идол его останется навсегда на недосягаемой высоте и блеском своих лучей будет освещать их и давать им значение.

Легко теперь понять, с каким чувством Блудов и Вяземский[182] встретили появление первого тома «Истории России», тем более, что они имели основание опасаться успеха: труд ученый, являющийся через двадцать пять лет после Карамзина; автор мог воспользоваться всеми успехами исторической науки и дал уже в прежних трудах своих задаток, что способен ими воспользоваться, способен удовлетворить настоящим потребностям образованных русских людей, — такой труд мог отдалить «Историю государства Российского» на второй план не по значению его в истории русской литературы, а для настоящих потребностей публики, и этого опасения уже было очень достаточно для жрецов Карамзина. Блудов, человек вообще очень приветливый, хорошего тона, решился сказать мне в лицо, что мое предприятие очень смело — писать русскую историю после Карамзина; другое дело, если б я издал лекции о русской истории, которые я читаю в университете. Я отвечал, что заглавие лекций было бы странно для труда, который грозит быть очень обширным, многотомным. Это еще более озлило Блудова, и он сказал нелепость, показавшую все его невежество. «Да, — сказал он, — и в Англии пробовали писать многотомные истории, а до Юма-то не дотянули»[183].

Здесь кстати несколько слов о Блудове, ибо он представляет явление, возможное только в русском обществе второй половины XIX века. Везде так называемое счастие играет важную роль, но нигде оно не играет такой громадной и такой безобразной роли, как у нас на Руси (о, Русь! о, rus!)[184], и Блудов представляет баловня этого безобразного счастия. Небогатый, незнатный, непригожий, недаровитый, он достиг высшей степени чести, до какой только можно достигнуть подданному; человек с самым поверхностным образованием, которое впоследствии стерлось вследствие общей нашим знатным людям привычки не читать, по недостатку времени, тратящегося на множество пустяков, Блудов до самого конца слыл самым образованным человеком, что объявлялось на весь свет в императорских рескриптах. Эта репутация происходила от того, что он сначала принадлежал к литературному кружку, имевшему значение наверху, терся около Карамзина, Жуковского, Вяземского, Пушкина[185], и потом, поднявшись по служебной лестнице, стал меценатствовать. Но, как уже сказано, из этого покровительства исключался несчастный московский профессор, осмелившийся писать «Историю России». Блудов, который, конечно, не прочел ни одной страницы этой истории, пользовался своим значением, чтоб топтать ее, а легко понять, какое значение имели публичные презрительные отзывы о моей книге в устах государственного мужа и образованнейшего человека.

Другой жрец Карамзина, кн. Вяземский, также счел своею обязанностью вооружиться за монополию своего культа: его отношения ко мне видны всего лучше из того, что когда, впоследствии, я был приглашен преподавать цесаревичу[186], то Вяземский счел своею обязанностью протестовать у императрицы, выставляя, что я буду держаться взглядов противоположных Карамзину, взгляды которого по русской истории одни суть истинные и достойные внушения царственному отроку. Строганову стоило труда настоять на своем; но затруднительное положение Строганова высказалось: с необыкновенным в нем волнением начал он мне вдруг говорить, чтоб я ни под каким видом не говорил наследнику ничего против Карамзина. Когда я посмотрел на него изумленными глазами, то он принял это изумление за несогласие и с новым жаром начал настаивать; тогда я рассердился и сказал, что напрасно он так беспокоится, у меня нет никакого побуждения и нет времени занимать наследника критикою «Истории государства Российского».

Легко понять, как эти жрецы полубога Карамзина обрадовались, когда увидали, что все, что претендовало на какое-нибудь занятие русскою историею, с ожесточением накинулось на «Историю России». Этим господам было легко до сих пор: на безрыбьи все раки были рыбы, привыкли к равенству при отсутствии авторитетов; мертвый Карамзин не стеснял; живые Погодин и Устрялов — также, ибо всякий мальчуган считал для себя позволенным пройтись на их счет насмешкою, при очень небольшом уважении

к ним в обществе. Успех двух моих диссертаций смутил, покоробил; сильно обрадовались, когда Погодин начал полемизировать против них, но все не было дружного ожесточенного нападения; молодой профессор написал две диссертации, пописывает в журналах — этим, пожалуй, все и кончится, и вдруг дерзкий выдает «Историю России» — первый том, значит, будут и другие томы, — дерзкий, которому исполнилось только тридцать лет, в Карамзины лезет, хочет быть господствующим авторитетом! Это нельзя было перенести равнодушно. Но, разумеется, прежде всех не мог перенести этого равнодушно Погодин. Просидел двадцать с лишком лет на кафедре, приобрел авторитет первого знатока русской истории, и на поверку что сделал? Написал две диссертации о варягах и Несторе. А этот молокосос не только в два года своего профессорства написал две диссертации, но и теперь приступил к изданию обширной истории, хочет быть Карамзиным. Что же ему, Погодину, в гроб что ли ложиться? Лучше в гроб, чем стушеваться пред каким-нибудь Соловьевым. Одна надежда, что дерзкое предприятие рухнет, как рухнула «История русского народа» Полевого; но надобно ускорить это падение, ополчиться и разнести по камешкам здание при самом его начале, разнести фундамент.

Сотрудников много. С шипением, с пеною у рта собирается около почтеннейшего Михаила Петровича, ставшего чрезвычайно популярным, дружина, и поход объявлен. «Москвитянин» открыл свои страницы ругательными статьями против меня. Выступил какой-то Мстиславцев — но кто его знает и помнит? Выступил Беляев[187], которому я до тех пор доставлял уроки, но который теперь нашел гораздо приятнее и выгоднее для себя пристать к кружку, могущему много сделать для него, благодаря покровительству Блудова; Беляев, действительно, награжден был щедро по архиву юстиции, где служил, и потом, по настоянию Погодина и Шевырева пред Назимовым, попал в профессора Московского университета по кафедре истории русского права. Беляев, по своей способности борзописания, взял на себя задачу по косточкам разбирать «Историю России», не оставить ни одной строки без возражения. Камни возопили; Калачов написал нечто[188]; Погодин и дружина его могли рассчитывать на успех: постоянным ругательством, исходящим от людей, считавшихся специалистами, ошеломить русскую зеленую публику, остановить успех книги, ход ее, раздражать и утомить автора, который, видя себя окруженным врагами и не видя ни откуда помощи[189], откажется от бесполезной борьбы. Действительно, я пережил тяжелое время зимою 1851—52 года; я счел нужным отписываться и от Беляева, и от Калачова, — труд страшно неприятный; труд защиты и труд одинокий. Но сила божия в немощи совершается; никогда не приходила мне в голову мысль отказаться от своего труда, и в это печальное для меня время я приготовил и напечатал 2-й том «Истории России», который вышел весною 1852 года. Как видно, я защищался удачно не полемическими статьями, но именно то-

мами истории, постоянно ежегодно выходившими; 3-й и 4-й томы не опоздали. Книга шла, несмотря на продолжавшуюся руготню в «Москвитянине». Своею твердостью — я выигрывал дело в глазах публики, а Погодин проигрывал — усилением ругательств, так что приятели его сочли нужным внушить ему, чтоб он остановил ругательства, сильно ему вредившие.

XX

В 1853 году, раннею весною, я поехал в Петербург в первый раз, для сбора материалов в Публичной библиотеке, и был очень доволен, особенно напавши на тверскую летопись. По приезде, сделал визит министру просвещения; швейцар отвечал: «Князь у нас очень болен, никого не принимает». Чрез несколько дней я узнал о кончине сего князя Ширинского. Перед отъездом я отправился с визитом к его преемнику, Норову[190], от которого пахнуло на меня сейчас же сильною оттепелью. Норов поразил меня своею противоположностью покойному министру. Прекрасное, симпатичное лицо с грустным оттенком, добродушная приветливость, отсутствие всего казарменного и департаментского — вот черты, которые приятно поражали в Норове. Но с первых же слов поразило меня в Норове и неуменье избежать крайностей, характеризующее всех наших господ, наверху стоящих, и в Норове, по мягкости его натуры, видное более, чем в ком-либо, — «А, чай, как вы нас, Сергей Михайлович, ругаете, ругаете!» — обратился вдруг ко мне Абрам Сергеевич. — «За что, в[аше] п[ревосходительство?» — спросил я с удивлением. — «Да за цензуру-то; но ведь вы не знаете, с какими препятствиями мы должны бороться», и проч. Удивительное дело! Защитники Николая толковали и толкуют, что цензурные безобразия не от него происходили, что он не знал об них, и если бы знал, то не позволил бы. Но почему же император об них не знал? Почему люди, близкие к нему и привязанные к нему, не дали ему знать об них, как о явлениях противных его славе и пользе народа, почему позабыли свою присягу? Дело в том, что Николай стоял спиной к литературе; это знали и подлаживались из подлости к положению господина, не имея никакого сочувствия к литературе, — провались эта дрянь, а понадобится что-нибудь прочесть от скуки, прочтем и французскую книжку; а другие, немногие, которые не так смотрели на дело, не смели подступиться к деспоту с неприятными для него представлениями, из робости, — следовательно, тоже из подлости. Но понятно, что эти люди, замерзшие в подлости, привыкшие преклоняться пред силою, привыкшие не сметь своего суждения иметь, при перемене правления, при появлении новых сил, будут не в состоянии вести дело систематически, правильно, разумно, станут трусить и подличать пред новою силою, и так как старая сила еще оставалась, то будут двуверниками, представлять явление постыдного служения и нашим и вашим, рабство во дворце, искание

всеми средствами милости владыки и в то же время либеральничанья, заискивания у литературных и всяких демагогов.

Время, в которое должны были обнаружиться эти печальные явления, приближалось. Надвигалась страшная туча над Николаем и его делом, туча восточной войны [191]. Приходилось расплатиться за тридцатилетнюю ложь, тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил, превращение русских людей в палки, за полную остановку именно того, что нужно было более всего поощрять, чего, к несчастью, так мало приготовила наша история, — именно самостоятельности и общего действия, без которого самодержец гениальный и благонамеренный остается бесполезным, встречает страшные затруднения в осуществлении своих добрых намерений. Некоторые утешали себя так: «Тяжко! Всем жертвуем для материальной, военной силы; но по крайней мере мы сильны, Россия занимает важное место, нас уважают и боятся». И это утешение было отнято в доказательство, что дух есть иже живит, плоть ничтоже пользует, в доказательство гибельности материализма, в доказательство, что сила и материя — не одно и то же.

В то самое время, как стал грохотать гром над головою Навуходоносора [192], когда Россия стала терпеть непривычный позор военных неудач, когда враги явились под Севастополем, мы находились в тяжком положении, с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России; с другой — мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет [193]. В массе народной заметно было равнодушие; причина войны не была ясна, правительственным известиям не верили, причины неудачи не понимали, жертвовали машинально, патриотические писания в стихах и прозе отличались поддельным чувством, не производили впечатления, все отличались казенностью, как и следовало.

Я находил отвлечение от тяжких дум в трудах над пятым томом «Истории России»; были и другие занятия. Университет готовился праздновать столетний юбилей 12-го января 1855 года. Была назначена комиссия для приготовления к торжеству — из деканов Шевырева и Баршева (декана юридического факультета) и из профессоров Морошкина, Грановского и меня. Историю университета взялся написать Шевырев; но я должен был участвовать в словарях профессоров и замечательных воспитанников университета; кроме того, должен был написать речь на акт о Шувалове [194]. Самодержец, умягченный бедою, явился благосклонным к университету, причем не без влияния был благодушный новый министр просвещения, Норов. Человек, потерявший ногу при Бородине, являлся беспристрастным и правдивым оцен-

щиком благонамеренности русских ученых, более беспристрастным и правдивым, чем блестящий ученый и потому подозрительный Уваров и трепещущий подьячий Ширинский. Норову удалось выхлопотать позволение представлять императору лучшие произведения русских ученых и литераторов; моя «История России» была представлена, вследствие чего я удостоился получить монаршее благоволение осенью 1854 года. Смягчение Николая и влияние Норова высказались и на самом юбилее в ласковом рескрипте, в очень щедрых по тому времени наградах; Норов сделал так, что получили награды только выдающиеся по своим способностям и учено-литературным заслугам профессора; Грановский и я получили орден Анны 2-й степени, но потом Назимов, уже после юбилея, представил гуртом почти всех ординарных профессоров к той же награде и хвастался своим подвигом: «Когда это бывало в университетах, чтоб ордена профессорам ящиками возили?» — не думая по своей простоте, что значение отличия уронено. Моя речь о Шувалове не была произнесена на акте. Шевырев истомил публику своею речью, очень длинною[195]; давка и духота были невыносимые: профессора должны были стоять около кафедры, сесть было негде, а тут Норов беспрестанно вызывает меня к себе, прося, чтоб я что-нибудь сократил в своей речи. Я исчеркал весь свой экземпляр карандашом, отмечая, что выкинуть; наконец, Норов вызывает меня и объявляет, что речь вовсе не может быть произнесена по недостатку времени и истомлению публики. После, когда речь была напечатана[196], я был изумлен отзывами, что она производит сильное впечатление своею смелостью и либеральностью. Я нарочно привожу это для того, чтоб читатели поняли, что в николаевское время считалось смелым и либеральным! Самарин, пресловутый либерал и страдалец за смелость, встретив меня где-то, поздравил с успехом моей речи между либералами и объявил, что сам Чаадаев так восхитился ею, что переводит ее на французский язык. Но перевод не был окончен, и впечатление моей речи исчезло: раздался свисток судьбы, декорации переменены, и я из либерала, нисколько не меняясь, стал консерватором.

После 15-го февраля стали ходить слухи, что император болен. 19-ое число было воскресенье; я пошел к обедне в свой приход (Николы-на-Песках на Арбате), в котором был прихожанином также и Хомяков; он подошел ко мне и сказал: «Теперь, должно быть, уже присягают в Сенате: умер!» Эти перемены царствующих лиц при нашей форме правления производят особое какое-то, ошеломляющее и отупляющее вначале впечатление. Конечно, я не был опечален смертью Николая, но в то же время чувствовалось не по себе, примешивалось беспокойство, опасение: что если еще хуже будет!? Человека вывели из тюрьмы, хорошо, легко дышать свежим воздухом; но куда ведут? — может быть, в другую, еще худшую тюрьму? Хорошо, если выпустят на свободу. Возвратясь домой, я нашел повестку — явиться в мундире в университетскую церковь, для принесения присяги. Приехавши в цер-

ковь, я встретил на крыльце Грановского; первое мое слово ему было: «Умер!» Он отвечал: «Нет ничего удивительного, что он умер; удивительно то, как мы с вами живы». То тревожное, ненормальное состояние, в каком мы тогда находились, располагает к суеверию. Так как это было воскресенье, то по обычаю я поехал обедать к старику-отцу, и тут пришло известие, что во время звона на Ивановской колокольне часть ее внутри обрушилась и задавила людей. Само по себе печальное событие в этот день произвело на всех особенно неприятное впечатление. Люди надеются лучшего, а тут в первую же минуту черное предвещание! Но это впечатление, разумеется, было непродолжительно, стали жить надеждою.

Как-то я зашел к Хомякову. Тот надеялся по-своему: «Будет лучше, — говорил он; — заметьте, как идет род царей с Петра, — за хорошим царствованием идет дурное, а за дурным — непременно хорошее: за Петром I Екатерина I — плохое царствование, за Екатериною I Петр II — гораздо лучше; за Петром II Анна—скверное царствование; за Анною Елисавета — хорошее; за Елисаветою Петр III — скверное; за Петром III Екатерина II — хорошее; за Екатериною II Павел — скверное; за Павлом Александр I — хорошее; за Александром I Николай — скверное; теперь должно быть хорошее. Притом, — продолжал Хомяков, — наш теперешний государь страстный охотник, а охотники всегда хорошие люди; вспомните Алексея Михайловича, Петра II». В разговорах с Хомяковым я обыкновенно улыбался и молчал; Хомяков точно также улыбался и трещал. «А вот, — продолжал он, — Чаадаев никогда со мною не соглашается, говорит об Александре II: — разве может быть какой-нибудь толк от человека, у которого такие глаза!» — и Хомяков залился своим звонким хохотом. Вот как главы двух противоположных московских кружков [197] отзывались о новом главе России!

Первое время нового царствования умы были заняты печальным исходом восточной войны. Александр II прежде всех других распоряжений по громадному наследству должен был заплатить страшный долг, заключить постыдный мир, какого не заключали русские государи после Прута [198]. Новый император чувствовал всю тяжесть этого дела, весь позор его. Не знаю, оправдывал ли он себя внутренно, складывая всю вину на родителя, но историк, не оправдывая и не обвиняя, должен объяснить дело. В этом первом акте выразился характер нового властителя и его положение, его окружение. Рожденный без выдающихся способностей, без энергии, он получил образование самое одностороннее и, при умственной лени, не подумал употребить долгое время наследничества на пополнение недостатков образования чтением и обращением с людьми живыми и знающими: последнее, впрочем, если и не невозможно, то крайне трудно для наследников русского престола. Кроме обычных военных упражнений, Николай поручил своему наследнику начальство над военно-учебными заведениями, что могло иметь одну пользу — закрепить в памяти будущего го-

сударя предметы общего образования по учебникам кадетских корпусов, ибо наследник усердно посещал экзамены. В римской империи императоры восходили на престол из разных званий; в Российской империи Александр II вошел на престол из начальников военно-учебных заведений. При восшествии Александра II на престол, внешние дела были вовсе не в таком отчаянном положении, чтоб энергическому государю нельзя было выйти из войны с сохранением достоинства и существенных выгод. Внутри не было изнеможения, крайней нужды; новый государь, которого все хотели любить как *нового*, обратясь к этой любви и к патриотизму, непременно вызвал бы громадные силы; война была тяжка для союзников, они жаждали ее прекращения, и решительный тон русского государя, намерение продолжать войну до честного мира непременно заставили бы их попятиться назад. Для отнятия предлога к продолжению войны нужно было уступить Европе совокупное право распоряжаться турецкими делами, но не уступать ничего более — ни Дунайского устья, ни черноморского флота. Англичане не могли вести войны, вся сила союза была у Франции: нужно было прямо сблизиться с Наполеоном, что новому императору русскому было легко сделать без всякого унижения, — нужно было обещать Наполеону все относительно Италии и Австрии. Пусть бы при содействии русского оружия Франция взяла Савойю и Ниццу, которые взяла и без русского содействия; но тогда французское приобретение уравновешивалось бы сохранением устьев Дуная, черноморского флота и приобретением Галиции; ничто не могло быть популярнее войны с Австриею — Пруссия тогда не двинулась бы за Австрию, Пруссию можно было бы легко приманить. Но для этого, кроме широты взгляда, необходимы были смелость, способность к почину дела, энергия. Их недоставало у нового императора, как у одного человека; их бы достало у него, если бы он был поддержан окружением, но около него не было ни одного человека силы умственной и нравственной. Его окружали те же люди, с которыми и Николай, из ложного страха воевать с целою Европою, стал пятиться назад и этим навязал себе на шею коалицию; и теперь раздавались одни возгласы: «Мир, мир, во что бы то ни стало!» — и мир был заключен после падения Севастополя [199], тогда как Севастополь играл тут именно ту же роль, какую играла Москва в 1812 году: тут-то, после этой жертвы, и надобно было объявить, что война не оканчивается, а только начинается, чтоб именно заставить союзников ее кончить.

Несмотря на то, что новый император исполнял свято сыновние обязанности, относясь благоговейно к памяти Николая, которого всюду величал незабвенным, — с первого же раза почувствовалась реакция, перегибание дуги. Сам император, естественно, желал быть популярным, как добрый, хороший человек; кроме того, внутренними популярными преобразованиями желал заставить забыть позор внешних отношений. В природе его не лежало столько твердости, чтобы самому умерять эти два сильные стремления, и, главное, недоставало широты взгляда, а этот недостаток

проистекал от незнания России, ее настоящего и прошлого, незнания умоначертания своего народа и положения различных общественных слоев; он действовал в потемках, часто шел не туда, спотыкался, озадачивался и трусил там, где нечего было бояться, и шел прямо, бодро туда, где была действительная опасность. Из окружающих не было никого, кто бы осветил для него эту тьму; все это были слепые; некоторые из них могли не одобрять стремлений императора, желали остаться при старом, Николаевском; некоторые желали идти потише, поосторожнее, но они обнаруживали свое неодобрение тайным или явным ворчанием, и никто не смел, а главное, не умел, высказать свое мнение пред императором: все это были лакеи, привыкшие пред господином только льстить и поддакивать, говорить одно приятное, для заискивания доброго расположения и ласки барина. Но, что хуже всего, эти господа, воспитанные в николаевском рабстве, не имели никакого гражданского мужества; они привыкли преклоняться пред всякою силою, и когда Александр II, по своей внутренней слабости и отсутствию внешней подпоры, не мог сдержать реакции, ослабил пружины власти и этим дал простор так называемому отрицательному направлению, когда снизу раздались громкие крики, — царская дворня, привыкшая только к крикам команды, приняла и эти крики за крики команды, смутилась, не знала, что делать, попавши между двух огней, — и началось постыдное двоедушие, двуверие, начали ставить свечи обоим богам, несмотря на их противоположность; и кто чем более подличал, льстил, заявлял свою преданность власти, тот всего сильнее подличал, льстил, заявлял свою преданность пред представителями новой силы, всех больше либеральничал, и все это — в одно и то же время.

У всех, начиная с самого императора и его семейства, было стремление вырваться из николаевской тюрьмы; но тюрьма не воспитывает для свободы, и потому легко себе представить, как будут куралесить люди, выпущенные из тюрьмы на свет, сколько будет обмороков у людей от непривычки к свежему воздуху. Первым делом было бежать как можно дальше от тюрьмы, проклиная ее; следовательно, первое проявление деятельности интеллигенции должно было состоять в ругательстве, отрицании, обличении, и все, что говорило и писало, бросилось взапуски обличать, отрицать, ругать; а где же созидание, что поставить вместо разрушенного? На это не было ответа, ибо некогда было подумать, некому было подумать, не было привычки думать, относиться критически к явлению, сказать самим себе и другим: «Куда же мы бежим, где цель движения, где остановка?» Для подобных вопросов требовалась твердость, гражданское мужество; но на эти качества давным давно спроса не было, их давно перестали поэтому предлагать, они вывелись; была мода — молчать и не думать, и все хотевшие жить по моде молчали и не думали; теперь пришла мода — кричать и отрицать, бранить все существующее, и желавшие жить по моде принялись кричать, бранить,

отрицать существующее. В конце-концов должны были прийти к одному решению: создать мы не умеем, нас этому не учили, а существующее скверно, и потому надобно разрушить сплошь все — вот наше дело, а там новое, лучшее, создастся само собою.

Хотя было мало, очень мало, но все же были люди с авторитетом, люди науки, люди мысли и опыта, которым было не подстать бежать, как угорелым, неведомо куда, которые могли поднять голос против такого бегства, пригласить остановиться, подумать, поусумниться в пользе и необходимости бесцельной беготни. Таких людей было мало, и, главное, для укрепления их авторитета не было почвы, ибо в николаевское время все стремилось уничтожить эту почву; человек мысли и знания был гоним. Если он имел влияние в небольшом кружке, то вследствие оппозиции правительству, существующему порядку, вследствие того, что он необходимо относился отрицательно к существующему. Беда была в том, что в это несчастное время самый положительный человек был отрицателем, и своим авторитетом приучал к отрицанию. Да и таких людей, повторяю, было очень мало, а большинство людей, стоящих наверху и долженствующих быть авторитетами, было таково, что подрывало всякий авторитет: это были глупцы, или, по крайней мере, невежды и некрасивые в нравственном отношении; над ними смеялись, их презирали, пред ними преклонялись только физически, служебно, с ненавистью в сердце, с проклятьем на устах: где же тут могла быть привычка к авторитету, нравственная дисциплина?

XXI

Я сказал, что все, начиная с самого верха, стремилось выйти из положения, созданного Николаем. Прежде всех стремился император, который хотел быть популярным, хотел громкими делами внутреннего преобразования загладить позор Парижского мира. Мир был заключен, чтоб поскорее иметь возможность заняться внутренними делами, расстройству которых приписывалась военная неудача; следовательно, восстановлением народных сил через перемену системы, посредством внутренних преобразований дать возможность России подняться опять и во внешнем значении, и утвердить его прочно. Этот естественный, правильный, необходимый вывод повторялся всюду и должен был торопить государя. Но как, с чего начать? Сначала ничего определенного не было. Необходимость освобождения крестьян вовсе не сознавалась, тем более, что Александр II был связан с наследнической стариной: будучи наследником, он высказывался решительно против освобождения; вот почему, ставши императором, из самолюбия, желания быть последовательным, он, в обращении к дворянству, также высказывался против освобождения [200]. При неимении системы, определенных целей, как обыкновенно бывает, начали распускать, ослаблять вообще, пошла на это мода, нача-

лось либеральничанье. Но ясное дело, что как скоро почувствовали отсутствие целей, так начались движение и шум, странные телодвижения с целью размять члены, дать крови правильное обращение, послышались разные речи, которых прежде не слышно было. Стали бранить прошедшее и настоящее, требовать лучшего будущего. Начались либеральные речи; но было бы странно, если б первым же главным содержанием этих речей не стало освобождение крестьян[201]. О каком другом освобождении можно было подумать, не вспомнивши, что в России огромное количество людей есть собственность других людей (причем рабы одинакового происхождения с господами, а иногда и высшего: крестьяне — славянского происхождения, а господа — татарского, черемисского, мордовского, не говоря уже о немцах). Какую либеральную речь можно было повести, не вспомнивши об этом пятне, о позоре, лежавшем на России, исключавшем ее из общества европейских, цивилизованных народов? Таким образом, при первом либеральном движении, при первом веянии либерального духа, крестьянский вопрос становился на очередь.

Волею-неволею надобно было за него приниматься. Кроме указанного нравственного давления, указывалась опасность для правительства: крестьяне не будут долго сносить своего положения, станут сами отыскивать свободу, и тогда дело может кончиться страшною революциею. Освобождение совершилось. Сто лет тому назад, Екатерина, спросившая Россию относительно освобождения крестьян, услыхала ответ резко, решительно отрицательный. Я в «Истории России» изложил причины этого явления[202]. Александр II не спрашивал об этом у России, и конечно, если б вопрос был подвергнут тайной всеобщей подаче голосов (исключая, разумеется, крепостных), то ответ, надобно полагать, вышел бы отрицательный.

В экономическом отношении, особенно в северной России, народонаселение в сто лет не увеличилось до такой степени, чтоб обязательный труд мог быть заменен вольнонаемным; северные землевладельцы должны были пострадать и сильно пострадать. Но дело в том, что в сто лет западное давление чрезвычайно усилилось; русский человек, по отношениям к остальной Европе, стал похож на человека с маленькими средствами, но случайно попавшего в высшее, богатейшее общество, и для поддержания себя в нем он должен тянуться, жить не по средствам, должен отказывать себе во многом, лишь бы быть прилично одетым, не ударить лицом в грязь в этом блестящем, дорогом ему обществе. Голоса помещиков были заглушены либеральными криками литературы, сосредоточенной в столицах. Дело было произведено революционным образом: употреблен был нравственный террор[203]; человек, осмелившийся поднять голос за интересы помещиков, подвергался насмешкам, клеймился позорным именем крепостника, — а разве у него была привычка поддерживать свое мнение? Пошла мода на либеральничание: люди, не сочувствовавшие моде, видевшие, что нарушаются их самые близкие интересы, пожи-

мали плечами или втайне яростно скрежетали зубами, но противиться потоку не могли, не смели и молчали. Как бы то ни было, переворот был совершен, с обходом самого трудного дела — земельного. Крестьян наделили землею, заплативши за нее помещикам. Красные торжествовали: у прежних землевладельцев отняли собственность и поделили между народом, замазавши дело выкупом, но выкуп был насильственный![204] Глупые славянофилы торжествовали, не понимая, на чью мельницу они подлили воды: им нужно было провести общинное землевладение! Во многих местах с самого начала уже крестьяне не были довольны наделом, — что же будет с увеличением народонаселения? Для простого практического смысла крестьян естественное и необходимое решение вопроса представлялось в новом наделе, и они стали его дожидаться, как чего-то непременно долженствующего последовать. Стали дожидаться.

Сначала дело обошлось спокойно, хотя наверху струсили, боялись народного восстания; в Петропавловской крепости приготовлены были средства к защите; положили обмануть ожидание: манифест был обнародован не 19-го числа февраля, а позднее, в последнее воскресенье к посту. Меры напрасные, происходившие от незнания состояния народа вообще и русского в то время в особенности. Крестьяне приняли дело спокойно, хладнокровно, тупо, как принимается массою всякая мера, исходящая сверху и не касающаяся ближайших интересов — бога и хлеба. Интеллигенция, по недостатку внимания, изучения умоначертания низшего класса, изумлялась этому равнодушию, приписывала его или великим качествам народа, или его тупости, кипятилась своим собственным жаром, подзадоривая себя опьяняющим словом «свобода»; а мужичок оставался спокойным, не обращая внимания на происходившее около него беснование. Простого человека свободою опьянить нельзя, ему надобно показать осязательно, что выгоднее; но этого вдруг показать было нельзя; целого установления, сколько-нибудь сложного, он не поймет, он не приготовлен к этому привычкою обращения мысли в широких сферах, школьным и книжным образованием; он озадачит вас вопросом, который покажется вам странным и мелким, но этот вопрос его прежде всего занимает, он об нем думал, а вы не думали, и не хотите признать за мужиком права мысли, думания, только не о тех предметах и отношениях, о каких вы думаете. У вас, например, толкуют о том, что англичане привязаны к свободе, француз к равенству; но простой человек всегда привязан к равенству, а не к свободе, потому что свобода отвлеченнее равенства. Скажите простому человеку: «Ты свободен», и он станет в тупик; что он будет такой же, как его барин — это он поймет, но сейчас спросит: «А имение-то как же? Пополам, или все мне?» — и тут не теоретический коммунизм, которого он не понимает и никогда не поймет: ему нет дела до барина; тот может получить от царя (который, по мнению мужика, может все сделать) богатейшее вознаграждение; он ему завидовать не станет,

ему нужно только обеспечить себя насчет ближайших земельных отношений.

Крестьянин знал, что и прежде его братья становились вольными, через выкуп и отпуск на волю; но тут главною была возможность жить хорошо на воле, средства человека; человек накопил денег и откупился, чтоб еще удобнее торговать и промышлять; когда сам барин отпускал на волю, то первый вопрос был: чем будет жить отпущенный? Без денег воли не надобно. Чтобы крепостной крестьянин понял, в чем дело, надобно было ему просто сказать: «Ты будешь, как государственный крестьянин». Крестьянин это понял бы, но почесал бы затылок, а не стал бы плясать от радости. Скажут: не мог же крестьянин не обрадоваться, узнав, что он не будет более зависеть от произвола помещика, что его семейство и собственность будут безопасны. Отвечаю: те крестьяне обрадовались, которых семейство и собственность были в опасности; но это были не все крестьяне и не большинство.

Злоупотребления помещичьей власти продолжались до последнего времени, иногда обнаруживались в ужасном виде; но это было *иногда* и преимущественно относительно дворни. *Иногда* крестьяне и убивали своих помещиков; крестьяне наиболее зажиточные, которые, по известному закону, могли бы скорее и сильнее других поднять вопль и голос против притеснений, ибо имели, что защищать, — такие не имели побуждений тяготиться своею участью, потому что были наиболее обеспечены: это были оброчные крестьяне богатейших землевладельцев, гр. Шереметева и других.

Как бы то ни было, дело первой важности было совершено, и совершено на первых порах спокойно. Теперь должно было обратить внимание на следствия переворота, на переход от обязательного труда к вольному в стране, где при этом должно было встретиться сильнейшее препятствие — недостаток рабочих рук. До сих пор работник находился в опеке; опекун принуждал его работать и, разумеется, иногда принуждал более, чем сколько следовало. Это зло опеки, зло крепостничества теперь уничтожилось; но надобно было иметь в виду другое зло, зло свободы, — когда человек, свободный от принуждения, станет работать меньше, чем сколько следует, предоставленный одному принуждению, идущему от стремления поддержать свое благосостояние. Но чтоб это стремление было сильно, надобно известное развитие, знакомство с потребностями, которые очень желательно удовлетворить, привычка к свободному и правильному труду, нравственное влияние семейства и общества и т. д. Но в какой степени всего этого можно было ожидать от русского крестьянина, вступившего в самое опасное положение, переходное положение из неволи к свободе, когда является необходимое стремление воспользоваться отсутствием принуждения и работать как можно меньше. Всего важнее, было, что при таком опасном положении, при возможности сделать самые дурные привычки, крестьянин мог сохранять

в целости свои умственные, нравственные и физические силы, чтоб он был трезв, — и тут, как нарочно, дают ему возможность пьянствовать. С полным бессмыслием, при отсутствии всякого внимательного отношения к делу, литература пошла в поход против откупов, с требованием удешевления хорошей водки для простого народа, требуя легчайшей и действительнейшей отравы для него.

Откупа представляли большие злоупотребления[205]; нужно было уничтожить злоупотребления, уничтожить самое учреждение, за которое никто бы не стал заступаться, хотя легко было заметить, что в основе яростных нападков на откупа и откупщиков лежали зависть и ненависть к людям, обыкновенно быстро наживающим огромные состояния. Нужно было уничтожить злоупотребления; можно было уничтожить учреждение, заменив его лучшим, и при этом поддержать значительно высокую цену водки, чтоб не дать крестьянину быть пьяным очень часто, чтоб по-прежнему ограничить случаи пьянства особенными днями, праздниками. Вместо того вдруг удешевили водку, которая чрез это приобрела название скверной памяти в истории русского общества, название *дешевки*. Тяжело сказать: появление дешевки было принято простым народом гораздо с большею радостью, чем освобождение; интерес был ближе; являлась возможность дешево добыть наслаждение опьянения и пользоваться им часто. И вот пьянство быстро распространилось в ужасающих размерах; человек, который для достойного пользования свободою должен был явиться в полноте физических и нравственных сил, явился пьяный. Хозяйство крестьянское получило страшный ущерб, ибо пьянство неразлучно с праздностью; стали увеличивать число праздников, чтоб больше иметь предлогов предаваться пьянству; слова апостола: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», разумеется, должны были оправдаться, и сифилис страшно распространился, уничтожая в корне физические силы народонаселения; но важны были беспорядки нравственные. Пьяный отец не мог запретить пить своим сыновьям, жене, снохам и дочерям; начали пить молодые люди обоего пола, едва вышедшие из детства; стали пить женщины и забывать в пьяном виде всякий стыд, всякое приличие; к чему привыкла в пьянстве, от того не могли отстать и в трезвом состоянии, и привыкли публично и громко ругаться так, что прежде и мужику было зазорно. Пьяному море по колено: пьянство приучило к дерзости, к забвению всех нравственных, священных отношений, к уничтожению семейной дисциплины; молодые перестали слушаться старших, дети начали браниться, драться с родителями, ни во что их ставить, стремиться к выделу, к освобождению от уз семейных. Скоро послышались громкие жалобы на совершенное ослабление семейной дисциплины; все крестьянские общественные отправления, хозяйственные распоряжения, суд — подчинились господствующему стремлению к пьянству; явилось взяточничество целым миром, продажа правды за ведро вина.

В городах та же язва напала на рабочий класс. Отличные работники и слуги, напивавшиеся прежде очень редко, и потому сносно для хозяев, не устояли пред искушением и бросились на дешевку; вовсе не стало сладу с поварами, лакеями и кучерами; наниматели стали сидеть без обеда, как нарочно, в самые большие праздники, ибо повара лежали пьяные в кухне; стали трепетать за безопасность своих жен и детей, когда они куда-нибудь ехали с кучером и лакеем, напившимися в то время, когда господа сидели в гостях. Кончилось тем, что люди среднего состояния отказывались от порядочного стола, прогоняли поваров и нанимали кухарок, тем более, что грабительство поваров, вследствие потребности постоянного опьянения, достигло высшей степени; продавали лошадей и брали наемных, что стоило гораздо дороже; требовали только от поставщиков лошадей, чтоб кучер был трезвый, хотя бы и не очень хороший в других отношениях, неряшливый и т. п. Почти так же искали и лакея — какого-нибудь, только бы не пьяницу, или заменяли лакея женскою прислугою. Но гораздо хуже было положение содержателей разных ремесленных заведений, портных, сапожников, прачек и т. п. Работники пьянствовали, не стесняемые прежнею необходимостью платить оброк господину и надзором последнего, работа останавливалась, заказы не поспевали ко времени; для отвращения этих неудобств хозяин должен был увеличивать издержки производства, искусный работник стал редок и очень дорог, отсюда — необходимое увеличение цены на произведения его труда, дороговизна, начавшая возрастать страшно.

Хороший рабочий, хороший слуга стал требовать большей платы вследствие своей редкости; это подняло плату вообще всех мастеровых, всей прислуги, ибо тут определить строго различие между хорошими и дурными было нельзя. Большая плата уничтожила в этом классе прежнюю бережливость и умеренность в пище и одежде, явилась небывалая роскошь; лакеи и горничные стали одеваться почти так же, как господа; горничные стали носить шелк и шерсть, шляпы с цветами, зонтики; обувь покупали такою же дорогою ценою, как и госпожи их. Легко понять, как чрез такое увеличение потребителей увеличилась ценность потребляемого, увеличилась дороговизна.

XXII

Но сейчас же явилась и другая причина дороговизны в стране, где относительно так мало рабочих рук, — явилась судорожная промышленная деятельность, стремление к освобождению капиталов, к приобретению на них как можно больших барышей, процентов. До сих пор сбережения сохранялись в правительственных кредитных учреждениях; с них получались очень умеренные проценты, но при дешевизне они были достаточны; с другой стороны, эти учреждения поддерживали сословие землевладельцев,

дворян, доставляя им возможность выгодного закладывания имений. Теперь землевладельцы, в самую критическую для них минуту, потеряли поддержку знаменитого опекунского совета, который был опекуном не сиротским, а общедворянским; капиталы были вытеснены из государственных кредитных учреждений ничтожностью процента — надобно было, волею-неволею, помещать их в более выгодные предприятия. Первое из таких предприятий было построение железных дорог, предприятие, необходимое для страны, где надобно искусственно противоборствовать вредному влиянию неизмеримых пространств, препятствующих страшно общественному развитию. Последняя война показала ясно необходимость железных дорог для защиты государства от внешнего врага. Следовательно, против усиленного строения железных дорог не могло быть возражения. Но и здесь скоро перейдена была граница. Предприятие найдено выгодным, посредством него можно было легко обогатиться, и вот явилась мания железнодорожная. Для приобретения концессий стали употребляться разные неблаговидные средства наверху. Стали проводиться железные дороги и там, где были ненужны или где можно было с ними пообождать: обогащение посредством железных дорог заменило обогащение посредством откупов; явились железнодорожные тузы, возбудившие своим богатством сильную зависть и соревнование; материальный интерес выдвинулся, горячка обогащения начала овладевать; после железных дорог пошли промышленные предприятия, явились банки, платившие огромное жалованье служившим в них; началась биржевая игра, распалившая особенно страсть к обогащению, утвердившая господство материального интереса. А тут еще два выигрышных займа. Четыре раза в год множество людей обоего пола — в распаленном лихорадочном состоянии вследствие возможности обогатиться вдруг, без всякого труда, усилия с своей стороны, по воле бессмысленной судьбы; страшный нравственный и даже физический вред от нервного напряжения, от бессонных ночей.

Крестьянин пьянствует и терпит нужду, не имеет, чем уплатить податей; он уже испытал правительственный или революционный способ действия для перемены своей судьбы и надеется, что таким же способом произойдет и новая перемена: правительство, царь нарежет крестьянам еще земли. А между тем для многих из них под руками — способ кормиться: отовсюду требования работника — на железную дорогу, на фабрику, в кабак; крестьянин, крестьянка — покидают деревню, семью; но этого рода заработки не способствуют к улучшению нравственному крестьянина: возвращаясь в деревню, если он и приносит несколько денег, зато приносит и сильнейшую привычку к пьянству, кутежу, разврату, приносит сифилис и распространяет его в деревне, где, по недостатку средств, народ гниет от гнусной болезни; приносит роскошь: до сих пор крестьяне носили то, что сами дешево приготовляли дома, — теперь пошли люди носить фабричные произведения. На фабрике, в заведении, на каких-нибудь постройках

крестьянин входит в зависимость от хозяина или подрядчика, своего брата, разбогатевшего всеми неправдами и стремящегося всякими средствами выжать из работника лишнюю копейку. При злоупотреблениях крепостного права, в дурном помещике крестьянин видел барина, человека, высоко над ним стоящего, начальника, имеющего право управлять, владеть крестьянином; это была внешняя сила, гнет, который удручает, но не озлобляет, разве в крайних случаях. Но хозяин — это свой брат мужик, богатый мужик, притесняющий бедного мужика, притесняющий мелкими средствами; тут права никакого, кроме права сильного, и это право основано на деньгах. Такие отношения могли возбуждать только озлобление, ненависть.

Землевладелец, особенно в северных губерниях, разорился вследствие уничтожения крепостного права. Ему оставалось или продать все имение, или, по крайней мере, лес. Охотников покупать много, потому что дрова нужны на усиленную промышленность, особенно на железные дороги, — и вот началась страшная вырубка лесов, которая скоро возбудила вопли, вопли бесполезные, ибо причину отстранить не могли.

С одной стороны — дороговизна, нужда в деньгах, уменьшение доходов, неудобство положения, даже разорение людей, которые, в какой бы то ни было степени, были представителями духовного развития в народе; с другой — примеры быстрого обогащения людей, которые успели, обдуманно или случайно, употребить выгодно свои капиталы; с третьей — шум, суетня преобразовательного движения, крик печати, — все это должно было произвести страшную смуту между людьми нисколько неприготовленными, сжатыми в своей деятельности царствованием Николая, или затянувшимися в это царствование в мелких интересах, покорно повиновавшимися команде: «Не рассуждать!» — или между развитыми, рассуждавшими, но в этих рассуждениях развившими только отрицательное направление, отрицательное отношение к деятельности нравственной; в болтовне, в словопрепирательствах они нисколько не приучили себя к деятельности положительной, способность к которой приобретается не на словах, а на деле. К тому же, вследствие привычки дрожать пред Николаем и его орудиями, русские люди дрожали пред каждою силою, пред каждым окриком, громким словом, и потому не были способны мужественно высказывать свои убеждения, упираться; при виде начавшейся кутерьмы, многие поняли опасность положения и втихомолку сетовали на неправильность, революционность движения, но не могли громко заявить своего мнения, чтоб не прослыть ретроградами, жалеющими о крепостном праве и т. п. Да и в трудном положении они находились.

Крайности — дело легкое; легко было завинчивать при Николае, легко было взять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II; но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости,

но ее-то и не было. Преобразования проводятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-е и Александры II-е. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель.

Сумятица, шум, возня в обществе, нисколько не приготовленном к повороту на новую дорогу, жившем долгое время одними ожиданиями перемены, но не определившем своих желаний, в чем именно должна состоять перемена, причем в сфере, которой принадлежало руководство и которая упорно удерживала его в своих руках, — совершенная неспособность к руководству, совершенное непонимание самых первых вопросов: что, откуда и куда? Сильные энергиею, способностями, самостоятельностью люди были уничтожены системою Николая. Отыскать таких людей для новой деятельности был совершенно неспособен преемник Николая, по своей необразованности, лени, по страху пред новыми людьми, по сознанию своего неуменья извлечь из них пользу, обсудить их мнения, разобраться в том разнообразном материале, который бы они предложили, откуда проистекало стремление вращаться только в привычном кружке людей издавна известных, посредственностей, не представлявших никакой опасности для самолюбия, людей, перед которыми не нужно было держать себя застегнутым, охорашиваться умственно и нравственно. Судьба не послала ему Ришелье или Бисмарка [206]; но дело в том, что он не был способен воспользоваться Ришелье и Бисмарком; у него были претензии, страх слабого человека казаться слабым, несамостоятельным; под внушениями этого страха он в одно прекрасное утро прогнал бы Ришелье и Бисмарка. Отсюда — страшная бездарность наверху, один выбор хуже другого; каждый выбор возбуждал неприятные толки, насмешки; уважение ко власти рушилось в самодержавном государстве: никакой системы, никакого общего плана действий, каждый министр самодержавствовал по-своему, — совершенная смута, — вместо того, чтоб править, судорожно задергивали, выводили из терпения; но как же выражалось это нетерпение? Для уяснения этого вопроса надобно обратиться к воспитанию, которое стали получать новые поколения с 1855 года.

XXIII

При Николае воспитание в общественных заведениях было подорвано фальшивостью, двоедушием. С низших классов дети привыкли различать науку казенную от настоящей, которая представлялась им в виде запрещенного плода. Молодые учителя, если не все, то некоторые, желая облегчить для себя скуку, тяжесть преподавания и приобрести популярность, пользовались случаями заявить пред воспитанниками об этой quasi-настоящей

и у нас запрещенной науке; отсутствие всяких педагогических правил, системы приготовления больше всего содействовало этому. Старый учитель был синонимом негодного учителя; чем моложе был учитель, тем более ценился; он недавно еще слышал в университете новые лекции, последнее слово науки, и не было никому нужды, что он сам еще ребенок, до такой степени неопытный, что пред учениками гимназии готов был выкладывать эти университетские лекции, иногда дурно записанные и все более и более забывающиеся. Вообще, у нас так называемое высшее образование играет жалкую роль. Молодой человек отлично кончит курс в университете, поступит на службу и перестает читать, так что, по прошествии известного времени, он выходит хуже невежды, ибо сам считает себя образованным и другие считают его таким, а между тем из прежнего образования, не обновляемого и не развиваемого чтением, у него остались какие-то смутные понятия; станет говорить о научных предметах — говорит чепуху, клянется какими-то старыми богами, остались у него одни претензии, не имеющие никакого основания; если он что-нибудь и прочтет, то выхватит на удачу, без связи, или увлечется, восхищается без толку, или вдруг, не понявши, станет без толку ругать прочитанное и все с видом знатока, особенно если успел попасть по службе в большие чины. Учителя не составляли в этом отношении исключения. Они поступали на службу; чтоб получить больше удобств в жизни, занимались уроками и были с утра до ночи на уроках. Приедет несчастный с уроков совершенно истомленный, отупевший — где же ему читать! Таким образом, выходит, что если у нас все люди с высшим образованием очень мало читают и поэтому высшее образование является скоро у них в виде каких-то безобразных развалин, то учителя читают меньше всех. В будни некогда, откладывают на вакацию; но тут, после томительных экзаменов, спешат физически отдохнуть и имеют нужду в отдыхе; идет день за днем в обычных развлечениях в семействе или без семейства, и не видно, как вакация приходит к концу, и книга остается раскрытой на первой странице. Таким образом, и молодой учитель скоро делается старым задавателем и спрашивателем по учебнику; если же иному хотелось поддержать живость, интерес преподавания, поддержать расположение к себе учеников, то пускался в либеральничанье, позволял себе насмешки над казенными выражениями учебника и подрывал доверение учеников к источнику их знания: каково было ученику зубрить осмеянное, объявленное ложью! Или, прочтя урывком какую-нибудь журнальную статью, учитель с важным видом возвещает о новом взгляде на предмет, тогда как этот новый взгляд — сущий вздор. Всякий поймет, что я говорю преимущественно о преподавании истории; но история есть единственная политическая наука в среднем образовании, и потому ее преподавание — чрезвычайной важности: от направления ее преподавания зависит политический склад будущих граждан. При взгляде на такую трудность преподавания истории, особенно

у нас в России, естественно, приходит на ум об исключении истории из предметов общего образования; но, во-первых, что же это будет за общее образование без знания истории; во-вторых, гимназисты разойдутся по математическим, медицинским и юридическим факультетам, где они никогда не услышат истории.

Легко понять после этого, с какими возбужденными головами выходили ученики из средних заведений, пропитанные неуважением к авторитетам, ибо книга, руководство — должны были являться для них в продолжение всего курса высшим авторитетом, и этот авторитет был осмеян, обвинен во лжи. Но авторитет подрывался еще другим способом, особенно в военных училищах, чрез назначение в начальники людей необразованных, глупых, но отличающихся выправкою, точным исполнением военно-служебных обязанностей. Как ни неразвиты были старшие воспитанники, все же они стояли выше подобных начальников, ибо все же они находились в процессе какого-то развития, тогда как почтенные начальники давно уже почили в умственном отношении. Отсюда — смешные выходки начальников в классах, на экзаменах, целый ряд рассказов о их глупости и невежестве, подрывавших всякое уважение к ним, подрывавших авторитет, нравственную дисциплину в корню. Но стремление занять начальнические места фельдфебелями в генеральских эполетах было ощутительно и в гражданском учебном ведомстве. Таковы были «енералы», назначавшиеся попечителями; таков был в Москве Назимов, о котором в округе ходили удивительные рассказы: например, когда во время университетского юбилея Шевырев предлагал, чтоб для обстановки пригласить девять актрис, которые бы изображали девять муз, то Назимов отвечал: «Зачем же только девять? — Сколько угодно пригласим». Или его помощник Муравьев потребовал от университетской типографии, чтоб она соблюдала экономию, набирала старым, избитым шрифтом, а на бело печатала хорошим, новым. Надобно было послушать, как эти господа объяснялись с воспитанниками, студентами, чтоб понять, как в молодых людях подрывалась дисциплина.

Дисциплина в школах поддерживалась уважением только к товарищам более способным, усердно занимающимся и потому более знающим, хотя и тут, по слабости общего развития, люди более дерзкие, более способные к словоистечению, не разбиравшие средств в спорах при самом поверхностном знании, выхваченном из журналов или приобретенном по наслышке, часто брали верх над людьми серьезными, действительно что-нибудь знающими. Но вот с 1855 года пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали отворяться; свежий воздух производил головокружение у людей, к нему непривыкших, и в то же время замерзшие нечистоты начали оттаивать, и понеслись миазмы. В то время как люди серьезные, мыслящие, знающие, внимательно вглядывались и вслушивались для уяснения себе положения дел, усердно занимались важными вопросами преобразования, — люди, которые знали, что не способны выйти вперед способностями, знаниями,

тяжелыми усердными занятиями, выступили в поход первые. У них было огромное преимущество — смелость или дерзость, качества, которые в обществе благоустроенном ведут к виселице, но у нас, в описываемое время, могли повести только к выгодам. Первому произнести громкое слово, обругать, проклясть прошлое, провозгласить, что спасение состоит в движении к новому, в движении вперед во что бы то ни стало, было очень выгодно; внимание обращалось на передового человека; он приобрел значение героя, человека, отличавшегося гражданским мужеством, тогда как теперь никакого мужества в этом не было; при Николае его бы сослали, куда Макар телят не гонял, да при Николае он бы и не заговорил; он заговорил теперь, когда произошло не правильное поступательное движение по определенному плану, руководимое сильною рукою при помощи многих других сильных рук. Началась смута, когда наверху люди ходили как шальные, ничего не понимая, не зная, что хочет самодержец, как ему угодить, и где сила, к которой надобно забежать и поклониться.

Теперь было безопасно говорить, обличать; заговорила, явилась целая обличительная литература [207], следствием чего было усиление пагубной привычки к отрицанию, делу чрезвычайно легкому, приходившемуся как нельзя лучше по ленивой натуре неразвитого народа и особенно российского благородного дворянства, привыкшего жить чужим трудом, ничего не делая. Людьми, способными к труду, производились известные преобразования; но люди, неспособные к такому положительному труду, пустились во всю прыть по легкой дороге отрицания, обличения, и остановки им не было никакой. Безнравственная и глупая цензура очумела окончательно при новых условиях — решительно не знала, что делать, что запрещать и что пропускать; заправляли ею люди попрежнему неспособные и невежественные; в ней господствовал полный произвол: в одно и то же время запрещалась вещь самая невинная, какой-нибудь исторический факт из времен давно прошедших, и допускался явный призыв к восстанию низших классов против высших. Партий не было, которые бы выставили разные знамена, вступили в борьбу друг с другом и этою борьбою сдерживали друг друга, сохраняли равновесие и уясняли взгляд общества на известные вопросы. Для одних людей, идущих отрицательным путем, труд был легкий и выгодный; толпа их поэтому постоянно увеличивалась; они говорили по невежеству страшный сумбур, ругались друг с другом, но все же у них было единство направления, все же они имели один общий цвет, тогда как люди противоположного направления, люди серьезные и достаточно образованные, были рассеяны, не составляли партии с определенными уже давно принципами; каждый из них занимался одним своим каким-нибудь делом и не мог его оставить; самая серьезность их не позволяла им быстро и дружно выступить против безумных отрицаний всего; они привыкли обдумывать дело прежде начатия, приготовляться, спеваться, тогда как их противники в этом вовсе не нуждались; они выступили налегке,

казаками (как и сами себя называли) и заняли местность, утвердились на ней. Но, разумеется, при всем своем невежестве, они инстинктивно понимали, что выступили в поход очень налегке, что при первой встрече с «регулярным» войском им может быть очень нехорошо, и потому должны были принять меры. Меры эти, естественно, должны были состоять в предупреждении врагов и в наступательности...

Приложение

С. М. Соловьев и его научное наследие

С. М. Соловьев — выдающийся русский ученый XIX века. В истории русской науки он стал примером неповторимого трудолюбия, твердости, последовательности в осуществлении огромных замыслов. Соловьев — крупнейший историк дореволюционной России. Его научные идеи оказали сильное влияние на развитие отечественной историографии. Научным подвигом Соловьева, вкладом ученого в развитие русского национального самосознания стала его главная работа — «История России с древнейших времен», которой он отдал тридцать лет жизни.

Научное наследие Соловьева громадно. Помимо 29-ти томов «Истории России с древнейших времен», магистерской и докторской диссертаций, он написал крупные монографические работы: «История падения Польши» (1863), «Наблюдения над исторической жизнью народов» (1868—1876), «Император Александр I. Политика. Дипломатия» (1877). В 1854—1857 гг. им был создан цикл статей о развитии исторических знаний в России XVIII — первой половине XIX в., где он дал оценку трудам своих предшественников — историков В. Н. Татищева, Г. Ф. Миллера, М. М. Щербатова, А. Л. Шлецера, И. Н. Болтина, Н. М. Карамзина, М. Т. Каченовского. Теоретическим проблемам исторической науки были посвящены «Исторические письма» (1858), которым Соловьев придавал программный характер. В 1876 г., в канун русско-турецкой войны 1877—1878 гг., историк написал две статьи о Восточном вопросе во внешней политике европейских держав в 1820-е годы, которые как бы дополняли монографию о дипломатии Александра I.

В 1840—1870-е годы статьи, обзоры и рецензии Соловьева по русской и всеобщей истории постоянно печатались в русских общественно-политических журналах — «Отечественные записки», «Современник», «Русский вестник», «Вестник Европы», в специальных академических изданиях и в изданиях научных обществ. Многократно издавал Соловьев «Учебную книгу русской истории» — пособие к общему курсу, который он читал в Московском

университете. Соловьев был автором одного из первых в России «Курса новой истории» (2 части, 1869—1873). Общий объем научных трудов историка превышает 1000 печатных листов.

Научная и преподавательская деятельность Соловьева связана с Московским университетом, студентом, профессором, ректором которого он был. Несколько поколений студентов слушали его лекции по русской истории.

Соловьев жил в сложный, во многом переломный период русской истории, когда экономические и социально-политические изменения затронули все слои русского общества, оказали воздействие на все течения русской мысли. Он был свидетелем, а часто и деятельным участником важных событий политической, общественной, культурной жизни России. Противоречивый характер эпохи отразился на его научном творчестве, был им воссоздан в мемуарных «Моих записках для детей моих, а если можно, и для других».

Труды Соловьева и поныне сохраняют научный интерес. В них собран богатый исторический материал, содержатся умные, тонкие наблюдения над прошлым России. Написаны они с несомненным литературным мастерством.

* *
*

Сергей Михайлович Соловьев родился 5 мая 1820 г. в Москве Отец его, Михаил Васильевич, был протоиереем и учителем закона божьего в Московском коммерческом училище. Жили Соловьевы на старинной московской улице Остоженке, недалеко от аристократических кварталов Арбата. Жизнь их была размеренной, покойной, в доме чувствовался достаток. Соловьевы принадлежали к тому тонкому слою православного русского духовенства, который не чужд был интереса к светской книге, к научному знанию, к политике. Из этой среды вышел Н. Г. Чернышевский, эта среда дала России ученых, литераторов, врачей, деятелей общественного и революционного движения.

Восьми лет будущий историк был записан в духовное училище — отец думал дать сыну, по семейной традиции, духовное образование. Занимался мальчик дома, сдавая в училище необходимые экзамены. Учил его, без особого успеха, отец. Сергей учился слабо, но, богатый свободным временем, много и охотно читал. Рано определился его интерес к прошлому, к историческим романам и сочинениям: к тринадцати годам он прочел Вальтера Скотта и Загоскина, несколько раз перечитал все 12 томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. При беспорядочном чтении выбор книг был случаен, но не случайны были ни интерес к истории, ни обращение к Карамзину.

В те годы интерес к прошлому был в России всеобщим, чтение исторических книг стало потребностью не только дворян, но и чи-

новников, купцов, разночинцев. Исторические знания признаны были необходимыми, в сочинениях историков усматривали ответы на злободневные вопросы. После поражения декабристов история, в известном смысле, заменила политику. В. Г. Белинский восклицал: «Наш век — век по преимуществу исторический. Все думы, все вопросы наши и ответы на них, вся наша деятельность вырастает из исторической почвы и на исторической почве».

Взрослые, как и дети, читали романы В. Скотта, который, по убеждению Белинского, «докончил соединение искусства с жизнью, взяв в посредники историю». С появления в начале 1818 г. первых восьми томов «Истории государства Российского» не ослабевал интерес к прошлому России. Карамзин писал просто, изящно; его «История» была увлекательнейшим чтением, а по обилию фактов, их умелой систематизации не имела себе равных. По выражению Пушкина, «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом». В начале 1830-х годов труд Карамзина сохранял значение литературной новости, его читали, обсуждали, критиковали. Дети играли в события, им описанные. Так, в дворянской семье Аксаковых юный Костя Аксаков устраивал праздник в честь князя Вячко, о котором он прочел у Карамзина.

Довольно скоро М. В. Соловьев убедился в бесполезности домашних занятий, в необходимости дать сыну светское образование. В 1833 г. он записал Сергея в третий класс Первой московской гимназии. Преодолев начальные трудности, Сергей Соловьев с четвертого класса стал первым учеником, блестяще занимался по всем предметам. Гимназию он окончил в 1838 г. с серебряной медалью. Перед ним был открыт путь в Московский университет.

Лето 1838 г. недавний гимназист провел в семье князя М. Н. Голицына. Близкое знакомство с представителями русской знати, забывшими родной язык, произвело на молодого разночинца сильное впечатление. Его удивила и возмутила «безобразная крайность» в их отношении ко всему русскому. В «Записках» Соловьева содержится ценное признание: «Понятно, какое сильное впечатление произвела на меня эта крайность и необходимо увлекла меня надолго, лет на шесть, в крайность противоположную, в славянофилизм, или, лучше сказать, руссофилизм». Конечно, следует с осторожностью подходить к этому позднему свидетельству: славянофильство к тому времени далеко еще не оформилось, сам Соловьев был молод, взгляды его не устоялись, но их общее направление передано, без сомнения, верно.

Осенью 1838 г. Соловьев начал занятия на первом курсе историко-филологического отделения философского факультета Московского университета. Отныне его научная деятельность навсегда связана со старейшим университетом России.

Общерусский центр просвещения и образования, Московский университет был в те годы, по определению А. И. Герцена, «храмом русской цивилизации», «средоточием русского образования».

В его стенах была возможна живая научная мысль, здесь находили отклик передовые общественные настроения. В условиях николаевской реакции это было немало.

Внутренний строй университетской жизни регламентировался уставом 1835 г., с помощью которого николаевское правительство думало сковать передовую профессуру и студенческую молодежь. Университет состоял из трех факультетов, объединявших 33 кафедры. Обучалось в нем около 500 студентов, на историко-филологическом отделении их было не более ста. Среди профессоров немало было крупных ученых, ректором университета и деканом историко-филологического отделения был известный историк, основатель скептической школы в русской историографии М. Т. Каченовский.

В университете Соловьев занимался много и добросовестно, сразу обратил на себя внимание профессоров. Круг его научных интересов был широк, но на вопрос М. П. Погодина, чем он особенно занимается, Соловьев отвечал: «Всем русским, русскою историею, русским языком, историею русской литературы». Детский интерес к истории перерос в изучение исторических трудов, в серьезные занятия прошлым России. Соловьев по праву писал: «Я родился историком».

В студенческие годы Соловьева преподавание истории в Московском университете вели профессора М. Т. Каченовский, М. П. Погодин, Д. Л. Крюков, Т. Н. Грановский, историю русской литературы читал С. П. Шевырев.

Соловьеву не довелось слушать лекции по русской истории М. Т. Каченовского. Профессор был стар, в 1835 г. на кафедре русской истории его сменил Погодин. Идеи скептической школы едва затронули Соловьева. Позднее он признавал, что у скептиков была «золотая голова и глиняные ноги». В научной работе Соловьев предпочитал прочно стоять «на ногах», в исследовании шел от источника и был далек от гипертрофированной его критики, характерной для Каченовского и его учеников. Более глубокое воздействие на Соловьева оказали общеисторические взгляды Каченовского, который твердо был убежден в общности путей исторического развития России и Западной Европы. В написанной им научной биографии Каченовского Соловьев видел его заслугу в «старании сблизить явления русской истории с однохарактерными явлениями у других народов» [1].

Сходные мысли Соловьев находил в лекциях молодых профессоров Крюкова и Грановского. Крюков с 1837 г. читал курс древней истории, включавший историю Древнего Египта, Греции, Рима, Китая и Индии; он был увлечен идеями Гегеля, знакомил студентов с гегелевской схемой развития мировой истории. Соловьева он приглашал на свою кафедру.

[1] Соловьев С. М. М. Т. Каченовский. — В кн.: Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета, ч. I. М., 1855, с. 402—403.

Первоклассным лектором был Грановский, чья преподавательская деятельность началась в 1839 г. Читал Грановский курс истории средних веков, «неотразимую притягательную силу» его лекций Соловьев испытал на себе. Грановский был убежденным противником насаждавшейся правительством теории «официальной народности», верил в силу науки. По выражению Герцена, он «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду». Его публичные лекции были событием в общественной жизни Москвы. В великолепной характеристике Грановского, данной Герценом в «Былом и думах», есть точные слова: «Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его; длинную светлую полосу оставил он по себе».

Как и Крюков, Грановский изучал философию истории Гегеля, излагал гегельянские идеи в лекциях. В «Записках» Соловьев сурово отозвался об отношении Грановского, который «с необыкновенной легкостью» проглатывал чужое, «претворяя это чужое в свою собственность», к Гегелю. «Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен». В студенческие годы Соловьев, несомненно, судил иначе. Грановскому и Крюкову он был обязан знакомством с Гегелем, чьи историко-философские идеи оказали на него огромное воздействие. Передовая молодежь тридцатых годов — В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Ю. Ф. Самарин — увлечена была идеями Гегеля, ночами спорила о его философской теории. Атмосфера студенческих споров была знакома и Соловьеву: «Время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им из лекций молодых профессоров... И моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из гегелевских сочинений я прочел только «Философию истории», она произвела на меня сильное впечатление».

Соловьев не только прочел «Философию истории», но и сделал из нее обширные выписки. Некоторое время он мечтал о соединении философии Гегеля с православием: «Религиозное чувство коренилось в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философией, чтобы ее средствами воспользоваться для утверждения религии, христианства». Отметим, что сверстники Соловьева (Белинский, Герцен, Бакунин) пытались найти диалектическому методу Гегеля более действенное приложение.

Увлечение философией не переросло у Соловьева в серьезные занятия ею. Однако он на всю жизнь сохранил интерес к философии истории, к теоретическим аспектам исторического познания. От Гегеля Соловьев воспринял понимание всемирной истории как единого, органического, закономерного процесса прогрессивного развития человечества. Соловьев верил, что история подчинена законам разума и должна быть изучаема историками с точки зре-

ния разума. Он был убежден в познаваемости исторических событий, твердо придерживался фактов в научном исследовании. У Гегеля Соловьев мог встретить апофеоз государства («Философия права»), что, разумеется, было далеко еще не тождественно построениям будущей государственной школы.

Студент Соловьев много читал. Кроме латыни он знал французский, немецкий, английский, итальянский и польский языки. Из иностранных авторов он прочел Вико, Гиббона, Сисмонди, Гизо, Тьерри, Шафарика, Штрауса, Савиньи, Нибура... «В изучении историческом я бросался в разные стороны», — вспоминал историк. Несомненно, что чтение исторических работ, по преимуществу новейших, было плодотворным. К окончанию университета Соловьев имел твердую общеисторическую подготовку, богатый запас фактических сведений, устойчивые представления о задачах исторического исследования, вкус к самостоятельным занятиям. Молодой Соловьев ценил не только содержание, но и форму исторического произведения. Для себя он перевел с французского «Историю завоевания Англии норманнами» О. Тьерри — шедевр исторической прозы.

Из авторов, писавших по русской истории, самое сильное впечатление на Соловьева, вслед за Карамзиным, произвел Иоганн-Филипп-Густав Эверс. Историк вспоминал: «Не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право Руссов», эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты, Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русскою историею».

Младший современник Карамзина, Эверс работал в России, был профессором Дерптского университета. В 1816 г., опережая Карамзина, он выпустил на немецком языке «Историю руссов», доведенную до конца XVII в. Общая схема русской истории заимствована была Эверсом у его учителя А. Л. Шлецера, но принципиально новым был его интерес к «внутреннему состоянию народа», как оно отразилось в законодательных актах и договорах. События политической жизни интересовали его несравненно меньше, чем Карамзина. В 1826 г. Эверс издал работу, название которой Соловьев переводил как «Древнейшее право Руссов». (Русский перевод 1835 г. был озаглавлен «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии». Соловьев, вероятно, читал немецкое издание.) Под влиянием Гегеля Эверс понимал историю как «естественный ход развития рода человеческого», он пытался определить и понять закономерности исторического процесса. Если историки XVIII в., Карамзин начинали русскую историю с образования государства, с призвания варягов, то Эверс подчеркивал постепенный характер становления государственности. Возникновение государства он понимал как закономерный результат внутреннего общественного развития, схема которого укладывалась им в формулу: семья — род — племя. Схема Эверса была абст-

рактно-логической, она находилась в противоречии с содержанием русской истории, но сама постановка вопроса о государстве как итоге длительного развития общества была прогрессивной и научно плодотворной. Эверс оказал заметное влияние на русских историков государственной школы, на ранние научные работы Соловьева. Теория родового быта, которую Соловьев развивал в магистерской, а затем и в докторской диссертации, восходила к схеме Эверса, к его родовой теории. Влияние Эверса на Соловьева будет понятным, если учесть, что Эверс стоял у истоков буржуазной исторической науки в России, крупнейшим представителем которой стал Соловьев.

На последнем, четвертом, курсе университета Соловьев слушал лекции по русской истории Погодина. Давний интерес к истории России, широкая эрудиция, несомненные научные способности выделяли Соловьева из среды товарищей, и, естественно, Погодин желал видеть его своим учеником. Общение с Погодиным стало наряду с размышлениями над книгой Эверса важнейшим фактом ранней научной биографии Соловьева.

Сын крепостного, Погодин к тридцати пяти годам занял кафедру русской истории в Московском университете. Он был одаренным человеком, способным ученым. Погодин много работал, его научные интересы сосредоточены были на раннем периоде русской истории. Он занимался вопросами славянского этногенеза, возникновения государства у восточных славян, изучал состав русских летописей. Погодин был знатоком источников русской истории, ценил исторический документ и добытый на его основе исторический факт. К его научным заслугам следует отнести полемику со скептической школой Каченовского, в ходе которой Погодин показал неосновательность суждений скептиков о «баснословном» характере начальных веков русской истории.

Соловьев стал учеником Погодина. Под его руководством он изучал начавшие выходить в 1838 г. издания Археографической комиссии — ценнейший летописный и актовый материал, работал в погодинском собрании древних рукописей, где открыл неизвестную ранее V часть «Истории России» В. Н. Татищева. Учителя и ученика сближали не только занятия русской историей. Наивный «руссофилизм» Соловьева был близок общественно-политическим взглядам Погодина.

Ученые занятия никогда полностью не захватывали Погодина. В молодости он был литератором, писал повести, исторические драмы, издавал журнал «Московский вестник». С годами его все более тянуло к политической публицистике, он мечтал о служебной карьере. В 1841 г. им был основан учено-литературный журнал «Москвитянин». В общественной жизни николаевской России Погодин имел репутацию консерватора, поборника теории «официальной народности», которая возведена была министром просвещения С. С. Уваровым в ранг правительственной идеологии. Университетские лекции Погодина должны были убедить студен-

тов в превосходстве крепостной России над «гниющим» Западом, в незыблемости основ православия и самодержавия. Лектор Погодин был плохой, и Соловьев справедливо вспоминал, что его «лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных». Другие, часто крайне резкие высказывания Соловьева о Погодине следует воспринимать с большой осторожностью, на них сказались позднейшие отношения двух ученых.

Погодин был крупной, по-своему уникальной фигурой в русском обществе 1830—1840-х годов. Плебей, разночинец, в сорок лет ставший академиком, он верил в крепость устоев николаевской России, служению самодержавию он отдал свои знания, способности, мастерство публициста. Вместе с тем Погодин противоречив, он внутренне чужд дворянскому обществу, которое в свою очередь едва терпело академика из крепостных. Многолетний «Дневник» Погодина хранит немало точных, грубых суждений о российском дворянстве, о людях, казалось бы, близких московскому профессору. Взгляды Погодина, в том числе и научные, его публицистика, его художественное творчество отразили противоречивый характер общественных отношений в России в 1830—1850-е годы, когда на смену старым, крепостным порядкам шли новые, буржуазные. В мировоззрении Погодина буржуазные черты переплетены с охранительной, правительственной идеологией. Погодин ощущал несводимость своих взглядов к теории «официальной народности», субъективно он воспринимал это как враждебность традиционной европейской культуры дворянского общества исповедуемым им «исконно русским» началам. «Руссофилизм» Погодина, его интерес к прошлому и настоящему славянских народов не могут быть поняты в рамках теории «официальной народности». В наибольшей степени противоречивый характер мировоззрения Погодина отразился в его «Историко-политических письмах и записках», которые он писал во время Крымской войны. Здесь мысль о мировом значении российской монархии неотделима от критики внешней и внутренней политики самодержавия. К этому времени Погодин оставил серьезные научные занятия историей, обратившись к «политическому журнализму».

Научная деятельность Погодина была преддверием буржуазного этапа в развитии русской исторической науки, и нет оснований, вслед за Соловьевым, ее перечеркивать. Не следует недооценивать и его преподавательскую деятельность в Московском университете — он был учителем Соловьева. Погодин привил ученику вкус к изучению исторических источников, заинтересовал его историей славянских народов. Монархизм Погодина, православно-националистическая окраска его убеждений совпадали с настроениями молодого Соловьева. Сходным, по-видимому, было их отношение к дворянскому обществу. В юности Соловьев был далек от атмосферы культурной жизни московской дворянской интеллигенции, в которой росли его сверстники — К. Аксаков, Кавелин, Ю. Сама-

рин, Чичерин. Долгое время он чуждался утонченных салонных споров, где блистали Герцен, Чаадаев, Хомяков, Грановский. Ему, разночинцу, погодинская неприязнь к дворянству была понятна.

По окончании в 1842 г. университета Соловьев принял предложение попечителя Московского учебного округа графа С. Г. Строганова стать учителем детей его брата, бывшего министра внутренних дел А. Г. Строганова, который жил за границей. Соловьеву в сущности предлагалась неофициальная заграничная командировка для подготовки к профессорскому званию, поскольку занятия русской историей не давали основания для подобной поездки на государственный счет.

Умный консерватор и опытный администратор, С. Г. Строганов играл в Москве роль просвещенного вельможи. Он оказывал покровительство молодым профессорам университета, исподволь стремился подчинить их своему влиянию. Соловьева он заметил еще в гимназии, следил за его успехами, думал со временем заменить им Погодина, который бывал неуступчив и, что важнее, ориентировался на Уварова. С министром просвещения у Строганова были давние счеты. В судьбе Соловьева покровительство Строганова сыграло положительную роль.

В течение 1842—1844 гг. Соловьев с семьей Строгановых побывал в Австрии, Германии, Франции, Бельгии, в чешских землях. Он слушал лекции знаменитых европейских профессоров в Берлине, Париже, Гейдельберге, внимательно всматривался в европейскую политическую жизнь. Двухлетнее пребывание за границей оказало немалое воздействие на развитие научных и политических взглядов Соловьева. Завершается его становление как ученого европейской культуры, глубоких знаний и разносторонних интересов, четче выявляются его политические симпатии. За границей он выбрал тему магистерской диссертации, в Париже начал сравнительно-историческую работу о борьбе родового и дружинного начал у народов Европы и Азии. По его признанию, во Франции он сделался «приверженцем орлеанской династии и министерства Гизо», иными словами — либералом и сторонником буржуазной монархии.

Жизнь за границей не ослабила влияния Погодина на Соловьева. Между ними шла оживленная переписка, Соловьев обращался к учителю за советом, рассказывал о своих занятиях, делился впечатлениями. Летом 1843 г. он побывал в Чехии, познакомился с Шафариком, Ганкой, Палацким, убедился в высоком научном и политическом авторитете Погодина среди славянских ученых. Интерес Погодина к славянскому миру стал понятнее, Соловьеву близки его идеи о единении славянских народов. Он писал в Москву: «Прага нужна для Москвы, а Москва для Праги, и оба города — два ока миру Словенскому». Его радовали известия из России «об успешном ходе словенщины в нашем факультете: то была мне райская весть!» Напрашивается предположение, что Соловьев готов был, по возвращении в Россию, начать в университете изу-

чение славянской истории, поскольку кафедру русской истории, казалось, прочно занимал нестарый Погодин.

Близость Соловьева к Погодину отразилась в его первой крупной статье «Парижский университет», которую опубликовал погодинский «Москвитянин» (1843, ч. 4, № 8). Статья была полна сентенций в православно-русском духе, призывала к развитию самобытного просвещения, к «национальному» воспитанию молодых людей: «Стыд тому семейству, из которого молодой человек выходит без наследия, без имени отеческого, заклеймленный печатью чуженародности в поступках, мыслях и словах». Погодин был в восторге от статьи и писал Шевыреву: «Соловьев обещает нам прекрасного в нашем духе исследователя».

Погодин ошибся. Ошиблись и молодые профессора университета (Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, П. Г. Редкин, Л. И. Чивилев, К. Д. Кавелин), которые сочли автора последователем Погодина. Соловьев не был сторонником теории «официальной народности», не стал он и славянофилом. Глубокие научные занятия историей не позволяли ему допускать мысль о различии русского и европейского путей развития, противопоставлять Россию и Европу. К концу пребывания за границей Соловьев освободился от остатков юношеского «руссофилизма», но был далек и от увлечения Западной Европой. Прочные знания позволяли ему трезво судить об окружающем мире, наука оберегала от крайностей славянофильства и западничества. Русский патриотизм лежал в основе его убеждений, и в начале 1844 г. он гордо заявлял в письме к родителям: «Где бы я ни был.., не перестану кричать русским голосом на весь крещеный мир».

В 1844 г. Погодин отказался от кафедры в Московском университете. Он думал переехать в Петербург, посвятить себя публицистике и службе в Министерстве народного просвещения. Правда, Погодин был уверен, что со временем «начальство» попросит его вернуться в университет, ибо достойной замены ему нет.

Узнав об уходе Погодина, Соловьев вернулся в Москву. Он писал диссертацию и готовился к магистерским экзаменам. События того времени подробно изложены им в «Записках». Соловьеву пришлось тяжело. Он с трудом преодолел настороженность молодых профессоров, которые видели в нем лишь ученика Погодина. Экзамены он сдал неудачно, магистерская диссертация «Об отношениях Новгорода к великим князьям» встретила прохладный прием у Погодина. Диспут по диссертации состоялся 3 октября 1845 г. Погодин был резок, Кавелин хвалил магистранта. После успешной защиты молодой ученый занял кафедру русской истории в Московском университете.

В 1847 г. вышла книга Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», которую он, сдав докторские экзамены, защитил как докторскую диссертацию. В том же году он был утвержден экстраординарным профессором Московского

университета. В короткий срок он занял прочные позиции в научном мире. Погодин в университет не вернулся, его отношения с Соловьевым были испорчены навсегда.

* *
*

Став профессором, Соловьев деятельно вошел в университетскую жизнь. Он много работал. Работоспособность Соловьева была основана на беспощадном самоограничении, жестком распределении времени, твердости характера и силе воли. Глубокий ум, редкая, поражавшая современников память, блестящая эрудиция безотказно служили ученому. Ключевский характеризовал своего учителя как «ученый механизм, способный работать одинаково спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоять время и восстановлять силы простой переменой занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов».

В университете Соловьев читал студентам общий годовой и специальные полугодовые курсы по истории России. Мастерство Соловьева-лектора первым оценил Грановский, который после пробных лекций осенью 1845 г. заметил: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки».

Профессор Соловьев был со студентами сдержан, сух, вне университета недоступен. Среди студентов он слыл талантливым лектором, но гордецом, который не сходился с ними, как это делали Грановский и Кудрявцев. Лекции он читал, закрыв глаза, и никогда не видел студентов в аудитории. Слушатель и ученик Соловьева в начале шестидесятых годов, В. О. Ключевский вспоминал: «Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком».

Соловьев быстро и много писал. Его исследования, очерки, рецензии по русской и всеобщей истории постоянно печатались в повременных изданиях. В августе 1851 г. вышел первый том его «Истории России с древнейших времен». Отныне ежегодно он готовил очередной том своего труда. Ученый выступал с публичными чтениями, неизменно посещал заседания Общества истории и древностей российских при Московском университете. В 1850 г.

он стал ординарным профессором Московского университета. В общении с коллегами он был ровен, спокоен, старался преодолеть природную замкнутость. Люди, мало его знавшие, могли счесть Соловьева воплощением компромисса, золотой середины, умеренности. Ясно, что такие определения неприложимы к ученому, трудом которого была создана грандиозная «История России с древнейших времен». В науке Соловьев был нетерпимым врагом посредственности.

С известным основанием можно, правда, говорить об умеренности общественно-политических взглядов историка, который в «Записках» характеризовал себя следующим образом: «По политическим убеждениям Грановский был очень близок ко мне, т. е. был очень умерен, так что приятели менее умеренные называли его приверженцем прусской ученой монархии».

Соловьев не случайно подчеркнул свою близость к Грановскому. Знаменитых историков Московского университета объединяли общие взгляды на предмет исторического исследования, на просветительские задачи университетского преподавания. Они были связаны чувством глубокого личного уважения.

Грановский поддержал Соловьева во время защиты магистерской диссертации, ввел его в круг молодых профессоров. Вместе с Грановским, Кудрявцевым, Редкиным, Кавелиным Соловьев вел в университете борьбу с «черной уваровской партией», что было далеко не просто, часто опасно в обстановке правительственных репрессий последних лет николаевского царствования. Чувство тревоги хорошо передано в «Записках» Соловьева его отзывом о революционных событиях 1848 г. в Западной Европе: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию!» В 1849 г. следственная комиссия по делу петрашевцев запросила тогдашнего попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова о настроениях профессоров Грановского, Кудрявцева и Соловьева, пытаясь определить степень их близости к передовому общественному движению. В 1850 г. были кассированы выборы Грановского на место декана историко-филологического отделения философского факультета, а деканом назначен представитель «уваровской партии» Шевырев.

В годы Крымской войны наиболее остро проявилась неприязнь Грановского, Соловьева, их единомышленников к николаевскому режиму. Как и многие представители русской интеллигенции, они желали поражения внешней политики Николая I, перемен в общественной жизни страны. В день получения известия о смерти Николая I Грановский сказал Соловьеву: «Нет ничего удивительного, что он умер, странно, что мы с Вами живы».

Как личную утрату воспринял Соловьев смерть Грановского. На похоронах он, обычно сдержанный, не скрывая своего горя, говорил о «чувстве нравственного лишения». Соловьев принял участие в разработке плана изданий сочинений Грановского, вместе с Кудрявцевым собирал и редактировал его произведения.

В сознании современников близость двух историков была подчеркнута совпадением дат их смерти (Грановский умер 4 октября 1855 г., Соловьев — 4 октября 1879 г.), что породило традицию их совместного чествования.

Примкнув к Грановскому и молодым профессорам, Соловьев тем самым определил свое место в знаменитом споре западников и славянофилов, споре, который нарушил покой московских салонов 40-х годов, а в 50-е вышел на страницы периодической печати. Соловьев примкнул к западникам.

Западничество и славянофильство — разновидности раннего русского либерализма. Их возникновение относится ко времени конца 1830 — начала 1840-х годов, когда, по выражению В. И. Ленина, «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом»[2]. В этом вопросе и западники, и славянофилы были едины, они выступали за отмену крепостного права «сверху», путем реформ, без участия народных масс. Кроме исходного неприятия крепостных порядков в славянофильстве и западничестве немало и других сходных моментов: критика николаевского самодержавия, его внутренней и внешней политики, отстаивание свободы совести, слова, печати, неприятие революционного способа преобразования общества. Западничество и славянофильство были порождением глубокого кризиса крепостных отношений, в них отразились попытки русских либералов создать целостные концепции буржуазного преобразования России.

Единый подход к решению главного вопроса русской жизни не снимал глубоких разногласий между западниками и славянофилами. Они расходились в идейном обосновании предполагаемых реформ, придерживались взаимоисключающих воззрений на прошлое России. Славянофилы — А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, Ю. Ф. Самарин, К. С. и И. С. Аксаковы, А. И. Кошелев, Ф. В. Чижов — отстаивали идею особого, отличного от западноевропейского, пути развития России, противопоставляли русскую историю западноевропейской, идеализировали старую, допетровскую Русь. Большое место в их исторических воззрениях отводилось христианской религии и православной церкви. Вера в особый путь исторического развития России субъективно давала славянофилам возможность утверждать, что страна избежит революционных потрясений, характерных для западноевропейского исторического развития.

Историко-социологическая сторона славянофильства была подробно развита К. С. Аксаковым в его теории «земли» и «государства». Свое понимание процесса русского исторического развития он выразил словами: «Две силы в ее основании, два двигателя и условия во всей русской истории: земля и государство». Взаимоотношения этих двух сил К. Аксаков отчетливо сформулировал в

---

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 520.

статье «О земских соборах», написанной в начале 1850-х годов: «Государству — неограниченное право действия и закона, земле — полное право мнения и слова». Исходя из славянофильских исторических построений, К. Аксаков доказывал невозможность революции в России, провозглашал монархию единственно возможной формой русского государственного устройства и высказывался против конституционных гарантий. Свободу слова, печати, совести, общественного мнения он считал правами, неотъемлемо принадлежащими народу и не подлежащими контролю со стороны государства. Среди славянофилов К. Аксаков считался авторитетным знатоком русской истории.

Западники — Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, И. С. Тургенев, П. В. Анненков, Б. Н. Чичерин, В. П. Боткин, М. Н. Катков — утверждали сходный характер русского и западноевропейского путей развития, видели в Западной Европе образец буржуазных преобразований. Конституционное ограничение самодержавия, парламентарное устройство были их идеалом. Проблема возможности революции в России снималась ими утверждением, что правительственные реформы должны опережать проявление активности народных масс.

Путь Соловьева к западничеству был своеобразен. В студенческие годы его «славянофилизм» был отчасти близок к проповедуемой Погодиным теории «официальной народности», отчасти к славянофильству. Со славянофилами Соловьева и позднее сближал глубокий интерес к русскому народу, к его языку, культуре, традициям, к устному народному творчеству. Соловьев разделял увлеченность славянофилов русской историей, понимал их стремление объяснить настоящее через прошлое. Славянские симпатии славянофилов неизменно находили в нем живой отклик. Вместе с тем ученый не мог одобрить дилетантского подхода славянофилов к занятиям историей, их предвзятых суждений об отдельных событиях прошлого. Главное, что отделяло Соловьева от славянофилов, — его твердое убеждение в единстве исторического развития России и Европы. К западничеству Соловьева привели серьезные занятия историей, знание прошлого России, непредвзятость и научная объективность.

Исторические построения были уязвимым местом славянофильской теории. Не случайно, что крупные славянофилы, всерьез интересуясь историей, были далеки от ее научного изучения. В письме Кошелеву от 1854 г. И. Аксаков утверждал: «Ученые исторические исследования не только не могут служить в пользу славянофильским отвлеченным теориям, но должны разрушить многие наши верования и точки опоры».

Среди западников Соловьев занимал совершенно особое место. Он долгое время уходил от прямого определения своих общественных взглядов, был чужд нетерпимости Грановского. Со славянофилами он поддерживал добрые отношения, печатался в их изданиях (сборник Д. А. Валуева 1845 г., «Московские сборники»

1846 и 1852 гг.). Соловьев подчеркнуто сторонился Белинского, Герцена, что не мешало ему внимательно читать их статьи, вдумываться в их суждения о событиях русской истории. Так, на ученого оказали определенное воздействие оценки Белинским личности Ивана Грозного, предпосылок реформ Петра I, суждения Герцена о Петре I.

Общественная позиция Соловьева понята была не сразу. В 1847 г. Белинский в письме к Боткину отзывался о Соловьеве как о человеке «совершенно чуждом нам, да и неблизким вам. Он наклонен к славянофильству, но его отношения к Погодину не позволяют ему печатать своих статей в «Москвитянине». Поэтому для него «Отечественные записки» и «Современник» — все равно».

Яснее всего свою позицию в споре западников и славянофилов Соловьев определял в исторических сочинениях, которые были главной формой участия историка в общественной жизни. Соловьев наряду с Кавелиным в сороковые годы стоял у истоков государственной школы в русской историографии. Государственная школа была связана с западничеством, она как бы конкретизировала исторические суждения западников, прилагала их к русской истории.

О значении государственной школы хорошо сказал Чернышевский: «Около 1835 г. мы, после безусловного поклонения Карамзину, встречаем, с одной стороны, скептическую школу, заслуживающую великого уважения за то, что первая стала хлопотать о разрешении вопросов внутреннего быта, но разрешавшую их без надлежащей основательности; с другой — «высшие взгляды» Полевого на русскую историю. Через десять лет ни о высших взглядах, ни о скептицизме нет уже и речи: вместо этих слабых и поверхностных попыток, мы встречаем строго ученый взгляд новой государственной школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин: тут в первый раз нам объясняется смысл событий и развитие нашей государственной жизни».

Идейные корни государственной школы уходили к учению Гегеля. Государству историки государственной школы отводили главную роль в историческом развитии, понимая само развитие как процесс становления и укрепления государственности. Они обращались прежде всего к изучению эволюции государственных учреждений, внутренней и внешней политики, их интересовали государственные акты, договоры, законы. В своем развитии государственная школа (Б. Н. Чичерин, В. И. Сергеевич, А. Д. Градовский) пришла к примату истории права над другими формами исторического познания. Государственная школа была ярким проявлением нового, буржуазного подхода к изучению истории.

Соловьев был крупнейшим представителем государственной школы на этапе ее становления. Государственная школа — понятие достаточно широкое, и можно, разумеется, указать на известные отличия во взглядах Соловьева и Кавелина или Чичерина. Однако, по нашему мнению, расхождения по частным вопросам

не опровергают бесспорного факта общности исходных позиций этих видных представителей государственной школы.

Государственная школа имела строго обозначенный объект исследования — государство в его развитии. Для Чичерина, например, история государства исчерпывала содержание истории России. При таком подходе, естественно, оставались без внимания важные вопросы русской истории, в первую очередь положение и борьба народных масс. Общественно-политические позиции историков-государственников только отчасти могут объяснить это обстоятельство. Немаловажно и другое. Научное исследование начинается с определения объекта исследования, а ограничение объекта исследования — предпосылка успешного научного поиска. Чернышевский не случайно подчеркивал «строго ученый взгляд новой исторической школы». Государственная школа давала возможность плодотворного научного исследования, изучения конкретных вопросов русской истории в связи с общей, цельной концепцией исторического развития русского государства. Историками государственной школы созданы крупные монографические работы, которые принадлежат к лучшим достижениям русской дореволюционной историографии. Славянофилы, богатые оригинальными идеями, остроумно критиковавшие Соловьева и других историков государственной школы, в области конкретно-исторического изучения дали на удивление немного. Серьезный след в исторической науке оставил один И. Д. Беляев, автор блестящей работы «Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе» (1860).

Для Соловьева славянофилы навсегда остались «мечтателями, поэтами и дилетантами науки». Вряд ли он прав. Славянофилы были серьезными исследователями духовной культуры русского народа, его былин, песен, сказок, его быта и нравов. Здесь, в области фольклористики и этнографии, они выступали как ученые-профессионалы (П. В. Киреевский, К. С. Аксаков, А. Ф. Гильфердинг, П. А. Безсонов, Ор. Ф. Миллер).

Во время общественного подъема второй половины 1850-х годов Соловьев несколько раз выступил в печати с историко-публицистическими статьями против славянофилов. Его суждения касались по преимуществу их исторических взглядов и были достаточно строги. В 1856 г. он по предложению редактора либерально-западнического журнала «Русский вестник» Каткова принял участие в споре о сельской общине, наличие которой в России было отправной точкой исторических и политических построений славянофилов. Спор об общине имел не столько научное, сколько прикладное, политическое значение: за ним стоял вопрос о том, кто должен выносить решение о формах и размерах земельных владений в намечаемой крестьянской реформе — правительство, дворянство или крестьянство.

В 1856 г. вышла из печати магистерская диссертация Чичерина «Областные учреждения в России в XVII в.», которая стала

важным событием общественной и научной жизни страны. Чичерин — последовательный государственник, в речи на диспуте при защите диссертации он утверждал: «Образование государства — вот поворотная точка русской истории. Отсюда она в неудержимом потоке, в стройном развитии движется до нашего времени. Направления более или менее изменяются, встречаются и отклонения в сторону, но общий характер движения один». Для Чичерина государство — благо, противодействовать государству — значит мешать историческому прогрессу. Община, по его мнению, — элемент антигосударственный, исторический анахронизм. В политическом аспекте исторические аргументы Чичерина обосновывали необходимость правительственного решения крестьянского вопроса, его призыв к ломке общинного землевладения был направлен не только против славянофилов, но и против деятелей демократического направления, Чернышевского прежде всего, которые верили в общину как условие социалистического развития страны.

В статье «Спор о сельской общине» Соловьев, приглашенный высказаться в качестве «авторитета по русской истории», показал неосновательность славянофильской теории русской общины как проявления «славянского национального духа», отметил родство общины с западноевропейской маркой. Он поддержал Чичерина, принизив значение общины в русской истории. В родовой теории, которой придерживался Соловьев, общине действительно не было места.

В статье «Шлецер и антиисторическое направление» (1857), также опубликованной в «Русском вестнике», Соловьев яснее высказался против сохранения общины, сторонников которой он назвал «антиисторическим направлением». Вполне очевидно, что под «антиисторическим направлением» он понимал как славянофилов, так и сторонников Чернышевского. Акценты в статье были расставлены ясно. Соловьев подчеркнул инертность крестьянства, его разобщение с другими классами народа, «бессилие смысла перед силой привычки» крестьянства. Верить в общину — антиисторично, равно как и верить в созидательные способности крестьянства: «Почтенные свойства этого сословия, как сословия, не могут быть оспариваемы, но что ж, если целый народ живет в форме быта земледельческого сословия?»

Идеал Соловьева — равномерное, гармоничное развитие всех сословий, каждое из которых, подобно органам человеческого тела, выполняет особые функции. Прогресс заключается в умножении частей «общественного организма» и в их все более согласованном совместном действии, что обеспечивается государством. Идея исторического прогресса, важнейшая в исторической концепции Соловьева, сводилась, таким образом, к совершенствованию государственных форм, к излюбленной русскими либералами разных поколений мысли о движении России к «правовому государству» в рамках единой европейской цивилизации. Об этом ис-

торик писал в программных «Исторических письмах» (1858). Государство Соловьева — надклассовое, идеальное государство во имя всех и для всех; общество Соловьева — сословное, классовое общество. Социальные контрасты неизбежны и в «правильно организованном обществе». Ведущую роль в обществе Соловьев отводил «среднему сословию», которое выступает своего рода регулятором отношений высших и низших сословий.

Соловьевская теория «нового общества», идейно связанная с позитивизмом, с «социальной статикой» Г. Спенсера, в обстановке кануна крестьянской реформы служила обоснованием необходимости буржуазных преобразований, проводимых сильной государственной властью. Выделение Соловьевым «среднего сословия», буржуазии дает основание утверждать, что не только объективно, в своей научной деятельности, но и субъективно, в политической публицистике, он выступал выразителем либерального общественного мнения, идеологом буржуазного развития России.

Крестьянскую реформу 1861 г. Соловьев понимал в духе государственной школы, как закономерный шаг в политике «раскрепощения сословий», начатой Екатериной II. Одновременно, освобождение крестьян — необходимый этап в создании «нового общества», ибо крепостное право было «пятном, позором, лежавшим на России, исключавшим ее из общества европейских цивилизованных народов». В 13-м томе «Истории России» (1863) Соловьев с удовлетворением сделал вывод: «Прикрепление крестьян было результатом древней русской истории: в нем самым осязательным, самым страшным образом высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом, живом, молодом народе необходимо условливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения, стремление избавиться от гибельной односторонности, в страну сел внести город и этим улучшить экономическое положение страны. Этот поворот и знаменуется преобразовательною деятельностью, с этого поворота и начинается новая русская история... Если прикрепление крестьян было естественным результатом древней русской истории, то освобождение их было результатом полуторавекового хода нашей истории по новому пути. Спор между древнею и новою Россиею кончен, поверка налицо» (VII, с. 106) [3].

Пореформенная действительность разочаровала Соловьева.

В 60-е годы изменилось содержание общественной борьбы в России: утратил значение спор западников и славянофилов, окрепло революционное движение, резче проявилась поляризация политических сил. После 19 февраля 1861 г. царское правительст-

---

[3] Соловьев С. М. История России с древнейших времен. кн. I—XV. М., 1959—1966. Далее в тексте дается ссылка на это, последнее издание труда Соловьева, римская цифра обозначает книгу, арабская — страницу. В данном издании книга соответствует двум томам Соловьева.

во перешло к политике реакции, которая приобретала все более открытый и масштабный характер. В 1862—1865 гг. произошел переход значительной части русских либералов на консервативные, охранительные позиции. Либералы были напуганы силой революционного натиска, содержание реформ начала 60-х годов их удовлетворяло, правительство виделось единственным (и надежным) оплотом в борьбе с революцией. Выразителем настроений этой части либералов стал Катков — западник, англоман, сторонник конституции, который к середине 1860-х годов превратился в идеолога самодержавия, политической и общественной реакции.

Претерпели изменения и общественно-политические взгляды Соловьева. Разочарование в действительности, которую непросто было осмыслить любому его современнику, переросло у него в разочарование реформой. Подчеркнем: Соловьев был разочарован не в идее, не в принципе реформы, не в ее реальном содержании (он был убежденным противником крепостничества!), но в методах ее осуществления. Реформы 60-х годов не стали вровень с петровскими преобразованиями потому, что Александр II не ровня Петру I; важнейший политический вывод, сделанный ученым из наблюдений над русской пореформенной действительностью, — убеждение в необходимости и благодетельности сильной центральной власти. Пореформенное развитие России, казалось, подтверждало правильность общей исторической концепции Соловьева, его наблюдений над ролью государства в русской истории.

В зрелые годы Соловьев перестал обращаться к исторической публицистике. Свое понимание итогов реформ 60-х годов Соловьев изложил в «Записках», крепкими нитями с современностью были связаны его исторические труды — «История падения Польши» (1863), «Публичные чтения о Петре Великом» (1872), «Император Александр I. Политика. Дипломатия» (1877).

В пореформенной действительности Соловьев наблюдал, как быстро потускнел его идеал «нового общества», как отходили в прошлое мечты о совместных гармоничных действиях сословий, как усиливалась сословная рознь, классовая борьба, которой историк упорно не желал замечать в русской истории. В России наступала «смута», «уважение к власти рушилось в самодержавном государстве». Вину за это он возлагал на правительство с его недостатком «правительственной мудрости», на Александра II, который обнаружил слабость, отсутствие личных качеств, необходимых реформатору. В «Записках» имеются яркие строки: «Преобразования проводятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-е и Александры II-е. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель».

В «Записках» Соловьев собрал разнородные факты русской пореформенной жизни, которые, по его мнению, могли свидетельствовать о том, что «экипажу предстоит гибель». Он указал на обнищание крестьянства, разорение помещиков «вследствие уничтожения крепостного права», падение общественной и семейной нравственности, «судорожную промышленную деятельность», «манию железнодорожную», безжалостную вырубку лесов и т. п. Упреки свои он адресует слабой верховной власти, именно она, в конечном итоге, повинна в том, что не состоялся идеал «правового государства», и в России «права никакого, кроме права сильного, и это право основано на деньгах».

Критика Александра II, его методов проведения буржуазных реформ вовсе не означала критики самих реформ. Сдвиг политических настроений Соловьева вправо не подлежит сомнению, но и, поправев, он остался деятелем либерального направления, сторонником буржуазного развития страны. Эволюция общественно-политической позиции историка ни в коей мере не повторяла политическую эволюцию Каткова, находить в его пореформенных суждениях «своего рода пожелание контрреформ» (Л. В Черепнин) едва ли возможно.

Для политических взглядов Соловьева, сторонника «правового государства» и министерства Гизо, характерно явное предпочтение парламентарных форм государственного устройства, в принципе он за конституционную монархию и против самодержавия. Но в реальной политической жизни пореформенной России он убежденно высказывался за неограниченную монархию с ее правом «самодержавной инициативы». Соловьев считал, что неограниченная монархия — единственная форма государственного устройства, возможная в России и понятная русскому народу. Конституция представлялась ему делом отдаленного будущего. Задолго до Соловьева подобную дилемму решал Карамзин: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое».

Вопрос о форме государственного устройства представлялся Соловьеву второстепенным, его больше занимало содержание правительственной деятельности. В абсолютистском государстве он ценил возможность быстрых, созидательных действий — об этом он подробно говорил в лучшей работе последних двух десятилетий жизни, в «Публичных чтениях о Петре Великом».

В работе «История падения Польши», где речь шла о внутриполитической борьбе в Речи Посполитой, о европейских международных отношениях в эпоху польских разделов конца XVIII в., историк утверждал мысль о пагубности преобладания одного сословия в государстве, где правительство было слабо, «в продолжении веков народ молчал и шумел только один шляхетский сейм» [4];

---

[4] Соловьев С. М. История падения Польши. М., 1863, с. 311.

о благодетельности «преобразовательной деятельности» в случае, если ее совершает сильное правительство, а не возмущенные народы.

На склоне лет Соловьев особенно интересовался историей русской внешней политики. Его работа «Император Александр I. Политика. Дипломатия» посвящена столкновению Александра I, «главного деятеля эпохи», с Наполеоном — «гением войны, гением революции». Богатая фактическим материалом, работа подчинена идее спасительности для России сильной центральной власти. Идея, ставшая для историка главной, раскрывалась здесь на примерах внешней политики, в сравнительно-историческом плане. Историческую заслугу Александра I Соловьев видел в том, что он (именно он!) сверг Наполеона и установил в Европе мир «после революционных бурь и военных погромов». В последней крупной работе историка политическое неприятие революции нашло теоретическое обоснование: революционные перевороты исторически незакономерны, они искусственно нарушают органическое развитие общества, Соловьев писал: «Перемены в правительственных формах должны исходить от самих правительств, а не должны вымогаться народами у правительств путем возмущений» [5].

Соловьевская формула непроста. В ней содержится и признание неизбежности перемен в «правительственных формах», и нереволюционность, и убежденность историка государственной школы в том, что исторический прогресс осуществляется путем закономерной правительственной деятельности.

В других своих поздних работах — «Наблюдения над исторической жизнью народов» (1868—1876), «Начала Русской земли» (1877—1879), «Прогресс и религия» (1872) — историк уточнял и развивал мысли, высказанные прежде: о роли государства в жизни народов («правительство... есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая поверка этой жизни») [6], о ведущих факторах исторического процесса («природа страны», «природа племени», «ход внешних событий»), о прогрессе, который понимался как «стремление человечества к идеалу, выставленному христианством» [7]. Буржуазно-либеральная основа его мировоззрения, его общественно-политических и исторических воззрений и в последние годы жизни Соловьева не изменилась.

Соловьев был заметной фигурой в русской общественной жизни 1850—1870-х годов. Внимание современников привлекала его многолетняя работа над «Историей России с древнейших времен», его историко-публицистическая деятельность, его университетские лекции.

Важное значение имела и административная работа Соловьева в Московском университете. По общему мнению, он был хорошим

---

[5] Соловьев С. М. Собрание сочинений. Спб., б. г., с. 678.
[6] Там же, с. 1122.
[7] Там же, с. 958.

администратором, благожелательным, требовательным, авторитетным. В ноябре 1855 г. Соловьев был избран деканом историко-филологического факультета, сменив рано умершего Грановского. Деканом Соловьев пробыл до 1869 г., пользуясь неизменной поддержкой передовой профессуры. В сложное время студенческих волнений осени 1861 г. декан Соловьев, крайне недовольный беспорядками, которые производили, по его мнению, «крикуны и школьники», твердо ограждал университет от правительственного вмешательства. По свидетельству одного из корреспондентов герценовского «Колокола», на заседании Совета университета он заявил, что «наука под защитой штыка быть не может!»

В качестве представителя Московского университета (вместе с И. К. Бабстом) Соловьев вошел в созданную правительством комиссию по университетскому вопросу (ноябрь 1861 г.), которая вырабатывала новый университетский устав. Либеральные профессора считали его кандидатуру естественной при избрании ректора, но в 1863 г. ректором стал представитель «катковской» партии С. И. Баршев, ректорство которого было «воцарением пошлости в университете» (Б. Н. Чичерин).

В 1866 г. произошло событие, которое некоторые современники называли «восстанием» профессоров в Московском университете. При переизбрании консервативных профессоров Лешкова и Меньщикова катковское большинство университетского совета грубо нарушило основы устава 1863 г. По предложению Соловьева, либеральные профессора (Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, Ф. М. Дмитриев, С. А. Рачинский, М. П. Капустин, С. М. Соловьев) демонстративно подали прошение об отставке. Соловьеву принадлежала ведущая роль в конфликте, его научный авторитет усиливал общественное звучание события. Приехавший в Москву Александр II «просил» профессоров остаться в университете, протест был скомкан. Позднее пять профессоров поочередно вышли из университета. Соловьев остался. Чичерин вспоминал, что позднее Соловьев сожалел о компромиссе, говорил, что было бы «гораздо лучше, если бы вышли все вместе».

Соловьев дорожил авторитетом Московского университета, и в дальнейшем он твердо отстаивал скромные академические свободы, предоставленные университету уставом 1863 г.

В правительственных сферах ценили знания Соловьева, его убеждение в необходимости сильной центральной власти объективно укрепляло позиции царского правительства в глазах части русской интеллигенции. Соловьев преподавал русскую историю наследнику престола Николаю Александровичу (1859—1861, 1862—1863), вел занятия с будущим императором Александром III (1866), читал лекции великому князю Сергею Александровичу (1879).

В 1870 г. он был назначен директором Оружейной палаты в Кремле, стал тайным советником (1871), академиком (1872). Последние годы жизни он председательствовал в Обществе истории

и древностей российских при Московском университете. В феврале 1871 г. он был избран ректором Московского университета. Интересной страницей в биографии ученого стала его деятельность на посту председателя преподавательского совета Высших женских курсов В. И. Герье, которые были открыты в Москве в 1872 г. Еще в молодые годы в статье о Парижском университете Соловьев осуждал допуск посторонней публики в университет, что превращало научные занятия в публичные чтения. Высказывался он и против разрешения женщинам посещать лекции в университете. В то же время он не был противником женского высшего образования. Соловьев около пяти лет был связан с курсами Герье, своим авторитетом оказав им существенную поддержку. Само объединение в одном лице постов ректора Московского университета и председателя Совета курсов способствовало их утверждению как высшего учебного заведения.

На посту ректора Соловьев последовательно выступал против влияния на университетскую жизнь Каткова и его реакционных изданий. Он пытался, правда, безуспешно, пересмотреть контракт на аренду университетской газеты «Московские ведомости», который был заключен в 1863 г. и срок которого истекал в 1875 г. Катков сохранил «Московские ведомости» за собой, его нападки на университет приобрели характер целенаправленного похода против устава 1863 г. Сторонник Каткова, профессор физики Н. А. Любимов, на страницах «Русского вестника» и «Московских ведомостей» предлагал ликвидировать университетскую автономию. В январе 1877 г. на заседании Совета университета под председательством Соловьева деятельность Любимова была оценена выступавшими профессорами как пасквиль на университет. Студенты бойкотировали лекции реакционного профессора.

Министерство просвещения потребовало от ректора дать отчет в действиях профессоров и студентов. Требование носило провокационный характер: было широко известно, что Соловьев безусловный сторонник университетской автономии. Соловьев не подчинился требованию министерства и демонстративно подал в отставку как с поста ректора, так и профессора университета.

В университетских событиях 1877 г. Соловьев сыграл крупную роль, которая ясно показывает его принципиальное расхождение с политической реакцией, вдохновляемой Катковым. Соловьев отстаивал лучшие, демократические традиции русской науки и университетского преподавания. Его отставка нанесла определенный моральный урон правительству, реакционным деятелям министерства просвещения. В некоторой степени конфликт 1877 г. задержал введение нового реакционного устава 1884 г.

Университетские события отразились и в семье Соловьевых. Сын историка, Владимир Соловьев, философ, приват-доцент Московского университета, отказался осудить действия Любимова. Он ссылался на принцип свободы мнения и слова. Поступок

Вл. Соловьева был расценен его коллегами как неблаговидный, он был вынужден уйти в отставку.

С. М. Соловьев тяжело переживал уход из университета, где последние два года жизни он вел занятия как приглашенный лектор. В 1877 г. он серьезно заболел. До последних дней жизни ученый работал над «Историей России с древнейших времен», 29-й том которой остался неоконченным. Последние строки были продиктованы им 24 сентября 1879 г. 4 октября Соловьев скончался.

* *
*

В середине 1840-х годов Соловьев задумал написать историю России. Он был молодым человеком, начинающим ученым. Соловьев вспоминал: «Давно, еще до получения кафедры, у меня возникла мысль написать историю России; после получения кафедры дело представлялось возможным и необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в глазах всех; надобно было, для составления хорошего курса, заниматься по источникам; но почему же этот самый курс, обработанный по источникам, не может быть передан публике, жаждущей иметь русскую историю полную и написанную, как писались истории государств в Западной Европе? Сначала мне казалось, что история России будет обработанный университетский курс; но когда я приступил к делу, то нашел, что хороший курс может быть только следствием подробной обработки, которой надобно посвятить всю жизнь. Я решился на такой труд и начал с начала, ибо, как уже сказано, предшествовавшие труды не удовлетворяли».

Соловьев подвижнически подчинил свою жизнь выполнению великолепного замысла. Он много работал, в московском архиве Министерства юстиции был особый стол, за которым историк десятилетиями просматривал архивный материал. Университетское преподавание служило его научным целям, специальные курсы Соловьева с годами превращались в тома «Истории России». Первый специальный курс 1845/46 академического года он посвятил «истории междуцарствия» — эпохе, на которой прервалась «История государства Российского» Карамзина. Построенные в хронологической последовательности специальные курсы предваряли соответствующие тома «Истории России». Отдельные научные вопросы ученый решал в многочисленных журнальных статьях.

Соловьев работал без устали, долгого отдыха он не знал. Летом, на каникулах, он готовил к печати очередной том. Отдыхал он по воскресеньям, да в субботу вечером шел в Итальянскую оперу — память о пребывании в Париже.

Первый том «Истории России с древнейших времен» появился в 1851 г. В том же году Соловьев прочитал курс публичных лек-

ций, названный им «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого». Это была программа изучения допетровской России, своего рода конспект первых двенадцати томов «Истории России». Соловьев как бы предуведомлял публику в своем намерении стать продолжателем дела Карамзина.

Кумир соловьевской юности, Карамзин, занимал, по-видимому, важное место в размышлениях молодого профессора. Он не только отталкивался от устарелой исторической концепции историографа, не только рассчитывал потеснить своими книгами изящные томики «Истории государства Российского», но и надеялся, что его работа станет «делом государственным», а он заступит место Карамзина не только в науке. Соловьев хотел посвятить свой труд царю, но посвящение было отвергнуто. «Государство отказалось от моего труда», — с естественной обидой вспоминал Соловьев. Официальным преемником Карамзина он не стал. Сыграли роль научный и политический авторитет Карамзина, безвестность молодого историка, его сомнительные либеральные взгляды, но, главное, изменились общественные условия, абсолютистское государство вступило в полосу глубокого кризиса, и научные исторические сочинения могли, при любых политических взглядах автора, выявить это обстоятельство.

Соловьев многим обязан Карамзину. У него он заимствовал не одни факты, но и преимущественный интерес к политической истории, к истории государства. Размышления Карамзина над русской историей были непростыми, как и его политические пристрастия. В свое время передовая Россия с восторгом приняла 9-й том «Истории» Карамзина, где гневные описания «ужасов» Иоаннова царствования скрывали намеки на современные, аракчеевские порядки. Недостаточность только политических оценок труда Карамзина прекрасно понимал Пушкин. С иронией он писал: «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина... Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело!»

Соловьеву, казалось бы, глубоко чужд назидательный, морализаторский подход Карамзина к событиям прошлого. На страницах его «Истории России» автор скрыт, стушеван, недвусмысленные авторские оценки в духе Карамзина редки. Но еще Ключевский заметил: «Соловьев был историк-моралист: он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, *знамение правды божией*».

Принципиальное отличие Соловьева от Карамзина заключалось в последовательном проведении им принципа историзма, в

историчности, в понимании истории как органического, закономерного процесса развития. В историографической работе о Каченовском Соловьев верно указал на особенности исторических работ Карамзина и его современников, на те новые задачи исторической науки, которые были сформулированы им, Соловьевым: «События времен давних представлялись, характеры действующих лиц в этих событиях оценивались по понятиям времен новых, на историю смотрели преимущественно как на художественно-словесное произведение... Первое дело, которым должна была теперь заниматься наука, состояло в том, чтобы уничтожить это смещение эпох, выставить каждую из них с соответствующим ей характером, уяснить, таким образом, постепенный ход истории, преемство явлений, естественный, законный выход одних явлений из других, последующих из предыдущих» [8].

Выше отмечалось влияние на Соловьева философии Гегеля. Идея единства и развития, убеждение в закономерности и познаваемости исторического процесса, поиски противоборствующих «начал» в русской истории — дань философии истории Гегеля. Русская история, написанная, «как писались истории государств в Западной Европе», — это история, в основу которой положена гегелевская историческая схема. Конкретное воплощение эта схема получила в родовой теории.

Родовая теория, воспринятая Соловьевым от Эверса, развита была историком в магистерской и докторской диссертациях, она давала возможность единого подхода к разнородным фактам ранней русской истории, их непротиворечивого объяснения. Материалы магистерской и докторской диссертаций оказали историку существенную помощь в работе над первыми томами «Истории России».

Общий взгляд Соловьева на историческое развитие России изложен им в кратком предисловии к 1-му тому «Истории России», которое он начал словами: «Русскому историку, представляющему свой труд во второй половине XIX века, не нужно говорить читателям о значении, пользе истории отечественной; его обязанность предуведомить их только об основной мысли труда. Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, за непосредственным преемством форм, не разделять начал, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделить его из общей связи событий и подчинить внешнему влиянию — вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда» (I, 55).

Соловьев стремился раскрыть внутренние закономерности русского исторического развития, он готов был забыть «внешние влияния», отказывался от выделения «норманского» и «татарско-

---

[8] Соловьев С. М. М. Т. Каченовский. Указ. изд., с. 401.

го» периодов в русской истории. «При начале русского общества не может быть речи о господстве норманнов, о норманском периоде» (I, 56), «историк не имеет права с половины XIII века прерывать естественную нить событий — именно постепенный переход родовых княжеских отношений в государственные — и вставлять татарский период» (I, 58) — новые, принципиально важные положения Соловьева, которыми он противостоит Щербатову, Карамзину, своему учителю Погодину.

В предисловии Соловьев бегло коснулся и вопроса о связи старой, допетровской России с новой Россией, преобразованной Петром I. Вопрос, который вызывал ожесточенные споры западников и славянофилов, Соловьев раскрыл в контексте основной своей мысли о нераздельности русской истории. Повторяя слова Белинского, он писал: «Преобразователь воспитывается уже в понятиях преобразования». И далее — «вместе с обществом приготовляется он идти только далее по начертанному пути, докончить начатое, решить нерешенное. Так тесно связан в нашей истории XVII век с первою половиною XVIII, разделять их нельзя» (I, 59).

До Соловьева в русской историографии не было столь последовательного выражения мысли о единстве русского исторического развития. В этом его несомненная научная заслуга.

Отказываясь от членения русской истории на отдельные периоды, Соловьев, разумеется, видел существенные отличия разных веков русской истории. Родовая теория, приложенная к русской истории, давала следующую схему: время господства родовых отношений между князьями (до второй половины XII века); время перехода родовых отношений между князьями в государственные (от второй половины XII в. до конца XVI в.); «страшные смуты» начала XVII в., которые грозили «юному государству разрушением»; XVII в. — первая половина века XVIII — эпоха преобразований; время со второй половины XVIII в. до середины XIX в., когда явилась «потребность в духовном, нравственном просвещении»; с середины XIX в. Соловьев начинал новую, современную ему эпоху «народного самопознания».

В многолетней работе Соловьеву, понятно, было трудно соблюдать строгую верность изложенной выше схеме, да он к этому и не стремился. Конкретное распределение материала по томам привело историка к старому, карамзинскому принципу изложения русской истории по княжениям и царствованиям, что, конечно, не было возвращением к карамзинскому пониманию истории.

В период демократического подъема начала 1860-х годов Соловьев еще раз изложил общий взгляд на весь ход русской истории. Сделал он это в знаменитой 1-й главе 13-го тома «Истории России». Главу он назвал «Россия перед эпохою преобразования». Здесь историк скрупулезно, в строгой логической последовательности раскрыл свое понимание законов русского исторического развития, охарактеризовал основные события и главных деятелей русской истории. Он обстоятельно аргументировал вывод о един-

стве русской истории, об исторической обусловленности петровских реформ. По глубине замысла, широте научного кругозора, убедительности выводов эта глава — одна из лучших в его «Истории России». Ее особенностью стало внимание ученого к событиям экономической и социальной жизни России, к истории русской культуры.

Соловьев был преимущественно исследователем новой истории России, крупнейшим знатоком которой он по праву считался. В его «Истории России с древнейших времен» с наибольшей полнотой освещены события XVIII в.: истории допетровской России он отвел 12 томов своего труда; преобразованиям Петра I — 6 томов, остальные 11 томов были посвящены послепетровскому времени.

Здесь нет необходимости пересказывать тома «Истории России с древнейших времен», останавливаться на трактовке ученым отдельных событий русской истории, отмечать то новое, что внес Соловьев в их изучение, сравнивать его позицию с предшествующей и последующей историографией. Советскими историками сделано в этом отношении немало[9]. Отмечены ими и органические недостатки труда Соловьева, прежде всего отсутствие в нем подлинной истории русского народа. Об этом писал, сравнивая Соловьева и Карамзина, еще К. Аксаков: «В «Истории России» автор не заметил одного: русского народа... «История России» С. М. Соловьева может совершенно справедливо быть названа тоже Историею Российского государства, не более».

Со дня смерти Соловьева прошло более ста лет. Давно изжила себя его историческая концепция, устарела писательская манера, минуло время, когда по его книгам русская интеллигенция изучала отечественную историю. Но лучшие работы Соловьева — «История России с древнейших времен», исследования, близкие ей тематически и идейно, — и поныне сохраняют свое научное значение, представляют большой историко-культурный интерес.

Ученик и преемник Соловьева на кафедре русской истории Московского университета Ключевский сказал: «В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли. В истории нашей науки и литературы было немного жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет наш университет, с которым она была связана в продолжение 40 лет».

Лучшая память об ученом — обращение к его научному наследию.

Н. И. Цимбаев

---

[9] Укажем особенно на вступительную статью Л. В. Черепнина к последнему изданию «Истории России с древнейших времен» и комментарии к томам этого издания; авторами комментариев были В. Т. Пашуто, А. М. Сахаров, В. И. Корецкий, С. М. Троицкий, С. М. Каштанов, Ю. А. Тихонов, М. А. Рахматуллин. См. также: Иллерицкий В. Е. Советские историки о С. М. Соловьеве. — Вопросы истории, 1981, № 11.

КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание избранных трудов С. М. Соловьева вошли научные работы разных лет — «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого» (1851), «Исторические письма» (1858), «Публичные чтения о Петре Великом» (1872), а также автобиографические «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других». Все названные произведения в советское время не издавались и давно стали библиографической редкостью. Между тем они остаются интересными не только для историков науки и биографов Соловьева.

Научные работы, вошедшие в настоящее издание, имеют теоретический, программный характер. У Соловьева рано сложились твердые взгляды на задачи исторического исследования, на место истории в системе наук, на роль историка в жизни общества, на движущие силы исторического развития. В своей научной деятельности он не раз обращался к этим вопросам. Однако манера изложения материала у Соловьева такова, что читатель, даже хорошо знакомый с главным его трудом — «Историей России с древнейших времен», за обилием имен, дат, событий, за пространным пересказом источников далеко не сразу и не всегда может проследить его общеисторическую концепцию. Несомненно, что публикуемые работы дают цельное, достаточно полное представление о складывании теоретических воззрений Соловьева, об их развитии от 1840 до 1870-х годов.

Вершиной научного творчества Соловьева, высшим достижением всей русской дореволюционной историографии стала «История России с древнейших времен» (1851—1879). Научные работы, составившие настоящее издание, представляют как бы дополнение и развитие этого громадного труда. Отметим, что их тематическая и идейная близость к соответствующим томам «Истории России» в некоторых случаях переходит в текстуальное совпадение.

Составители стремились показать Соловьева — педагога, популяризатора исторических знаний, лектора, который свыше трех десятилетий читал курс русской истории в Московском университете. Читая «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого», «Публичные чтения о Петре Великом», следует помнить, что перед нами лекционные курсы, обращенные к слушателям, которые специально не изучали историю России. Отзывы современников о лекциях Соловьева различны. Д. А. Корсаков,

например, утверждал, что публичные выступления историка не производили впечатления, ибо «Соловьев затруднялся публично говорить об хорошо известном ему вопросе» (Вестник Европы, 1906, № 9, с. 270). Студент 1870-х годов А. Танков вспоминал о лекциях Соловьева: «Прекрасная речь его отличалась замечательною уверенностью и сознанием ученой силы» (Вестник Европы, 1910, № 10, с. 349). Наиболее авторитетны и, вероятно, близки к истине воспоминания Ключевского, который студентом записывал лекции Соловьева: «Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать... При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами... Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете» (Ключевский В. О. Соч., т. 8, с. 255—256).

Публикуемые материалы позволяют также судить об идейно-политических взглядах историка, о его месте в общественной жизни России. Вопрос этот достаточно сложен, в литературе он решается по-разному, но неизменно главным источником для суждений исследователей служат «Записки» Соловьева. Предлагая их научное издание, составители выражают надежду, что оно послужит плодотворной разработке данного вопроса.

Публикация научных работ С. М. Соловьева осуществлена по тексту прижизненных изданий. «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» печатаются по автографу. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными правилами. Явные описки и опечатки исправлены без оговорок. Сохранены особенности написания Соловьевым отдельных слов, личных имен и географических названий, сохранены старые грамматические формы. Комментарии носят реальный характер.

Составление издания — А. А. Левандовского, подготовка текста к печати и комментарии — А. А. Левандовского и Н. И. Цимбаева.

Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого

Университетские публичные чтения были приметным событием общественной и культурной жизни Москвы XIX в. Еще в 1803 г. публичные лекции читали профессора П. И. Страхов, Ф. Г. Политковский, И. А. Гейм, Х. А. Шлецер. В январе 1812 г. с публичными лекциями по русской словесности выступил профессор А. Ф. Мерзляков. В 1843—1845 гг. Т. Н. Грановский прочитал два курса публичных лекций, которые укрепили его славу блестящего лектора.

В 1851 г. 18 часовых лекций были прочитаны видными профессорами университета. Р. Г. Гейман объединил три свои лекции названием «Беглый взгляд на четыре стихии древних, в отношении физическом, химическом и физиологическом»; К. Ф. Рулье читал «Жизнь животных по отношению к внешним условиям» (три лекции); по четыре лекции прочли С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский — «Четыре исторические характеристики» (о Тимуре, Александре Великом, Людовике IX, Бэконе), С. П. Шевырев — «Очерк истории живописи итальян-

ской, сосредоточенной в Рафаэле и его произведениях» (показывались эстампы с картин Рафаэля из коллекции Е. И. Маковского). Сбор за лекции предназначался «в пользу недостаточных студентов».

Важной особенностью публичных чтений 1851 г. было то, что они проходили в обстановке политической реакции и гонений на просвещение, характерной для последнего «мрачного семилетия» николаевского царствования. Дух свободного научного исследования, просветительская направленность чтений вызвали недовольство властей. Министр народного просвещения, мракобес П. А. Ширинский-Шихматов, счел лекции Рулье, известного русского физиолога, «противными религии» (Никитенко А. В. Дневник, т. 1. М., 1955, с. 345). Для Грановского публичные чтения 1851 г. были последними.

Четыре лекции молодого профессора Соловьева вызвали интерес слушателей. Профессор всеобщей истории П. Н. Кудрявцев в газете «Московские ведомости» (15 марта 1851 г.) дал им высокую оценку, с которой, не без оговорок, согласился М. Н. Погодин (Москвитянин, 1851, ч. II, Современные известия, с. 195). Правда, далеко не все слушатели сумели понять суть научных построений Соловьева, судили о лекциях с внешней, декламационной стороны. Показателен отзыв известного западника, талантливого дилетанта В. П. Боткина, который счел, что Соловьев «прочел неудачно: он не имеет дара слова и говорит утомительно» (П. В. Анненков и его друзья. Спб., 1892, с. 567—568).

Непреходящее историографическое значение публичных чтений «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого» очевидно: они стоят у начала соловьевской «Истории России с древнейших времен». Первый том Соловьев сдал в цензуру весной того же, 1851 г., а осенью 1200 экземпляров вышли в свет и быстро разошлись.

Обращает внимание текстуальная близость ряда мест лекций к соответствующим страницам первого тома (изложение теории родового быта, рассуждение о взаимоотношениях князя, его дружины и подвластного населения, история крещения Руси). В лекциях 1851 г., обращаясь к широкой аудитории, к неспециалистам, Соловьев впервые изложил в сжатом виде концепцию истории допетровской Руси, которую он последовательно развивал в начальных 12 томах «Истории России». Перед нами план работы молодого историка на ближайшее десятилетие, план, которому Соловьев неукоснительно следовал и который блестяще исполнил. Внимательное чтение соловьевских лекций убеждает в том, что, приступая к написанию «Истории России», ученый выработал твердые представления о характере русского исторического развития, которые в дальнейшем уточнялись, прикладывались к конкретным историческим событиям, развивались, но в основе своей оставались неизменными. Публичные чтения 1851 г., краткое предисловие к 1-му тому «Истории России», знаменитая первая глава 13-го тома — «Россия перед эпохою преобразования» (1863), «Публичные чтения о Петре Великом» (1872), статья «Начала русской земли» (1877—1879) были важнейшими вехами в научной разработке Соловьевым русской истории. Идейно и композиционно эти работы составляют единое целое, в них ученый наиболее полно изложил свои воззрения на общий ход русской истории, дал ее периодизацию, высказался по ключевым проблемам истории России. Анализ работ, которые отделены друг от друга десятилетиями, позволяет, в общем виде, выявить эволюцию научных и, в некоторой степени, общественно-политических взглядов Соловьева.

В публичных лекциях 1851 г. историк сформулировал теорию органического, внутренне закономерного исторического развития, которая, по его мнению, определяла необходимость и возможность научного изучения русской истории и которой он неизменно оставался верен. Обращает на себя внимание название лекций — «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого». В названии Соловьев точно выразил усвоенное им убеждение в примате государственного начала в русской истории и, следовательно, в важности преимущественного изучения истории государства, его внутренней и внешней политики. Несомненна связь этого убеждения Соловьева с зарождавшейся в русской историографии государственной школой. В публичных чтениях отразились просветительские взгляды историка, завершавший лекции призыв к просвещению, к «народному самопознанию» был в глухие николаевские годы актуален и звучал либерально.

В настоящем издании текст публичных лекций Соловьева «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого» печатается по книге «Публичные лекции о[рдинарных] профессоров: Геймана, Рулье, Соловьева, Грановского и Шевырева. Читаны в 1851 году в императорском Московском университете» (М., 1852).

* *
*

1. *Геродот* (484 — ок. 430 г. до н. э.) — древнегреческий историк и путешественник, «отец истории». В «Истории» Геродота большое внимание уделено описанию сопредельных Древней Греции стран и обычаев народов, их населявших. Геродот считал природные условия важным фактором исторического развития.

2. Выделение роли географической среды характерно для Соловьева. Интерес к природным условиям обитания восточных славян мог возникнуть у историка под влиянием университетских лекций Погодина, для которого противопоставление русской истории, истории европейских государств начиналось с противопоставления природных условий Восточной и Западной Европы. Лекции берлинского профессора, знаменитого географа К. Риттера укрепили интерес начинающего ученого к историко-географической проблематике. В трудах Соловьева географический фактор не играл самодовлеющей роли, рассматривался в сочетании с такими факторами, как «природа племени», воздействие соседних народов и государств, ход «внешних событий».

3. Персидский царь Дарий I Гистасп (556—486 гг. до н. э.) совершил неудачный поход в Скифию в 513 г. до н. э. Геродот помещает этот рассказ в своей «Истории» (кн. IV, 127).

4. *Дион Хризостом*, т. е. Златоуст (род. в 50 г. н. э.) — древнегреческий философ и риторик. Долгое время жил в Риме, откуда был изгнан в царствование императора Домициана (81—96) и бежал к северным берегам Черного моря.

5. *Митридат VI Эвпатор* (132—63 гг. до н. э.) — царь понтийский, вел борьбу с Римом, опираясь на «варварские» племена Европы и Азии.

6. С. М. Соловьев в соответствии с традицией своего времени, опиравшейся на скудные летописные факты («Повесть временных лет»), считал славян при·

шельцами из Азии на берега Дуная, где они пребывали длительное время и откуда расселились по территории Восточной Европы.

7. *Тацит Корнелий* (ок. 56 — ок. 117) — знаменитый римский историк, упоминает о венедах в своем сочинении «О происхождении германцев и местоположении Германии».

8. Соловьев, развивая идеи Эверса, излагает теорию родового быта, сторонником которой он заявил себя в магистерской (1845) и особенно докторской (1847) диссертациях. См. статью Н. И. Цимбаева. Полемика вокруг теории родового быта в русской исторической науке 1840 — начала 1850-х годов была весьма оживленной: против сторонников теории — западников К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева — выступали славянофилы Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков. Этот вопрос был тесно связан с давним спором норманистов и антинорманистов, в котором Соловьев занимал умеренную позицию. Ученик убежденного норманиста Погодина, Соловьев не отрицал факта признания варягов, но совершенно не принимал выделения Погодиным особого норманского периода русской истории. Неясна мысль автора о роли норманнов в становлении государственного начала на Руси. Текст дает основания понимать «князя — нарядника» и как активную силу, ломающую старые родовые отношения, и как пассивного исполнителя воли призвавших его родов.

9. *Карл Великий* (742—814) — король франков с 768 г., создал в результате многочисленных походов обширное государство, в котором важную роль играла католическая церковь. В 800 г. папа Лев III провозгласил Карла императором Римским.

10. *Михаил III* (842—867) — византийский император. В годы его правления византийская православная церковь начинает распространять свое влияние на славянские народы, прежде всего на болгар.

11. *Кирилл* (Константин) (827—869) и *Мефодий* (ок. 815—885) — славянские просветители; создатели славянской азбуки, проповедники христианства.

12. Королевская династия Каролингов сменила во Франкском государстве династию Меровингов в 751 г.

13. *Геристаль* — замок, родовое владение Каролингов. Очевидно, говоря о Карле Великом, как «потомке Геристаля», Соловьев имел в виду его происхождение от родоначальника династии Каролингов — Пипина, часто называемого Геристальским.

14. *Святополк I* (ум. в 894 г.) — князь великоморавский, при котором Моравское государство достигло наивысшего расцвета.

15. Зарождение государственности на Руси Соловьев связывал с образованием княжеской дружины, что вело, согласно Соловьеву, к возникновению нового, сословного начала, которое он противопоставлял старому, родовому. Вопрос о происхождении сословий решался историком откровенно идеалистически, в четкости изложения проблемы Соловьев уступал как своему учителю М. П. Погодину, так и К. Д. Кавелину, и Б. Н. Чичерину — наиболее ярким представителям государственной школы.

16. *Святослав* (ум. в 972 г.) — князь киевский, совершил ряд походов на Византию. Эпизод, упомянутый Соловьевым, произошел в 971 г. при осаде византийским императором Иоанном I Цимисхием (969—976) крепости Доростол на Дунае, в которой затворился Святослав со своей дружиной.

17. *Владимир* (ум. в 1052 г.) — сын киевского князя Ярослава (ум. в

1054 г.), совершил в 1043 г. неудачный поход на Константинополь, во время которого много русских дружинников, в том числе и Вышата, были захвачены в плен.

18. *Свенельд* — воевода в княжение Игоря (первая половина X в.). «Отроки Свенельдовы» — т. е. члены его дружины.

19. Тема борьбы оседлой «Европы» с кочевой «Азией», борьбы «леса» и «степи» постоянно привлекала внимание Соловьева; он нередко необоснованно противопоставлял «цивилизованные» оседлые народы «варварским» кочевым, игнорировал сложные взаимоотношения русского и окрестных народов.

20. *Олег* (ум. в 912 г.) — князь киевский, объединивший под своей властью крупнейшие города Древней Руси — Киев и Новгород; *Ольга* (ум. в 969 г.) — жена князя Игоря, мать князя Святослава. После гибели Игоря (945) долгое время управляла Киевским княжеством.

21. *Владимир* (ум. в 1015 г.) — князь киевский, в правление которого процесс становления русского раннефеодального государства вошел в завершающую стадию; в 988 г. Владимир принял христианство как государственную религию.

22. *Ярополк* — сын князя Святослава; после смерти отца, с 973 г. княжил в Киеве; в 980 г. свергнут и убит братом Владимиром.

23. *Юлиан* (331—363) — римский император; получил христианское воспитание, но, став императором в 361 г., объявил себя сторонником старой языческой религии, которую попытался реформировать в духе неоплатонизма. Христианская традиция называет Юлиана Отступником.

24. *Ятвяги* — древнее литовское племя, жившее в междуречье Немана и Нарева.

25. По сведениям саксонских хроник, этот эпизод произошел на севере Англии в 628 г. при принятии христианства королем Нортумберленда Эдвином.

26. *Казарское царство* (Хазарский каганат) — полукочевое государство в степях Дона, Предкавказья и Приазовья. Образовалось в первой половине VII в., в VIII в. достигло расцвета; во второй половине IX в. ослабело и в 965 г. после похода киевского князя Святослава прекратило свое существование. Иудейская религия была принята правящей верхушкой каганата как государственная в 799—809 гг.

27. *Иларион* — первый киевский митрополит русского происхождения (с 1051 г.), выдающийся проповедник и богослов, автор «Слова о законе и благодати», в котором утверждалось превосходство православной религии и прославлялся крестивший Русь князь Владимир.

28. Дальнейший ход событий, связанных с принятием христианства, Соловьев рисовал в духе церковной традиции, некритически пересказывая летописные известия. Верно подметив, что языческая религия «удовлетворяла потребностям племен рассеянных» и что принятие христианства совпало с началом государственности на Руси, он был далек от мысли связать крещение восточных славян со становлением классовых отношений. Соловьев идеализировал православную церковь, преувеличивал ее влияние на быт и нравы Древней Руси. Отметим, что воздействие на Древнюю Русь византийской государственности освещено в работе крайне скупо.

29. *Леонтий* — епископ ростовский с 1051 г. Умер ок. 1077 г. Канонизирован русской православной церковью.

30. *Борис и Глеб* — сыновья киевского князя Владимира, после его смерти в 1015 г. были убиты своим братом Святополком. В княжение Ярослава, утвердившегося на киевском престоле после победы над Святополком, Борис и Глеб были канонизированы.

31. *Антоний* (Антип — любечанин) (ум. ок. 1072 г.) — основатель и игумен Киево-Печерского монастыря, который стал важным культурно-политическим центром Киевской Руси.

32. *Феодосий* (ум. в 1074 г.) — церковный деятель и писатель, с начала 1060-х годов игумен Киево-Печерского монастыря.

33. *Андрей Боголюбский* (убит в 1174 г.) — князь владимирский, в правление которого усилилась Владимиро-Суздальская Русь. Перенес великокняжеский престол из Киева во Владимир.

34. Мысль Соловьева о значении мирной колонизации в русской истории была развита Ключевским, который рассматривал историю России как историю страны колонизующейся. Для Соловьева проблема мирной колонизации в значительной степени исчерпывала социально-экономическое содержание исторического процесса.

35. Первое столкновение между Русью и татаро-монголами произошло на реке Калке в 1223 г. В этой битве дружины русских князей не смогли оказать организованного сопротивления татаро-монгольскому войску и были разбиты.

36. *Курбский Андрей Михайлович* (1528—1583) — полководец и государственный деятель; близкий друг и единомышленник царя Ивана IV в первые годы его правления. В 1564 г. в страхе перед царской опалой бежал в Литву, откуда написал Грозному послание, положившее начало их переписке. В своих посланиях Курбский защищал «старину», восхвалял «мудрых советников» — бояр как опору царской власти; Грозный выступил в этой переписке как идеолог царского самовластия.

37. *Ягайло* (Ягелло, Владислав) *Ольгердович* (ок. 1350—1434) — великий князь литовский; в 1386 г. женился на польской королеве Ядвиге, принял католичество и стал королем польским. С этого времени православное население русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского, начинает подвергаться все большему религиозному гнету со стороны католической церкви.

38. Соловьев расценивал татаро-монгольское завоевание как этап борьбы «леса» и «степи». Он, несомненно, недооценивал тяжелые последствия татарского ига для экономического и культурного развития Руси. Вместе с тем он правильно утверждал, что татарское нашествие не могло изменить основных закономерностей русского исторического развития.

39. В 1598 г. со смертью царя Федора Иоанновича пресеклась династия Рюриковичей. Говоря далее об избрании нового царя, Соловьев искусственно противопоставляет Михаила Романова, якобы возведенного на престол «всей Землей» на Земском соборе 1613 г., Борису Годунову и Василию Шуйскому, которые достигли царской власти, опираясь на различные придворные группировки.

40. «Пограничное население», казачество историк рассматривал как противогосударственный элемент и резко отрицательно оценивал его роль в историческом развитии страны.

41. Отмена местничества (1682 г.) понималась Соловьевым как оконча-

тельное торжество государственного начала над родовым. Повествуя о возникновении «дворянского сословия» и становлении крепостных отношений, историк сформулировал одно из основных положений государственной школы — теорию закрепощения и раскрепощения сословий, позднее развитую К. Д. Кавелиным и Б. Н. Чичериным.

42. *Олеарий* (1599—1671) — известный путешественник и ученый, автор «Описания путешествия в Московию». В 1636 и 1639 гг. Олеарий был в Москве в составе Голштинского посольства. Царь Михаил предлагал Олеарию остаться в Москве в качестве астронома и землеведа, но переговоры эти остались без результата.

43. *Никон* (1605—1681) — патриарх, видный церковный деятель. В середине XVII в. провел ряд реформ, приведших к расколу русской православной церкви. Властолюбие Никона, его стремление подчинить светскую власть духовной вызвало неудовольствие царя Алексея Михайловича. В 1666 г. в Москве состоялся суд над Никоном, на котором присутствовали восточные патриархи Макарий — александрийский — и Паисий — антиохийский. В результате Никон был отрешен от патриаршества и заточен в монастырь.

44. *Филарет* (Романов Федор Никитич) (ум. в 1633 г.) — патриарх московский, церковный и государственный деятель, отец царя Михаила, фактический правитель государства.

45. *Федор Алексеевич* — русский царь (1676—1682), старший брат Петра I.

46. Славяно-греко-латинская академия была открыта в 1685 г. в Заиконо-Спасском монастыре, в Москве. Создавая Академию, русское правительство стремилось подготовить деятелей для нужд Посольского приказа и для борьбы с религиозным инакомыслием.

47. *Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич* (ум. в 1680 г.) — видный государственный деятель, дипломат, глава Посольского приказа в царствование Алексея Михайловича; *Матвеев Артамон Сергеевич* (1625—1682) — государственный деятель, дипломат, преемник Ордина-Нащокина на посту главы Посольского приказа. Особенно большое влияние он приобрел после того, как Алексей Михайлович в 1671 г. женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, воспитаннице Матвеева.

48. *Марселис Петер* — гамбургский купец, резидент Голштинии в Москве. В 1642 г. был послан царем Михаилом к датскому королю Христиану IV сватать его сына, принца Вольдемара за дочь царя Ирину.

49. *Спафарий Николай Гаврилович* — русский дипломат греческого происхождения, переводчик Посольского приказа, в 1675 г. был послан в Китай.

50. *Софья Алексеевна* — дочь царя Алексея Михайловича, старшая сестра Петра I, правительница России в 1682—1689 гг.

Публичные чтения о Петре Великом

Двухсотлетие со дня рождения Петра I (1872) — один из первых в истории России широко отмеченных юбилеев — стало важным общественным событием, которому придавалось общегосударственное значение. Петровские торжества проходили в обстановке заметного спада общественного, революционного движения в стране. Царское правительство стремилось придать им офи-

циальный характер, использовать праздник для укрепления своего престижа в стране.

В рамках петровского праздника Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете была устроена Политехническая выставка, в организации которой деятельное участие принял С. М. Соловьев. В речи, произнесенной в день рождения Петра I 30 мая 1872 г. в торжественном собрании Московского университета, Соловьев определял значение выставки: «Потомство празднует двухсотлетие дня рождения великого человека, и этот праздник есть праздник труда. Указанием на многообразные произведения труда человеческого, указанием на то, что делает наука для усиления труда, хотели мы справить поминки по Петре Великом в нашей старой Москве, обновленной, благодаря Петру, наукой и усилением труда народного» (Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1872, с. 133—134). Материалы Политехнической выставки легли в основу созданного в том же 1872 г. Политехнического музея. Соловьев был председателем исторического отдела выставки, экспонаты которого стали фондом организованного в 1873 г. в Москве Исторического музея.

Организаторы юбилейных торжеств обратились к Соловьеву с предложением выступить перед широкой аудиторией с лекциями об эпохе Петра I. Их обращение к знаменитому историку было вполне естественным. В 1870-е годы Соловьев — общепризнанный глава русской исторической науки, крупнейший специалист в области новой русской истории, знаток деятельности Петра I и петровских преобразований. К этому времени общественно-политические взгляды либерального историка эволюционировали вправо, его авторитет в официальных, правительственных кругах был высок. Публичные лекции, которые академик, заслуженный профессор Московского университета читал в торжественной обстановке в Колонном зале Дворянского собрания, были формой целенаправленного воздействия на русское общественное мнение.

Главная мысль «Публичных чтений о Петре Великом» — утверждение созидательной, творческой роли государственного начала в русском прошлом и настоящем. Соловьев верил в возможность существования в России надклассового «народного» государства, крепость которого определяется силой государственной власти. Для него Петр I — «народный царь», «великий учитель народный», «царь-работник», его преобразования — «народное дело». Исторический материал служил Соловьеву для иллюстрации тезиса о единстве интересов народа и государства, о благодетельности для России сильной самодержавной власти, понимаемой как явление надсословное, надклассовое. Слушатели историка не только знакомились с эпохой Петра I, но и подводились к убеждению в необходимости и в современной России крепкой центральной власти.

«Публичные чтения о Петре Великом» — работа, где в наибольшей степени проявилась связь Соловьева с фундаментальными положениями государственной школы. Будучи достаточно цельным явлением в русской историографии, государственная школа в плане общественно-политическом претерпела с годами серьезные изменения. Если в 1840—1850-е годы представители государственной школы выделяли созидательную роль государства в прошлом России и в предстоящих буржуазных преобразованиях, то в пореформенное время они все большее внимание обращали на охранительные функции государства в борьбе с революционным, «антигосударственным» движением.

Эпоха Петра I — центральная тема всего научного творчества Соловьева. «Публичные чтения о Петре Великом» подводили итог тридцатилетним размышлениям историка. Еще в 1840-е годы он твердо стал на сторону западников в их споре со славянофилами об исторической судьбе России, и едва ли не главным основанием сделанного выбора было неприятие славянофильской оценки Петра I и его преобразований. Признавая необходимость, историческую обусловленность реформ Петра, Соловьев, равно как и остальные западники, принимал и оправдывал насилие как средство осуществления преобразований. Именно здесь — суть спора западников и славянофилов о Петре I. Славянофилы, вопреки укоренившемуся в историографии мнению, не отрицали исторической неизбежности петровских преобразований. Полемизируя с В. Г. Белинским, Ю. Ф. Самарин спрашивал: «Кому приходило в голову признать случайными явление Петра Великого, его реформу и последующие события до 1812 года? Кто не признавал их исторически необходимыми? Нужно ли еще раз повторить объяснения, почти что поступившие в разряд общих мест? Кажется, незачем» (Самарин Ю. Ф. Соч., т. 1. М., 1877, с. 110).

Петровская эпоха находила свое, строго определенное место в изощренной историософии славянофилов, в их понимании хода всемирной истории и пути русского исторического развития. В петровских реформах славянофилы прежде всего не принимали насилия, подавления народа государством. Насильственный характер петровских преобразований, насильственный разрыв с предшествующим ходом общественного развития, насильственное подражание Западной Европе подрывали, по мнению славянофилов, возможность особого пути исторического развития России; Петр I разобщил сословия и стал виновником сословной вражды, прежде русскому обществу неизвестной, — вот смысл славянофильской оценки петровских реформ.

Вместе с тем они верно подмечали свойственную западникам апологетику государственности, недооценку ими роли народных масс в историческом развитии. Несомненно, что сложную проблему насилия в истории славянофилы понимали метафизически, в ее трактовке использовали прежде всего категории морально-этические. Насильственный характер деятельности Петра I служил для них отправной точкой в критике современной им николаевской действительности, возвращение на особый путь исторического развития России они раскрывали как отказ от привнесенного Петром I насилия, характерной для Западной Европы борьбы сословий, антагонизма «земли» и «государства», которые ведут к опасным революционным потрясениям. В строгом соответствии со своими либеральными убеждениями славянофилы критиковали изначальную противоречивость западнической концепции русского исторического развития, которая не только не отрицала, а, напротив, подразумевала неизбежность повторения в России событий, подобных западноевропейским революциям XVII — первой половины XIX в.

В работах 1850—1860-х годов Соловьев не шел на уступки славянофилам, направление которых он называл «антиисторическим». Изучая русскую историю, он подчеркивал преемственную связь двух ее половин — «допетровской и послепетровской». В чтениях «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого» связь «древней» и «новой» России он усматривал в росте «народного самопознания». В статье «Шлецер и антиисторическое направление» Соловьев резко отвергал мнение славянофилов, в

первую очередь К. Аксакова, которые, как считал историк, осуждали реформы Петра I за отклонение России «от естественного хода развития». В 1863—1867 гг. ученый выпустил 13—18-й тома «Истории России», посвященные эпохе Петра I. Обобщив огромный фактический материал, введя в научный оборот новые источники, Соловьев создал наиболее полную в русской дореволюционной историографии историю преобразований Петра I, его внутренней и внешней политики. Стержнем всех шести томов стала идея неизбежности, исторической закономерности реформ Петра I. В 1860-е годы идея закономерности исторического процесса не противопоставлялась — и в этом высшее достижение теоретической мысли Соловьева! — идее революции. Разумеется, в понятие «революция» Соловьев вкладывал содержание, далекое от марксистской теории. В 14-м томе «Истории России» он называл петровские реформы «нашей революцией в начале XVIII века» и подчеркивал, что она «была необходимым следствием всей предшествовавшей нашей истории». Буржуазный либерал, Соловьев безоговорочно предпочитал эволюционный путь общественного развития, но признавал закономерность и пути революционного. Правда, рассуждая о революции, Соловьев (здесь тонкость, возможность которой не учли славянофилы и мимо которой прошли близкие ему представители государственной школы К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин) различал народную революцию и революцию «сверху». Иными словами, он противопоставлял революции реформу и безоговорочно одобрял последнюю как приемлемый для государства путь выхода из революционной ситуации.

Интересно его сопоставление реформ Петра I с Великой Французской революцией: «Наша революция начала XVIII века уяснится через сравнение ее с политическою революциею, последовавшею во Франции в конце этого века. Как здесь, так и там болезни накаплялись вследствие застоя, односторонности, исключительности одного известного направления; новые начала не были переработаны народом на практической почве; необходимость их чувствовалась всеми, но переработались они теоретически в головах передовых людей, и вдруг приступлено было к преобразованиям; разумеется, следствием было страшное потрясение: во Франции слабое правительство не устояло, и произошли известные печальные явления, которые до сих пор отзываются в стране; в России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства» (История России, кн. VII, с. 440).

Идеал сильной власти, вера в благодетельность «самодержавной инициативы» при проведении реформ были присущи либералам 1860-х годов. Соловьев разделял эти убеждения и последовательно выражал их в своих исторических исследованиях.

В «Публичных чтениях о Петре Великом» Соловьев сохранил идею исторической обусловленности петровских преобразований, выразил ее ясно и аргументированно. Он раскрыл свое понимание причин, хода, следствий реформ Петра I, их связи с борьбой за выход к Балтийскому морю, их значения в деле европеизации России. Ученый затронул такие сложные проблемы исторической науки, как вопрос о роли личности в истории, о месте России во всемирно-историческом развитии, о роли русского народа в создании и укреплении русской государственности. Постановка этих вопросов, стремление к их научному осмыслению — несомненная заслуга Соловьева перед исторической наукой.

В этом научное, историографическое значение «Публичных чтений о Петре Великом».

В 1872 г. Соловьев несколько иначе оценивал петровские преобразования, чем в 1860-е годы. Он понимал реформы как результат «органического» развития России, подчеркивал их эволюционный характер. Утверждая, что преобразования Петра I — «народное дело», он заявлял, что «народы в своей истории не делают прыжков». В «Публичных чтениях о Петре Великом» нет сравнений с Великой Французской революцией. В юбилейные дни Соловьев говорил не о «нашей революции начала XVIII века», а о «переходе народа из одного возраста в другой», эпоха Петра I сравнивалась с эпохою западноевропейского Возрождения XV—XVI вв. Теория «органического» развития народов свидетельствовала о воздействии на ученого идей позитивизма; общественно-политическое поправение историка сопровождалось его отказом от прежних научных достижений.

«Публичные чтения о Петре Великом» — законченное монографическое исследование. Оно может служить образцом композиции исторического труда. Блестяще владея материалом, Соловьев привлекал его в той мере, в какой это было необходимо для уяснения основных положений. В изложении заметно стремление передать особенности устной речи.

В настоящем издании публикация дается по книге «Публичные чтения о Петре Великом С. М. Соловьева, изданные по распоряжению юбилейной комиссии Московской политехнической выставки императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, уполномоченным от комитета выставки генерал-майором С. П. Дурново» (М., 1872).

* *
*

1. В европейской исторической науке середины XIX в. наблюдался значительный интерес к деятельности «великих людей». Шумный успех имели работы крупного английского историка Т. Карлейля (1795—1881), особенно его лекции «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841). Первый русский перевод этой работы был напечатан в журнале «Современник» в 1856 г. Т. Карлейль понимал историческое развитие как осуществление божественных предначертаний, которые воплощены в «героях», чья деятельность ведет за собой «толпу». Он утверждал, что всемирная история есть «в сущности история великих людей, потрудившихся здесь, на земле» (К а р л е й л ь Т. Герои и почитание героев в истории. М., 1898, с. 24). Идеи Т. Карлейля в 1850—1870-е годы были известны в России и оказали определенное воздействие на некоторые течения общественной мысли. В частности, от Т. Карлейля отталкивались создатели народнической субъективной социологии. Не раскрывая имен, Соловьев решительно отвергает взгляды Т. Карлейля и его последователей. «Публичные чтения о Петре Великом» подчинены идее неразрывной связи «великого человека» с его временем и народом. Соловьев последовательно воплощает формулу Т. Н. Грановского, который в публичных лекциях 1851 г., посвященных характеристике четырех великих людей (Тимура, Александра Македонского, Людовика IX, Бэкона), говорил: «При изучении каждого великого человека мы должны обратить внимание на личность его, на почву, на которой он вырос, на время, в которое он действовал». Правда, Грановский видел

«в великих людях избранников провидения, призванных на землю совершить то, что лежит в потребностях данной эпохи, в верованиях и желаниях данного времени, данного народа» (Публичные лекции профессоров Геймана, Рулье, Соловьева, Грановского и Шевырева. М., 1852, с. 4—5, четвертая пагинация). Идея провиденциализма была чужда Соловьеву. Ему принадлежит заслуга правильной постановки вопроса о роли личности в истории в русской буржуазной историографии. Классового анализа деятельности «великих людей», прежде всего Петра I, историк, разумеется, не дает.

2. Соловьев высказывает здесь отрицательное отношение к крайностям как западнической, так и славянофильской точек зрения на значение петровских преобразований.

3. *«Он бог, он бог твой был, Россия»* — строка из «Оды на день тезоименитства великого князя Петра Федоровича» (1743) М. В. Ломоносова.

4. Ко времени петровского юбилея 1872 г. научная история эпохи преобразований была мало разработана. Ближайшим предшественником Соловьева был профессор Петербургского университета Н. Г. Устрялов (1805—1870), который в 1858—1864 гг. издал «Историю царствования Петра Великого» (т. I—IV и VI, один том не был пропущен цензурой). Труд Устрялова не охватывал всего петровского царствования, историк пошел по пути пересказа источников, что дало основание Н. А. Добролюбову определить его сочинение как «летописное». Научный анализ Устрялов подменял занимательным повествованием. Под «сборниками материалов» Соловьев, очевидно, подразумевает в первую очередь труд рыльского купца И. И. Голикова (1735—1801) «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (12 томов. М., 1788—1789), и его же 18 томов «Дополнений к Деяниям Петра Великого» (1790—1797). Понимание исторического труда как сборника забавных анекдотов характерно для десятитомной работы Ф. О. Туманского (1746—1805) «Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» (Спб., 1787—1788).

5. Излагая теорию «органического» развития народов, их естественного перехода из одного возраста в другой, Соловьев отдает дань позитивизму, философия которого отказывалась от поисков внутренних закономерностей исторического развития человечества, подменяя их аналогиями с законами естествознания. Развитие человеческого общества позитивисты (О. Конт, Дж. — Ст. Милль, Г. Спенсер, И. Тэн) упрощенно сравнивали с развитием живой и неживой природы, отдельного человеческого организма. Позитивизм совмещал в себе антиреволюционность — с признанием идеи общественного прогресса путем эволюции, обоснование религии — с преувеличенной верой в возможности современной науки. В политическом плане позитивизм был выражением идеологии европейской либеральной буржуазии середины XIX в. Вопрос о воздействии идей позитивизма на Соловьева в 1860—1870-е годы сложен и требует дополнительного изучения.

6. Придавая большое значение этнографическому фактору, «природе племен», Соловьев нередко толковал этот вопрос с европоцентристских позиций. Убеждение в превосходстве «арийского племени» над другими народами он наиболее полно раскрыл в поздней работе «Наблюдения над исторической жизнью народов» (1868—1876).

7. В 972 г. киевский князь Святослав был убит печенегами. Из его черепа печенежский князь Куря сделал чашу.

8. *Латинство* — католичество; *бесерменство* (басурманство) — в XIII—XVIII вв. принятое на Руси название мусульманства.

9. Эта знаменитая формула Соловьева восходит к теории закрепощения сословий, выдвинутой государственной школой. Согласно этой теории, в XV—XVII вв. в Московском государстве происходило последовательное подчинение всех сословий интересам государства, которое находилось в трудном внутри- и внешнеполитическом положении. С помощью теории закрепощения сословий государственная школа объясняла и оправдывала существование в России крепостного права. К XVIII в. историки государственной школы относили начало процесса раскрепощения сословий, заключительным этапом которого они считали освобождение крепостных крестьян.

10. Соловьев, скорее всего, имеет в виду труды Н. И. Костомарова (1817—1885) и А. П. Щапова (1830—1876). Костомаров, крупный историк, авторитетный противник государственной школы, в своих работах «Богдан Хмельницкий» (1857), «Бунт Стеньки Разина» (1858), в трехтомной монографии «Смутное время Московского государства в начале XVII столетия» (1868) рисовал казачество выразителем народного свободолюбия, борцом с централизацией и единодержавием, за возрождение старых федеративных начал. Правда, Костомаров признавал «анархический» характер казачьих выступлений, видел в них «зародыш разрушения». Историк-демократ Щапов считал народные движения XVII в. «общинной оппозицией» против всего государственного и церковного строя, подчеркивал их «созидательный» характер. Точка зрения Щапова на характер русского исторического развития для Соловьева была неприемлема.

11. *Лутор, кальвин* — лютеранин, кальвинист, представители различных направлений внутри протестантизма в период Реформации (XVI в.).

12. Великий князь московский Василий II Васильевич Темный (1425—1462), отец Ивана III, весной 1445 г. был разбит и захвачен в плен сыновьями казанского хана Улу-Мухаммеда.

13. В мае 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей разбил опричные отряды, подошел к Москве и почти целиком сжег город. Вторичный набег Девлет-Гирея на Москву в 1572 г. был отражен земским войском в битве на реке Лопасне.

14. Речь идет об освободительной борьбе украинского и белорусского народов под предводительством Богдана Хмельницкого против польских феодалов (1648—1654) и вызванной ею длительной и разорительной войне России с Речью Посполитой (1654—1667). Война завершилась Андрусовским перемирием сроком на 13 с половиной лет. Левобережная Украина и город Киев на правом берегу Днепра были присоединены к России.

15. *Людовик XIV* (1638—1715) — король Франции с 1643 г. Его правление стало апогеем абсолютной монархии во Франции.

16. *Кольбер Жан Батист* (1619—1683) — генеральный контролер (министр) финансов Франции с 1665 г. Экономическая политика, проводимая Кольбером, основывалась на меркантилизме, содействовала росту могущества Франции и укреплению в ней абсолютизма.

17. *Лютер Мартин* (1483—1546) — один из главных деятелей Реформации

в Германии, начало которой было положено его выступлением против индульгенций (1517), по своим политическим взглядам — представитель умеренной части бюргерства; *Мюнцер Томас* (ок. 1490—1525) — вождь и идеолог крестьянско-плебейских масс в Реформации и крестьянской войне 1524—1526 гг. в Германии, выступал с проповедью насильственного ниспровержения феодального строя и создания нового общества; *анабаптисты* (перекрещенцы) — участники религиозного движения эпохи Реформации, требовали вторичного крещения в сознательном возрасте, отрицали церковную иерархию и призывали к введению общности имущества; *орден иезуитов* («Общество Иисуса») был основан испанским дворянином Игнатием Лойолой (1491—1556) в 1534 г. Утвержден римским папой в 1540 г. Был орудием католической реакции в борьбе с Реформацией.

18. Первая типография в Москве была создана в 1553 г. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем. Печатала церковные книги — «Евангелие», «Апостол» (первая датированная печатная русская книга, 1564 г.).

19. *Аввакум* (Аввакум Петров) (1621—1682) — протопоп, крупный церковный деятель, в 1650-е годы сторонник реформ патриарха Никона. Порвав с патриархом, Аввакум возглавил раскол русской православной церкви, стал признанным идеологом старообрядчества. Знаменитый писатель Древней Руси, автор «Жития протопопа Аввакума». Сожжен в Пустозерске за «великие на царский дом хулы».

20. Мысль о могущественной силе науки была общей для крупнейших представителей европейского Возрождения. Соловьев, по-видимому, говорит о Ф. Бэконе (1561—1626) — английском мыслителе, естествоиспытателе, государственном деятеле. Характеристике Бэкона была посвящена одна из публичных лекций Грановского в 1851 г., Соловьеву, несомненно, хорошо известная.

21. Под *«недавними событиями»* историк подразумевает франко-прусскую войну 1870—1871 гг., которая завершилась поражением Франции и падением режима Наполеона III. Соловьев противопоставляет современную ему Францию, где были сильны антиклерикальные настроения, «религиозно-одушевленной» Франции XV в., когда французская армия под предводительством Жанны д'Арк (1412—1431) одержала ряд побед над англичанами, решивших исход Столетней войны.

22. *Симеон Полоцкий* (Петровский-Ситнианович Самуил Емельянович) (1629—1680) — энергичный церковный деятель, плодовитый писатель, поэт, образование получил на Украине; прибыл в Москву около 1664 г. из Полоцка, автор богословских произведений, направленных против раскола; *Славинецкий Епифаний* (ум. в 1675) — церковный деятель, богослов, принимал участие в реформах патриарха Никона; *Медведев Сильвестр* (Семен Петрович) (1641—1691) — ученик С. Полоцкого, образованный и влиятельный богослов, политический деятель, придворный стихотворец; *Лихуды Иоанникий* (Иоанн) (1633—1717) и *Софроний* (*Спиридон*) (1652—1730), греки, в Россию приехали в 1683 г., в 1685 г. стали во главе Славяно-греко-латинской академии (см. сноску 46 в комментариях ко «Взгляду на установление государственного порядка в России до Петра Великого»), авторы грамматики, словаря, проповедей; с С. Медведевым вели полемику по богословским вопросам.

23. В последние десятилетия XVII в. в России велась борьба между родственниками и сторонниками детей Алексея Михайловича от первой жены, Ма-

рии Милославской (Федор, Иван, Софья) и второй — Натальи Нарышкиной (Петр). Возведение после смерти Федора на престол Петра в обход его старшего брата Ивана означало торжество партии Нарышкиных. Царевне Софье в борьбе с Нарышкиными удалось использовать мятеж стрельцов, добиться избрания двух царей — Ивана и Петра, которые должны были править совместно, и захватить фактическую власть в стране.

24. *Голицын Василий Васильевич* (1643—1717) — князь, боярин, глава Посольского приказа, фаворит царевны Софьи и руководитель русской внешней и внутренней политики в ее правление (1682—1689). С падением правительства царевны Софьи сослан в Архангельский край.

25. *Хованский Иван Андреевич* — князь, глава Стрелецкого приказа, руководитель стрелецкого мятежа 1682 г. В том же году казнен по приказу царевны Софьи, видевшей в нем соперника в борьбе за власть.

26. Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы» (1826).

27. *Ромодановский Федор Юрьевич* (ок. 1640—1717) — князь, один из самых верных сподвижников Петра, глава Преображенского приказа, ведавшего розыском по политическим преступлениям и разбойным делам; *Бутурлин Иван Иванович* (1661—1738) — стольник, впоследствии генерал, участник Северной войны.

28. *Лефорт Франц Яковлевич* (1655—1699) — швейцарец, наставник и сподвижник Петра I, командовал флотом в Азовских походах.

29. *Дорошенко Петр Дорофеевич* (1627—1698) — гетман Правобережной Украины в 1665—1676 гг. При поддержке Турции и Крымского ханства воевал с Россией. В 1676 г. сдался русским войскам.

30. *Собесский Ян* (1629—1696) — польский магнат, гетман, знаменитый полководец. С 1674 г. — король Речи Посполитой под именем Яна III. В 1683 г. возглавил союзную армию, которая разгромила осаждавших Вену турок. В 1684 г. способствовал созданию «Священной лиги» в составе Австрии, Польши, Венеции для борьбы с Турцией. Заключил в 1686 г. «Вечный мир» с Россией, который подтверждал условия Андрусовского перемирия. С 1686 г. Россия примкнула к «Священной лиге».

31. *Головин Федор Алексеевич* (1650—1706) — боярин, граф, ближайший сотрудник Петра I, генерал-адмирал. В 1697 г. вместе с Ф. Лефортом возглавил «великое посольство», в составе которого инкогнито находился Петр I (Петр Михайлов). С 1699 г. руководитель русской внешней политики.

32. *Виниус Андрей Андреевич* (ок. 1641—1717) — думный дьяк, организатор горно-металлургического производства в России.

33. *«Благодетелем»* Соловьев называет боярина А. С. Матвеева (см. сноску 47 в комментариях ко «Взгляду на установление государственного порядка в России до Петра Великого»), верного сторонника Нарышкиных, который был удален от двора в царствование Федора Алексеевича. В 1682 г. Матвеев был растерзан стрельцами на глазах Петра.

34. *Август II Фридрих* (1670—1733) — курфюрст саксонский, король польский в 1697—1706 и 1709—1733 гг.; союзник России в Северной войне.

35. Стрелецкий бунт 1698 г. был жестоко подавлен Петром I, который верил в причастность к выступлению стрельцов царевны Софьи и всей партии Милославских. Казни стрельцов означали конец стрелецкого войска.

36. Вероятно, Соловьев имеет в виду Диогена — древнегреческого фило-

софа-киника (IV в. до н. э.). Диоген учил, что отказ от желаний — путь к счастью, вел жизнь нищего проповедника, с презрением относился к «неразумной толпе».

37. *Червонная Русь, Галицкое княжество* — древнерусская область на северо-западных склонах Карпат, в верховьях Днестра и Прута; в 1349 г. захвачена польскими феодалами; с конца XVIII в. и вплоть до начала XX в. находилась под властью Австрийской монархии.

38. В данном случае Соловьев выражает характерную для представителей государственной школы точку зрения на прошлое народов, входивших в состав русского государства: их история рассматривается им только в контексте колонизации сопредельных русским землям территорий.

39. Русское посольство во главе с думным дьяком Е. И. Украинцевым прибыло в Стамбул (Константинополь) на военном корабле в 1699 г. Первое упоминаемое в летописи появление боевых судов восточных славян под Константинополем произошло в 866 г. (поход Аскольда и Дира).

40. Речь идет о Балтийском море. Согласно известиям «Повести временных лет», варяг Рюрик прибыл в Новгород с Балтики.

41. *Густав II Адольф* (1594—1632) — король Швеции с 1611 г., знаменитый полководец. В результате войн с Данией, Россией, Польшей захватил обширные территории. Участвовал в Тридцатилетней войне (1618—1648) на стороне антигабсбургской коалиции.

42. В 1700 г. умер испанский король Карл II. С его смертью прекратилась династия испанских Габсбургов. Еще при жизни Карла II с притязаниями на его престол выступили Франция и Австрия. В 1700 г. королем Испании стал внук Людовика XIV, который короновался под именем Филиппа V. В ответ Австрия, Англия, Голландия, Пруссия начали в 1701 г. войну за Испанское наследство. Война шла с переменным успехом и завершилась в 1713 г. подписанием компромиссного Утрехтского мира, который положил конец притязаниям Франции на гегемонию в Европе. Внешняя политика Петра I может быть понята только с учетом общеевропейской войны за Испанское наследство.

43. *Паткуль Иоганн Рейнгольд* (1660—1707) — лифляндский дворянин, один из организаторов коалиции России, Польши и Саксонии против Швеции; с 1702 г. на русской службе; в 1705 г. арестован саксонским тайным советом и выдан Швеции; в 1707 г. казнен.

44. *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции с 1697 г., талантливый полководец, проводил авантюристическую внешнюю политику. Главный противник Петра I в Северной войне.

45. *Круа (Кроа) Карл Евгений фон* — австрийский герцог, фельдмаршал, приглашен Петром I на русскую службу, неудачно командовал русскими войсками под Нарвой (1700), был взят в плен шведами.

46. *Шереметев Борис Петрович* (1652—1719) — боярин, генерал-фельдмаршал (1701), граф (1706); сподвижник Петра I, участвовал в Азовских походах, во время Северной войны успешно командовал корпусом в Прибалтике.

47. *Меншиков Александр Данилович* (1673—1729) — ближайший сподвижник Петра I, сержант Преображенского полка, впоследствии светлейший князь, генерал-фельдмаршал, крупный военачальник времен Северной войны; в 1718—1724 и 1726—1727 гг. президент военной коллегии. В царствование Екатерины I

Меншиков фактически правил государством. При Петре II в 1727 г. был сослан в Березов, где умер.

48. *Долгорукий Григорий Федорович* (1656—1723) — князь, стольник, генерал-адъютант, крупный дипломат. С 1701 по 1721 г. русский посол в Польше. Сыграл важную роль в сохранении Северного союза против Швеции.

49. *Лещинский Станислав* (1677—1766) — воевода познанский, польский король в 1706—1709 и 1733—1734 гг., ставленник Карла XII, изгнан из страны в ходе войны за польское наследство (1733—1735).

50. *Голицын Михаил Михайлович* (1675—1730) — князь, генерал, затем фельдмаршал, видный русский военачальник первой трети XVIII в.

51. *Посошков Иван Тихонович* (1652—1726) — русский промышленник из крестьян, экономист и публицист, сторонник преобразований Петра I; выступал за развитие промышленности и торговли, теоретик меркантилизма. Автор «Книги о скудости и богатстве» (1724, издана М. П. Погодиным в 1842 г.).

52. *Курбатов Алексей Александрович* — обер-инспектор ратушного управления, прибыльщик, архангельский вице-губернатор. В 1721 г. умер, находясь под следствием по делу о вымогательстве.

53. *Поликарпов Федор Поликарпович* (ум. в 1731 г.) — дьяк, справщик и директор московской типографии. В 1708 г. ему было поручено написать историю России. Поликарпов пытался продолжить старую летописную традицию. Его труд не получил одобрения Петра I (1716) и не был напечатан.

54. *Квинт Курций* (I в. н. э.) — римский историк, автор «Истории Александра Македонского».

55. Патриаршество было введено на Руси в 1589 г. в царствование Федора Иоанновича. Первый патриарх Иов был послушным исполнителем воли правителя государства Бориса Годунова.

56. *Адриан* (1636—1700) — митрополит казанский, с 1690 г. патриарх московский. После его смерти Петр I отказался от мысли выбрать нового патриарха, со временем подчинив русскую православную церковь Синодальному управлению.

57. *Стефан Яворский* (1658—1722) — церковный деятель и писатель, митрополит рязанский и муромский, блюститель патриаршего престола в 1700—1721 гг., автор полемического сочинения «Камень веры», направленного против лютеранства; *Дмитрий Ростовский* (Туптало) (1651—1709) — митрополит ростовский, автор богословских сочинений, составитель Четьих-Миней (Житий Святых), сторонник петровских реформ в области просвещения, канонизирован русской православной церковью; *Филофей Лещинский* — эконом Киево-Печерского монастыря, затем митрополит тобольский; *Феофан Прокопович* (1681—1736) — церковный деятель, архиепископ псковский, затем новгородский, писатель, публицист, автор «Духовного регламента» и «Правды воли монаршей», где давал идейное обоснование абсолютной власти царя и подчинения церкви государству, один из ближайших сподвижников Петра I; *Феофилакт Лопатинский* — архимандрит, префект славяно-греко-латинских школ, архиепископ тверской.

58. *Мусин-Пушкин Иван Алексеевич* — боярин, граф, сенатор, управляющий Монастырским приказом, умелый проводник церковной политики Петра I.

59. *Булавин Кондратий Афанасьевич* (ок. 1660—1708) — руководитель антифеодального восстания 1707—1708 гг. на Дону. Уничижительная характеристика

восставших определяется общим отрицательным отношением Соловьева к борьбе народных масс.

60. *Долгорукий Василий Владимирович* (1667—1746) — князь, гвардии майор, позднее генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии, сенатор. Руководил жестоким подавлением Булавинского восстания.

61. *Милорадович Михаил* — сербский полковник; во время русско-турецкой войны 1711 г. пытался поднять черногородцев на борьбу с турками.

62. *Кантемир Дмитрий Константинович* (1673—1723) — князь, ученый и политический деятель; с 1710 г. господарь Молдавии. С 1711 г. — в России, советник Петра I.

63. *Негош Данила Петрович* — митрополит, государственный деятель, в 1697—1735 гг. владыка Черногории. Вел упорную борьбу с турками за полную независимость страны. В 1715 г. посетил Россию, в своей политике опирался на поддержку Петра I.

64. В XVIII в. царское правительство, выступая в защиту православия, использовало вопрос о диссидентах (православных и лютеранах) для вмешательства в польские дела. Диссидентский вопрос был решен сеймом 1767 г., который уравнял в гражданских правах католиков, православных и лютеран. Однако решение сейма вызвало резкий протест католического духовенства и части шляхетства, объединившихся в Барскую конфедерацию, вооруженное выступление которой в 1768 г. явилось одним из главных поводов для первого раздела Речи Посполитой (1772). По этому разделу Россия получила латвийские и белорусские земли, а Пруссия и Австрия значительную часть коренных польских земель.

65. *Аландский конгресс* представителей России и Швеции проходил в мае 1718 — октябре 1719 г. Переговоры об окончании Северной войны были прерваны из-за неуступчивой позиции Швеции, которую подстрекал английский двор.

66. *Ульрика Элеонора* (1688—1741) — сестра шведского короля Карла XII. После его смерти в 1718 г. — королева Швеции; стремилась к прекращению неудачной для Швеции Северной войны.

67. *Ништадский* мирный договор, подписанный 30 августа 1721 г., был важным успехом России. Он положил конец изнурительной Северной войне, закрепляя за Россией в «вечное владение» Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, часть Карелии. Россия утверждалась на Балтийском море и прочно входила в число великих европейских государств, в так называемый «европейский концерт». Провозглашение Петра I императором, а России империею было выражением возросшего международного значения страны и могущества абсолютной монархии.

68. *Апраксин Федор Матвеевич* (1661—1728) — генерал-адмирал, в Северной войне командовал флотом.

69. *Головкин Гаврила (Гавриил) Иванович* (1660—1734) — постельничий, граф, крупный государственный деятель, один из воспитателей и сподвижников Петра I, руководитель русской внешней политики после смерти Ф. А. Головина; с 1709 г. государственный канцлер, с 1718 — президент коллегии иностранных дел.

70. *Шафиров Петр Павлович* (1669—1739) — переводчик Посольского при-

каза, президент Коммерц-коллегии, вице-канцлер, опытный дипломат.

71. *Ягужинский Павел Иванович* (1683—1736) — генерал-адъютант, дипломат, один из ближайших сподвижников Петра I, первый генерал-прокурор Сената.

72. *Долгорукий Василий Лукич* (ок. 1670—1739) — князь, дипломат, посол в Польше, Дании, Франции, Швеции; *Куракин Борис Иванович* (1676—1727) — князь, дипломат, участник Азовских походов и Северной войны, русский посланник в Риме, Англии, Голландии, Франции; *Матвеев Андрей Артамонович* (1666—1728) — сын А. С. Матвеева, граф, сенатор, видный дипломат, посол в Голландии, Австрии; *Толстой Петр Андреевич* (1645—1729) — стольник, сторонник царевны Софьи, позднее посол в Турции, сенатор, тайный советник, видный дипломат и государственный деятель; оказал Петру I важные услуги в деле царевича Алексея.

73. Братья *Бестужевы* (с 1701 г. Бестужевы-Рюмины) *Алексей Петрович* (1693—1766) — граф, дипломат, русский резидент в Дании и Швеции, в 1744—1758 гг. канцлер, руководитель русской внешней политики; *Михаил Петрович* (1688—1760) — граф, опытный дипломат, русский резидент в Англии, затем посол в Швеции, Польше, Пруссии, Франции.

74. *Остерман Андрей Иванович* (1686—1747) — родился в Вестфалии, на русской службе с 1703 г. Советник коллегии Иностранных дел, генерал-адмирал, кабинет-министр, определял русскую внешнюю политику при Анне Иоанновне (1730—1740).

75. *Неплюев Иван Иванович* (1693—1773) — воспитанник Петра I, в 1721—1734 гг., русский резидент в Константинополе, затем правитель Малороссии, оренбургский наместник, сенатор.

76. *Нестеров Алексей* — обер-фискал с 1712 г., прославился преследованием взяточничества и вымогательства, казнен в 1722 г. по обвинению в служебных злоупотреблениях и взяточничестве.

77. *Алексей Петрович* (1690—1718) — царевич, сын Петра I. Противник петровских преобразований, в 1717 г. бежал в Вену. На следующий год по настоянию отца доставлен в Россию. Сенат и Синод приговорили царевича Алексея к смертной казни. Согласно официальной версии, умер «по выслушании приговора».

78. Римский император Константин Великий (306—337) казнил в 326 г. своего старшего сына Криспа по подозрению в измене.

79. В 1730 г. прусский кронпринц Фридрих (будущий король Фридрих II) пытался бежать в Англию, повздорив с отцом, королем Фридрихом-Вильгельмом I. Был арестован, посажен в крепость.

80. *Евдокия Федоровна Лопухина*, в монашестве Елена (1669—1731) — первая жена Петра I, царица, пострижена в 1698 г.

81. *Екатерина (Марта) Алексеевна Скавронская* (1684—1727) — вторая жена Петра I, после его смерти возведена гвардией на престол под именем Екатерины I.

82. *Миних Бурхард-Кристоф* (Христофор Антонович) (1683—1767) — родился в Ольденбурге, на русской службе с 1721 г., руководил работами на Ладожском канале, позднее граф, генерал-фельдмаршал, военный и государственный деятель времен Анны Иоанновны.

83. *Демидовы* — династия уральских горнозаводчиков, родоначальником ко-

торой был тульский оружейник Никита Демидович, организатор строительства горных заводов на Урале.

84. *Геннин Виллим Иванович* (де Геннин Георг Вильгельм) (1676—1750) — голландец, на русской службе с 1698 г. Начальник Олонецких (с 1713 г.) и Уральских (с 1723 г.) горных заводов.

85. *Татищев Василий Никитич* (1686—1750) — политический деятель, администратор, историк. В 1720—1723 и 1734—1739 гг. ведал уральскими горными заводами, в 1741—1745 гг. астраханский губернатор; идеолог «шляхетства» в борьбе с «верховниками» в 1730 г. Автор «Истории Российской с самых древнейших времен...» (в пяти книгах).

86. Соловьев явно идеализирует политику Петра I в отношении крепостных крестьян. В первую четверть XVIII в. крепостное землевладение заметно расширилось, на положении крестьян тяжело отражался рост государственных повинностей, рекрутские наборы, налоговая политика правительства.

87. *Скоропадский Иван Ильич* (1646—1722) — полковник стародубский, гетман Левобережной Украины в 1708—1722 гг. Участник борьбы против Швеции в Северной войне.

Исторические письма

Непосредственным поводом к созданию «Исторических писем» послужила полемика в русской периодической печати вокруг книги известного немецкого этнографа и историка В. Риля (1823—1897) «Естественная история народа как основа немецкой социальной политики». Писатель консервативного направления, В. Риль исследовал вопрос о путях развития немецкого народа, об эволюции его государственных и общественных учреждений. Единственно разумным путем развития немецкий ученый считал проведение такой социальной политики, которая опиралась бы на исторические особенности народного быта, принимала бы в расчет многообразие сословных и этнографических форм в разных немецких землях. Риль убежденно критиковал либеральные теории гражданского равенства всех слоев населения, был яростным противником современного бюрократического государства с его централизаторскими тенденциями. Теории Риля были направлены не только против либерально-буржуазного государства, но и против социалистических идей.

Книга В. Риля привлекла внимание редакции либерально-западнического журнала «Русский вестник», на страницах которого в 1857 г. было напечатано ее изложение. Редактору журнала М. Н. Каткову были близки в то время выпады Риля против централизации, засилия бюрократии. Одновременно книга Риля давала удобный повод для обсуждения либеральных теорий в нужном редакции «Русского вестника» направлении. Полемику с Рилем по социально-экономическим вопросам вел известный экономист В. П. Безобразов, опровергнуть исторические взгляды немецкого ученого редакция предложила С. М. Соловьеву.

Следует сразу отметить, что полемика с Рилем была для Соловьева формой борьбы против русских представителей «исторического буддизма» — славянофилов. Соловьев считал, что историческая концепция славянофилов во многом перекликается с рассуждениями автора «Естественной истории». Главное сход-

ство между ними историк обозначил в самом определении «нового буддизма» как «пристрастия к первоначальным, простым, неразвитым формам быта». Соловьев имел в виду прежде всего поземельную общину.

Славянофилы, для которых залогом самобытного развития русского народа был особый «народный дух», придавали общине исключительное значение. Община, по их учению, была формой, в которой на протяжении веков сохранялся и развивался «дух» русского народа, с присущими ему чертами смирения, совестливости, мирской поддержки и мирского согласия. Община — основа русской жизни, из общин, «миров» слагалась русская земля, сохранение поземельной общины — предпосылка дальнейшего самобытного исторического развития России.

Соловьев еще в 1856 г. открыто высказался против славянофилов в споре об общине, в 1857 г. он раскритиковал их историческую концепцию в статье «Шлецер и антиисторическое направление». Славянофильской идеализации «древних форм быта» Соловьев противопоставил веру в прогресс, в поступательное развитие истории человечества. В «Исторических письмах», равно как и во всем своем творчестве, Соловьев видел прогресс прежде всего в развитии социально-политических отношений между людьми: от простых — родовых, к сложным — государственным; в последующем совершенствовании государственных отношений. Именно государство Соловьев склонен был считать наиболее ярким выражением и, более того, воплощением «народного духа».

Критика Соловьевым славянофильской теории, воззрений славянофилов на общину была, косвенным образом, направлена и против круга Н. Г. Чернышевского, сотрудников и сторонников демократического журнала «Современник», направлению которого присуща была ориентация на общину, понимаемую как основу будущего справедливого устройства общества на социалистических началах. Близость воззрений Чернышевского к славянофильству была чисто внешней, но Соловьев не стремился к их различению.

«Исторические письма» стали важной вехой в развитии государственной школы. В них зримо прослеживается связь этого направления русской историографии с политической доктриной российского либерализма. Полемизируя с «новыми буддистами», Соловьев по сути дела подводил историческую основу под пожелания социально-экономических реформ, государственных и общественных преобразований, которые выдвигались либералами в годы общественного подъема кануна падения крепостного права.

Публикация «Исторических писем» осуществляется по тексту «Русского вестника» (1858, март, кн. 1, май, кн. 2; 1859, март, кн. 1).

* *
*

1. В данном случае Соловьев высказывает суждения, характерные для позитивистской философии.

2. Кн. Бытия, 2, 18.

3. Басню о членах тела, восставших против желудка и убедившихся вскоре в полной невозможности существовать без него, рассказывал в 465 г. до н. э. Менений Агриппа плебеям, восставшим против патрициев в Древнем Риме.

4. *Платон* (ок. 428 — ок. 348 г. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, в диалоге «Государство» и в ряде других произведений нарисовал картину «идеального» государственного устройства со строго иерархической структурой.

5. *Урбанитет* (от лат. urbs — город) — приверженность к городу; *рустицитет* (от лат. rus — деревня) — приверженность к деревне. С точки зрения Риля, национальной особенностью древних греков и римлян было преимущественное развитие городской жизни, основой же немецкого национального духа была деревенская община.

6. *Ван-Эйк Ян* (1390—1441) — художник, один из основоположников нидерландской живописи.

7. *Стюарт Мария* (1542—1587) — королева Шотландии, славившаяся своей красотой; казнена по приказу английской королевы Елизаветы.

8. Говорить о «школе» X. Виланда (1733—1813), видного деятеля немецкого просвещения, и А. Коцебу (1761—1819), реакционного немецкого писателя, автора многочисленных пьес и романов, нет никаких оснований. Риль сближает эти два имени лишь потому, что многие произведения как Виланда, так и Коцебу отличались фривольным характером.

9. *Фрау Гольда* — персонаж германской мифологии: старуха, проносящаяся по небу в новогоднюю ночь, или добрая женщина, награждающая хороших людей и карающая плохих.

10. *Гримм Якоб* (1785—1863) — знаменитый ученый, который вместе со своим братом *Вильгельмом* (1786—1859) стал основателем немецкой филологии как науки; его «Немецкая мифология» (1835), обобщившая огромный материал, стала классическим трудом в этой области.

11. *Мор Томас* (1478—1535) — английский ученый и государственный деятель, один из основоположников утопического социализма, изобразивший в своей «Утопии» (1516) общество, в котором нет частной собственности, обобществлены производство и быт; пренебрежительный отзыв об этой книге Соловьева — одно из проявлений его отрицательного отношения к социализму.

12. Возникновение «*пристрастия к первоначальному быту*» связано прежде всего с именем Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), который в своих произведениях проповедовал «естественное состояние», жизнь «на лоне природы», как идеал человеческого существования.

13. *Аркадия* — центральная часть Пелопонесса, отличавшаяся от других областей Древней Греции культурной и экономической отсталостью; в то же время ее жители славились гостеприимством и добрым нравом. В период Возрождения Аркадия стала в европейской литературе символом спокойной и счастливой жизни на лоне природы.

14. В 1615 г. (а не в 1613, как в тексте «Исторических писем») кн. Иван Михайлович Воротынский принимал участие в съезде уполномоченных Московского государства и Речи Посполитой на русско-литовской границе (между Смоленском и Острожками), на котором была сделана безуспешная попытка заключить перемирие.

15. В 1706 г. в Сухаревой башне в Москве было открыто училище математических и навигационных наук, которое готовило младших офицеров для русского флота. Заиконоспасское училище — т. е. Славяно-греко-латинская академия.

16. *Пожарский Дмитрий Михайлович* (1578—1642) — князь, боярин (1613), русский полководец, участник первого земского ополчения 1611 г., один из руководителей второго земского ополчения и временного земского правительства. В 1613—1618 гг. руководил действиями русской армии против польских интервентов.

17. *Голицын Василий Васильевич* (ум. в 1619 г.) — боярин, военачальник; по смерти Бориса Годунова принял сторону Лжедмитрия I, затем стал одним из самых активных участников его свержения. В ходе борьбы со Лжедмитрием II (см. сноску 19) занимал место второго воеводы в войске, посланном против него (1608); сыграл деятельную роль в свержении Василия Шуйского и состоял в посольстве, посланном боярским правительством после свержения Шуйского к польскому королю Сигизмунду III, осаждавшему Смоленск (1610); вместе с прочими послами был задержан и умер в плену.

18. *Голицын Андрей Васильевич* (ум. в 1611 г.) — младший брат В. В. Голицына, заседал в боярской думе в период польской интервенции, был обвинен в сношениях с Лжедмитрием II, взят под стражу, затем убит поляками; *Андронов Федор* (ум. в 1614 г.) — московский купец-кожевник, поддерживал Лжедмитрия II, затем в 1610—1612 гг. был доверенным лицом Сигизмунда III в боярской Думе, после освобождения Москвы от польских интервентов был казнен.

19. *Лжедмитрий II* (ум. в 1610 г.) — самозванец неизвестного происхождения, с 1607 г. выдавал себя за якобы спасшегося царя (Лжедмитрия I). В 1608 г. создал в селе Тушино под Москвой лагерь (отсюда прозвище «тушинский вор»), безуспешно пытаясь захватить столицу. С началом открытой польской интервенции бежал в Калугу, где был убит.

20. В Клушинской битве 24 июня 1610 г. у села Клушино между Вязьмой и Можайском русская армия под командованием брата царя Василия Шуйского Дмитрия потерпела поражение от поляков.

21. *Гонсевский Александр Корвин* (ум. ок. 1645 г.) — главный начальник польских войск в захваченной Москве в 1610—1612 гг.

22. *Мстиславский Федор Иванович* (ум. в 1622 г.) — боярин, воевода, в 1610—1612 гг. глава семибоярщины, правительства, поддерживавшего польских интервентов.

23. *Ляпунов Прокопий Петрович* (ум. в 1611 г.) — думный дворянин, возглавлял отряд рязанских дворян, принимавших участие в восстании Болотникова. В ноябре 1606 г. перешел к Василию Шуйскому. В 1610 г. принял активное участие в его свержении и организации первого земского ополчения. Убит казаками во время осады ополчением Москвы.

24. *Трубецкой Дмитрий Тимофеевич* (ум. в 1625 г.) — князь, боярин, воевода. В 1608—1610 гг. поддерживал Лжедмитрия II. В 1611—1612 гг. один из руководителей первого и второго земских ополчений и временного земского правительства; *Заруцкий Иван Мартынович* (ум. в 1614 г.) — донской атаман, в 1606—1607 гг. поддерживал Болотникова, в 1611 — один из руководителей первого земского ополчения; в 1613—1614 гг. поддерживал претензии Марины Мнишек и ее сына на русский престол, схвачен и казнен.

25. *Владислав* (1595—1648) — с 1632 г. польский король Владислав IV, сын Сигизмунда III, претендовавший после свержения Василия Шуйского на русский престол.

26. *Минин Кузьма* (ум. в 1616 г.) — организатор освободительной борьбы русского народа и один из руководителей второго земского ополчения. Нижегородский посадник, с 1611 — земский староста, в 1612—1613 гг. член временного земского правительства, с 1613 думный дворянин.

27. В правление императрицы Анны Иоанновны (1730—1740), бывшей до этого герцогиней курляндской, огромное влияние при дворе и в управлении государством приобрели немцы, прежде всего выходцы из Прибалтики.

28. *Щелкалов Андрей Яковлевич* (ум. ок. 1598 г.) — думный дьяк, в конце XVI в. фактически руководил Посольским приказом.

29. *Грамотин Иван Тарасович* (ум. ок. 1638 г.) — думный дьяк; выдвинулся при Лжедмитрии I, последовательно служил ему, Василию Шуйскому, Лжедмитрию II; с 1610 г. стал агентом польского короля Сигизмунда III, защищал его интересы в боярской думе и Посольском приказе.

30. *Майорат* — в феодальном и буржуазном праве форма наследования недвижимости (прежде всего земельной собственности), при которой она переходит полностью к старшему из наследников; направлена на сохранение и упрочение крупной земельной собственности.

31. *Верховный Тайный Совет* — учреждение, созданное в 1726 г., вскоре после восшествия на престол Екатерины I для руководства деятельностью правительства. В 1730 г. при восшествии на престол Анны Иоановны члены Совета, среди которых ведущую роль играли представители старой родовой знати, князья Голицыны и Долгорукие предприняли неудачную попытку ограничить царскую власть.

32. *Данилов Михаил Васильевич* (1722—1790) — автор «Записок» (впервые изданы в 1845 г.), содержащих множество любопытных сведений относительно быта и нравов русского провинциального общества XVIII в.

33. *Петр III* (1728—1762) — сын герцога Голштейн-Готторпского Карла-Фридриха и дочери Петра I Анны; с 1742 г. в России, с 1761 г. российский император. Сразу же после восшествия на престол Петр III заключил мир с Пруссией, перечеркнувший все успехи России в Семилетней войне, стал вводить в армии прусские порядки; свергнут с престола в 1762 г. в результате заговора, организованного его женой Екатериной, и вскоре после этого убит.

34. *Соломон* (965—928 гг. до н. э.) — царь израильско-иудейский; по библейской традиции славился своей мудростью.

35. См. сноски 165, 166 в комментариях к «Запискам».

36. *Всеволод I Ярославич* (1030—1093) — князь переяславский (с 1054 г.), черниговский (с 1077 г.), великий князь киевский (с 1078 г.); вместе с братьями Изяславом и Святославом вел борьбу с половцами, участвовал в составлении «Правды Ярославичей».

37. *Всеволод II Ольгович* (ум. в 1146 г.) — князь черниговский (с 1127 г.), великий князь киевский (с 1139 г.); инициатор и активный участник многих княжеских междоусобиц.

38. *Владимир Мономах* (1053—1125) — Сын Всеволода I и дочери византийского императора Константина Мономаха, князь смоленский (с 1067 г.), черниговский (с 1078 г.), переяславский (с 1099 г.), великий князь киевский (с 1113 г.); последовательно боролся против феодальных междоусобиц; в своем знаменитом «Поучении», обращенном к сыновьям, призывал укреплять единство Руси.

39. *Игорь Ольгович* (ум. в 1147 г.) — князь новгород-северский, с 1146 г. великий князь киевский, убит во время народного восстания; *Изяслав Мстиславич* — внук Владимира Мономаха, князь курский, затем полоцкий, переяславский, турово-пинский. В 1150 г. после упорной борьбы утвердился в Киеве, где княжил совместно со своим дядей Вячеславом.

40. *Всеволод*, сын великого князя киевского Мстислава-Бориса Романовича Старого, в 1219 г. был послан отцом на новгородское княжение, но встретил сильную оппозицию со стороны посадника Твердислава и был изгнан.

41. *Ярослав I* (ок. 978—1054) — великий князь киевский (с 1019 г.), в правление которого рядом побед над половцами были укреплены южные границы государства, установлены династические связи со многими странами Европы, составлена «Русская правда».

42. *Всеволод III* (1154—1212) — великий князь владимирский (с 1176 г.), сын Юрия Долгорукого, успешно боролся с феодальной знатью, в его правление Владимиро-Суздальская Русь достигла наивысшего расцвета; у Всеволода было 12 детей (отсюда прозвище «Большое гнездо»); *Ярослав* (1191—1246) — сын Всеволода III, княжил в Переяславле, Галиче, Рязани, несколько раз приглашался и изгонялся новгородцами; в 1236—1238 гг. княжил в Киеве; с 1238 г. великий князь владимирский.

43. *Шеин Михаил Борисович* (ум. в 1634 г.) — боярин, воевода, возглавил оборону Смоленска в 1609—1611 гг., до 1619 г. — в польском плену, затем один из ведущих государственных деятелей в царствование Михаила Федоровича, глава ряда приказов; командовал армией, осаждавшей Смоленск во время русско-польской войны 1632—1633 гг. После капитуляции русской армии обвинен в измене и казнен.

44. *Василий III* (1479—1533) — великий князь, сын Ивана III, последовательно и успешно продолжавший политику объединения русских земель вокруг Москвы и создания сильного централизованного государства.

45. *Патрикеев Василий Иванович* (в монашестве Вассиан, по прозвищу Косой) (ум. ок. 1545 г.) — с нач. XVI в. глава партии «нестяжателей», осуждавших церковное землевладение; в 1525 г. вместе с Максимом Греком резко выступил против развода Василия III с первой женой Соломонией Сабуровой.

46. *Максим Грек* (Михаил Триволис) (ок. 1475—1556) — публицист, писатель, переводчик; с 1518 г. в России; сблизился с «нестяжателями», осужден на церковном соборе 1525 г. и заточен в монастырь. Оставил обширное литературное наследство: проповеди, публицистические статьи, философские и богословские трактаты.

Мои записки для детей моих, а если можно, и для других

«Записки» С. М. Соловьева — интереснейший памятник русской мемуарной литературы XIX в. Их значение определяют не только такие обстоятельства, как широта научного и общественного кругозора автора, его осведомленность и личное участие в описываемых событиях, достоверность сообщаемых фактов и откровенность суждений. Воспоминания С. М. Соловьева содержат ценные, нередко уникальные сведения о жизни Московского университета в 1840—1860-е годы. Изучение истории Московского университета невозможно без об-

ращения к «Запискам» Соловьева, как немыслимо оно без воспоминаний студентов И. А. Гончарова и А. И. Герцена, профессоров (сверстников Соловьева) филолога Ф. И. Буслаева и историка права Б. Н. Чичерина, воспитанника университета, фольклориста А. Н. Афанасьева. В русской мемуаристике мы почти не встретим имен историков; известны воспоминания М. М. Ковалевского, «Автобиография» Н. И. Костомарова, автобиографические заметки М. И. Семевского, поныне неопубликованные содержательные воспоминания В. И. Герье, Е. Е. Голубинского, Н. И. Кареева, А. А. Корнилова. Тем большее значение приобретают воспоминания крупнейшего русского историка XIX в. Сергея Михайловича Соловьева.

Автограф «Записок» хранится в архивном фонде С. М. Соловьева (ОР ГБЛ, ф. 285, карт. № 2, ед. хр. 9). Три сшитые, самодельные тетради в картонном переплете заполнены чернилами рукою ученого, почерк которого неудобочитаем. Несколько страниц вырезано, что, однако, не отразилось на изложении материала. Исправлений и помарок немного. Название — «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» — дано в первой тетради на отдельном листе.

Ни внешний вид рукописи, ни особенности расположения материала, почерка, бумаги, чернил не дают оснований для твердых суждений о времени составления «Записок». Несомненно, что перед нами не законченные, продуманные и литературно обработанные мемуары, а именно записки, причем записки черновые. Ясно, что С. М. Соловьев не предназначал их для печати — во всяком случае в том виде, в каком они находились ко дню смерти историка. Старший сын ученого Всеволод Соловьев вспоминал, что отец желал «пересмотреть, отделать, дополнить и продолжить» «Записки», но откладывал исполнение до окончания «Истории России» (Русский вестник, 1896, № 2, с. 3).

Анализ содержания «Записок» позволяет выделить по крайней мере три этапа работы над ними. С. М. Соловьев приступил к воспоминаниям в начале 1850-х годов. К этому времени он защитил докторскую диссертацию, прочно утвердился на кафедре русской истории Московского университета, обзавелся семьей. Начата была работа над «Историей России». Позади остались тревоги молодости, борьба за научное признание; понятно желание молодого профессора подвести итоги пережитому.

Внешним поводом к составлению «Записок» могла стать подготовка к столетнему юбилею Московского университета, которая началась задолго до января 1855 г. К юбилею Соловьев подготовил речь «Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове» и статью о профессоре М. Т. Каченовском, которого он застал в Московском университете и который был одним из его предшественников по кафедре русской истории. Эти материалы, очевидно, послужили толчком к созданию «Записок» о студенческих годах, о начале преподавательской деятельности, о сложных взаимоотношениях с М. П. Погодиным, учителем Соловьева, которого он заменил в Московском университете. Не случайно, что эта, наиболее значительная по размерам часть «Записок» посвящена по преимуществу внутренней университетской жизни, а ее логическим завершением стал рассказ о столетнем юбилее Московского университета.

Текст «Записок» дает веские основания для такого вывода. Ранее 1853 г. могла быть написана малая часть воспоминаний о детстве будущего историка. Описывая свое учение в Первой московской гимназии, Соловьев упоминает о

смерти директора гимназии М. А. Окулова, которая произошла в 1853 г. Немного спустя Соловьев, к слову, замечает: «писано в 1854 году».

Второй этап работы над «Записками» относится ко времени первых лет царствования Александра II. Соловьев тяжело переживал позор Крымской войны, его захватил общественный подъем кануна падения крепостного права. В. О. Ключевский вспоминал: «При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодуя на все, что мешало успехам преобразовательного движения» (Ключевский В. О. Соч., т. 8, с. 363). В эти годы либеральные убеждения западника Соловьева проявились наиболее полно. В «Записках» он беспощадно осудил «казарменную систему» николаевского царствования, указал на необходимость преобразований, включая отмену крепостного права. Тогда были написаны знаменитые, ставшие хрестоматийными строки о Николае I, где историк достиг поистине тацитовской силы и выразительности.

Остальная часть «Записок» писалась значительно позднее, после упоминаемых Соловьевым событий: катковской аренды «Московских ведомостей» (1863), смерти Д. Н. Блудова (1864), создания катковского лицея (1868). Характер изложения существенно изменился: Соловьев дал взвешенную, глубоко продуманную оценку состояния русского государства и общества после освобождения крестьян.

О переменах, происходивших в России, он судил с консервативных позиций, был недоволен ходом реформы 1861 г., обвинял в слабости правительство Александра II, резко, если не злобно, отзывался о революционном движении. Именно третья часть «Записок» дает исследователям мировоззрения С. М. Соловьева основание писать, что здесь содержится «своего рода пожелание контрреформ» (Черепнин Л. В. С. М. Соловьев как историк. — В кн.: Соловьев С. М. История России..., кн. I, с. 19) или что Соловьев критиковал действительность «с реакционных позиций» и «исходил из отрицания прогрессивности полнокровного капиталистического развития» (Каштанов С. М. Комментарии к 29-му тому. — В кн.: Соловьев С. М. История России..., кн. XV, с. 284). Эволюция соловьевского либерализма вправо не подлежит сомнению, но материал «Записок» не свидетельствует, по нашему мнению, в пользу столь крайних выводов. Соловьева прежде всего беспокоили ослабление государственного начала, «смута», активность сил, казавшихся ему антигосударственными. Не реакция, не желание контрреформ, а призыв к крепкой власти, необходимой и при реформах, — основная мысль Соловьева. Подобное суждение находилось в полном соответствии с выработанной им концепцией исторического развития России.

Заключительная часть «Записок» была написана историком, как нам представляется, во второй половине 1870-х годов, незадолго до смерти. Подтверждением тому служит ссылка Соловьева на 27-й том «Истории России...», где речь идет о начале царствования Екатерины II (вышел в 1877 г.). Требует, следовательно, уточнения мнение Вс. Соловьева о том, что «Записки» писались «урывками на протяжении пятидесятых и шестидесятых годов» (Русский вестник, 1896, № 2, с. 3). «Записки» писались и в 1870-е годы. Косвенным доказательством позднего происхождения последних страниц «Записок» служит их текстуальная близость с наброском «о современном состоянии России», кото-

рый Соловьев стал составлять в 1879 г. по просьбе наследника престола, впоследствии императора Александра III. (Опубликован Вс. Соловьевым, который считал набросок «новой редакцией последних страниц» мемуаров. — Русский вестник, 1896, № 5, с. 146.)

«Мои записки для детей моих...» — сложный по составу источник. Соловьев писал их с разными целями при разных обстоятельствах на протяжении четверти века. Использовать материал «Записок» при анализе мировоззрения С. М. Соловьева следует осторожно, тщательно соблюдая принцип конкретно-исторического подхода к источнику.

Сказанное, на наш взгляд, снимает упрек, высказанный В. Е. Иллерицким, который писал «об определенной двойственности Соловьева: в своих «благонамеренных» сочинениях — он один, так сказать, «на виду» у современников; в «Записках» — для потомков — другой» (Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980, с. 51). Жизненный и творческий путь историка был на редкость цельным, его идейная эволюция достаточно однолинейна. В 1850-е годы Соловьев был не более либерален, а в 1870-е — не более консервативен в «Записках», чем в исторических сочинениях. Можно говорить не о двойственности, а о разновременности высказываний по конкретным вопросам.

Создававшиеся в течение четверти века «Записки» неравноценны в стилистическом отношении. Отточенные, глубокие (хотя и субъективные) характеристики М. П. Погодина, Т. Н. Грановского, С. Г. Строганова, С. С. Уварова перемежаются небрежной скорописью, перечнем имен... Заметна близость мемуариста к описываемым событиям, отсюда горячность, порой раздражительность тона. Соловьев несомненно искренен, его несдержанность — отзвук той неповторимой атмосферы идейных споров сороковых годов, которую великолепно передают резкие и далеко не всегда справедливые строки «Записок».

История публикации «Записок» С. М. Соловьева сложна. После смерти ученого они находились у его зятя историка Н. А. Попова, который думал написать биографию Соловьева. Попов умер в 1891 г., и, очевидно, вскоре после этого доступ к «Запискам» получил П. В. Безобразов, который в 1894 г. выпустил в павленковской серии «Жизнь замечательных людей» небольшую книгу «С. М. Соловьев. Его жизнь и научно-литературная деятельность». Безобразов пошел по пути сокращенного, бесцветного пересказа «Записок» Соловьева. В русском обществе появились различные слухи об их содержании, ими заинтересовались.

В 1896 г. Вс. Соловьев опубликовал в «Русском Вестнике» (№ 2—5) пространные выдержки из воспоминаний отца под названием «Из неизданных бумаг С. М. Соловьева». Доступа к подлиннику «Записок», который находился у его братьев Владимира и Михаила, Вс. Соловьев не имел, для публикации он использовал список, сделанный женой историка П. В. Соловьевой. Известный беллетрист, Вс. Соловьев стремился прежде всего удовлетворить интерес публики. Он сознательно «облегчил» текст, действительно трудный для восприятия несведущего читателя. Его публикация неполна, он, по сути, переписал текст заново, произвольно разбивая его на главы, абзацы, меняя структуру предложений. Опущенные по цензурным или иным соображениям места не всегда отмечались отточиями. Нередко искажалась мысль автора. Например, С. М. Соловьев писал: «Сильно оскорбляла старика (М. Т. Каченовского. —

А. Л.) Венелинская школа — стремление все ославянить». Вс. Соловьев опустил слова «Венелинская школа». Как писал журнал «Вестник Европы», его публикация напоминала фотографию, делая которую, «фотограф в момент снятия изображения поместил между лицом оригинала и станком свои пять пальцев» (1896, № 5, с. 443).

Братья и сонаследники Вс. Соловьева Владимир и Михаил печатно высказались против публикации «Русского вестника». Сначала М. Соловьев поместил протестующее письмо в газете «Новое время» (1896, № 7167), а затем на страницах «Вестника Европы» оба брата обещали опубликовать «Записки» «в надлежащем виде, согласно автографическому подлиннику» (1896, № 4, с. 889). Редакторская правка Вс. Соловьева оценивалась ими как «тенденциозная, изменяющая впечатление от записок в ущерб памяти их автора» (1896, № 5, с. 441).

Стремясь «восстановить моральный облик» своего отца, Вл. Соловьев опубликовал в «Вестнике Европы» небольшой отрывок, опущенный в «Русском вестнике». Отрывок, повествующий о духовном развитии историка в детстве и юности, Вл. Соловьев противопоставлял тексту, опубликованному братом. Он утверждал: «Воспоминания этого рода, конечно, более характерны для их автора, нежели его дальнейшие отзывы о различных лицах» (Вестник Европы, 1896, № 6, с. 708). Вл. и М. Соловьевых смущала резкость отца, в конечном счете они винили Вс. Соловьева не столько в том, что он недобросовестно опубликовал «Записки», сколько в том, что он их вообще опубликовал. Ни в 1896 г., ни в ближайшие годы обещание Вл. и М. Соловьевых познакомить читателей с полным текстом «Записок» не было выполнено.

Впервые полный текст «Записок» был опубликован в «Вестнике Европы» в 1907 г. (№ 3—6), когда ушли из жизни братья Соловьевы и, что особенно важно, ослаб цензурный гнет. Редакция провела работу над текстом, разделив его, по смыслу, на главы, чего нет в рукописи. Некоторые искажения текста имели место, но они носили частный характер. Например, Троице-Сергиева лавра характеризовалась Соловьевым как «вертеп разврата», а в публикации — «место разгула», в выпаде мемуариста против русских генералов слово «русские» заменено словом «наши» и т. п.

Появление в печати «Записок» С. М. Соловьева вызвало живой отклик в русском обществе, для которого описываемые события были недавним, памятным прошлым. Небезынтересны суждения историка П. И. Бартенева, близко знавшего С. М. Соловьева и тех, о ком тот писал. Еще в 1896 г. он утверждал, что изданием «Записок» была «сделана крупная ошибка» в ущерб памяти самого Соловьева (Русский архив, 1896, № 3, с. 478). В 1907 г. Бартенев ответил на публикацию полного текста «Записок» «Воспоминаниями о С. М. Соловьеве», где писал: «Этими «Записками» Соловьев к прискорбию читателей оскорбил себя» (Русский архив, 1907, № 8, с. 556). Бартенева шокировали откровенность историка, резкость его суждений.

В 1915 г. в издательстве «Прометей» вышло отдельное издание «Записок». Сделано оно было не с рукописи, а на основе публикации «Вестника Европы», с повторением его неточностей и добавлением новых. Издание 1915 г. давно стало библиографической редкостью.

Настоящее издание «Моих записок для детей моих, а если можно, и для других» осуществляется по рукописи С. М. Соловьева. Исправления и дополне-

ния текста по сравнению с предшествующими публикациями специально не оговариваются. Публикаторы сочли уместным сохранить разделение на главы, данное редакцией «Вестника Европы».

* *
*

1. Отец историка, Михаил Васильевич Соловьев был протоиереем и учителем закона божьего в Коммерческом училище. По воспоминаниям современников, М. В. Соловьева отличал мягкий и веселый характер; он был человеком образованным и чуждым всякого ханжества. «Дедушка, — вспоминал его внук Вс. С. Соловьев, — этот молитвенник и советчик, одинаково любил и отвлеченную беседу, и серьезную книгу, и стихи, и музыку, и шутливый разговор, пересыпанный громким смехом и остроумными выходками, и вкусный обильный обед, приготовленный под верховным наблюдением бабушки, и игру с нами, детьми» (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. VII. Спб., 1895, с. 337).

2. Кн. Бытия, 39, 7—16.

3. *«Гуак или непреоборимая верность»* — рыцарская повесть, пользовавшаяся большой известностью в России в конце XVIII — начале XIX в.; *Радклифф Анна* (1764—1823) — английская писательница, автор «романов ужасов», из которых наиболее известен «Удольфские тайны», неоднократно издававшийся в России; *Нарежный Василий Трофимович* (1780—1825) — русский писатель, автор авантюрного романа «Российский Жиль Блаз» и целого ряда исторических романов и повестей; *Загоскин Михаил Николаевич* (1789—1852) — писатель и драматург, прославившийся своими историческими романами «Юрий Милославский», «Рославлев»; *Скотт Вальтер* (1771—1831) — знаменитый английский писатель, создатель жанра исторического романа, его произведения были популярными в России в 1820—1830-е годы.

4. Басалаев И. Н. Начертание всеобщей истории, изданное при Университетском пансионе. М., 1822.

5. *Милот Клод-Франсуа-Ксавье* (1726—1785) — аббат, член Французской Академии, автор ряда компилятивных сочинений по истории Франции, Англии, по всеобщей истории.

6. Примечания к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина составляют по объему примерно половину всего труда и содержат богатейший фактический материал.

7. Первые главы 9-го тома «Истории государства Российского» посвящены описанию опричнины с ее многочисленными опалами и казнями. О «славной осаде Пскова» — одном из самых ярких эпизодов Ливонской войны, окончившейся полной неудачей осадивших город поляков, Карамзин написал в пятой главе 9-го тома.

8. С именем Стефана Батория, энергичного и талантливого полководца, избранного в 1576 г. польским королем, связаны тяжелые поражения русской армии в Ливонской войне.

9. Н. М. Карамзин довел свою «Историю» до описания осады Москвы первым ополчением (1611).

10. *Порт Жозеф де ла.* «Всемирный Путешествователь или Познание Старого и Нового Света, то есть описание всех по сие время известных земель

в четырех частях света, содержащие каждой страны короткую историю». Это многотомное сочинение было переведено на русский язык в конце XVIII в. и выдержало в России несколько изданий.

11. *Аорист* — грамматическая глагольная форма.

12. Свой взгляд на *«причины печального состояния русского духовенства»* С. М. Соловьев наиболее полно и ясно изложил в первой главе 13-го тома «Истории России с древнейших времен».

13. *Филарет* (Дроздов Василий Михайлович) (1782—1867) — видный деятель русской православной церкви, оратор и духовный писатель. Московским митрополитом стал в 1825 г.

14. Начало карьеры Филарета относится ко времени после Венского конгресса (1815 г.), когда Александр I и его окружение были охвачены религиозно-мистическими настроениями. Филарет был ревностным деятелем возникшего тогда «Библейского общества», в состав которого входило немало лиц, причастных к масонским ложам, что давало повод к разговорам о его «масонстве».

15. *Голицын Александр Николаевич* (1773—1844) — государственный деятель, близкий друг Александра I. В 1803 г. был назначен обер-прокурором Синода, в 1816 — министром духовных дел и народного просвещения. В его министерство ханжество и изуверство, свойственные последнему периоду царствования Александра I, достигли своего апогея, особенно ярко проявившись в погромах Казанского и Петербургского университетов. Голицын вышел в отставку в 1824 г. после долгой борьбы с Аракчеевым, видевшим в нем соперника.

16. Вл. Соловьев в своей публикации отрывков из «Записок» отца сопроводил эти строки следующим примечанием: «В один из последних годов жизни А. В. Горского я был с ним близок в качестве вольного слушателя Московской духовной академии, где он был ректором. При необычной учености, ясном понимании труднейших вопросов и необыкновенной сердечной доброте, этот превосходный старец носил на себе печальные следы духовного гнета — в крайней робости ума и малоплодности мысли сравнительно с его блестящими дарованиями: он все понимал, но боялся всякого оригинального взгляда, всякого непринятого решения» (Вестник Европы, 1896, № 6, с. 700).

17. *Сведенборг Эмануэль* (1688—1772) — шведский естествоиспытатель, теолог и мистик.

18. *Владислав* — сын и наследник польского короля Сигизмунда III, был избран московскими боярами царем в августе 1610 г., после свержения царя Василия Шуйского. Реальной власти не имел, его именем правила «семибоярщина». Претензии Владислава на русский престол были поводом для открытой польской интервенции.

19. Мать историка, Елена Ивановна, урожденная Шатрова, происходила из московской дворянской семьи.

20 С. М. Соловьев был зачислен в третий класс Первой московской гимназии в 1833 г.

21. *Ивашковский Семен Мартынович* (1774—1850) преподавал в Первой московской гимназии латынь со дня ее открытия (с 1804 г.); в 1819—1835 гг. был ординарным профессором греческого языка в Московском университете.

22. *Беляков Михаил Игнатьевич* был инспектором Первой московской гим-

назии с 1831 по 1836 г.; преподавал в ней естественную историю; в 1836 г. был назначен инспектором казенных училищ. В Московском университете не преподавал.

23. *Голицын Сергей Михайлович* был попечителем Московского учебного округа с 1830 по 1835 г. А. И. Герцен иронически объяснял назначение Голицына на этот пост желанием Николая I доказать, «что место попечителя вовсе не нужно» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX. М., 1956, с. 120).

24. *Строганов Сергей Григорьевич* (1794—1882) был попечителем Московского университета с 1835 по 1847 г. Понимал необходимость развития науки, образования и просвещения в России, выступал в роли покровителя Московского университета и его «молодых» профессоров — Грановского, Соловьева, Кудрявцева, Крюкова и других. Политические взгляды Строганова были весьма консервативны, но самостоятельность суждений, развитое чувство собственного достоинства выделяли его из среды николаевских сановников. Необычная для С. М. Соловьева приподнятость тона, в котором выдержана характеристика Строганова, во многом объясняется личными взаимоотношениями: их связывала глубокая взаимная симпатия. Узнав о смерти историка, Строганов рассказывал его сыну Всеволоду: «Ведь я его помню еще гимназистом. Однажды я приехал в Первую гимназию, и мне попался навстречу мальчик такой белый, розовый с большими голубыми глазами, настоящий розанчик, а затем мне его представили как первого ученика. С того времени... я не терял его из виду» (Барсуков Н. П. Указ. соч., кн. VII, с. 337).

25. *Хрия* — термин, принятый в школьной риторике, для обозначения приемов развития предложенной темы.

26. *Голицыны* — старинный княжеский род, представители которого приобрели особенно большое значение в России конца XVII — начала XVIII в. Василий Васильевич Голицын был главой правительства царевны Софьи; Борис Алексеевич Голицын был наставником Петра I и сыграл ведущую роль в возведении его на престол. В годы правления Петра II огромным влиянием пользовались братья Голицына — сенатор Дмитрий Михайлович и фельдмаршал Михаил Михайлович, первый из которых был признанным руководителем и идеологом «верховников» — членов Верховного тайного совета, пытавшихся при восшествии на престол Анны Иоанновны ограничить царскую власть.

27. *Селом Архангельским* Голицыны владели с 1703 по 1810 г. Большие строительные работы, превратившие барскую усадьбу в один из самых замечательных архитектурных ансамблей Подмосковья, были начаты здесь в 1780-х и завершены только в 1830-х годах уже при новом владельце Н. Б. Юсупове. Библиотека Д. М. Голицына была богатейшим собранием своего времени, включала в себя более 6000 томов.

28. *Голохвастов Дмитрий Павлович* (1796—1849) был помощником попечителя Московского университета с 1831 по 1847 г. и попечителем с 1847 по 1849 г. Характеристика, которую дает ему Соловьев, подтверждается воспоминаниям современников, в том числе и двоюродного брата Д. П. Голохвастова А. И. Герцена (Былое и думы, ч. 4, гл. XXXI).

29. Статья Голохвастова «Замечания об осаде Троицкой Лавры и описание оной историками XVII, XVIII и XIX столетия» была напечатана в «Москвитянине» (1842, № 6—7). Голохвастов доказывал, что знаменитое сочинение Авраамия Палицына «Сказание об осаде Троицко-Сергиева монастыря от поляков»

изобилует неточностями и является сочинением не историческим, а скорее художественным. Статья вызвала длительную полемику, в которой главным оппонентом Голохвастова был А. В. Горский.

30. *Забелин Иван Егорович* (1820—1908), позднее известный историк и археолог, в то время только начинал свою научную карьеру.

31. *Каченовский Михаил Трофимович* (1775—1842) — историк, профессор Московского университета, основатель и глава «скептической школы» в русской исторической науке, представители которой подвергали сомнению подлинность большинства летописных известий. При всех своих крайностях это направление сыграло положительную роль в становлении русской историографии, в разработке методов исторической критики. В первой половине 1830-х годов «скептическая школа» имела много сторонников среди студентов Московского университета.

32. В биографии Каченовского, написанной в разгар цензурного террора, Соловьев не дал ясной оценки научным взглядам главы «скептической школы». Он отмечал, что Каченовский «постоянно держался середины между двумя крайностями, с одной стороны — неумеренной привязанностью, а с другой — презрением ко всему иностранному» (Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета, ч. I. М., 1855, с. 392).

33. *Тмутараканский камень* с древнерусской надписью XII в. был обнаружен в конце XVIII в. на Таманском городище. Подлинность Тмутараканского камня оспаривалась «скептической школой».

34. С 1811 по 1830 г. Каченовский редактировал журнал «Вестник Европы».

35. Научная и литературная деятельность Каченовского вызывала у А. С. Пушкина отрицательное отношение, выразившееся в его заметке «Отрывок из литературных летописей» и в ряде резких эпиграмм.

36. Постоянно полемизировавший с Карамзиным Каченовский в рецензии на последний, XII том его «Истории» (Вестник Европы, 1829, № 9) дал этому труду весьма высокую оценку.

37. Взгляды М. П. Погодина на первые века русской истории, на русские летописи противоречили скептическому направлению. Еще студентом Погодин не соглашался с выводами Каченовского. Печатная полемика между ними началась в 1830 г., когда Каченовский опубликовал в № 1 «Вестника Европы» резкую рецензию на книгу Ю. Венелина «Древние и нынешние болгаре...», вызвавшую не менее резкую по тону заметку Погодина «О трудах и выходках профессора Каченовского» в «Московском вестнике» (1830, № 3). Полемика Погодина с Каченовским и его учениками продолжалась на протяжении первой половины 1830-х годов, осложняясь постоянными конфликтами личного характера.

38. *Венелин* (Гуца) *Юрий Иванович* (1802—1839) — ученый, исследователь славянских языков и истории славянских народов. Замечательные догадки сочетались у Венелина с утверждениями, в основе которых лежало романтическое восприятие прошлого славянских народов. Он преувеличивал языковую, историческую, культурную близость славян. У Венелина были последователи — Н. В. Савельев-Ростиславич, Ф. Л. Морошкин, о которых Соловьев упоминает ниже.

39. *Давыдов Иван Иванович* (1794—1864) — профессор Московского университета. В молодости слыл либералом, в 1826 г. ему запрещено было читать

лекции по философии, в которых он излагал воззрения Шеллинга. В 1831 г. Давыдов занял в университете кафедру русской словесности. В 1847 г. Давыдов был назначен директором Главного педагогического института в Петербурге и оставил Московский университет.

40. *Фома Кемпийский* (1379—1471) — священник, автор ряда богословских произведений; наиболее известно «Подражание Христу», в котором проповедуются аскетизм и смирение.

41. Несомненная заслуга Давыдова заключалась в том, что он одним из первых в России заговорил с университетской кафедры о немецкой философии Шеллинга и Гегеля. Как ученый Давыдов не был самостоятелен, его лекции и печатные труды компилятивны.

42. *Шевырев Степан Петрович* (1806—1864) — профессор Московского университета, преподавал русскую словесность с 1832 г., крупный знаток древнерусской литературы. В молодости поэт-романтик. В 1830—1840-е годы Шевырев наряду с близким ему Погодиным был проводником теории «официальной народности» в Московском университете.

43. *Павлова Каролина Карловна* (1810—1894) — известная русская поэтесса.

44. *Крюков Дмитрий Львович* (1809—1845) был профессором римской словесности и древностей в Московском университете с 1835 г.

45. *Экзегезис* (экзегетика, герменевтика) — учение о способах истолкования речей и сочинений, прежде всего латинских и греческих текстов, по возможности, близко к смыслу, вложенному в них автором.

46. *Грановский Тимофей Николаевич* (1813—1855) в 1836—1839 гг. находился в заграничной командировке, куда был послан после окончания Петербургского университета, по возвращении в Россию занял в Московском университете кафедру всеобщей истории. Лекции Грановского привлекали большое число слушателей. Соловьев не смог или не захотел понять, какое огромное общественное значение имела деятельность Т. Н. Грановского в 1840-е годы. «Остроумные, веселые беседы», о которых с таким пренебрежением отзывается историк, Грановский вел в это время с Белинским, Герценым, Огаревым, и беседы эти сыграли немалую роль в идейном становлении передовых людей «замечательного десятилетия». «Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином,— писал по этому поводу А. И. Герцен, — шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний, каждый передавал прочитанное и узнанное, споры обобщали взгляды, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые школяры» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX, с. 113).

47. *Чивилев Александр Иванович* (1808—1867) по окончании Московского университета был в 1833—1835 гг. командирован в Пруссию для слушания лекций в Берлинском университете; в 1835 г. был назначен адъюнктом, а в 1838 г. стал профессором Московского университета по кафедре политической экономии и статистики.

48. *Погодин Михаил Петрович* (1800—1873) — известный историк, общественный деятель, писатель и драматург. С 1826 г. профессор всеобщей истории Московского университета. В 1835 г. занял кафедру русской истории. Крупный знаток и собиратель древних рукописей, Погодин углубленно разрабатывал вопросы, связанные с первыми веками русской истории. Политические взгляды

Погодина эволюционировали от умеренного либерализма в 1820-х годах к отстаиванию теории «официальной народности» в николаевское время. Резкие отзывы Соловьева о Погодине во многом вызваны их неприязненными личными отношениями. Вместе с тем и другие современники отзывались о Погодине как о человеке неприятном, с тяжелым характером.

49. Отец М. П. Погодина Петр Моисеевич был крепостным графа И. П. Салтыкова, который отпустил его на волю с семьей в 1806 г.

50. В годы Крымской войны Погодин написал цикл «Политических писем», в которых критически оценивал внешнюю и внутреннюю политику Николая I. Эти письма в списках широко распространялись в русском обществе, а некоторые из них были представлены Погодиным царю.

51. *Лелевель Иоахим* (1768—1861) — польский историк и общественный деятель, один из руководителей национально-освободительного движения в Польше; после подавления восстания 1830 г. эмигрировал за границу. С Лелевелем Погодин встретился в Брюсселе в 1842 г. и имел с ним беседу научного характера.

52. В своих повестях — «Нищий», «Черная немочь», «Невеста на ярмарке» — Погодин одним из первых в русской литературе обратился к описанию жизни и быта купечества, русской провинции. Погодин был автором ряда пьес, из которых наиболее известна «Марфа, Посадница Новгородская». Особыми художественными достоинствами произведения Погодина не отличались. Значительно более серьезную роль Погодин сыграл в русской общественной жизни как журнальный издатель и редактор. В 1827—1830 гг. он издавал журнал «Московский вестник», а в 1841—1856 — «Москвитянин». «Московский вестник» был органом «любомудров» (В. Ф. Одоевский, А. И. Кошелев, Н. М. Рожалин, И. В. Киреевский, В. П. Титов и другие), увлекавшихся немецкой идеалистической философией. «Москвитянин», которому покровительствовал министр просвещения С. С. Уваров и в котором деятельно сотрудничал С. П. Шевырев, стал основным органом, насаждавшим теорию «официальной народности». Подписчиков «Москвитянин» имел немного, его страницы заполнял по преимуществу исторический и историко-литературный материал.

53. *Байер Готлиб-Зигфрид* (1694—1738) — немецкий историк, был приглашен в 1725 г. в Россию для работы в Академии наук. Байер явился создателем теории о норманском происхождении русского государства.

54. *Бутков Петр Григорьевич* (1775—1857) — историк-дилетант, издал в 1840 г. направленную против «скептиков» работу «Оборона русской летописи», в которой повторил многие выводы полемических статей Погодина. Однако, как признавал сам Погодин, Бутков «шел совершенно своим путем... Мы сходились только в заключениях, пришедши по различным путям к одной цели».

55. Магистерскую диссертацию «О происхождении Руси» Погодин защитил в 1824 г., а докторскую — «О летописи Нестора» — в 1834 г.

56. *Строев Сергей Михайлович* (1815—1840) — брат знаменитого русского археографа Петра Строева, был известен как один из самых талантливых учеников и последователей Каченовского. В своей работе «О недостоверности древней истории, ложности мнения касательно древности русских летописей» и в ряде журнальных статей, написанных в 1830-е годы, он вел полемику с противниками «скептической школы».

57. Борьба Погодина с Ф. Л. Морошкиным и Н. В. Савельевым-Ростислави-

чем шла в основном по вопросу о происхождении Руси: последователи Венелина были убежденными противниками норманской теории, которую отстаивал Погодин.

58. Знаменитое «древлехранилище» Погодина, начало которому он положил в 1824 г., состояло в основном из рукописей и старопечатных книг. В 1852 г. Погодин продал свое собрание Публичной библиотеке в Петербурге.

59. Погодин пользовался высоким авторитетом среди славянских ученых, писателей, общественных деятелей. Личные связи со знаменитыми учеными-славистами П.-И. Шафариком и Ф. Палацким Погодин завязал в 1835 г., когда во время заграничной поездки посетил Прагу. Книги и деньги Погодин посылал Шафарику, находившемуся в тяжелом материальном положении. Т. Н. Грановский писал в 1838 г. из Праги, что Шафарик живет «тайными пособиями от Погодина» (Т. Н. Грановский и его переписка, т. II. М., 1897, с. 332).

60. *Шафарик Павел Иосиф* (1795—1861) — знаменитый чешский ученый-славист, автор «Славянских древностей» (1837) — монументального труда о первых веках истории славянских народов, сохранившего свое научное значение до начала XX в.

61. Археографическая комиссия при Министерстве просвещения опубликовала в своих изданиях обширный актовый материал: в 1838 г. — четыре тома «Актов археографической экспедиции», в 1841—1842 гг. — пять томов «Актов исторических». Это был ценнейший свод источников по русской истории.

62. Д. Л. Крылов, П. Н. Кудрявцев, П. Г. Редкин прибыли из Берлина, где они готовились к преподавательской деятельности, в 1835 г. Столкновения между ними и Погодиным, помимо конфликтов личного характера, были обусловлены различием общественно-политических позиций молодой либеральной профессуры и главного истолкователя теории «официальной народности» в Московском университете.

63. *Перевощиков Дмитрий Матвеевич* (1788—1880) — профессор Московского университета, математик, астроном, физик. Получил широкую известность благодаря неустанной пропаганде естественнонаучных взглядов М. В. Ломоносова.

64. Любопытно сравнить Соловьевскую характеристику с высказыванием об Уварове А. И. Герцена: «Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их ка́зовые концы или, лучше, начала» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, с. 126).

65. *Штейн Генрих-Фридрих-Карл (1757—1831)* — прусский государственный деятель, в 1809—1813 гг. жил в России, оказывал известное влияние на Александра I; *Кочубей Виктор Павлович* (1768—1834) — близкий друг Александра I, входил в состав «негласного комитета», в котором Александр I в начале своего правления обсуждал и решал наиболее важные государственные вопросы. С 1802 по 1812 и с 1819 по 1825 г. Кочубей был министром внутренних дел.

66. Речь идет о системе взглядов, которую позднее историк русской общественной мысли А. Н. Пыпин назвал теорией «официальной народности» (см.: Пыпин А. Н. Характеристики литературных мнений. Спб., 1873, с. 61 и далее). Эта теория, сформулированная С. С. Уваровым в начале 1830-х годов,

явилась выражением идеологии русского самодержавия в годы правления Николая I.

67. Советский историк Н. Л. Рубинштейн писал по этому поводу: «Уже после окончания Соловьевым университета в 40-е годы, мы находим в его тетрадях выписки из «Философии истории» Гегеля, выделившие именно те положения этого труда, которые в дальнейшем легли в основу исторического мировоззрения Соловьева. Сила влияния «Философии истории» Гегеля на Соловьева наглядно сказалась в первоначальном варианте «Наблюдений над исторической жизнью народов», написанном двадцать с лишним лет спустя и тем не менее составившем как бы непосредственный сколок с «Философии истории» (Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941, с. 315).

68. *Гиббон Эдуард* (1737—1794) — знаменитый английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи». Написанный с просветительских позиций, на основе разнообразных, тщательно изученных источников и к тому же весьма увлекательно труд Гиббона пользовался большой популярностью в конце XVIII — первой половине XIX в.; *Вико Джанбатиста* (1668—1744) — итальянский юрист, автор ряда работ по истории, из которых наибольшее значение имеет «Новая наука». Д. Вико попытался выявить закономерности исторического процесса. По разработанной им теории, история человечества развивается циклически, представляя собой вечный круговорот повторяющихся явлений. В XVIII в. идеи Вико не получили широкого распространения и для европейской науки он был открыт лишь в 20-е годы XIX в.: в 1822 г. появился немецкий перевод «Новой науки», а в 1827 — краткое изложение этой работы на французском языке; *Сисмонди Жан-Шарль-Леонард* (1773—1842) — французский экономист и историк, автор многочисленных трудов по истории Франции и Италии.

69. *Эверс Густав* (1781—1830) — немецкий ученый, с 1803 г. работал в России. В 1810 г. стал профессором Дерптского университета. Преподавал географию, статистику, государственное право, русскую историю. Большое влияние на развитие русской исторической науки оказала его работа «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (1826, на нем. яз.). Эверс в поисках закономерностей русского исторического развития выдвинул теорию родового быта, оказавшую прямое воздействие на Соловьева.

70. *Метрика* — учение о строении мерной, поэтической речи. *Партикул* — в грамматике неизменяемые части речи (союзы, частицы, наречия); особое обилие частиц характерно для древнегреческого языка.

71. *Григорьев Василий Васильевич* (1816—1881) — крупный востоковед, выпускник Петербургского университета. В описываемое время преподавал восточные языки в Ришельевском лицее в Одессе. С Погодиным его связывали как личная дружба, так и общность политических представлений.

72. *Калачев Николай Васильевич* (1819—1885) и *Бычков Афанасий Федорович* (1818—1899) — любимые ученики Погодина. В начале 1840-х годов, по окончании Московского университета они работали в Археографической комиссии. Позднее — крупные археографы.

73. *Шеллинг Фридрих* (1775—1854) — философ, представитель немецкой классической философии. Был известен в России, куда немецкая идеалистическая философия проникала в 1820 — начале 1830-х годов именно в форме шеллингианства.

74. *Неандер Август* (1789—1850) — немецкий ученый, известный историк христианской церкви.

75. *Риттер Карл* (1779—1859) — географ, автор девятнадцатитомного труда «Землеведение». Много сделал для развития научных методов географических описаний, в частности сравнительно-исторического.

76. *Ранке Леопольд* (1791—1886) — известный немецкий историк. Его как лектора и автора научных трудов по истории средневековой истории Европы отличали изящество стиля, яркость изложения и высокая эрудиция. Эти качества привлекали к Ранке учеников и последователей, хотя научное мировоззрение историка не отличалось ни цельностью, ни особой глубиной.

77. *Раумер Фридрих* (1781—1873) — историк немецкого средневековья. Его научные труды и лекции имели фактологический характер. Слушавший его в 1837 г. Грановский писал: «Говорит о пустяках, которые всякому известны, а сверх того не имеет никакого твердого мнения от желания быть беспристрастным» (Русская старина, 1880, № 4, с. 746).

78. *Бек Август* (1785—1869) и *Герман Иоган* (1772—1848) — выдающиеся филологи, языковеды, ведшие на протяжении многих лет ожесточенную полемику друг с другом.

79. *Строганов Александр Григорьевич* (1795—1891) был министром внутренних дел с 1839 по 1841 г.

80. *Свечина Софья Петровна* (1782—1859) — писательница мистического направления, в 1817 г. переселилась из России во Францию и приняла католичество. Свечина находилась под сильным влиянием иезуитов; в ее парижском салоне собирались клерикалы всех национальностей.

81. Очевидно, *Ленорман Шарль* (1802—1859) — французский историк и археолог; *Мишле Жюль* (1798—1847) — известный историк Франции и Великой французской революции.

82. *Штраус Давид-Фридрих* (1808—1874) — немецкий философ, теолог, историк. Наибольшую известность принесла Штраусу книга «Жизнь Иисуса», в которой он подошел к евангелию как к историческому источнику, доказывая его составной характер. Подобный рационалистический подход был воспринят католической церковью и клерикалами как удар по основам христианской религии.

83. *Кине Эдгар* (1803—1875) — французский историк, близкий друг и единомышленник Ж. Мишле.

84. В начале 1840-х годов Мишле и Кине вели в печати активную борьбу против растущего влияния иезуитов. В 1843 г. они издали антииезуитский памфлет, получивший огромную популярность во Франции.

85. *Бакунин Михаил Александрович* (1814—1876) — русский революционер, один из идеологов народничества. Покинул Россию в 1840 г., а в 1842 г. статьей «Реакция в Германии» ознаменовал начало своей революционной деятельности. В 1843 г., когда, судя по «Запискам», произошла его встреча с Соловьевым, Бакунин имел постоянное место жительства в Швейцарии.

86. *Мицкевич Адам* (1798—1855) — великий польский поэт, общественный деятель, в 1840 — начале 1850-х годов читал в Коллеж-де-Франс лекции по истории славянских культур. В этих лекциях отразились религиозно-мистические, мессианские представления, к которым Мицкевич пришел после поражения польского восстания 1830 г.

87. *Пакье Этьен* (1767—1862) — французский политический деятель, пребывавший в начале 1840-х годов в самом зените своей карьеры: был президентом палаты пэров и канцлером Франции.

88. *Минье Франсуа* (1769—1884) — известный историк, автор «Истории Французской революции», одной из первых обобщающих работ в этой области.

89. *Тьер Луи-Адольф* (1797—1877) — известный французский историк, политический деятель. *Гизо Франсуа* (1787—1874) — выдающийся буржуазный историк, сыгравший видную роль в становлении истории как науки, в исследовании законов исторического развития. Работы Гизо, и прежде всего его «История цивилизации в Европе», оказали большое влияние на многих ученых и, в частности, на С. М. Соловьева. Ученик С. М. Соловьева В. О. Ключевский вспоминал, что «из всех представителей европейской историографии никого не ставил он так высоко, как Гизо» (Ключевский В. О. Соч., т. 7. М., 1958, с. 131).

90. После революции 1830 г., свергнувшей Карла X, последнего короля из династии Бурбонов, на престол был возведен герцог Орлеанский, Луи-Филипп, представитель боковой ветви королевского дома. Ф. Гизо на протяжении многих лет был премьер-министром Луи-Филиппа, проводил прямолинейно-консервативную политику, что в конечном счете привело к падению орлеанской династии.

91. В феврале 1848 г. Луи-Филипп был свергнут с престола революцией, и Франция приобрела республиканское устройство. В 1852 г. вставший во главе правительства Луи Наполеон, племянник Наполеона I, осуществил государственный переворот и провозгласил себя императором.

92. Статья С. М. Соловьева о Парижском университете, напечатанная в № 8 «Москвитянина» за 1843 г., была выдержана в погодинском духе. Соловьев писал об особой природе русского народа, гармонически сочетающей запросы ума с велениями души, которую не могут удовлетворить ни «сухое преподавание немцев», «ни восторженная импровизация французов». В итоге Соловьев ставил вопрос о развитии в России самобытного просвещения, что как нельзя лучше удовлетворяло основным постулатам теории «официальной народности». Обрадованный этой статьей Погодин писал Шевыреву: «Соловьев обещает нам прекрасного в нашем духе исследователя» (Барсуков Н. П. Указ. соч., кн. VII, с. 340).

93. Рецензия С. М. Соловьева на книгу Венелина «Скандинавомания» была опубликована в № 8 «Москвитянина» за 1842 г. Эта рецензия в «Славянском сборнике» подробно не разбиралась. Савельев-Ростиславич лишь мельком упомянул о ней, заявив: «Суд о Венелине должен быть произнесен... не с голоса рецензента — *пигмея*, заратившегося в «Москвитянине...» (Славянский сборник Н. В. Савельева-Ростиславича. Спб., 1845, с. CLXXXVI).

94. *Моллер Федор Антонович* (1812—1875) — исторический живописец и портретист, автор известного портрета Н. В. Гоголя.

95. Очевидно, *Степанов Николай Александрович* (1807—1877) — известный гравер и карикатурист.

96. *Регенсбург* — старинный город в Баварии, близ которого королем Людвигом I был построен в начале 1840-х годов монументальный храм, украшенный скульптурами и барельефами на темы древнегерманского эпоса и немецкой ис-

тории. Название храма — Валгалла — в германской мифологии означает место пребывания павших в бою.

97. *Нарбут Иустин* (1776—1848) — польский ученый, автор ряда трудов по истории польско-литовского государства.

98. *Ганка Вацлав* (1791—1861) — один из видных деятелей чешского национального возрождения, филолог, историк, в своей научной и общественно-политической деятельности отстаивал идеи славянской общности; *Палацкий Франц* (1798—1876) — известный чешский ученый и политический деятель, автор целого ряда работ по истории Чехии.

99. *Властенец* (*чеш.* патриот) — сторонник, участник чешского Национального возрождения.

100. *Крейцер Георг-Фридрих* (1771—1898) — немецкий филолог, исследователь греческой мифологии; *Шлоссер Фридрих-Христофер* (1776—1861) — известный немецкий историк, автор многотомных «Всемирной истории» и «Истории восемнадцатого и девятнадцатого столетий», в которых довольно значительное место уделялось описанию жизни народных масс; *Рау Карл* (1792—1870) — немецкий экономист и статистик; сторонник так называемого государственно-экономического направления, допускавшего активное вмешательство государства в хозяйственно-экономическую жизнь страны.

101. *Благовещенский Николай Михайлович* (1821—1891) — впоследствии стал профессором римской словесности в Казанском, а затем в Петербургском университете. В 1870-е годы был ректором Варшавского университета.

102. *Мейер Дмитрий Иванович* (1819—1856) — впоследствии известный юрист-цивилист, профессор Казанского университета, автор ряда работ по гражданскому праву в России.

103. *Вернадский Иван Владимирович* (1821—1884) в 1840 — первой половине 1850-х годов преподавал политэкономию в Киевском, а с 1856 — в Московском университете. В 1857—1861 гг. издавал журнал «Экономический указатель».

104. До защиты Соловьевым диссертации как профессора-западники, так и Погодин с Шевыревым имели неверное представление о его идейных позициях, чем и объяснялось их отношение к молодому ученому. Так, Шевырев, впоследствии один из главных противников Соловьева в Московском университете, накануне защиты последним диссертации писал Погодину: «...По образу мыслей Соловьев мне нравится. Другие же, противного направления, рады его затереть. Я заметил во всех отступниках (Грановский и Чивилев) нерасположение к нему» (Барсуков Н. П. Указ. соч., кн. VIII, с. 93).

105. В своем дневнике Погодин записал по поводу ответа Соловьева: «Отвечал очень хорошо, но не отлично» (Барсуков Н. П. Указ. соч., кн. VII, с. 344). В письме же В. В. Григорьеву он пророчески замечал: «Соловьев держал экзамен. Этот малый, кажется, прочный, присел за дело плотно» (Веселовский Н. И. В. В. Григорьев по его письмам и трудам. Спб., 1877, с. 89).

106. Погодин, неуверенно чувствовавший себя в университете при попечительстве С. Г. Строганова, вышел в отставку, считая ее недолгой. Позднее он сам писал об этом: «Года через два я думал опять вступить в университет с более укрепленными силами и по собственной просьбе начальства, что было бы для меня гораздо крепче... Я был уверен также, что через два года обратятся ко мне с просьбою, потому что нельзя же оставлять университет без русской

истории...» (Барсуков Н. П. Указ. соч., кн. VIII, с. 43). Первые шаги Соловьева в университете и в исторической науке ясно показали Погодину, что молодой ученый заменит его с лихвою... Таким образом, неприязнь, быстро переросшая в ненависть, которую испытывал отставной профессор к своему начинающему коллеге, объяснялась прежде всего уязвленным самолюбием.

107. *Прокопович-Антонский Антон Антонович* (1762—1848) — профессор Московского университета; в 1818—1826 гг. был его ректором.

108. *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818—1885) — историк, юрист, известный общественный деятель либерально-западнического направления. Стал впоследствии близким другом С. М. Соловьева. В конце 1840 — в 1850-х годах Кавелин неоднократно выступал в печати в поддержку его научных взглядов. Именно трудами Соловьева и Кавелина были заложены основы государственной школы в русской историографии.

109. *Беляев Иван Дмитриевич* (1810—1878) — крупный историк славянофильского направления. Основному труду Беляева «Крестьяне на Руси» (1860) никак нельзя отказать в цельности и последовательности. Беляев — убежденный сторонник теории общинного быта, которую он обстоятельно аргументирует. Погодин имел в виду многочисленные материалы и исследования Беляева 1840-х годов, где по преимуществу в научный обиход вводился новый фактический материал.

110. Заявив в своей диссертации, что в основе русской жизни лежит родовое начало, Соловьев тем самым вступал в резкое противоречие со славянофильской точкой зрения, отводившей эту роль началу общинному.

111. Отечественные записки, 1846, № 12.

112. *Иванов Николай Алексеевич* (1811—1869) — профессор русской и всеобщей истории Казанского университета.

113. *Бодянский Осип Максимович* (1808—1877) — ученый-славист, один из основоположников славяноведения в России, профессор Московского университета. Бодянский, как и Погодин, имел обширные связи с учеными, литераторами, общественными деятелями славянских земель. Близки к погодинским были и общественно-политические позиции Бодянского. Их затяжная ссора имела непринципиальный характер и связана была с замещением Бодянским в 1845 г. поста секретаря Общества истории и древностей российских при Московском университете, поста, который пред тем оставил Погодин.

114. В 1857 г. Н. И. Крылов опубликовал в славянофильском журнале «Русская беседа» статью, где изложил политическую теорию «каноничности» царской власти. Статья Крылова вызвала протесты как у Герцена, напечатавшего в «Колоколе» заметку под названием «Лобное место», так и среди самих славянофилов (И. Аксаков).

115. Нравственная нечистоплотность Крылова мало у кого вызывала сомнение. Так, славянофил Хомяков писал по этому поводу А. Н. Попову: «Jus romanorum одержал, как кажется, полную победу, и я этому бы очень радовался, если бы ученый не был такой ужасный взяточник» (Русский архив, 1884, № 4, с. 304).

116. *Лешков Василий Николаевич* (1810—1881) — юрист, профессор полицейского права Московского университета, автор ряда работ по истории русского права. Был близок к славянофилам.

117. Споры в кругу ближайших друзей Грановского — Герцена, Огарева,

Е. Корша, Сатина, Кетчера — вызваны были их идейно-политическими и религиозно-философскими исканиями. Разрыв Герцена и Огарева с Грановским отражал в конечном счете принципиальное различие революционно-демократического и либерального направления русской общественной жизни. Яркое описание этого разрыва дано Герценом (Былое и думы, ч. 4, гл. XXXII).

118. Эту характерную черту личности Кавелина отмечали и другие современники. П. В. Анненков писал о нем как о человеке, «вносившем обыкновенно страстное одушевление во все свои как научные, так и житейские убеждения» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 267). Соловьев уже в 1870-е годы называл Кавелина «седым младенцем» за сохранившуюся в нем способность увлекаться людьми и идеями. Однако ни научные труды, ни общественная деятельность Кавелина не дают никаких оснований говорить о его, хотя бы относительном, радикализме — он всегда оставался умеренным либералом.

119. Идейная позиция Соловьева в конце 1840-х годов, его место в споре западников и славянофилов представляли загадку для современников. В. П. Боткин писал: «Его заподазривают в словянизме, но он держится какого-то juste milieu. Та и другая сторона упрекают его в нерешительности, даже назначен был как-то вечер, чтобы выслушать его profession de foi, но до сих пор вечер не состоялся» (П. В. Анненков и его друзья. Спб., 1892, с. 538—540).

120. *Попов Александр Николаевич* (1821—1877) в 1839 г. окончил юридический факультет Московского университета, защитив магистерскую диссертацию «Русская правда» в отношении к уголовному праву». Входил в кружок московских славянофилов с момента его зарождения. Впоследствии приобрел известность как историк войны 1812 г.; *Панов Василий Алексеевич* (1819—1849) — славянофил, историк-славист, готовил к изданию славянофильские «Московские литературные и ученые сборники» за 1846 и 1847 гг.; *Валуев Дмитрий Александрович* (1820—1845) — славянофил, талантливый историк. Известен прежде всего как издатель «Симбирского сборника» и «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных» (оба вышли в свет в 1845 г.). Сборники Валуева — первые чисто славянофильские издания. Сам Валуев поместил в «Симбирском сборнике» интересное исследование о местничестве, а для второго сборника написал предисловие, в котором впервые печатно была изложена славянофильская концепция русского исторического развития.

121. *Веневитинов Алексей Владимирович* (1806—1872) — брат известного русского поэта Дмитрия Веневитинова, был близок со многими членами славянофильского кружка — не столько идейно, сколько дружески. Содействовал славянофилам в их литературных начинаниях, используя свои придворные связи; *Блудов Дмитрий Николаевич* (1785—1864) — в молодости участник «Арзамаса», близок к Карамзину, Жуковскому, молодому Пушкину. В 1840-е годы управлял II Отделением императорской канцелярии, которое занималось кодификацией законов. Позднее был председателем Государственного совета, президентом Академии наук. Его дочь А. Д. Блудова была близка царскому семейству, покровительствовала славянофилам в придворных кругах.

122. *Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860) — публицист, драматург, поэт пушкинской плеяды. Зачинатель и идеолог раннего славянофильства. Человек глубоких знаний и разносторонних интересов. В славянофильском кружке

он занимался преимущественно разработкой религиозно-философских вопросов.

123. *Аксаков Сергей Тимофеевич* (1791—1859) — русский писатель, в молодости театрал, актер-любитель, театральный критик. В 1830—1850-е годы дом Аксакова был одним из центров московской общественно-культурной жизни. Литературная слава пришла к Аксакову на склоне лет.

124. С. Т. Аксаков никогда не имел «ультразападных» убеждений. В общественной жизни его отличала терпимость, интереса к теоретическим спорам он не проявлял. Он был искренне привязан к убежденному западнику И. С. Тургеневу, не разделял славянофильских крайностей своего сына Константина. Антитеза «западник — славянофил» при характеристике С. Т. Аксакова вряд ли уместна.

125. Соловьев проводит сравнение между С. Т. Аксаковым и главным героем его «Семейной хроники» Степаном Михайловичем Багровым, умным, неподкупно честным, но вместе с тем властным, вспыльчивым человеком, грубым семейным деспотом. Соловьев здесь несправедлив к С. Т. Аксакову.

126. *Аксаков Константин Сергеевич* (1817—1860) — поэт, драматург, публицист, литературный критик; автор оригинальных работ по языкознанию, русскому фольклору, русской истории. К. Аксаков окончил Московский университет, был членом кружка Станкевича. Убежденный славянофил, К. Аксаков был в славянофильском кружке признанным авторитетом в области русской истории. В повседневной жизни К. Аксаков был доверчив и исключительно правдив.

127. Статья К. Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте)» была напечатана в 1-м томе «Московского сборника» за 1852 г. Рецензии К. Аксакова на отдельные тома «Истории России» Соловьева были помещены: на 6-й том — в «Русской беседе», 1856, № 4; на 7-й том — там же, 1858, № 2; на 8-й том — там же, 1860, № 1.

128. Филологическим проблемам К. Аксаков посвятил свою магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1847) и неоконченную работу «Опыт русской грамматики» (1860).

129. *Аксаков Иван Сергеевич* (1823—1886) — окончил в 1842 г. училище правоведения, служил в Московском Сенате, Калужской уголовной палате, а затем чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. В 1852 г. вышел в отставку и целиком посвятил себя публицистической деятельности. Редактор и издатель ряда славянофильских печатных органов. Незаурядный поэт.

130. *Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — воспитанник Московского университета, ученик Погодина, автор исторических сочинений. По окончании университета служил в прибалтийских губерниях. В 1849 г. написал «Письма из Риги», где резко осуждал господство остзейского дворянства над местным населением. Был арестован, через 10 дней освобожден по личному указанию Николая I. В отставку Самарин вышел в 1853 г. Яркий публицист славянофильского направления, Ю. Самарин в 1850—1870-е годы играл крупную роль в русской общественной жизни, принимал ведущее участие в подготовке отмены крепостного права.

131. При всей своей неспособности «самому что-нибудь написать, сделать», *Петр Васильевич Киреевский* (1808—1856) провел огромную работу по сбору и обработке русских народных былин, сказаний, песен. Его «Собрание народных

песен» — один из самых замечательных памятников русской фольклористики XIX в. В общественной жизни П. Киреевский примыкал к славянофилам. В 1845 г. в журнале «Москвитянин», который тогда редактировал его брат И. Киреевский, он поместил статью «О древней русской истории», где дал оригинальную, отличную от погодинской, историческую концепцию, воспринятую и развитую другими славянофилами.

132. *Киреевский Иван Васильевич* (1806—1856) — литератор, тонкий литературный критик, философ-идеалист. В молодости деятельный участник «общества любомудрия». О «западничестве» И. Киреевского можно говорить с большими оговорками. Он был блестящим знатоком западноевропейской литературы, философии, социальной мысли, в 1832 г. начал издание журнала «Европеец», в программной статье которого «Девятнадцатый век» утверждал необходимость приобщения русского общества к европейскому просвещению. Статья послужила поводом к запрещению журнала. Вместе с тем еще в молодости И. Киреевский наряду с другими «любомудрами» верил в особое предназначение русского народа, отстаивал идею самобытности исторического развития. С конца 1830-х годов И. Киреевский — последовательный славянофил, он углубленно разрабатывал религиозно-философскую сторону славянофильского учения, его историософию.

133. Здесь, как и в характеристике других славянофилов, Соловьев не вполне объективен. *Кошелев Александр Иванович* (1806—1883), несомненно, искренне разделял славянофильские взгляды, хотя и не играл выдающейся роли в славянофильском кружке. Богатый помещик-откупщик, Кошелев финансировал славянофильские периодические издания, деятельно в них сотрудничал. Не совсем уместна ирония Соловьева и относительно Кошелева-«передового человека». В николаевское время Кошелев публично выступал за отмену крепостного права, позднее активно участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 г. В пореформенные годы стоял на позициях земского либерализма.

134. Сам Д. Н. Свербеев определял свою позицию в идейной борьбе 1840-х годов строками английского поэта А. Попа:

Вся моя слава в чувстве меры:
Виги называют меня тори,
а тори — вигом

(Свербеев Д. Н. Записки, т. 1. М., 1899, с. VII, XI).

135. Эти остроумные стилизации вызывали восторг далеко не у всех славянофилов. В. П. Боткин в письме П. В. Анненкову сообщал о реакции И. В. Киреевского, который с негодованием заявил: «Как сметь употреблять язык, на котором написаны наши священные книги для писания шутливых записок»; это так возмутило его, что он сделался болен» (П. В. Анненков и его друзья, с. 538—539).

136. Эти чтения происходили 4 мая 1847 г. в доме Погодина. На них присутствовали Грановский, Кавелин, Корш, Редкин, Строганов и другие. Прочитанные здесь статьи Погодин опубликовал в «Москвитянине» № 2, 3 за 1847 г.

137. Современник, 1847, № 8, 12; 1848, № 5; Отечественные записки, 1847, № 6. Следует отметить, что, оказывая в целом серьезную поддержку Соловьеву, Кавелин и в печати, и особенно на диспуте критиковал отдельные положения его диссертации. Боткин писал, что на защите диссертации, которая проис-

ходила 6 июня 1847 г., «самым сильным и резким противником Соловьева оказался Кавелин...» (П. В. Анненков и его друзья, с. 544). М. Н. Катков в своем письме к А. Н. Попову ясно определил суть его критических замечаний: «Кавелин завязал спор, не оставляя своей любимой мысли о присутствии и развитии под сенью родовых отношений другого начала, именно семейного, которым разлагалась и раскладывалась система первых». Об абсолютизации Соловьевым родового начала говорил на диспуте и Грановский (Русский архив, 1888, № 8, с. 488).

138. Петербургские ведомости, 1847, 30 июня.

139. В № 1 «Москвитянина» за 1847 г. Погодин опубликовал статью «О трудах И. Беляева, Бычкова, Калачева, Попова, Кавелина и Соловьева по части русской истории», в которой менторским тоном поучал молодых ученых, намекал на их научную зависимость от его взглядов, просил быть «деликатнее» с его мыслями: «брать их целиком, а не по частям». Эта статья вызвала язвительный ответ Кавелина (Современник, 1847, № 3) и резкую полемику со стороны Соловьева (Московские ведомости, 1847, № 85, 89).

140. Ф. Мстиславский, русский историк и публицист, поместил в № 1 «Москвитянина» за 1847 г. критическую статью о магистерской диссертации Соловьева «Об отношении Новгорода к великим князьям».

141. С. Г. Строганов вышел в отставку в ноябре 1847 г. Его отставке предшествовал резкий выговор Николая I, недовольного тем, что Строганов не исполнил циркуляра, полученного от Уварова. Столкновение Строганова и Уварова имело чисто бюрократическую подоплеку.

142. Отставка Строганова вызвала огорчение не только у молодых профессоров-западников, которым он покровительствовал, но и у многих представителей русской общественности, не связанной непосредственно с Московским университетом. Так, В. Г. Белинский писал Кавелину: «Я человек посторонний Московскому университету, а весть об отставке Строганова огорчила меня. Это событие прискорбно для всех друзей общего блага и просвещения в России» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XII, с. 453—454). А. С. Хомяков в письме к А. Н. Попову замечал: «Для университета, думаю, отставка Строганова и особенно назначение его преемника мало чем легче холеры» (Русский архив, 1884, № 4, с. 304).

143. *Альфонский Аркадий Алексеевич* (1796—1869) — хирург, профессор медицинского факультета Московского университета, был ректором в 1842—1848 и 1850—1863 гг.

144. Соловьев женился на Поликсене Романовой, дочери морского офицера, впоследствии контр-адмирала Владимира Павловича Романова.

145. Первые известия о февральской революции 1848 г. во Франции появились в петербургских газетах 25 февраля.

146. Очевидно, речь идет о договоре, подписанном в 1815 г. Александром I, императором австрийским Францем и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом, положившем начало «Священному Союзу». По этому договору, подписавшие его государи обязывались считать своих подданных «как бы членами одного семейства и управлять ими в том же духе братства, для сохранения веры, правды и мира» (цит. по: Соловьев С. М. Император Александр I. Спб., 1877, с. 396).

147. Речь идет о восстании декабристов 14 декабря 1825 г.

148. Соловьев поверхностно судил о движении декабристов, едва ли он был знаком с декабристскими планами и программами. «Движение в пользу народности» составляло неотъемлемую часть декабристской идеологии и практики. Достаточно указать на декабристское «Общество соединенных славян» и на записку П. И. Пестеля «Царство Греческое».

149. Речь идет о цареубийстве, вопрос о котором неоднократно обсуждался декабристами. *Брут Юлий* (ум. в 42 г. до н. э.) и *Кассий Гай-Лонгин* (ум. в 42 г. до н. э.) — руководители заговора против первого римского императора Юлия Цезаря, организовавшие в 44 г. до н. э. его убийство.

150. Кн. пророка Даниила, V, 25.

151. Подобное пожелание выражал римский император Калигула (12—41 гг. н. э.).

152. Очевидно, имеется в виду герцог де Бовилье, начальник финансового Совета при Людовике XIV, воспитатель наследника французского престола (Сен-Симон Л. Мемуары, т. I. М., 1931, с. 268—280).

153. *Преторианцы* — привилегированные части римской армии. В императорском Риме преторианцы принимали деятельное участие в политической борьбе, возводя на престол и свергая императоров. «Преторианцами» нередко назывались участники дворцовых переворотов XVIII в. в России.

154. Великий князь Михаил Павлович с 1831 г. был главным начальником военно-учебных заведений.

155. 27 февраля 1848 г. для общего руководства цензурой был создан секретный комитет, вскоре преобразованный в постоянное учреждение, под руководством графа Д. П. Бутурлина. С деятельностью бутурлинского комитета связана эпоха «цензурного террора» в русской литературе и печати (1848—1855).

156. *Закревский Арсений Андреевич* (1783—1865) — был московским генерал-губернатором с 1848 по 1859 г.; заслужил у москвичей недобрую славу своим самодурством, реакционными взглядами и постоянным превышением власти.

157. Эти лекции под общим названием «Писатели Русской истории XVIII века» были опубликованы в «Архиве историко-юридических сведений, относящихся до России», 1855, кн. II.

158. *Флетчер Джайлс* (ок. 1549—1611) — английский дипломат. В 1588—1589 гг. был послом в Москве. Автор сочинения «О государстве русском», в котором самыми мрачными красками изобразил правление, быт и народные нравы Руси конца XVI в.

159. *Катков Михаил Николаевич* (1818—1887) получил кафедру философии в Московском университете в 1854 г. В этот период своей деятельности Катков занимал умеренно-либеральные позиции, выступая в печати как сторонник буржуазных реформ. Позднее, в связи с восстанием 1863 г. в Царстве Польском, Катков резко изменил свои взгляды, став одним из главных идеологов дворянской реакции.

160. Диссертация Каткова называлась «Об элементах и формах славяно-русского языка».

161. С. С. Уваров подал в отставку в октябре 1849 г., после того как в печати появилась инспирированная им статья И. И. Давыдова в защиту русских университетов, в связи со слухами об их скором упразднении. Статья вызвала неудовольствие Николая I.

162. *Ширинский-Шихматов Платон Александрович* (1790—1853) в 1842—1850 гг. товарищ министра народного просвещения С. С. Уварова, с 1850 г. министр.

163. *Терновский Петр Матвеевич* (1798—1874) был профессором богословия и церковной истории в Московском университете.

164. *Шестаков Сергей Дмитриевич* (1826—1889) — педагог и писатель, окончил курс на историко-филологическом факультете Московского университета.

165. *Кудрявцев Петр Николаевич* (1816—1858) был близок к Белинскому в конце 1830-х годов, когда учился в Московском университете. Позднее Белинский разошелся с Кудрявцевым, что вызвано было различием их идейно-политических убеждений. Кудрявцев неизменно оставался в рамках умеренного либерализма.

166. Самое значительное произведение П. Н. Кудрявцева — «Судьбы Италии от падения западной римской империи до восстановления ее Карлом» (1850). Кроме того, ему принадлежит целый ряд статей и очерков по различным периодам западноевропейской истории.

167. Катков с Леонтьевым издавали газету «Московские ведомости» с 1863 г. и журнал «Русский вестник» с 1856 г. Так называемый Катковский лицей, основанный по инициативе Каткова на добровольные пожертвования, был открыт в Москве в 1868 г.

168. *Бабст Иван Кондратьевич* (1824—1881) — профессор политической экономии Казанского (1851—1857) и Московского (1857—1874) университетов; один из идеологов русского либерализма, журналист; *Чичерин Борис Николаевич* (1828—1904) — воспитанник Московского университета, юрист, историк государства и права. Один из главных теоретиков государственной школы в русской исторической науке. Идеолог русского либерализма.

169. *Кетчер Николай Христофорович* (1809—1886) был сначала инспектором, а затем начальником Московской медицинской конторы.

170. Прозаические переводы Кетчера, отличавшиеся точностью, но не обладавшие высокими художественными достоинствами, вызвали эпиграмму И. С. Тургенева:

> Вот еще светило мира!
> Кетчер, друг шипучих вин;
> Перепёр он нам Шекспира
> На язык родных осин.

171. В конце 1840-х годов «Отечественные записки» были основным органом либералов-западников, которые сотрудничали и в некрасовском «Современнике», где ведущую роль играл тогда Белинский. Соловьев, чьи первые работы стали событием в научной и общественной жизни России, был желанным сотрудником для редакций обоих журналов. В. П. Боткин еще в 1847 г. писал издателю «Отечественных записок» А. А. Краевскому, что «Соловьев находится в близких отношениях к словенам» и поэтому «на участие в «Отечественных записках» ему надобно решиться, и в этом-то решении состоит вся трудность. Чтобы сколько-нибудь подвигнуть его, я готов ему кадить, сколько его душе угодно» (П. В. Анненков и его друзья, с. 538—540).

172. Отечественные записки, 1847, № 11.

173. *Назимов Владимир Иванович* (1802—1874) был попечителем Московского учебного округа в 1849—1855 гг.

174. Это повеление направлено было против Погодина, который еще в 1829 г. напечатал статью «Об участии Годунова в убиении царевича Дмитрия», в которой он, по его собственным словам, выступил как адвокат Бориса Годунова (Московский вестник, 1829, № 3). Точку зрения о невиновности Годунова в смерти Дмитрия Погодин последовательно отстаивал на протяжении всей своей научной деятельности.

175. *Великий князь Константин Николаевич* (1827—1892) — второй сын Николая I, заметно выделялся в царской семье умом, энергией и относительно либеральными взглядами. В середине 1850-х годов он возглавил морское министерство, которое стало средоточием либеральной бюрократии, а в конце 1850 — начале 1860-х годов принимал участие в подготовке и проведении крестьянской реформы.

176. Н. М. Карамзин был назначен историографом указом от 31 октября 1803 г. Высокое жалование и право на получение необходимых исторических источников из государственных архивов, предоставленные этим указом, дали Карамзину возможность спокойно работать над своей «Историей государства Российского».

177. *Устрялов Николай Герасимович* (1805—1870) — составитель официального учебника русской истории, описывал события прежде всего политической истории в правительственном духе. Его многотомная «История царствования Петра I» выходила в 1858—1864 гг.

178. *Полевой Николай Алексеевич* (1796—1846) — родом из купеческой семьи, журналист, издатель и редактор журнала «Московский телеграф» (1825—1834), драматург, историк. Н. А. Полевой объявил подписку на свою «Историю Русского народа» (1829—1833), обязавшись предоставить 12 томов. Этого обязательства он не выполнил — вышло лишь 6 томов. В результате, как писал брат Н. А. Полевого Ксенофонт, «предприятие его, благородное и прекрасное по своему происхождению, приняло вид спекуляции, почти шарлатанства и противникам его открылось обширное поле для нападений, укоризн и порицаний разного рода» (П о л е в о й К. А. Записки. Спб., 1888, с. 288).

179. *Щербатов Михаил Михайлович* (1733—1790) — знаменитый русский историк и публицист, автор «Истории Российской», написанной с рационалистических позиций.

180. *Доленга-Ходаковский Зориан* (1784—1825) — литературное имя Адама Чарноцкого, литовского историка, археолога и этнографа. Н. М. Карамзин, с которым полемизировал Ходаковский, хлопотал о денежном пособии для него у министра внутренних дел А. Н. Голицына.

181. В своей «Истории государства Российского» Карамзин делил царствование Ивана Грозного на две части: в 1550-е годы Грозный был в его глазах «примером монархов благочестивых, мудрых, ревностных ко славе и счастию Государства»; в начале же 1560-х годов с царем, по его мнению, произошла «ужасная перемена», нашедшая свое выражение в опалах, казнях, введении опричнины. В IX томе своей «Истории» Карамзин дал яркую картину царских жестокостей. Обличение «тиранства» Грозного было с большим одобрением воспринято декабристами, которые в целом относились к труду Карамзина сдержанно. Соловьев рассматривал все царствование Грозного как нечто целое,

видя в нем решающий этап борьбы государственного начала с родовым.

182. *Вяземский Петр Андреевич* (1792—1878) — известный русский поэт и критик.

183. Знаменитый английский философ *Давид Юм* (1711—1776) был автором многотомной «Истории Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 года». Это произведение, популярное во второй половине XVIII в., к моменту разговора Блудова с Соловьевым безнадежно устарело: в основе его лежал взгляд на историю как на поле деятельности отдельных личностей.

184. Эпиграф ко 2-й главе «Евгения Онегина».

185. Речь идет об «Арзамасе» — литературном кружке, членом которого был Н. М. Карамзин, в состав которого входили А. И. Тургенев, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков, С. С. Уваров. Некоторые члены «Арзамаса» занимали видные посты и имели обширные связи при дворе.

186. В ноябре 1859 г. Соловьев был приглашен в Петербург для занятий историей с наследником-цесаревичем Николаем Александровичем. Занятия продолжались по май 1861 г., а затем шли с августа 1862 г. по январь 1863 г. В первой половине 1866 г. Соловьев преподавал историю будущему императору Александру III.

187. Рецензия И. Д. Беляева на первый том «Истории» Соловьева была написана по поручению Погодина и, при внешней сдержанности, носила резко отрицательный характер (Москвитянин, 1851, № 18—20). Соловьев выступил с ответом в «Московских ведомостях» (1851, № 145), положившим начало длительной полемике с Беляевым и Погодиным.

188. Рецензия Калачева была в целом положительной и содержала лишь отдельные критические замечания по поводу некоторых фактических неточностей (Московские ведомости, 1852, № 30).

189. Решительную поддержку Соловьеву оказал Кавелин, заявивший в своей рецензии: «Новая книга г. Соловьева принадлежит к числу лучших исторических произведений, появившихся в последнее время» (Отечественные записки, 1851, № 12).

190. *Норов Авраам Сергеевич* (1795—1869) — писатель, историк-дилетант, в 1850—1854 гг. товарищ министра народного просвещения, в 1854—1859 гг. министр.

191. Крымская война 1853—1856 гг.

192. Имеется в виду вавилонский царь *Навуходоносор II* (605—562 гг. до н. э.), чье имя стало в христианской традиции синонимом безжалостного угнетателя и поработителя.

193. Настроения Соловьева в данном случае совпадали с чувствами значительной части русского общества: от революционных демократов (А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский) до славянофилов (И. С. Аксаков, А. И. Кошелев).

194. *Шувалов Иван Иванович* (1727—1790) — известный государственный деятель, первый куратор Московского университета.

195. Шевырев произнес на акте речь «Обозрение столетнего существования Московского университета», выдержанную в духе официальной народности.

196. Речь Соловьева «Благодарное воспоминание об Иване Ивановиче Шувалове» была опубликована в книге «Историческая записка, речи и отчет Императорского Московского Университета в 1855 году 12 января» и в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1855 г., ч. LXXXV, отд. 2.

197. Автор знаменитых «Философских писем» *Петр Яковлевич Чаадаев* (1794—1856) в молодости был близок к декабристам, друг А. С. Пушкина; в описываемое время активный участник московских салонных споров. Чаадаев никогда не был главою западников, занимая в идейной борьбе 1840-х годов совершенно особое место.

198. Прутский мир, подписанный после неудачного для Петра I Прутского похода 1711 г., содержал целый ряд тяжелых для России условий.

199. По условиям Парижского мира, заключенного в 1856 г., Россия отказывалась от устья Дуная и теряла право держать военный флот на Черном море.

200. В речи перед московским дворянством, произнесенной в 1856 г., Александр II говорил о том, что не имеет намерения немедленно отменить крепостное право. Однако именно здесь прозвучала его знаменитая фраза: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу».

201. Во второй половине 1850-х годов актуальность крестьянского вопроса мало у кого вызывала сомнение. В русском обществе расходились многочисленные рукописные проекты, планы, записки, посвященные предстоящему освобождению крестьян и написанные людьми разных общественно-политических убеждений.

202. Соловьев С. М. История России с древнейших времен, т. 27, гл. II.

203. Соловьев употребляет здесь обычную терминологию консервативных дворянских кругов, недовольных характером крестьянской реформы. Естественно, что ни о каком «революционном образе действий» русского самодержавия при отмене крепостного права, ни о каком «нравственном терроре» по отношению к поместному дворянству не было и речи. Подробнее о воззрениях историка на характер пореформенного развития России см. статью Н. И. Цимбаева.

204. По «Положениям 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», крестьяне освобождались с землей, однако полученный ими надел в подавляющем большинстве случаев был значительно урезан по сравнению с тем, которым они пользовались до реформы. Что же касалось выкупа, то он осуществлялся либо по добровольному соглашению помещика с крестьянами, либо по одностороннему требованию помещика, т. е. мог быть насильственным лишь по отношению к крестьянам.

205. Откупа, т. е. введение государственной монополии на производство и продажу спиртных напитков и затем предоставление этого права частным лицам за внесение определенной суммы государству, являлись характерной чертой экономической политики русского правительства начиная с XVI в. Как правило, откупа приводили к непомерной дороговизне и ухудшению качества спиртных напитков.

206. *Ришелье Арман* (1582—1642) — кардинал, выдающийся государственный деятель, способствовавший становлению абсолютизма во Франции; *Бисмарк Отто* (1815—1898) — государственный деятель, сыгравший ведущую роль в создании Германской империи.

207. Произведения обличительной литературы, ставшей заметным явлением русской общественной жизни второй половины 1850-х годов, как правило, отличались узостью взгляда, идейной односторонностью: критике в них подвергались не учреждения, а лица, причем обычно незначительные.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Михайлович Соловьев

Избранные труды. Записки

Зав. редакцией *Н. М. Сидорова*
Редактор *Г. В. Кошелева*
Переплет художника *Б. С. Казакова*
Художественный редактор *Л. В. Мухина*
Технический редактор *К. С. Чистякова*
Корректоры *И. А. Мушникова, С. Ф. Будаева*

Тематический план 1983 г. № 32
ИБ № 1562

Сдано в набор 10.12.82. Подписано к печати 13.07.83. Л-95400 Формат 60Х90[1]/16 Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Высокая печать Усл.-печ. л. 27,5 Уч.-изд. л. 32,16 Тираж 14000 экз. Заказ 584. Цена 2 р. 40 к. Изд. № 2494.

Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета. 103009, Москва, ул. Герцена, 5/7. Типография ордена «Знак Почета» Изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы

В 1983 году

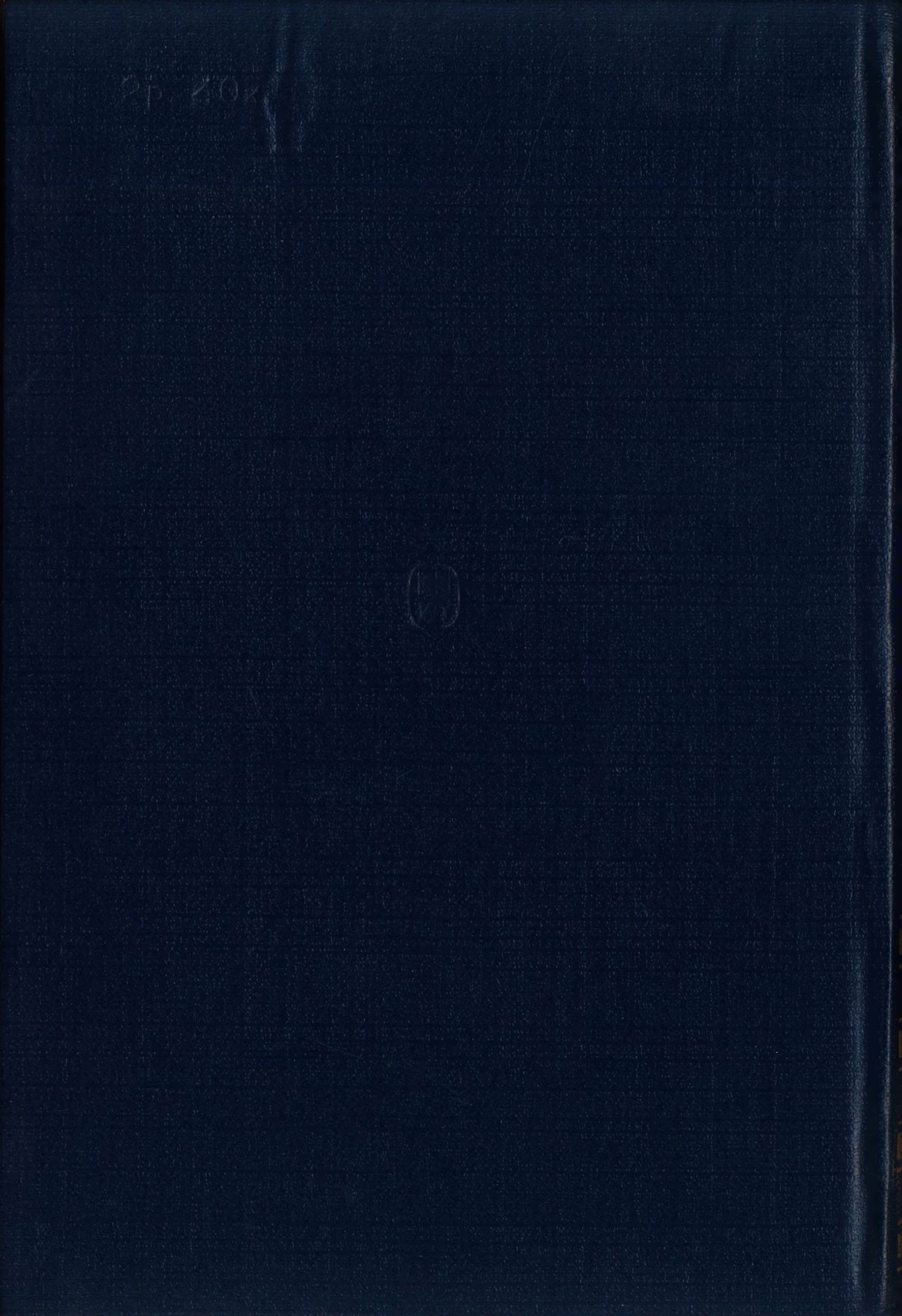
в издательстве Московского университета

ВЫЙДЕТ В СВЕТ КНИГА:

Шанский Д. Н. Из истории русской историче ской мысли. И. Н. Болтин. Объем 10 л.

Монография посвящена творчеству выдающегося русского историка XVIII века И. Н. Болтина. Научная деятельность, приемы исторического исследования, концепция русской и зарубежной истории в трудах И. Н. Болтина рассматриваются на фоне общих процессов развития европейской исторической и общественно-политической мысли. Значительное место отведено работе Болтина над изданием и изучением исторических памятников Древней Руси, явившейся важным этапом в развитии русской археографии и источниковедения. Анализируются новаторские элементы методологии и концептуальных обобщений в трудах И. Н. Болтина, их влияние на последующую русскую историографию.

Для специалистов в области истории, историографии, русской культуры, аспирантов; может быть полезна студентам старших курсов.




С. М. СОЛОВЬЕВ